

ЭТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА

В.И.БАКШТАНОВСКИЙ
Ю.В.СОГОМОНОВ
В.А.ЧУРИЛОВ

Тюмень-Москва
1997

ББК 87.725

Б 19

Б 19 Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха / Научно-публицистическая монография. Тюмень – Москва: Центр прикладной этики, 1997. 747 с.

Центр прикладной этики продолжает исследования актуальных проблем морали. Книга представляет собой научно-публицистическую монографию по одному из важнейших направлений современного этического знания.

Первая отечественная монография по политической этике опирается на теоретические разработки коллектива авторов, организованного вокруг журнала “Этика успеха”, эмпирические исследования, проведенные в Ханты-Мансийском автономном округе, Тюмени, Москве.

Книга предназначена для специалистов по этике, политологии, социологии; экспертов и консультантов, собственно ЛПР в сфере политической деятельности, для всех, кто интересуется современными вопросами нравственной жизни общества.

Монография подготовлена при интеллектуальной и финансовой поддержке Совета народных депутатов и Думы Ханты-Мансийского автономного округа.

Рецензент докт. филос. наук И.М. Клямкин

ISBN 5-89543-001-5

© Центр прикладной этики, 1997.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	12
-------------------	----

Вводный раздел
**ДОКТРИНА ЭТИКИ УСПЕХА:
ДЕРЗКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ**

Глава первая. Предварительная атрибуция этики успеха

Апология	15
Моральный пафос доктрины	18
• Этосы как моральные конвенции о кредо и кодексах (“правилах игры”)	19
• “Этика успеха” - не метафора, а концепция прикладной этики	20
• Этика успеха - утопия или должное?	20
• Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции: долгий путь к цивилизации достижений	21
• Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции: приход цивилизации достижений	22
• Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции: естественность “неестественной” морали	23
• Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции: судьба естественной морали (новые роли)	23
• Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции: критический потенциал этики успеха	24
• Вето на аксиологическую копиистку	25
• Медиаторный потенциал доктрины	25
Этика успеха: доктрина родительного падежа	26
• “Родительный падеж”: запреты и повеления	26
• “Родительный падеж”: этическая безопасность идеи успеха	28

**Глава вторая. Феномен успешной деятельности:
человек, который успел состояться**

- Штрихи к образу человека успеха:
западная, советская, постсоветская,
общечеловеческая версии 30
- У состоявшегося человека есть своя
модель переживания успеха 36
- Жизненный успех:
возможно ли “главное содержание”? 39
- Симметрия и асимметрия делового и
профессионального успеха 41
- Профессиональный успех как универсальный
мотив самоидентификации мобильной личности ... 43
- Удачливым ты можешь и не быть.
Успешным быть - обязан 45
- Успешность не сводится только к эффективности
и результативности 46
- Деньги. Статус. Слава 48
- Шкала и номинации успеха 51
- Кредо и кодекс человека успеха 52

Глава третья. **Основные идеи доктрины**

- Не-алиби в этике успеха 54
 - Успех как смысл и значение, долг и ответственность
(моральная метафизика успеха) 54
 - Успех как вдохновляющая цель жизни
(моральная телеология успеха) 57
 - “Я емь, потому что я свершаю”:
этическая праксиология успеха 60
 - Моральная технология успеха Дейла Карнеги 63
 - Моральный риск ориентации на успех:
выход за пределы конформизма и
нонконформизма возможен 65
 - Само по себе проклинание “Его Сучьего Величества
Успеха” является подходом поверхностным.
Плодотворнее - понимание природы моральной
конфликтности идеи успеха 66
- Как возможны добродетели успеха? 69
 - Три отрицательных ответа 69
 - От “этики характера” к “этике личности”.
Произошло ли нечто аналогичное
в духовной истории России? 70
 - Ригористические и реалистические
представления о “подлинной” морали 72
 - Партнерство и “скромная этика контракта” 73

• Добродетели “упакованы” в ингибиторных нормах и правилах честной игры	75
Успешность совместима с достоинством.	
Достоинство может быть успешным	76
• Первый и Последний: знание и/или достоинство?	76
• Можно ли не допустить, чтобы Первый вырос циником, а Последний - неудачником?	77
• В Америке в обществе ценится успех, в школе - достоинство. В нашей стране школа настраивает на успех, не думая о достоинстве	78
• Неравенство в успехе, но равенство в достоинстве	80

Глава четвертая. **Пределы**

Моральная свобода уклонения

от ориентации на успех	81
• Гордость, гордыня, показная скромность	81
• Толерантность к альтернативным ценности успеха ориентациям	81
Кому служит доктрина этики успеха	83
• Восприятие доктрины: кто же пользователи?	83
• Так кому же служит доктрина?	85
• Не довлеет ли демонизируемый образ успеха в сознании части наших интеллектуалов?	86
• Общество может и должно направить энергетику неудачи в конструктивное русло	87

Глава пятая. **Российская модель этики успеха: возможна ли этика успеха в современной России?**

• Вопросы, которые мы выбираем	89
• Модернизация в России: говорят ли факты сами за себя?	90
• Является ли ориентация на успех источником “моральной порчи народа”?	90
• Четыре причины “неофобии”	90
• Поддается ли Россия цивилизационной атрибуции?	92
• Опыт азиатско-тихоокеанского региона	93
• Трудности самоидентификации с “цивилизацией достижений” преодолимы	93
• Идея успеха органична для родины Ивана-дурака..	95
• Дурак - герой интернациональный	96
• Модели успеха - еще не этика успеха	98

- О формуле “русской мечты” 99
- Неотвратимо ли “бремя наследственности”? 100
- Перестройка: сломлена ли
“гравитация псевдоморфоза”? 101
- Реальные шансы этики успеха:
динамизирующая роль целерационального
типа действия и индивидуализма 102
- Вариабельность национальных моделей
этики успеха 103
- Аксиологический маятник:
драма “дурной бесконечности” 104
- Кто виноват? 105
- Этика успеха и российская ментальность:
“рандеву” наконец состоялось 106
- Рандеву - акт творческий 107

**Глава шестая. Ценности этики успеха
в контексте XXI века**

- Этический консилиум эпохи 109
- Дорогой этики успеха. Иной не дано 109
- Современная цивилизация: моральный кризис 110
- Современная цивилизация:
пути морального обновления 111
- Нравы постсовременности -
исторические пределы этики успеха? 113
- В поисках морального баланса 113
- Антиэтика успеха 114
- Пострациональная мораль:
новые роли этики успеха 115
- России предстоит завершить
«Спор о “древних” и “новых”» 116
- Возрождаясь, не возвращаться в прошлое,
а идти вперед! 118
- Примечания 120

**Том первый
ЭТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

**Глава седьмая. Тяжелый рок
историко-теоретического раздела**

- Автономизация политики 125
- В поисках выхода 127

Трудный простой вопрос: “что такое мораль?”	128
О предтечах политической этики	132
Снова о рациональной морали	136
Успешность - центральное этическое требование, предъявляемое политике	138
Тяготы нравственной мудрости	139

Глава восьмая. Общий концепт политической этики

Гражданское общество	141
О демократии	143
“Идентитарная” демократия	143
“Конкурентная” демократия	145
Рассуждения об универсализме	149
Существуют ли этнонациональные этосы?	151
Феномен политической совести	153

Глава девятая. **От политической этики к этике политического успеха**

Что есть власть?	155
Овладение миром	159
Чем прельщает смертных “хождение во власть”?	162
Гипотеза об “истинном политике”: осанна Веберу ..	164
Промежуточный комментарий	167
Снова с Вебером и “истинным политиком”	170
О прегрешениях морализаторства	173
Платон, Поппер и другие	174
Опять о “лучших”	178

Глава десятая. **Россия на рубеже тысячелетий: падение этики политического успеха и исторический шанс ее возрождения**

Этика политического успеха под огнем критики	183
От этики романтизма к этике революционаризма	184
Критика обретает респектабельность	186
Искоренение	188
Братание власти и народа	192
О политизированной морали	195
Восхождение на подиум успеха	196
Существовали ли эрзацы политической этики?	202
Между аскетизмом и гедонизмом: вульгаризированные интерпретации успеха	203
Можно ли говорить об этике революционаризма?	206
Пренатальная стадия	207
Еще раз о гедонических версиях успеха	209

Этика политического успеха:	
эпоха первоначального накопления ценностей ..	214
Моральные издержки	216
Предпосылки	218
О неприживаемости	223
Примечания	229

Том второй
АКСИОЛОГИЯ И ПРАКСИОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР

Часть первая
МЕТОДОЛОГИЯ

Глава одиннадцатая. Игры, в которые играют политики. Политики, которые играют в игры

Вводные замечания о плюсах и минусах	
“игрового подхода” к политике	235
Метафизика игры	242
“Хомо моралес” как “хомо люденс”	246
“Хомо политикус” как “хомо люденс”	254
“Честная игра”: кодекс моральный	
или праксиологический?	258
Примечания	266

Глава двенадцатая. Гуманитарная экспертиза и консультирование

Проблемная ситуация	269
Экспертно-консультативная функция	
этико-прикладного знания	271
Консультативные опросы экспертов:	
антиномия Станислава Лема	275
Меритократическая экспертиза	278
Демократическая экспертиза	282
Метод этических рационализаций	285
Этико-праксиологические игры	294
Этико-праксиологическая игра как модель	
освоения ситуации морального выбора	296
Игра?	297
Игра праксиологическая?	304
Игра этическая?	309
Примечания	312

Часть вторая
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭТОСА
ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ

Преамбула	315
Глава тринадцатая. Попытки самореформирования политического этоса	
Начало трансформации политического этоса правляющей партии	318
На пути трансформации представительной власти: о кодексе народного депутата и профес- сионализме регионального парламента	326
Этика и преобразование национальной политики	337
К выработке этики политической борьбы	345
Глава четырнадцатая. Политический этос накануне перемен	
Вводные замечания	350
“Рынкофилы” и “рынкофобы”: программа опроса	352
“Рынкофилы” и “рынкофобы”: анализ экспертных суждений	358
Типология нравственных конфликтов	372
Скромная этика контракта	379
Глава пятнадцатая. Пренатальная стадия постсоветского политического этоса: региональная модель	
Заказ и исследовательская гипотеза	391
Игровая модель	393
Технология преднамеренности	397
Примечания	400

Часть третья
КРЕДО И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Преамбула	401
Глава шестнадцатая. Этика российского президентства	
Кодекс	404
• Моральная аура президентства?	404
• Этический стандарт президентства: ценностный минимум	405
• Тяготы на стезе успеха: искушение моральной исключительностью	407
• Добрая воля президента или публичный надзор?..	409
Этическая модель президентства	410

• Кто бьет в колокол - в процессии ... участвует	410
• Этическая модель российского президентства как творческий акт	411
Призвание российского президентства	413
• “Идеи” и “интересы”: в эпицентре нравственного конфликта	413
• Нравственные искания	414
• Профессия и призвание политика	416
Президентская эйкуменистика: консультация от авторов - “до востребования”	418
Глава семнадцатая. Этика российского депутатства	
Общий замысел проекта	422
Три типа суждений о моральном измерении депутатства	423
Кодекс депутата: от этикета к этике	425
Разрешим ли парадокс моральной оценки?	426
Парламентская этика в России: запаздывающее развитие?	428
О нравственной философии российского депутатства и правилах честной политической игры	430
Бремя морального выбора: скромность самооценки ..	432
Бремя морального выбора: дух парламентского корпоративизма	433
Бремя морального выбора: жизненное и профессиональное призвание	434
Глава восемнадцатая. Этика избирателя: проблема ответственности	
Преамбула	437
Как возможна этика избирателя?	438
Анонимная ответственность	440
Этос российского избирателя	441
От ответственности анонимной к ответственности персональной	446

Часть четвертая
ПОСТСОВЕТСКАЯ СИТУАЦИЯ УСПЕХА:
КОЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭТОСА
И ЭТОСА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Преамбула	450
-----------------	-----

Глава девятнадцатая. Масс-медиа:

миссия и правила честной игры

О словах	451
Предпроектная ситуация	452
Цель и задачи проекта	455
Материалы к рабочей гипотезе	455
Методология проекта	463
Анкета эксперта	465
Апологетический прогноз	470
Корпоративный дух масс-медиа:	
презумпция нравственного достоинства	471
Конвенциональная природа правил честной игры ...	472
О пользе и вреде кодексов	
профессионального поведения	473
Успешные профессионалы:	
нравственно - стало быть, эффективно	475
Этические комитеты как	
консультанты профессиональной корпорации	476

Глава двадцатая. Дух корпорации:

нравственные оппозиции

Миссия и этос корпорации: внутренняя экспертиза ..	477
Природа корпоративности	495
Бифуркация “подсистем”	496
“Эспри де кор”	497
Этика корпоративности	498
“Корпорации” против корпораций	499
Плюсы и минусы сегментации	
общественной нравственности	500
Выводы в миноре	503

Глава двадцать первая. Апология профессионального успеха

Миссия успешного профессионала: преамбула	504
Задачи консультативного опроса экспертов	505
Эксперты полагают, что... ..	507
Успешный. Состоявшийся. Профессионал	507
Солидарность успешных профессионалов	517
Потенциал политической организованности	
успешных профессионалов	522
Метафизика успешного профессионализма:	
“экспертиза экспертизы”	527
Примечания	537
Resume	538

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прикладная этика осваивает малоизученную область поведения людей, значение которой исключительно велико. Поэтому и первые книги по прикладной этике не могут быть популярным изложением общепринятой теории. Скорее они представляют промежуточные результаты на пути формирования такой теории. Идут поиск и апробация методологии, осознается специфика способов теоретизирования и связи его результатов с практикой.

Монография по этике политического успеха - первая из цикла запланированных нами работ, посвященных основным направлениям прикладной этики, рассматриваемых с точки зрения места и роли в них ценности успеха. В этой связи книга открывается специальным Вводным разделом, посвященным основному содержанию доктрины этики успеха в целом.

Цель этой доктрины - определить место ценности успеха в современной и постсовременной морали и раскрыть основания для стимулирования и культивирования этики успеха в России. Исходная точка теоретического поиска - понимание того, что пока этос успеха представлен в нашей стране скорее в виде “островков”, чем определенной сферы. Но, как мы полагаем, “пока” - не навсегда.

Доктрина, предлагаемая нами для участия в дискуссии идей, способствующих обновлению России, имеет этический характер. Уже поэтому она ориентирована на обсуждение, которое не допускает “игры с нулевой суммой”, когда победа одной стороны автоматически означает поражение другой. Авторы рассчитывают на обмен идеями, способными к сосуществованию и взаимообогащению.

Мы достаточно отчетливо представляем масштабы проблем, их многозначность и сложность, чтобы осознать невозможность дать окончательные решения. Невероятно сложна задача понимания всего круга проблем, охватываемых тематической программой этики политического успеха. Многие теоретические трудности связаны с тем, что общественные науки в целом находятся в состоянии “парадигмальной анархии”. Тем не менее, значительную часть вопросов мы все же рискнем обсудить в данной и последующих работах, где будет развернута наша доктрина. Рискнем, отдавая себе отчет в неполноте и недостаточной проработке предлагаемых решений.

Мы стремимся к пониманию современного читателя. И, может быть, нашей самоиронии, выраженной с помощью цитаты из книги Михаила Булгакова, будет достаточно, чтобы показать скромность притязаний нашей доктрины в отношении слишком распространенного намерения “учить жить”? “...Вы в качестве консультанта приглашены к нам, профессор? - спросил Берлиоз. - Да, консультантом...”. Недирективная стратегия консультирования. Категорическое неприятие ролевого репертуара “пастыри” - “паства”. Принципиальная установка на диалогическое взаимодействие этической науки

и нравственной жизни. Все эти установки образуют непреложный кодекс проекта, в центре которого - рождение и развитие этики успеха в современной России.

Авторы выражают особую признательность А.Ю.Согомонову, а также Г.С.Батыгину, Г.Э.Бурбулису, Ю.В.Казакову, А.К.Симонову, М.В.Богдановой, И.В.Бакштановской за многогранную помощь в работе над этой книгой.

В.И. Бакштановский
Ю.В. Согомонов
В.А. Чурилов

Вводный раздел

ДОКТРИНА ЭТИКИ УСПЕХА: ДЕРЗКИЕ ПРИТЯЗАНИЯ И НЕКОТОРЫЕ ОСНОВАНИЯ

Глава первая
**ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ АТТРИБУЦИЯ
ЭТИКИ УСПЕХА**

Апология

Многообразие предлагаемых сегодня идей, программ и проектов возрождения России, ее вхождения в постиндустриальную цивилизацию очевидно. Однако даже в тех из них, где явно прочитывается апелляция к личности, ее интересам и духовным силам, слабо артикулируется *идея успеха*. Речь идет об идее, для которой значимы культивирование стремления к достижениям как важнейшей жизненной ориентации, высокая оценка умения строить стратегию служения делу, ответственное подтверждение призвания успешными - по высоким моральным и деловым критериям - результатами и их оценка самим субъектом, группой, обществом.

С достаточной долей категоричности мы рискуем предположить, что без идеи успеха любой призыв к возрождению России может обернуться, вольно или невольно, лишь возвращением к непреодоленной еще архаике (с ее конфронтационным отношением к модернизации) или, в лучшем случае, бесперспективным топтанием на месте. Провал реформ неизбежен, если в представленных на своеобразный “конкурс” версиях *национальной идеи* будут и далее преобладать подозрительные относительно *идеи успеха* настроения и интенции, доминировать такие обращения к потенциалу личности, в которых ее стремление к нравственному совершенству едва лишь связаны, а то и буквально отчуждены от ее достигательных устремлений.

Идея успеха рассматривается нами как предмет мировоззренческой, морально-философской *доктрины*, своеобразной *практической философии* современности, способной - с высокой степенью вероятности - по мере реформирования страны превратиться из идеи для *творческого меньшинства* в участницу конкурса идей *общенационального, общедемократического масштаба*.

“Способна”?! Но почему же еще не стала таковой? И до сих пор слишком робко пыталась ею стать?

Казалось бы, очевидно “почему”: доктрина этики успеха - не просто дерзка, если иметь в виду ее притязание на собственную нишу и в практике нравственной жизни, и в этической теории, и в конкурсе версий национальной идеи, но и - по распространенному убеждению - атрибутивно конфликтна по отношению как к отечественным архетипам, так и к традициям, в том числе и научным. Но ведь не “очевидно”! На самом деле она вступает в конфликт лишь с некоторыми архетипами, традициями! Ибо и в менталитете, и в реальной истории страны доктрина этики успеха имеет, по нашей гипотезе, свои основания, точки опоры.

Отчего же еще совсем недавно “советский человек” стал не просто читать, но зачитываться “наукой успеха” Дейла Карнеги, взращенной на совсем иной почве? Не потому ли, что перестройке удалось успеть внушить людям надежду на зависимость и жизненного, и делового, и профессионального успеха от самого человека, от его стремления преуспеть и от его умения выбирать и выстраивать соответствующую стратегию? Не в этом ли заветный пароль свободы и один из главных позитивных итогов перестройки?

Казалось бы, еще более категоричными должны быть соответствующие выводы относительно постсоветского человека и итогов постсоветской реформации?! Увы, ситуация, как нам представляется, не такова. Пока идут вялые и все еще во многом неконструктивные споры о наличии и, особенно, конкретном месте идеи успеха, ценности, образов успеха в российском общественном сознании, стихийный запрос на *идею успеха* дает о себе знать весьма настойчиво, и “свято место” пустым не осталось. И потому в тех редких случаях, когда *идея успеха* все же рассматривается как основа жизненного и профессионального выбора, она, во-первых, слишком часто отождествляется с *моделью удачи*, во-вторых, сосредоточена больше всего на узко понимаемом феномене предпринимательства и, в-третьих, фигурирует скорее как рациональная технология и праксиология, но менее всего - как специфическая *моральная философия* гражданского общества и правового государства. А в итоге всего этого идея успеха может оказаться чуть ли не альтернативой духовным началам этого общества. Тем более, если, как мы отмечали выше, она принимает циничную форму ориентации на успех в виде бегства именно от *этики успеха*.

Итак, каковы же практикуемые сегодня ипостаси идеи успеха?

Вследствие своей стихийности и из-за отсутствия адекватных философско-этических предложений, запрос на идею успеха нередко трансформируется в коллективистскую устремленность к различным версиям социального утопизма, в люмпенизированный миф об успехе как беспроигрышной ставке в жизненной рулетке. Миф, которого не чураются и другие слои общества. Прежде всего те, что называются “новыми русскими” - не только в бизнесе, но и в политике, не только в публичной, но и в частной жизни. “Госпожа Удача” - весьма распространенная модель успеха и для “антилюмпенов” - части современной элиты. И не *вместе*, а *вместо* “Господина Успеха”. А если все же “Господин Успех”, то не только не *вместе* с этикой, но прямо *вместо* этики!

При этом миф об успехе, в котором нет, не может и даже не предусматривается “ни грана этики”, очевидно культивирует беспринципные активистские идолы успеха. Труднее расколдовать миф, в котором идея успеха выступает в своеобразном искажении *культуры достижения* - в известном “*умении вертеться*”. Действительно, в ответах респондентов на вопрос ВЦИОМа, задававшийся в 1988 и 1992 годах, - “Что нужно, чтобы добиться успеха в жизни?” - насколько снизилась частота ответов типа “Упорно и целеустремленно работать”, настолько же резко возросла частота ответов типа

“Уметь вертеться”. Причем в комментариях социологов к этим результатам можно отметить не только привычно отрицательную окраску, идущую еще из советской эпохи, но и сочувственную констатацию жизненной позиции, в которой проявляется “ценностный реванш” прежде подавленной индивидуальной эффективности.

Что касается мифа об успехе, сводимом к *модели удачи*, то широкое распространение психологии жизненной рулетки и доказывать не стоит. Не о том ли свидетельствует абсолютный триумф “плачущих богатых”, телелотерей, возбуждающих жажду сорвать приз на “поле чудес”, поймать “счастливый случай”, не прозевать “час фортуны” и т.п.? И этот паллиатив - “удача” вместо успеха, ожидание “дара судьбы” вместо творения ее собственными усилиями и достижениями - продолжает чуть ли не культивироваться. Не забудем об этом в контексте сильно выраженных в обществе патерналистских ожиданий и иждивенческих настроений, подкрепляемых регулярно возникающей ситуацией, когда велика вероятность смены собственно реформаторских ориентаций на “стабилизационные”.

Разумеется, “модель удачи” в этом мифе не исчерпывается простой надеждой на случай, упованием на благоприятное стечение обстоятельств. Дело еще и в том, что ключевые в характеристике ценности успеха понятия “выиграть” и “проиграть” утрачивают здесь один из своих важнейших смыслов - экзистенциальный, согласно которому “неудачники”, “проигрывающие” не избегают личной ответственности, а “рожденный выигрывать” - это не тот, кто заставляет других проигрывать, но тот, кто принимает на себя ответственность за собственную жизнь, за свой успех и свою же неудачу: он может терять почву под ногами, терпеть неудачу, но не разыгрывает из себя беспомощного, не играет в обвинения, отстаивает право на собственное решение.

“Модель удачи” принимает и вид конкуренции в сфере таких “достижений”, которые иррациональны как по целям, так и по средствам. Переносимая из прежних эпох деловая стратегия, вполне естественная для условий несвободы, прямо противостоит “модели успеха”, воплощенной в рациональных достижениях, предполагающей этос свободной воли и свободного выбора, стратегию ответственности.

Ясно, что такого рода миф совсем не случаен в контексте всех трех ипостасей патернализма (государственного, общинного, коллективистского) и социального иждивенчества, подкрепляемых маятниковым колебанием реформ. Этот мир не случаен и вовсе не нейтрален именно в отношении той напряженной ситуации выбора, когда сам факт первого шага свободы - *реабилитации* ценности свободы выбора - еще не означает *выбора свободы*.

Общество, которое позавчера уверенно называло себя социалистическим, а еще вчера было уверено в самоназвании “перестроечное”, сегодня попало в ситуацию “футурошока”, столкновения со своим неопределенным, многовариантным, непредсказуемым, рискованным будущим. Неопределенность - вместо одновариантности, риск - вместо гарантированности, инициативность - вместо патернализма и пассивности. Все

это характеризует атмосферу намеренного (?!) и решительного (?!) перехода от тоталитаризма/авторитаризма к гражданскому обществу и правовому государству, от планово-распределительной экономики - к социально ориентированному рынку, от синкретичного мира традиционных ценностей - к аксиологическому плюрализму.

Для переходного периода характерно, что на одних и тех же геополитическом, экономическом, правовом пространствах сосуществуют и почти на равных конкурируют “вчера”, “сегодня” и “завтра” страны. И при этом очень часто взаимодействуют не по методу коэволюции, не дополняют друг друга, не дают кумулятивного эффекта многосторонних синтезов, а отрицают друг друга по правилам “игры с нулевой суммой”. А ведь “футурошок” дополняется еще и “игрошоком” - наша сегодняшняя жизнь оказывается игрой и в том смысле, что в ней, как в игровом моделировании, время спрессовано, как бы “свернуто”, и предстает в состоянии острого временного дефицита. И все это диффузное состояние проецируется еще и на ценностное, этико-культурное пространство-время.

Есть ли в этом контексте *потребность* в доктрине этики успеха и *возможность* для ее создания?

С нашей точки зрения, ответ не только положителен и даже не только категоричен, но и несет в себе “перевыполнение цели” - отвечает и на незадаанный вопрос о потенциале доктрины вполне в духе гегелевского “все разумное действительно”.

Амбиция преуспеть - характерная черта человека успеха. Она присуща и этической доктрине, предметом которой является такого рода человек. Но что же представляет собой эта доктрина?

Моральный пафос доктрины

Амбиция доктрины этики успеха - определение реального места ценности успеха в современной и постсовременной морали и поиск оснований для вывода о возможности намеренного культивирования идеалов, норм и ценностей этики успеха в современной России. Поиск, исходящий при этом из вполне реалистического понимания того обстоятельства, что пока эмпирические основания доктрины представлены в нашей стране скорее как “островки” доминирования ценности успеха.

Доктрина, предлагаемая нами для участия в диалоге идей, способствующих обновлению России, имеет *этический* характер. Из этого следует, во-первых, тезис о том, что уже само стремление к достижению нравственно значимо, что такое стремление может и должно быть нравственно полноценным актом свободного мировоззренческого выбора. Во-вторых, речь идет об успехе как итоге именно индивидуального достижения - человек добился его сам, добился своими личными усилиями. В-третьих, соотношение целей и средств в этом достижительном процессе соответствует моральным требованиям. В-четвертых, доктрина сама, не дожидаясь критики, уже в рамках апологии идеи успеха фиксирует неизбежные моральные конфликты

достижительной успешной деятельности и пытается найти способы разрешения конфликтных ситуаций. В-пятых, этическая по своей природе доктрина ориентирована только на такой конкурсный диалог идей, который отказывается от применения “правил игры” с “нулевой суммой” (победа одной стороны автоматически означает поражение другой). Она рассчитана на конкурс идей, способных к сосуществованию и даже взаимообогащению, например, на конвергентную, мозаичную по своей природе национальную идею.

Этосы как моральные конвенции
о кредо и кодексах (“правилах игры”).

Доктрина этики успеха - теоретическая концепция, одним из важнейших предметов которой является *этос* деятельности, намеренно ориентированной на успех.

Наше понимание категории *этос* исходит из такого представления о триаде: нравы - этос - мораль (нравственность), согласно которому этосные нормы выражают конвенциональный компромисс между реально возможным и идеально желаемым уровнем нравственной жизни “продвинутых” групп и сословий (не всего социума в целом).

В *этосной интерпретации* предмета содержится возможность выхода за рамки полярности “моральные абсолюты - моральные релятивы” и, на этом основании, исследования и культивирования *реально-должного* статуса морального феномена, который находится между полюсами притяжения хаотического состояния нравов, с одной стороны, и порядком *идеально-должного* (собственно мораль) - с другой.

Обычно под этосом имеют в виду согласованные правила и образцы житейского поведения и, одновременно, уклад, строй, стиль жизни каких-то сообществ, институций. Однако такой подход оказывается недостаточным, так как понятие “этос” здесь сводится к понятию “нравы” и одно из них оказывается лишним. Между тем специфика понятия “этос” предполагает, на наш взгляд, усиленные, сверхнормативные требования, предъявляемые к некоторым социокультурным практикам (и при этом - добровольное принятие таких требований), благодаря чему данные практики возвышаются, пусть даже незначительно, над уровнем повседневности.

В этом смысле можно говорить о рыцарском или монашеском этосах в средневековье. А в Новое время этос оказался связан с профессиями. И профессиональная этика (мораль) или несколько родственных этик такого рода сосуществуют с особым укладом, строем жизнедеятельности, включены в него. Воспитательная деятельность, например, независимо от того, где она протекает, представляет собой известное сочетание профессиональных и непрофессиональных начал, а потому регулятивами в ней выступают как профессиональная педагогическая этика, так и нечто более широкое - воспитательный этос в целом. Не вдаваясь здесь в выявление сложного характера взаимоотношений между ними, заметим лишь, что и в медицинской деятельности профессиональная этика врача во всех ее разновидностях

оказывается лишь элементом более обширного нормативно-ценностного комплекса - биоэтики. Справедливо говорят и о том, что в научной деятельности регулятивная роль (функция) принадлежит как профессиональной этике ученого, опять-таки во всех ее отраслевых ипостасях, так и особому этосу науки. В менеджеристской деятельности нормативно-ценностный комплекс включает как профессиональную этику управления, служебную, административную этику, так и некий этос менеджизма, который противостоит паразитарному нормативно-ценностному комплексу бюрократизма (а не просто бюрократии как элитарной социальной группы). Можно говорить и о том, что этике инвайроента соответствует особый экологический этос.

Следующее соображение, важное для понимания природы этоса: кроме мессионизма той или иной деятельности этос нацелен на выявление границ, пределов власти над людьми, той власти, что возникает в ходе деятельности. Он ограничивает полноту власти над человеком, которой располагает воспитатель над воспитанником, ученый над человечеством, политик над населением, врач над больным, менеджер над подчиненным, предприниматель над наемным работником, клиентом, потребителем предоставляемых им товаров и услуг. Тем самым этос меняет всю конфигурацию власти в современном обществе, стремится снять зависимость Лица от Другого, преодолеть патерналистскую модель отношений между ними. Он открывает пространство для власти тех, кто лишен властных функций в силу различий в видах деятельности.

| *“Этика успеха” - не метафора,
| а концепция прикладной этики.*

Все три аспекта понятия “этика” (наука о морали, мораль, нравственность) используются в этой книге, и соответствующие оговорки делаются тогда, когда это продиктовано самим текстом. Поэтому и предмет доктрины подразумевает как характеристику соответствующего теоретического конструкта, так и этосную характеристику (а также и описание нравов - моральная этнография, дескриптика, социология морали и проч., - которое не является предметом данной работы).

Понятие “прикладная этика” имеет в нашем опыте исследований два варианта применения. Первый - в качестве своеобразной концепции связи моральной теории и практики [1]. Второй - в качестве концепций и практики существования различных нормативно-ценностных систем/подсистем, в которых проявляются процессы “конкретизации” общественной нравственности в специализированных сферах деятельности - политики, предпринимательства, воспитания и т.д. [2]. В данной работе используется прежде всего второе - этосное, партикулярное (по Т.Парсонсу) значение.

| *Этика успеха - утопия или должное?*

Вполне понятным будет для нас восприятие концепции идеи успеха в ее этическом измерении как идеи доктринерской, прожектерской, как

навязываемой утопии. Не менее понятным будет и, например, утверждение о том, что национальная идея России сегодня вполне обойдется без этой утопии. Понятным, но неприемлемым.

Ведь прежде чем называть доктрину об идее успеха утопией или даже намеренной идеализацией “грязной практики”, стихии аморализма “новых русских” в политике, администрировании и бизнесе (мы уже отмечали эту инвективу и еще вернемся к ней в отдельной рубрике “Кому служит доктрина”), ее критикам надо бы подвергнуть доктрину рациональному анализу.

Во-первых, в ключе реально-должного, и потому с точки зрения поиска “точек роста” этоса успеха. Да, должное всегда противостоит сущему, но это еще не повод отождествлять морально-должное с чем-то фантастическим. В должном пульсирует интенция на воплощение его в сущее. Оно мобилизует наши предпочтения, решения, свободную волю. В этом смысле и можно говорить о реальности должного. Оно является таковым потому, что множеством нитей должное связано с сущим, продолжает его видоизмененное бытие, выражая общественную необходимость, тенденции развития сущего. Другое дело, что само таинство превращения сущего в должное и должного в сущее остается для нас пока не “расколдованным” - проблема, известная “гильотина Юма”.

Во-вторых, сама национальная идея не может быть сведена лишь к историческому прошлому страны, народа. С не меньшим основанием национальная идея обращена и в будущее, несет в себе авангардный, пассионарный, опережающий смысл. При этом она не просто описывает будущее, но и в определенном смысле проектирует его, “провоцирует”, *ведет* к нему.

*Нормативно-ценностные системы
в ситуации коэволюции:
долгий путь к цивилизации достижений.*

Этика успеха - такой же символ современной цивилизации, как, скажем, мировоззренческий плюрализм и демократические институты, полеты в космос или глобальное телевидение. Цивилизацию эту вполне заслуженно и, пожалуй, точно именуют *достижительной*, что было бы совершенно немыслимо без полного или частичного принятия в ней ценностей и норм этики успеха.

В традиционных же обществах преобладала ориентация на приписываемый, а не на достигаемый статус. Это, естественно, не исключало состязательности в поведении. Но, *во-первых*, центр тяжести этой соревновательности помещался не в производительной, экономической, а в социетальной сфере. При этом стратегии не выбирались индивидом самостоятельно. Собственно экономика еще не отделилась от социетальной структуры, не обрела независимости от нее, а потому мало нуждалась в ориентации на достижения.

Во-вторых, в традиционных социумах успех был *самодостаточной* ценностью, жестко не связанной с утилитарными соображениями и

измерениями. *В-третьих*, если где и обнаруживались приоритеты успешности, то во внесистемных секторах традиционных обществ. Например, в сфере торгового капитала, где зачастую действовали этнические или конфессиональные “чужаки”, которые, приспособившись к малоподвижному, рутинному окружению, были вынуждены культивировать стремление к достижениям. Их поведение нередко оправдывалось циничными рассуждениями и потому ориентация просто на успех не побуждалась и не ориентировалась именно ценностями этики успеха. В известном смысле ценности успеха и мораль лишь слегка касались друг друга; связка между ними в лучшем случае осуществлялась через союз “и” - здесь прекрасно обходились без родительного падежа слова “успех”. Скорее падеж был “обвинительным”: человек успеха был обязан каяться, замаливать свой грех устремленности к достижениям, пользе.

В “верхах” общества практиковались кастовые кодексы великодушия и щедрости, но вовсе не расчетливости и хозяйственной эффективности. В официальной ценностной идеологии на троне прочно восседал принцип любви в его христианской интерпретации, хотя он и весьма слабо коррелировал с реальными нравами. Преобладали поведенческие нормы и правила сословного и общинного солидаризма, которые в значительно большей степени соответствовали реальным нравам и которые тем не менее не следует идеализировать в духе “почвенничества”.

*Нормативно-ценностные системы
в ситуации коэволюции:
приход цивилизации достижений.*

Ситуация начинает коренным образом меняться при переходе от традиционных обществ к современным, при становлении индустриально-урбанистической цивилизации - в “большом” социуме, в макромире гражданского общества. Люди попадают в него, когда добровольно или же вынужденно катапультируются за пределы своих чуть ли не чувственно воспринимаемых микромиров - общин, самодостаточных малых групп, локальных общностей.

В новой цивилизации значительная часть поведенческой аксиоматики (“так надо!”), правил, установлений, обычаев и даже сакрализованных заветов, которые столь прочно цементировали традиционный социум, придавая человеческим добродетелям очевидный характер, начинают - в радикально изменившихся сетях человеческих отношений - утрачивать свою обязывающую силу. Не надо обладать каким-то особым образом натренированным социологическим чутьем, чтобы представить себе, сколь неуместными выглядят на рыночной площади и на политическом поприще, тем более - в конфликтных ситуациях, требования типа “возлюби ближнего своего, как самого себя” или знаменитое “золотое правило нравственности”. То же относится и к упомянутым выше кодексам великодушия и щедрости, с презрением отвергающим договорные, а не “органические” отношения, так называемую

“моральную бухгалтерию” - расчетливость и “крохоборческое” правило эквивалентности воздаяния.

В “открытом” обществе нет единых целей, подобно тому, как это имеет место в локальных общностях и общинах с их ориентацией на Дом, а не на Мир. Но, чтобы усилия людей оказались каким-то образом “склеенными”, скоординированными и только потому эффективными, люди вынуждены соблюдать некие универсальные и абстрактные правила рыночного и политического поведения. Мы предложили называть эти нормы и правила “не-традиционной”, “неестественной”, *рациональной моралью*.

Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции: естественность “неестественной” морали.

Неверно считать, будто правила и нормы рациональной морали кем-то сконструированы, упорядочены в соответствии с какими-то научными процедурами, являются результатом удачного экспериментирования с ценностями. Выразимся парадоксально: “неестественная” мораль является *естественным* продуктом длительной культурной эволюции. Именно она и отбирает все, что наилучшим образом приспособлено к эволюции, ее непредсказуемым (а лишь предугадываемым) зигзагам, петляющим ходам и поворотам. Вместе с тем, обеспечение функционирования рыночных, политических, воспитательных, научных и иных институтов требует и намеренного создания и культивирования правил и норм рациональной морали, этики успеха.

Следуя таким нормам, индивиды могут служить удовлетворению потребностей незнакомых им лично людей, расширяя тем самым границы человеческого сотрудничества, обеспечивая некоторое единство в сообществе, реализуя присущее ему свойство самоорганизации и самоуправления. Так или иначе, рынок, политические институты, профессиональная деятельность не могут нормально функционировать, не будь у них мощной поддержки в виде норм и ценностей рациональной морали с ее универсальными правилами, обязательными для всякого, кто вступил на публичную площадь, независимо от того, выгодно или не выгодно это лично ему. Такая мораль как раз и позволяет утвердиться порядку, который способен прогрессировать на основе спонтанного и добровольного сотрудничества, воспроизводя при этом строгие правила честной игры (политической, хозяйственной, социально-педагогической и т.п.).

Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции: судьба естественной морали (новые роли).

Нет достаточных оснований предполагать, будто ценности дорациональной морали каким-то образом девальвируются: ведь альтруизм, товарищескую солидарность, взаимопомощь с полным на то правом - пусть и несколько высокопарно - именуют “абсолютными” морали. Именно они “очелове-

чивают” социум, социальные связи людей, особенно тогда, когда усиливается их формализация, не допускают превращения человеческих отношений в джунгли, где безраздельно правят бал произвол, право сильного, свинцовые инстинкты, аффекты без сдерживающих начал. “Абсолюты” остаются навигационными огнями в ценностном мире, непрерываемыми ориентирами человеческих помыслов и поступков в масштабах малых групп, общин, приходов, в традиционных секторах “открытого” общества. И за этими границами они остаются “фаворитами” морали, но применяются более сдержанно, так сказать, взвешенно и избирательно. Особый случай - экстраординарные ситуации, когда данные ценности смещаются от периферии к центру нравственной жизни и вновь являют всю свою мощь и духовную красоту.

В макром мире - на рыночной площади, политическом попреще, в профессиональной деятельности люди выступают не только как подданные или производители, но как граждане, которые действуют, определяя свои жизненные стратегии вполне самостоятельно. Они сориентированы на жизненный и деловой успех. Их мораль не выражает духа беззаветной любви к ближнему и сплоченности, но по сути является *этикой ответственности*. Она требует отношений беспристрастности и уважения между агентами гражданского общества. Не столько мотивы поступка и характер намерений, сколько позитивные результаты - критерий добра и зла с точки зрения этой этики: ибо “всякому воздастся по делам его!”. Такая этика является консеквенциональной. Но поскольку человек, ориентируясь на успех, как бы “обречен” приносить благо другим, пусть даже не испытывая расположения к ним, а лишь уважая долг, правила, то что, спрашивается, может помешать нам называть основной мотив - верность нормам рациональной морали и уважения к людям - “бескорыстным стремлением к достижениям” или еще лучше - “*безадресным альтруизмом*”?

*Нормативно-ценностные системы в ситуации коэволюции:
критический потенциал
этики успеха.*

Рациональная мораль с ее этикой успеха заключает в себе и потенциалы саморазвития - таково одно из ее существенных преимуществ. В недрах этой морали формируются инвективы против варваризированного рынка, политики в духе нравов “дикого поля”, рыночных и политических стихий в том их виде, в каком они предстают вне и до насыщения ценностями культуры и этики. Рациональная мораль обеспечивает эффективность работы рыночной экономики, своеобразного политического рынка, огромных организаций профессионалов любого профиля и делает это вовсе не путем их идеализации, апологетических восхвалений, а посредством суровой, систематической, нелюбезной *моральной критики*. Именно такая - моралистическая - критика приводит в движение “человеческий фактор” рынка, политики, организаций. Моральная критика содействует достижению хрупкого, но все же равновесия

пользы и добра, рационального и чувственного в самой морали, утилитарного и бескорыстного путем обуздания сумеречных страстей.

Такая критика позволяет снизить силу кризисных факторов, погасить влияние губительных для цивилизации тенденций, предложить средства от засилья морального релятивизма и догматизма, от чрезмерной приверженности социокультурным основаниям рыночной, политической и профессионализированной деятельности, от убаюкивающей мифологии в целом-то вполне жизненных концептов Призвания, связанного со служением Делу, с хорошо просматриваемой ориентацией на успех.

| Вето на аксиологическую копиистику.

Амбициозность доктрины этики успеха проявляется также и в том, что, задавая идею успеха “моральное измерение”, доктрина показывает непереносимое условие культивирования российской идеи успеха в рамках мозаики ценностей национальной идеи. Как мы уже отмечали выше, доктрина накладывает строгое вето на ценностную копиистику, на эпигонство, прямое заимствование развивающихся в других культурах моделей, в том числе технологий успешной деятельности, внешних форм ее признания и одобрения. И аргументирует такое вето вовсе не ксенофобическим презрением ко всему “чужому”, не установкой только на “свое, почвенное”. В основе вето - понимание особенности современной моральной ситуации в стране, суть которой доктрина усматривает в мозаичном сосуществовании традиционной, рациональной и пострациональной нормативно-ценностных систем (последнюю мы представим в шестой главе). Вне такого понимания ценность успеха не найдет достойного места в национальной идее, а сама эта мозаичная по конфигурации идея лишится основного, как нам представляется, динамизирующего элемента.

| Медиаторный потенциал доктрины.

Наши амбиции не распространяются так далеко, чтобы придать доктрине этики успеха роль и статус “социального клея”, способного преодолеть культурный раскол российского общества, создать монолитную идеологическую парадигму. Тем не менее, доктрина амбициозна в том отношении, что, во-первых, продвигает ситуацию к диалогу идеи успеха с солидаристическими концепциями, во-вторых, ищет и находит объективные основания в обществе для преодоления внутреннего соблазна идеи успеха к эзотеризму и герметизму, с одной стороны, к безудержной экспансии - с другой, в-третьих, демонстрирует аргументы для своего сосуществования с теми жизненными позициями, идейно-нравственными платформами, которые сторонятся идеи успеха.

Амбиции доктрины проявляются не только в формулировании условий “моторности” национальной идеи, но и в претензии на особую роль *медиатора* в отношении других составных нормативно-ценностных систем мозаичной национальной идеи. Мировой опыт стран Запада и стран Востока, ставшего “Западом”, свидетельствует в пользу именно такой амбиции. Культивирование

ценности успеха и там, и там стимулировало процессы синтеза традиционных и модернистских ценностей.

Таким образом организуется гуманистический по своей природе диалог культур и, несмотря на всю его спонтанность, этот диалог может нести в себе и момент намеренности и, стало быть, может быть оснащен организационными средствами. Рассмотренный выше институт “гражданского парламента” относится к такого рода средствам.

Этика успеха: доктрина “родительного падежа”

Этика успеха - каково содержание понятия, если мы сразу отклоним облегчающую форму словосочетания через союз “и” и будем иметь в виду только *родительный падеж*, обозначающий стремление интегрировать понятие “этика” (в данном случае - синоним морали, а не научной дисциплины о морали) в понятие “успех”?

Этика успеха. Что слышат в этом “родительном падеже” обыденное и теоретическое моральное сознание, какой образ создают они в своем воображении, услышав непривычное понятие?

Не останавливает ли уже первую попытку такой интеграции одно только воспоминание о драме нравственных исканий человечества, воспроизводящих вечный конфликт добра и пользы, морального и пруденциального, самоценного и эффективного?! Как бы не предать забвению настороженность гуманистически ориентированных мыслителей перед победительными амбициями “человека притязательного” и “человека выигрывающего”, буквально страха перед идеологией и технологией “борьбы за успех?”. И, наконец, не бестактно ли даже рассуждать о ценности успеха в стране, обнаружившей - вдруг - свою неуспешность и измученной непрекращающимися неудачами?!

По поводу драмы нравственных исканий здесь остается с доверием отнестись к историческому опыту человечества, которое не просто непрерывно констатировало напряженность такого конфликта, но и - вряд ли случайно - настойчиво искало способы его решения. На этом пути предпринимались попытки выявить всечеловеческие основания морали и основания пруденциальные, отграничить “абсолюты” (“везде и всегда”) - от этоса и моральной конкретики (“здесь и сейчас”), этику долга и ответственности - от этики любви, этику дружбы - от этики контракта, этику добродетелей - от этики организаций и т.д.

| *“Родительный падеж”: запреты и повеления.*

Какие повеления и запреты такой “родительный падеж” вносит в процесс широкого освоения темы *успеха* (жизненного и делового), развернутого современным гуманитарным знанием в его традиционных и эзотерических версиях, в теоретических и прикладных исследованиях, посредством учебных семинаров и консультационных практикумов, силами многообразных

движений, ориентированных на самосовершенствование личности в ее жизненных исканиях, в деловой карьере?

“Как уцелеть среди акул” и “Жизнь 101”, “Преуспевание с радостью” и “Рожденные выигрывать”... В дополнение к книгам Дейла Карнеги все это новые феномены нашего духовного обихода. И они составляют далеко не однообразный ряд. Одни книги - о технологиях успеха, за другими - сильная традиция гуманистической психологии с ее особым отношением к ценности успеха. Такое отношение, с одной стороны, отражено в психологической традиции, которая, говоря о человеке выигрывающем, имеет в виду не того, кто стремится побеждать любой ценой, но того, кто выше всего ставит право личности на достижение. С другой стороны, существует прямо оппозиционная тенденция в отношении ценности успеха. Так, в манифесте “О панике”, принятом рядом ведущих психоаналитиков, в качестве “ценностей”, выдвигаемых современными идеологиями на первый план и обнаруживающих свою “реакционную функцию”, отмечена “навязчивая идея успеха и расчета”.

Естественно, что этика успеха содержит нормы запретительного характера, связанные и с праксиологическими, и с аксиологическими - вплоть до мировоззренческих аспектов морального выбора - гранями успешной деятельности. Она содержит и культивирует запреты, относящиеся как к социоконтрольной функции морали в отношении к различным сторонам человеческой деятельности, так и к “внутриморальным” аспектам ценности успеха. Но все эти запреты ни в коей мере не затегают позитивно-стимулирующей функции этики успеха.

Характеристика этой позитивной функции предполагает ее проблематизацию, анализ и прогнозирование нравственных противоречий успешной деятельности - прежде всего для того, чтобы преодолевать (а не просто “запрещать”) их. Эскиз “повелительного” аспекта доктрины “родительного падежа” можно представить в виде следующих тезисов, акцентирующих этическую составляющую идеи успеха.

Этика успеха стимулирует ориентацию на нравственно-позитивную ценность успеха, подтверждаемую как общественным признанием потребности “победителя” в уважении, чести, славе, так и собственным удовлетворением притязательной личности от самореализации, ее счастьем.

Этика успеха стимулирует риск в мировоззренческой сфере морального выбора, риск как положительную реализацию внутренне противоречивого стремления к достижению, риск *превышения* нормального (“среднего”) уровня порядочности, а не отклонения от нормы “вниз”, в сторону вседозволенности и цинизма.

Этика успеха стимулирует преодоление опасностей и соблазнов “грязной игры” (совсем не случайно породившей стереотипное отношение к политике и бизнесу как тотальному аморализму) и достижение желаемого успеха именно вследствие “честной игры”, трудной “игры по правилам” - когда сами эти правила при всей их конвенциональной специфике, укорененности в обычном

праве соотнесены с общечеловеческими ценностями и являются атрибутами этики гражданского общества.

Этика успеха стимулирует потенциал успеха или в парадигме состязательности, или в парадигме кооперации - при отрицании как казарменного коллективизма, так и гипертрофированного индивидуализма.

“Повелительная” и “запретительная” стороны “родительного падежа” взаимосвязаны в самовопрошании доктрины.

Этика успеха? Кто более ценен ей? *Люди порядка или люди игры*? Совместимы ли атрибуты “хомо люденс” и “хомо моралес”? И как уживаются в этике успеха мораль долга и консеквенциальная мораль?

Этика успеха? Кого возносит она на пьедестал: удачливого предпринимателя или прилежного работника, политического лидера или “живущего незаметно”, бесцеремонного победителя или щепетильного в выборе средств праведника?

Этика успеха? Кому она служит - если этика вообще кому-либо “служит”? “Новым русским”? “Среднему классу”? “Моральному меньшинству”? Служит или прислуживает?!

Этика успеха? Мыслимо ли изъять ценность успеха из всего диапазона мировоззренческих альтернатив морального выбора, составляющих в своей совокупности ценностный контекст гражданского общества: этика долга и этика любви (с их специфической артикулированностью в отношении ценности успеха); стоическое сопротивление моделям успеха, навязываемым личности социальной организацией; квиетическое уклонение от ориентации на успех (философия недеяния) и т.п.?

Этика успеха? Помеха естественному стремлению человека или благоприятный для личности и общества контроль и самоконтроль? Может быть, благодарность человечества заслуживают лишь достойные успеха, способные “вынести успех”?

Даже в такой эскизной форме, отражающей скорее *нравственную философию* успешной деятельности и лишь весьма приближенно представляющей ее *конкретизацию* в ценностях и нормах, в атрибутах описания *этоса* успеха, амбивалентность этики успеха представлена как сбалансированность запретов и побуждающих мотивов, организованных вокруг ценности морального выбора.

“Родительный падеж”:
этическая безопасность идеи успеха.

Особо выделим вопрос об этической безопасности идеи успеха, о ее *самоограничениях*. Вопрос, который ориентирует поиск ответов, во-первых, на нравственную критику (и самокритику) рационального жизненного поведения, отношения к жизни как деловому предприятию, критику с позиций самой этики успеха и с позиций иных этических подсистем. Во-вторых, на критику аморализма, которым слишком часто отягощен деловой успех. В-третьих - на

L

определение пределов “внедренческой” активности идеи успеха, профилактику ее возможных притязаний на монополизм в ситуации выбора идей.

Заявляемая в дискуссии о будущем России *этическая* идея успеха сама должна быть и *этически безопасна*. Особенно это важно в контексте ее соотношения с такой наиболее востребованной в ситуации переходного периода ценностью, как *выживание*. Мало того, что драма отечества заключается в доминировании основательно освоенной “культуры” выживания над культурой нормальной жизни (и, тем более, над культурой успеха). Кроме этого, различая в предельно форсированном виде стратегию выживания и стратегию успеха, возвышая ценность последней, как бы не совершить очередное насилие над настоящим и будущим, не утратить человечность, упрекая, а то и обвиняя тех конкретных людей и те конкретные сообщества и сословия, которые сегодня, действительно, не могут думать ни о чем, кроме элементарного выживания. Идея успеха в ее этическом измерении не может позволить себе нравоучительной позы, унижения и оскорбления “инакомыслящих”.

Глава вторая

ФЕНОМЕН УСПЕШНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ УСПЕЛ СОСТОЯТЬСЯ

Задача главы не может не показаться вполне элементарной. Действительно, даже здравому смыслу ведомо и представление о том, что такое успех, и различение того, “что такое хорошо и что такое плохо”. И хотя анализ особенностей “родительного падежа” раскрывает трудности “морального измерения” феномена успеха, может показаться, что такой “падеж” на самом деле вовсе не обязателен при конкретных описаниях феномена успеха. Поэтому-то мы и избрали путь, начинающийся с самых элементарных “клеточек” процесса “встречи” *успеха и этики*, воспользовавшись формой своеобразного коллажа и пытаясь представить контуры феномена успеха, штрихи и мазки на интегральном портрете успешного человека.

*Штрихи к образу человека успеха:
западная, советская, постсоветская,
общечеловеческая версии.*

“Во всех книгах о преуспеянии - а перед читателем новейшая и лучшая из них - слово “успех” толкуется примерно одинаково. Бытовое выражение “жить хорошо” не объясняет никаких философских или этических загадок (да и не претендует на это), но оно, по крайней мере, всем понятно. Мы знаем, о чем идет речь”, - пишет С.Паркинсон, ироничный стиль которого ничуть не ослабляет содержательность характеристики как бы “обывательского”, но в этом смысле практически универсального подхода [3].

“Преуспевающий человек занимает высокую должность, у него незапятнанная репутация и обеспеченное будущее, о нем с уважением пишут в газетах - *все это он добился сам*. Наше воображение рисует нам ухоженный сад на берегу озера, изящный коттедж, старинное столовое серебро и дочь хозяина в костюме для верховой езды. Чуть изменив угол зрения, мы видим обшитый дубовыми панелями кабинет, зеркальный письменный стол, одежду от модного портного, бесшумную машину. Потом нам представляется просторный зал фешенебельного клуба и центральная фигура центральной группы - человек, скромно принимающий искренние поздравления. С чем? С правительственной наградой, повышением по службе или рождением сына? Весьма вероятно, что произошло и то, и другое, и третье. Так обыкновенно выглядит успех и так понимает его автор” (там же, с. 61).

Выделив курсивом в качестве особого предмета нашего интереса слова о том, что этот условный человек сам всего добился, мы должны также отметить в этом портрете человека успеха, казалось бы, несомненное ограничение субъекта достигательной ориентации лишь определенным слоем общества. Однако автор все же исходит из представления о *всеобщности* субъекта успеха, об универсальности *права на успех*, предлагая свою книгу как раз широкому

читателю - человеку среднему, заурядному. “Мы видели слишком много книг о преуспевании, которые советовали читателю быть более энергичным, деловым, разумным, надежным и обаятельным, чем окружающие его люди. Но если он обладает всеми этими достоинствами, ему не нужны никакие пособия. Пособия пишутся не для одаренных. Советы необходимы серым середнячкам - бездеятельным, ленивым и непривлекательным тугодумам, на которых нельзя положиться в серьезном деле. Но ведь они - граждане демократической страны. Поэтому у них тоже есть право на успех” (там же, с. 62 - разрядка наша - В.Б., Ю.С., В.Ч.).

Более того, С.Паркинсон вполне демократичен не только в отношении субъекта успеха, но и форм и видов деятельности, ориентированной на успех. “Кто-то дал свое имя экзотическому цветку, кто-то написал бессмертное стихотворение. Кто-то удивительно долго жил на свете или в детские годы стал знаменитым музыкантом. Успех может принимать разные формы” (там же, с.61).

В то же время автор вводит и ограничения: “читатель не должен надеяться на то, чего заведомо не получит”. Во-первых, “если его интересует успех, описанный в предыдущем абзаце - шикарный автомобиль и вилла, - книга поможет ему. Если же он думает о награде за пределами этой жизни или даже о посмертной славе в этой, ему нужны другие советчики. Автор не знает, как добываются мученические венцы”. Во-вторых, для него успех - “материальное и совершенно земное понятие.” В то же время “не следует воспринимать это чересчур грубо. Человек, живущий хорошо, живет не только богато. Богатство без уважения, без любви людей, да еще приправленное смиренным крохоборством, оборачивается жалким прозябанием. Преуспеванию обычно сопутствуют деньги, но для подлинного успеха надо проникнуть в высшее общество, причем так легко и свободно, словно вы принадлежите к нему по праву рождения...” (там же, с. 61-62).

Своеобразный портрет человека успеха отражен в компендиуме “философии преуспевающих” Н.Энкельмана [4]. Среди его характеристик (вроде того, что “преуспевающего человека узнают с первого взгляда. Сразу видно, что в нем “что-то есть”, чувствуется, что он несет в себе творческий заряд”, что “у него открытый взгляд; уже после первых его слов ясно, что он способен добиться превосходных результатов”, что такой человек “принадлежит к людям, которые рано или поздно с неизменной уверенностью поднимаются к вершинам”, и т.п.) с точки зрения нашего очерка интересны такие черты: “он оваян определенным духом; это дух инициативы, мужества и радости труда” и “он верит прежде всего в движущую силу, которая исходит от великих целей”.

А вот несколько версий отечественного портрета человека успеха. Правда, первый из них, скорее, портрет-антипод, это черты человека, отторгающего

модель успеха, - прежде всего, успеха в его связи со смыслом слова “успеть”, - но, тем не менее, представляющий материал, вполне соответствующий нашей задаче.

Речь идет о рассуждениях Г.Гачева на тему “Я - советский человек. И не знаю другого образа...” (НГ, 29.01.94). Автор пытается дать себе и читателю образ “советского отпечатка” в себе, проявление “космоса советской цивилизации”: “вглядываясь в себя, я познаю организм, выросший на почве и в среде этой цивилизации, а значит - и ее саму в некотором аспекте”.

Вспоминая советские времена, Г.Гачев отмечает, что советский человек был ограничен в *Пространстве* - *каждый* не мог ездить за границу, а человек Запада хотя и не ограничивался в Пространстве, “зато - раб Времени” (автор напоминает, что формула “время - деньги” является основой западного стиля жизни). “Мы же более сразу в свободно-человечески-жизненном стиле Времени на советчине обитали: не убивались на работах, дрожа за завтрашний день, *не имели* стрессов и спешки, *и критерия “У-СПЕХА” обязательного* (разрядка наша - авторы). “Хочешь жить - умей вертеться!” - это их принцип. А у нас можно было жить - не суетясь и не вертясь: не прытко, а плавно, в темпоритме собственного достоинства, даже если не богат ты”.

“Да, я как советский человек, - продолжает свои сравнения автор, - с замедленными реакциями, не приспособлен к состязанию-конкуренции Рынка. Но зато приспособлен к тишине, сосредоточенности, вниманию - Бытию, Духу, Красоте, Творчеству. “Служение муз не терпит суеты”, а ситуация - атмосфера Рынка и *гонка за успехом - это зуд и суета, мелочное раздражение и волнение*” (разрядка наша - авторы).

Примечательно, как главный редактор журнала “КомаNDор” А.Кучеренко во вступительной статье ко второму номеру за 1993 год рассказывал, что после первой разведывательной акции одноименной с журналом газеты - заявления о том, что российские яппи (то есть молодые городские профессионалы) существуют, - журнал нашел неожиданно для него самого множество подтверждений этому факту. Неожиданно - не из-за неверия в то, что в России пришло время нового поколения - “молодых и амбициозных, делающих свое собственное дело вне зависимости от того, что сегодня утром сказал телевизор”, а лишь в том смысле, что делают свое дело “уже сегодня, и не один-два, а все больше и больше”.

На свой же собственный вопрос “Откуда они взялись?” автор отвечает: “оттуда, откуда мы их и ждали. Это - люди поколения, которым уже не обещали даже коммунизма. Они прочитали все, что нужно, выучили все, что оказалось ненужным, и встретили новую российскую эпоху с твердым знанием: нет ничего ценнее их самих. И нашей свободы. А свобода там, где самостоятельность. Поэтому молодые и амбициозные сами, без протекции, занимают места, связанные с ответственностью. Те места, где “back stops here” - по любимому выражению президента Трумэна, взятому из карточной игры, это

значит, что игрок не переадресовывает ход следующему по часовой стрелке, а отбивается сам”.

На не заданный самому себе вопрос о том, кого именно можно отнести к яппи, автор отвечает: “яппи - это первое лицо в фирме; человек, возглавляющий какой-либо участок ее деятельности и сам принимающий на нем решения - тоже яппи. И просто предпринимательство, и производство, финансы, реклама, сервис - вы никогда не замечали, как много молодых и вполне профессиональных мужчин и женщин двигают вперед эти сферы?”.

И, наконец, предупреждая вопрос о “моральном облике”: “Конечно, некоторые черты в яппи могут показаться малопривлекательными. Они, видите ли, эгоисты до мозга костей. Мало того, они еще снобы, пижоны, деспоты для подчиненных, у них узок кругозор и безграничное самомнение. Ничего себе, героев мы воспеваем? ...Есть еще очень милые черты, свойственные именно русским яппи. В России, где идеи всегда были сильнее вещей, они самые настоящие идеалисты в своем эгоизме, романтические приверженцы частной собственности. Потому что для того, чтобы хоть что-нибудь сделать в этой стране, мало быть реалистом. Надо быть командором “в панцире железном”, высаживающим свою экспедицию на незнакомом и зловещем берегу”.

И еще один контурный портрет человека успеха, но созданный методом “от противного”. В статье, посвященной ТВ-героям в той модели успеха, как ее пропагандировал концерн “Гермес”, Ю.Богомоллов зафиксировал противоположность двух типов телевизионно-рекламных героев успеха. Первый - в цикле о Лене Голубкове. Знаменитый “халявщик” Леня Голубков персонифицировал, как нам представляется, модель Удачи. И в этом смысле он оказывается (как мы полагаем возможным интерпретировать Ю.Богомоллова) “меньшим злом”. “И чего все так взъелись на Леню Голубкова... Реклама была дурацкой, наглой, но беззлобной. И даже доброжелательной: простой российский экскаваторщик заработал на скупке и перепродаже акций, купил жене сапоги, хотел прикупить недвижимость в Париже, да раздумал... То была обыкновенная история обуржуазивания российского пролетария (“прола” - по Оруэллу). Сентиментально-комедийная к тому же”.

Собирательный герой “Славянского цикла” концерна “Гермес” принципиально отличается от Лени Голубкова - акционера “МММ”. Отвлекаясь от “буйства красок, бутафорских доспехов, древнеславянского слога и чеканного дикторского громогласия”, Ю.Богомоллов приходит к следующему выводу о природе модели успеха в “Славянском цикле”. “Гермесовский акционер и славянин на поверку - ксенофоб, хвастун, прелюбодей, помешанный на своей богоизбранности, человек, одержимый манией величия и преследования одновременно. *Самоутверждается он тем, что других уничтожает* (разрядка наша - авторы). Ему мало победить в открытом соперничестве, ему надо переспать с женой соперника. Ему недостаточно, чтобы родной рубль окреп, ему хочется, чтобы чужестранный доллар обратился

в тлен. Чтобы американский банкир не просто разорился и пошел по миру, но в лакейской ливрее подобострастно изогнулся перед ним, русским клиентом русского ресторана. Ему особенно хорошо, когда иноверцу особенно скверно” [5]. Выделенного курсивом лаконичного замечания достаточно, чтобы понять специфику описываемой модели с точки зрения сравнения различных образов успеха.

Коллаж? Фоторобот? И то, и другое? Возможно. Но все же вполне отчетливо наметились вопросы, которые стимулируют последующее изложение наших представлений о феномене человека успеха. Но прежде чем эти вопросы сформулировать, напомним известное стихотворение Бориса Пастернака.

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца. [6]

Не грешно ли комментировать стихотворный текст? И все же. Казалось бы, поэт настроен “антиуспешно”. Но мы увидели в этих строках скорее кодекс человека, *понимающего* опасность *вырождения* успеха. Действительно, “цель творчества - самоотдача”, а претендовать на успех, “ничего не знача”, несомненно, позорно. И, конечно, не столько самооценка, сколько оценка других должна помочь отличить поражение от успеха. А главное - жить “без самозванства” и “не отступаться от лица” (вспомним гегелевское “Будь лицом!”).

Но это меньше всего можно интерпретировать как отказ от стремления к достижениям - самоотдача ведь выражается именно в достижениях. И не отказ от признания - лишь бы погоня за ним не стала самоцелью. Мы так прочитали поэта! А вы, читатель?

Итак, основной вопрос в итоге нашего коллажа: можно ли рационально обсуждать проблему успеха вне обостренного внимания к достижительной парадигме деятельности? Нельзя не различать, с одной стороны, удачу, везение, фортуна, а также или патерналистски отмеренную долю благ при всеобщем распределении, или, наконец, просто сам по себе хороший труд и полезный его результат - и, с другой стороны, собственно достижения человека, его личную (или коллективную) победу. Речь идет об успехе (победе), отражающем (а) намеренность достижительной мотивации, (б) эффективность инициированных действий, (в) индивидуальную ответственность как за успех, так и за неуспех, значимые как для субъекта деятельности, так и для общности и общества в целом, (г) оценку цели и средств достижительной деятельности как самим ее субъектом, так и со стороны сообщества.

Собственно, этой проблеме посвящена большая часть наших предшествующих и последующих рассуждений. В сжатом виде мы попытаемся предварительно сформулировать свой подход в следующем фрагменте этого параграфа.

Но прежде - еще одно замечание. Операции с размытыми понятиями привлекательны лишь до определенной поры. С самого начала не может не вызвать настороженного отношения расплывчатость и избыточная экспрессивность понятия “успех”, применяемого в его социально-гуманитарном измерении, - в то время как в прагматических, системологических и т.п. аспектах ситуация с этим понятием, разумеется, прозрачнее. При этом, в рамках социогуманитарного подхода, несколько меньше тревожит неопределенность понятий “деловой успех” и “профессиональный успех” и намного больше - обращение к трудно операционализируемому понятию “жизненный успех”.

Весь категориальный ряд понятий, с помощью которых познается феномен успеха, особенно жизненного успеха, относится к числу понятий,

сущностно оспариваемых (по определению У.Б.Гэлли): их значения и критерии применения постоянно открыты для обсуждений и пересмотров, их содержание не определено и, возможно, неопределимо в принципе. И это относится к большинству понятий, обращенных к мировоззренческим аспектам жизнедеятельности человека (призвание, назначение, замысел жизни, смысл жизни, жизненный проект, счастье и т.п.).

В то же время такая констатация не означает эпистемологического пессимизма, бесперспективности обсуждений и поисков взаимоприемлемых - для всех участников дискуссий - мнений. Впрочем, дорогу осилит идущий!

*У состоявшегося человека
есть своя модель переживания успеха.*

Успех - это качество человеческой деятельности, характеризующее такие ее структурные элементы, как смысл, мотив, цель, средство - а не только результат, как это нередко представляется. При этом отрыв аксиологического и праксиологического измерений друг от друга провоцирует как социокультурный, так и собственно нравственный риск отчуждения (смысла - от результата, ценности - от эффективности, добра - от пользы и т.д.).

Человек успеха ориентирован не просто на утилитарные цели, но на вдохновляющие цели экзистенциального свойства, цели, принадлежащие к уровню базовой ценности человеческого существования, цели, вполне способные встать в ряд с такими основными феноменами бытия человека, как труд, игра, любовь, смерть, господство. Поэтому успех не может не быть самоценной мотивацией человеческой деятельности, благом среди благ.

И все же подчеркнем еще раз, что успешная деятельность акцентирована рационально осознанным стремлением именно к достижениям. При этом достижениям, поддающимся измерению с помощью достаточно объективных критериев оценки, характеризующих жизненный путь человека вообще, ситуацию его нравственной жизни - в том числе и особенно.

“УСПЕВАТЬ, успеть в чем, иметь успех, удачу, достигать желаемого... Успеть куда, поспеть, быть к сроку... Успешное дело, с успехом, удачное. ...Успешник - успешный делатель, у кого работа спорится”. Так определяет успех словарь В. Даля.

Выделим первый штрих: в словаре Даля ведь нет самого слова “успех”. Вместо (!) него - *успевать*. Успешен тот, кто *успел*? Успел достигнуть желаемого? Всего, что желал? “По жизни”, видимо, так и есть. Но для нашего исследования важно еще и мировоззренческое содержание успеха: “успеть” в чем?

Интересно в этой связи наблюдение журналиста М. Поздняева [7]. “Накануне осени, в праздник Успения пресвятой Богородицы, выходя из храма Успения в Гончарах”, недалеко от своей редакции услышал он от сидящей на паперти старушки: “С успехом тебя!”. “Возможно, - рассуждает автор, - на бабкин слух так звучит слово “Успение”, а, возможно, она порадовалась, что служивый в тревогах мирской суеты не забыл-таки в светлый день в церкву

зайти. Но с этим ее пожеланием как вышел на улицу, так до сих пор и хожу”. Ходит, потому что подумал: “УСПЕТЬ - не смысл ли это жизни? ... Успеть - то, для чего рожден. А потом сложить успокоенные руки. Поза Богородицы на иконе Успения...”.

Выскажем полемическое возражение такому образу успеха, который выражен уже в названии этого текста. “Привычное дело успеха” - называет журналист свой очерк. И рассказывает о ситуациях вполне патриархального образа жизни. “Спасибо, милая старушка, за поздравление. Только я, грешник, его не заслуживаю. Не управился до праздника со своим квартирным ремонтом. И, кажется, малость осталась: кой-где подкрасить, кой-чего прибить, шкафы собрать, книжки расставить ... но разве ж это малость - для тех баб и мужиков, что на фотографиях Руслана Ямалова (текст иллюстрирован этими фотографиями - авторы), для моей малочисленной деревенской родни, для живущих во всех наших селах и деревнях: они - успели, я - нет...”. И тем, кто еще “не успел”, автор дает совет: “приглядитесь к башкирским землякам фотографа Руслана, подумайте о своей родне, обо всех, кто нас кормит, для кого успех - привычное дело, а не лотерея либо ловкая банковская операция. Успеха всем - не такого, от которого голова кругом, а такого, когда, греясь на завалинке на остатном сентябрьском солнце, вдруг произносишь вслух: “Вот и лето прошло. Слава те, Господи!”.

Да, вполне спорен распространенный тезис о том, что Америка - это страна “шумного” успеха, а Россия якобы - страна успеха “бесшумного”. Скорее, и там, и тут “шумят” нувориши, люди, еще не уверенные в прочности своего положения. И все же “тихость” - еще не обязательно именно успех, привычка может быть трудовой, но при этом без осознанной ориентации на ценность успеха, без установки на *достижение*.

В современных психологических работах, наряду с исследованиями способности человека ставить жизненные цели, зависимости полноты самоосуществления от этой его способности (Ш.Бюлер), и антигомеостатической идеей самоактуализации как результата осуществления смысла (В.Франкл) и т.п., в два последних десятилетия на приоритетное место вышла проблема *мотивации достижения* [8]. Исследователи выделили *синдром “потребность в достижении”*.

Так, в классическом труде Дж.Аткинсона “Введение в теорию мотивации” различается стремление к *достижению успеха* и стремление *избежать неудачи*. И то и другое автор характеризует, во-первых, с точки зрения определенной силы, зависящей от интенсивности стремления к успеху, степени опасения неудачи; во-вторых, с точки зрения вероятности успеха и неудачи, которая зависит от степени подготовленности индивида и указывает на трудность достижения поставленной цели; в-третьих, с точки зрения ценности и привлекательности успеха и неудачи - чем больше вероятность успеха или чем легче задача, тем менее ценен успех и, наоборот, с уменьшением шансов на успех растет его привлекательность [9]. На основе этой теории современные исследователи предлагают строить прогнозы поведения индивида с

определенной силой того или иного стремления в выборе задач с различным уровнем риска [10]. Без освоения такого рода исследований трудно составить современное представление о феномене успеха - в его отличии от труда, хорошей работы, эффективной деятельности, значимого результата и т.п.

Состоявшаяся личность (“*Состояться*, исполниться, сбыться, свершиться” - В.Даль). В этой характеристике, на наш взгляд, суть образа человека успеха. В сегодняшней ситуации состоявшийся человек - это социально-нравственный тип прагматически ориентированного профессионала, который, не соблазняясь манящей славой шумного успеха, именно своими достижениями заслужил право именоваться таким эпитетом. И нет в этой оценке ни проворной погони за славой, ни “счастливого случая”, чудотворного везения. Профессиональный успех долговременен и, безусловно, является уделом личного выбора и ответственности. Особо значимо то, что “состоявшиеся” достигли достаточно ощутимых результатов в жизни, чтобы задуматься о будущем всей страны.

В чем, например, состоялся успешный педагог? “В личностях учеников. Они пошли по миру дальше учителя, но от того, что ученики оказываются сильнее его, мудрее его, умнее его, он испытывает сорадование”. Поэтому “критерий сорадования - это принципиально важный критерий профессионала”. Не привычное сострадание в беде - к этому многие способны, но именно *со-радование*. “По сути дела, сорадование поколению других людей - это критерий профессионального сообщества педагогов” [11].

В том же экспертном опросе его участник предприниматель О.В.Киселев считает своим успехом то, что он родился “не слишком рано и не слишком поздно”: “это главный мой успех: родился *вовремя*”. “А может быть это все же удача?” - спрашиваем мы эксперта. “Вполне может быть, - отвечает О.В.Киселев, - но тогда “пусть это будет удача, которая является как бы основой успеха”. В чем же конкретно заключается удача? Удача нашла человека, *стремившегося состояться*. “Я чувствовал в себе достаточно сильный, как я сейчас только понял, частнособственнический инстинкт. Но не в смысле инстинкта накопительства, - я не считаю себя жадным человеком, - а в том смысле, что во мне росло очень сильное желание вспахать свое собственное поле. Свое, и чтобы никто на это не посягал. Неважно, чем я его засеваю, хотя бы и ананасами - в Рязанской области - фигами, финиками. Это мое, и я хочу иметь результат своего труда. ...Я мог двигаться как мне хочется. И я выбрал для себя свободный полет” [12].

Состояться - значит *успеть* состояться. И потому справедливым будет весьма взвешенное отношение к уверенному тезису “лучше поздно, чем никогда”. Представляется уместным замечание И.Ведина о том, что эта поговорка имеет смысл лишь при трех оговорках. “Во-первых, не так уж редко бывает, что лучше как раз никогда, чем поздно. Во-вторых, если действительно поздно, так уж лучше никогда. Наконец, как это знать, уже поздно или еще не поздно? И кому это вообще дано знать? Разные могут быть варианты соотношения жизненного старта, промежуточных и конечных результатов” [13].

Но не следует ли из того, что тот, кто “успел”, чуть ли не автоматически заражен психологией временщика? Как раз напротив. А для подтверждения нашего тезиса вернемся еще раз к портрету состоявшегося педагога, каким его представил в уже упомянутом экспертном опросе А.Г.Асмолов. Эксперт рассказывает о своей работе под Уфой в Белорецке, где столкнулся с людьми, работающими над программой “Одаренные дети”. “И во времена Брежнева, и во времена Горбачева, и во времена Ельцина Роман и Вениамин Хазанкины, уникальные учителя-новаторы, развивали культурно-образовательный комплекс, выращивая ребят-математиков из самых разных городов и сел Башкирии. И это не просто ребята, которые всегда брали призовые места; на наших глазах вырастает могучий слой интеллигенции.

Прагматичны ли Хазанкины как миссионеры и новаторы образования? Да, прагматичны. Ориентируются ли они поэтому на цели, совершенно не временные? Да. И я выделяю эту особенность их цели: вневременной характер. Если сказать жестче - отсутствие психологии временщиков. Для рассматриваемого в моей экспертизе слоя профессионалов в сфере образования характерно, что этот слой (он - опора в культуре) несет свои идеи и цели всерьез и надолго” [11, с.71-72].

Автор говорит о состоявшихся педагогах, об их профессиональном успехе. А как связаны такие виды успеха, как жизненный, деловой, профессиональный?

*Жизненный успех:
возможно ли “главное содержание”?*

Многообразие сфер жизни, в которых человек хочет и может преуспеть, очевидно, как очевидна и возможность самых разных классификаций этих сфер. Приведем здесь в качестве примера два подхода, весьма типичных для советской и зарубежной классификаций.

Большинство людей колеблется при ответе на вопрос, что в жизни они считают важным, отмечает немецкий психолог Вера Ф. Биркенбиль. “Множество аспектов жизни проносится у них в голове, но прежде чем они успевают их назвать, в сознании появляются уже другие... Но когда ставится вопрос: “Как идут ваши дела?”, мы обходим этот механизм. В этом случае ваш ответ автоматически относится к одной или нескольким наиболее важным сферам жизни”. Поэтому автор предлагает человеку, стремящемуся к успеху, соотносить желание иметь успех с такими ключевыми, на ее взгляд, областями жизни: здоровье, хорошее самочувствие; настроение в данный момент; актуальная финансовая ситуация этого человека; семья, друзья, партнеры; возможность заниматься интересным делом; ощущение успеха; прочее [14].

Обратим внимание как раз на “прочее”. Предлагая читателю самоопределение к названным шести пунктам, допуская выбор сразу нескольких из составляющих перечня, этот пункт читателю предлагается сформулировать самостоятельно (“Для меня успех в жизни означает главным

образом ...”). А так как читатель этой книги сам решил, что для него важно, “это не составит труда” (с. 10).

Рассматривая основные трудности в обсуждении вопроса “Успех в жизни: подлинный и мнимый”, И.Ведин отмечал, что не только понятие “успех”, но и понятие “жизнь человека” многослойно: деятельность трудовая и общественная, политическая и культурно-бытовая, “наконец, личная жизнь”. И полагает, что конструктивность оценок требует, чтобы речь шла не об успехе “в отдельных, наугад взятых видах деятельности”, а об успехе “в тех видах деятельности, которые составляют *главное содержание жизни*”. А так как “главное содержание жизни одного человека может составлять то, что не только главным, но и второстепенным содержанием для другого человека не является”, И.Ведин приходит к выводу о том, что вопрос об успехе в жизни - это “в сущности, вопрос об успехе в той ее сфере, которая *объективно*, а не в нашем воображении, является главным смыслообразующим фактором человеческой жизни и деятельности” [13, с.32-33].

В этой связи попытка проявить критерии *подлинного* успеха, акцентировать часто незамечаемые человеком *другие измерения* жизненного успеха приводит автора к проблеме человека-неудачника, сочетания объективного и субъективного в оценке жизни как неудавшейся. Так, профессор Любищев (повесть Даниила Гранина “Эта странная жизнь”) сам себя оценивает как неудачника, но, как пишет Гранин, “Любищев называл себя неудачником, и при этом он чувствовал себя счастливым человеком. От чего возникает ощущение счастья? У него, наверное, от полноты осуществления себя, своих способностей”.

Только один комментарий к подходам, представленным в работах В.Биркенбиль и И.Ведина, комментарий в виде риторического - риторического здесь, пока, до его обсуждения в специальном фрагменте Вводного раздела - вопроса: а можно ли обойтись без *главного содержания* жизненного успеха и при этом не уйти от субъективно принимаемых и общественно одобряемых критериев?

Скорее важен вопрос о преодолении скептического, а то и вовсе негативистского отношения к самой теме жизненного успеха в нашей идейно-воспитательной сфере. Очевидно, что закон успеха Паркинсона, трактуемый автором через “умение жить”, для еще недавно доминирующей отечественной идеологии звучал скорее как “антизакон”, ибо загружен негативными для коммунистической морали смыслами. Ведь сегодня мы еще только начинаем привыкать, что для морали гражданского общества слова “*умение жить*” избегаются от трактовки в духе сугубо циничной, откровенно эгоистической стратегии жизненного успеха и в действительности связываются прежде всего с мерой овладения человеком наитруднейшим из искусств - “искусством жизни”. Привыкаем, но с трудом.

Еще не так давно рубрика “Литературной газеты” с характерным названием “Успех в жизни - подлинный и мнимый” (№№ 25, 29, 30, 34 и т.д. за 1981 г. и №№ 5, 10, 14 и т.д. за 1982г.) с большим трудом пыталась бороться за

моральную реабилитацию понятия “успех”. Так, например, предметом полемики оказался фактически вопрос о соотношении личных и общественных интересов, а прагматическая составляющая проблемы акцентировалась лишь вокруг нравственных достоинств людей непрактичных, обреченно проигрывающих в борьбе со злом, лишенных предприимчивости и т.п. Иначе говоря, если вопрос “как?” и ставился применительно к успеху, то имелись в виду судьбы людей, проигравших в борьбе.

Разумеется, и этот ход вполне правомерен. Так, драматург А.Гельман обратил внимание на нравственную позицию людей, потерпевших поражение, - они “обращают поражение в опыт, в новую энергию, в бойцовскую мудрость. Они становятся еще более последовательными и несгибаемыми противниками лжи и несправедливости, корыстолюбия и невежества” [15].

Примерно в то же время считалась образцовой своеобразная критическая позиция по отношению к зарубежной “науке успеха”. Эту позицию стоит процитировать. “В Соединенных Штатах Америки издана книга под названием, кажется, “Сто путей к успеху”. Не берусь судить о достоинствах и недостатках ее советов - книги той не читал, - но сам факт, что путей так много, свидетельствует о явной ненадежности, маловероятности, исключительности каждого из них. А у нас путь всегда один, зато очень верный: с достоинством шагать по жизни, чувствуя пульс времени, откликаясь на заботы страны, много и честно трудиться - и, несомненно, придет успех”, - писал А.Салуцкий в книге с характерным названием “Уметь жить!” [16].

Оставим эту инвективу без комментариев.

*Симметрия и асимметрия
делового и профессионального успеха.*

От попыток понимания места жизненного успеха в системе ценностей, в самореализации личности, ее духовном возвышении (“карьеру духа” и общественное богатство) перейдем к выделению из интегрального понятия жизненного успеха понятий успеха делового и профессионального.

Прежде всего следует отметить справедливость замечания Л.А.Аннинского, который в одном из наших экспертных опросов заявил, что “жизненный” успех в России с “профессиональным” и “деловым” как бы “разъезжается”, потому что “от века на Руси легче было друг с другом “по жизни” договориться, чем “по делу” сотрудничать. Профессия тебя из кучи выделяет, кучу расслаивает, структурирует; профессия холодна и безжалостна. А жизнь в кучу вваливается, в теплую, живую, стадную, нерасчлененную, спасительную. Пропадать - так уж всем миром” [17].

А теперь акцентируем вопрос о симметрии/асимметрии делового и профессионального успеха. Точнее - именно об асимметрии, более распространенной в современной отечественной практике. Так, по мнению одного из экспертов нашего консультативного опроса об успешном профессионализме Ю.В.Казакова, “расхожая формула “деловой успех” практически вытеснила из языка успех именно профессиональный” [18]. В

своей гипотезе автор предполагает, что “в экстремальной полосе смены эпох, слома старой социокультурной модели, выяснилось, помимо прочего, что “деловой” успех - не симметричен (и тем более не идентичен) профессиональному. С точки зрения ценностей эпохи “перехода” “деловой успех” - это успех в том конкретном деле, которым ты сегодня обеспечиваешь себе как минимум сносную жизнь: независимо от того, в своей ли профессии “вкалываешь”.

“Деловой” в современном лексиконе, особенно молодежном, - это “достигший” или “способный достичь” определенного уровня: силы, влияния. Не обязательно интеллектуально подкрепляемого, но замешенного на воле иметь деньги, намерении и умении делать именно их, делая “нечто”.

Именно превращение денег, видимого “богатства” (пусть и в начальной его, нецивилизованной форме) из фактора, сопутствующего успеху, в фактор “критериальный”, определяющий само присутствие успеха (а с ним и моральное самочувствие, положение в обществе, степень независимости) как зримое, осязаемое мерило незрешности усилий индивидуума, - провело резкую черту между “деловым” и “профессиональным” видами успеха” (с. 56).

Разумеется, эта ситуация не отменяет полноценного содержания Дела и делового успеха как такового. Характеристика современной цивилизации как *цивилизации достижений*, акцентирование в такой цивилизации места ценностных ориентаций на жизненный успех и успех деловой, значимая роль конкурентных, соревновательных и кооперативных начал в обществе развития и риска возвышают служение Делу и ответственность перед ним. Дело в таком подходе погружается в контекст агональных культур, актуализируется библейская и вообще религиозная традиция, особое внимание принадлежит Делу в духовном контексте модернизационного процесса.

Вместе с тем Дело неразрывно связано с генезисом профессии, с профессиональным Призванием и Успехом на этом поприще, так как из этой лакуны прежде всего и вырастает Этика делового успеха. Наиболее выразительно природа делового успеха проявляется в политической жизни, в деятельности хозяйственной (труд вообще, предпринимательство особенно), профессиональной, в управлении, в комплексе социально-педагогической деятельности.

Исследование российской модели делового успеха - задача, которую еще только предстоит решить. Но уже сейчас несомненно, что невозможно эту модель вырвать из общецивилизационного - исторического и современного - контекста. Этот тезис относится как к классическим, так и к неклассическим идеализированным моделям успеха, как к локальным (национальным и региональным), так и к универсальным.

В этом плане еще предстоит заново познать не только парадигмальную смену доктрин успеха на протяжении двух последних столетий, секуляристское и религиозное оправдание материального успеха через концепцию Служения и т.д. Наряду с западными образцами делового успеха (протестантская этика, “американская мечта” и т.п.), предстоит исследовать и модели незападного происхождения. Проблема - диалог культур, соотнесение культуроцентризма в

формировании различных образцов успеха с универсальным субъектом выбора в гражданском обществе. Особое значение имеет внутренняя динамика культуры делового успеха в связи со становлением постиндустриальной, информационной, глобальной и т.п. цивилизации, о чем еще предстоит разговор в шестой главе.

Мы исходим из того, что современные отечественные модели делового успеха наследуют дооктябрьскую и советскую традиции. Исключительно важно понять нарождавшиеся в дореволюционной России модели успеха, философию хозяйствования в контексте различных этноконфессиональных культур. Мало изучены и противоречивые ориентации на Дело в границах советской истории: с одной стороны, они связаны с культом пассивной исполнительности, с другой - с активистскими идолами успеха. Но это только полярные позиции, не исчерпывающие всего континуума. Среди важнейших тем поиска - идеологемы коллективного успеха и место индивидуалистических моделей в патерналистски ориентированном обществе. Многого мы не знаем о “науке успеха” в административно-командной системе. О мифологии бесчисленных починов, о морализаторском кретинизме официальной идеологии успеха, о нравственных коллизиях “бескорыстных преступников”, о конфликтах “нового освоения” и т.п.

Разумеется, современная отечественная история - центр внимания необходимых исследований. Способны ли сегодняшние и завтрашние триумфаторы вынести бремя генов советской модели успеха? И более трудный вопрос - о пределах проницаемости общецивилизационной ценности успеха в современный российский менталитет в обстоятельствах мифологизации рынка, доминирования посреднического капитала над производительным, неразвитости политической культуры.

Особая проблема - процесс *культивирования* ценности успеха. Здесь интересны и причины популярности карнегинства, и аргументы сторон в полемике по поводу тезиса о том, что “православию не годится протестантский капитализм”, и проявления “деидеологизации” Дела в программах современных “школ успеха”, и многообразие сценариев постперестроечных установок и критериев успеха.

*Профессиональный успех как
универсальный мотив самоидентификации мобильной личности.*

Переходя к проблеме профессионального успеха, обратим внимание на то, что сегодня “профессионализм” и “успех” - понятия, которые мы в их отдельности столь часто и с такой непринужденной легкостью используем в обиходной речи, в своем сочетании нередко воспринимаются как чуждый нашему уху языковой феномен.

Возможно, причина этого в том, что достижение профессионального успеха хотя и рефлексировалось в нашем “советском” обществе даже в качестве витальной ценности, но сопровождалось таким количеством социальных преград и табу, что этот, вполне нормальный для цивилизованного общества,

смысложизненный идеал был подвергнут кардинальной гиперсоциализации и, в конечном счете, выродился в причудливый этатистский псевдоканон, лишенный как метафизических оснований, так и всякого смысла для приватной жизни людей.

Критерии успешности и профессионализма формировались не в профессиональных сообществах, а спускались как бы “сверху” и “по инстанциям”. Стандарты успешности и профессионализма были, во-первых, заниженными (условно говоря, довольствовались “тройками”, даже не “четверками”), что обуславливалось экстенсивностью модернизационных процессов и разрывом традиций интеллектуализма. Во-вторых, стандарты успешности и профессионализма были сугубо эзотеричными, но никак не универсальными, и аккумулировались они в области “государственного человека” (по метафоре Андрея Платонова), лояльность которого к власти и господствующей идеологии была условием куда более значимым, чем любые имманентные и эксплицированные достоинства его профессиональной культуры. Отсюда и индивидуальный успех оценивался подчас с неизменной оглядкой на мнение тех, кто отвечал за “здоровый дух” в обществе, а в народном мнении иногда воспринимался в категориях несправедливого и незаслуженного возвеличивания одной личности над остальными. В результате тот, кто и заслуживал высокой оценки с точки зрения профессиональных успехов, всячески старался свои успехи не очень-то демонстрировать, а тот, кто праведными и неправедными путями все же умудрялся снискать (объективно незаслуженно) такой оценки у власть предержащих, чаще всего не получал апробации этой псевдооценки в своем профессиональном окружении. Словом, смысл и значение понятия “профессиональный успех” если и не были кардинальным образом окончательно извращены, то, фактически, всегда “симулировались” как в рамках всего общества, так и в узколокальных профессиональных кругах. Долго так продолжаться не могло.

Нормально устроенное современное общество выдвигает ценность профессионального успеха в число наиболее значимых социокультурных установок человека. В таком обществе профессиональный успех выступает не только универсальным критерием оценки любой личности, но и универсальным социопсихологическим мотивом и первоосновой для полновесной самоидентификации мобильной личности.

Вряд ли кто усомнится в том, что трансформация сегодняшнего российского общества представляет собой нечто большее, чем деформацию старого “советского” общества, хотя, видимо, еще долго будет реализовываться стратегия именно деформации. По крайней мере, до тех пор, пока самым принципиальным образом не начнется переоценка ценностей и культурных стереотипов, бытующих в нашем посттоталитарном пространстве. И этот процесс уже идет: общество действительно обретает новое качество, освобождаясь от незатребованного современными условиями “старого” культурного багажа. Вероятно, что *реабилитация* ценностей успешного

профессионализма должна стать в этом процессе одним из приоритетных направлений [19].

*Удачливым ты можешь и не быть.
Успешным быть - обязан.*

Соотношение *успеха* и *удачи* как одна из важных линий в характеристике феномена успеха может рассматриваться в нескольких аспектах. Один из них - характеристика неудачи. Во-первых, неудача может трактоваться как временный неуспех, что позволяет говорить о “неудаче как стратегии успеха”, об “энергетике неуспеха”, о “молодости как метафизической неудаче” и т.п. [20].

Во-вторых, “неудача” может трактоваться как положительный итог намеренного и принципиального уклонения от ориентации на успех, от стратегии успеха. Например, свои критические размышления о нравственном смысле успеха Н.Покровский начинает с понятия ... “неудачник”. “Прямо фантастика какая-то: какую газету или журнал ни откроешь, всюду статьи, авторы которых несколько обиженно, но не без скрытого пафоса защищают эту самую стратегию успеха и столь же затаенно-обиженно не понимают, почему еще не все полностью разделяют их глубоко позитивное восприятие достижений последних лет”.

А об “удачниках” и “неудачниках” еще нужно поспорить, - полагает автор. “Не так все здесь однозначно. Совсем не однозначно, как нас порой хотят уверить”. “Вот, например, Обломов, разве он неудачник?” - спрашивает Н.Покровский, не выделяя разницы между “уклонистом” от успеха и собственно “неудачником”. “Прожить жизнь, не совершая подлости, не во лжи, разве это неудача? Конечно же, все хорошо известные обломовские недостатки и пороки были продолжением его достоинств. Это верно. Кто будет с этим спорить! Но ведь были, в конце концов, и достоинства. И были они в нем сильны”.

Стремясь предложить альтернативную распространенной формуле “успех - богатство - власть - известность - популярность” свою собственную, автор представляет ее так: “постарайся не быть подлецом, невзирая на обстоятельства, которые постоянно толкают тебя в направлении подлости. Вот вам вариант формулы успеха. Все остальное, право, сиюминутно, временно” [21].

Далее, возможна трактовка *удачи* как такого успеха, который не является ни плодом свободного выбора, намеренности субъекта, ни результатом эффективной реализации его достигательной ориентации, а возникает как объективное стечение обстоятельств, как фортуна и т.п. Для разведения понятий *успех* и *удача* в этом последнем случае обратимся к специальному исследованию российских архетипов успеха.

В размышлении на тему “Обретший и сподобившийся: успех и удача” В.Г.Иваницкий показывает, что успех и удача этимологически не равны: удача либо есть, либо нет (в корне - “дать”, ср. “само далось”), успех же связан со сроком, ибо происходит от слова “спеть” (ср. “спелый”, “поспевать”), что

указывает либо на зрелость человека, либо... на умение быть расторопным, первым при раздаче благ (“В должном месте в должное время”).

“Но ведь везенье - фатум. Можно и никуда не бежать: “На тихого Бог нанесет, резвый сам набежит...”. “Избраннику” успех ни к чему: у него уже есть удача, ему - не к спеху. Емеля: “Я ленюсь!” Кто же он? Такой же царь, как Иван-царевич. Налицо два сценария избранничества: искать себе царства за тридевять земель, стремиться к успеху или положиться на удачу: царство само найдет избранника” [22].

Наконец. Мы уже обращали выше внимание на зафиксированный в исследованиях Ю.А.Левады [23], прямо включающих один и тот же вопрос респондентам: “Что нужно, чтобы добиться успеха в жизни?” в опросах ВЦИОМ 1988 и 1992 гг., вывод о том, что частота ответов “упорно и целеустремленно работать” резко - с 45 до 32 процентов - снизилась, а частота ответов “уметь вертеться” столь же резко выросла. Интересно в этой связи рассуждение автора исследования способов и стилей достижения жизненных целей В.С.Магуна [24] по поводу результатов, полученных Ю.А.Левадой. В статье, посвященной ценностному реваншу в современной России, В.С.Магун отметил девиантные формы проявления сдвига в сторону ценности высокой индивидуальной эффективности деятельности и подчеркнул, что это все же лишь крайние формы вполне “естественного реванша ценностей индивидуальной эффективности, которые были десятилетиями задавлены “затратной” идеологией и моралью, требовавшей от человека упорного труда и высочайшей самоотдачи и в то же время подавлявшей большинство его естественных потребностей и предлагавшей лишь минимум благ для их удовлетворения. Иными словами, речь идет о реванше интенсивных индивидуальных стратегий по отношению к доминировавшим экстенсивным” [25].

Выделим и интересное наблюдение этого автора о символичности распространения в быту современных россиян тележки на колесах: “замечательно, что в этом предмете, основной частью которого является вертящееся колесо, воплощен одновременно и метафорический, и буквальный смысл популярной сегодня жизненной позиции “умей вертеться”. Остается только пожалеть, что в анкетной формулировке (автор комментирует мониторинговую анкету Ю.А.Левады - В.Б., Ю.С., В.Ч.), идущей из прежней эпохи, она выражена в терминах, имеющих отрицательную окраску” (там же, с. 249 - 250).

*Успешность не сводится только
к эффективности и результативности.*

Как известно, всякая человеческая деятельность (хозяйственная, политическая, воспитательная, бытовая, культурная и т.п.), а заодно и функционирование связанных с ней институтов и организаций, носит целенаправленный характер, а стало быть, заведомо “обречена” ориентироваться на достижение какого-то положительного результата. Но

вправе ли мы постфактум автоматически трактовать такой результат в качестве успеха, именовать успехом?

На достижение положительного результата выводят действующие нормы, правила, уставы, регламенты соответствующих организаций, создаваемых, в конечном счете, во имя результативности. Такие нормы и правила носят организационно-технический характер, но на них накладываются некоторые специализированные нормативы (политические, если мы имеем дело с политикой, хозяйственные, если вопрос стоит об экономической жизни и т.п.), а также универсальные нормы морали, у которой нет заповедных полей и которая имеет отношение ко всем сторонам и сегментам человеческой деятельности.

Хотя положительный результат, само собой разумеется, достигается отнюдь не везде и не всегда, однако стремление к нему заложено в механизмы человеческой деятельности как бы изначально, присуще ей по определению. Как магнитная стрелка неудержимо влечется к полюсу, так и человек в своей многогранной деятельности повернут лицом к результату и успеху, стремится к ним - иного ему просто не дано! (Мы абстрагируемся сейчас от проблемы иррациональности в человеческой деятельности, так как рассмотрение ее увело бы нас слишком далеко от темы, а что касается, по шуточному выражению М.Светлова, “борьбы за несуществование”, то за редчайшими исключениями сие не более, чем поэтическая метафора.)

Не очевидно ли, что “результат” и “успех” хотя и весьма близкие, родственные, но вовсе не равновеликие понятия. Все высказанное относительно “обреченности” устремлений к положительному результату не вызывает сомнений в силу своей тривиальности. Но представим себе такую, довольно обычную, ситуацию: кому-то поручено решение некоей задачи, сейчас не важно, какой именно. И если она решена, мы вправе говорить о достижении определенного положительного результата.

Однако нам пока ровным счетом ничего не известно относительно эффективности способа решения данной задачи, затраченных при этом времени и энергии. Только в том случае, когда обретенный результат достигнут по максимуму и при минимуме усилий, дело можно оценить как успешное. Тем более - в случае получения дополнительного, незапланированного положительного результата.

Очевидно: если задача решена в ситуации соревнования участников за лучший результат, победителя ожидают лавры успеха. Тем более, когда решение задачи потребовало не только действий по шаблону, движения по проторенной дорожке, а творческих усилий, ставки на инноватику подходов к делу, на соперничество с помощью социально значимых достижений (организационных, технологических, интеллектуальных, культурных и др.). В таких случаях даже за вполне ординарным результатом непременно высвечивают контуры успеха. Может быть не индивидуального, а коллективного (командного, кооперационного, что предполагает затраты дополнительных усилий, зато сулит и дополнительные результаты), но именно успеха.

Известную роль играет и масштаб событий. Одно дело, если результат существует в виде, скажем, в меру фривольного “успеха у женщин”, совсем иное - деловой успех в предпринимательстве, в крупной политической акции или в солидном научном исследовании. Это применимо и к частной жизни. И здесь успех превосходит случайную удачу, будучи связанным с неким радикальным событием этой жизни, с суммарной оценкой какого-то отрезка жизни, тем самым оказывается соотносимым с таким достаточно безбрежным понятием, как счастье, со всеми смысложизненными категориями.

Итак, успешной может быть только деятельность эффективная и результативная. В то же время - и может быть, самое главное - в качестве успешных (либо не успешных) оцениваются не только праксиологические аспекты человеческой деятельности, не только эффективные и результативные ее акты, но и, прежде всего, аксиологическая “составляющая” целей человека успеха. Такое уточнение означает акцентирование в оценочном содержании успеха “точки отсчета на нормативно-ценностной шкале конкретного социального субъекта, самого индивида - в том числе”. И такая оценка “задает как бы смысловой контекст дальнейших уточнений, касающихся конкретной результативности и оптимальности” [26].

|*Деньги. Статус. Слава.*

Достижительная цивилизация отождествляет деловой и жизненный успех со стяжанием богатства, главным образом в его денежной форме или в соответствующих эквивалентах. Чаще всего имеется в виду обретение политической власти, могущества или высокой оплаты труда, престижа или славы в результате бюрократической, политической, религиозной, военной, артистической, спортивной или иной некоммерческой карьеры.

“Деньги... Статус... Слава...”. Так Р.Хубер, автор книги “Американская идея успеха” [27], назвал первую главу. Пожалуй, нигде, кроме Америки, подобное отождествление не приобрело столь очевидного и даже гротескного характера. Там возник настоящий культ успеха и, по меткому замечанию М.Лернера, американцу гораздо проще установить, *чего он достиг*, чем выявить, *кем он является*. Пусть это кажется наивным и излишне прямолинейным, с точки зрения, допустим, европейца, но факт остается фактом: успех за океаном означает ни много, ни мало как умение “делать деньги”, и постоянно озабоченный реализацией этого умения человек обязан воплотить их в статусе, аккумулировать в престиже, популярности, на что тоже требуются особые умения в области эффективного использования денег, мастерства их инвестирования в систему культурной символики.

В этом случае, подчеркивает Р.Хубер, успех неумолимо *объективен* и даже *безличностен*. Он регистрирует изменения на статусной шкале посредством неравномерного распределения благ всякого рода, включая и культурные. Успех оказывается целью жизни и обретает самостоятельное место в ряду других жизненных ценностей. Успех важен сам по себе, независимо от того, что он дает или способен дать человеку, достигшему успеха, независимо

от результата, от наград, то, что выше было названо благом благ. Успех означает не просто состояние “быть богатым” или же “быть знаменитым” (предположим, получить все это по наследству или в качестве щедрого дара - здесь лучше подходят понятия “везение”, “удача”), а именно самому добиться и того, и другого, с помощью собственных усилий взобраться на верхние ступени социальной лестницы (взлететь с помощью “стратификационного лифта”).

Однако, мало ограничиться констатацией восхождения по ступеням богатства, карьеры, известности, шире - восходящей социальной мобильности. Успех обязательно должен быть признан другими, обрести сертификат общественного одобрения, в том числе в масштабах организаций (корпораций, учреждений, служб) или рассеянных профессиональных сообществ, одобрение со стороны которых не всегда получает широкий резонанс в общественном мнении и тем более не всегда выражено в денежной форме. Не меньшую роль может играть трудноисчисляемое вознаграждение в виде уважения, признания коллег и потребителей профессиональных услуг (авторитет юриста, врача, ученого, инженера, менеджера и т.п.), что укрепляет достоинство личности, усиливает чувство самоуважения.

В необычайно сложной, запутанной социальной структуре современного общества, в профессиональной среде неизбежно образуется столь же сложная, плюралистическая система признаний и вознаграждений. И в ней нелегко разобраться человеку со стороны - трудно адекватно оценить уровень признания успехов того или иного профессионала и “человека организации”. В профессиональной деятельности вообще оказались глубоко рельефными различия между экономическими и внеэкономическими аспектами рациональности, между рациональными и иррациональными факторами детерминации деятельности и ее оценки (эти различия были специально рассмотрены Т.Парсонсом на примере медицины).

При всей объективности успеха, измеряемого подвижной шкалой достижений, он *относителен*, более того - *субъективен*. Относителен в том смысле, что определяется посредством социального сравнения с другими лицами, добивающимися успеха (конкурентами, соперниками, претендентами, соискателями и просто друзьями, знакомыми и соседями). Этот незримый, но мощный механизм действует через постоянное сопоставление рангов и институций, которые присваивают ранги - одни из них более престижны и значимы, другие - менее, публичное признание успеха достигается на разных поприщах достижения, в том числе, как показал Т.Веблен, и в сфере потребления.

Как мы уже говорили, эффективность и результативность вполне измеримы. Что касается успеха, то он и подвластен, но, одновременно, и неподвластен измерениям с помощью объективных критериев. В нем всегда сильно выражено субъективное начало. Успех определенным образом вписывается в контекст жизненного пути личности, используется в системе самооценок, притязаний, самоидентификаций, что придает всей проблематике успеха экзистенциальный смысл.

Такие представления и оценки, понятно, решающим образом зависят от общего социокультурного контекста. Он формирует у личности, групп и организаций мотивы к достижению положительных результатов, к так или иначе поддающимся демонстрации достижениям, успехам. При этом социокультурная среда может влиять на достигательную деятельность с разной степенью интенсивности, создавать для нее символы престижа, размещать ценности успеха в разной степени удаленности от эпицентра аксиологической вселенной.

Социокультурная среда может влиять - инерциально или артикулированно - на достигательную ориентацию, обуславливать либо мультипликацию однажды полученных положительных результатов (традиционные общества), либо побуждать к рискованному поиску новых достижений, выхода на новые рубежи (цивилизация не просто самообеспечения, а развития, технической экспансии, “покорения” природы). Среда способна умножать образы успеха, оснащать модели успеха призывными символами и формулами, выказывая почтительное внимание к частностям “успехологии”, к деталям и орнаментам моделей успеха, привлекая повышенный интерес к, условно говоря, инфра-успешности и ультрауспешности. И притом обязательно вписывая все грани успешности в этнонациональную ментальность.

Америке по этой части нет равных. Культура этой страны многими исследователями характеризуется как ориентированная на личный успех, оптимистическое мировоззрение, рациональное обоснование жизненных предпочтений. Как подчеркивает Р.Хубер, “американцы с самого момента зарождения нации были уверены в том, что Бог хочет от них, чтобы они были преуспевающими. Именно огонь ценностей, освещавший успех личности, раздвигавшей заданные природой и средой рамки, вел человека к успеху. Это можно сказать о любом обществе, но в американском зарабатывание средств к жизни было самым важным способом деятельности. И это было достойным занятием не само по себе, а потому, что было окружено системой ценностей, придававших этому занятию особую значимость. Люди упорно работают за тот или иной вид вознаграждения. Но они гораздо более амбициозны, когда работа, как таковая, несет в себе высшую ценность. Ирония заключается в том, что духовные ценности контролируют материальные. А не материальное порабощает духовное” [27, с.117].

Данное обстоятельство свидетельствует о фундаментальном парадоксе американской жизни. Речь в этом случае идет о напряженном противоречии между *социокультурным*, коллективно-массовым пониманием *делового успеха* в материальных терминах (богатство, транспонированное в статус, в известность), измеряемого по совокупности некоторых вполне исчисляемых и демонстрируемых критериев, и *личностным* пониманием *жизненного успеха* в духовных терминах, выраженным с помощью не всегда поддающихся замерам и зрительному восприятию субъективных критериев, таких как душевный покой, самоотдача, служение людям и т.п.

Данный парадокс несет на себе отражение исторической динамики. Как писал Макс Лернер, американцы обожают “разговоры о деньгах”, но они уже начали отдавать себе отчет в том, что “туда с собой ничего не унесешь” и что есть вещи, которые “за деньги не купишь”. Лернер обращает внимание на то, что со временем успех стал сочетаться с ценностью уверенности, что склонность к риску стала убывать и что с новой силой обнаруживается стремление избегать риска и обеспечить надежность своего положения: речь идет не только об экономических гарантиях, но и о психическом синдроме уверенности в целом. Многие стали весьма осторожно относиться к суровой конкурентной борьбе и традиционному стремлению преуспеть. Мы еще вернемся к последнему сюжету.

| Шкала и номинации успеха.

Исследователи проблемы успеха стремятся расставить акценты на шкале видов и уровней успеха, для чего вычлняются три вида успеха: *успех-признание*, *успех-преодоление*, *успех-призвание* [28]. Продуктивно для характеристики шкалы успеха сравнение шкал американской и русской. В этой связи еще раз обратим внимание на характерное название уже рассмотренной нами выше первой главы книги Р.Хубера - “Деньги... Статус... Слава...”. Что касается трактовки русской модели шкалы успеха, отметим, что наименее значим в данном опыте, по мнению Г.Л.Тульчинского, “успех-признание”, чем этот опыт и отличается от соответствующего как западного, так и “дальневосточного” духовного опыта, хотя, казалось бы, последний еще более коллективистичен, нежели опыт российский. Известность, знаменитость, признание в нравственном отношении оказываются для так трактуемой российской модели успеха ценностями сомнительными. Негативно оценивается стремление сохранить и, особенно, приумножить социальный статус личности, повысить уровень притязаний, так как такое потребовало бы согласиться на существование у личности оберегаемых ею зон свободы и ответственности. Специфичность признания успеха со стороны значимых других заключается также в минимизации роли оценки независимого общественного мнения и столь же независимых оценок экспертов. Гиперболизируется же роль оценок субъектов властной воли или же - напротив - оценок тех, кого власть преследует, кто пострадал от нее.

Как полагает Г.Л.Тульчинский, более значим “успех-преодоление”. Он легко воспринимается как подвиг во имя идеи и “общего дела”. По мнению исследователя, “в этом существеннейшее отличие российско-православной нравственности, например, от протестантской, в которой идея подвига, в общем-то, бессмысленна: ценностью является праведная жизнь (буквально-методически правильно выстроенная) и никакой подвиг не гарантирует искупления и спасения... С другой стороны, российское понимание “успеха-преодоления” порождает мотивацию своеобразного жизненного и профессионального, а то и личностного, каскадерства - вплоть до опасного поведения профессионалов” (цит. соч., с. 25).

Что касается “успеха-призвания”, то, говорит автор, в России он очень трудно отличим от самозванства - исторического и бытового, то есть желания делать других людей счастливыми помимо, а то и вопреки их собственной воле. Между тем, такое самозванство успело стать чуть ли не атрибутом нравственной культуры российского общества.

И для “успеха-признания”, и, вероятно, для “успеха-призвания” весьма значимы еще и “номинации” успеха, принятые в данном обществе. В этой связи привлекает идея Вячеслава Курицина [29]. По его мнению, “свобода - это количество номинаций, по которым ты можешь себя проявить. И представление о том, что эти номинации не обязаны делиться на главные и неглавные”. И, кстати, тех, чей успех относится к “неглавным” номинациям - чтобы такое первенство не было “унылым эзотерическим первенством неудачника-чудака” - общество зовет “в Книгу рекордов, в телевизор, общество сообщает, что причуда твоя интересна не только тебе...”.

Как нам представляется, здесь речь идет, во-первых, о своеобразной логотерапии (“номинаций много - и победителей много, каждому по прянику”) и, во-вторых, о своеобразной версии справедливости для культурных меньшинств (“если ты сам не придумал для себя свежую номинацию, тебе, - пишет В.Курицин, - помогут товарищи. Для таких неумех изобретена идеология политической корректности, которая сообщает, что любые меньшинства имеют столько же прав во всех сферах жизни, что и любые большинства”). В то же время в таком постмодернистском подходе к свободе по критериям “рекордизма” нет экстремизма, ибо автор выделяет и несколько “больших номинаций, традиционно претендующих на абсолютность: Истина, Власть, Деньги...”. Несомненно, номинаций успеха много, каждая из них имеет свою ценность, и люди не обязаны гнаться за общими номинациями и могут сохранить чувство самореализации при любых своих достижениях.

|Кредо и кодекс человека успеха.

Деятельность по правилам *честной* игры - так можно коротко определить задачу такого рода кодекса. Игровая природа успешной деятельности - проблема эвристическая и, одновременно, весьма прагматическая. Субъекты инициативные, предприимчивые, рискованные, обретающие ничем не заменимую радость в погоне за “Госпожой Удачей” через стремление к достижению, черпающие наслаждение от игры шансов как в борьбе, так и в сотрудничестве, в счастье победы и в мужестве восприятия поражения, достойные успеха и способные выдержать его, счастливые в напряжении жизненной игры, осознающие свои способности востребованными ими самими же избранной Судьбой, личным Призванием - герои этой темы.

Естественно, что не только возможен, но даже и необходим известный скепсис относительно конкретизации темы “кодекса успешного человека” к определенным реалиям. Скепсис, который, например, демонстрирует Л.Аннинский. “Какое кредо? Какие правила игры? Да разве ж в нашей буче, боевой, кипучей, это наперед сообразишь? Мы люди эмоциональные, у нас все

“по жизни” выясняется. И правила игры выясняются по ходу мордобоя: чтоб уж, по крайности, ниже пояса не бить. “Кредо?” Ну, это что-то вроде знамени: цветное полотнище на шесте: своих собирать. Нравственные ценности? А это в передыхе между схватками, когда вдруг самих себя жалко делается и противника недавнего - тоже, и, значит, пора идти друг к другу каяться. А минует передых - и за эти самые нравственные ценности - опять в смертельный бой. Так что успех у нас только в одном варианте существует: победа.

Можем ли иначе? Не знаю. Слишком уж надо переродиться. На мой век хватит: торчать меж дерущимися и получать с обеих сторон “непротивленца” и “маргинала”.

Крутой у нас народ. Вся надежда - на задний ум, на природное чувство самосохранения и на звериную живучесть, которая прячется за непредсказуемостью” [17, с.113].

Природа “правил игры” далеко не так технологична и гиперконвенциональна, как это нередко кажется. Правила честной игры - отражение фундаментальных условий культуры достижения. И в ситуации делового успеха, и в ситуации успеха жизненного правила честной игры не просто “профилактируют”, казалось бы, неизбежное зло предпринимательского, политического, управленческого, педагогического дела, но, прежде всего, мотивируют самую ориентацию на успех как служение.

Глава третья

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ ДОКТРИНЫ

Не-алиби в этике успеха

Здесь мы вновь возвращаемся к “моральному измерению” успеха, пытаемся “измерить” успех во всех основных аспектах морального подхода - метафизическом, телеологическом, праксиологическом, особое внимание уделяя венчурному характеру ориентации на успех и амбивалентности этой ориентации, порождающей атрибутивные моральные конфликты.

*Успех как смысл и значение,
долг и ответственность
(моральная метафизика успеха).*

Тема моральной метафизики чрезвычайно актуальна для доктрины этики успеха уже потому, что в самой ее постановке и, тем более, в том или ином ее решении содержится основание, по которому некоторые исследователи русского национального характера определяют его через противопоставление американскому.

В системе жизненных задач американца, как она сложилась на заре XX века - ее приблизительное значение определяется как “культ успеха” - особенно ценится, как подчеркивает Макс Лернер в упомянутом уже выше рассуждении, победа, или, говорит он словами Джеймса Планта, “чего я достиг” против того “кто я есть” [30].

Комментируя подход К.Касьяновой через его сравнение с подходом М.Лернера, Л.А.Аннинский так интерпретирует эти позиции: если “нормальный американец судит о себе по тому, чего он достиг, не слишком смущаясь вопросом о том, кто он есть”, то “нормальный русский мыслит прямо противоположно. У нас не очень важно, чего ты достиг, но все хотят понять, кто ты есть”. Характерно и замечание автора относительно последнего вопроса: “на этот вопрос окончательного ответа, естественно, не найдут, но думать об этом будут неотступно, упирая на то, что есть “Высший Суд”, которому все ведомо” [31].

Легче всего принять это противопоставление, ибо практический опыт нередко показывает, как стремление к успеху вполне может оказаться и отлученным от смысложизненного измерения, начисто лишенным метафизичности. Но неизбежное при этом изгнание ценности успеха из этической доктрины развития России будет, в лучшем случае, заблуждением неведения, ибо успех вполне может и должен быть рассмотрен как своеобразное решение метафизических проблем - смысла жизни, призвания, служения, ответственности и т.п. Потребность быть чему-то сопричастным, тому, что придает смысл человеческому существованию (идея, вера, дело, дети... - дом души у каждого свой), и в этой сопричастности - не быть забытым, потерянным, а быть замеченным, именованным, окликнутым, а тем самым и выделенным,

признанным, дает основание говорить, что и сам смысл жизни, в свою очередь, может быть рассмотрен как выражение представлений об успехе [32].

Разумеется, возможен и необходим разговор о разных пониманиях самого смысла жизни, но не правомерен тезис об его отсутствии в доктрине успеха. В этом плане нельзя согласиться с изложенной выше версией, согласно которой идея успеха - личного в прагматизме, общественного - в марксизме, не связана с проблемой “во имя чего” [33].

Предваряя специальное обращение к концепции М.Вебера в девятой главе нашей работы, отметим здесь, что в своем сравнительном историческом исследовании различных социокультурных типов рациональности М.Вебер вводит категорию “картины мира” и тем самым связывает человеческую деятельность с мировоззренческой проблематикой. Эти картины отличает отношение к миру, который истолковывается под углом зрения определенной его оценки, что задает человеку соответствующий способ действия, поведения в этом мире. Но чтобы иметь возможность тем или иным образом оценить мир и затем каким-то способом отнестись к нему, человек должен был дистанцироваться от этого мира, отыскать точку опоры за пределами мира, дабы взглянуть на него со стороны. Он должен был трансцендироваться из наличной социальности, возвыситься над ней на основе того, что содержится в этом мире, но никогда в нем не осуществляется и служит лишь условием познания и оценки мира и своего места в нем.

Так возникает раскол между человеком и миром, и с высот идеального он оценивает наличный мир, судит его, производит “проекты, замыслы истинной жизни”, иерархизирует ценности, опирается на смыслы смыслов, на ценности ценностей, создает мировоззренческую систему координат. В итоге получается “картина мира” как известное единство когнитивных и нормативных сторон. Прежде всего у Вебера речь идет об этических ценностях, ориентирующих практическую деятельность человека.

Вебер выделил три “картины мира” и три способа отношения к миру, которые предопределяют направленность жизнедеятельности человека, вектор его социальных действий. Первый способ социолог сопрягает с конфуцианством и даосизмом, второй - с индуистским и буддистским, третий - с иудаистским и христианским типом религиозно-философских воззрений. Первый - он определял как приспособление к миру, второй - как бегство от мира, третий - как овладение миром.

Конечно, при желании и в первой, и во второй установке можно отыскать место для понятия успех - достижение в процессе приспособления к миру и бегства от него. Успех будет означать лишь степень реализации основополагающей установки - ее крайний случай. Но это - лишь формальный метод использования понятия. По существу дела ориентация на успех возможна лишь в рамках третьей картины мира и установки на овладение миром - активистской ориентации в этике, побуждающей к деятельности “в миру”, что Вебер называл “внутримирской аскезой”. Напряженная деятельность - на одном полюсе, тогда как на другом - “мудрое недеяние”. С помощью рационализации человек

справляется с иррациональностью “мира”, с расколом мира на дольний и горний.

Не развивая данный сюжет дальше, отметим в самом сжатом виде, что “внутримирская аскеза” приводит к восприятию собственной деятельности “ради Бога”, а не ради воздаяния за свои труды, как призвания и профессии. Возможна только одна награда - морально-психологическая. Не как плата за посмертное спасение, а как средство познания, дающего возможность ответить на вопрос - предопределен ли ты к спасению или нет. Воспринимая себя в качестве орудия Бога, такой аскет в успешности внутримирских дел обнаруживает свидетельство избранничества, что постоянно толкает его к новым и новым успехам (мы сейчас не касаемся иноконфессиональных воззрений - это составляет тему самостоятельных обсуждений).

Хозяйственная, политическая, научная, воспитательная и т.д. деятельности обнаруживают смысл только в служении делу. Как должно выглядеть дело - это вопрос веры для политика, предпринимателя, ученого, воспитателя и т.д. Они могут служить целям национальным или общечеловеческим, социальным или культурным, внутримирским или религиозным, могут опираться на глубокую веру в прогресс или же холодно отвергать этот вид веры, но какая-то вера должна быть в наличии всегда. Иначе - и это совершенно правильно - проклятие “ничтожества твари” тяготеет и над самыми, по-видимому, мощными - политическими успехами. Как и успехами в других сферах деятельности.

Именно данное обстоятельство позволяет Веберу ввести понятие этоса как “дела”. Он предлагает уяснить себе, что этически ориентированное действие может подчиняться двум фундаментально различным, непримиримо противоположным максимам: оно может быть ориентировано либо на “этику убеждения”, либо на “этику ответственности”. Именно в таком разделении, нам думается, и заключена разгадка тайн этики делового, политического и иного успеха. Отчасти это относится и к этике жизненного успеха.

Вот как описывает ситуацию подобного разделения сам Вебер: “Не в том смысле, что этика убеждения оказалась бы тождественной безответственности, а этика ответственности - тождественной беспринципности. Об этом, конечно, нет и речи. Но глубиннейшая противоположность существует между тем, действуют ли по максиме этики убеждения - на языке религии: “Христианин поступает как должно, а в отношении результата уповает на Бога”, или же действуют по максиме этики ответственности: надо расплачиваться за (предвидимые) последствия своих действий... Если последствия действия, вытекающего из чистого убеждения, окажутся скверными, то действующий считает ответственным за них не себя, а мир, глупость других людей или волю Бога, который создал их такими. Напротив, тот, кто исповедует этику ответственности, считается именно с этими заурядными человеческими недостатками, он, как верно подметил Фихте, не имеет никакого права предполагать в них доброту и совершенство, он не в состоянии сваливать на

других последствия своих поступков, коль скоро мог их предвидеть. Такой человек скажет: эти следствия вменяются моей деятельностью.

Исповедующий этику убеждения чувствует себя “ответственным” лишь за то, чтобы не гасло пламя чистого убеждения, например, пламя протеста против несправедливости социального порядка. Разжигать его снова и снова - вот цель его совершенно иррациональных с точки зрения возможного успеха поступков, которые могут и должны иметь ценность только как пример” [34].

Здесь Вебер не касается проблемы исторического размежевания двух этик, но мы можем подчеркнуть различие между этикой мотивов (убеждений) и конвенциональной этикой (этикой последствий, ответственности). Те этические системы (или подсистемы), которые связаны с прикладной этикой, как раз и являются этиками ответственности, ориентированными на успех, если, конечно, не трактовать этот успех вульгарно, узкоутилитарно.

Заслуживает особого внимания мысль Вебера о том, что сам выбор между этикой убеждения и этикой ответственности не может быть предписан, как это делают лица, зараженные романтизмом. Автор испытывает глубокое почтение перед зрелыми личностями, которые всей душой ощущают свою ответственность за последствия и действует согласно этике ответственности по великой формуле “не могу иначе, на том стою”, поскольку этика убеждений и этика ответственности не суть абсолютные противоположности, а взаимодополнения, которые лишь совместно составляют подлинного человека - человека призвания и профессии (политика, предпринимателя, ученого, воспитателя, социального работника и т.д.).

| *Успех как вдохновляющая цель жизни*
| *(моральная телеология успеха).*

Успех - это и жизненная цель, задача, образ “плана жизни”, превалирующая мотивация и ценность, а потому можно сказать, что успех - это то, что *вдохновляет* человека. Как подчеркивает Макс Лернер в исследовании жизненных целей американцев, “речь не о том, во что верят американцы, а о том, что вдохновляет их и куда направлена их основная энергия” [30, с.183]. Вдохновляет и именно поэтому то, “чего я достиг”, оказывается не менее значимо, чем то, “что я есть”. При этом, чтобы понять, почему успех как цель жизни столь важен, нужно, отмечает М.Лернер, вспомнить, что для простого американца проверкой идеи является конечный результат действия, а ценность чего бы то ни было определяется его эффективностью.

Следуя надежным традиционным путем и обратившись к исследованиям по психологии, мы находим аргументы об определяющей роли целеполагания в жизнедеятельности человека. Так А.Г.Асмолов полагает, что идея успеха должна рассматриваться не как конечная, финалистская, а как идея, связанная с парадигмой неравновесия, с парадигмой поиска в процессе эволюции иных путей развития. Кстати, если видеть идею успеха в парадигме необщих путей развития в культуре, с этой идеи сразу же снимается налет конфронтационности - “я говорю вслед за Кропоткиным: не является ли идея успеха таким же, как

альтруизм, взаимопомощь, могучим фактором эволюции?”. Положительно отвечая на свой вопрос, автор пишет: “да, вполне вероятно, что механизм антагонизма действует в истории, но как важно понять, что находили свои пути к успеху и различные симбиотические группы. Как интересно то, что уже на уровне эволюции мы встречаемся с уникальными явлениями симбиоза, поддержки, чтобы двигаться к иным целям в развитии. И высота общества определяется тем, насколько в нем широко представлено разнообразие” [35].

Переходя к собственно психологической характеристике идеи успеха, А.Г.Асмолов отмечает, что успех - это “лакмусовая бумажка *ценности целей*”, независимо от масштаба субъекта - будь это цели личности или группы (там же).

В психологии проблема способности человека самостоятельно определять цели своей жизни явилась предметом поиска многих исследователей. В кратком обзоре такого рода литературы А.В.Толстых и Н.Н.Толстых выделили работы Ш.Бюлер и В.Франкла [36]. Например, Ш.Бюлер полагала главной движущей силой развития врожденное стремление человека к самоосуществлению (автор отличала это стремление от самореализации и самоактуализации). Исследователь показала, что полнота самоосуществления непосредственно связана со способностью человека ставить перед собой цели, адекватные его внутренней сущности.

В.Франкл разделяет понимание Ш.Бюлер самоосуществления как осуществления смысла, а не осуществления себя или самоактуализацию. “Самоактуализация, - пишет Франкл, - это не конечное предназначение человека. Это даже не его первичное стремление. Если превратить самоактуализацию в самоцель, она вступит в противоречие с самотрансцендентальностью человеческого существования. Подобно счастью, самоактуализация является лишь результатом, следствием осуществления смысла. Лишь в той мере, в какой человеку удастся осуществить смысл, который он находит во внешнем мире, он осуществляет и себя. Если он намеревается актуализировать себя вместо осуществления смысла, смысл самоактуализации тут же теряется. Я бы сказал, что самоактуализация - это непреднамеренное следствие интенциональности человеческой жизни. Никто не смог выразить это более лаконично, чем великий философ Карл Ясперс, сказавший: “Человек становится тем, что он есть, благодаря делу, которое он делает своим”.

С этой точки зрения существенно вопрошание о *смысле и источниках* самих целей. Показательно замечание А.В.Толстых и Н.Н.Толстых об особенностях психологической литературы советского периода, посвященной проблемам воли. Так как советская система стремилась сформировать тип личности, одной из важных особенностей которой является принципиальное отсутствие у человека потребности самому выбирать собственные жизненные ценности, самому строить свои жизненные планы, то и психологическая литература советского периода, посвященная проблеме воли, практически вся посвящена тому, “как развивается или, точнее, формируется способность человека подчинить свои действия, свою жизнь выполнению некоторой задачи,

достижению некоторой цели. При этом практически не обсуждается вопрос о том, откуда берутся сами эти задачи и цели, а ведь воля, сам процесс воления - это прежде всего самостоятельный выбор цели. Умение же подчинить себя выполнению задачи или достижению цели - это не воля в строгом смысле слова, а произвольность” (цит. соч., с.121).

А сейчас попытаемся воспользоваться методом “от противного” и прояснить роль успеха как морально возвышенной жизненной цели через анализ такого феномена, как *страх неудачи*. В уже упомянутой нами статье Г.Л.Тулчинского “Неудача как стратегия успеха” исследуется ситуация, когда неуспех оказывается предпосылкой успеха, и показывается, что между неудачами и успехом существует “какая-то довольно жесткая, если не причинная, связь”. В чем она: “Божественная и метафизическая справедливость мира, когда - “Воздастся!”? Или есть какая-то сила, то ли переводящая стрелку на шкале оценки с минуса на плюс, то ли выталкивающая саму неудачу в сферу успеха, то ли переплавляющая одно в другое?” (с.29).

В том, что речь может и должна идти о какой-то энергетике неуспеха, автора убеждает “факт колоссального потенциала, который несет в себе маргинальность”. Например, приезжие добиваются в жизни большего, чем местные жители. Или представители этнических меньшинств (а также, на наш взгляд, и религиозных меньшинств) оказываются пассионарными лидерами основного этноса. “Их неуспешность, неукорененность, невписанность в “большую систему”, то, что они не могут состояться в этой системе, отжимаются на ее периферию, а то и за ее пределы - все это дает им, оказывается, большую свободу действий по сравнению с “вписанными”, состоявшимися в “большой системе” или теми, кому это гарантировано”.

Таким маргиналам - или, как их называет автор, “мартин иденам” и прочим “интеллигентам в первом поколении” - необходимо именно своими руками “выкопать, выцарапать, если не зубами выгрызть жизненную нишу, которая у других уже есть”. И действительно, и работа, и жилье, и семья, и профессиональный и деловой рост - “все, что для других запрограммировано их социальным статусом, семейным положением, от него требует личностных сверхусилий, работы ума и души тоже”. И потому-то, полагает Г.Л.Тулчинский, “блаженны плачущие, блаженны алчущие и жаждущие правды. Ибо они, как сказано - “соль земли” и “свет мира”.

Полагая, что молодость - это “метафизическая неудача”, исследователь говорит, что “типичными маргиналами является молодежь - метафизический аутсайдер, обреченный социальной ролью “ждать и догонять”. При этом “речь идет отнюдь не о конфликте отцов и детей, не о простом неприятии “папиной культуры”. Речь идет о более фундаментальном. О том, что определяет и творчество - об утверждающем онтологическом импульсе свободы. В том числе и “свободы от...”. Неуспех в этом мире, неприкаянность в нем открывают новые миры. Свобода откровенна в той же степени, как свободно любое откровение” (с.30).

“Я есмь, потому что я свершаю”:
этическая праксиология успеха.

Прежде подчеркнем несводимость доктрины успеха к чистой праксиологии. В “Анатомии человеческой деструктивности” Э.Фромм пишет, что для распространенного словоупотребления характерно, говоря об эффективном ораторе или продавце, иметь в виду человека, успешно добивающегося результата. “Но это умаление первоначального значения слова, происходящего от латинского *ex facere* - “делать”. “Произвести эффект” значит: осуществлять, свершать, реализовывать, выполнять, исполнять. Эффективной личностью является та, что наделена способностью делать, производить, свершать нечто. Быть способным произвести эффект значит не быть бессильным, но быть полным жизни, активно функционирующим человеческим существом. Производить эффект - значит быть активным, а не просто подвергаться аффектам. В конечном счете, именно это доказывает, что мы существуем. Можно сформулировать этот принцип так: я есмь: потому что я свершаю...” (цит. по фрагменту этой работы в журнале “Человек” - 1993, №1, с. 111-112).

Собственно праксиологический аспект идеи успеха попытаемся представить с помощью “теории хорошей работы”, как называл свою концепцию ее автор Т.Котарбинский [37]. Среди мотивов создания теории Тадеуш Котарбинский выделяет осознание им парадокса, обнаруживаемого при сопоставлении двух обстоятельств. С одной стороны, человечество как “многоголовый *homo faber*”, вероятно, уже совершило все возможные наблюдения в “области эффективности различных способов активного поведения” и потому современному теоретику остается лишь перерабатывать, систематизировать, уточнять и разъяснять общие правила. С другой стороны, трудно найти причину отсутствия особой исследовательской дисциплины, которая имела бы своим предметом “изучение возможностей достижения наиболее эффективной деятельности”. Отсюда далеко не риторический вопрос автора: “Не является ли своеобразным парадоксом, что *homo faber* не решился создать грамматику действия, хотя бы по примеру человека как существа говорящего?” (цит. соч., с.27).

В категориальном аппарате праксиологии выделяется блок понятий, не содержащих никаких оценок, даже чисто технических, с точки зрения целесообразности. К понятиям, необходимым для того, чтобы “разобраться в сущности действия и в разнообразии действий вне зависимости от их ценности” относятся, например, понятия субъекта, виновника, материала, средства, цели, произведения, изделия. Ко второму - оценочному - блоку относятся, например, понятия экономичности, производительности, точности выполнения, правильности применяемых способов и т.п.

Тема Вводного раздела требует концентрации внимания на тех аспектах “теории хорошей работы”, которые связаны с праксиологическими *оценками*. Исследуя практические достоинства действия, точнее - “праксиологические достоинства (недостатки) действий, приписываемые им с точки зрения их

исправности”, выявляя, что определяет меньшую или большую исправность, что имеется в виду при оценке действующих субъектов как таковых с точки зрения исправности их действия, Т.Котарбинский полагает, что прежде всего необходимо выявить: было ли действие успешным?

Для праксиологии *успешным* считается действие, которое “ведет к следствию, задуманному в качестве цели”. Если чье-либо поведение оценивается как успешное, а также неуспешное или безразличное, то применение этих характеристик ограничивается лишь целями. А так как “успешность действий с точки зрения достижения цели - это не что иное, как целесообразность действий”, понятия успешности и целесообразности в рамках праксиологии можно считать взаимозаменяемыми.

Не позволяя себе увлечься соответствующей праксиологической тематикой (например, такими понятиями, как “точность”, “старательность”, “чистота продукта”, “умелость”, “надежность”, “осторожность”, “смелость” и т.п.), обратим внимание на моральную саморефлексию авторов праксиологических поисков. Прежде всего, такая рефлексия не только не чужда, но внутренне присуща праксиологии. Это может удивить. Если все “семейство” праксиологических понятий, включая базовое - “эффективная деятельность” - в их обыденных значениях, *как нередко кажется*, достаточно хорошо известно, поскольку обладает завидным свойством самоочевидности, - во всяком случае, в первом приближении, то как раз моральные смыслы этих понятий таким спасительным свойством не обладают. Более того, они кажутся совершенно чуждыми праксиологическому измерению. Напомним об упорном отторжении родительного падежа при соединении понятий “этика” и “успех” - они как будто заимствованы из совершенно несопоставимых языков. Тем не менее, мы полагаем, что моральная рефлексия в праксиологии налицо.

В этой связи выделим два направления. Первое из них может показаться парадоксальным, ибо характеризуется поиском праксиологического содержания, предпринятым Т.Котарбинским в ... моралистике: “Моралисты рекомендуют нам избегать несчастья и сохранять чистую совесть. Обычно они рассматривают эти вопросы совместно с проблемами эффективного действия, поскольку последние необходимы им для освещения путей добродетели и доказательства безысходности морального падения”, - отмечает автор (цит. соч., с.24).

Такого рода смешанный характер он отмечает в произведениях Федра, Лафонтена, Крылова и др. И если, например, “Волк и журавль” - скорее рассказ о неблагодарных, которые злом платят за добро, то основной мыслью басни о медвежьей услуге является не просто порицание дурных чувств и склонностей, но - в образной форме - критика плохой работы. Соответствующая сентенция по Т.Котарбинскому звучит так: “Нецелесообразным является всякое действие, устраняющее препятствие на пути к данной цели таким способом, что сама эта цель также оказывается уничтоженной” (там же). Вывод автора из анализа множества предостережений и поучений, содержащихся в басенной литературе, заключается в том, что постулаты нравственные здесь переплетены с

рекомендациями по поводу целесообразности или нецелесообразности действий.

Не только в баснях, но и на реальных “факультетах” школы жизненного успеха говорят языком, в котором сплетены моральные и праксиологические понятия. Стать “хозяином судьбы”, “счастливый исход”, “надежда на лучшее”, “кузнец своего несчастья”, “желание преуспеть”, “пиррова победа”, “кому улыбается Госпожа Удача”, “не терять голову от успеха”, “счастливые неудачники”, “поймать шанс”, “шанс - гармония неожиданно благоприятного события и личной инициативы”, “меланхолия упущенных возможностей”... Из речевых практик СМИ, из работ разных авторов собрали мы эти слова и выражения, чтобы подтвердить действенность праксиологии.

Но может быть сами рекомендации праксиологического толка, пусть и включенные в содержание моралистики, абсолютно нейтральны в этическом отношении? Весьма определенный ответ на этот вполне оправданный вопрос дает анализ исследования (и культивирования) праксиологией этических аспектов “техники борьбы”. Намеренно обострим постановку вопроса с помощью комментария к “науке успеха” (речь там, конечно, о политическом успехе) Н.Макиавелли, который содержится в историко-философской работе Б.Рассела. По мнению автора, если существует такого рода наука, то “ее можно изучать на примере успехов порочных людей не хуже, чем на примере успехов людей добродетельных, - даже лучше, ибо примеры добивающихся успехов грешников более многочисленны, чем примеры добивающихся успехов святых”. Однако, подчеркивает Рассел, такая наука “пойдет на пользу святому точно так же, как и грешнику, ибо святой, если он вступает на поприще политики, точно так же, как и грешник, должен ждать достижения успеха” [38].

Мы не можем сейчас вторгаться в сложнейшую проблему соотношения целей и средств, особенно в ту ее грань, которая связана с допустимостью зла во имя добра [39]. Но все же необходимо отметить, что Б.Рассел убедительно реабилитировал именно *праксиологические* идеи Макиавелли, традиционно отождествляемые (и обыденным, и теоретическим сознанием) с его *личной моральной позицией* и его *моральными* рекомендациями. В действительности, говорит Рассел, Макиавелли имел вполне определенную точку зрения на “выведенные” им нормы политической целесообразности. Аналогичную работу относительно этического содержания “макиавеллизма” проделал и Л.Колаковский.

Т.Котарбиньский сам идет навстречу острой проблеме этики борьбы. Вообще *борьба* для праксиолога - любое действие с участием по меньшей мере двух субъектов, где хотя бы один из них препятствует другому. Праксиолога при этом интересует только *исправность техники борьбы*. Другие же ее стороны имеют лишь косвенное значение - в той мере, в какой от них зависит усиление или ослабление *исправности*.

Однако из этого не следует, что праксиолог сам может рекомендовать любые практически обоснованные приемы техники борьбы. Автор пишет: “То, что хорошо с праксиологической точки зрения, может быть достойным осуждения с точки зрения, например, добросовестности”. Но знание и этих

приемов полезно - хотя бы для воспрепятствования тому, кто прибегает к этим приемам “с целью застигнуть нас врасплох и одержать победу” (цит. соч., с.207).

Конечно, это лишь необходимый, но далеко не достаточный вывод. Праксиология исследует и обобщает, например, рекомендации, как обеспечить свободу действий для себя и сковывать свободу противника, использовать в своих целях его резервы, создать превосходство своих сил в решающем месте и в решающее время и т.п., уделяя особое внимание соотношению двух начал - взаимодействия и борьбы, позитивной и негативной кооперации (“мы позволим себе высказать предположение, что людям лучше бы жилось на свете, если бы во всякого рода борьбе они больше считались с тем, что в ней есть ценного для обеих борющихся сторон...”) и т.п. В то же время праксиология не забывает, что тот, кто обучает искусству борьбы вообще, становится, пусть косвенно, соучастником возможного применения этого искусства. И действительно, “имея дело с темой борьбы, трудно не затронуть каким-либо образом сердце, совесть, даже в том случае, если понятие борьбы взято во всей его общности и рассматриваются в основном только технические условия “исправности” (цит. соч., с.226).

Более того, занимаясь, казалось бы, нейтральной - технической - стороной борьбы, праксиолог не позволяет себе “умыть руки”, ибо техника борьбы, как и любая техника, может применяться как с пользой для людей, так и во зло им. В то же время праксиология полагает, что “всеобщая польза от честного сознательного применения ее техники значительно больше, чем вред, который принесут результаты употребления этой техники нечестными людьми” (цит. соч., с. 226).

*Моральная технология успеха
Дейла Карнеги.*

Своеобразную версию праксиологии, а точнее - моральной технологией являет собой “наука успеха” Дейла Карнеги и его последователей. Остановим наше внимание на том, как этот автор и его читатели воспринимают и трактуют *этическое содержание* этой версии “науки успеха”.

Широкая популярность книг Д.Карнеги в современном массовом сознании россиян связана с тем, что они представляют собой всего лишь сборники “чисто” технологических правил, рецептов, рекомендаций. Поэтому, видимо, мало кого останавливает, например, откровенно манипуляционный акцент в заглавии одной из книг: “Как завоевывать друзей...?” [40].

Внимательный читатель увидит в работах Дейла Карнеги прекрасную моралистику успеха. Во всяком случае, попытки придать технологическим изысканиям Д.Карнеги моральное значение налицо. Они предпринимаются, например, авторами предисловий к переводу этих книг на русский язык. Так, в издании, выпущенном в серии “Этика” обществом “Знание”, предлагается трактовка советов Карнеги, согласно которой “они помогают повторить общение как цепную реакцию взаимных добрых намерений, когда вместо

фехтовальных выпадов в ход идут улыбка, искренняя заинтересованность и расположение” [41]. Или, например, считая работы Д.Карнеги набором правил достижения успеха в жизни, авторы предисловия [42] к изданию его книги в “Прогрессе” подчеркивают, что это правила *человековедения*, что понятие правил в гуманитарном знании претендует на статус, который имеет понятие закона в естествознании: “Ценность такого перечня правил не только в том, что некоторые из них можно заимствовать и взять в свой арсенал, но и в том, что он вдохновляет на поиски собственных вариантов, поскольку достаточно явно предстает как принципиально открытый для добавлений, уточнений и исправлений”.

И все же такого рода попытки интерпретации правил успеха в работах Д.Карнеги слишком редки, чтобы избавить нас от опасений за судьбы технологии, в том числе в отечественных “школах успеха”. А судьбы этих школ для нашего исследования не менее важны, чем судьба работ самого Карнеги. Как всегда, прививка “цивилизованной розы” к “российскому дичку” оказывается делом весьма рискованным, и прежде всего - с точки зрения моральных последствий.

Пока наиболее гуманитарный раздел программ этих “школ” связан лишь с чисто психологическим подходом. Например, мотивируя открытие в газете “Успех” рубрики “Школа успеха”, ее авторы раскрывают содержание своей науки следующими вопросами: “1. Каков он, успешный человек? 2. Как определить зоны своего успеха? 3. Мои психофизиологические резервы?...” [43]. Во всем перечне нам так и не удалось обнаружить моральную проблематику. Да и как бы она сочеталась со следующим программным заявлением руководителя школы: “Наука... начинает возвращаться к изучению проблем успеха с целью помочь людям в выборе рациональных путей достижения желанных целей. Она разрабатывает принципы и методы адекватной реализации человеком своих интеллектуально-психологических возможностей в соответствии с требованиями той деятельности, которую человек выбирает или которая ему предначертана “судьбой”. И признаком, по которому можно оценить вклад науки в разработку путей достижения успеха, является «маленькое слово “как?”». Как учиться, как учить, как изобретать, как считать и т.д. и т.п. Эти бытовые вопросы и есть исходный пункт научных разработок, предназначенных для раскрытия условий, путей, методов, средств достижения успеха” (там же, с. 4).

А вот аналогичный случай: автор книги о риске в перечне ключевых аспектов своей темы перечисляет “правовой”, “психологический”, “экономический”, “социологический”, забывая или игнорируя аспект “моральный” [44].

Правда, есть одно основание доверять авторам цитированных строк. Возможно, уклонение от этических аспектов “успехологии” - своеобразная “де-идеологизация” темы, ее намеренная прагматизация после многих лет обязательного “возвышения” любых проблем до уровня критериев коммунистической морали?

Разумеется, были в работах тех лет и точные постановки проблемы, и собственно праксиологические решения [45]. И все же принимаемая нами презумпция доверия “школам успеха”, уклоняющимся от этической проблематики достижения, имеет свои пределы. В самом лучшем случае, когда такие программы выполняют роль *необходимого* элемента развития культуры, освобождения этики от пут догматического морализирования, они не вправе уклоняться от признания того, что роль эта отнюдь не является *достаточной*, не могут избежать перехода от вопроса “Как достичь успеха?” к более существенному вопросу “Ради чего надлежит стремиться к успеху?”, неотделимого от проблемы гуманизации способов достижения успеха. Поэтому противостояние (осознанное или ненамеренное) морализаторским клише, идейно-нравственным шаблонам, извращающим заботу об умении жить, может обернуться - в лучшем случае - моральной нейтрализацией проблемы успеха со всеми вытекающими из этого противоречиями развития праксиологии без этики, когда вопрос об умении жить не доводится до сократического вопроса об *умении жить достойно*.

Задача нашего критического пассажа заключается не в простом противопоставлении ценностей морали и логики успеха, не в уничтожении от имени первого - смысложизненного - измерения достоинства второго - пользы и, конечно, не в нейтрализации успеха во имя спасения его от морализаторских искажений. И если Д.Карнеги и авторы подобных работ дают нам образцы “технологических” правил успешной жизни и деятельности, наша задача заключается в активация моральной рефлексии по поводу смысла этих правил.

*Моральный риск ориентации на успех:
выход за пределы конформизма и
нонконформизма возможен.*

Моральный риск ориентации на успех может пониматься, во-первых, как проблема повышенной опасности для вовлеченного в жизненную и деловую гонки индивида не устоять перед искушением нарушить те или иные моральные запреты, правила игры, ограничения ради скорого достижения успеха (во всех его ипостасях) и тем самым войти в конфликт как с совестью, так и с законом.

В плане же масштаба общественного в целом проблема риска для ориентированного на успех субъекта выступает в таких его проявлениях, как конформизм - с последующей аномией - и антисолидаризм. Обсуждение этого варианта моральной амбивалентности ценности успеха предполагает прежде всего преодоление не только апологетизма, но и гиперкритицизма в понимании взаимодействия успеха и морали, который во всякой ориентации на успех усматривает чуть ли не фатальную тенденцию к аморализму, беспринципности.

Если прегрешения апологетики вытекают из сугубо социологизированного понимания природы морали - она функциональна, “обслуживает” интересы общества в целом, его отдельных групп, классов, организаций, фракций, то гиперкритицизм исходит из противоположной версии природы морали - долг извлекается из самого себя, мораль социально

неангажирована, лежит по ту сторону земных интересов и т.п. Если апологетическая позиция в отношении идеи успеха поддерживает конформизм, то противоположная позиция грешит нонконформизмом, одобряя лишь различные способы уклонения от ориентации на успех, поскольку подобные ориентации укрепляют “паршивое общество”. Скорее всего, в столкновении этих позиций истина обнаруживается посередине.

Нельзя не понять настойчивость критицизма, ибо он стремится противостоять практике выбора человеком между добром и злом в форме соответствия или несоответствия общественной норме, подменяющей собственно выбор конформным поведением, уклонением от того вызова, которым является многообразие систем моральных ценностей, представленных в виде идеалов, моделей личного самосовершенствования. Понятно опасение этой позиции за распространение аномии, антисолидаристических последствий конкуренции ориентированных на успех субъектов между собой, общим ростом отчуждения и т.п. Здесь мы имеем дело с предельным упрощением нравственной жизни, когда моральный субъект практически передоверяет обществу ответственность как за положительные, так и негативные моральные качества своей успешной (неуспешной) деятельности. Однако критика ориентации на успех оборачивается тем, что выбор такой ориентации рассматривается не как личное решение индивида, но как навязанная обществом модель поведения. Увлеченность критикой конформизма табуирует созидательные возможности общества, недооценивает его способность к самоизменению, преодолению негативных тенденций, в том числе тенденции к абстрактному противопоставлению идеи успеха и приверженности моральным ценностям.

Само по себе проклинание “Его Сучьего Величества Успеха” является подходом поверхностным. Плодотворнее - понимание природы моральной конфликтности идеи успеха.

Познание мотивов критицизма в адрес доктрины необходимо, но явно не достаточно. Отказ от той и другой экстремальных позиций сам по себе еще не избавляет от проблем, связанных с рискованным выбором ориентации на успех. Только мнится со стороны, будто человек, выбирающий успех, тем самым освобождает себя от “моральной озабоченности”. Внутренняя самокритика доктрины вскрывает драматичность жизни и деятельности личности, ориентированной на успех, драматичность, во всяком случае не меньшую, чем трудности жизни человека, уклонившегося от ориентации на успех.

Нам еще только предстоит разработка типологии нравственных конфликтов, с которой связана деятельность ориентированного на успех человека. Пока же уместно обратиться к результатам такого рода классификации, полученным в рамках исследования наиболее развитой модели идеи успеха - американской.

В предисловии Р.Хубера к своей книге акцентируется, что американская идея успеха самокритична именно в понимании моральной конфликтности этой

идеи. Автор пишет, что “...целью данной работы является исследование значения успеха в обширном американском опыте. Кое-кто находит определенный смысл в проклинании “Его Сучьего Величества Успеха”. Но понимание цивилизации должно начинаться с признания того, что все ее части тесно взаимосвязаны. Проклинание “Сучьего Величества” при одновременном признании демократических сил, которые его порождают, - настолько же поверхностный подход, как и определение социальных сил в рамках злоупотребления ими” [46].

Приступая к характеристике феномена *амбивалентности* успеха в книге Р.Хубера, напомним, что и в анализе этико-праксиологических аспектов успешной деятельности, и в характеристике добродетелей этой деятельности, которой посвящены последующие фрагменты монографии, и в других ее фрагментах мы фиксируем некоторые инвариантные внутренние и внешние ценностные конфликты достижительной деятельности. Что касается самого Хубера, то он отмечает следующий парадокс американских ценностей: с индивидуальной точки зрения успех должен быть определен в нематериальных терминах, но с точки зрения коллективной американцы измеряют успех материалистическими критериями. Потому-то американцы среднего класса утверждают, что существуют два вида успеха. При этом с *культурологическим* пониманием успеха, которое ранжирует людей по материальному критерию, все в порядке, за исключением ошибочного определения того, какой вид успеха является *summum bonum* в жизни. А такое благо нельзя измерять деньгами - это *личностное* определение успеха, и его часто называют “истинным успехом” [47].

По мнению автора, два определения успеха - “*культурологическое*” и “*личностное*” - выражают амбивалентность чувств американцев по поводу жизненных целей. И такая амбивалентность скорее необходимость: разве могло бы функционировать американское общество, если бы его граждан ничто не побуждало придерживаться противоречивых чувств по поводу успеха. “Может ли кто-нибудь выжить в обществе, продвигаемом вперед такой вызывающей тревогу ценностью без удобной безопасности амбивалентных позиций? - пишет Р.Хубер. - Жизнь с иллюзиями может быть нестерпима, но жизнь без иллюзий невыносима” (цит. соч., с.124).

“Его Сучье Величество или застенчивая дама?”- так формулирует автор инвариант амбивалентности американской идеи успеха. “Вероятно, формы обеих вытканы на гобелене американского опыта. Он представляет собой механизм взаимоотношений, в котором форма и сущность одного зависит от другого. Как распутать менее приятную нить, не меняя специальных качеств механизма?”, - спрашивает Р.Хубер и отвечает, что “специальные качества такого устройства частично сотканы из дилемм идеи успеха”. И далее кратко описывает шесть таких дилемм. Рассмотрим здесь в качестве примера первую из них.

“*Оправдательная дилемма самоотдачи против своекорыстия*” представляет собой, с точки зрения автора, моральный вопрос, который

пытается разрешить идея успеха. “Возможно ли быть христианином и капиталистом одновременно? Нам следует быть любящими, добрыми и готовыми к самоотдаче. Однако мы живем в мире, в котором мы должны быть своекорыстными, жадными и преследующими собственные интересы”.

Р.Хубер показывает, что “этика характера”, доминировавшая в литературе об успехе до 1930-х гг. (к ней мы еще вернемся в следующем фрагменте), пыталась разрешить эту дилемму с помощью “доктрины управления благосостоянием”. Религиозная интерпретация этой доктрины оправдывает делание денег с помощью тезиса о том, что “это свидетельство Божьего благоволения и является также способом прославления Его. Долг человека развивать лучшее в себе через формирующие характер аскетические добродетели тяжелой работы и бережливости. Человек должен честно делать деньги для того, чтобы с их помощью делать добро, тратя их на благочестивые цели”.

В то же время светская интерпретация “доктрины управления” делает акцент “на гуманитарное оправдание”: “Мы должны получать, чтобы делать добро, отдавая”. К 20-м годам нашего столетия, отмечает автор, “преимущественным оправданием успеха была концепция служения как в ее религиозной, так и в светской интерпретации: степень чьего-либо успеха измерялась службой сообществу. Преследовать свои собственные интересы означает любить своих ближних. В концепции служения получение для себя есть процесс отдачи другим”.

Примечательно отношение автора к самой возможности решить проблему амбивалентности идеи успеха. Он понимает, что противоречия не могут быть разрешены в легендарной манере царя Соломона, предложившего разделить ребенка между двумя претендентками. Неприемлемо для него и ригористическое отношение к самому факту существования дилемм. Да, люди с авторитарным складом мышления всегда считают дилеммы нетерпимыми. Но ведь дилеммы обязаны своим существованием именно наличию выбора в свободном обществе.

“Успех - это не убежище, а путешествие, со своими собственными правилами для духа. Игра жизни в том, чтобы стать победителем, добиться успеха или достичь того, что мы наметили сделать. Однако всегда существует опасность потерпеть неудачу в самореализации. Урок, который большинство из нас никогда не извлекает из этого путешествия, но и никогда не может забыть совсем, состоит в том, что победить иногда означает проиграть,” - пишет Р.Хубер (цит. соч., с.124.).

Моральная конфликтность этики успеха - не беда и не радость, но атрибут, с которым надо “играть” по правилам. А инвариантным критерием разрешения такого конфликта в каждом конкретном случае является повышение уровня свободы в обществе. “Человеку должна быть предоставлена возможность для действия на свой страх и риск, для проб и опытных выводов, для ошибок и перерешений, падений и возрождений. Общество как бы “дает фору” индивиду, не применяя к нему государственного принуждения до того

момента, пока он не нарушает закона. Каждый гражданин волен послать подальше сколь угодно высокого самозванного наставника, сующего нос в такие его дела, которые не наносят ущерба его согражданам. Вряд ли надо объяснять, что свобода от чужого утилитарного покровительства стимулирует инициативу людей и способствует развитию основных измерений личности, а именно - независимости, своеобразности, стойкости. Проявляясь в сфере деловой активности, эти качества заявляют о себе затем и в области гражданской, или, как говорят юристы, публичной жизни” [48].

Как возможны добродетели успеха?

| *Три отрицательных ответа.*

Следует ли добиваться успеха во всякой специализированной деятельности?! На всех ли поприщах это возможно? Во все ли времена можно совместить генеральную норму-цель со следованием нормам-средствам ее достижения, выдвигаемым довольно суровой, подчас ригористической, рациональной моралью? Это вопрос вопросов для этики успеха, и споры вызывает прежде всего базовая для любой этической доктрины *проблема добродетелей* как устойчивых положительных моральных качеств личности. Совместимы ли *человеческие добродетели* с главным *императивом этики успеха*?

Известны три взаимосвязанных ответа на этот вопрос. Говорят, *во-первых*, что этика успеха на ранних этапах развития как раз и была этикой добродетелей (с вполне оправданным родительным падежом в качестве связки). Это ее Р.Хубер назвал “*этикой характера*” - средоточием многих, если не всех положительных моральных качеств. Они и являются условием, “рычагом” достижения надежного успеха. В нашем столетии “этика характера” перестала быть таковой, отвернулась от добродетелей, ставших обузой на пути к успеху. Так возникла - по терминологии Р.Хубера - “*этика личности*” [49].

Полагают, *во-вторых*, что добродетели способны реализоваться не повсеместно, а лишь в некоторых видах деятельности, в тех социальных практиках, где профессиональный успех не может быть достигнут достаточно последовательно и полно без соблюдения порядочности, честности и т.п. Речь идет, скажем, о небольших артелях ремесленников, сообществах художников, ученых, спортсменов. Иное, мол, дело - “большое”, “массовое” общество, основанное на институтах рынка и представительной демократии, управляемое бюрократическими структурами корпоративного типа, где человеческая деятельность оказывается всего лишь средством достижения отчужденного от нее могущества, средством реализации целей, не согласованных с внутренними ценностями. На таких-то позициях этика и успех как раз и оказались разлученными.

В-третьих, подчеркивается - в порядке продолжения предыдущего тезиса, - что добродетели обнаруживают свою действенность лишь в непосредственном общении людей, но оказываются “пятым колесом” в телеге

формализованных функциональных отношений, опять-таки ставших господствующими в “большом” обществе.

Все три ответа на сакраментальный вопрос о соотношении добродетелей и успеха отнюдь не являются плодом досужего воображения в духе моральной догматики, а отражают те или иные стороны нравственной жизни современной цивилизации, тенденций ее развития. Они должны быть не отвергнуты с порога, а осмыслены со всей тщательностью.

От “этики характера” к “этике личности”. Произошло ли нечто аналогичное в духовной истории России?

Начнем с *первой* позиции, концентрирующей внимание на эволюции идеи успеха. В книге Р.Хубера содержится развернутое и критически ориентированное объяснение доминирования “этики личности” в контексте эволюции экономической системы и развития потребительских ожиданий. В ряде работ западных и отечественных исследователей было предложено полноценное объяснение происшедших изменений. Подчеркивается, что возникло массовое производство, прорвавшее барьеры дефицитности благ, потребовавшее новых поведенческих регуляторов, что самым существенным образом повлияло на представления об успехе и способах его достижения. Проблема теперь заключалась не столько в том, чтобы произвести больше товаров и предоставить больше услуг, сколько в том, чтобы заставить то и другое двигаться от производителя к потребителю: успешность поменяла систему координат и систему критериев. Природа конкуренции в условиях борьбы за покупателя, потребителя сделала “этику личности” незаменимой для достижения делового и жизненного успеха.

Понятно, что привычные моральные критерии успеха на этом фоне утратили свою необходимость: покупка в рассрочку, растущий стандарт жизни, социальное страхование, предостережения против опасности чрезмерного роста сбережений (в духе кейнсианства), рост потребительского кредита (“жизнь взаимы”), падение пуританской традиции умеренности, бережливости и т.п. способствовали возникновению новых моральных оправданий успеха.

Еще один способ объяснить смену этических доктрин успеха связан с изменениями в предпринимательской деятельности. “Этика характера” “обслуживала” преимущественно малые формы бизнеса. Растущая конкуренция, появление корпораций, рост технобюрократии проложили дорогу к новому предпринимательству и новой этической доктрине успеха. Корпоративная бюрократия требует прежде всего умения работать с людьми среди людей, причем на фоне обострения внутрикорпоративной конкуренции. В мире “этики личности” служащий продвигался вперед по своему статусу, престижу и доходу, рекламируя себя как товар. В Америке середины XX столетия понятие “человек, с которым трудно иметь дело” стало соответствовать понятию бесчестности в более ранний период.

Три противоречивых последствия, которые повлекло за собой влияние “этики личности” на образ жизни американцев, выделяет Р.Хубер. Во-первых, “этика личности” усиливала настроения конформизма, требуя играть в игру по наиболее эффективным правилам, даже если они противоречили этическим принципам индивида. Во-вторых, происходило смещение акцента с работы над природными ресурсами на работу с людьми - “сырым материалом”, из которого создается успех, а это делает все более вероятным нарушение кантовского императива отношения к человеку как цели, но не как средству. В-третьих, “этика личности” увела человека от самого себя. Если в “этике характера” успех был тесно связан с внутренними качествами личности, то в следующей за ней доктрине успех зависел от мнения других (знаменитое руссоистское “бытие во мнении других”). Средства успеха не были фиксированными, а варьировались в зависимости от ожиданий других людей, что приводило к постепенной утрате самоидентичности.

Отметим некоторые изменения в мире и в его философском осмыслении, которые обусловили смену доктрин самой этики успеха. Один из парадоксов роста индивидуальной свободы заключается, по Хуберу, во все большей зависимости от организаций, институтов и других лиц как условия личного успеха. Однако, если индивид оказывается чрезмерно преданным целям, нормативам, правилам, принятым в корпоративно-бюрократических организациях, ему трудно достичь успеха - от него ждут лишь символической, ритуальной приверженности целям и нормам “индивидуалистического коллективизма” - не более того.

Другое изменение касается различий в ощущении личной неудачи. Когда американец XIX века терпел неудачу, он испытывал чувство вины, неуважения к самому себе, стыд перед ближними и ассоциациями, членом которых он был. Современный американец, предлагая самого себя как товар, при неудаче испытывает чувство тревоги относительно собственного могущества. Моральное качество вытесняется здесь психологическим дискомфортом.

Годы, истекшие после выхода книги Хубера, отмечены переменами, которые нельзя не учитывать в анализе феномена успеха. Прежде всего, произошел “взрыв” малого и среднего бизнеса, который, казалось бы, должен вытесняться крупными корпорациями. В самих этих крупных организациях укрепилась корпоративная этика, которая, конечно, не могла вытеснить “этику личности” полностью, но позволила минимизировать последствия тех противоречий, которые были вызваны сменой версий этики успеха.

Далее. Неудачи неолиберализма снова потребовали “призвать на действительную службу” индивидуализм, создать новый баланс солидаризма и индивидуализма, оттесняя крайние формы того и другого на обочину духовной жизни. Неоконсервативная волна несла за собой частичную реабилитацию “этики характера” с ее подчеркнутой ролью добродетелей в достижении успеха. Не исключено, что ныне идет процесс синтеза обсуждаемых здесь двух версий этики успеха.

С другой стороны, надо иметь в виду, что произошло не просто вытеснение и умерщвление добродетелей успеха, но и частичное обуздание индивидуалистического своеволия, хищничества, равнодушия к общественному благу, которые сосуществовали с “этикой характера” на протяжении всей ее истории. С помощью “этики личности” удалось ограничить следование циничному принципу “успеха достоин тот, кто его добился”.

Однако, как показали исследования Р.Мертон, увеличился разрыв между побудительными мотивами (“достигай успеха”) и ограничительными нормами (“соблюдай правила честной игры”), возникли диссонансы между подлинными и показными ориентациями. Отсюда - рост не только психических срывов, но и ролевых несоответствий, случаев обращения к осуждаемым общественным и групповым мнениям средствами достижения успеха. Изменилась и самооценка собственной жизнедеятельности: явно ослабла концепция призвания, морального долга, миссии.

*Ригористические и реалистические
представления о “подлинной” морали.*

Теперь относительно двух следующих позиций по вопросу о соотношении успеха и добродетелей. Очевидно, что в “малом обществе” проще и легче обнаружить связь между добродетелями человека и выпавшим на его долю успехом. И эта связь вполне удовлетворяла потребности как развитых традиционных социумов, так и раннеиндустриализированных обществ. Когда экономика вписывалась в семейные отношения, а политика охватывала достаточно обозримый круг лиц и выступала как продолжение личных отношений, когда война опиралась преимущественно на индивидуальное мужество (что не обесценивало роли военной организации), а культура выступала как выражение аристократического этоса праздности, тогда подобная связь обретала убедительные черты наглядности и справедливости.

Другое дело - большие организации и даже целые автономные специализированные подсистемы прежде слитного, как монолит, а затем расщепленного, дезинтегрированного общества (Н.Луман). Они функционируют по безличным законам и формализованным критериям. Занятые в них лица должны обладать умениями и знаниями, полученными в результате общеобразовательной и профессиональной подготовки. Умения, знания, навыки этих людей очень часто слабо коррелируют с их добродетелями. Таков феномен расхождения профессиональных и моральных качеств.

Иначе говоря, сеть функциональных отношений, которая расплзлась по всему современному обществу, не может выдержать нагрузки, связанной с рассогласованием намерений и действий, с давлением нравственно негативных мотивов. Нормальное функционирование данных подсистем и организаций требует страховки от злых умыслов, что достигается только в том случае, если оно вообще не зависит от моральных мотивов, от добродетелей и пороков. Поэтому этика добродетелей, замкнутая на мотивы и обнаруживающаяся в непосредственном общении, дополняется системной или институциональной

этикой, которая не связана с содержательными мотивами, воплощена в правилах функционирования систем, совпадает с их объективной логикой [50].

Потому-то и возникла профессиональная этика, которая существенным образом зависит от мотивов, а следовательно, и от добродетелей. Она не просто совпадает с объективной логикой функционирования подсистем и организаций, а обязательно требует такого совпадения на основе определенным образом ориентированного поведения специалистов всех профилей, что и позволяет соединить нравственность с профессионализмом. Роль интегратора выполняют нормы профессиональной этики и соответствующего этоса.

Уже говорилось, что этика успеха имеет консеквенциональный характер и, вместе с тем, она культивирует значимость нравственно позитивных мотивов, которые определяются доверием к универсальным нормам поведения в специализированных пространствах человеческой деятельности, в верности им.

Невнимание к многоярусности морали чревато опасностью, которая подстерегает исследователя, придерживающегося ригористического представления о морали (“такова и только такая подлинная мораль!”) и отвергающего другое представление (“такова неподлинная мораль!”).

Существует образ совершенной моральности, воплощенной в этике любви, дружбы, чуть ли не уважения ко всему живому, самоотверженного служения роду, государству - “езде и всегда”. Но не менее значим и другой образ моральности - социально определенных, погруженных в пространственно-временной исторический континуум и потому изменчивых нормативно-ценностных систем. Возможно, они ординарны в том смысле, что не требуют необычайных человеческих качеств. Нормы и ценности этих систем насыщены социальной конкретикой (“здесь и теперь”), предлагая такие способы интерпретации моральности, которые выражают пристрастия и интересы социальных групп и общностей, отдельных организаций. Речь здесь идет о человеческой порядочности, “среднем уровне” честности и добросовестности, об этическом стандарте.

Между этими двумя ярусами моральности трудно прочертить демаркационную линию с желаемой степенью четкости. Свойства неопределенности, скользящих отличий, проницаемости особенно дают о себе знать, когда мы обращаемся к моральности внутри автономных специализированных подсистем. Здесь она принимает форму конвенциональности, а нормы складываются не только произвольно, но отчасти по соглашению (“скромная этика контракта”, по удивительно точному выражению С.С.Аверинцева). Трудно принять точку зрения тех, кто категорически отсекает конвенционализм от морали вообще, кто ставит вопрос ребром: либо “подлинная” этика, либо некая институциональная этика (неподлинная, поддельная).

|Партнерство и “скромная этика контракта”.

Действительно, в управленческих отношениях, при формализованных связях преобладает ролевое, “масочное” общение, а люди радикально разделены

на субъекты и объекты, на управляющих и управляемых (подобно вещи, средству, продукту, механизму и т.п.), отношения между которыми содержат неравенство, подчинение, практику “решения за других”, несамостоятельность. Основываются эти отношения на необычной “религии”: несокрушимой вере во всемогущество социального планирования и управления, подавлении “иных измерений”, надзирательстве, мотивации поступков не “по совести”, а по указаниям свыше, из “верхних покоев”, или же вследствие коллективных решений. Но давно известно, что даже в строго иерархизированных структурах имеют место неформальные, “неуставные” - в широком смысле слова - отношения, к которым не применимы обличающие иерархизм характеристики.

Существует и другой тип отношений - партнерство в добровольных ассоциациях, где религии Плана может противостоять религия Дела. Не станем уверять, будто партнерство воплощает высшие ценности нравственности. Подобные притязания были бы чрезмерными. Партнерские отношения могут не вызывать восторженности и скорее всего не вправе претендовать на эталонность человеческих связей. Вступая в партнерские отношения, автономная личность, способная к самостоятельной постановке и решению отнюдь не элементарных нравственных задач, руководствуется при этом личными, рационально исчисляемыми и ориентированными на успех интересами, а потому не следует приписывать ей “незаинтересованные” мотивы. Но было бы непозволительным ханжеством утверждать, будто такие отношения не реализуют какие-то существенные, значительные для нравственной жизни ценности.

Данные отношения, пожалуй, следовало бы уподобить товарищеским, учитывая, что и в товариществе обнаруживается различная степень близости и теплоты, бескорыстия и солидарности. С известными поправками партнерство можно сравнить и с профессионально-коллегиальными отношениями. Партнеры, по словам видного современного американского социолога А.Этциони, образуют жизнеспособные “ответственные сообщества”, гораздо более интегрированные, чем простая совокупность индивидов, стремящихся к самоутверждению, однако менее иерархичные, менее структурированные и социализирующие, чем авторитарная община [51].

Эти отношения предусматривают довольно тесные связи, солидаристскую поддержку, предполагают определенную степень близости людей, их привязанность друг к другу. Они строятся на принципах доверия, уважения, доброжелательства, равенства, свободы выбора, взаимной полезности (у них - общее дело) и ответственности за собственность, карьеру и престиж как объективированные формы успеха. Это возможно и при слабо выраженной интимности отношений, при перевесе формальных моментов над неформальными. Причем фактор взаимной полезности вовсе не делает вынужденным признание партнера самоценным субъектом, так как остается в силе добровольность союза и, стало быть, признание партнерами друг друга в качестве участников субъект-субъектных отношений. Партнер не руководствуется “указаниями свыше” и у него не отключены механизмы долга и совести.

Добродетели “упакованы” в ингибиторных нормах и правилах честной игры.

Пока мы говорили главным образом о нормах-целях. Пришла пора в связи с обсуждением проблемы единства добродетелей и успеха вспомнить об ограничительных, сдерживающих нормах-средствах, или нормах-рамках. На первое место в корпусе ингибиторных норм выходят требования морального (а не одного только правового, как это нередко кажется) равенства для всех тех, кто очутился на соревновательных площадях “открытого общества”. Затем следуют нормы, которые требуют уважения к собственности, обретенной в результате вовлечения в рыночную игру с ее выигрышами и проигрышами, победами и поражениями.

Речь идет не просто о правилах игры на рынке, в политике, в профессиональной деятельности, а именно о *честных* правилах игры, следование которым предполагает и требует, как говорилось выше, *добродетели* партнерства, *добродетели* честности в отношениях между участниками игры, *добродетели* верности обязательствам. Они табуируют неразборчивость в средствах конкурентной борьбы (меры против недобросовестной конкуренции во всех сферах деятельности), игру на грани фола. Они предполагают совмещение конкурентного потенциала в борьбе за успех с потенциалом кооперативным, рыночной ориентации на свободную конкуренцию - с ориентацией на добровольное ограничение экономического поведения, преодоление его социально неприемлемых форм.

Вместе с тем правила честной игры вовсе не имеют ханжеского характера, не накладывают вето на хитроумные комбинации в рыночной и политической игре, не запрещают маневрировать, умалчивать о замыслах действий, не осуждают стремления участников игры представить себя в выгодном свете. Иначе говоря, не запрещают всего того, без чего игра - не игра, без чего трудно представить себе путь к успеху в ней, стремление к которому само входит в число моральных требований, что делает этику успеха реалистичной, а не декларативной.

Далее следуют нормы, требующие уважения к достижениям (прибыль, богатство, карьера - политическая, научная, административная и т.п.) и инноватике. Огромную роль играют нормы трудовой и профессиональной морали. Как это ни странно звучит, требуется уважать и досуговую мораль, этику потребления, которую надо отличать от “фан-моралити”.

Все нормы-рамки могут быть либо сакрализованными (этически ориентированные мировые религии, знаменитая протестантская этика, все ее иноконфессиональные аналоги, включая конфуцианскую этику или этику русского старообрядчества), либо секуляризованными. Наконец, большой блок норм и ценностей связан с поведением внутри различных организаций и корпораций.

***Успешность совместима с достоинством.
Достоинство может быть успешным***

Первый и Последний:
знание и/или достоинство?

Выделение этой темы в качестве отдельного параграфа может показаться не вполне логичным - его содержание может быть отнесено и к моральным конфликтам успешной деятельности, и к моральному риску ориентации на успех, и к добродетелям этики успеха. Да и в других гранях такой этики проблема соотношения ориентации на успех и человеческого достоинства вполне “своя”. И все же мы приняли такое решение. А в качестве сюжета для анализа избрали статью С.Соловейчика [52].

С.Соловейчик дал оригинальный портрет *двойственности* успешного человека (успех здесь лишь одна из сторон медали: если на лицевой представлен Первый в школьном классе, то на оборотной - Последний), показав при этом, что портрет “рисует” учитель и “рисует” в ситуации большого риска, постоянного выбора и целей, и средств своей деятельности.

С точки зрения автора, вряд ли где так отчетливо видна двойственность понятия “успех”, как в школьном классе. Здесь учитель имеет дело “с обществом в разрезе: среди тридцати своих учеников он видит детей самых разных способностей и ценностных ориентаций”. Условно принимая характеристику учения “как дела, как работы, которая должна быть выполнена”, автор отмечает, что “успех самого учителя заключается в выполнении этой работы наилучшим образом и наибольшим числом детей”. Но здесь обнаруживается проблема для размышления: окажется ли такого рода результат действительно успехом?

Дело в том, что “возможны, по крайней мере, две ценности, два критерия педагогического успеха. Один из них - дело, то есть знания, прохождение программы, реальное умственное развитие детей. Другой - когда успехом учителя является чувство внутреннего достоинства, обретенное ребенком, самоопределение ребенка с точки зрения его места в окружающем мире и отношения к нему как равноценному человеку, какие бы у него ни были способности. Знание *или* достоинство - вот как формулируется проблема”.

А нельзя ли сформулировать проблему иначе - через “и”? “Во всем мире, на практике, реально получается именно “или”. Прежде всего, из-за современных методов обучения (других просто нет, кроме как у Шаталова, остальное все - только разговоры о том, что “надо, чтобы...”). Теми методами, которыми обладают сегодня учитель и педагогика вообще, знания можно дать только способным детям, а когда вы начинаете давать знания способным детям и хотите таких же знаний от неспособных, то чем ниже у Последних шкала способностей, тем больше вы унижаете их достоинство, тем больше они чувствуют себя второстепенными, третьестепенными и десятистепенными”.

*Можно ли не допустить,
чтобы Первый вырос циником,
а Последний - неудачником?*

С точки зрения С.Соловейчика, “с Первым в классе все в порядке” - ведь он получает и знания, и достоинство. Проблема - в Последнем. “Конечно, можно увидеть проблему и в судьбе Первого, в цене его успеха - он может вырасти циником, причем именно успешным циником... Разумеется, трудно соблюсти такое разделение, ибо человек заботится о признании своей цены, признании себя равным. Причем человек с внутренним достоинством обладает тем качеством, что он себя чувствует не “первым”, а просто достойным, и здесь существенная разница - для него достойны и все остальные. Для того, кто обладает истинным чувством достоинства, люди не ранжируются, все люди равны ему по достоинству, для него достоинство становится ведущим нравственным императивом”.

А в чем же проблема Последнего? “Последние в современном классе (условно “последние”) составляют минимум 50%, а реально 70%, 80%, а может быть, и 90%, потому что реально учатся с увлечением в каждом классе от силы 2 - 3 человека. И перед учителем встает не только этическая проблема, но еще и проблема выживания: учитель, вооруженный современной педагогикой (другой не имеет) по-настоящему умеет учить только способных детей, остальных он вынужден принуждать. И что бы там ни говорили, как только мы из четвертого класса переходим в старшие классы, там все больше и больше применяется принуждение - уже в виде отметок, за которыми маячит исключение из школы. Как только исключение из школы перестало маячить, то есть принуждение потеряло силу - школа вся “села”. И во всем мире на практике каждая школа вынуждена выбирать только что-нибудь одно: знание или достоинство”.

Автор видит совершенно ясный контраст вариантов предпочтений в этой альтернативе между американской и советской школой. “Вся Америка требует от школы, чтобы она давала знания, базовые знания, считая, что школа плохо учит, что школа разваливается, - “разваливается” же она именно потому, что крепко держится за достоинство. Из двух ценностей, которые находятся в противоречии, они выбирают достоинство, и результаты такого предпочтения нас поражают, когда мы видим раскованных свободных детей. Это дети, которых не мучили в школе, которые просто ходили в школу, а там они или учатся или - не учатся, но если они не учатся, то есть не добились успеха в классе, это никого не волнует”.

Что же получается? Не оказывается ли, что “деятельность американской школы прямо противоположна интересам американского общества, потому что в обществе ценится успех, успех и успех, а в школе успех не ценится”? А если “да, оказывается”, то откуда же в Америке берутся успешные люди? “Преуспевают люди способные. Способные дети учатся, и из них выходят Нобелевские лауреаты. В то же время в американской школе можно встретить в 11 часов утра детей, которые сидят на пороге класса и играют на банджо. Спросите: “Почему вы играете на банджо в 11 часов утра?” - “Потому что у нас

банджо”. (Это диалог, который действительно был у меня). Я спрашиваю: “Что, у тех математика, а у вас банджо?”. “Да, - говорят они с вызовом, - у тех математика, а у нас банджо!”. Математика и банджо совершенно приравнены в правах и потому понятие успеха меняется. Для делового успеха нужна математика, а для развития человеческого достоинства математика как раз не нужна, может быть, даже опасна, а нужно банджо - ученик тогда не просто “время проводит”, он развивается в это время, занимается тем, чем он хочет. Ничего прагматического для будущей его работы это скорее всего ему не даст, зато у него не будет комплекса неполноценности, зато достоинство будет сохранено. Очень важен поэтому ответ, гордый ответ американского мальчика”.

*В Америке в обществе ценится успех,
в школе - достоинство. В нашей стране
школа настраивает на успех,
не думая о достоинстве.*

Не отвлекся ли автор от темы? “Я все время говорю именно о Последнем в классе. В Америке: в обществе ценится успех, в школе - достоинство. В нашей стране: школа настраивает на успех, не думая о достоинстве. Американский мальчик выходит из школы с чувством внутреннего достоинства, сохранив его в процессе учения, и потому чужой успех в окружающей жизни не вызывает у него никакой зависти. От столкновения с чужим успехом руки у него не падают, потому что его достоинство и достоинство успешного человека для него одинаковы. Он сознает свое право на успех, он трезво понимает свои возможности - какие есть, и уважает успешных людей.

У нас же наоборот. У Последнего складывается представление о том, что успех - это для кого-то другого, не для него; между успешным и неуспешным он видит пропасть: “я вечный неудачник, успех мне недоступен, я всегда буду двоечником-троечником”. К великому счастью наша школа - не единственный институт воспитания в обществе, к счастью (“не было бы счастья...”), школа - слабый воспитатель. Если бы наша школа была в добавок еще и сильной, то она вообще погубила бы весь народ. К счастью, дети способны быть суверенными от школы, и очень многие двоечники и троечники не верят в ценность школьного успеха, отрицают ее, презирают отличников (это важный момент). И потому заканчивают школу, сохраняя чувство собственного достоинства, а дальше - выходят в очень большие люди.

И наоборот, у нас погублены многие отличники, дети, добившиеся успеха в школе. Там они привыкают к успеху, только к успеху, без обязательного чувства достоинства. Перед многими отличниками не возникает даже моральной проблемы цены достижения статуса Первого в классе, не рефлексировается проблема достоинства. Первый не ощущает проблемы сохранения и развития своего чувства достоинства, он стремится чувствовать себя успешным человеком, а это другое. И когда в жизни не получается такого же успеха, какой был в школе, - потому что в жизни совершенно другие условия и другие требования, - Первый сейчас же “садится в лужу”.

Сохраняется ли эта традиция советской школы в наши дни? Сегодня, отмечает автор, в нашем обществе происходят перемены, когда успех как ценность все больше и больше выходит на лидирующее место; изменяется и школа. Если прежде, как мы уже знаем, ценность успеха преобладала над ценностью достоинства, то в наши дни внутри этой доминанты прослеживаются перемены. Прежде приоритетом был успех самого ученика, теперь же на первые места выходит успех учителя.

Как же учитель достигает успеха? Автор отмечает, что теперь учитель, ориентированный на успех, “ищет способы взаимодействия с Последним”, чтобы дать ему реальное чувство успеха - когда он увидит, что “подтягивается”. А тем самым Последний освобождается от комплекса неполноценности, а значит решается проблема достоинства.

Но... - здесь автор держит длительную паузу - “только если учитель нашел способы, отрицающие принуждение ученика”. При этом способы, действующие при отказе от разделения Первых и Последних по разным классам. Ведь сегодня распространена практика, когда такое разделение считается действительной перестройкой школы, “потому что, якобы, неуспешные перестают мешать успешным детям, а успешные, которым “никто не мешает”, естественно, добиваются большего. И вот появляются такие школы, появляются такие классы, появляются такие скрытые формы деления внутри одного класса - хотя бы в виде индивидуальных заданий, при которых одному дают сильные задачи, а другому - слабые (“ты все равно дурак”). Не говоря уже про то, что, начиная с 70-х годов, когда обучение стало обязательным, в классе появилось огромное количество “отпавших” учеников”.

Итак, по мнению автора, возникает проблема: “учителю для его успеха необходимо разделить детей, но разделение детей ужасно для самих детей”. При этом “современные школы не умеют учить без разделения детей - и наша школа, и школа мировая. Мне известна лишь одна школа, которая категорически не делит детей, причем не делит детей осознанно. Это шведская школа. Пятнадцатилетним экспериментом в Швеции постепенно созданы школы, в которых дети не разделялись. И теперь в школах двоечник сидит рядом с отличником, очень богатый сидит с сыном дворника. Частные школы не пользуются спросом, родители предпочитают отдавать детей в демократическую школу, потому что на практике доказано, что дети в этой школе учатся лучше... В обществе, конечно, есть известные разделения, но в демократическом обществе успешные и неуспешные все-таки сосуществуют. В идеале это может быть и в нашем классе, и такие примеры есть, и такая педагогика есть, и, страшно сказать, есть даже такая методика - у Шаталова”.

С.Соловейчик еще раз подчеркивает: вся “соль” здесь в том, чтобы успех и достоинство не разделялись, “чтобы успех содействовал внутреннему достоинству, чтобы это был успех не за счет других, как сейчас в школе часто происходит, а личный успех на успешном фоне. Тогда расцветает достоинство, сохраняется и выращивается, когда личный успех достигается на общем фоне

успеха, когда и другие люди рядом с тобой также ценят успех и также его добиваются”.

*Неравенство в успехе,
но равенство в достоинстве.*

Завершив анализ проблемы Первого и Последнего в классе с практической точки зрения, исходя из школьной реальности”, автор переходит к анализу проблемы с точки зрения императивов долга, этического отношения к детям, уважения, сотрудничества. Этическая проблема номер один - “кто есть Первый и кто Последний”, и “Первого и Последнего не должно быть”.

“Я для себя понял этот императив через анализ лозунга “Свобода! Равенство! Братство”. Равенство - вот над какой проблемой бьется человеческое общество в течение последних, по крайней мере, трех веков - со времен английской революции и французской революции. Сначала приняли равенство как чисто юридическое требование, равенство перед Законом. Выяснилось, что эту задачу со многими оговорками решить можно. Тут же потребовалась следующая ступень равенства - экономическое равенство... Но ... история развивалась известным образом и от экономического равенства ничего не осталось, а мы теперь понимаем, что оно и невозможно при современном развитии”.

Но когда автор обнаружил, что экономическое равенство невозможно, то перед ним встал вопрос: в чем же равенство? И он нашел ответ: *равенство в достоинстве*. Что такое вполне возможно на практике доказано опытом многих стран. “В достоинстве люди действительно могут быть равны”. Человек демократического общества как бы говорит: “Я признаю твое богатство, я признаю твой другой образ жизни, связанный с богатством, я признаю твои способности, я все признаю, но и при этом, несмотря на это, чувствую себя равным тебе”.

Для такой позиции, подчеркивает автор, необходим своеобразный переход в рефлексии, так как неравенство очевидно, а достоинство - не столь очевидно. Ибо равенство материально, а достоинство духовно. “И скачок от духовного к материальному и от материального к духовному - предмет особого труда, может быть, труда души, о котором говорил поэт. Такой труд - предмет работы школы, семьи и общества”.

Глава четвертая ПРЕДЕЛЫ

Моральная свобода уклонения от ориентации на успех

| *Гордость, гордыня, показная скромность.*

Значимый, на наш взгляд, аргумент в пользу этического статуса представляемой доктрины содержится в решении ею проблемы взаимоотношений человека успеха и сторонников иных воззрений.

Этика успеха не только ориентирует на достижения, не только призывает одновременно как к борьбе и конкуренции, так и к кооперации и партнерству, но и запрещает любые проявления бесчувственности, черствости со стороны “достигших” по отношению к “отставшим” или сошедшим с социального эскалатора, осуждает высокомерие людей успеха “первого разряда”.

При этом напоминая, что чувство мнимого морального превосходства взобравшихся на вершину успеха и снисходительно поглядывающих на тех, кто отстал или вовсе “застрял” у ее подножия, провоцирует столь же опасные для общественных нравов зависть, злорадство при любых неудачах людей успеха.

Этика успеха культивирует гордость за достигнутое. Это - естественное и живительное чувство имеет бесспорную общественную значимость, поддерживая в человеке сознание собственного достоинства и независимость. В стране с долгим засилием патернализма поддержка такого чувства очень важна. Но этика успеха культивирует и *меру* этого чувства. Доведенное до крайности, оно легко переходит в свою противоположность - гордыню. Христианская мораль в числе семи непростительных смертных грехов небезосновательно на первое место ставит гордыню. Ее зовут матерью всех пороков.

Близка к гордыне и показная скромность. И уж совсем плохо в нравственном смысле, когда самолюбование и тщеславие принимают болезненные, уродливые формы и сопровождаются уже не снисходительным, но презрительно-брезгливым отношением к тем, кто не принадлежит к кругу избранных, баловней судьбы, кто “не дотягивает” до определенного статуса. Весь этот комплекс перерастает в нарциссизм отдельных лиц и даже целых элитных групп, как правило культивирующих вульгарные замашки и жаргон, обладающих низким уровнем культурных запросов, вкусов, манер и стиля поведения. Прежде таких иронически именовали “элитой низов” и выскочками, а теперь к иронии добавилось возмущение “элитизмом” новоявленных богачей, нуворишей, успешность которых чаще всего носит паразитарный и призрачный характер.

| *Толерантность к альтернативным
ценности успеха ориентациям.*

Далее. Этика успеха предполагает толерантность и по отношению к *альтернативным ориентациям* относительно устремленности к деловым и

профессиональным достижениям. Модернизирующиеся общества культивируют идеологию успеха как важнейшую “локомотивную” ценность, а этику успеха рассматривают чуть ли не как духовный символ веры современной цивилизации достижений. И на Западе, и у нас не первый день существует развернутая социальная критика модернизации - критика скептического, романтически-консервативного, фундаменталистского, социально-утопического подходов. Она предполагает негативную оценку стремления к деловому успеху и несколько более снисходительное, осторожное, далеко не восторженное, отношение к ориентации на профессиональный успех. Само слово “успех” раздражает чувствительное ухо тех, кто привержен такой социальной критике, и они предпочитают уклониться от участия в “крысиных гонках” за миражами успеха.

Такая критика - не новичок в духовной сфере и имеет за собой почтенную традицию. “Проживи незаметно”, - призывал еще Эпиктет. “Признак настоящей жизни, настоящего человека, настоящего искусства - бесследность”, - заверял древнекитайский мыслитель. “Быть знаменитым некрасиво”, - известное утверждение Б.Пастернака. “Все, что мы побеждаем, - малость, / нас унижает наш успех. / Необычайность, небывалость / зовет бойцов совсем не тех”, - это уже из Р.М.Рильке. А вот более свежее (и уже цитированное выше): хвала будничной жизни советских людей, которые, - согласно ностальгическому вздоху Г.Гачева, - пользовались всеми благами социализма, но не надрывались на работе, никуда не спешили, превращая время в деньги, как многие вынуждены делать сейчас.

Россия известна феноменом “обломовщины”. Одна из его трактовок заключается в особой историческо-ситуативной мотивации неучастия и бездействия. Такая мотивация сулит успехи в тихой, невидимой деятельности души, в частной жизни, обнаруживая греховность в излишней устремленности к достижениям и обуславливая комплекс вины преуспевающего человека, столь ярко очерченного в нашей литературе.

Существует и позиция социальной пассивности - квиетизм. Его императивы отличаются от инцидентной пассивности, временного паралича воли, от состояния аутогенной тренировки. Это - поиск абсолютной безмятежности, социального безразличия, выключения из любых социально одобренных моделей действия. С такой эскапистской точки зрения естественный и свободный человек не нуждается в гонках за успехом и в “каких-то” достижениях. Временами такой человек, правда, вынужден имитировать участие в общественной жизни, как будто бы преследуя определенные модели успеха, но тем самым он лишь маскирует свой ретретизм - уход в расчетливо избранное одиночество.

Весьма отличен от этого подхода стоицизм с его установкой на деяние без надежды на успех, о чем мы уже говорили. Если квиетизм означает, по сути, капитуляцию перед сложностью и суровостью мира, перед драматичностью Дела, перед противоречивостью самой концепции успеха, что свидетельствует о неготовности овладеть нормами этой этики, то стоицизм предполагает

постоянную мобилизацию воли, напряжение самодисциплины, героическую решимость, готовность повстречаться с непредсказуемыми зигзагами судьбы.

Испытывая уважение к такой “философии безнадежной решимости”, заметим, что она дает реальный шанс обновления общественной морали и, вместе с тем, укрепления норм этики успеха.

Кому служит доктрина этики успеха

| Восприятие доктрины: кто же пользователи?

Хотелось бы ограничиться лапидарной констатацией: свободная мысль служит только сама себе. Другое дело - кем она может быть востребована, использована.

Среди многочисленных откликов на журнал “Этика успеха” был и такой: “социальный запрос на размышления об успехе слишком понятен. Новый “успешный” класс нуждается в квазиидеологическом своем оправдании” [53]. Подобные суждения отнюдь не уникальны. Ситуация в России такова, что, вне всякого сомнения, подозрительные условия и цена успеха, поведение и стиль жизни значительной части достигших успеха людей, иронично, а то и презрительно именуемых “новыми русскими”, носит настолько вызывающий характер, что сама попытка сочетания слов “этика” и “успех” не просто раздражают и даже не только вызывают отвращение, но и бросают тень подозрительности на тех, кто пытается соединить эти слова в некую единую конструкцию. Кажется, что легче соединить “лед” и “пламень”. Попытки создания доктрины иногда воспринимаются и как святотатство в отношении к морали, и как некая абракадабра в языке научной этики, и, что наиболее существенно, как оскорбление тех, кто силой обстоятельств или личной моральной чистоты, даже безрелигиозности, отрезаны от возможностей продвигаться по пути успеха. Оскорбление, представляющееся критикам тем более несправедливым, что неуспешность вменяется как вина, как безответственность - вроде распространившегося оценочного шаблона “если ты такой умный, то почему не богатый?!” - и считается незаслуживающей сочувствия и сострадания, не говоря уже о руке помощи.

Рассуждая на эту тему, А.С.Панарин отмечает, что “со времен возникновения христианства основой консенсуса между носителями духовной власти и народом была морально-религиозная легитимация (презумпция духовного превосходства) “нищих духом” - угнетенных и слабых. Революционно-демократическая интеллигенция в основном наследовала это христианское обетование, грядущее блаженство нищих духом, придав ему форму социалистической утопии. Сильные, наглые, преуспевающие будут унижены, обездоленным - воздастся”.

В этой связи автор пишет, что в современной России, где сильно деформирован процесс преобразований, можно “говорить о настоящей социокультурной катастрофе, связанной с языческим вырождением духа интеллигенции. Даже в условиях номенклатурного капитализма, равно оберегающего свою монополию на хозяйственную власть и собственность,

попирающего все нормы и правила нормальной экономической соревновательности, интеллектуалы продолжают твердить, что бедность свидетельствует не о честности и святости, а о лени и нерадивости” [54].

Мы считаем принципиально важным совместить учет справедливой части замечаний такого рода со стремлением не упустить и такую особенность современной ситуации, которая оценивается психологами как “влюбленность в неудачу”. Так, опираясь на психологическую концепцию переживания как особой деятельности, А.Г.Асмолов отмечает поразительную боязнь думать об успехе негедонистически, о деятельности переживания успеха - не как о разъединяющей людей, а как объединяющей. “Мы удивительно не понимаем, что успех и идеал - это понятия очень родственные, что ценностная логика успеха, как, если угодно, прожектора для высвечивания идеалов, крайне важна”, - пишет автор (цит.соч., с.10-11).

Развивая характеристику психологических граней идеи успеха, А.Г.Асмолов констатирует: если проанализировать практикуемые сегодня в нашей стране модели успеха, то обнаруживается необходимость признать, что “мы - страна, влюбленная в кризис, страна, влюбленная в неудачи”. Именно на таком фоне разворачиваются все события. Вспоминая Шолом-Алейхема - “Мне хорошо - я сирота”, - А.Г.Асмолов отмечает, что, например, мы повторяем ту же самую фразу применительно к современной социальной политике. В результате “социальная политика России сегодня - это прямое бегство от ценности успеха”, - утверждает автор.

Уделяя особое внимание “общей системе кровообращения” психологии и этики, автор отмечает, что “ситуация неопределенности полагает логику успеха как логику признания за каждым иных путей развития, а это значит “пожать руку идее вариативной эволюции”. Главное в ней - через успех поддержать вариации. Либо идти по пути селективного отбора - и тогда свести все к формуле “выживают выжившие”, либо понять, что для каждого найдутся варианты развития. В последнем случае задача заключается не в том, чтобы “отбирать” только сильных, способных победить, и поддерживать только лишь их, но, как японские педагоги, подсказывать молодым: успех не в том, чтобы сегодня обыграть того, кто бежит рядом по дороге, а в том, чтобы сегодня быть успешнее самого себя вчерашнего.

Если молодежь не будет воспринимать конкуренцию как главную модель успеха, тогда можно рассчитывать на развитие солидаристской культуры, на переход от “культуры полезности, где преобладает логика конечной цели, от финалистской культуры - обезличенной культуры, в которой всегда есть финал, к культуре, где в спектакле нет финала, и это прекрасно, к культуре, где нет логики выживания, где главная логика - Жить” (цит. соч., с.13).

Еще и еще раз подчеркивает А.Г.Асмолов, что страна, “влюбленная в кризис”, распад или же мнимые идеи стабильности, всегда слепа. “Пока страна не имеет модели проживания успеха и поиска успеха в культуре достоинства, она может много натворить”. Успех, с точки зрения автора, “роднится с идеей инновации в контексте поиска”. Если же пойти другим путем - принять “модель

влюбленности в неудачу”, тогда доминируют не инновации, а аврал и мобилизация. В этом случае неизбежно истощение, как показывает изучение стрессов. “И можно прогнозировать для российской культуры летальный исход” (цит. соч., с.13-14).

И еще один аспект проблемы выбора точного социального, политического и морального отношения к неуспешным людям. Ведь взывают к состраданию и помощи еще и те, кто “опоздал при дележке общественного пирога, кто менее приспособлен к работе в рыночных условиях, однако обладает немалым аппетитом”, “неэффективные, неумелые производители”, ждущие и требующие поддержки за счет потребителей, за счет всего народа, “неквалифицированные управленцы, нерадивые работники, неудачливые бизнесмены, неэффективные товаропроизводители” и т.п. [55].

Итак, исчерпывается ли “пользователь” идеи успеха только такими субъектами, которые на практике подменяют этику успеха аморализмом беспринципного, наглого, изворотливого достижения, или, напротив, только теми неэффективными работниками разных ролей, кто не вписался в рыночные требования и стандарты и потому именно “не успел”, “отстал” и т.п. ?

| Так кому же служит доктрина?

“Служит?” Имеет ли такая формулировка право на существование? Предлагая положительный ответ на этот вопрос заметим, что при не зашоренном узкоклассовыми предрассудками видении общества этика успеха выполняет роль моральной философии наиболее динамичных групп и слоев современного общества, групп и сообществ, отличающихся новыми картинами жизненных миров, “групп развития”, воплощающих в себе дух времени, эпицентры трансформации всего социума и т.п. Этика успеха революционизирует социальные структуры и отношения, “обслуживая” вовсе не “новых русских”, если под этим выражением понимать лишь известную часть предпринимательского и чиновничьего сословий, а новых в культурологическом смысле, т.е. - “*молодых русских*”.

В то же время вопрос о “пользователе” ставит нас перед проблемой такого рода: представляют ли люди, ориентированные на успех, замкнутую, эзотерическую группу любого общества, и тем более современного российского, или же “вход” в число ориентированных таким образом людей свободен для каждого, ограничен лишь желанием?

Этот вопрос имеет множество граней. Мало “хотеть” - надо еще “мочь” и “уметь”, мало “желать” - надо еще “сметь”. Не менее важна ситуация в обществе: стремится ли оно в действительности к стимулированию успешной деятельности, в какой мере это стремление относится не только к элитам, но и к массовому субъекту, дает ли оно возможность совмещать стремление к успеху со стремлением к жизни достойной и даже праведной, о чем уже говорилось раньше.

Размышляя над вопросом о перспективах демократизации субъекта идеи успеха в современном обществе, следует отметить мегатенденции, которые

содействуют расширению числа людей, так или иначе вовлеченных в деятельность, мотивированную идеей успеха. В какой-то части запаздывая, а в другой - опережая, эти тенденции прослеживаются и в нашей стране. Правда, если “в первые годы реформ доля людей, адаптировавшихся к новым условиям, систематически возрастала”, то “в последнее время она стабилизировалась и стала снижаться, что может рассматриваться как свидетельство исчерпания адаптационных ресурсов общества по отношению к проводимой социально-экономической политике” [56]. В то же время само расширение числа людей, ориентированных на успех, имманентно связано с расширением возможности достойной жизни, что, в свою очередь, может быть только необходимым условием, но отнюдь не достаточным, так как достоинство существования - даже в экстремальных условиях - всецело зависит от самой личности, ее сознания, самочувствия и поведения.

Доктрина этики успеха защищает не столько политическую и социальную, сколько *моральную* идею (в той мере, в какой их вообще можно отделить друг от друга). Очевидно, что основной способ связи такой идеи с практикой - моралистический (но не морализаторский), когда этическая идея успеха проблематизируется и культивируется как одна из новых альтернатив морального выбора.

В то же время это идея *этико-прикладного* характера. Она касается тех ценностей и норм, которые *конкретизируют* моральные ценности, развивают их в различных сферах делового и жизненного успеха. В такой ситуации у моральной идеи формируется дополнительная практическая сила. Так, благодаря *профессиональному* статусу Дела, выбор Человека Дела весьма жестко обусловлен ценностью успеха: служение Делу неотделимо от ориентации на успех.

Не довлеет ли демонизируемый образ успеха в сознании части наших интеллектуалов?

Довлеет, и не без оснований, “данных нам в ощущении”: успех нередко достигается в конкурентной борьбе и победитель в значительном числе случаев говорит знаменитое - “горе побежденным”. Положительные моменты конкуренции, в том числе и в моральном плане (победа в “конкурсе” при соблюдении правил честной игры - это доблесть, знак морального мужества), в этой ситуации оказываются не просто скрытыми, но и вовсе “отодвинутыми”, погашенными, тем более, если речь идет не о мягкой, а о жесткой форме конкуренции.

Однако мы хотели бы подчеркнуть не просто положительные стороны конкуренции, но и указать на тесную - пусть и не всегда очевидную - связь успеха с установками на кооперацию. В аналитическом обзоре американской литературы об успехе социолог А.Ю.Согомонов выделил две основные стратегии успеха - достижение (а) через кооперацию и (б) через конкуренцию [57]. По мнению автора, постсовременную эпоху характеризуют следующие обстоятельства: во-первых, исторический период “индивидуалистических”

типов успеха в основном исчерпан, во-вторых, им на смену приходит время “кооперационной” модели успеха (в социально-профессиональном смысле), в-третьих, современной культуре общества свойственен страх успеха, а за этим страхом стоит нежелание соревноваться.

Разделяя версию А.Ю.Согомонова о наличии стратегической оси успеха: “кооперация → конкуренция”, психолог М.Жамкочьян отмечает, что “смещение к левому полюсу есть современная тенденция, которая проявляется в корпоративности. Россия, видимо, тоже начала движение в ту же сторону”. Психологу представляется любопытным, что достигшие успеха люди, в том числе пишущие об этом на страницах журнала “Этика успеха”, с той или иной степенью отчетливости “пытаются сказать о существовании внутренних критериев успеха: от ощущения праведности [58] до “призванности”, ощущения, что “то, что я делаю - это мое” [59]. И потому психологу представляется очевидным, что, “являясь существенной стратегией личного успеха, поиск “своего” не является стратегией индивидуалистической, конкурентной” [60].

При этом, полагает М.Жамкочьян, “кроме стратегической оси “кооперация → конкуренция” просматривается еще одна, с условными обозначениями полюсов: “внутриличностная конгруэнтность → конформность”. Первая стратегия в пределе означает совпадение с самим собой, уподобление самому себе, стремление к внутренней гармонии, тогда как вторая - более известная - есть уподобление другому, в пределе совпадение со всеми, стремление ощутить себя таким как все. Эти две стратегии находят свое выражение в фундаментальных процессах индивидуации - социализации” (там же, с. 141).

*Общество может и должно направить
энергетику неудачи в конструктивное русло.*

Идея признания права на иные жизненные пути, выбора своего направления в жизни является базовой в понимании доктрины этики успеха возможностей общества. Поэтому представляется убедительным подход относительно ранее упомянутой “энергетики неудачи”, который демонстрирует Г.Л.Тулчинский, отвечая на вопрос о возможности для общества направить “энергетику неудачи” в конструктивное русло. Автор считает: невозможность избежать полностью негативных девиаций не означает, что нельзя снизить их вероятность. “Главной задачей при этом будет обеспечение многовариантности миров для самоутверждения. Еще точнее - обеспечение маргиналам-неудачникам шанса на создание своего мира, на реализацию онтологического импульса свободы...

Золотое правило: можешь - помоги, не можешь - не мешай. Поэтому признание за человеком права на выбор в рамках закона - удел не только сытых сообществ. Наоборот, общество в кризисной ситуации больше зависит от сверхусилий индивидов, от возможностей их самореализации. Хотя бы потому,

что кризисное общество есть общество неудачников. И поэтому оно должно, обязано использовать эту энергетику их-своей неудачи” [20, с.31].

Когда мы читаем о маргиналах-неудачниках, вспоминаем и еще один важный аспект свободы, представлений о долге, чести и достоинстве личности. Как уже говорилось, общество не может не признать за личностью и такое право на свободу выбора, как уклонение от успеха по принципиальным соображениям. Такие соображения не покидают поле нравственной по своей природе мотивации.

Схожую же мысль, но на социологическом языке, высказывает социолог Б.В.Дубин. Проблема, с точки зрения автора, заключается в том, как могут институализироваться в нынешнем и завтрашнем российском обществе импульсы нового, энергия перемен, как они могут войти в социальную структуру, усвоиться и поддерживаться социумом, как ценности ориентации на успех наиболее инициативных и авторитетных групп способны превращаться в устойчивый компонент ориентации большинства, во всяком случае многих. “Причем особенность проблематики успеха здесь и сейчас такова, что, вытесненная из сознания, по меньшей мере, двух поколений советских людей, она по-прежнему остается полускрытой, ведет какое-то почти нелегальное, призрачное существование в публичном пространстве, в общественном мнении. Успех - не просто случай или удача, прорыв и фурор. Индивидуальное достижение может стать социальным фактом и структурно-динамическим фактором только если оно социализировано, общественно закреплено, ценностно поддержано. То есть, оценено (стало быть, для него имеется мера или даже система мер), отмечено (другими словами, существует набор его знаков и символов) и признано (а значит, должны быть соответствующие авторитетные “судьи”, своего рода жюри). И хотя оценка и вознаграждение хронологически следуют за действием, подытоживают его, но, говоря социологически, критерии и инстанции этой оценки, конечно же, входят в структуру мотивации действующего индивида, направляют его шаги и, в этом смысле, им сопутствуют и даже предшествуют” [61].

Этой пространной цитатой, содержащей идеи, которые мы разделяем и которые дают нормативный ответ на вопрос о том, кому служит этика успеха, мы завершаем главу.

Глава пятая

РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ЭТИКИ УСПЕХА: ВОЗМОЖНА ЛИ ЭТИКА УСПЕХА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ?

| *Вопросы, которые мы выбираем.*

Стоит только вникнуть в обозначенную выше тему, обрушивается шквал трудностей. Во-первых, вынесенный в название главы вопрос предполагает соединение множества других, причем разнопорядковых, вопросов, образующих в сумме отнюдь не стройную систему, а некий “хаосмос” (выразительный оксюморон, придуманный двумя современными французскими философами). И все эти вопросы с трудом поддаются прояснению, накладывая друг на друга плохо согласующиеся “картины мира”, “хронотопы”.

Попробуем сначала просто перечислить данные вопросы, не ранжируя их по значимости и времени постановки.

Прежде всего, когда и как в России происходило (если происходило) вытеснение “естественной” морали моралью рациональной и что при этом возникало в ценностном Зазеркалье?

Если верно, что этика успеха зачинается и зреет в недрах рациональной морали, то какой вид приобрела последняя у нас в стране, и как протекал (и протекает) конфликт между двумя нормативно-ценностными системами? Что ускоряло, продвигало, а что - тормозило и искривляло данный процесс?

Из какого идейного и ценностного “материала” возводились основания этики успеха в России? Во-первых, какими традициями она подпитывалась, а какими - притеснялась и, возможно, даже табуировалась? Во-вторых, что пришлось “пересаживать” из импортного, заемного “материала”, как известно плохо приживающегося в наших широтах? Каков был потенциал трансформирования в плане взаимодействия этики успеха с конфессиональными ценностями страны, ее этическими религиями спасения? Какую роль во всем этом играла идея государственного служения? Как христианский индивидуализм сочетался с этническими архетипами и общинно-соборным сознанием? Как шел процесс формирования граждан (а не просто подданных), частной собственности, прав человека и “юридизма”? На базе каких ценностей возникали у нас - в той мере, в какой возникали - традиции и нормы этики предпринимательства, политической этики, этики социального управления? Что с ними случилось в послереволюционную эпоху отечественной истории, какие возникли в этот период этосные образования, какие выкристаллизовались модели жизненного, профессионального, делового успеха, самотворения? Какую эволюцию они прошли и что с ними стряслось в перестроечную и постперестроечную эру, когда за каких-нибудь десять лет мы оказались едва ли не в “другой стране”? И так можно вопрошать “ad nauseam” - до отвращения!

*Модернизация в России:
говорят ли факты сами за себя?*

Сформулируем основной вопрос этой темы следующим образом: идут ли модернизационные процессы на просторах нашего отечества и, стало быть, формируются ли здесь рыночные отношения и демократические институты, с которыми обычно увязывается и становление этики успеха?

Казалось бы, факты говорят сами за себя?! Но ведь известны и отрицательные ответы на этот ключевой для нашей темы вопрос. Мотивация таких ответов может быть самой разнообразной, однако инвариантны постоянные ссылки на фундаментальную *чужеродность* этики успеха для ментальности нашего народа. А в этом случае данная этика сразу проводится по ведомству искушающей дьяволиады, сатанинского соращения, корня отпадения от благодати, всяческих смут и схизм.

*Является ли ориентация на успех
источником “моральной порчи народа”?*

Подобные подходы имеют хождение тогда, когда модернизационные процессы начинают упираться в упругую неподатливость социальной материи, в окаменелость традиционной ментальности в целом или ряда ее существенных сторон, когда эти процессы пробуксовывают, наталкиваясь на сопротивление традиционалистских слоев населения, когда они вызывают в массах, выбитых из наезженной жизненной колеи, волну недовольства (большой частью вполне обоснованного).

Традиционные ценности всегда с трудом поддаются преобразованиям, сопротивляются попыткам оттеснить их на периферию духовной жизни, стремятся сохранить свою замкнутость, самоизолированность. Они противятся десинкретизации, связанной, с одной стороны - с расщеплением социума на специализированные сегменты деятельности с соответствующими ориентирами и регуляторами, с ростом формализованных, обезличивающих связей, с другой - с расширением рамок индивидуального выбора, с усилением социальной мобильности. Традиционные ценности органически связаны с замкнутым социальным пространством, прикованностью к строго определенному месту, к несменяемому виду деятельности, к ленивому течению времени.

Такие ценности предназначены для того, чтобы поддерживать систему приписываемых, но не приобретаемых личными усилиями статусов. Неудивительно, что традиционалистское воззрение не воспринимает ориентированную на успех деятельность, независимо от ее мотивации - осмысливается ли достижение жизненного и делового успеха исключительно в инструментальных терминах или также в терминах моральных.

Четыре причины “неофобии”.

Подчеркнем, что “неофобия” обусловлена вескими причинами, которые недопустимо игнорировать, исходя из надменного “прогрессистского” чувства

превосходства над “отставшими” либо из равнодушия к тяготам преобразования корневых укладов жизни.

Среди таких причин, *во-первых*, практически повсеместное падение нравов в результате модернизации, значительные *моральные издержки* (сопоставимые с переходом от первобытных нравов к нравам цивилизованным), невосстановимые утраты, лишь отчасти компенсируемые в будущем - в новой системе ценностей, которая трудно соотносится со старой. Нельзя определенно сказать какая из них “лучше” или “хуже”, “выше” или “ниже”, соответствует человеческой природе или нет?

Во-вторых, неприятие нового обусловлено мучительным опытом *нетворческого*, шаблонного, подражательского использования универсальных ценностей деятельности, ориентированной на достижения. О.Шпенглер называл “псевдоморфозом” трансплантацию чужих готовых форм организации общественной жизни, импортирование и сравнительно легкое усвоение всевозможных технологий, в том числе и поведенческих, преимущественно внешние формы инноваций (всегда легче “казаться”, чем “быть”, проще “иметь”, нежели “стать”). В этом случае остается слабо востребованным сам дух перемен с его культом аскезиса, профессиональной ответственности, серьезной воодушевленности, чувством меры, ощущением баланса между свободой и равенством, солидаризмом и индивидуализмом. Если ставить вопрос шире, речь должна идти о духе капитализма, рыночной культуры, демократии, своеобразной *метафизике успешности* и соответствующего стиля жизни (как надежного показателя усвоенности данного духа), которым безосновательно противопоставляется вдоль и поперек изведенный “национальный” дух.

В-третьих, речь идет о тяжелом опыте *навязывания* ценностей достижения - при нежелании воспользоваться диалогом культур для совмещения инноваций с органическим развитием национальных культур, учитывая их мифологию, стереотипы и архетипы.

В-четвертых, следует отметить печальный опыт *форсажа*, стремления спрямить естественные зигзаги исторического движения, укоротить сроки вызревания тех или иных результатов, опыт нетерпеливого подстегивания модернизационных процессов, неспособных по самой своей природе к акселерации: к ним безо всяких поправок подходит выражение “вялотекущие”. Ведь одно дело - совокупность поверхностных мнений, впитанных сознанием, поддающихся чуть ли не внезапным сменам символических кодов, и совсем другое - ядро сознания, устойчивая и сравнительно малоподвижная, инерциальная система ценностных ориентаций, мировоззренческих представлений, надежно укрытых от изменчивых внешних воздействий. Отсюда-то раздражающая многих “градуальность”, медлительность модернизационных процессов, постоянные откаты, своеобразный “моральный террор” по отношению к практичным “постепенцам”. Отсюда же чуть ли не фатальная обреченность на повторы, рецессии, слабая расположенность к синтезам, расколы в общественном сознании, незавершенность начатого,

непоследовательность. Все это - *locus minoris resistantiae* модернизации во всех странах, где бы она ни предпринималась, в том числе - и у нас в России.

*Поддается ли Россия
цивилизационной атрибуции?*

Мы, естественно, полагаем ошибочными взгляды “особупутистов”, за которыми притаились и гипертрофированное национальное самомнение, и столь же гипертрофированное опасение оказаться на задворках технической цивилизации, в некоем культурном гетто. Такие взгляды не становятся более обоснованными и тогда, когда сторонники “особого пути” выступают поборниками странного соединения общественного динамизма с соборностью, патернализмом, самоуправлением общинного типа (без разрушения естественных связей).

Однако мы не считаем, будто в России (и еще где бы то ни было!) должна и может укорениться имитационная модель трансплантированной рациональной морали и этики успеха, выпестованной в ней системы мотивации на достижения и оценок достигнутого. История свидетельствует о невероятности подобного развития и о неудачах, которые, подобно року, преследуют ретивых модернизаторов. Не может этика успеха в России быть точной копией той этики, что была впервые возвращена в своей неповторимой культурной среде: искусственно, в полном гигантского риска эксперименте нельзя смоделировать условия возникновения такой этики в неведомых для нее культурных средах. Путь мимесиса для России заказан! Да и в той самой среде, где в свое историческое время зародилась этика успеха, уже произошли столь значительные перемены (напомним хотя бы о переходе от “этики характера” к “этике личности” и - далее - к возможным их синтезам), что культурам-реципиентам достаются лишь устаревшие модели достижения. Между прочим, те явления, которые у нас принято подводить под собирательное понятие “западничество” с сильно выраженными негативными коннотациями, на поверку оказывается всего-навсего переодетыми и застарелыми отечественными пороками.

Подлинная этика успеха, несомненно, возникнет в России (собственно говоря, множество ее элементов уже возникают, понятно, в различных темпах и масштабах). С одной стороны, она не будет чем-то принципиально нетождественным классическим образцам, протомоделям - с учетом происходящих изменений, иначе ее не имеет смысла именовать этикой успеха. С другой, впитав созвучные ей национальные традиции, абсорбирав ряд черт ментальности народа, она в то же самое время окажется *mutatis mutandis* чем-то иным, неизмеримо большим, чем простая аппликация универсальных ценностей на свод ценностей уникальных, на культурно-региональные традиции. Это проявляется в конфигурации ценностей российского варианта этики успеха, принятых здесь мотивационных схемах успеха, эмоционально окрашенных символично-аллегорических формах восприятия как самого успеха, так и

культуры успешной деятельности в различных сферах жизни общества, в ее мировоззренческих обоснованиях .

| Опыт азиатско-тихоокеанского региона.

Так происходит, например, в странах азиатско-тихоокеанского региона, поразивших мир стремительным усвоением ценностей успеха и правил честной игры. Своеобразие этики успеха оказывается здесь столь впечатляющим, что у наблюдателей невольно закрадывается крамольная мысль: об одной и той же воплощенной в действие нормативно-ценностной системе идет речь? Не стоит ли и в России, вместо того, чтобы призывать идти самобытным путем “агропромышленной” модернизации, не покидая при этом “священных” границ традиционализма, по примеру этих стран сконцентрировать усилия на культурно-цивилизационной специфике этики успеха, рассматривая ее в качестве “мотора” развития, разумеется, не упуская из вида и сохранение части традиционных ценностей? Такого рода “симбиозы”, “гибриды” ценностей уже вызвали к жизни многочисленные исследования по компаративистской политологии, целую отрасль в этике бизнеса.

*| Трудности самоидентификации с
“цивилизацией достижений” преодолимы.*

При цивилизационной атрибуции России важно учитывать не просто особенности страны, а субцивилизационные и суперэтнические факторы, вытекающие из ее исторической судьбы, промежуточного социокультурного положения, ее уникального геополитического положения. Очень точно сказано М.Гефтером: Россия - “мир миров”, “страна стран”.

С одной стороны, это обширнейшая система сосуществующих цивилизаций - “Запад Восточности”. На Россию существенно повлияла близость к азиатскому миру с присущими ему всемогуществом государства, продолжающего и дополняющего природные, родовые отношения, отсутствием выделенности социальной и политической сфер, доминированием власти над собственностью, неразвитостью, рудиментарностью экономической и политической свободы, духом всеобщего рабства, которому способны противостоять не сельские или городские общины, а лишь эзотерические социальные корпорации и этические религии, в результате чего там складываются и некоторые смутные прообразы этики успеха.

При цивилизационной характеристике России акцентируется ее европейская “прописка”. Здесь утвердился особый тип европейской, восточно-христианской цивилизации (хотя и с отчетливо выраженными чертами “азиатчины”). Дело заключается не только в отсталости или в выпадении из общецивилизационного потока (впрочем и то, и другое имеет место, с вытекающей отсюда необходимостью догоняющего развития, возвращения в данный поток). Скорее всего правы те исследователи, кто усматривает в самобытности данного типа и дополнение западно-христианской цивилизации, и противовес ей, что позволило в целом уравновесить организм человеческой цивилизации в

самом широком смысле этого слова (хотя ассоциирующиеся с идеей уравнивания понятия “миссия” и “функция” носят историософический характер).

Итак, с одной стороны: отставание, периферийность, “сверхзаконная” деспотическая власть, когда государственности придается нравственно-метафизическая интерпретация; холопство и бесправие подданных, от которых ожидают экзальтированной жертвенности; девальвация человеческой жизни; патримониальность; преобладание не рыночных методов регулирования хозяйственной деятельности, а системы “дача-раздача”, экстенсивного развития с мультипликацией однажды достигнутого. Обращают внимание на безоглядное подчинение церкви государству во всех его устремлениях, ее интеграцию в государственную машину, на сильный, но к несчастью внемирской аскетизм, отсутствие самостоятельных сословий (можно говорить разве что об элементах такой самостоятельности), на слабые гарантии от всевозможных смут, на отсутствие заслонов от проникновения архаических начал в массовое сознание.

Указывают на трудности культурной самоидентификации, что, возможно, объясняет бытование “русской идеи” и потребности в “самоузнавании”, - в отличие от стран, уже прошедших основные фазы модернизационного развития, погасивших данную потребность. Хотя на индивидуальном уровне потребность в культурной самоидентификации остается всегда, образуя импульсы к духовным, нравственным исканиям. В то время как в зоне классической цивилизации достижений сегодня интенсивно идут процессы ломки национальных границ и многообразных культурных синтезов, в зоне только начавшегося утверждения такой цивилизации - в том числе и в России - лишь теперь забурлила национальная жизнь, поэтому поиск национальной идентичности приобретает здесь необычайную напряженность. И этот коллективный поиск становится опасным, если выводит на этническую или этноимперскую идентичность.

С другой стороны, Россию характеризует близость к динамично развивающемуся Западу. Здесь сказывается влияние - через Византию - античного наследия, христианского индивидуализма, принципиальные отличия русской поземельной общины от общины азиатской, конфронтация личностных и общинных (роевых, вечевых, соборных) начал. И, главное, происходит сепарирование гражданского общества от сословно-статусного строя, смена петиционного права регистрационным, наращивание модернизационных процессов - несмотря на их волнообразный характер, на откаты, рецессии и контр-реформы, на болезненную и вопиющую противоречивость прогресса (выражение “катастрофы прогресса” - отнюдь не риторический оборот). Здесь возникают учреждения представительной демократии, правового государства и формируются личные свободы как обязательные условия формирования этики успеха.

Преодолевая мощную инерцию общинно-уравнивательного, локалистского сознания и удерживая некоторые его положительные моменты (например, нормы артельности, осуждение стяжательства, ценность благотворительности и

др.), начал формироваться этос делового и профессионального успеха и ответственности, сразу же занимая продвинутое - по мировым стандартам - позиции. Правда, в целом процесс образования такого этоса был достаточно скромным, во многом еще поверхностным - общенациональное сознание, чувство социальной чести, статусной солидарности людей успеха, деловая честность и ответственность только начали вырабатываться, чему препятствовали неразвитость рыночных отношений в деревне, патернализм, протекционизм, искусственные ограничения конкуренции.

*Идея успеха органична
для родины Ивана-дурака.*

Поборники идей о непреодолеваемой “чуждости” этики успеха именно российской ментальности и, естественно, об абсолютной ненужности “прививки” изображают дело таким образом, будто этике успеха здесь предстоит прищавиться к новым и совершенно неведомым берегам, что “успех”, обретаемый собственными усилиями, ориентация на достижения, готовность к риску, индивидуальной ответственности, интенсивные личностные стратегии поведения, умение “вертеться” (в положительном смысле этого понятия, т.е. при стремлении вести при этом “честную игру”) даже “не ночевали” в этой ментальности, которая жестко противопоставляет “нации прагматиков” “нацию идеалистов”. В таком противопоставлении обнаруживается множество парадоксов. К одному из них мы и обратимся.

Сколько раз уже в наши дни возникали надежды на коррекцию, которую можно было бы извлечь из сравнения того, “что народ сам о себе говорит”, с тем, что о нем думают “поводыри-наездники”. И вот “бессмертные заповеди национального героя” в сказках об Иване-дураке комментируются в антипрагматическом духе. Так, в сказке “Сивка-бурка” обращают внимание на то, что место “народного фаворита” было на печи - в то время, как братья его вели хозяйство и торговали. Но не трудолюбивым братьям, а именно Иванушке отец отдал Сивку-бурку, что позволило Ивану не менять стиля жизни, добиваясь успехов *волшебным путем*. В сказке “Иван бесталаный и Елена Прекрасная” выделяют следующую характеристику главного героя: “Всякое дело у Ивана из рук уходит, всякое дело ему не в пользу и не впрок, а все поперек”. В сказке “По щучьему веленью”, где он бездействует под псевдонимом Емеля-дурак, колются сами собой дрова, таскается вода, ездит печь, свергаются цари и строятся каменные дворцы с золотой крышей. А в итоге зажил он с красивой бабой на берегу моря назло “примерным” работающим братьям. Вывод современного публициста: “Русский крепок на трех сваях: авось, небось да как-нибудь. Поэтому, когда очередной отечественный мечтатель уверяет, что наш человек стосковался по серьезному делу, что надо только слегка раскрепостить его дремлющую энергию - и пойдет лесорубка, я слышу лукавый Емелин шепот: “Это зачем? Мне и на печи тепло, я вас всех и с печи вижу! Полезный нашатырь от иллюзий...” [62].

Трудно не понять воспитательной намеренности в весьма односторонней интерпретации образов русских народных сказок. Критическая трезвость в понимании нравственных традиций - условие верного диагноза и прогноза возможных сценариев реформ. Значимость культурных стереотипов несомненна, однако нельзя забывать о существовании *разных* интерпретаций отечественных традиций. В фольклорной мудрости заложена парадоксальность: речь может идти о том, что нравственное сочувствие и сказителя, и читателя связано с теми общечеловеческими качествами народного героя, которые у “человека дела и успеха” попадают в зону повышенного морального риска именно благодаря специфике Дела. Ведь в традиционном народном сознании Иванушка отпускает Сивку, а Емеля - рыбку не корысти ради (“я тебе отслужу”), а из жалости, по бесхитростности и доброте душевной.

Что касается антипраксиологической интерпретации образа Ивана-дурака, то она не столь самоочевидна. Этот образ и допускает отношение к персонажу как человеку, “обреченному на успех”. Филологические исследования показывают, что Иван-дурак “воплощает особую сказочную стратегию”, которая исходит из собственных - нестандартных - решений, нередко противоречащих здравому смыслу, а сказки, в которых Ивану-дураку “просто везет”, оценивают как “результат определенной вырожденности” [63].

Парадокс метафизики успешной деятельности в образе Ивана-дурака нелинеен и многогранен. Первый вариант: он выполняет поручения “в соответствии с его “глупостью”, крайне неудачно - кормит клецками свою собственную тень; выдирает глаза овцам, чтобы они не разбежались; солит реку, чтобы напоить лошадь и т.п. Второй вариант: он применяет правильные знания неадекватно ситуации - танцует и радуется при виде похорон, плачет на свадьбе и т.п.. Третий вариант: кажущиеся бессмысленными и бесполезными поступки Ивана-дурака раскрывают свой смысл в дальнейшем - отправившись служить, чтобы выбраться из нужды, он отказывается при расчете от денег и просит разрешения взять с собой щенка и котенка, которые потом спасают ему жизнь и т.п. Есть и инвариант этой метафизики успешности в моделях поведения Ивана-дурака: “С помощью волшебных средств и особенно благодаря своему “неуму” Иван-дурак успешно проходит все испытания и достигает высших ценностей” (там же, с. 226).

|Дурак - герой интернациональный.

Кроме сказанного надлежит принять во внимание, что образ Ивана-дурака отнюдь не специфичен только для русского сказительства и потому трудно согласиться с теми, кто полагает его атрибутивным исключительно для русского народного мирозерцания со всеми вытекающими из такого утверждения последствиями в части возможности укоренения этики успеха на нашей национальной почве.

Давно установлено типологическое родство фольклорных сюжетов и персонажей всех народов, которое просто немислимо объяснить одними культурными (так называемые “блуждающие сюжеты”) заимствованиями и

влияниями, тем более тем, что этнографы именуют аккультурацией. Писатель и филолог Андрей Синявский в монографии “Иван-Дурак. Очерк русской народной веры” пишет, что “сказочного дурака знают и любят не одни только русские. В сказках самых разных народов известны подобного рода герои-дураки, которые ведут себя примерно одинаково. И даже вечное лежание на печи не есть привилегия русского дурака. Другое дело, что сказочный дурак, быть может, попал в России на какую-то благоприятную почву и поэтому так процвел и приобрел такую известность. Но мы не имеем права превращать сказочного дурака исключительно в национального героя. Этот герой - интернациональный”. К тому же “...неправомерно сетовать, что в сказках сравнительно слабо выражено активное, волевое, героическое начало или начало личного подвига и личной ответственности, как это, допустим, выражено в героическом эпосе разных народов. Ибо сказка древнее героического эпоса и имеет не героические, а магические корни, производным которых и становится Дурак... В широком смысле слова всякий, любой герой волшебной сказки - это где-то, в принципе, Дурак” [64].

С другой стороны, об архетипах народного сознания нельзя судить только по одному - пусть даже очень выразительному, колоритному и популярному персонажу. Существует в мире народной сказки обширная галерея героев и связанных с ними архетипов. Они дополняют друг друга и только в совокупности позволяют высказывать суждения о народной (национальной) культуре. Так Иван-дурак связан с Иваном-царевичем. Как мы уже отмечали выше, по мнению специалистов, в известном смысле оба героя тождественны в своем избранничестве. И тут лишь отличаются “обретшие” успех и “способившие”. То есть “налицо два сценария избранничества: искать себе царства за тридевять земель, стремиться к *успеху* или положиться на *удачу*: царство само найдет избранника... Динамичность первого - уравнивается статикой второго, они - как две стороны одной медали” [22, с.21].

Что же касается типичной модели успеха младшего в семье, как будто менее всего стремящегося к успеху и приносившего к нему, то и она - при обычной вертикальной стратификации космоса в сказках, мифах, былинах, легендах - носит трансэтнический характер. Но в архетипах любой фольклорной культуры присутствуют и нецарские пути достижения (богатырь, храбрый воин, преданный слуга, разбойник в роли заступника веры, малых мира сего и др.), когда ставка делается “на победу через силу, упорство, доблесть и ратную удачу, умение заводить правильные контакты, отвечать жестким ритуальным и моральным требованиям” (там же, с.22).

Принимая эту версию мифологемы, вполне можно из сказок об Иване-дурачке создать не менее полезную книгу о жизненном успехе, чем у Дейла Карнеги. Разумеется, в сказках об Иване нет образа “делового человека”, но в них нет и априорного приговора отечественной этике успеха, оснований для утверждения об абсолютной моральной неприкаемости российского человека дела.

Не об ангельской чистоте, но о нравственной полифонии образа идет здесь речь, о различии форм добра и зла, бескорыстия и пользы. И тридцатитрехлетнее сидение Ильи Муромца на печи, и коэффициент интеллектуальности Иванушки-дурачка, исходя, например, из американских критериев, оцениваются вполне однозначно. Однако необходима поправка на различия в мировоззренческих пластах морали, в смысложизненных измерениях морального выбора. “Есть у американцев, пусть они не обижаются, - замечает А.Васинский, - какое-то простодушное убеждение, что с любой сложностью можно справиться, если владеешь методикой ноу-хау. Известный сердцевед Дейл Карнеги, книги которого и у нас раскупаются втридорога, обнаружил именно эту американскую самоуверенность. Достаточно сравнить, что он вскользь написал о бегстве Толстого и что написали на эту тему Мережковский или Шкловский, чтобы понять, о чем идет речь. Представляю, что мог бы написать Дейл по поводу неадекватного поведения и состояния духа нашего Феи Протасова, героя толстовского “Живого трупа”. Так и видишь, как умный прагматик трезво апеллирует к здравому смыслу Феи, учит его аутотренингу “против тоски и депрессии”, тестам на умение расположить к себе окружающих и находить себе друзей, и как Дейл постепенно теряет терпение, видя, что этот русский (Федя) не усваивает его ясные, бесспорно, идущие на пользу советы и даже не слушает его, а рассеянно смотрит куда-то в русскую даль и даже находит в своей тоске какое-то странное варварское оправдание...” [65].

| *Модели успеха - еще не этика успеха.*

Возвращаясь к шпенглеровской идее о “псевдоморфозе”, можно согласиться с теми, кто усматривает в истории России последних трех столетий малопродуктивные попытки реализовать догоняющую модель развития. При выборе такой модели страна всегда рискует оказаться в положении Ахиллеса, тщетно пытающегося догнать черепаху. Эта модель в значительной степени характеризуется подражательным, прямолинейно-поверхностным и нетворческим характером заимствований. Присваиваемые здесь формы модернизированного бытия упрямо не желают соответствовать своему содержанию. Те, кто на словах выступают за ускоренную модернизацию, на деле препятствуют ей. В то же время те, кто, казалось бы, должны выступать против “заморского чуда” модернизации, объективно ей содействуют. Убедительным примером подобного парадокса может служить этика русского старообрядчества [66]. Огромный созидательный потенциал, связанный прежде всего с гибелью крестьянского мира, не выродился в реформацию, а сработал как деструктивный фактор предреволюционных и послереволюционных лет, быстро продвинув страну - о цене мы сейчас не говорим - по пути индустриально-урбанистического развития, но осуществив при этом “патологическую модернизацию”, выработав многочисленные *модели успеха*, но не создав *этики успеха*.

| О формуле "русской мечты".

В целом государственный социализм не сумел предложить массам внятную “формулу успеха” в качестве идеала и программы действий, аналогичных знаменитой “американской мечте”, оснатив - что труднее всего! - такую формулу нравственными значениями полноценного чекана. Даже минуя “мессианский” вариант объяснения данной ситуации (слишком, мол, широк против европейца и американца русский человек, тесны ему формулы успеха, трудно ему разглядеть этические основания этой формулы, а потому он склонен усматривать в ней исключительно прагматическую сторону) и не затрагивая сейчас проблему отстраненного отношения к успеху многочисленных маргинализированных и тем более люмпенизированных слоев, некоторые исследователи подчеркивают, что на протяжении всей своей истории русский народ вырабатывал идеологические формулы, организующие не личное, а прежде всего государственное бытие, в результате чего развитие получил служебный (служивый) этос во всех его разновидностях - военный, чиновничий, тягловый и др. Но не формулы частной жизни, обеспечивающие достоинство и достаток отдельной единицы.

Пролонгируя такую ситуацию на постсоветское пространство, полагают, что попытка же “современных западников экономически и духовно раскрепостить отдельную личность (народ) немедленно привела к экономическому и социальному крушению государства. А когда рушится государство - плохо всем. И внедряемая в общественное сознание формула успеха, новый положительный идеал начинают претерпевать удивительные превращения. “Преуспеть” - для большинства российских граждан равнозначно соучастию в развале, разграблении государства... Народу очевидны нетрудовые источники любых нынешних российских капиталов... Трудовая мораль, подкрепленная суровым протестантизмом, явилась фундаментом материальной западной цивилизации. Раскинувшаяся на просторах Евразии сначала православная, а нынче атеистическая Россия не спешит “встать” на материальные рельсы”. Меняются общественно-политические формации, но формула “русской мечты” по-прежнему уравнение со многими неизвестными” [67].

Подобная констатация - во многом верная, хотя и не точная - подводит к пессимистическим заключениям: в России невозможно исправить жизнь посредством экономических преобразований в силу человеческих недостатков тех, кто взялся эти преобразования осуществлять, а исправить человеческую душу решительно невозможно в силу изначального несовершенства самой этой души, кою следует не исправлять, а примирять с миром посредством труда и соответствующего вознаграждения за труд. В отличие от народов Европы, это дело не заладилось у русского народа, что свидетельствует, может быть, о некоей его духовной чистоте, с одной стороны, но с другой - о странных изменениях в его психике и нервной системе (см. там же, стр.100).

Однако серьезные экономические перемены, как свидетельствует мировой опыт, просто невозможны без соответствующих духовных преобразований,

сдвигов в ментальности, без обязательного этического “обеспечения”. Преуспевание в разграблении государства - тенденция вполне очевидная, но ею не исчерпываются результаты раскрепощения в процессе российского реформирования. Исключительно важно обнаружить, зарегистрировать и проанализировать контртенденции в духовно-нравственной жизни страны. Пусть даже они и не бросаются в глаза, не обладают достоинством самоочевидности. К тому же, заметим попутно, не так-то и легко примирить душу с миром европейцам (американцам, японцам и др.), как это постфактум представляется, алармистские заключения только мешают такому процессу примирения на базе синтезирования различных этосов-служилых с достижительными.

Неотвратимо ли “бремя наследственности”?

Выскажем два соображения по поводу такого “бремени”. Во-первых, история описания нравственной культуры и психологии народов, их этосов обязывает считаться с опасностью впасть при этом занятии в прегрешение односторонности: каждой черте, свойству, признаку такой культуры, психологии и этосов обычно противостоят отнюдь не призрачные противовесы в национальном характере, культуре, обеспечивая их известную целостность и даже гармоничность. Так, свойственная россиянам всемирная отзывчивость (об этом писано-переписано, но, как заметил Л.А. Аннинский, “всечеловечность” дремлет или бодрствует в душе всего народа, хотя не всякий народ имеет простодушие кричать об этом на весь свет) сопровождалась всплесками надменности, проявлениями спеси по отношению к другим народам, напряженный поиск самобытности оказывался повязанным с изоляционизмом, свойство художественности нередко оборачивалось неприязнью к рациональным началам жизнеустройства, а готовность к состраданию, жажда полной правды жизни могли порождать пренебрежение ко всякому “постепенству”, к культурному эволюционизму и т.п.

Принимая во внимание эти соображения, вывод о непрописанности идеи личного успеха и соответствующих ему ценностей в нравственном мире народа должен быть, по нашему мнению, дополнен (а) характеристиками особенностей включения этики успеха, ее норм и максим в российскую ментальность, в духовный опыт народа, (б) напоминанием о том, что слабая выраженность к ориентации на достижение, готовность к риску, индивидуальной ответственности, к интенсивным поискам личностных стратегий поведения присущи всякому традиционалистскому сознанию - естественно, в той или иной степени. И обнаружение всего этого в российском духовном опыте лишь свидетельствует о специфике характера, о темпах, сроках, цене протекания модернизационных процессов в стране, о необходимости “перемодернизации”. При этом важно избежать коварных ловушек телеологического свойства: хотя известна многожды произнесенная фраза о том, что будущее России проистекает из ее прошлого (“непредсказуемого” или же эпистемологически освоенного), все же надо, согласно К.Попперу, говорить лишь о

предрасположенности, но никак не о predeterminedности будущего прошлым. Тем более, когда вопрос ставится в социокультурном плане, где, по словам Ю.Лотмана, позади все закономерно, тогда как впереди все непредсказуемо. Как сказал один популярный писатель, “горизонт предсказуемости, оказалось, гораздо ниже, чем мы думали. Именно поэтому активизм опасен”.

Теперь второе соображение. Аналогичной осторожности, научной корректности требуют суждения относительно продленного бытия названных выше составляющих российского духовного опыта в советское время. Вряд ли можно безоговорочно согласиться с выводом, согласно которому в наше время произошло “рафинирование”, приобретение почти “эйдетической чистоты” этими составляющими. Дело, по всей видимости, в том, что модернизационные процессы конца прошлого и начала нашего столетия были грубо прерваны, если судить об этом по западным, либеральным образцам. Но они же, эти процессы, были и продолжены по лекалам мобилизационной модели экономического развития (ранняя индустриализация, первичная урбанизация, профессионализация, распад деревенских общин и патриархальщины, скрытые формы индивидуализма, упакованные в коллективистские личины, усиление позиций целерационального типа поведения в общем массиве социальных действий и т.п.), но при изживании эмбрионов гражданского общества, его институтов и ценностей, в том числе ценностей и норм этики успеха.

В итоге возник своеобразный симбиоз из антитрадиционалистских ценностей и подвергнутых “рафинированию” ценностей традиционализма. Возможно - кто ведает?! - именно он и позволит обществу обрести большую независимость от давления унаследованных образов отношения к успеху и эффективно использовать разнокачественные духовные предпосылки для исторического выбора, для формирования российского варианта этики успеха.

*Перестройка: сломлена ли
гравитация “псевдоморфо́за”?*

Радикальный перенос на наш скудный подзол рыночных и политических институтов либерально-западной, техногенной цивилизации и присущих ей моделей успеха не был - и в “розовую”, преисполненную эйфорическими и романтическими ожиданиями стадию, и в последующие периоды современного реформирования - подкреплен соответствующими социокультурными преобразованиями, соединением свободного рынка и права. В итоге в очередной раз была воспроизведена циклично-прерывная модель движения общества (“западники” и “почвенники”, реформаторы и традиционалисты, либералы и коммунисты, рыночные и рыночные фобии и т.п.). Не произошло необходимого для эволюции всей общественной системы синтеза различных культурных пластов (в Западной Европе наблюдались синтезы в нескольких измерениях: христианство и язычество, сословные и индустриальные ценности, этосы рыцарства и буржуа и др.). Не был налажен социокультурный диалог сознания (или текста), активно усваивавшего рационализированные механизмы права и морали (их рационализация в России происходила одновременно или с

небольшим опозданием) с рационализацией производства и связей с природой, с бунтующим подсознанием - или подтекстом, - в “подвалах” которого сохраняли продленное бытие архаические пласты и традиционные ценности. В том числе ценности общинно-соборного демократизма и этатизма, но отнюдь не рыночного и государственного демократизма. Это подсознание продолжает испытывать неистребимую тягу к мессианизму и социально-нравственным утопиям, визионерству и мистике, оперированию скорее категориями пространства (“странничество”), чем исторического времени (солженицынское “обустройство”).

*Реальные шансы этики успеха: динамизирующая роль
целерационального
типа действия и индивидуализма.*

Каковы же при таком положении вещей шансы на укоренение в России этики успеха? На разные лады утверждают, будто наша страна в силу своей принадлежности к органическим, солидаристским, неиндивидуалистическим цивилизациям (или, скажем, субцивилизациям) не может принять в качестве “своих” рыночные отношения и институты представительной демократии, рациональную мораль и этику успеха, даже с учетом того, что невозможна всеобщая маркетизация, а рациональная мораль охватывает далеко не все виды человеческих отношений. Здесь преобладает *ценностно-рациональное* действие, но никак не *целерациональное* - якобы не соответствующее ментальности народа.

С небольшими оговорками исходный тезис подобных рассуждений о цивилизационной атрибуции России можно было бы принять - сопроводившись он указанием лишь на прошедшее время. Ведь данный тезис означает признание не столько уникальности нашей цивилизации, сколько универсальной характеристики: все традиционные общества, собственно говоря, принадлежали к органическим, солидаристским и неиндивидуалистическим социальным системам, и многие продолжают оставаться таковыми и по сей день. Иначе говоря, такое качество присуще определенной стадии универсальной цивилизации (аграрной, “священной”, традиционной, космогенной и т.п.). Отсюда вытекает, что данный тезис не применим к *другой стадии* этой цивилизации (индустриально-урбанистической, секуляризированной, техногенной и т.п.). И вывод о преобладании ценностно-рационального действия может быть принят с аналогичной оговоркой, хотя, в этом случае, точнее было бы говорить о преобладании традиционного социального действия.

Обсуждая версию о неиндивидуалистическом характере нашей субцивилизации, скажем, что вопрос об индивидуализме у нас все еще как бы табуирован, отрицательно “заряжен” в ценностном плане. Между тем, рациональная мораль и, тем более, этика успеха ориентируют не просто на личный интерес, если под ним понимать элементарное своекорыстие. Стоит отличать понятие “*личный интерес*” от более разностороннего по части содержания понятия “*интерес личности*”. Индивидуализм непосредственно

связан с интересом личности, то есть с ее стремлением к самореализации, самоопределению, к свободе выбора, инициативности, к трудолюбию, что как раз и закодировано в нормативных и мировоззренческих гранях этики успеха. По отношению ко всему этому “личный интерес”, стремление к максимизации доходов и собственности - не более чем средство. И такие средства в решающей степени оказываются результатом экономической и политической свободы личности, результатом ее трудолюбия, непоказного интереса к делу, - все это и создает энергетику личности, ориентированной на достижения, содействует ее развитию, т.е. “интересу личности”.

Неправомерно рассматривать индивидуализм как продукт распада социальных связей, атомизации личности, как нечто несовместимое со стратегией сотрудничества, кооперативности, социального партнерства. Подобный взгляд можно отнести к числу предрассудков скорее всего лингвистического происхождения, хотя те или иные стороны жизни маркетизированного общества тоже подпитывают подобные воззрения. Индивидуализм совместим как с конкурентной стратегией поведения, с соперничеством (но по честным правилам рациональной морали и в контексте “мягкой”, не направленной на уничтожение соперников конкуренции), так и со стратегией сотрудничества, взаимопомощи.

На наш взгляд, неверно было бы считать, что при сотрудничестве мы имеем дело с ценностно-рациональным действием, тогда как при конкуренции сталкиваемся с действием целерациональным. Оба вида социального действия взаимопроникают. Они обнаруживают взаимное отталкивание тогда, когда индивидуализм и коллективизм приобретают крайние формы. С одной стороны, такого рода крайность представлена в аутизме, эгоцентризме, когда “другой - это ад” (по выражению Сартра), когда он “чужой”, “враждебный”, чуть ли не “антропоморфно другой”, а вовсе не “друг” (вспомним формулу Мигеля де Унамуно, удачно переинтерпретировавшего старинный афоризм Теренция: “я человек, и никакой другой человек мне не чужд”). Другая крайность - казарменный коллективизм, принудительно объединяющий людей, которые по историческому счету либо созрели к индивидуализации, самоопределению, отказу от социального опекуна во всех его видах, либо приблизились к такой стадии.

*Вариабельность национальных моделей
этики успеха.*

От характера взаимопроникновения и отталкивания индивидуализма и коллективизма в значительной степени зависят свойства национальных моделей рациональной морали и этики успеха. В одних случаях делается ставка на кооперацию, на интересы общности, но со значительными пережитками традиционного действия (Россия, Япония, страны с преобладанием конфуцианского этоса и др.) В иных случаях делается крен в сторону индивидуализма и конкурентности, что - подчеркнем еще раз - вовсе не исключает готовности к кооперации, к коммунализму, урбанизированной

общинности. Здесь сильнее выражена идеосинкрязия ко всякой регламентации, ограничению “свободы рук”, но при том удерживается устойчивая верность моральному порядку, нормам рациональной морали, ценностям этики успеха, ее дозволениям и запретам.

В одних версиях этики успеха заметен акцент на дисциплину труда, на отказ от эвдемонистических мотивов и избыточного потребления. В других - на “хозяйственные добродетели”, ощущение удовлетворения от исполненного долга в границах профессионального призвания, экономической самореализации агентов рынка как самостоятельной жизненной ценности.

В одних случаях, если прислушаться к убедительным суждениям Ханны Аренд относительно различий между французской и американской революциями XVIII века, субъектом этики был, скорее, человек, нежели гражданин, свобода которого основывалась на его правах и на публичном счастье (а это неминуемо вело к “якобинизации революционности”), в других - скорее, гражданин, нежели просто человек, и свобода его покоилась на принципе участия в общественной жизни и на защите личного счастья, что играло существенную роль в блокировании насилия, террора, в “деякобинизации революционности”. В первом случае наблюдалось последующее снижение роли экономического (индивидуального или группового) риска, различного рода инноваций, гражданской самодеятельности. Они ограничивались централизованной политической властью. Во втором случае механизм гражданских инициатив, ответственности, риска, конкуренции запускался на полные обороты, преодолевалось, где только было возможно, регламентационное иго государственного и церковного чиновничества. Это предопределило модели этики успеха, которые впоследствии сформировались в различных регионах американско-европейской цивилизации.

| *Аксиологический маятник:*
| *драма “дурной бесконечности”.*

Что касается России, то социологические исследования последних лет (не связанные с интересами различных политических сил и потому вызывающие доверие) показывают, что здесь еще не осуществился выбор в пользу той или иной модели этики успеха. Такое состояние довольно точно определяется как духовно-нравственная *неопределенность* [68]. Мы сейчас не говорим о свойствах национального самосознания, которое, по определению, включает неоднородные и даже противоречащие друг другу элементы [69]. Речь идет о “чуде” сосуществования индивидуализма с коллективизмом в одной почти мефистофельской душе. Не в том смысле, что ничто человеческое этой душе не чуждо (и не в духе архаического “коллективного бессознательного” К.Юнга и неистребимого для него раскола сознания личности), а в том, что синтеза до сих пор не произошло, во всяком случае в необходимом объеме и с достаточно глубоким эшелонированием.

К тому же данное обстоятельство плохо осознано: люди сами не ведают того, как, каким образом в их сознании и поведении уживаются столь

гетерогенные начала. Идентифицируя себя как ординарных, “простых людей” и используя иные мифологемы, они способствуют снижению уровня ответственности и перед самими собой, ближними и, тем более, перед дальними, - в этом и без того запутанном, слишком сложном мире трудно уяснить такую ответственность и очень легко ее “сбросить”. В свою очередь, подобная самоидентификация позволяет “простым людям” легитимизировать самих себя в роли благоразумно избегающих крайностей (включая ориентации на “какой-то” неведомый успех, который предварительно не был определен позицией патернализма). Поэтому поведение ценностного “тяни-толкая” - “индивидо-коллективистского” человека - в каком-то отношении вполне рационально (причем и целерационально, то есть ориентировано на личные интересы, и ценностно-рационально), а в другом отношении оказывается вполне традиционным. “Абсолюты” традиционализма, лучше сказать - советского ретрадиционализма, противоборствуют с “абсолютами” рациональности и модерна. Не развиты скромные “релятивы”, промежуточные звенья, стабилизаторы сознания. Есть “высшая” и “профанная” мораль. Но между ними зияет пропасть, ибо не получила развития, так сказать, “срединная” мораль, тесно связанная с формализованным правом.

В итоге наблюдаются постоянные колебания аксиологического маятника, всевозможные шараханья, прорывы и откаты не только в истории страны, но и в нравственной жизни отдельного человека. И эти колебания отражаются в его нравственных качествах: происходят, минуя “золотую середину”, смещения от активизма - к пассивности, от энтузиазма - к апатии, от покорности властям, судьбе, общине - к бунтарству против них всех, от легковерия, наивности и доверчивости - к хитрости, неразборчивому негативизму, от святости - к греховности (вспомним афоризм К.Н.Леонтьева: “Русский человек может быть святым, но не может быть просто честным”), от высокого - к низкому, от готовности трудиться в критические моменты до седьмого пота (а в этом, полагал В.О.Ключевский, в Европе нет равных русскому человеку) - до длительных приступов меланхолии, хандры, затяжного безделья. Затруднения связаны с дефицитом умеренности, равномерности трудовой активности, вообще с мерой. “Россия была и, по всей вероятности, остается страной крайностей, стремления во всем достигать последнего предела” (Д.С.Лихачев), “огненной неистовости в желании немедля утвердить небо на землю” (В.В.Шульгин), что поставляло излюбленные сюжеты как для отечественной трагики, так и для юмористики. И колебания такого маятника усиливаются в Смутное время.

| Кто виноват?

В нынешнее смутное время усилению колебаний и негативизма по отношению к “формуле успеха”, включающую в себя и этику успеха, содействовала, по мнению многих исследователей, так называемая “номенклатурная революция”. Пожелавшая стать буржуазией номенклатура - полагает А.С.Панарин, к мыслям которого мы обращаемся снова, - обнаружила

полнейшую свою несостоятельность как класса (не станем сейчас препираться по поводу диагностической терминологии), способного организовать жизнь общества на разумных основаниях, предложив ему заветную “формулу успеха”.

Лишь небольшая часть конкурентоспособной и созидательной новой буржуазии оказалась готовой сама реализовать позитивные модели успеха, хорошо оснащенные в нравственном смысле, и предъявить их другим слоям общества. Но она пока уступает по влиятельности паразитической номенклатуре.

И судьба этики успеха в России зависит от того, кто будет распоряжаться на экономическом, политическом и культурном пространстве страны, кто сумеет положить конец дурной бесконечности колебаний ценностного маятника, кто сумеет соединить национальное сознание с цивилизационным движением постиндустриальной эпохи, объединяющих тех, кто сохранил профессиональную этику, занятых в наукоемких отраслях, в вузовской и академической науке, в сфере производства, здравоохранения и образования. “Сегодня эти стороны разъединены и намеренно заталкиваются в гетто: одна сторона - в гетто изолированного почвенничества, другая - в гетто “антиэкономики”, не отвечающей жестким тестам рентабельности” [70].

Этика успеха и российская ментальность: “рандеву” наконец состоялось.

Несмотря на всю неопределенность духовно-нравственной ситуации в стране, есть основания думать, что у нас происходит постепенное отступление традиционализма и казарменного коллективизма, которые блокируют достижительную деятельность, погашают ориентацию на личный (и даже коллективный) успех, препятствуют утверждению гражданских прав и контрактных отношений, принципа разделения властей, несогласия с идеократическими началами и патерналистскими предпочтениями, которые создавали привычные матрицы ценностных суждений, морального “кода” общения. Немалую роль (не во всем положительную) в таком отступлении сыграли развившиеся еще в доперестроечное время потребительский индивидуализм, бюрократический рационализм и десинкретизация ценностного мира как условия повышения эффективности деятельности внутри специализированных подсистем модернизирующегося общества, укрепления ответственности за последствия собственных поступков.

Наметилось, впрочем, не просто безвозвратное вытеснение традиционализма с его уже давно подорванных в этом ценностном мире позиций. Выявились предпосылки для его сближения с модерном, сближения ценностей внешнего успеха с успехом “внутреннего делания” ценностей либерализма и демократизма. Путь к этому оказался извилистым и полным всяческих перекосов. Остались и останутся различия между целерациональными и ценностно-рациональными действиями. Но теперь, в ситуации преодоления крайностей как индивидуализма, так и коллективизма, они перестают быть взаимоотталкивающимися, так как и те, и другие действия

стали предполагать взвешивающую стратегию поведения с оглядкой на последствия, требовать рационализации выбора (хотя при ценностно-рациональном действии не наблюдается непосредственной ориентации на успех и мы имеем здесь дело с неполной рациональностью - ввиду иррациональности *предзаданной* по своей природе ценности и отсутствия “управления ситуацией”) и, соответственно, минимизации поступков “по убеждению”. Разумеется, при сложной, многоуровневой мотивации поступков остается место для чувственной стороны морали, для “доброй воли”. Этого требует верность нормам этики успеха, правилам честной игры, кооперативности действий, преданности своему жизненному призванию и самореализации, “безадресному альтруизму”, солидаристским ценностям.

Не следует думать, будто рациональная мораль - исключительно объясняющая, исчисляющая этика, но не этика *понимающая*. Рациональная мораль предполагает не *использование*, а *постижение* других в непосредственном общении с ними, в диалогическом общении. “Рациональное поведение, - пишет британский социолог Зигмунт Бауман, - не разъединяет людей, а, наоборот, объединяет, потому что каждый раз совершаются действия, которые точно придерживаются логики вычисления просчетов и альтернатив. И, наблюдая за действиями человека, можно постичь смысл этого действия, потому что само действие - это лишь средство для достижения цели. Таким образом, не обязательно быть в духовном родстве с человеком, чтобы понять смысл его действия... Хотя, как бы мы ни были расчетливы и рациональны, наши действия редко освобождены от влияния привычки или наших чувств” [71].

Данные тенденции фиксируются в различных социологических исследованиях, которые обнаруживают группы населения с опережающим уровнем развития (все более многочисленные “островки”, уже образующие “архипелаг”, но еще не слившиеся в “континент”), развитой коммуникативной рациональностью поведения, освоенными достигательными ориентациями [72]. Они руководствуются умеренными формами индивидуализма и солидаризма, установкой на рационализацию правил поведения на всевозможных поприщах успеха. В то же время они воплощают результат усвоения норм и ценностей этики успеха в такой степени, что уже можно разглядеть - пусть и размытые - контуры, неясные прообразы российского варианта национальной модели данной этики.

| “Рандеву” - акт творческий.

Предугадать итоги встречи универсальных ценностей модернизма с культурно-региональными свойствами российской ментальности, которая сама в высшей степени неоднородна, нельзя. Это “рандеву” - акт культурного творчества, а не результат сложения или “склеивания” ценностей; суть дела заключается скорее всего в деталях, богатстве нюансов. Это тот самый случай, когда история сначала делается, а лишь затем пишется, а потому метод “воспоминаний о будущем” здесь совершенно неуместен. Известно, что самые

—
существенные переломные события в истории были маловероятны, а жизнеспособный диалог культур всегда имеет непредсказуемые результаты. Каким окажется российское единство универсальностей и уникальностей - неведомо никому.

Ситуация усложняется тем, что модернизационные процессы, как теперь становится все более очевидным, сами являются внутренне дифференцированными в различных культурных ареалах, образующих широкий спектр или контекст для интерпретаций таких ценностей этики успеха, как свобода выбора цели и способы самореализации личности, партнерства и т.п. Когда очень хотят угадать черты некоей модели этики успеха, не располагая для этого достаточной информацией, в итоге возникает новая утопия со своей системой экспрессивных образов и символов. Такая утопия, конечно, не пустышка, так как выражает стихийно-эмоциональный протест масс против “паршивой” реальности, против непонятного, незнакомого и угрожающего им мира, и в этом смысле заслуживает не третирования, а самого пристального внимания. Но она же становится крайне опасной, превращаясь в идеологический “Проект”. Не лучше ли избрать “смирненный” путь следования за изменениями в ценностном мире, безропотно идти за фактами.

Глава шестая

ЦЕННОСТИ ЭТИКИ УСПЕХА В КОНТЕКСТЕ XXI ВЕКА

| Этический консилиум эпохи.

В то время, как в России идет процесс модернизации, индустриально-урбанистическая цивилизация вползает в полосу затяжного кризиса, который является прежде всего кризисом духовным, моральным. Апологеты цивилизации достижений и за рубежом, и в нашем отечестве вряд ли рискнут оспорить такой диагноз - симптоматика кризиса очевидна и выразительна.

Иное дело, что показания к такому диагнозу и, тем более, соответствующей терапии, участники своеобразного этического консилиума могут связать с инвективами по адресу этики успеха. Уж не она ли завела в тупик нравственное развитие человечества, соvrащенного соблазнами технического могущества и потребительского изобилия, к созданию которых она, безусловно, причастна?! Не этой ли этике мы обязаны подрывом основ духовности, соборности, эгалитаризма в социалистическом или общинном смыслах?! Или, напротив, появятся попытки связать эти показания с надеждами, что этика успеха содержит в себе спасительное для нравственности самообновление, содействуя демодернизации и переходу к информационной цивилизации, неоклассическому гражданскому обществу?

| Дорогой этики успеха. Иной не дано.

Так или иначе, перед современной России встают нелегкие вопросы. Следует ли нам с таким напряжением продвигаться и далее по пути модернизации, усиливая тем самым кризисные явления в общественном сознании? Избыток или недостаток ценностей этики успеха создает мучительные проблемы для цивилизации в целом, для нашей страны - тем более? Надлежит ли нам поддерживать этику успеха, если даже "там" она столь явно демонстрирует свою органическую связь с кризисными явлениями, оказывается сопряженной с моральными потрясениями, поразившими всю цивилизацию? Годится ли этика успеха в "маяки" для страны, где сегодня преобразуется весь духовный ландшафт? Не окажется ли она очередным социальным миражом, фата морганой, не приведет ли нас в тупик лабиринта - вместо того, чтобы послужить спасительной нитью Ариадны?

Как уже говорилось, особенностью современной российской ситуации является духовно-нравственная неопределенность, не в последнюю очередь обусловленная одновременным функционированием трех нормативно-ценностных систем, "трех моралей" (мы не случайно взяли это выражение в спасительные кавычки), последовательно возникших и одновременно сосуществующих фаз исторического развития общественной нравственности, ее трихотомии. А одновременное их функционирование отличает состояние разбалансированности, даже конфронтационности между двумя первыми

системами и всего лишь пренатальность третьей. Трудно в этом случае говорить не только о каком-то продуктивном диалоге между разнокачественными нормативно-ценностными системами, но даже об их толерантности, способности к взаимодействию и взаимоуважению, что является - как мы попытаемся показать ниже - обязательным условием развития третьей системы.

Ситуация разлада в духовной сфере не может не получить резонанса во всех сферах общественной жизни, и тогда, по гегелевскому выражению, причины и следствия коварно меняются местами: моральный кризис диктуется кризисом экономическим, политическим и культурным, а они, в свою очередь, подпитывает кризис в области морали. Предпочтение, публично высказываемые ценностям успеха на фоне повышения социальной цены реформ, стали раздражать как элиту, так и массы в такой мере, что всем этим пренебрегать просто невозможно. Обостряется вопрос, сформулированный выше: а кому, собственно говоря, служит у нас сегодня этика успеха? Всему ли обществу? Или только “жирным котам”, привилегированным группам?

Современная цивилизация:
моральный кризис.

Попытаемся обдумать эти серьезные вопросы. Заметим вначале, что моральный кризис, вопреки ходячим мнениям, - не просто хаос, распад мира ценностей, и тем более не полное “вымирание” морали. Это не развал нормативно-ценностной системы общества, а растянутый во времени - иначе просто не может быть - и необычайно трудный *процесс обновления*, если угодно - *перестройки* данной системы. В период кризиса проявляются не только деструктивные тенденции нравственной жизни общества, но и *контртенденции*, с которыми связаны обнадеживающие перспективы.

Таким образом явственно обнаружилось пределы для продвижения процессов модернизации как вширь, так и вглубь. И это определяет границы существования нашей цивилизации. Ее дальнейшее беспрепятственное и слабоконтролируемое развитие, неразрывно связанное с ним функционирование рациональной морали вместе с этикой успеха (в бизнесе, политике, профессиональной деятельности, социальной педагогике) возможно при следующих допущениях.

- Рыночные механизмы способны чуть ли не сами по себе приближаться к совершенству и регулировать почти все общественные отношения (маркетизация общества);

- В распоряжении нашей цивилизации имеются неограниченные ресурсы, существуют возможности для экспоненциального роста общественного производства в результате суммирования всех видов достигательной деятельности, а прогрессирующее ухудшение качества жизни будет приостановлено;

- Это, безусловно, будет содействовать общественному благу даже в условиях ресурсных дефицитов;

•Нет необходимости вносить радикальные изменения в нормативно-ценностную систему общества, все ее подсистемы (политическую, предпринимательскую, воспитательную и т.п. этики).

Увы, практика свидетельствует об обратном: все эти допущения имеют произвольный характер. Перед лицом трагических потрясений XX столетия, нарастающих глобальных угроз речь идет о кризисе техногенной цивилизации. Уже не первое десятилетие идет осмысление морального кризиса и интенсивный поиск выхода из него: сакраментальные вопросы “Что с нами происходит?”, “Кто виноват?” и “Что делать?” отнюдь не монополю принадлежат России.

Моральный кризис трактуется на множество ладов: сколько существует в мире идеологий, столько и способов критики цивилизации. Больше всего обращают внимание на контрасты техногенного развития, когда производственные, технологические, организационные, информационные достижения удивительным образом сосуществуют с ростом отчуждения, актами вандализма и терроризма, “откатом” трудовой морали, утратой смысла жизни. В казавшихся естественными принципах всеобщей полезности и безостановочной экономической экспансии (напомним, отнюдь не последнюю роль здесь играет укорененная в нравах ориентация на успех, которая поэтому несет свою долю *ответственности* за прозаичность и потребительство “довольного сознания”, грех сытости, пуританское ханжество, воинствующее мещанство) обнаружилось зияющие бреши. Стало ясно, что названные мегатенденции не только навязаны обстоятельствами, но и одновременно являются результатом *свободного выбора*, который присутствовал всегда, приобретая драматический характер в точках бифуркации. Амплитуда выбора необычайно возросла при исходе из одной - техногенной - цивилизации и переходе к другой - информационной, постиндустриальной.

Политические и культурные лидеры наперебой предлагают свои рецепты и программы выхода из кризиса, так что немислимо даже представить панораму всех аналитических описаний кризиса и проектов выхода из него, перехода к новому мировому порядку, перестроечной нормативно-ценностной системе глобальной цивилизации.

| *Современная цивилизация:
пути морального обновления.*

Обратимся в данной связи к названным выше контртенденциям, свидетельствующим о преодолении (пусть даже частичном) кризисных явлений в духовной жизни современной цивилизации. Они связаны, по хорошо промотивированному мнению российского аналитика Ю.А.Васильчука, со вторым этапом НТР, с информационной революцией, начавшейся в 70-е годы. Произошла феноменальная встряска всех социальных структур в связи с прекращением развития крупного капиталоемкого машинного, фабрично-заводского производства. Ему на смену полным ходом идет принципиально иное производство, когда господство капитала сменяется господством знаний,

их носителей. Меняются базовые системы отношений (маркетинговые сети, финансовая, интеллектуальная, информационная, организационно-правовая, транспортная инфраструктуры). На основе высоких технологий складывается массовое поточно-конвейерное производство с ориентацией на конечного потребителя. Реорганизуется вся сфера материальных услуг. Резко снижается органическое строение капитала и прекращает действовать тенденция средней нормы прибыли к понижению. Налаживается инженерная организация труда.

“Революция производительности”, гибкость производственного аппарата делают трудовую деятельность “школой характера”, “школой жизни” в сложном и быстро меняющемся мире, приводят к осознанию зависимости трудящихся друг от друга, усиливают у них потребность во взаимопомощи, формируют психологическую готовность к смене форм деятельности и даже социальных сред, приучают к существованию в ситуации высокой социальной мобильности. Новая логика производства рождает личность, способную принимать ответственные решения и не от случая к случаю, а постепенно, и это стало непосредственным содержанием ее труда. Создаются условия для развития массового предпринимательства и ограничения всевластия монополий.

Материальное благополучие работников содействовало росту “среднего класса” как главного собственника и основного потребителя, ослаблению социальных конфликтов, вело к преодолению отчуждения или снижению его бремени. Вместе с гигантскими системами социального обеспечения возникли новые представления о социальной справедливости - на их основе видоизменился либерализм [73], сложилась социально ориентированная экономика. Возникла “экономика мысли”, когда производство лишь формирует материальную оболочку товаров и услуг, а их существо порождается духовной жизнью общества, его наукой, культурой, искусством (инверсия базиса и надстройки, если прибегнуть к нашей традиционной терминологии). Поменялись и представления об общественном богатстве. Они определяются большими научно-организационными коллективами мобильных работников, емкостью и качеством внутренних рынков, покупательной способностью семей, творческими дарованиями граждан [74].

Заметим, что именно такие преобразования ожидают Россию (отчасти в этом направлении ею уже немало и сделано), а их подкрепление как раз и представляет общенациональную цель, идеологию, если угодно, ее политику и вектор программирования всех сфер деятельности.

Вследствие этого мы полагаем возможным говорить о том, что нравственное развитие человечества вступило в другую фазу, достигло новых рубежей, обрело иную аутентичность, и в связи с этим, можно говорить о возникновении в мире и России *третьей* - “*пострациональной*” - морали, благодаря которой происходят как переоценка ценностей, так и обновление регуляторных механизмов. Нет спора, можно иначе обозначить происходящие на наших глазах парадигмальные сдвиги в развитии, осознании кризиса и способов выхода из него (сходные термины предлагают у нас исследователи нравственности, например, Н.Моисеев, А.Назаретян, А.Зотов и др.). Но, исходя

из логики предшествующего рассуждения, мы считаем уместным именно такое обозначение.

*Нравы постсовременности -
исторические пределы этики успеха?*

Ошибочно думать, будто пострациональная мораль и есть нравы новейшего времени. Как некий целостный конструкт она исходит из позитивных тенденций этоса и этики успеха, а поэтому не может совпадать с нравственными реалиями общества. В постсовременном обществе уже осуществились модернизационные процессы. В связи с этим зримо проявляют себя негативные, разрушительные тенденции, берущие начало - как уже было сказано - в достижительной цивилизации и ведущие к моральному вакууму, аксиологическому коллапсу.

Так, идеи призвания, ценности трудового, профессионального, делового успеха подрываются усилением имморального потребительского духа со свойственными ему жизненными стилями (вульгарно-прозаический, эстетизированный и анархический неогедонизм) и бездушным бюрократическим рационализмом. Они приводят обитателей постмодернистского социума к утрате идентичности, ощущению иллюзорности всяких социально значимых успехов, позициям крайнего индивидуализма. Жизненные успехи легко фрагментируются, становятся беспорядочными, не образуя при этом устойчивой и динамичной жизненной стратегии. А без нее невозможно говорить об этике успеха со свойственными ей ценностями решительности, постоянства, напряженного и упорного продвижения к генеральным жизненным целям.

В самом деле, при чем тут этика успеха, если сам успех оказывается чем-то эфемерным, мимолетным, ускользающим, лишенным цементирующих структур? Те, кто оказались в эпицентре жестокого морального кризиса, все же стремятся к некоторому моральному равновесию, пытаются верить в разумность своего поведения и образа мыслей, нацеленных не столько на успех как целостный феномен, сколько на отдельные, разрозненные его компоненты, связанные с потребительскими заботами, и для них уже нет иного ада, кроме неудачи или осложнений в их потребительских устремлениях. Естественно, что этика успеха помещается *по ту сторону* подобных устремлений.

В поисках морального баланса.

Однако искомое моральное равновесие оказывается трудно достижимым и его удается создать лишь искусственно (как в свое время отмечал П.А.Сорокин), путем *снижения моральной требовательности* к самому себе: представления о должном и возможном посредством их девальвации приводятся в соответствие с реалиями поведения. Потребительски ориентированная личность обнаруживает разрушение сферы социального действия, где она что-то может сделать, испытать положительную ответственность за содеянное или упущенное. И на этой стремительно убывающей территории ей кажется

достаточным сделать ничтожно малое, чтобы выйти из щекотливого положения и ощутить выполнение своего долга исчерпывающим образом. В избытке наделенная самодовольством, она достигает равновесия при помощи отнюдь небезупречных средств.

Потребительски ориентированная личность устремляется к желанному равновесию, *ограничивая сферу применения моральных оценок*. Она готова быть строгой лишь к прегрешениям в области локальных отношений (семейных, приятельских, соседских), но снисходительна там, где стыкуются личный и общественный долг. Ей представляется возможным обрести ощущение порядочности без особых усилий - помогая родственникам, своевременно погашая потребительскую задолженность, в срок выплачивая карточный долг, полагая, что тем самым исчерпан круг основных обязанностей. И если далее простирается мир, в котором любое утверждение о моральности сомнительно, здесь, следовательно, можно действовать так, будто морали вообще нет.

Правда, и в узкой сфере локальных межличностных отношений не все столь просто и ясно, как представляется. Подобная личность и там ведет себя не лучшим образом, руководствуясь не столько заботливостью о родных и друзьях, сколько гедоническими соображениями. “Человек для себя” находит равновесие в скрупулезном исполнении принятых ритуалов и требований, убеждая себя в том, что тем самым он устраняет “моральные неликвиды”. На скорую руку согласовав побудительные начала с нормативными установками, превратная совесть такого человека оправдывает погоню за мимолетными наслаждениями и сегментированными “успехами”. В подобной ситуации даже добродетели неуловимо переходят в порок, еще не будучи доведенными до крайностей. И тогда предписания этики сводятся к рецептам, помогающим ощутить самодовольство, “фелицитологическим” программам.

| *Антиэтика успеха.*

Автор вышедшей в 1993 году в Оксфорде книги “Фрагменты жизни: очерки по этике постмодерна” З.Бауман, полагает, что на смену человеку прозаического классического модерна, лишеного выбора между геройством и святостью (т.е. между этосами рыцарства и монашества), пытающемуся осмысливать пройденный жизненный путь с точки зрения призвания, назначения, духовной миссии, чтобы узреть в этом целенаправленное развитие, приходит человек *постсовременности*, который совсем по-другому мыслит и чувствует. Гвоздь его жизненной программы - не построение, раскрытие, изобретение идентичности, но избегание всякой фиксации социальных места, времени, позиции. Метафорой его стратегии служат фланер, бродяга, турист и игрок. Если человек модерна отличался склонностью перекладывать моральные обязательства с личности на конституируемые и управляемые обществом организации, либо рассеивать ответственность в глубинах бюрократического правления, то человек постмодерна вообще отказывается от устойчивых взаимных обязательств и обязанностей.

В одной из своих работ З.Бауман формулирует пять негативных житейских правил, свидетельствующих об отсутствии стратегий действия. Эти правила образуют, как нам кажется, своеобразную *антиэтику успеха*. “Не планируй слишком длинных путешествий - чем короче путешествие, тем больше шансов его завершить; не допускай эмоциональной привязанности к людям, которых встречаешь на транзитных перекрестках, - чем меньше будешь придавать им значения, тем меньше тебе будет стоить расставание; не допускай слишком сильной привязанности к людям, месту, делу - ты не можешь знать, как долго они продлятся и как долго ты будешь считать их достойными своих обязательств перед ними; не смотри на свои оборотные средства как на капитал - ценность сбережений быстро падает, и перевозносимый некогда “культурный капитал” имеет свойство во мгновение ока превращаться в культурный *убыток*. А кроме того, не откладывай удовольствие, если можешь получить его сейчас. Ты не знаешь, каким ты станешь потом, ты не знаешь, доставит ли тебе *удовольствие* завтра то, чего хочешь сегодня” [75].

Все сказанное позволяет вернуться к исходному тезису: понятия “пострациональная мораль” и “нравы постсовременности” трактуют о разных предметах, взаимодействующих разве что “по касательной”.

Пострациональная мораль:
новые роли этики успеха.

Пострациональная мораль, как мы ее себе представляем, не воплощает какой-то авангард в туманном ценностном мире. Ей предстоит не вытеснить предшествующие “морали” на обочину нравственной жизни общества, а проследовать за ними во временной последовательности или стать неким приращением к ним. Она определенным образом “надстраивается” над ними в соответствии с законом спирали и ей предстоит искать и обрести особые способы *сосуществования* с предшествующими фазами развития на равных основаниях, без снисходительного взирания на “отставших”, “мизерабельных”, “социальных призраков”.

Пожалуй, лучше всего пострациональную мораль можно охарактеризовать с помощью принципов *дополнительности* и аксиологического *плюрализма*. Она ставит в один ряд как приверженцев этики успеха, так и тех, кто в большей или меньшей степени предпочитают уклоняться от такой этики не по тем или иным нравственно-мировоззренческим мотивам (или вполне прагматически, полагая, что без труда способны получить нравственное одобрение). Она против того, чтобы уклоняющихся от ценностей и норм этики успеха как-то клеймить, дискриминировать, отодвигая на обочину нравственной жизни.

В изменяющемся обществе, конечно, не исчезает потребность в универсальных моральных нормах, но удовлетворяется она не за счет ограничений для иных, в том числе культурных, ценностных ориентаций. (Кстати говоря, почти повсеместно поворот к универсализации норм на основе рационализации жизненного процесса, по-видимому, плохо соотносится с про-

блемой нарастающего влияния этнонациональных культурных образцов, что остро ощущается не только в России в целом, но и в отдельных ее регионах.)

Не улечувается, как дым, и потребность в инновациях и инноваторах, людях, обращенных к ценностям успеха, восприимчивым к новшествам, не происходит отказа от фундаментальных ценностей демолиберализма (с многочисленными поправками на некоторые отрицательные проявления либерализма и демократии). Но смещения в самой этике явно происходят. Так, пострациональная мораль побуждает к ревизии установившихся взаимоотношений между ценностями делового и профессионального успеха, между ними - и ценностями жизненного успеха. И те, и другие определяются по различным основаниям, измеряются по разным критериям, в них неодинаково соотношение объективных и субъективных начал.

По-новому пострациональная мораль подходит и к личностной проблеме соотношения *целерационального и ценностно-рационального* типов действия. В веберовской классификации, как мы уже отмечали, первый - связан с постановкой целей, ориентированных на индивидуальный или корпоративный успех, второй тип предполагает достижение ценностей, не ориентированных непосредственно на успех (допустим, поиск истины в жизненном или исследовательском плане или же стремление к самореализации), но эти ценности тоже способны приносить успех, правда, как бы само собой, ненамеренно, скорее всего в отдалении. В пострациональной морали ставится и положительно решается вопрос о праве на предпочтение одного из типов социального действия, об оптимизации их сочетания, конфигурации в жизнедеятельности как таковой или в ее узловых моментах, критических точках жизненной траектории.

Пострациональная мораль, в отличие от рациональной, которая - нельзя не признать - исподволь грешила эзотеризмом и заносчивостью “людей успеха”, свободно легитимирует каждое из названных предпочтений, терпимо относится к любым их пропорциям и комбинациям. Когда-то, сопоставляя воззрения Эпикура и Аристотеля, молодой Маркс писал, что первый воплощал “божественный покой”, тогда как второй - “божественную энергию”. Ныне крайности сходятся, но не так, как прижимающиеся друг к другу от холода дикобразы. Принцип уважения к личности, выпестованной на ценностях рациональной морали, оказывается здесь не столь уж несовместимым с уважением к личности, воспитанной в духе ценностей солидаризма, любви к “выси” и “далям” (по выражению Н.Бердяева) и даже к принявшим квиетизм - “философию покоя”, не говоря уже о тех, кто исповедует мужественный стоицизм.

*России предстоит завершить
«Спор о “древних” и новых»».*

В рамках пострациональной морали возникают и зреют новые доминанты - экологические, неоаскетические, неоэгалитаристские, коммуналистские, локалистские и т.п. Важно при этом, что в силовом поле детерминант деятельности перестают быть конфронтационными традиционная и

модернистская нормативно-ценностные системы, кладется конец старинному (возникшему на рубеже XVII и XVIII веков) «Спору о “древних” и “новых”», так как “новейшие” предпочитают союзные отношения между “древними” и “новыми” в морали.

Такие неведомые для прошлого отношения, разумеется, не избавят субъекты пострациональной морали от трудностей идентификации при сопряжении, как образно выразался М.В.Ломоносов, “далековатых понятий”, не исключат множества психологических смещений, фрустраций, тягостной утраты идентичности.

В свое время отвержение традиционной морали вызывало потрясения, которые хотя и не были прямыми революционными катаклизмами, но по своим последствиям превзошли любые из них. И теперь в мире - и у нас в стране - наблюдается неприятие нового, обусловленное как инерционностью, так и обоснованной мотивацией. В России переход от патримониальной модернизации к современной, усложненной постмодернизационными процессами, создает ситуацию, когда человек, проживая в двух культурах одновременно, ощущает себя в положении шукшинского мигранта (“одной ногой в лодке, а другой - на берегу”), причем в обе суперкультуры он интегрирован лишь частично, что служит источником межличностных и внутриличностных конфликтов.

Нравственная мудрость, на которую опирается пострациональная мораль, предполагает ясное осознание того неустранимого факта, что, с одной стороны, *рациональная мораль* и этика успеха содержат в себе сильнейшую угрозу иссушения нравственных чувств людей, их машинизации, с другой - что одна только *естественная мораль* может сделать людей совершенно неприспособленными к существованию в “открытом” обществе. Мудрость вводит запрет на отсечение двух ценностных миров друг от друга или на восприятие их как “низшего” или “высшего”. Она предполагает понимание того обстоятельства, что нельзя обойтись без рыночной экономики, но, вступая на рыночную площадь, впитывая, ассимилируя ценности этики успеха, человек не вправе утрачивать сокровенные ценности, выработанные поколениями, не может пренебрегать и иррациональными глубинами человеческого сознания - не там ли затаились истоки добра и зла? Обе эти “морали”, так сказать, обязаны “знать свое место” и отказаться от гегемонистских притязаний.

“Новейшая” мораль, улаживая спор “древних” с “новыми”, полагает, что различия между ними берут свое начало не столько в разных исторических эпохах, сколько в различных сферах жизнедеятельности (публичной и частной, профессиональной и непрофессиональной, протекающей в рамках иерархически выстроенных организаций или вне их). Не очень-то просто осознать данные различия и их источники. Но неизмеримо сложнее овладеть нравственной мудростью “новейших”, прихотливым искусством переключения с одного ценностного мира на другой. Вопреки всем стараниям, духовные издержки неизбежны - с этим ничего не могут поделать ни нравственная мудрость, ни самое изощренное искусство переключения. Подобное признание

не предвещает “новейшим” сладкую нравственную жизнь - останутся и драмы поиска смысла жизни, и трагедии его ненахождения. Интеллектуальный долг обязывает понять и принять такой вывод, ибо “все может надоесть, кроме понимания” (Вергилий).

В продолжение темы о “новейшей” морали заметим, что посттрадиционность не мотивируется просвещенческими идеалами с их представлениями об одновекторном прогрессе, с их претензиями на познанность Истины и - страшно вымолвить - не мотивируется вытекающими из них идеями гуманизма и столь же одновекторном нравственном прогрессе (“позже пусть и не сразу, но вскорости - непременно значит лучше, выше, чище”). В этом смысле пострациональность более последовательна в утверждении конвенционального характера ее собственных повелений и оценок, а потому она и более реалистична, чем мораль рациональная.

Иногда, правда, слышатся возражения, будто подобная мораль никак не приживется в России, поскольку здесь еще не возвращена, не окрепла, не стала принадлежностью массового сознания мораль рациональная, ее нормы, стандарты оценок, особенности мотивации. Раз Россия “просветилась” лишь в “верхах” общества, да и то во многом едва ли не формально, а к тому же значительная часть просвещенного слоя была смыта Октябрьской революцией, раз здесь не получила полноценного развития частная собственность и частная жизнь, то попытки подняться над рациональной моралью могут обернуться только ретардацией в пользу традиционной морали и всякого рода архаики.

В подобных рассуждениях не принимается во внимание, что в ходе советской модернизации традиционная мораль была сильно деформирована и потеснена, по многим параметрам стала пережиточной. Советский и, тем более, постсоветский человек успели “остыть” по отношению к “общему делу”, каким бы оно ни было, успели во многом интернализировать ценности нравственной свободы со свойственными ей самостоятельным поиском долженствования, автономным моральным выбором между разносистемными ценностями, индивидуальной ответственностью (выше уже говорилось об укоренении потребительского индивидуализма, бюрократической рациональности, о фиктивности столь прославляемого коллективизма, о роли городского образа жизни, о рационализированных версиях построения всеобщего и обязательного образования). Возможно, не в той степени, как на Западе, опасность преувеличения здесь вполне вероятна, но и в России стоит задача придать паритетное звучание как традиционной, так и рациональной морали внутри системы пострациональности, которая не воспринимает какую-либо одну из них в качестве “высшей”, “истинной”, “подлинной”, отказывая в таких определениях другой нормативно-ценностной системе.

*Возрождаясь, не возвращаться
в прошлое, а идти вперед!*

У футурологов прежде бытовала шуточная фраза: трудно предсказывать, особенно будущее. Эта трудность отпугивает и нас от предсказания судеб

морального кризиса и роли в нем трех нормативно-ценностных систем. Есть только один способ, не превышая разумной дозы риска, заглянуть в будущее морали: внимательно проследить ведущие тенденции развития нормативно-ценностных систем (или подсистем), охарактеризовать потенциалы перемен.

Большинство аналитиков, экспертов, публицистов и т.п., исследующих социальные процессы современной России, специфику переживаемого ею кризиса, усматривают способ спасения в духовном, нравственном *возрождении* страны. Мы согласились бы с таким утверждением, если бы “возрождение” зачастую не отождествлялось с “возвращением”. Но к чему? В самом деле, многие духовные процессы, хотя и шли у нас с трудом, крайне противоречиво, но все же шли. И были грубо прерваны в годы революционного лихолетья. Позднее возник уродливый феномен, который можно было бы назвать “этатизированным этосом”. Он подменил собой подорванную традиционную нормативно-ценностную систему и последовательно вытеснял ценности рациональной морали, которую в России представляли различные городские слои, предпринимательские круги, российская меритократия, группы зарождающегося среднего класса.

Так к чему же призывают нас “возвращаться”, возрождаясь? Создалось впечатление, что многие обходят стороной данную проблему. Между тем, хотя общество и пресытилось вульгарно трактуемыми *прогрессистскими* идеями, оно не обрело гарантий против опасности *регрессизма*. Какова же торная дорога в развитии морали?

Мы попытались в общих чертах определить русло, магистраль цивилизованных изменений культурно-нравственного плана. России предстоит положить конец затянувшемуся в ней спору “древних” (традиционная мораль, идеология соборности) и “новых” (рациональная мораль с ценностями этики успеха), не оказывая (в духе консервативно-романтических или просвещенческих иллюзий) исключительной и демонстративной поддержки ни той, ни другой стороне, делая ставку на то лучшее, что содержится в обеих.

Формы пострациональной морали не являются экстравагантными отклонениями от первых двух, некоей случайной патологией традиционности или рациональности. Они - естественный результат развития лучших тенденций, творческих возможностей как традиционной, так и рациональной морали, иначе говоря - этики, дезавуирующей по нравственным соображениям непосредственное стремление к ценностям успеха, достижения, и - этики успеха как побудительного (и ограничительного) фактора инновационного поведения.

В новой складывающейся России есть, так сказать, место и “подвигу успеха”, и нравственно обоснованному отказу от успеха - делового, профессионального или жизненного.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См., например: *Бахитановский В.И., Согомонов Ю.В.* Введение в теорию управления нравственно-воспитательной деятельностью / Под ред. В.В.Петрова и В.А.Чурилова. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1986; *Васил Момов, Владимир Баққановски, Юрий Согомонов.* Приложната етика. София: Наука и изкуство, 1988.

2. См., например: *Бахитановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А.* Этика политического успеха. Тюмень-Москва: Центр прикладной этики, 1997.

3. *Паркинсон С.Н.* Законы Паркинсона. М.: Прогресс, 1989. С.61.

4. См. кн.: Преуспевать с радостью / *Н.Энкельман.* Молитвенник для шефа / *М.Биркенбиль* М.: СП “Интерэксперт”, Экономика, 1993. С.12.

5. *Богомоллов Ю.* Концерн “Гермес” превыше всего // Московские новости. 1994. № 44.

6. *Пастернак Б.Л.* Стихотворения и поэмы. Классики и современники. М.: Худ. лит., 1988. С.441-442.

7. *Поздняев М.* Привычное дело успеха // Общая газета. 1996. № 38.

8. См. об этом: *Толстых А.В., Толстых Н.Н.* Победитель не получит ничего // Этика успеха. 1996. Вып.8.

9. *Atkinson J.W.* An introduction to motivation. New York, 1964.

10. См.: *Zuckerman M., Allison S.N.* An objective measurement of fear of success: Construction and validation // Journal of Personal Assessment. 1976. ¹ 40; *Simmons C.H. et al.* Success strategies: winning through cooperation or competition // Journal of Social Psychology. 1986. №126. P.352-353.

11. *Асмолов А.Г.* Позиция, противоположная гениальной песне по имени “Интернационал” // Апология успеха: профессионализм как идеология российской модернизации. Материалы экспертного опроса / Под ред. В.Бахитановского, Г.Бурбулиса, А.Согомонова. Тюмень-Москва, 1994. С. 73.

12. *Киселев О.В.* Я родился не слишком рано и не слишком поздно // Апология успеха..., С.13-14.

13. *Ведин И.* Теорема личности. М., 1988. С. 35.

14. *Биркенбиль В.Ф.* Как добиться успеха. М., 1992. С.8-10.

15. *Гельман А.* Гарантия победы // Литературная газета. 1984, №33. С.12.

16. *Салуцкий А.* Уметь жить! М., 1980. С.33.

17. *Аннинский Л.А.* Успех по-русски? // Этика успеха. 1994. Вып.3. С. 113-116.

18. *Казаков Ю.В.* “Успешный” - значит “выживший”: через движение? // Апология успеха..., С. 55.

19. См. подробнее: *Бахитановский В.И., Согомонов А.Ю.* Миссия успешного профессионала (введение в гуманитарную экспертизу) // Апология успеха..., С.7-11.

20. *Тульчинский Г.Л.* Неудача как стратегия успеха // *Этика успеха*. 1996. Вып. 8. С. 28-32.
21. *Покровский Н.Е.* Как реформировать океан? Заметки неделового человека // *Этика успеха*. 1996. Вып.8. С.42-56.
22. *Иваницкий В.Г.* Архетипы успеха в русских народных сказках // *Этика успеха*. 1996. Вып. 8. С. 16-28.
23. См.: Векторы перемен: социокультурные координаты изменений // *Экономические и социальные перемены: мониторинг общественного мнения*. М., 1993. №3. С. 5-9.
24. *Магун В.С., Литвинцева А.З.* Жизненные притязания ранней юности и стратегии их реализации: 90-е и 80-е гг. М., 1993.
25. *Магун В.С.* Ценностный реванш в современном российском обществе // *Куда идет Россия?.. Альтернативы общественного развития*. М., 1994. С. 249.
26. *Тульчинский Г.Л.* Успех и эффективность // *Ведомости НИИ ПЭ*. Тюмень, 1996. Вып.6. С. 38-39.
27. *Huber R.M.* *The American Idea of Success*. Pushcart Press, 1987. См. русский перевод этой главы, который мы цитируем, во втором выпуске “*Этики успеха*”.
28. *Тульчинский Г.Л.* Российский духовный опыт и проблема успеха // *Этика успеха*. 1994. Вып.3. С.24-26.
29. *Курицин В.* “Мисс Номинация” // *Независимая газета*. 1996. 28 июня.
30. *Лернер М.* Развитие цивилизации в Америке. Т.2. М.,1992. С. 184.
31. *Аннинский Л.* Русская душа: лицо и псевдонимы // *Время и мы*. Москва-Нью-Йорк, 1994, №123.
32. *Тульчинский Г.Л.* Успех: призвание и самозванство // *Этика успеха*. 1995. Вып.4. С. 38-39.
33. *Сагатовский В.Н.* Русская идея: продолжим ли прерванный путь? С.-Петербург: ТОО ТК “Петрополис”, 1994. С.141.
34. *Вебер М.* Избранные произведения. М., 1990. С.696.
35. *Асмолов А.Г.* О моделях успеха в эволюции цивилизации // *Этика успеха*. 1996. Вып. 8. С.10.
36. *Толстых А.В., Толстых Н.Н.* Победитель не получит ничего // *Этика успеха*. 1996. Вып.8. С.118-120.
37. *Котарбиньский Т.* Трактат о хорошей работе. М., 1975.
38. *Рассел Б.* История западной философии. М., 1983. С.529.
39. См.: *Бахитановский В.И.* Моральный выбор личности: альтернативы и решения. М., 1983.
40. *Карнеги Д.* Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 1989.
41. *Толстых А.В.* Куда ведут добрые намерения // Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 1990. С.80.
42. *Зинченко В.П., Жуков Ю.М.* Предисловие // Дейл Карнеги. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. М., 1989. С.10.
43. *Жариков Е.* Школа успеха // Газета “Успех”. 1990. №1. С. 5.

44. *Альгин А.П.* Риск. М., 1988. С. 3.
45. *Попов С.В., Щедровицкий П.Г.* Конкурс руководителей. М., 1989.
46. *Huber R.M.* The American Idea of Success. Pushcart Press, 1987.
(Предисловие опубликовано без указания страниц.)
47. Моральные дилеммы успеха. Фрагменты из книги Р.Хубера “Американская идея успеха” // *Этика успеха*. 1994. Вып.3. С.117-118.
48. *Соловьев Э.Ю.* Личность и право // *Будь лицом: ценности гражданского общества* / Под ред. В.И.Бакштановского, Ю.В.Согомонова, В.А.Чурилова. Т.1, 2. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1993. С.82.
49. *Хубер Р.* От “этики характера” к “этике личности” // *Этика успеха*. 1994. Вып.1. С.66-71.
50. *Гусейнов А.А.* Мораль и рынок // *Нравственные основы предпринимательской деятельности*. Воронеж, 1995. С. 42-46.
51. *Etzioni Amital.* The moral Dimension. Towards the new Economics. New York-London, 1990. P.8.
52. *Соловейчик С.* О Первом и Последнем в классе // *Этика успеха*. 1994. Вып.1.
53. *Шевелев И.* Кто эксперт успеху брата своего // *Независимая газета*. 1995. 5 октября.
54. *Панарин А.С.* Какое президентство ждет Россию? // *Этика успеха*. 1995. Вып.5. С. 10-11.
55. См.: *Улюкаев А.* Новые лики старого призрака // *Литературная газета*. 1995. 22 ноября; см. также развернутый вариант этой статьи в журнале “Открытая политика”, 1995, №9.
56. *Заславская Т.И.* Трансформация социальной культуры российского общества // *Куда идет Россия?.. Социальная трансформация постсоветского пространства*. М., 1996. С. 21.
57. *Согомонов А.Ю.* Текст корпорации: “страх успеха” или “дух сотрудничества” // *Этика успеха*. 1994. Вып.3.
58. *Гранин Д.* Генеалогия успеха // *Этика успеха*. 1994. Вып.3.
59. *Памфилова Э.* “...Остаюсь романтиком в политике” // *Этика успеха*. 1994. Вып.3.
60. *Жамкочьян М.С.* “Настойчивость ноги”: конец эпохи социализации // *Этика успеха*. 1996. Вып.8. С.140.
61. *Дубин Б.В.* Эта нынешняя молодежь // *Этика успеха*. 1996. Вып.8. С.34-35.
62. *Мартынов И.* Так говорил Иван-дурак // *Собеседник*. 1991. №38.
63. *Иванов В.В., Топоров В.Н.* Иван-Дурак // *Мифологический словарь*. М., 1990. С.225-226.
64. Цит. по публикации четвертой главы этой книги, см.: *Синявский А.* О благой глупости // *Независимая газета*. 1996. 8 октября.
65. *Васинский А.* Прощание с иллюзией // *Известия*. 1991. 5 июля.
66. См. подробнее: *Andreas Buss.* The economic ethics of Russian-Orthodox Christianity // *International Sociology*. 1989. Vol.4. №3. P.235-258; №4. P.447-472.

67. *Козлов Ю.В.* “Успехи цивилизации” и “могущество бесов” - формула “русской мечты” // *Этика успеха*. 1994. Вып.2. С.98-99.
68. *Советский простой человек. Опыт социального портрета на рубеже 90-х годов.* М., 1993.
69. *Левада Ю.А.* Судьба “человека советского”: Размышления пять лет спустя // *Этика успеха*. 1996. Вып.9.
70. *Панарин А.С.* Евразийская модель морали успеха // *Этика успеха*. 1994. Вып.2. С.58.
71. *Бауман З.* Социология постмодернизма. М., 1991. С.18-19.
72. См., например, результаты исследований фонда “Общественное мнение” (“Полис”, 1993, №4; 1994, №1) и исследования И.М.Клямкина и В.В.Лапкина, опубликованные в журнале “Этика успеха”, выпуски 4, 5, 6.
73. *Петров И.И.* Новый либерализм для России: уроки западных дискуссий // *Общественные науки и современность*. 1996. №5.
74. *Васильчук Ю.А.* Эпоха НТР: новые основы массового производства и общество // *Полис*. 1996. №2.
75. *Бауман З.* От паломника к туристу // *Социологический журнал*. 1995. №4.

Том первый

**ЭТИКА ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА:
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ**

ТЯЖЕЛЫЙ РОК ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКОГО РАЗДЕЛА

Автономизация политики

От какой же точки нам следует начинать продвигаться в рассуждениях о *природе* этики политического успеха?

На рубеже Нового времени, при исходе из традиционных социумов Старого времени, во всей общественной системе происходили глубочайшие структурные перемены: мучительно долго и трудно рождалось на свет новое общество (модерн), техногенная цивилизация. Тема нашей монографии обязывает вникнуть в одну из самых значительных структурных пертурбаций: “пролом традиционности” (по звонкой метафоре Макса Вебера) означал раскол прежде сплоченной и инерциальной общественной системы, из обломков которой одна за другой стали выстраиваться самостоятельные *функциональные подсистемы*.

По мере интенсификации процесса отделения эти подсистемы обретали сравнительно независимые от целого импульсы развития, различную динамику изменений, образовывали сложную сеть взаимосвязей. Они оснащались высокоспециализированными социальными институтами с разнообразным ролевым репертуаром и формализованными межличностными отношениями. В разные стороны отдрейфовывали хозяйство (экономика), право, наука, религия, воспитание, семья, позднее - спорт. И, конечно, произошло то, что нас сейчас интересует в первую очередь - самостоятельность обрела *политика*, многоэтажная система политических отношений и институтов, в том числе и политическая философия.

Могла ли - в такой беспрецедентной ситуации - не претерпеть радикальных изменений и система социальных регулятивов традиционной цивилизации? Вопрос явно риторический. Отношения между людьми, общинами, сословиями, властью и народом регулировались с помощью обычаев, обычного права, прочно укорененных традиций, религиозных установлений, определением которых служил сам факт их существования. За редчайшими исключениями все они безупречно несли свою службу - сдерживали, подавляли (и преобразовывали, сублимировали) аффекты людей, их врожденные инстинкты, некультурные побуждения, канализируя избыточную активность в желательное для малоподвижного общества русло.

Люди безропотно подчинялись обстоятельно расписанным обязанностям, тщательно соблюдали групповые интересы и нормы, почитали символы и церемонии, покорялись власти предержащим “несмотря ни на что” (это, понятно, вовсе не исключало происходящих время от времени вспышек недовольства, взрывов страстей в виде городских волнений, крестьянских бунтов, ухода с насиженных мест). Ведь обычай, по Пушкину, - “деспот меж

людей"! Традиции, ритуалы, обычаи воспринимались как заповеди, скрижали, заветы, каноны, как поведенческая аксиоматика ("так надо!"). Они не казались "чужими", отчужденными, навязанными кем-то или чем-то со стороны или сверху, а естественно вписывались в образ жизни.

Такие регулятивные средства, при всей необычайной пестроте местных нравов, локальных обычаев, имели *синкретический* характер. Иначе говоря, они крайне незначительно были дифференцированы по каким-то отмежевавшимся самостоятельным видам и сферам человеческой деятельности. А религиозная санкция данных средств регуляции и ориентации поведения лишь закрепляла свойство синкретичности. Нередко в повседневном научном обиходе мы не совсем аккуратно обозначаем совокупность этих средств привычным словом "мораль". Затем приходится разочарованно констатировать расщепление такого уютного цельнокроеного мира (лучше сказать "дома") на отдельные функциональные подсистемы ("миры"), факт выхода самоорганизации этих подсистем из-под морального контроля.

И в самом деле, оказалось, что терминами "добро" и "зло" на редкость трудно оперировать в дифференцирующихся сферах и видах человеческой деятельности. Обнаружилось, что устранение того, что столь беззаботно называют "моралью", из функциональных подсистем, как ни странно, ею самой - не сразу, не в одночасье - одобрялось и покрывалось, тогда как усердное и бесплодное морализирование ею же осуждалось. По выражению немецкого социолога Никласа Лумана, возникали затруднения с двузначным кодированием "хорошо"/"плохо" в ситуации оформления названных подсистем. Такие затруднения он назвал "парадоксами морального кода".

Н.Луман прибегает к следующим иллюстрациям этих парадоксов: "Наше сегодняшнее восприятие морали отвергло бы притязания правящей партии, вздумай она считать себя морально лучшей лишь потому, что за ней в данный момент большинство. Не менее сомнителен был бы отказ кому-то в моральном уважении только потому, что он проиграл процесс и был на неправой стороне в этом деле. Мы больше не рассматриваем болезни как наказание божье за сомнительную в моральном отношении жизнь, но для нас также не является проблемой и оправдание Бога ввиду того факта, что страдают невинные. Сколько бы ни пытались Нобелевские лауреаты внедриться в сферу мирового руководства или решительно выступать за хорошие вещи, их научные достижения этого отнюдь не оправдывают: речь идет о явном злоупотреблении заслуженной репутацией. А рассудительные педагоги откажутся, пожалуй, превращать школьную успеваемость в моральную катастрофу; вместо этого, они, высказывая некоторого рода замешательство, охотнее вменяют это в вину обществу" [1].

В подкрепление сказанному приведем рассуждения французского социолога П.Бурдьё. Он обращает внимание на различное понимание добродетелей в "народной системе ценностей" и политической деятельности. Если в первой - значительное место отводится таким добродетелям, как целостность ("отдаться полностью", "отдать всего себя целиком" и т.п.),

верность данному слову, лояльность по отношению к своим, верность самому себе (“я таков, каков я есть”, “ничто меня не изменит” и т.п.) и другим диспозициям, то во второй они могут выглядеть как негибкость и даже глупость. “С учетом этого можно понять, что приверженность первоначальному выбору, которая превращает политическую принадлежность в почти наследуемое свойство, способное выстоять даже несмотря на меж- и внутрипоколенческие изменения в социальном положении, с особой силой проявляется в народных классах, чем и пользуются левые партии” [2].

А как происходило расщепление социума у нас в России? На десинкретизацию ценностей, связанную с таким расщеплением, на специализацию норм, систем оценок обратили внимание с середины XIX века представители русской либеральной идеологии. Так, К.Д.Кавелин акцентировал внимание на автономии морали. Литературоведы посчитали необходимым проводить идею автономии искусства. По суждению Б.Н.Чичерина, принципиально важно проводить принцип автономии права, с одной стороны, от политики, а с другой - от морали. По мнению П.И.Новгородцева, было необходимо реализовать идею разграничения политики и морали (начало этому подходу положил Н.Макиавелли).

Вместе с тем, все они не смогли последовательно осуществить принцип автономии регуляторов, который запрещает онтологизировать человеческую деятельность, принимая какие-либо нормы, ценности, оценки в качестве общих метафизических оснований. Русские либералы признавали *незаменимость* регулятивов каждой сферы деятельности, но не их *невыводимость*. Идея Д.Юма о невыводимости прескрипций из дескрипций, суждений ценности из суждений фактов (знаменитая “гильотина Юма”) не была воспринята отечественным либерализмом, который “так и не освободился от европейского гуманистического мифа и ренессансной веры в “великое предназначение человека”, не принял позиций разумного скептицизма и прагматизма [3].

В поисках выхода

Для объяснения новой ситуации возникла идея “*исключения из правила*”: мораль в экстраординарных случаях настаивает на совершенно неморальных, а то и просто аморальных поступках. Скажем, в политике подчас, разрешается, допускается и даже предписывается скрытность, лукавство, уклонение от выполнения обещаний, подобно тому, как используется “ложь во спасение” во врачебной или воспитательной практике. Без скрытности, обманных движений, пышной риторики, ловкого маневрирования и т.п. нет политического соперничества.

Отчего же прегрешения против морали оказываются допустимыми и чуть ли не обязательными? Ответ напрашивается сам собой: будь все иначе, существенным образом снизилась бы эффективность специализированной деятельности. Отнюдь не исключено, что могли бы возникнуть ригоризм, моральный максимализм, и вскоре эта деятельность сделалась бы невозможной.

То есть, соображения целесообразности берут верх над соображениями нравственными.

Один современный автор утверждал, как мы уже отмечали в Вводном разделе, что “исключительский” подход вполне оправдан. Есть, мол, такие ситуации, когда приходится наложить мораторий на общее моральное поведение, а стало быть, задача этики заключается не только в том, чтобы санкционировать такие отступления, но и минимизировать их до единичных случаев, до исключений из правил, квалифицируя не как благо, а как “вынужденное зло”.

Но это легче сказать, нежели сделать: как, спрашивается, установить пределы для исключений, с одной стороны, а с другой, - как ослабить наступление безжалостного морального максимализма? Существует вполне реальная угроза перенасытить исключениями деятельность в специфических сегментах общественной жизни. Ответом на это могут быть ригористические контратаки, всплески настырного морализирования, что вместе сделает невозможной самую моральность, загонит ее в гетто личностных отношений - семейных, дружеских, приятельских, соседских и т.п. Возможно ли выработать правило, которое позволит нам надежно отделить приемлемые исключения от недопустимых? Как, поставив под сомнение непреложность моральных требований, приостановить релятивизацию нравственной жизни общества?

Оказавшись в западне трудноразрешимых задач, логика ценностей сделала очень важный “шаг в сторону” от подхода, который мы называем “исключительским”. Она задалась вопросом иного свойства: а что, если дело вовсе не в исключениях и, тем более, не в последующих пассажах “минимизаторов”, как, впрочем, и не в плачевном состоянии морали, “неосторожно угодившей” в непригодные для нее сферы человеческой деятельности, а в формировании здесь *особого типа морали*? Или, лучше сказать, дело в *доразвитии морали*? И тогда должны беспокоить не столько проблемы соотношения морали и политики и, соответственно, экономики и т.п., сколько проблема *преобразования морали* в тех случаях, когда она *прилагается* к политике (равно как и экономике, праву, воспитанию, науке и пр.). Не в этом ли процессе возникает некая *политическая этика*, природу которой мы собираемся обсуждать?

Трудный простой вопрос: “что такое мораль?”

Поиск ответов на эти “коварные” вопросы шел с различных сторон. Наиболее очевидная идея заключалась в признании неизбежности *профессиональной морали* в нашем все более профессионализирующемся мире (в традиционном социуме профессионализм был редкостью, во всяком случае, по сравнению с современным миром). Хотя специализированные звенья социальной организации были отражены в различных деонтиках, в соответствующих кодексах профессиональной деятельности уже в эпохи типа эллинистических царств или Римской империи, первые работы по профессиональной этике появились лишь на заре Нового времени. Это были

книги по медицинской этике. Работы по этике менеджеризма, инженерной этике и т.п. стали выходить только в XX столетии. Вслед за общественным признанием профессиональной этики последовало признание специализированной морали для отраслей и сфер человеческой деятельности.

Однако, рассуждая в подобном ключе, мы обязаны отдавать себе отчет в новых, поджидающих нас трудностях: с моралью ли мы имеем дело, когда говорим о профессиональной этике? Возможно, это вовсе и не мораль! Но тогда что же? Какая-то - допустим - “альтернативная мораль”, “контрэтика” или, что еще более вероятно, сумма неких организационно-технических правил поведения в названных отраслях и сферах? Предстоит выяснить: а что означает “*приложение*” в столь необычном - этическом - измерении?

Вспомним еще раз, что в Новое время начался процесс *дезинтеграции* до этого будто бы высеченного из одной глыбы монолитного социума. Пришла пора *автономий* в практической и интеллектуальной жизни людей. Впрочем, “отслоились” в самостоятельные области не только политика, экономика, религия, право и т.п. *Автономизировалась и сама мораль*. И это поменяло все дело самым впечатляющим образом. Начался процесс, который мы рискнули называть *десинкретизацией* ценностей, способов регулирования и ориентации человеческой деятельности.

В результате мораль отделилась от пестрых обычаев, обычного права, от обрядов и кристаллизовалась в качестве специфического и универсального средства регуляции и ориентации поведения. Только тогда она стала *моралью* как таковой, достигшей стадии исторической зрелости. Если размежевание политики с религией, политики с моралью было зафиксировано еще Н.Макиавелли (факт их гетерохронности), то достижение моралью стадии зрелости, ее автономизация были отражены значительно позднее - в этической доктрине И.Канта, который первым смог приступить к исследованию морали как таковой (до того этика лишь усиливала одну из ориентаций практического морального сознания, обосновывала ее, оснащала аргументацией, мировоззренчески прославляла ее).

Прежде чем рассматривать зрелое состояние морали, скажем несколько слов о том, что такое мораль. В первом приближении представляется, что мы имеем дело, с одной стороны, с разновидностью общественной дисциплины, формой социального контроля, но, с другой, - не только с нравами, а специфическим способом духовно-практического освоения мира. Ввиду такой двойственности (ее ни в коем случае нельзя смешивать с биморальностью, с моральным двойничеством, двойным моральным стандартом), мораль смогла заполнить верхнюю ступеньку в иерархии регулятивов: общество как бы отдало “на откуп” духовно развитой личности право самой выбирать для себя то, что ему, обществу, в конечном счете оказывается необходимым. Такой личности вручается вся полнота возможной на данной ступени цивилизованного развития свободы, доверяется выбор между добром и злом: подобный механизм регуляции предполагает автономность, суверенность личности в конкретных

поступках и всей линии поведения, подстраховывая ее лишь оценками общественного мнения.

В процессе духовно-практического освоения мира мораль выявляет особенность своего предназначения: быть не просто самым тонким инструментом *социализации человека*, но и независимой переменной *очеловечивания социума*, гуманизируя всю ткань отношений между людьми, институтами и организациями. Только такая двузначность позволяет вывести мораль из зоны социальной необходимости в мир свободы, преодолевая противоречие между сущим и должным, “творением” морали и ее “применением”, между нормативностью и мотивационностью, этическим мышлением и интуицией.

В каких выражениях можно описать свойства *зрелости такого сложного феномена, как мораль*? Для этого, по нашему мнению, нужно обратить внимание на то, что зрелая мораль: а) характеризуется образованием универсальных предписаний и оценок - в отличие от бесконечно пестрых нравов; б) связана с процессом складывания личной способности трансформировать формальный нравственный закон в самообязующее содержание мотивов и намерений, в повеления долга и совести; в) закрепляет у личности способность к суверенному моральному выбору и сотворческому выполнению предписаний, самостоятельному поиску “проектов” своего бытия за пределами тех “замыслов”, которые ей предлагает наличная нравственность, наличная, а не трансцендирующая, социальность. Мораль способна совершить все это в обстановке усложнения как самой структуры поступка, так и способов “включения” его в линию поведения на фоне повышенного динамизма духовной жизни общества, которое вышло из состояния заторможенности и стало набирать обороты социальных изменений.

В стадии зрелости мораль оказалась способной - при определенных условиях - пойти на собственную *сегментацию*. Зрелая мораль “морально одобряет свое собственное отступление” отовсюду, где возникает указанный ранее парадокс морального кода, и “требует для себя суверенности, чтобы самой решать о своем собственном применении и неприменении” [4].

Она, продолжим продуктивную мысль цитируемого здесь автора, как бы осознает тот факт, что в политике бесполезно заниматься прекраснородушным морализированием - оставь на это надежду, всяк сюда входящий! Неуместно без грубых передержек приписать реальной (либо пока не существующей, но предвосхищаемой “светлой”, “чистой”) политике нравственные свойства, или полагать, будто политика, кроме целей обретения и удержания власти, имеет также и задание поработать на славной ниве воспитания заблудших подданных. Как только политика возжелает воспитывать народ, вознамерится награждать добродетельных и карать порочных, она начнет воспринимать себя как чуть ли не высшую нравственную инстанцию (“мне отмщение и аз воздам”), и ей рано или поздно станут угрожать провалы, ловушки утопизма или ужасные приманки тоталитаризма. А.Франс сказал, что как только политик пожелает

сделать людей добродетельными, он сразу же придет к необходимости отрубить всем им головы.

Означает ли подобное (иных людей шокирующее своей вызывающей откровенностью, возможно, - цинизмом) признание, будто и в самом деле мораль с политикой, как гений со злодейством, оказываются принципиально несовместимыми, что политика не имеет никакого отношения к морали? Совсем не обязательно столь безнадежно смотреть на вещи, проклиная с высоких этических амвонов любую политику, воспринимая всякого политика как “аморалитика”, как злобное, inferнальное существо, с портрета которого Х.Л.Борхес списал свою “Всеобщую историю подлости” (хотя подкрепляющие подобный пессимизм факты обнаруживаются без труда и в пугающем изобилии). Нас поджидают грубейшие извращения в рассуждениях, согласись мы малодушно принять такого рода допущения.

Попытаемся подойти к проблеме с другой стороны. Сказав, что морализирующая политика сама себя загоняет в тупик, ведет к неудачам и провалам, мы тем самым вовсе не утверждаем обратного - будто успешная политика непререкаемо свидетельствует о своей безнравственности (или вненравственности [5]) и, возможно, именно безнравственности политика и обязана своими триумфами, будто следует раз и навсегда запретить судить о политике и политиках в категориях морального долга и ответственности.

Мы постараемся обосновать принципиально иной тезис. Подобно тому, как в рыночной экономике не все то, что эффективно экономически - нравственно, а, напротив, именно потому оно и эффективно, что является моральным, и в деятельности огромной политической машины современного общества при серьезных и массовых нарушениях моральных стандартов политического поведения начинаются сбои, и в конечном счете утрачивается функциональное единство социума. И, напротив, работа этой машины только тогда соответствует своему предназначению быть функциональной подсистемой общества, когда ее институты и люди, в них занятые, придерживаются определенных моральных стандартов. Это обеспечивает, так сказать, умеренный “моральный климат”, несмотря на прихоти “моральной погоды” и даже вопреки им.

Речь поэтому должна идти не столько о “морали вообще”, сколько о *политической морали* (или - *политической этике*). Зрелая мораль, как мы помним, характеризуется универсальностью своих предписаний и оценок, и проявляется в *формальной всеобщности*, т.е. в различении морально положительного и морально отрицательного с последующим “запуском” механизмов должностования и самоконтроля. Но то, что именно является содержанием этой всеобщности, какие конкретные обязательства отсюда вытекают для действующего на политической арене лица, не является раз и навсегда преднайденым. Действующее лицо способно обратить нравственный закон в самообязующее содержание собственной воли, произвести свободный выбор между добром и злом не в их абстракции, а во вполне конкретных ситуациях специализированной деятельности.

Между тем, определенность задается спецификой разделения требований и оценок в партикулярных сферах и видах деятельности на *позитивные и негативные*. Мораль, завершив вынужденное “отступление” из неведомых ей прежде автономных функциональных подсистем, переходит к продуктивной “работе” в подсистемах общества (в том числе - и политической), работе, которую предварило “*приложение*” к установкам, правилам, оценкам, обеспечивающим эффективность жизнедеятельности социальных подсистем. При этом *приложение* не означает усердного и бесконечного накопления регулятивно-ориентационных подробностей (на чем настаивают так называемая ситуационная этика и мораль *ad hoc*). Мы уже говорили о том, что вопрос о “приложении” - вопрос о подлинном развитии зрелой общественной нравственности на основе опыта “приживания” ее в специфических сферах человеческой деятельности. Результаты такого развития не могут быть прямо извлечены из всеобщих принципов и представлений, как бы дедуцированием из моральных аксиом. Будь все иначе, можно было бы обойтись кабинетной работой по созданию кодексов - взамен многотрудного и длительного обобщения опыта духовно-нравственной жизни тех или иных сообществ. Необходимо ясно осознавать, что развитие морали есть часть культурной эволюции в целом, причем, важнейшая часть.

Задумываясь над превращениями морали в процессе ее приложения к политической деятельности, нельзя концентрироваться исключительно на изменениях в артикулировании норм или же в конфигурациях ценностей. Все это, если угодно, *слабая версия* приложения. Существует и “*сильная*” версия, толкующая о принципиальных превращениях. Напоминаем: сумма этих превращений позволяет именовать обретенный в опыте культурной эволюции результат “*рациональной*” моралью. Этот тезис уже получил выше подробное разъяснение в Вводном разделе.

О предтечах политической этики

Прежде всего следует рассмотреть возможные возражения нашей точке зрения. Обычно говорят, что и в доиндустриальных обществах существовали политические отношения, действовали почтенные политические институты и, надо думать, был выработан нормативный порядок политической жизни, а стало быть, была и политическая этика.

Можно ответить, что политической жизни, как таковой, еще не было (об античности отдельный разговор) и деятельность политического характера была слабо профилированной. Политические функции легко конвертировались в том смысле, что осуществлялись наряду с другими видами власти всей правящей элитой (классом или сословием). Ее члены в значительной степени были “по совместительству” и военными, и правоведами, и хозяйственниками, и культуртрегерами, но не были политиками *ex professio*. Они были всем тем, “что могло понадобиться впредь”. Что касается народных масс, то их характеризовала политическая иммобильность (“народ безмолвствует”).

Спору нет, в своих притязаниях власть не была безграничной; даже традиционно или харизматически обожествляемая власть, власть откровенно деспотичная имели известные пределы - обычная нравственность с сильно выраженным патерналистским уклоном (наряду с неотчуждаемыми экономическими правами, там, где они имели место) ставила ей определенные ограничения [6].

Она позволяла власти всякого рода своеволие, различные “художества” и чудачества, однако при неременном условии, что власть (элиты, монарха, сеньора и т.п.) следовала духу традиций и обычаев, уберегала облик “порядочности”, лучше сказать, умеренности и “достоинства”, каждый раз демонстрируя расположенность без усталости заботиться о своих верноподданных, о “малых мира сего”, обнаруживая способность приносить им благо, обеспечивать общественный порядок, судопроизводство, охрану границ и имущества, гарантии помощи при стихийных бедствиях и т.п. Или же жертвуя народным благом, но только ради легитимизированных “мессианских” задач. Порочная власть рассматривалась как источник общественного зла, о чем свидетельствовали божественное нерасположение и небесная кара (допустим, военные поражения, частые неурожаи или эпидемии в стране). Поэтому в ряде случаев допускались даже тираноборческие санкции. С их помощью преодолевалось мощное давление сознания вины подвластных перед властью (политическая “*mea culpa*”). Такие культурные барьеры были сравнительно низкими при деспотических режимах, сословных устройствах и более высокими - при сословно-правовых системах.

Такого рода нормы и санкции весьма отдаленно походили на политическую этику. При отправлении власти обходились неписаными, реже - писаными, кодексами чести, которые опирались на аристократический, рыцарский, патрицианский (где они, разумеется, были), бюрократический и даже монашеский *этосы*. Их можно без особой натяжки рассматривать в качестве нормативно-ценностных *источников* политической этики, ее отдаленных прообразов. К тому же значительная часть властных структур прошлого были духовно-политическими образованиями и получали моральное подкрепление без политической этики.

Лишь в Новое время - и то далеко не сразу - политическая деятельность отпочковалась от других видов, стала профессионализироваться (это не исключало политического дилетантизма, даже делало его неизбежным). Мы не можем осмыслить данный процесс, если упустим из виду, что в то же самое время произошли глубокие перемены в *политической культуре* общества. Они позволяют понять, каким образом возникший профессионализм в политической сфере смог сочетаться с резко *возросшим участием масс в политической жизни*. В рамках изменившейся политической культуры *власть начала утрачивать ореол божественности, священности* с неоспариваемой привилегией регулировать права и обязанности подданных. Нормы патерналистской нравственности, которые худо-бедно регулировали поведение властей, ограничивали их произвол, тоже оказались поколебленными.

Все это, в свою очередь, потребовало формирования новых - десакрализованных - механизмов специализированной политической власти, новых способов ее легитимации, невиданных для прошлого форм мобилизации масс (в том числе, с помощью средств массовой информации), что породило и новые типы отношений между политической элитой и массой. Все это вместе взятое и послужило *общей предпосылкой* возникновения политической этики.

Чтобы продвинуться дальше, нам придется остановиться на вопросе о типах политической культуры и связанной с ней политической ментальностью народа. В 1960-е годы ученик Ч.Мерриама и Т.Парсонса, профессор Стэнфордского университета Габриэль А.Алмонд предложил, пожалуй, наиболее убедительную классификацию политических культур. Сам Алмонд и его последователи (Г.Пауэлл, С.Верба, Л.Пай, Н.Най и др.) выделили *три чистых типа политической культуры*: (а) “*патриархальная*” - с полным отсутствием у масс интереса к политической деятельности и закрытостью политической системы; (б) “*подданническая*” - с лояльной ориентацией на результаты политической деятельности при сравнительно низком уровне участия массы в функционировании политической системы; (в) “*активистская*” или “*партиципационная*” культура участия масс в политической жизни. Кроме того, существуют три смешанных типа политической культуры, которые чаще всего и обретают реальное существование. Политологи называют “*гражданской*” такой тип политической культуры, в котором доминирует активизм, но не полностью изжиты первые два типа.

Как и всякая модель, схема Алмонда имеет свои изъяны. Но нам важно подчеркнуть, что политическая этика смогла возникнуть вместе с доминированием активистской культуры - участием масс в политической жизни, вместе с демократизацией политики.

Сложнее вопрос о политической жизни *античности*. Видный специалист в области исторической психологии Жан-Пьер Вернан усматривал в возникновении греческой полисной системы подготовку к рождению правового государства и моральной рефлексии, связанной с политической активностью. В основе этой рефлексии лежало свободное столкновение интересов различных социальных групп. Демократические институты стали средством разрешения противоречий между этими интересами, интеграции их в единый целостный социум. Данные институты действовали в ходе столкновения мнений сравнительно равноправных и равно ответственных граждан. Тогда-то, наверное, и возник *эмбрион политической этики* - совокупность правил, установлений и ограничений публичной агональности (состязательности) в реализации права на государственную власть, на отстаивание своих интересов и взглядов на базе обязательного уважения к интересам и мнениям других граждан (легитимации множества целей и толерантности).

Такого рода эмбрион примыкает к публичному праву, которое ограничивало произвол родовой аристократии, модифицировало обычаи и способы их истолкования. Нормы политической деятельности имели отношение

к искусству публичных выступлений, риторике, способам участия граждан в государственных делах, свободе критики, характеру взаимодействия различных институтов власти (способы рассредоточения власти и уравнивания различных источников властной активности смог открыть и утвердить на практике не греческий полис, а только римский “цивitas”).

В известном смысле эти нормы, правила, установления должны были сдерживать взрывы эмоций толпы, калькулировать ее аффектацию, обеспечивать режим равновесия власти в полисе. Речь шла о достижении доверия между гражданами, общественного согласия, добровольного подчинения порядку. Эти регулятивы создавали и поддерживали образ идеального “политического существа или животного” (“зоон политикон”, по известному определению человека, предложенному Аристотелем), озадаченного не столько индивидуальным благоразумием и совершенствованием, сколько тем, чтобы избегать гражданских распрей в родном полисе. Нормы этой “демократии малых пространств” (по выражению А.И.Солженицина) ориентировали на умеренность, которая исключила бы как разнузданность морали “охлоса” (толпы), так и высокомерную спесь, надменность аристократического этоса. Они регулировали дружеские связи (филии, гетерии, гимнасии, ксении и т.п.), вводили новые понятия о справедливости и социальной гармонии, а затем и отношения “патрон-клиент”. Нравственная проблематика была включена мудрецами в политический контекст - “они выработали соответствующую этику и определили обстоятельства, позволяющие установить порядок в полисе” [7].

И все же понятие “*политическая этика*” употребляется здесь в весьма условном значении. Нельзя не согласиться с мнением тех исследователей, которые предостерегают против коварного искуса модернизации, советуют избегать отождествления норм политического поведения прямой, плебисцитарной античной демократии с политической этикой представительной демократии Нового времени. Античность смогла в лучшем случае создать протогражданское общество. Оно не выделялось из государства и было ограждено от посягательств с его стороны. Полис - органическая, нераздробленная триада: гражданский коллектив, государство и религиозная община (только в Римской империи они стали отделяться друг от друга). Вместе с семьей эта триада без остатка растворяет в себе “политическое животное”, не оставляя места интимной, частной жизни, не предоставляя свободы выбора стратегии поведения. Поэтому политическая этика античности может рассматриваться всего лишь в качестве архетипа современной политической этики: обычай, традиция, организационно-процедурные моменты брали верх над автономным выбором, суверенитетом личности.

Лишь средневековое христианство смогло “оголить” индивида, партикуляризовав полисное “мы”, развивая чувство неповторимости, греховности, совестливости. Оно вырастает из обновленного “ментального пейзажа” в ходе так называемой “феодалной революции”, обмирщения и подъема городов, создания предпосылок учения о правах человека,

плюрализации светской и духовной властей, появления обычая покаяния, тайны исповеди, личной ответственности. Все это свидетельствовало о персонализации нравственной жизни.

Однако, “в феодальную эпоху полисный генотип не исчез, а расщепился на две свои составляющие. Буржуазное начало воплотилось в городских коммунах, несущих в себе все ту же протоплазму гражданского общества, отчужденного, однако, от структур феодальной власти. Вместе с тем, снова возникает аристократический слой - феодалы, проникнутые чувством личного достоинства, свободы и соревновательности. Участие городских общин в политической борьбе наряду с феодалами, превращение городов в субъекты политики и права приводят к проникновению в широкие слои городского населения идей личной свободы, полноценной правосубъектности и - как следствие - гражданского контроля над политической властью... Итак, с конца средневековья по XIX век мы вновь видим синтез, типологически воспроизводящий тот, который осуществился при становлении античного полиса, - слияние аристократической и буржуазной составляющих, приводящее к восстановлению полисного генотипа в его целостности” [8].

Снова о рациональной морали

Вернемся к поставленному выше вопросу о том, как “рациональная” мораль “укладывается” в рамки активистской политической культуры? В Новое время политика имеет дело уже не просто с макромиром, но и с гражданским обществом. В этом обществе автономная личность, преследуя свой интерес, оказывается способной удовлетворять его лишь при наличии *двух основополагающих условий. Во-первых*, она должна одновременно со своим интересом удовлетворять жизненные потребности других людей, ей лично чаще всего совершенно неведомых, но с которыми она - благодаря рынку и механизмам политической демократии - вступает в отношения обмена, сотрудничества и конкуренции, включаясь, по удивительно емкому выражению писателя Вас. Гроссмана, в отношения “свободной близости и свободного антагонизма”.

Нельзя, впрочем, ограничиваться одной только этой констатацией, затушевывая *второе* условие, рассматривая его как необязательное дополнение, нечто побочное, сопутствующее, эпифеноменальное: предполагается скрупулезное и массовое следование абстрактным нормам и универсальным правилам рациональной морали - разговор об этом уже состоялся в Вводном разделе. Только придерживаясь этих строгих правил человек оказывается способным удовлетворять свой частный интерес, свое стремление к жизненному и деловому успеху таким образом, что вместе с тем он был как бы обречен приносить благо другим, вносить вклад в общее благо, далеко не всегда осознавая факт подобной “обреченности”. Уместно вспомнить в этой связи знаменитую “невидимую руку” Адама Смита или закон “спонтанных порядков” Фридриха фон Хайека.

Такой человек скорее всего не имеет особого расположения к этим самым “другим” - он их просто не знает или знает недостаточно хорошо, эпизодично, случайно. Нельзя “любить”, как самого себя, неведомо кого, быть альтруистом по отношению ко всем. Или же остается, согласно Фоме Аквинату, “любить любовь”. Тот, кто следует императивам рациональной морали, руководствуется одновременно и корыстными калькуляциями личного процветания, и бескорыстной мотивацией сохранения верности самим правилам морали. Он не может поступить иначе, даже не увязывая напрямую свои поступки с гарантиями собственного благополучия. И здесь, пожалуй, надо согласиться с Э.Фромом, который интерпретирует “любовь” не просто как отношение к вполне определенной личности, а как ориентацию характера, как потребность в общении, а лучше сказать, как благожелательность в целом.

Мы уже предлагали называть такую шаткую агрегацию мотивов выгоды с мотивами почтения, верности долгу “*безадресным альтруизмом*” - понятием, близким по смыслу известному “альтруистическому эгоизму” Г.Селье, с трудом воспринимаемым морализирующим сознанием.

Каких же нравственных качеств, какого набора добродетелей требует рациональная мораль не просто от “производителей” или же “подданных”, а от полноправных граждан, которые определяют свои жизненные стратегии вполне самостоятельно, не по чьим-то распоряжениям или под давлением групповых традиций? Какие правила, нормы способны, в случае их исполнения, сделать как рыночную, так и политическую игру успешной - *и в общественном, и в личном плане?*

На первое место среди таких правил (соотнесенных с добродетелями) мы в Вводном разделе поставили жесткое требование морального (а не только политико-правового) *равенства* всех граждан в качестве обязательной мировоззренческой и нормативной предпосылки равенства их стартовых возможностей в преисполненной риска рыночной и политической игре. Но так как в такой игре достигаются различные результаты, то вслед за требованием морального равенства неминуемо следует требование *уважения к обретенному неравенству*, признания его в качестве социально справедливого, но при условии, как настаивал Дж.Ролз, что от неравенств “можно было бы ожидать преимуществ для всех” [9]. Неравенство может быть выражено в различных размерах собственности, в неравных престижных, культурных, профессиональных, карьерных и иных показателях обретенного достигательного статуса или еще как-то иначе. На основе равенства и неравенства формируется исключительно важное правило *эквивалентности воздаяния* на рыночной площади и на политическом ристалище (с учетом того, что вклад в общественный капитал и вычеты из него не поддаются прямому соизмерению), вне которых это правило становится антигуманным. Скажем, в сугубо частной жизни. Кроме того, поскольку вся деятельность в игровых пространствах оказывается чаще всего и профессиональной деятельностью, постольку рациональная мораль настаивает на признании “святости” норм, запретов и рекомендаций профессиональной морали.

В корпусе императивов выделяются все те нормы и правила, которые обслуживают *честную игру*, что предполагает наличие таких собственно моральных качеств, как готовность предоставлять услуги другим, не видя в том никакого унижения, честность, правдивость, верность письменным и устным обязательствам, доверие к партнерам, стойкую неприязнь к мошенничеству (что не исключает ни хитрости, ни готовности в ряде случаев прибегнуть даже к блефу), способность “выдержать” как успех, так и поражение, а также многое другое. Тем более, что и успех, и поражение конечны, а любой *результат* так или иначе растворяется в *процессе* и потому оказывается достойным лишь сдержанной иронии.

Нельзя не признать, что все нормативные комплексы рациональной морали расположены по отношению друг к другу довольно хаотично. Однако, такое их свойство без помех вписывается в бесшабашную современность, в дивертисмент культуры постмодернизма и пострациональной морали, когда хаотичность, неорганизованность материала почитается за доблесть, когда с одной стороны, все уже давно сказано, с другой - предстоит все начинать заново.

Успешность - центральное этическое требование, предъявляемое политике

И вновь наши утверждения провоцируют возражения. Не получается ли, будто нормы рациональной морали - не более чем тривиальные “сервоприводы” рыночной и политической машины, и в лучшем случае их можно считать своеобразными “смазочными материалами”, которые позволяют бойче, веселее крутиться колесикам этих огромных машин, обеспечивая эффективность, ритмичность и бесперебойность их работы?

Если это так, то мы благополучно возвращаемся к уже пройденному и вновь упираемся в роковой вопрос: мораль ли все это? Ведь все это мы “давно проходили” и обрели в итоге горестные последствия как для самой морали, так и для общественной жизни в целом. И еще раз: признавая некую “неестественную” - рациональную - мораль, не девальвируем ли мы мораль “естественную”, не обесцениваем ли то, что - пусть и несколько высокопарно - именуют *абсолютами* этики?

С подобными возражениями и сомнениями нельзя не считаться, их нельзя легкомысленно проигнорировать. Однако, их нельзя и принять. Ведь одно дело - подменять моральные правила, установления праксиологическими правилами целесообразности и совсем другое - принимать во внимание соображения целесообразности, учитывать их, более того, усиливать их, проверять ими любые действия. Для чего, хотелось бы знать, нужна неэффективная экономика? И кому понадобилась провальная политика? Разве выделение в общественной системе функциональных подсистем не было продиктовано социальными потребностями? И стало быть, требуется соответствующим образом обращаться с этими подсистемами, обеспечивая и наращивая потенциалы целесообразности. Можно написать оду неуспешным людям, но только не в профессиональной сфере и, тем более, не в сфере политики - ведь

провальная политика одного человека задевает интересы большого множества людей. Надлежит добиваться эффективности работы экономической и политической машины, которая в этом случае способна обеспечивать гражданам свободы, социальную справедливость, ненасильственное регулирование конфликтов различных интересов и многое другое.

А разве всем известная *трудовая мораль* с ее хозяйской мотивацией, признанием самооценности труда, с “мирской аскезой” (даже тогда, когда она со временем утрачивает характер этического выбора) не была ориентирована именно на успех - на высокую эффективность, высокую продуктивность, высокое качество? То же самое мы вправе сказать и о профессиональной этике с ее явно выраженной ориентацией на успех.

“Приложение” морали к данным функциональным подсистемам как раз и должно на свой манер содействовать их эффективности, отсекая дисфункциональное поведение и запрещая беспринципную ориентацию на одну лишь целесообразность, не выверенную в части ее моральной квалификации. В перспективном плане целесообразность просто недостижима - надежно и в должном объеме - при игнорировании ее этического измерения. *Рациональная мораль* - вот искомый способ соединения целесообразности и нравственности. Как писал Б.Сутор, “успешность - центральное этическое требование, предъявляемое к политике. Почему и является этически оправданным располагать необходимой для того властью и применять обеспечивающую успех тактику, поскольку, разумеется, при этом не нарушаются этические принципы” [10].

Тяготы нравственной мудрости

Мы уже говорили о том, что рациональная мораль не приводит к аннигиляции, обессиливанию моральных абсолютов. Они остаются фундаментом простой нравственности, хотя и меняют свой смысл в сложной системе нравственности современных обществ. Но каково же самочувствие человека, если он, образно говоря, оказывается как бы распятым между двумя различными ценностными мирами? Кому внимать и чему поклоняться?

С позиций рациональной морали нередко все, что оказывается за пределами ее требований и оценок, воспринимается как скучное назидательство или романтические поветрия, как заскорузлая патриархальщина, “старый вздор”. Тогда как с позиций “естественной” морали то, что выдает себя за рациональную мораль, просто ужасно, бесчеловечно, ни капельки не похоже на мораль - одна сплошная инструментальность, пруденциальность, голый практицизм, бездушная арифметика, “вздорная новинка”.

Нравственная мудрость предполагает ясное осознание того неустранимого факта, что абсолютизация роли рациональной морали содержит сильнейшую угрозу иссушения нравственных чувств человека, его механизации, утраты идентичности, тогда как абсолютизация места и роли естественной морали способна сделать его совершенно не приспособленным для существования в “открытом” обществе, для деятельности в таких функциональных подсистемах, как рынок и политика.

Поэтому мудрость вводит запрет на отсечение одной морали от другой и на восприятие одной из них в качестве “низшей”, “неподлинной”, “профанной”, “торгашеской”, а другой - как “вышей”, “аутентичной”, чуть ли не “сакральной”. Она предполагает осознание того обстоятельства, что, вступая на рыночную площадь или в сферу политики, впитывая, ассимилируя нормы и правила рациональной морали, человек не вправе утрачивать приверженность сокровенным ценностям, выработанным поколениями, а также то, что нельзя пренебрегать и иррациональными глубинами человеческого сознания. Обе морали, так сказать, обязаны знать “свое место” и отказываться от гегемонистских притязаний.

Обе позиции берут свое начало не столько в различных исторических эпохах, сколько в разных сферах жизнедеятельности. Не просто осознать данные различия, но невероятно сложнее овладеть нравственной мудростью и искусством переключения из одного ценностного мира в другой. Как ни стараться, духовные издержки при этом неизбежны - здесь ничего не могут поделать ни нравственная мудрость, ни самое изощренное искусство переключения. Не коренится ли источник человеческих трагедий в том, что выбор одной из ценностей не увеличивает этического достоинства другой и даже попирает его? Мы говорим здесь не о судьбоносном трагизме, а о трагизме повседневного бытия, когда пребывание сразу в двух ценностных мирах или в междумирье делает каждого “маргиналом” со всеми вытекающими последствиями для нравственной жизни человека.

ОБЩИЙ КОНЦЕПТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ

Гражданское общество

До сих пор речь шла об эмбрионах политической этики, ее архетипах, сформировавшихся в античности и средневековье. Каким же временем можно датировать завершение инкубационной фазы и рождение этой этики? Чем оно было продиктовано? И, самое главное, в чем суть политической этики, какова ее природа? Эти вопросы и будут рассмотрены в данной главе.

Если бы потребовалось дать предельно сжатый ответ на первые два вопроса, то вполне можно было бы довольствоваться следующим: политическая этика порождена настойчивыми и постоянными запросами успешного функционирования гражданского общества и плюралистической демократии Нового времени, когда автономизировались как политическая сфера, так и сама мораль.

Попытаемся раскрыть смысл этих краеугольных для социологии и политологии понятий.

Что такое *гражданское общество*? Само понятие, как считают исследователи, впервые было употреблено в XVI веке в комментарии к “Политике” Аристотеля. И трактовалось оно как сообщество граждан, как объединение свободных и равноправных людей.

По Гегелю, одному из первых и наиболее проницательных исследователей (и критиков) гражданского общества, это такая социальная система, которая пребывает “посередине” между семьей и государством, хотя его развитие и отделение от публичной жизни и семьи наступает позднее, нежели возникает государство. Соотносится данное стратифицированное общество не просто с государством, а, строго говоря, только с государством особого типа (с одной стороны, “минимальным”, “незаметным”, “скромным” государством, что означает вовсе не бессилие, а лишь самоограничение властных функций и подчиненность праву, закону, а с другой стороны - “социальным”), которое не стоит над этим обществом, но является его органом, подотчетно, всецело подчинено ему. Как арбитр между различными социальными силами, иногда даже между антагонистическими частными интересами, государство было обязано пристально и заинтересованно блюсти “правила рыночной игры”, а в ряде случаев выступать в качестве чуть ли не самого сильного “игрока” маркетизированного общества. Но в принципе, по мнению М.Фридмена, рынок “резко сужает круг вопросов, которые нужно решать политическими средствами” [11].

Гегель, как известно, был склонен к обожествлению государства и этатистским иллюзиям. Поэтому он никак не мог примириться с униженным положением государства в качестве “прислуги” у прозаического гражданского общества. Гегель постарался в перспективе подчинить это самодовольное, лишённое героических начал и дисгармоничное конкретное гражданское

общество тотальному государству посредством высшего - органического - синтеза, когда этика публичной жизни согласуется с договорной этикой частной жизни, чем и завершается затяжная одиссея абсолютного духа.

Такое отношение к гражданскому обществу, по всей вероятности, передалось и К.Марксу, еще одному радикальному критику данного общества, хотя критический обстрел велся им с иных позиций, причем в такой степени, что дало повод выразить суть марксизма формулой, согласно которой “гражданское общество - это обман”, а его моральные устои “в действительности представляют собой лишь маскировку патологической институализации корыстолюбия и стяжательства... в игре, где жертвами неизбежно становятся и победители, и проигравшие” [12].

Через рынок труда, товаров, капиталов граждане (юридически самостоятельные лица) выступают в качестве свободных работников и свободных потребителей, обладающих правом нестесненного распоряжения своей собственностью, правом свободно производить, продавать и потреблять товары и услуги, создавать добровольные объединения и организации, обслуживающие гражданское общество. Рыночной экономике в индустриальной цивилизации сопутствуют механизмы независимых от государства общественных отношений, которые позволяют выявить, зафиксировать и определенным образом согласовать интересы лиц и групп, четко сформулировать полномочия и функции различных социальных институтов, прежде всего - институтов государственных. В свою очередь, именно это позволяет данным лицам быть суверенными в политической жизни, располагая возможностью отстаивать в ней свои интересы. И здесь тоже функционирует рынок со своими законами - рынок политических идей, концептов, программ, манифестов и т.п.

Иногда гражданское общество определяют как область экономической, частной жизни и параобщественных организмов, как сумму всех неполитических отношений, т.е. экономических, духовно-нравственных, религиозных, национальных и т.д. Но гражданское общество - это и публичная сцена, на которой в качестве действующих субъектов мы видим политические протопартии и партии, политизированные ассоциации, группы давления, фронты, клубы, движения, а также действующих лиц - политиков различных рангов. Политологи обращают внимание и на латентные политические силы, до поры до времени таящиеся в глубине и на периферии гражданского общества, способные в критических обстоятельствах выйти из тени на сцену общественной жизни, воздействуя на государственную власть. Поэтому *гражданское общество - это системы отношений между гражданами, не опосредованные институтами государственной власти; это - самоуправляемые системы отношений.* Или иначе: “гражданское общество - это совокупность различных неправительственных институтов, достаточно сильных, чтобы служить противовесом государству и, не мешая ему выполнять роль миротворца и арбитра между основными группами интересов, сдерживать его стремление к доминированию и атомизации остального общества” [13].

Возникает гибкое “общество обществ” - сопряжение гражданского и политического обществ (частично даже совпадающих друг с другом), и мы вправе говорить об их последующей *коэволюции*. Одним из продуктов такой коэволюции являются также сопряженные и ориентированные на ценность успеха этика гражданского общества и политическая этика, которые побуждают “играть по правилам вне зависимости от каких бы то ни было интересов или от давления извне” [14].

О демократии

В самом широком смысле, демократия - это “правление народа, посредством самого народа” (по А.Линкольну: *government of the people, by the people, for the people*), а в более узком и точном смысле - это такая форма государственной власти, которая признает народ и источником, и, одновременно, носителем власти. Но, как справедливо заметил французский политолог Морис Дюверже, никогда не было народа, который бы управлял собой, и никогда его не будет, а поэтому всякое правление является олигархическим, буквально - господством немногих (класса, элит, истеблишмента, партократии, меритократии и т.п.). Отсюда следует, что демократия означает прежде всего реализацию гражданских прав, свободу для народа и для каждой части народа, а не только для привилегированных по рождению, жизненной удаче, должности, образованию и т.п.

Различают “идентитарную” и “конкурентную” демократию - совокупность известных институтов, процедур, правил социального господства и управления. Такое обозначение различий, далеко не безупречное, думается, более точное, чем принятое разделение демократии на прямую и косвенную, “плебисцитарную” и “представительную”.

“Идентитарная” демократия

Речь идет об идентичности воли народа и власти во всех основных измерениях, что делает излишними соединительные звенья между ними. Это - сочетание демократического символизма (риторики и “фасада”) с авторитарностью. Иначе говоря, демократическая тирания (или - в крайних проявлениях - “тоталитарная демократия”, которая предполагает и наличие горизонтального, “народного тоталитаризма”, по выражению американского политолога Баррингтона Мура). Ее идеология и принципы имеют довольно длительную историю.

Самая колоритная фигура в этой истории - Ж.Ж.Руссо. Его взгляды позволяют понять, как демократическая ориентация способна трансформироваться в ориентацию тираническую, а первоэлементы политической этики могут без труда превратиться в нечто совершенно противоположное.

Исходный пункт политической философии Руссо - сокрушительная критика современной ему цивилизации, частнособственнического гражданского общества, порождаемых им дисгармоний и несвободы, которые пришли на смену первоначальному естественному состоянию. Благодаря общественному договору возник “Политический организм” - государство. Но, чтобы преодолеть

дисгармонии и пороки цивилизации, на смену государственному суверенитету должен прийти народный суверенитет, коллективизм, всеобщее братство, равенство прав и обязанностей. Именно это создает “тиранию большинства” над непокорным меньшинством - мнение этого большинства всегда обязательно для всех остальных. Такое подчинение коллективной тирании и отказ от прав человека называются “свободой” и каждого принуждают “быть свободным” [15].

Впрочем, общая воля может и не совпадать с волей большинства. Она выражает общие цели, результирующие интересы всех граждан, и не может быть измерена и выверена демократическими процедурами. Общественный договор делает государство верховным собственником и обязывает остальных - условных - собственников подчинить свои частные интересы и имущество интересам общественным. Граждане оказываются зависимыми друг от друга и всецело поглощенными общественными заботами. Ради общественного блага они даже обязаны жертвовать своей жизнью [16].

В гомогенном “Политическом организме”, каким он видится мыслителю, не должно быть разделения законодательной и правительственной власти, как не должны быть разделены гражданское общество и государство, светская и религиозная власть. Вся власть сосредоточивается в народном собрании или у просвещенного законодателя - вождя. Поэтому механизм выражения групповых интересов, их *балансировке*, сдерживанию власти и т.п. Руссо не уделяет внимания. Для чего, спрашивается, нужны эти механизмы, если постулируется тождество интересов правителей и подданных, управляющих и управляемых, а конфликт интересов не может быть легитимизирован?

Естественно, политический успех на парламентском поприще просто исключается, так как “волю народа нельзя представлять”, а потому представительная демократия не идет ни в какое сравнение с непосредственной демократией [17]. И мистическое отождествление вождя с народом не нуждается в столь земном средстве, как избирательная урна.

Интегрирует общество светская идеология, которая получает монополию в качестве инструмента мобилизации масс, широкого и постоянного их вовлечения в политическую деятельность (в духе античного, преимущественно спартанского, полиса). На такой основе идеологизируются как политика, так и мораль. Причем, в рамках данного проекта политика оказывается заведомо “чистым делом”, а цели и средства политики лишь соперничают друг с другом по части добронравия. Происходит, таким образом, *морализация политики* и полностью обесценивается потребность в *политическом успехе* и в этике политического успеха.

Здесь не может быть и речи о профессионализации политики. Что касается чиновников (скорее просто администраторов, чем политиков), то они благочинно вдохновляются морально безупречными моделями успеха в отведенном им корпоративном секторе “Политического организма”. Они действуют не на основании договора, а по закону и должны быть не господами народа, а лишь скромными и верными его слугами. Они назначаются и

смещаются сувереном, воспринимают свою деятельность как гражданский долг, не заботятся о личной карьере, символах своего успеха и т.д.

Более полувека назад Б.Рассел заметил, что политическое учение Руссо, “хотя оно на словах превозносило демократию, имело тенденцию к оправданию тоталитарного государства” [18]. И вовсе не случайно сочинения Руссо стали библией якобинцев и его идеи в некоторой степени воплотились в революционной практике большевизма.

“Конкурентная” демократия

Плюралистическая либеральная демократическая система признает невозможность достижения знаменитого (иные считают - “пресловутого”) “морально-политического единства народа” без массированного и долгосрочного применения социального насилия, без революционных потрясений и чуть ли не антропологических катастроф. Она, следовательно, исходит из не идентичности групповых (классовых, сословных, корпоративных, профессиональных, социодемографических, этнотерриториальных и иных) интересов. Эти интересы, естественно, не только различны, но и во многих отношениях прямо противоположны. Демократия данного типа легитимизирует как различия, так и конфликты интересов. Однако, спрашивается, каким образом складывается равнодействующая разновекторных интересов, как в подобных условиях формируется и проявляется единая политическая воля, без чего даже трудно представить себе дееспособную государственность?

Эта воля возникает в процессе *открытой конкуренции* групповых интересов и представляющих их политических партий. Но чтобы общество при этом не стало заложником разных интересов и не оказалось ввергнутым в постоянные потрясения и катаклизмы, требуется наличие “*ценностного минимума*”, на основе которого действуют механизмы сдерживания и противовесов. “Минимума”, который, однако, охватывает не малосущественные ценности, “задворки”, “захолустье”, маргиналии ценностного мира, но, наоборот, основополагающие ценности “родовой этики”. Их возникновение и последующая кристаллизация занимают целую историческую эпоху. Иногда такой интегрирующий “минимум” называют идеологией, но с этим трудно согласиться, ведь идеология - совокупность прежде всего производимых профессионалами идей, а здесь имеется в виду совокупность возникших в ходе культурной эволюции базовых ценностей. Поэтому в современном обществе существуют различные идеологии, тогда как система базовых ценностей всегда только одна.

Как бы то ни было, но именно на основе этих ценностей формируется консенсус, согласие между взаимодействующими и нередко противоборствующими интересами, между выражающими их политическими партиями и движениями, в результате чего и достигается общественное благо.

Хотя каждая партия и движение могут по-своему трактовать данное понятие, они сходятся в том, что под этим общественным благом имеется в виду стабильное развитие общества (а не одного лишь государства) при условии

личной и групповой свободы. Иногда общим благом называют статус кво, делая это для того, чтобы указать на отличия такого блага от всевозможных эсхатологических идеалов, моделей “светлого будущего”. С точки зрения “конкурентной” демократии не одобряется практика регулирования, “коррекции” убеждений и мнений, навязывание ценностных предпочтений одной группы или организации другим, отклоняется принудительная ориентация на эсхатологические идеалы, “всеобщее счастье”, содержание которого заранее ведомо властью имущим - счастье, так сказать, по предписанию и расписанию. Во всяком случае, подобная практика морально осуждается, табуируется.

Конкуренции интересов и партий не дозволено переходить определенные границы, прочерченные на основе “ценностного минимума”. За этими границами маячит грозный призрак гоббсовской “войны всех против всех”, призрак гражданской - горячей или холодной - войны. Как формируется данное самоограничение в качестве обязательного условия общественной стабильности?

Оно оказывается возможным потому, что неравенство членов гражданского общества в имущественном, властном, образовательно-культурном и т.п. отношениях не является чрезмерным и неустойчивым, во всяком случае, для значительного большинства. Это обеспечивается, как известно, наличием сильного “среднего класса”, медиатора между состоятельными и “убогими, да сирыми”, между властными и безвластными, между “укорененными” и “людьми воздуха”. Все это сокращает социальные дистанции и если не исключает, то во всяком случае сильно ограничивает возможности раскола общества. Такое неравенство не воспринимается в inferнальном свете, в “багровых тонах”. Оно сравнительно легко переносимо психологически, не вызывает массовых приступов недовольства и зависти, не порождает деструктивность. К тому же, доступ к благам наглухо не перекрыт - “добивайся успехов в любой общественно значимой сфере деятельности и тем самым ты поможешь себе, а своими достижениями - всему обществу в целом!”.

Основой консенсуса считается принцип воли большинства. Не грозит ли в таком случае “диктатура большинства” - действительная или мнимая, лишь провозглашаемая, как это чаще бывает при “идентитарной” демократии? Такой принцип оказывается неприемлемым, если начинает покушаться на неотчуждаемые права отдельного гражданина или на такие же права различных *меньшинств* - от электоральных, профессиональных, этнических, культурных до самых экзотических и дискриминируемых. И граждане в обществе располагают *правами*, которые четко гарантируются, в том числе, за меньшинством сохраняются право и возможность со временем стать большинством - принцип отказа большинства от претензий на вечность обладания властью. Конечно, все это происходит в рамках принятых всеми участниками политического процесса “правил игры” [19].

Прилежным защитником таких правил является демократия - как форма государственной власти и принцип общественного порядка, - которая означает,

напомним, вовсе не “*правление народа*”, а лишь власть с его согласия, *господство закона* и контроль над политической властью с помощью институтов представительства, судебной власти и свободных средств массовой информации. Она предполагает разделение властей (чтобы избежать сверхконцентрации власти) и парламентаризм со свободным, не обязывающим мандатом парламентариев и других избранных властных лиц. (Свободный мандат означает, что политика является профессиональным занятием политиков, которые должны быть относительно независимыми от настроений избирателей.)

Демократия - это государство, которое более не стремится к финализму, не претендует на исключительность в толковании смысла истории. Оно - орган правления и управления делами общества в его же интересах (то есть исходит из признания как общих, так и групповых интересов, когда те и другие представлены в партийных программах и действиях). Это “скромное”, “минимальное”, “незаметное” государство, что, как отмечалось выше, отнюдь не равнозначно бессилию и, тем более, анархии. Такое государство отказывается от достижения “морально-политического единства народа”, принимая за должное несогласие, недовольство как законами, так и практикой их исполнения. Это недовольство может проявляться по-разному, в том числе - в предпочтениях при голосовании на выборах, а также в абстиненции.

Но ошибочно думать, что участие граждан в политике, в управлении ограничивается краткосрочной суетой у избирательных урн, выборами политических руководителей. Такое предположение, исключая народопоклонничество, некритическую веру культурного слоя в “высокие нравственные качества народа”, которую И.Бунин назвал “великим дурманом”, вместе с тем не исключало бы признание у граждан здравомыслия и достаточного уровня компетенции, чтобы судить о качестве государственного управления.

Что же такое “политическая этика” и почему ее считают обязательным элементом “конкурентной” демократии?

Достаточно ли для достижения общественного согласия и исключения узурпации власти одних *политико-правовых регулятивов и гарантий*? Способны ли они сами по себе, в отрыве от морали выработать целостную и действенную концепцию свободы и равенства (и способна ли этика, в свой черед, в отрыве от политики и права предложить реалистическую концепцию долга, ответственности и справедливости), создать прочную и глубоко эшелонированную защиту порядка в демократическом обществе? Не будут ли эти изобретательно придуманные и апробированные регулятивы, гарантии, механизмы сдерживания и балансировки отвергнуты народным сознанием, опрокинуты при первых же серьезных социальных кризисах?

Опыт показал, что “конкурентная” модель демократии смогла эффективно функционировать, выдерживая различные потрясения, лишь при наличии

этико-культурных подкреплений, при принятых обществом мировоззренческих и аксиологических обоснованиях и оправданиях, при легитимации указанных гарантий, регулятивов, механизмов балансировки. А для этого потребовались принципиальные перемены в нравственном сознании общества, способные породить рациональную мораль, потребовались смещения в типах политической культуры и их закрепление чуть ли не на “генетическом” уровне.

С одной стороны, возникает профессионализм в осуществлении властных функций - политика как профессия, как ремесло, с учетом отличия политической миссии от бюрократической функции, так как она всегда остается “личной миссией” [20], а с другой стороны - массы стали превращаться, пусть еще не очень последовательно, из пассивного объекта политического регулирования в самостоятельного субъекта политического диалога и действия. Востребовалась автономная личность, способная усвоить гражданский тип политической культуры, при котором активизм, участие в политической жизни начинают доминировать над патернализмом, перебрасыванием ответственности на “верха”, над простой подданнической лояльностью. Одновременно начинает доминировать терпимость к инакомыслию, способность внимать чужим интересам (включая способность поступиться приоритетом личных интересов в пользу государственных соображений, когда это оказывается необходимым и когда осуществляются смены в приоритетах под общественным контролем), отказываться от конфронтационного поведения, от силовых политических “разборок” в пользу компромиссов, переговоров, диалогов, сотрудничества.

Ядром этой партиципационной политической культуры, по нашему мнению, и стала *этика политического успеха* как одна из разновидностей рациональной морали “открытого общества”. Общекультурный “ценностный минимум” и правила политической игры в демократических институтах образуют фундамент данной этики.

Можно предложить следующую дефиницию политической этики: совокупность ценностей и норм, разрешений и запретов, ориентирующих и вместе с тем регулирующих действия как профессиональных политиков, так и всех тех, кто по своей воле (или против нее) вовлечен в политическую жизнь.

Здесь необходимы пояснения. Политическая этика регулирует не только поступки фигурантов от политики, но и всех граждан, когда дело касается “большой” или “малой”, “высокой” или “низовой” политики. Демократические начала пронизывают все общественные структуры, что предполагает ответственных, рационально мыслящих, умеренно настроенных, способных калькулировать собственные аффекты граждан, а не равнодушную к публичной жизни толпу, не разнузданный охлос, чернь, которые побуждаются сиюминутными вожделениями, суетными соображениями или порывами, постоянно испытывая потребность в инъекции политической демагогии, в духовных поводырях, (которые и сами подчас оказываются политическими слепцами), а заодно и в полицейской рукавице. Политическая этика воздействует на поведение граждан и тогда, когда им предстоит явиться к избирательной урне, не уклоняясь от свободного и ответственного выбора (в

соответствующей главе будет показано, что можно говорить об этике избирателя, которому вовсе не безразлично, в чьи руки попадет кормило власти и которого не может удовлетворить лишь имитация избирательного процесса). Политическая этика выражается также в форме нравственных требований граждан к облеченным властью лицам.

Императивы этики политического успеха и ее оценочные шаблоны, будучи одним из воплощений рациональной морали (другими ее ипостасями оказываются трудовая мораль, этика бизнеса, менеджеристская этика и т.д.), имеют *универсальный* характер. “Конкурентная” демократия не может успешно функционировать, если пренебрегает нормами и правилами политической этики. Она - составная часть релевантной политической системы.

Рассуждения об универсализме

Универсализм означает, *во-первых*, что в обществах, где утвердились “конкурентная” демократия, нормы и правила политической этики успеха, ее разрешения и запреты нуждаются во *всеобщем признании и принятии*. А они создаются отнюдь не путем отказа от той или иной политической доктрины (от философии, идеологии, партийных программ и лозунгов, от собственного “лица” всех участников политического процесса). Политическая этика не только *оправдывает стремление* этих “лиц” и партий *к политическому успеху*, но и *прямо побуждает* к этому. Политическая система “конкурентной” демократии способна влиять на общественную стабильность и жизнеспособность лишь тогда, когда *все участники процесса стремятся к выигрышам в политической игре, к победам в избирательных кампаниях, к персональному успеху* в политике и завоеванию популярности у населения. Без такой устремленности на успех политическая жизнь общества оказывается анемичной, тусклой.

Необходимо, в общих интересах, чтобы “конкуренты”, претенденты на власть и те, кто уже приобщился к ней, соблюдали бы в полном объеме требования этики успеха, табуируя действия, характерные для беспринципной борьбы на политической арене. При всеобщем признании и принятии этики успеха эта система моральных требований и оценок *не дает преимуществ* ни одному участнику политического соперничества. *Она выгодна всем*, любым частям политического спектра, разве за исключением тех, кто стремится к узурпации власти в форме тирании или “идентитарной” демократии. Отказ от этой этики косвенно свидетельствует о наличии у “отказника” претензий на узурпацию власти.

Во-вторых, универсализм означает признание общецивилизационной парадигмы (лучше сказать, *канона*) этики политического успеха при отклонении любых попыток навязать единую форму политического устройства стран в различных регионах. Соответственно, неприемлемо намерение облечь в униформу и самую этику. В различных культурных контекстах просто не может быть тождественного понимания ценностей успеха, норм этики успеха.

Весьма уязвимыми оказываются аргументы тех, кто полагает, будто существует некая единственно “истинная” демократия и приложенная к ней

“истинная” этика политического успеха, которую можно, прибегая к упрямству и нетерпимости “модернизаторов” второй и третьей волны, навязать народам во всех культурных ареалах (прегрешение атлантизма) в качестве экспортируемой “беспочвенной” социальной технологии. Всякий раз, когда единожды сотворенная в первой модернизационной волне модель политической демократии воспринимается в очередном культурно-региональном контексте, приходится заново “изобретать велосипед”, “переоткрывать” (по выражению И.К.Пантина) мир демократических ценностей, технологий и процедур, а не репродуцировать его.

Так, в России демократия отнюдь не была продуктом укрепляющегося гражданского общества, где в его состав вошли не только собственники, но и другие, “наемнические” слои, чьи интересы эта демократия и выражала (гражданское общество как раз и подстраховывает очевидные недостатки “шумпетерианской демократии” [21]). В России демократические порывы возникали как ответ на вызовы угасающего тоталитаризма. Иначе говоря, современная российская демократия начала свой путь к реализации, не имея “за собой” ни граждан с их организациями, ни собственников с их объединениями. Ее задачей как раз и было создание такого общества и такой собственности как условий для прорыва в “современность”. Пока данная задача не снята с повестки дня, наша демократия остается шаткой и скорее “облицовочной”. Отсюда вся острота противостояния сил, которые толкают демократию дальше, и сил, которые препятствуют этому. Культурный раскол сплетается с расколом политическим и оба они имеют прямое отношение к этике успеха.

Но означает ли все сказанное, что правы те, кто недооценивает эталонный характер, универсализм и даже парадигмальность атлантической, европейской модели “конкурентной” демократии, кто не учитывает ее динамизма, прометеевской воли, открытости, последовательности, высокой степени пластичности, социокультурной адаптивности?

Дело в том, что культуры со своими ценностными контекстами обуславливают явные или трудно распознаваемые предпосылки, которые затем шлифуются, трансформируются, “доводятся” демократическими политическими системами, сопряженными с правовым государством и рыночной экономикой. Именно от этих предпосылок зависят: (а) темпы продвижения к данным системам; (б) величина “затрат” на этом тернистом пути, а также (в) последующие формы бытия политической жизни, политической культуры и этики. Конечно, связь политических свобод (либеральная демократия) и экономических свобод (капиталистическая рыночная экономика) не является жесткой. Зависимость между ними носит гибкий и открытый характер. Но это не дает оснований для того, чтобы согласиться со взглядами тех, кто беспрепятственно впускает в социальное познание чуть ли не обязательный принцип “несоответствия политики и экономики”.

Ясно, что в политической культуре активизма всегда будет различаться соотношение составляющих эту культуру элементов (типов адекватной

мотивации политического поведения элит и масс, мировоззренческих обоснований активности, соответствующих разрешений и запретов, характер борьбы и кооперации субъектов политических отношений, пропорции в соотношении собственно правовых и моральных способов регулирования политического поведения и многое другое). Об этом свидетельствуют многочисленные труды политологов-компаративистов и, прежде всего, теоретиков активистской культуры [22].

Однако ошибочно считать, будто возможна демократическая политическая система без парламентаризма, принципа разделения властей, механизмов сдерживания, противовесов, баланса, без политического плюрализма и контроля общественного мнения. Когда утверждают, что все это “нам” не подходит и не соответствует национальной культуре, что если нечто “немцу” хорошо, то “русскому отравно”, то это верно лишь для традиционного общества с подданнической политической культурой.

Всякий раз встреча национального характера, политической антропологии и психологии с универсальным канон политический активистской культуры и этики успеха оборачивается непредсказуемым актом исторического творчества (который мы подводим постфактум под “закономерность” и даем каузальное объяснение). В ожидании такого акта пребывает сейчас и наше общество.

К “неврозу его своеобразия”, как выразился один современный русский философ, мы обратимся в последующих главах.

Существуют ли этнонациональные этосы?

Вряд ли можно говорить о множестве этнонациональных “моралей” как предположительной основе для творческого акта. Отклоняя саму возможность такого, в сущности инертного, допущения, мы тем самым подчеркиваем принадлежность политической этики к миру, как было сказано, родовой, планетарной морали. И все же поставленный вопрос требует ответа хотя бы в тезисной форме.

Разумеется, это нужно вовсе не для того, чтобы косвенным путем привести либо к признанию продвинутых “моральных центров” человечества и - отсталых, косных “моральных периферий”, либо к признанию неких этнонациональных “моральных констант”, выпадающих из потока исторических изменений, и поэтому не восприимчивых к канону политической этики, неумолимо отторгающих его как инородное тело. Вроде мифических “туранской этики”, по вольной терминологии евразийцев, “поствизантийской, восточнохристианской этики”, или “японской морали” и “русской нравственности”.

Мы обсуждаем эту тему для того, чтобы подчеркнуть не убывающее, а нарастающее культурное многообразие онтологии морали и привлечь внимание к *многообразию моделей* этики политического успеха.

Модельное многообразие обусловлено ментальными, антропологическими, природными факторами, возможностью искусственной консервации ранних этапов филогенеза морали (задержка восхождения от

неразвитых структур морального сознания, перегруженных локальными обычаями, традициями, к зрелым структурам, к морали *per se*), особенностями “вписанности” морали в мировые религии, которые, как известно, в различной степени влияют на образ жизни людей.

И хотя трудно признать наличие каких-то несхожих типов ценностного мышления как такового, существование особых этноаксиологических “логик”, тем не менее вовсе не бессодержательны проблемы соотносительности чувственного и рационального в нравственной жизни различных народов, специфики самой рациональности этой жизни, условно говоря, национального дизайна того или иного нравственного порядка. Важность этих проблем для понимания природы этики политического успеха не может вызывать сомнений.

Высказываются не лишние оснований суждения о возможности некоего партнерства (“подобно полам”) культурно-антропологических структур Запада и Востока, о специфике нравственной мудрости в рамках западного и восточного рационализма. В первом случае акцент делается на моментах истины, анализа, дезинтеграции целого, дуализма, дихотомичности, сотканной из гетерогенных начал, экстравертности, на компромиссе и плюрализме, а поэтому поступки объясняются универсальными началами, мировым порядком, перед которым, по выражению С.Кьеркегора, “человек всегда неправ” и который прочерчивает пути совершенствования человека извне. Во втором случае акцентируются категории добра, синтеза, нерегулярной гармонии, интровертности, симфоничности, когда при оценке поступка не испытывают потребности выводить его из какого-то универсального правила, закона, и человек сам прокладывает путь своего совершенствования. Конечно, подобные разграничения не могут быть приняты безоговорочно, но их и нельзя отвергнуть с порога [23].

Некоторые исследователи вводят понятие “развитая, передовая традиционная культура”, дабы выделить благоприятные потенциалы перехода от традиционных структур к модернизированным. Так, конфуцианско-буддистский регион во второй половине XX века продемонстрировал более выраженные предпосылки модернизации, чем исламский мир (за исключением, может быть, “пятого дракона” - Малайзии). В первом - оказались полнее представлены ценности развития, частной собственности, личностных начал, тогда как во втором - ислам был не предметом личной веры, а общим делом верующих, делом религиозной общины. Ярким примером модернизации не вопреки традиционной культуре, но в значительной степени с ее активным участием могла служить в прошлом Западная Европа, а в нашем столетии - Япония. Именно это обеспечивало синтезы различных менталитетов и облегчало переход к рыночной экономике, “конкурентной” демократии, этике политического успеха, делало его сравнительно плавным и немучительным.

Стоит обратить внимание еще на одно весьма примечательное обстоятельство. Родовая этика, общечеловеческие ценности, этико-культурный минимум являются не исходным, не предзаданным пунктом развития морали, как могло бы показаться на первый взгляд. Это постоянно продвигающийся

итог ее развития. И только в нашу эпоху этот продукт ценностной кумуляции смог возвыситься до уровня интеграции социокультурных зон Земли не просто путем утверждения (тем более - “проталкивания”, навязывания) канона политической этики, цивилизованных универсалий, а методом диалога культур, своеобразного нравственного экуменизма, когда каждая из культур не отказывается от своей специфики в пользу чего-то усредненного, но, напротив, усиленно развивает эту специфику по старинному тринитарному принципу “нераздельности, хотя и неслиянности”.

Соответственно, некоторые исследователи предлагают отказаться от фундаменталистского, эссенциалистского подхода к ценностям демократии, социальной справедливости, прав человека, политической этики и морального равенства с вытекающим отсюда признанием универсалистских моральных обязательств, всеобщего морального закона, тогда как другие выступают против релятивистского, партикуляристского подхода, который отклоняет посткантiansкую парадигму безусловного морального закона, так или иначе игнорирующую культурное многообразие. Признание последнего как “достоинства бытия” не обязательно ведет к моральному релятивизму, позволяя мобилизовать традиционные институциональные и процессуальные средства борьбы с злоупотреблением властью в ущерб правам человека. Существуют и гибридные позиции, которые оставляют за универсалиями роль эталона для выработки демократической политики и политической этики, но вместе с тем не позволяют утвердиться “западному гегемонизму” в образах справедливости и социального равенства. Ему противопоставляют “воздаяние должного”, которое не устанавливает справедливость, а восстанавливает ее как исходную гармонию между общественным благом и личными интересами [24].

Феномен политической совести

Будучи моралью в полном, а не в усеченном смысле этого слова, этика политического успеха выступает не просто средством подкрепления политико-правовых регулятивов и гарантий, всевозможных сдержек и противовесов, но и особым способом, каналом выражения *недовольства* качеством правления и управления, *средством нелицеприятной критики наличных политических нравов*, которые являют “*urbi et orbi*” власть и претенденты на нее. Подобный канал нельзя считать резервным способом “выпускания паров” или своеобразной формой псевдодуховной релаксации, когда всего-навсего “срывают гнев”, раздражение от жизненных передраг на политиках или на специально подставленных с этой целью “мальчишках для битья”. Мы думаем, что речь идет о никому не подвластном феномене *политической совести* граждан, о том, что некогда Дж.Ф.Кеннеди называл “политическим мужеством”. Совесть не может мириться с грязной политической практикой, которая оправдывается софизмами от целесообразности, с отклонениями от норм политической морали, проявлениями цинизма и аморализма на минном поле политики. Вместе с тем совесть не может согласиться с догматом, по которому политика всегда и везде заведомо квалифицируется как “грязное

дело” - это на руку пройдохам и лишь отвращает порядочных людей от исполнения их гражданского долга. Мы говорим не о вспыльчивости или брюзжании, а о подлинном негодовании как результате вдумчивых наблюдений и даже “аудиторской проверки” состояния нравов в этой ответственной и, вместе с тем, деликатной сфере человеческих отношений.

Совість інтуїтивна і являє собою творческу здатність людини. Вона знову і знову наказує йому зробити щось, суперечливе тому, що проповідується суспільством, до якого він належить, що виражено в волі більшості, тим самим заповнює “екзистенціальний вакуум” [25]. В застосуванні до політичної етики це означає бажання і здатність уникнути небезпек використання норм даної етики в апологетических цілях. Для цього політичній етиці доводиться скористатися ризикованим зброєю *самоїронії* не тільки по відношенню до живої політичної практики з усіма її плюсами і мінусами, але і навіть по відношенню до власними “нерушимими” правилами і нормами. Содействує катарсическому очищенню, така іронія допомагає позбутися від тягару морального догматизму і фанатизму, від пуризму і самодовільства. Іронія, йдуча рука об руку з невдоволенням, допомагає продвинути від “прийняття прийнятого” до нових горизонтів політичної свободи, до морального *ідеалу*.

Глава девятая

**ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭТИКИ
К ЭТИКЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА**

Что есть власть?

В чем заключается специфика политической деятельности? Чем обусловлена потребность в особой - прикладной - этике для регуляции этой деятельности? Кого, собственно говоря, надлежит считать агентом (актором, в терминах социологии) такой деятельности и каков его духовный облик? Что ищет он в столь рискованной сфере деятельности, что алчет обрести в ней?

Нет нужды вдаваться в затяжные споры по этим вопросам, взвешивать “про” и “контра”, которыми насыщены политические дебаты. Однако минимум представлений о власти нам необходим, чтобы понять специфику политической деятельности, а вместе с тем - назначение политической этики.

Власть - необычайно широкое понятие. Можно говорить о власти во всяком человеческом общении, о родительской власти, едва ли не самой первой ее форме, о диктате повседневного и политизированного языка и даже о властной энергетике пола (либидо), о власти художественных произведений над умами и чувствами людей и т.п. Можно определить власть в качестве *универсального аспекта человеческого бытия*, всеобщего человеческого начала. Как писал М.Фуко, существует “микрoфизика” власти, и она имеет всеобщий характер. По словам П.Рикера “когда кто-то действует, он воздействует на другого: есть исходное, сущностное неравенство власти. К тому же неравенство не только противостоит институтам, но и является их частью, поскольку институты структурируют иерархию. И это не порок их, а форма их функционирования: ведь все не могут властвовать одновременно” [26]. Нам следует ограничиться рассмотрением *политической власти*. Именно эта власть, согласно Веберу, опираясь на неравное распределение ответственности, образует “центральную проблему всего социального”.

Главное затруднение в понимании природы политической власти заключается в том, что по своему генезису (происхождению, истории), по своему назначению, функциям она не может быть определена однозначно, в каком-то одном ключе. Она основывается *и* на использовании *материальных ресурсов*, которыми не располагают в достаточном количестве подвластные, *и* на *физическом принуждении* или угрозе его применения, *и* на *духовном давлении* (суггестия, манипулирование). Принято говорить, что политическая власть есть опирающееся на силу (мощь) право распоряжаться людьми, заставляя их делать то, что желает носитель власти и что они в других условиях не стали бы делать. Но вместе с тем - таков парадокс власти - она основывается *и* на *добровольном повиновении* командам и установленным ею правилам поведения, которое чаще всего невозможно истолковать в духе известного “добровольного рабства” Этьена де ла Боэси или в духе “романтического рабства” тоталитарных режимов. Во многом политическая власть сочетается, а в чем-то и совпадает, с социальным управлением и самоуправлением -

необходимой функцией в интересах всех слоев и групп общества (всех, хотя и в разной степени). Х.Арендт рассматривает политическую власть как способность человека к взаимодействию, сущностно отличную от насилия. При этом власть не утрачивает своих свойств, отдавая предпочтение ненасильственным, диалогическим методам управления (а что касается самоуправления, то это просто власть над самим собой).

Как же быть? Определять власть как принуждение (и тогда, возможно, прощай этика!) или как влияние? Неужели придется прибегнуть к ответу, который асимметричен вопросу - к эквилибриуму, старинному “с одной стороны, нельзя не сознаться, а с другой - нельзя не признаться?” Увы, придется. Власть означает *силу, могущество*, способность навязывать свою волю вопреки сопротивлению подвластных, но, одновременно, она является и *авторитетным полномочием*. И в этом смысле власть, согласно М.Веберу, может быть по своему источнику традиционной, рационально-легитимной (правовой) и харизматической [27]. З.Бауман добавил сюда патримониальный источник власти - через веру в “светлое” будущее и партию, идущую по пути к нему и обладающую волей повести за собой.

В этом случае политическая власть - *лица* (политики, лидеры, вожди, отчасти госчиновники и т.п.), *группы* (партии, политические элиты, политический истеблишмент, группы давления и т.п.), *структуры* (государство и отдельные его звенья) - осуществляет свою волю не столько вопреки сопротивлению, сколько побуждая подвластных силой авторитета к действиям, которые оказываются способными изменить порядок вещей, повлиять на интересы людей, на социальные обстоятельства. В результате рационального обсуждения власть создает равновесие собственных мнений и волений с мнениями и волениями подвластных в ситуации известного единства интересов и подчиненной роли государства по отношению к обществу.

Нам импонирует такой исследовательский подход к политической власти, в котором ее понятие сущностно соотносится с ответственностью субъектов власти (упомянутые лица и группы), в первую очередь, *моральной ответственностью* [28]. По словам одного американского политолога, переработавшего формулу “свобода from” и “свобода to”, недостаточно рассуждать на злополучную тему “власть и мораль” (ее метафора - “власть над”); необходимо дополнить ее темой “мораль во власти” (ее метафора - “власть для”).

В *первом* случае, когда власть рассматривается как господство, обремененное насилием и пороками, с насилием неразлучно связанными, дискурс почти наверняка приводит к заключению о том, что “власть отвратительна, как руки брдобрея” (О.Мандельштам), а потому для человека порядочного путь во власть заказан: она либо притягивает к себе людей с порочными наклонностями, либо прививает эти наклонности пришедшим во власть (приходится согласиться с тем, что развращающий потенциал власти, видимо, даже сильнее, чем такой же потенциал богатства).

Во *втором* случае политическая жизнь человечества на протяжении веков не кажется исчерпанной лишь отношениями господства и подчинения, а государство не может быть вульгарно интерпретировано только как “аппарат насилия”. Политическая жизнь может рассматриваться как поле, где не только оказывают давление, но и влияют, налаживают общественный диалог, убеждают или разубеждают в чем-то. Власть предстает как способ обеспечения предпочтений, как вполне цивилизованный метод достижения общественного согласия, примирения противоречий и интересов. Как заметил Д.С.Лихачев, “насилие на государственном уровне - это чаще всего плод непрофессионального правителя”.

Данный случай доминирования характеризует политическую власть прежде всего в открытых демократических системах, в точках пересечения гражданского общества и общества политического (гибкая суперсистема “общества обществ”), когда командные импульсы поступают не только из государственных структур (где, кстати говоря, расщепляются собственно политические и административно-управленческие функции государства), но и со стороны институтов гражданского общества, менее склонного к отношениям господства и гегемонии, предпочитающего “мягкие” формы политического воздействия. Ю.Хабермас, Х.Арендт, П.Рикер используют понятие “общественное пространство” для обозначения сферы между государством и гражданским обществом. “Общественное пространство” находит выражение в публичных дискуссиях, феноменологии общественного мнения, способного рационализировать власть. Здесь мы имеем дело с рассредоточенной политической властью, которая считается с правами человека, властью, оснащенной прочной системой сдержек и противовесов, аппаратом контроля со стороны общественности (избирательные системы, органы массовой информации, независимый суд и т.п.). Но от такого случая нельзя отлучать и все другие известные нам типы *политической культуры*. В самом понятии “*культура*” подразумеваются цивилизованные начала (предположение о существовании политической контркультуры - интересный, но отдельный вопрос, который сейчас не затрагивается).

Везде, где образуется слаженный “социальный оркестр”, как бы его ни атрибутировать в формационных или цивилизационных терминах, где управляющие, властвующие, и управляемые, подвластные имеют общие интересы и ставят задачи социального партнерства, где они вступают в коммуникативные отношения, где не царит безумная “война всех против всех” (в учении Гобса “естественное состояние”), там политическая власть не предстает как оппозиция “брутальность-моральность”. Власть, по англо-американскому “Словарю политического анализа”, это “влияние, проистекающее из признания другими, по их собственной воле, и дающее право вводить нормативные установления или отдавать распоряжения и рассчитывать на повиновение”, поэтому легитимное “авторитарно-властное отношение является субъективным, психологическим и моральным по своему характеру” [29].

Заметим, что употребляя термин “политическая власть”, мы рискуем излишне ее персонифицировать, а это, в свою очередь, грозит различными заблуждениями, когда властные функции увязываются с личностными мотивами, индивидуальными добродетелями и пороками. Между тем, властью обладают государственные структуры, политические элиты, правящие группы, “двор”, кланы, а также - в наше время - и блок различных социальных сил (кроме рационально действующей бюрократии он включает все фракции разрастающегося среднего класса). В рамках такого широкого субъекта власти отдельные лица нередко оказываются неспособными серьезно повлиять на характер принимаемых политических решений, т.е. являются “безвластными”, пребывая внутри властных структур. В этом случае моральные квалификации должны применяться крайне осторожно и без помощи кода “добро - зло”.

Выше нам уже приходилось говорить о том, что открыто деспотичная или патримониальная власть сдерживалась в своих проявлениях, своем произволе. В роли ограничителя “безграничной” власти выступало удивительно хрупкое, на первый взгляд, образование - обычная нравственность, которая фиксировала, когда четко, когда расплывчато, обязанности власти перед подвластными: укреплять их миропонимание, удовлетворять их мессианские устремления, если таковые имелись, всеми силами обеспечивать общественный порядок, защиту от внешних угроз, выживание населения, а в ряде случаев не только выживание, но и благополучие. Все это и есть “власть для”, моральная ответственность власти .

Отказ от выполнения данных обязательств освобождал подвластных от необходимости добровольного подчинения, от исполнения властных повелений, а кое-где и побуждал их к прямому или косвенному, чаще - стихийному и неорганизованному противодействию “аморальной” власти с целью либо вернуть ее на стезю праведности, либо заменить другой - лишенная массовой поддержки “снизу” старая власть довольно быстро оказывалась уязвимой.

В упомянутом “Словаре” дается разъяснение понятия “влияние” как способности действующего лица в политике желательным для него самого образом воздействовать на поведение других, так как оно способно вызвать изменения (или воспрепятствовать нежелательным изменениям) в склонностях, мнениях, установках и убеждениях, а также непосредственно в поведении. Такая способность зависит от многих факторов: политических возможностей, имеющихся в распоряжении субъекта власти; характера и степени искомого влияния; от того, в какой области функционируют потенциальные объекты влияния; от конкурирующих попыток других действующих лиц влиять на тех же подвластных; степени повиновения, какой хотят добиться. Кстати, максимальная способность субъекта власти изменить поведение других редко используется в полном объеме ввиду издержек, которые приносит мобилизация всех возможностей. И, напротив, наиболее “полновластными” оказываются те субъекты власти, которые способны приспосабливаться к интересам, мотивам, традициям управляемых.

Формы влияния, характеризующиеся высоким уровнем давления, называются “принуждением”. Выражается оно в ряде способов - от запугивания и угрозы применить силу до собственно применения ее. Иногда принуждение называют “нелегитимным понуждением” [30].

Овладение миром

Оставим ненадолго многотрудную тему моральной ответственности власти для того, чтобы обсудить тесно связанный с нею вопрос о *мотивах политической активности*. Не решив этот нелегкий вопрос, нам будет трудно понять, как *возможность* использовать властные предназначения (т.е. подчинение одних социальных субъектов воле других) с помощью влияния на поведение подвластных и достижения общественного согласия способна стать *действительностью*.

Какую роль в этом превращении возможности в действительность играет сознание моральной ответственности как побудитель активности политика? Как может общественное благо превратиться в цель субъекта политической власти, цель его управленческих усилий, как власть может быть не желаннейшей добычей победителя политической схватки, а лишь средством (правда опасным, амбивалентным) достижения общественного блага - стабильности, порядка, социального динамизма и т.п. ?

Что побуждает множество желающих (“свято место пусто не бывает!”) добиваться успеха в политической игре? Чем манит к себе она, какими прочнейшими цепями приковывает к политике и очень долго не отпускает?

Достаточно ли сильные импульсы исходят от политической власти, чтобы человек не устоял от соблазна стяжать лавры успеха в политической борьбе, неизбежных схватках и интригах, чтобы безоглядно пустился в плавание по этому морю, рискуя добрым именем, репутацией, кошельком и даже самой жизнью?

А что вообще способно подвигнуть человека к деятельности по достижению успеха, неважно на каком именно поприще - политическом, предпринимательском, трудовом, культурном или ином? Вспомним, что для обоснования ответа на этот “метафизический” вопрос Макс Вебер ввел в социологию понятие “*картина мира*”. Различные “картины” отличают *отношение к миру*, который истолковывается под углом зрения определенной его *оценки*. Именно это и задает человеку соответствующий способ действия, манеру поведения.

Как мы уже говорили в Вводном разделе, Вебер показал, как человек, чтобы иметь возможность оценивать мир и затем каким-то способом отнестись к нему, вынужден дистанцироваться от “мира”, выйти за его пределы, отойти от него и отыскать точку опоры, дабы взглянуть на него со стороны. Человек должен возвыситься над прозой жизни, а затем, на основе того, что все-таки содержится в этом мире, однако никогда в нем не осуществляется сколь-нибудь полно, организовать процедуру познания и оценивания мира, осознания своего места в нем.

Чаще всего оценка бывает критичной (“мир во зле лежит”), в форме морального негодования по поводу царящих в нем нравов и заведенных порядков. Так обнаруживается пропасть между человеком и миром. А вместе с этим - раскол между публичной и частной жизнью. С высот нравственного идеала человек оценивает грешную землю и с прискорбием обнаруживает, что события в этой юдоли печали совершаются не так, “как должно”.

Итак, с позиций идеалов, “проектов” или “замыслов бытия”, “истинной жизни”, “подлинной сущности” человека и т.п. создается более или менее согласованная мировоззренческая система координат, иерархируются ценности и - обретается “картина мира”, если угодно - хронотоп (М.М.Бахтин). Она представляет собой известное единство когнитивных и нормативных компонентов. В принципе, мы имеем дело с логикой развития монотеистических религий.

Как нам уже известно, М.Вебер выделяет в этой связи три генеральные “картины мира” и, соответственно, три преобладающих способа отношения к миру, которые предлагают в рамках своих культур определенную направленность жизнедеятельности, вектор социального действия. *Первый* способ сопрягается с *конфуцианством и даосизмом*. Его можно определить как *приспособление к миру*. *Второй* способ присущ *индуистскому и буддистскому* типам религиозно-философских воззрений и умонастроений. Его следует охарактеризовать как *бегство от мира*. И, наконец, *третий* способ воплощен в *иудаистском и христианском* типах воззрений и его можно определить как *освоение мира*. Позднее этот подход получил и признание, и клишированное выражение в социологии, когда обсуждались специфика иудео-христианского воззрения, установка на технологическую экспансию, которая привела впоследствии к глубокому и глобальному экологическому кризису.

При сильном желании во всех трех “картинах мира” и способах отношения к миру можно, разумеется, отыскать место для понятия “успех” - вполне возможны выдающиеся достижения в области как приспособления к миру, так и в бегстве от него. Успех в этом случае будет означать лишь радикализацию фундаментальной установки, не более того.

Но уходя от казуистики, мы решили выше, что *ориентация на успех* в ядре системы этических ценностей - как широкое явление, как архетип соответствующих культур - возможна лишь в рамках третьей “картины мира”, в связи с установкой на *освоение мира*. Именно здесь активистская ориентация и господство над природой (внешней и собственной) оказываются неразлучными с достижительной установкой. Этически приемлем, более того, почитаем тот успех, который обусловлен *достижениями* (производственного, технологического, организационного, культурного характера), добытыми без нарушений определенных “правил игры”, норм “честной конкуренции”. А как иначе может быть реализован порыв к успеху в овладении миром, как не через достижения?! И может ли осуществляться подобный экспансионизм вне определенного порядка, который непременно предполагает сочетание индивидуалистических устремлений на успех с интересами целого,

выраженного в нормах морали, правилах конкурентно-корпоративной деятельности?!

Тот, кто подумал бы, будто вне иудео-христианской достигательной цивилизации вообще не существовало установки на успех, тот расписался бы в абсолютном незнании истории цивилизаций. Совершенно прав видный историк, когда утверждает: “В каждом обществе свои пути удовлетворения личного честолюбия людей, свои типы преуспевания” [31].

Собственно говоря, и в границах европейской цивилизации существовали значительные различия между пониманием успеха в традиционных социумах и социуме современном. Микрокосмогенному типу цивилизации присущи рутинные методы производства, натуральное хозяйство, локальные социальные связи, социальные структуры с едва заметными горизонтальными и тем более вертикальными перемещениями. Это были жизнеспособные общества с социокультурным гомеостазом, деспотией наследуемого опыта, освященного обычаями, раз и навсегда установленными системами социальных ролей, сбалансированностью желаний и нормативно-культурных образцов. В них человек пребывал в состоянии самоудовлетворения. Воспринимая условия своего существования как собственные, он почти не стремится их преобразовать, улучшить или обновить. Он крепко держится за традицию и противостоит любым инновациям. Ориентация на успех в таких “застывших” социумах не в чести. Она представляется неестественной, чужаковой, а в ряде случаев - аморальной.

И только некоторые слои данных социумов смогли предложить собственные модели успеха и определенным образом соотнести их с этикой. В истории культуры они оказались связанными с идеей соревновательности. Так, например, наиболее продвинутыми в этом направлении культурами (а лучше сказать - субкультурами) были аристократические этосы (западно-европейский средневековый, японский самурайский, классический гомеровский, византийский и др.).

Всё изменилось кардинальным образом в рамках индустриально-урбанистической цивилизации. Саморазвивающаяся экономика, использование научных технологий позволили разорвать узы по преимуществу циклического развития, сменив его на поступательное. В такой цивилизации происходит гомогенизация общественного сознания, снижение межгрупповых различий, уменьшение социальных дистанций, что на порядок увеличивает вертикальную мобильность. Преобладает социокультурный контроль над поведением, основанный не просто на “подчинении”, а на “участии”, творческой инициативе автономного по отношению к группам индивида (об этом уже шла речь при характеристике политической культуры). В таком расширенном социальном пространстве возникли условия для меновой игры. И все это разблокировало продуктивную энергию общества, сняло запреты на дух состязательности, конкуренцию не только в экономике, но и политике. Ценности пользы, успеха определенным образом стали соотноситься со смысложизненными ценностями, с идеалами, со “сверхзадачами” человека; успех получил одобрение в качестве

призвания, жизненного предназначения. Возник плюрализм моделей освоения мира.

Чем прельщает смертных “хождение во власть”?

Вернемся к вопросу о мотивации политической активности. Что же побуждает человека ввязываться в изнурительную борьбу за политический успех?

Очевидно, политический успех сулит какие-то *материальные блага*. От *корыстолюбивого мотива* в нашем анализе никак не отмахнуться (хотя и не следует смешивать его с честным заработком политика-профессионала). В современной России, например, обретение этих благ было (и пока всё еще остается) непосредственно связано с системой должностных привилегий и “сопутствующих льгот”, которые власть щедрой рукой отмеривает сама себе. А дополнительно было связано - до недавнего времени - и с дефицитностью многих благ, что лишь во много раз увеличивало их привлекательность. Кроме того, давно установлено, что политический успех легко конвертируется и его ценность для политика заключается в возможности последующего размена на любые другие блага, в нефиксированных заранее пропорциях. Эта тенденция намного отчетливее выражена в условиях, когда общество структурируется по вертикали политической власти, которая дает возможность неограниченно распоряжаться собственностью и даже культурными ценностями общества. Корыстолюбивые соображения неплохо поддаются лицемерной маскировке: что хорошо для самого политика, то еще лучше для всей страны.

Имеются и веские возражения против концентрации внимания на корыстолюбивых страстях политика. Пути стяжания материальных благ, во-первых, многообразны и вряд ли путь борьбы за политический успех является самым протоптанным и легким. Во-вторых, есть и иной аргумент против гипертрофирования роли своекорыстных мотивов. В самом деле, разве неизвестны случаи, когда люди состоятельные домогаются политического успеха (должности, звания, популярности, возможности влиять на принятие решений и тому подобное) не только в расчете на умножение своего исходного к началу новой для них карьеры состояния, но, наоборот, проявляя готовность пожертвовать немалой толикой богатства ради успеха на новом поприще? Политическая история США изобилует подобными эпизодами, а совсем недавно и наша политическая сцена стала пополняться волонтерами из состоятельных кругов, готовых расстаться с частью достояния ради “хождения во власть”.

Ближе к основному мотиву политической активности - жажда славы, широкого признания, *честолюбивые побуждения*. Речь идет об успехе, ценность которого определяется признанием со стороны “значимых других” или же широких масс в целом. Такая мотивация политика на успех схожа с мотивацией на завоевание популярности какой-нибудь кинодивы или шоумена и вполне может обернуться “звездной болезнью”, опасность которой не всегда зависит от величины и яркости “звезды”, но всегда чревата зазнайством, самомнением, презрением к тем, кого обошли при восхождении вверх, у кого

мало шансов взобраться на вершины успеха и попасть, условно говоря, в заветную книгу рекордов Гиннеса. Политику такая страсть грозит предрасположенностью к “подвигам” Герострата, и возможно, подобному мотиву успеха в области политики противостоят весьма широко распространенные настроения ретретизма, акцентированной аполитичности, морально-психологический феномен “боязни успеха” в нашпигованной опасностями, “злокозненной” зоне политической деятельности [32].

Меньше всего нам хотелось бы очутиться в стане записных морализаторов-зануд, которые представляют честолюбие одномерно, не видя на “ярмарке тщеславия” позитивного начала. Не говоря уже о том, что в некоторых ситуациях стремление завоевать популярность (“погоня за рейтингом”) оказывается неременной частью профессиональной амуниции политика (в последние десятилетия не случайно возникла особая дисциплина - имиджиология и профессия имиджмейкеров). Стремление к популярности при должном контроле и самоконтроле не всегда сопровождается симптоматикой “звездной болезни”. Заболевание это хотя и весьма заразное, однако поддающееся лечению. Не напрасно “Словарь по этике” предлагает отличать тщеславие от честолюбия. Последнее способно обрести значение позитивного морального качества личности и известным образом оказывается связанным с ее честью и достоинством [33].

Это можно выразить иначе. У болезни честолюбия, как заметил писатель Л.Зорин, две стадии. “При первой - хочешь понравиться людям. Вторая - значительно тяжелее: понравиться хочешь себе самому” [34]. Политический журналист М.Шакина пишет, что “нечестолюбивому человеку в политике делать нечего, избегающему власти лучше уйти в благотворительность, неправительственные организации или в монастырь на духовный подвиг, ибо не имеющий власти не будет иметь и ответственности. Стремление к власти как к новому уровню возможностей имманентно для политика. Это нормально, это естественно и это предпочтительнее для общества, ибо странно было бы иметь дело с политиками, которым власть не нужна, а что нужно - непонятно. Политик, не стремящийся к власти, - это нонсенс в Зазеркалье...” [35].

Особую роль в мотивации на успех играют *амбиции*. Этой теме мы посвятили одну из специализированных рубрик журнала “Этика успеха”, опубликовав в ней главу “Об амбициях” из книги Р.Хубера “Американская идея успеха”.

Сильнейшим мотивом к власти и готовности вступить в борьбу за достижение политического успеха служит ориентация на своеобразный *политический гедонизм* (если угодно, на “Камасутру” политики), то есть желание и готовность *насладиться властью* над людьми и обстоятельствами. Наверное, такая ориентация чуть ли не в чистом виде воплощает установку “власти над”, “власти как самоценности” (причем *властолюбие*, как свидетельствует опыт, может прекрасно уживаться с честолюбием и корыстолюбием - эти мотивы не только легко совмещаются, но и способны усиливать друг друга).

Властолюбие в сфере политики необычайно быстро приводит к *этическому релятивизму*, от которого уже рукой подать до *цинизма и аморализма* в их крайних формах (“фашизоидность”). Это присуще и перворазрядному политику, и тому, кто едва успел вскарабкаться на начальную ступеньку властной иерархии; политику, который прямо-таки рвётся к демонстрации своих властных возможностей и связанных с ними регалий, и тому, кто действует за авансценой, в тиши кабинетов, выступая “серым кардиналом”, предпочитая втайне испытывать наслаждение своим властным могуществом, отдавая пальму первенства этому могуществу перед шумной и хлопотливой славой и популярностью тех, кто работает “на свету”.

В психологии и антропологии накопилось немало работ, тщательно анализирующих мотивацию к “власти над” и её проявления в виде деструктивного авторитаризма, садомазохизма, некрофилии и т.п. Следует назвать труды Э.Фромма, Х.Арендт, Э.Канетти, Т.Адорно, М.Хоркхаймера, Г.Маркузе, К.Лоренца, Э.Эриксона, М.Фуко и других. Русскоязычная литература “блещет” отсутствием подобных работ, за исключением, может быть, книг А.Авторханова “Технология власти”, М.Восленского “Номенклатура”, А.Зиновьева “Зияющие высоты”.

Политическим гедонизмом трудно насладиться вдоволь (“власть всласть”) и от него необычайно сложно отказаться добровольно, тем более, если политик пристрастился к нему, как к наркотику. Хотя богатая событиями история политической жизни дает впечатляющие примеры передачи власти другим в связи с пресыщением ею (Сулла, Диоклетиан, Карл V и другие), но примеры эти редки и, порождая удивление, скорее подтверждают силу правила, нежели ставят его под сомнение.

Гипотеза об “истинном политике”: осанна Веберу

Тема мотивации к политическому успеху, неудержимого стремления к власти не исчерпана. Тем более, если речь идет о нравственно-достойной мотивации, об *этике* политического успеха. Поэтому в наших рассуждениях о мотивах “хождения во власть” предстоит сделать следующий шаг, задав “роковые вопросы”: неужели кроме приобретательских побуждений, потуг тщеславия или даже умеренного честолюбия, тайного или явного упоения собственным властным величием в природе человека не существует таких мотивов стремления власти и пребывания в ней, которые можно было отнести к числу нравственных? Разве политическому гедонизму противостоит только сухой политический аскетизм? Неужели политический успех достигается лишь путем использования неблагоприятных средств, а всякий “благородный рыцарь” на ниве политики обречен на донкихотство? Разве политическая власть развращает в такой мере, что нет иных способов обезопасить политиков от разложения, кроме поспешной эвакуации их из мира политики? Неужели фигура, воплощающая известное единство власти и морали, может быть только трагической и никак нельзя не поскользнуться на натертом до блеска паркете политики и не впасть при этом во зло? И безусловно ли был прав мудрый

Хайям, когда изрек: “Власть над людьми - это насилие над собой”? А ведь только положительный ответ на эти вопросы позволит продолжить обсуждение проблем *этики политического успеха*.

Опираясь на социологическое наследие М.Вебера, предложим гипотезу, согласно которой на белом свете существуют политики “*истинные*” и политики лишь *отчасти таковые*, - не говоря уже о всевозможных проходимцах, людях порочных, рвущихся к политическому успеху, невзирая на “*какую-то там этику*”. Последние жаждут власти как самоценности и часто, слишком часто добиваются желанного, чтобы можно было бы надменно пройти мимо печально прославленных изречений о политике как “помойке”, “грязном деле” (в более мягкой форме - “политика - не самое нравственное занятие на свете”). Некоторые психологи всерьез уверяют, будто “политик - уже диагноз”, и там, где политика, неизбежен запах серы - предвестник визита из преисподней. Напомним: политическая этика имеет дело не только с политиками, но и со всеми, кто соприкасается с политикой. Неужели все они обречены выпачкаться “в политике” или запятнать себя уклонением от гражданского долга?

Кто они, “истинные” политики? Обратимся еще раз к докладу М.Вебера “Политика как призвание и профессия”. Выше мы вели речь об ориентации на успех и об установке на овладение миром. Этическая ориентация, побуждающая к деятельности “в миру”, как мы уже знаем, именуется Вебером “*внутримирской аскезой*” (в отличие от традиционной *внемирской* аскезы [36]). С помощью рационализации такая аскеза позволяет человеку справиться с иррациональностью мира, его расколом на дольний и горний, профанный и сакральный.

Мирская аскеза приводит человека к восприятию собственной активности как деятельности “ради Бога” (а вовсе не ради воздаяния за собственные труды), как *призвания и профессии* одновременно. В этом случае возможна только одна награда: этико-психологического свойства. И не в качестве платы за посмертное спасение, а как средство предугадывания, позволяющее обрести столь желанный ответ на вопрос вопросов: предопределен ли вопрошающий к спасению или нет. Воспринимая себя как орудие Всевышнего, такой аскет в *успешности* мирских дел обнаруживает несомненное свидетельство избранничества, что с удвоенной силой толкает его на новые и новые достижения, и всё так же не по утилитарным, не по меркантильным соображениям.

Для такого человека хозяйственная (трудовая и предпринимательская), политическая, научная, культурная деятельность обнаруживает свой смысл только в одном - бескорыстном и беззаветном *служении Делу*. При этом вопрос о том, что понимать под делом, как оно должно выглядеть - вопрос *веры* работника, предпринимателя, политика, ученого, художника. Они могут поставить себя на службу целям национальным или общечеловеческим, социальным или культурным, светским или религиозным, могут опираться на прогрессистское мировоззрение или же холодно отвергать этот вид веры. Но без чего нет призвания, умноженного на профессионализм, нет служения делу, так

это без какой-то веры вообще. “Иначе - и это совершенно правильно - проклятие ничтожества твари тяготеет и над самыми по видимости мощными политическими успехами” [37]. (Но призвание М.Вебер трактовал не мифологически, как назначение и, тем более, как предназначение человека, что грозило бы подорвать свободомыслие, критицизм, демократические ценности и подводило бы к “единомыслию” и государственному патернализму.)

Такой подход и позволил Веберу поставить важную проблему *этого* политики как “дела”, проблему отношения между *этикой и политикой*. Вебер задается с виду простым вопросом, к обсуждению которого мы уже приступили в Вводном разделе: “Одна и та же” ли этика имеет силу и для политической деятельности, и для любой другой и отвечает на него вопросом: “Но разве есть правда в том, что хоть какой-нибудь этикой в мире могли быть выдвинуты содержательно *тождественные* заповеди применительно к эротическим и деловым, семейным и служебным отношениям, отношениям к жене, зеленщице, сыну, конкуренту, другу, подсудимому? Разве для этических требований, предъявляемых к политике, должно быть действительно так безразлично, что она оперирует при помощи весьма специфического средства - власти, за которой стоит *насилие*?” [38].

Обратим внимание на то, что здесь говорится о *содержательной* стороне этики, но не о *формальной*, которая как раз тождественна во всех упомянутых случаях - от эротики до бизнеса, от семьи до политики. Лишь формально этика носит универсальный всеобщий характер долженствования. Не упустим из вида, что поборники содержательного универсализма акцентируют роль мотивов, точнее, благородных намерений. Но в политике совершенно не достаточно манифестировать субъективную честность, ссылаться на возвышенность конечных намерений, кристальную незамутненность мотивов, приверженность гиперморальности.

Этика абсолютов, этика “Нагорной проповеди” не склонны к компромиссам, они настроены ригористически - “всё или ничего!”. Они оперируют безусловным содержанием заповедей и наделяют смыслом и достоинством лишь поступки святого, праведника. Требование любви гласит: не противься злу насилием. Или знаменитое: “подставь другую щёку!”. Но этика, применяемая к политике (равно как и к предпринимательству), требует реализма, настаивает на ответственных решениях. Она, например, при определенных обстоятельствах позволяет нарушать долг правдивости (очевидная потребность уберечь тайны политики). И если этика абсолютов призывает действовать без оглядки на последствия, требует не задаваться вопросом о них, следуя лишь духу и букве повелений, то в политике подобные действия имели бы непоправимые - в течение десятилетий - последствия, при этом весь смысл правдивости, непротивления поменял бы свои ценностные значения с плюсов на минусы.

Все эти рассуждения М.Вебера - подчас, как нам кажется, излишне прямолинейные - подводят его к исключительно глубокому выводу: всякое этически ориентированное действие может подчиняться *двум фундаментально*

различным, непримиримо противоположным максима́м: оно может быть мотивировано либо “этикой убеждений”, либо “этикой ответственности” (возможно, подобное деление восходит к И.Канту, который отличал обязательства “этики справедливости” от обязательств “этики добродетели”). Не в том смысле, оговаривается мыслитель, будто этика убеждения оказалась тождественной безответственности, а этика ответственности - тождественной беспринципности; об этом, конечно, нет и речи!

Тем не менее, противоположность указанных максим не устраняется. Действующий по максиме этики убеждения поступает как должно, а относительно результата - если прибегнуть к языку религии - он уповает на Бога. Действующий же по максиме этики ответственности осознаёт, что именно ему и предстоит расплачиваться за последствия своей активности (“всякому воздастся по делам его”).

Вновь обратимся к Веберу. “Если последствия действия, вытекающего из чистого убеждения, окажутся скверными, то действующий считает ответственным за них не себя, а мир, глупость других людей или волю Бога, который создал их такими. Напротив, тот, кто исповедует этику ответственности, считается именно с этими заурядными человеческими недостатками, - он, как верно подметил Фихте, не имеет никакого права предполагать в них доброту и совершенство, но не в состоянии сваливать на других последствия своих поступков, коль скоро мог их предвидеть. Такой человек скажет: эти следствия вменяются моей деятельности. Исповедующий этику убеждения чувствует себя “ответственным” лишь за то, чтобы не гасло пламя чистого убеждения, например, пламя протеста против несправедливости социального порядка. Разжигать его снова и снова - вот цель его совершенно иррациональных с точки зрения возможного успеха поступков, которые могут и должны иметь ценность только как пример” [39].

Промежуточный комментарий

В своем докладе о политике Вебер не затрагивает проблему исторического размежевания двух этических максим, так как широкий круг вопросов был обсужден им в труде “Протестантская этика и дух капитализма”. Здесь важно подчеркнуть следующие моменты.

Во-первых, по существу этика ответственности наиболее полно воплощена в *этике гражданского общества* и в *рациональной морали*, приложенной, как мы помним, к автономным сферам общественной жизни - потому и сама мораль, достигнув зрелости, становится автономной. Такая мораль определяет значение поступков не только и не столько по их мотивам (убеждениям, идеям, от чего полностью никогда нельзя абстрагироваться), сколько в зависимости от последствий, к которым эти поступки приводят, прямо или косвенно, сразу или с течением времени. Такая мораль имеет, как мы отмечали выше, консеквенциональный характер.

Известно, что результаты наших действий в определенной мере зависят от случайных обстоятельств, не имеющих отношения к доброй или злой воле

действующего лица (вспоминается немецкая поговорка: “Камень, выпущенный из рук, принадлежит дьяволу”). Поэтому речь может идти не просто о результатах, а о таких результатах, что достигаются благодаря *исполнению* не декалога и этики любви, а *правил рациональной морали*, этики ответственности в рыночной или политической игре.

Поспешим напомнить, что происходит исполнение правил благодаря ...убеждению - *мотиву верности* этим правилам. Словом, не столько и контрастны максимы этики абсолютов и прикладной этики ответственности, как могло показаться на первый взгляд: они отличаются как историческим временем возникновения, так и сферами применения, не говоря о том, что могут определенным образом дополнять друг друга, особенно в чрезвычайных обстоятельствах.

Теперь, во-вторых, об *этике утилитаризма*, которая также имеет консеквенциональный характер. Принцип пользы может быть истолкован очень узко и примитивно: мол, думай только о своей выгоде, лелей лишь личный интерес (“в карман норови”), а на всё остальное можно преспокойно положить крест. Однако ценности пользы связаны с ценностями успешности и эффективности, то есть с этикой ответственности. Иногда полагают, будто соответствующие максимы этически индифферентны, так как могут обнаруживаться и в корыстолюбии, тщеславии, властолюбии, и в успешном предпринимательстве и успешной политике.

Конечно, если воспринимать мораль в романтическом ключе, исключительно как воплощение высокого нравственного идеала, если рассматривать ее как систему ценностей, призванную компенсировать заданную цивилизацией обособленность, отчужденность индивидов (забывая при этом, что цивилизация одновременно объединяет людей на всё более широкой основе, а в рыночной экономике связывает совершенно незнакомых людей, удовлетворяя их жизненные потребности, т.е. не учитывая, что цивилизация создает и механизмы преодоления отчуждения), тогда ей крайне неуютно в мире, где утилитарное сознание отсечено от морального раз и навсегда, где альтруизмом предписывается исполнение долга, невзирая ни на какие обстоятельства и ни на какие последствия, где одна из этик признаётся высшей, тогда как другая третируется за ее “второсортность”, за свойство быть якобы лишь не очень обязательным дополнением к морали заповедей, незыблемых поведенческих скрижалей.

Между тем, стремление к пользе, как показывает, например, современный отечественный исследователь Р.Г.Апресян, предполагает обращенность человека к реальности, заставляет его в процессе морального выбора учитывать обстоятельства, сложившийся порядок вещей. Мораль в этом случае апеллирует как к общепольности, преодолевая связанные с ней идеологемы (типа иллюзий Просвещения или “социалистической” подмены моральных императивов идеологическими), так и к такому партикуляризму интересов, который подавляет возможность своекорыстия и меркантилизма, не допуская

обесценивания частной пользы, не отрекаясь в целом от ориентированной на пользу социально-творческой деятельности предпринимателя и политика.

Развивая эту точку зрения, Р.Г.Апресян справедливо отмечает, что “общий интерес так или иначе всегда репрезентирован через различные частные интересы. Можно предположить, что социальный и культурный прогресс человечества проявляется в том, что частные интересы всё большего числа людей приближаются к общему интересу или совпадают с ним. Отнюдь не всякий экономически, утилитарно обоснованный интерес может быть оправдан нравственно. Но никакой нравственный поступок, сколь возвышенными мотивами он ни вдохновлялся, нельзя признать практическим, то есть поступком в собственном смысле слова, если он не утилитарен. Более того, этика пользы как социальная этика оказывается той подсистемой морали, посредством которой возвышенные нравственные мотивы оказываются адаптированными к “обыденной” социальной практике, посредством которой моральный идеал переводится, насколько это возможно, на язык общественных отношений” [40].

При этом, полагает тот же автор, максима “*стремись к успеху*” может быть истолкована как “*всё, что ведет к успеху, является добром*”. Поэтому, отклоняя такой поворот, уходя от дурной бесконечности идеи, будто “успех является средством достижения успеха”, надлежит держаться представлений об успехе как своего рода апробации усилий, отражающих не только личное достижение. Иначе говоря, необходимо говорить не об успехе, а именно об *этике успеха*. И тогда, добавим мы, этика пользы легко соединяется с этикой ответственности, профессиональным призванием, служением делу, и при этом не заменяет их, что было продемонстрировано Вебером на примере франклинской рациональной выкладки о полезности честности, где она сливается с “долженствованием честности” как императивом рациональной морали.

И еще один комментарий. Вебер прибегает к понятию “этос”, но довольно часто заменяет его на “этику”. Как мы уже говорили в Вводном разделе, обычно под этосом имеются в виду согласованные правила житейского поведения, его нормативные образцы и, одновременно, уклад, строй, стиль жизни сообществ. Но, видимо, этого не достаточно для понимания смысла категории этоса и способов ее использования.

В анализе этоса, как мы уже говорили, речь должна идти об усиленных, *сверхнормативных* требованиях в определенных видах социальной и культурной деятельности, о добровольном принятии таких требований, с помощью которых определенные практики возвышаются - пусть даже не очень значительно - над уровнем повседневности. В этом смысле мы вправе говорить о рыцарском или монашеском этосах в Средневековье. А в Новое время этосы оказываются связанными с некоторыми профессиями, где ориентации на деловой успех являются чуть ли не ведущими компонентами профессионализма, социальной ответственности специалистов.

Напомним, что, на наш взгляд, кроме социального мессианизма той или иной специализированной деятельности этос нацелен на выявление *границ власти* над людьми, которая возникает в ходе деятельности специалистов. Этос ориентирован не только на достижение успеха в определенном моральном контексте, но и на ограничение полноты власти над человеком, которой, например, располагает воспитатель над воспитанником (это, видимо, первое проявление власти в истории человечества). Речь идет и об ограничении власти ученого над людьми, политика над согражданами, врача над больными, менеджера над подчиненными, предпринимателя над наемными работниками, клиентами и потребителями.

Поэтому этосы предназначены изменить всю конфигурацию властных отношений и в современном обществе, высокопрофессиональном социуме. Им предстоит снять (или, по меньшей мере, снизить) зависимость одних лиц от других, преодолеть патерналистскую модель отношений между ними, открывая возможности для участия в политической власти людей, до сих пор лишенных доступа к ней.

Снова с Вебером и “истинным” политиком

В чем заключается стержневая идея веберовского доклада? Она представлена в его названии. *Нравственный мотив деятельности политика - добиваться успеха* (профессионал, как мы знаем, не может не ориентироваться на достижение успеха) и, в то же самое время, рассматривать свою деятельность как *служение Делу*, как ориентацию на успех Дела, без непосредственной установки на личный успех (духовное призвание человека).

Такой политически одаренный человек (иначе его не назвать, и речь должна идти именно о таком человеке, а не о всяком, кому пришло в голову попытаться счастья в политике, поиграть в политику, заняться политикой как интеллектуальной забавой) охвачен настоящей *страстью*; рожденный ею, он нацелен на существо дела, а не на побочные соображения корыстолюбия, тщеславия, властолюбия. И это не пышная риторика, а психологически выверенное описание мотивации “истинного” политика. Он преисполнен страстной самоотдачей делу. Им повелевает сила, схожая с прославленным даймоном Сократа. И потому-то столь неохотно покидает он политическую арену, когда к этому вынуждают обстоятельства. Значит, речь должна идти не только об особой рациональной политической этике, но и об *особом типе человека* (хomo политикус), для которого и скроена данная этика, о типе человека, верного своему призванию, неспособного предать *служение делу*.

Но призвание, служение делу необходимо четко отличать от служения *идеи*. В последнем случае личность, *во-первых*, предпочитает рассматривать себя (и другие личности) не в качестве самоцели, а лишь как средство реализации идеи, как строительный материал, ценность которого всецело определяется местом, ролью, пользой, эффективностью для реализации идеи. Такая личность, ощущая себя “наемником идеи” (Фихте), *во-вторых*, легко сворачивается духом цезаристского избранничества. А это позволяет ей без

особых затруднений духовного порядка релятивизировать и рациональную, и естественную мораль, без колебаний преступить и те, и другие запреты, трактуя их как “предрассудки человечности”. Это позволяет инструментально относиться не только к другому, но и к самому себе. И не по корыстным, тщеславным или властолюбивым мотивам, а ради блага ближних, счастья, содержание которого доподлинно известно благодетелю.

Вдохновленная служением идее личность, *в-третьих*, готова иезуитски оправдывать варварские, бесчеловечные средства достижения суперцели, то есть проекта, воплощающего идею. Она, *в-четвертых*, заражается фанатизмом, который делает ее слепой и глухой к резонам рассудка и голосу нравственных чувств, к пониманию *меры* в собственных деяниях.

Все это чуждо подлинному призванию, которое требовательно прежде всего к себе и великодушно к другим, не разрешает самоутверждения за чужой счет и ведает *счастьем самоотдачи*. Между тем, возведенная в абсолют вера *фанатика* морально развращает ничуть не меньше, нежели политика развращает бесконтрольная власть над людьми. “Для фаната, - писал Н.Бердяев, - не существует многообразного мира. Это человек, одержимый одним. У него беспощадное и злое отношение ко всему и всем, кроме одного. Именно эта идея фанатизирует душу. Есть единое, которое спасает, все остальное губит. Поэтому нужно целиком отдаться этому единому и беспощадно истреблять все остальное, весь множественный мир, грозящий гибелью... Верующий бескорыстный, идейный человек может быть изувером, совершать величайшие жестокости. Отдать себя без остатка Богу или идее, замещающей Бога, минуя человека, превратить человека в средство и орудие для славы Божьей или для реализации идеи, значит стать фанатиком - изувером и даже извергом... Фанатик знает лишь идею, но не знает человека, не знает человека и тогда, когда борется за идею человека. Но он не воспринимает и мира идей иных, чем его собственные, не способен войти в общение с идеей” [41]. Как здесь не припомнить желчный афоризм: революции готовят утописты, совершают фанатики, плодами же их пользуются негодяи.

Продолжая отступление от основных рассуждений, необходимо затронуть еще один важный вопрос: о соотношении *дела* и личностной *самореализации*. Они кажутся явлениями однопорядковыми, чуть ли не синонимичными. Через призвание мы стремимся артикулировать ценности политического успеха, совершив эту процедуру через некий “одухотворенный прагматизм”, “духовный капитал” (ведь надо иметь нечто, что можно было бы реализовать, а уже в ходе реализации преумножать накопленное), систему нравственных значений. Вот почему приходится увязывать ценность успеха не только с делом, но и с самореализацией человека.

Тем не менее, нельзя не признать существование известного конфликта между делом и самореализацией, скажем мягче, некоторой асимметрии в их соотношении. Человек отдает предпочтение либо делу, либо самореализации, налаживая прихотливое иерархическое отношение между ними. Но разве не свершается одно через другое?

Не совсем так. Допустим, художественная натура склонна предпочитать самореализацию, самовыражение, тогда как люди с практической жилкой чаще делают выбор в пользу служения делу. Соответственно, для достижения успеха в служении Делу необходима мобилизация морально-деловых качеств человека, тогда как для успеха в самореализации необходим весь человек, все его моральные качества. Служение делу, как и музам, не терпит суеты, однако понятие самореализации шире понятия дела.

Самореализация происходит как в деле, так и в досуговой деятельности, именно она ведет к самосовершенствованию, трансцендентности, ставит человека в ситуацию критики самого себя, вовлекает в наиболее сложное из всех искусств - искусство творения самого себя. И здесь, на этом поприще, не имеющем иных границ, кроме сроков отпущенной жизни, поприще стремления к успеху, для которого, кстати говоря, не подходят строгие критерии, а также методы сравнения Лица с Другими, предполагает верность правилам такого искусства. Эти правила не позволяют обмануть, “переиграть” самого себя, ибо ставкой служит не только дело, но и вся жизнь.

В этом смысле *всякий успех относителен*, так как призвание человека - стоит прислушаться к Марксу - заключается в абсолютном движении становления как самоцели, безотносительно к какому бы то ни было заранее установленному масштабу. Прав был американский философ Эрик Хоффер, когда говорил: “Насколько самопожертвование проще самореализации!”

Однако Вебер специально предупреждал против смешения страсти самоотдачи делу с революционной *возбужденностью* (очень точное слово, в отличие от клишированного у нас прежде “воодушевления”), которая напрочь отсекает человека от этики деловой ответственности. Приверженность такой этике позволяет отличить экстатичного дилетанта от политики или фаната от политики, о котором говорилось выше, от политика-профессионала.

Последний способен дистанцироваться от вещей и людей, с которыми имеет дело. Он соединяет жаркую страсть с холодной расчетливостью, трезвой деловитостью (политическое мышление, зоркость, дальновидность, ораторское мастерство, организаторские дарования, хитрость, нравственная мудрость и тому подобные свойства как политического лидера, так и, в какой-то степени, рядового политика). Ему должно быть присуще чувство современности. Это позволяет не упускать успех из поля зрения, не дает сделать его чем-то второстепенным, необязательным - “была бы чистая непорочность убеждений, благородная ярость, романтическая привязанность к возвышенным идеалам”. В этическом плане такое соединение страсти с трезвостью позволяет в оценке политика избежать абсолютизации его побуждений к активности либо ее результатов.

Если страсть отличает подлинного политика-профессионала от имитирующего политические чувства чиновника в системе политических институтов, политического чиновника, не признающего ничего сверх деловых “добродетелей”, то способность к холодному взвешиванию шансов отличает неподдельного политика-профессионала от дилетанта-революционера, не

способного обуздать свою страсть, если даже он заносчиво величает себя “профессиональным революционером”. Быть беззаветно преданным профессии не означает быть безрассудно преданным. Иначе удивительно легко сбиться с верного пути и проводить легкомысленную и даже преступную политику. За примерами не надо далеко ходить.

Заметим, что в условиях относительной доступности политической власти при “конкурентной” демократии, власть скорее всего обретут вовсе не те, кто предан профессии, а те, кто рвется к власти, соблазненный ее подлинными или фальшивыми достоинствами. Само по себе подобное рвение не аморально, если не продиктовано мотивами корысти, тщеславия и властолюбия. Имеет смысл в этой связи поддержать парадоксальный тезис: “власть лучше доверять тому, кто ею хотя бы отчасти тяготится” [42], в котором перефразирована идея Лао-цзы о том, что страну можно отдать только тому, кто не хочет власти над ней.

О прегрешениях морализаторства

Не впадает ли Вебер в прегрешение морализаторства, предлагая столь высокий стандарт подлинности политика (агиографический концепт власти)? Не угрожает ли ему идеализация политической деятельности - этого вполне земного, пожалуй, слишком земного дела? Где и кто углядел на политической авансцене деятеля, хотя бы отчасти соответствующего выдвигаемому стандарту? Не в заоблачной ли политике витает классик социологии, отыскивая своего героя? Разве не святого он предлагает возвести в сан подлинного политика?

Вебера реабилитируют его собственные предупреждения. Он пишет, что “политик ежедневно и ежечасно должен одолевать в себе совершенно тривиального, слишком “человеческого” врага: обыкновеннейшее *тщеславие*, смертного врага всякой самоотдачи делу и всякой дистанции, что в данном случае значит: дистанции по отношению к самому себе”.

Вебер отмечает, что тщеславие - свойство весьма распространенное, и от него не свободен практически никто. Так, например в академических и ученых кругах это, по мнению Вебера, - род профессионального заболевания. Однако если для ученого данное свойство, как бы рельефно оно ни проявлялось, относительно безобидно, поскольку, как правило, не является помехой научному предприятию, то совсем иное дело с политиком.

“Он, - подчеркивает Вебер, - трудится со стремлением к *власти* как необходимому средству. Поэтому “инстинкт власти”, как это обычно называют, действительно относится к нормальным качествам политика. Грех против святого духа его призвания начинается там, где стремление к власти становится *неделовым*, предметом сугубо личного самоопьянения, вместо того, чтобы служить исключительно “делу”. Ибо в конечном счете в сфере политики есть лишь два рода смертных грехов: уход от существа дела и - что часто, но не всегда то же самое - безответственность”.

Вебер полагает, что тщеславие, “потребность по возможности часто самому появляться на переднем плане, сильнее всего вводит политика в

искушение совершить один из этих грехов или оба сразу. Чем больше вынужден демагог считаться с “эффектом”, тем больше для него именно поэтому опасность стать фигляром или не принимать всерьез ответственности за последствия своих действий и интересоваться лишь произведенным “впечатлением”.

Недальновидность тщеславного политика, отмечает автор, “навязывает ему стремление к блестящей видимости власти, а не к действительной власти, а его безответственность ведет к наслаждению властью как таковой, вне содержательной цели. Ибо хотя, точнее, именно *потому*, что власть есть необходимое средство, а стремление к власти есть поэтому одна из движущих сил всякой политики, нет более пагубного искажения политической силы, чем бахвальство выскочки властью и тщеславное самолюбование чувством власти, вообще всякое поклонение власти только как таковой... Внезапные внутренние катастрофы типичных носителей подобного убеждения показали нам: какая внутренняя слабость и бессилие скрываются за столь хвастливым, но совершенно пустым жестом. Это - продукт в высшей степени жалкого и поверхностного чванства в отношении *смысла* человеческой деятельности, каковое полностью чужеродно знанию о трагизме, с которым в действительности сплетены все деяния, и в особенности - деяния политические”.

Переходя к выводам, Вебер, во-первых, говорит о “рутинизации веры” в мирском, десакрализованном обществе, где профессиональный долг принимает экзистенциальную форму, а вертикаль призвания сменяется горизонталью этического контроля. Во-вторых, Вебер называет основным фактом всей истории то, “что конечный результат политической деятельности часто, нет, пожалуй, даже регулярно оказывался в совершенно неадекватном, часто прямо-таки парадоксальном отношении к ее изначальному смыслу. Но если деятельность должна иметь внутреннюю опору, нельзя, чтобы этот смысл - служение *делу* - отсутствовал” [43].

На основании этических парадоксов политики Вебер приходит к выводу о том, что кто ищет спасения своей души и других душ, тот ищет его не на пути политики, которая имеет совершенно другие задачи. Это не означает, что политик всегда действует только в духе этики ответственности - ведь он подлинный человек призвания, и поэтому этика убеждений и этика ответственности не абсолютные противоположности, но взаимодополнения.

Свои рассуждения о подлинном политике Вебер заканчивает следующим пассажем: “Лишь тот, кто уверен, что он не дрогнет, если, с его точки зрения, мир окажется слишком глуп или слишком подл для того, что он хочет ему предложить; лишь тот, кто вопреки всему способен сказать “и все-таки!”, - лишь тот имеет “профессиональное призвание” к политике” [44].

Платон, Понпер и другие

Рассуждения о “подлинном” политике, о нравственном характере мотивов его активности подводят нас к еще одной этико-политологической проблеме.

Она может быть представлена как “перекличка веков”: яростный спор английского философа Карла Поппера ни с кем иным, как с самим Платоном.

Многим известно, что в центр политологических штудий великого грека был поставлен проблемный вопрос: “Кто должен править в государстве?”. Не приходится доказывать, сколь важен ответ на этот вопрос для политической этики, как бы мы ни трактовали последнюю. Ведь кто рискнул однажды озадачить себя с виду таким простодушным, но на деле необычайно каверзным вопросом, тот просто обречен дать совершенно ясный ответ: у руля государственного управления, от которого так сильно зависят судьбы множества людей, должны быть поставлены не волонтеры (“дай порулить!”), а лучшие люди страны (города, области), мудрейшие, сведущие в многотрудном искусстве управления, честнейшие, наконец. Им предстоит на высоком профессиональном уровне решать политические вопросы и в то же время насыщать всю сферу управления государством нравственным потенциалом. А как иначе можно ответить на подобный вопрос: ведь не худшие же, не глупейшие, не профаны?

Обратимся к аналогии. Спрашивается, например, кому можно поручить воспитание детей, всего молодого поколения - разве не тем же лучшим, мудрейшим, компетентным, сведущим? А кому можно доверить здоровье человека или юридическую защиту его прав и интересов? Кому имеет смысл выдать пропуск в науку - не тем ли, кто выдержал придирчивый тест на интеллектуальную честность и проявил непоколебимую преданность поиску истины, ни на йоту не отступая с этого добродетельного поистине “царского пути”?

Но вот вопрос совсем иного рода: где раздобыть для этого требуемое количество прекрасных, бескорыстных, честнейших и сведущих людей? В каких парниках их вырастить? Да и как произвести отбор, по каким правилам и критериям? И кому можно рискнуть доверить право на такую селекцию? А куда - не менее любопытно было бы знать - подевать тех, кто по тем или иным причинам не смог пройти отбор? Какие, спрашивается, виды деятельности можно им доверить в нашем высокопрофессионализированном мире, когда практически всякая профессиональная деятельность дает искушающую власть над людьми? А может быть, в таком запутанном мире проще и лучше пойти по пути воздержания от подобных ведущих в никуда вопросов?

Поппер начинает дискуссию с того, что указывает на скрытое допущение в платоновских рассуждениях: политическая власть суверенна практически в такой мере, что принципиально не подлежит контролю “снизу”, не может быть подконтрольной со стороны тех, над кем простирается власть политиков. Если согласиться с подобным допущением, тогда, естественно, нет более животрепещущего вопроса, нежели вопрос о достоинстве держателей власти. Они должны быть столь безупречными с точки зрения профессиональной подготовленности и нравственной порядочности, чтобы можно было быть спокойными за судьбы государства, за благополучие общества безо всякого

контроля - никакие силы и соблазны не собьют правителей со стези добродетели!

Подобная концепция неконтролируемой политической власти, по мнению Поппера, просто нереалистична, но не потому, что всяк, кто взялся бы отыскать добродетельных политиков, оказался бы в малопочтенном положении карася-идеалиста, а потому, что никогда не существовало неконтролируемой политической власти: даже самый могущественный тиран зависит от своей секретной полиции, от своих приспешников и помощников, а править он может, лишь ловко используя различные группировки сил, постоянно лавируя между ними. Поппер считает просто безумием основывать наши политические действия на слабой надежде отыскать превосходных или хотя бы компетентных правителей. Опыт свидетельствует, что правители редко поднимались над средним уровнем в интеллектуальном и тем более нравственном отношении.

Теория демократического управления общественными делами основывается на решительном отклонении парадоксального вопроса “Кто должен править?”. Она опирается не на учение о доброте и справедливости правителей или правящего большинства, а на принятие тезиса о “низости тирании”. Более того, “демократия” - всего лишь краткое обозначение правительства, от которого мы можем избавиться без кровопролития, например, путем всеобщих выборов. Гарантами такой возможности являются, во-первых, общественно-политические институты и, во-вторых, общественные традиции (связующее звено между личностями и институтами). “Даже плохая демократическая политика предпочтительнее политики тирана - пусть даже самого мудрого и великодушного” [45]. Акцент следует делать не на выборах естественных лидеров и обучении их руководству, вообще не на личности, а на организации безличностных институтов контроля над властью и противовесов ей. Именно это и обеспечит, с одной стороны, эффективность, успешность демократического правления, с другой - сделает власть этически оправданной, так как она не только станет служить гражданам, но обеспечит их свободу, защищая справедливость и равноправие.

Но, размышляет Поппер, было бы ошибочно противопоставлять институционализм персонализму - любая долговременная политика опирается на институты, нагружая их, в частности, задачами по подбору будущих лидеров, а качество функционирования этих институтов всегда зависит и от вовлеченных в них людей. Проблему добродетелей, которую мы обсуждали в Вводном разделе, Поппер формулирует афористически: “Институты - как крепости: их надо хорошо спроектировать и заселить” [46].

Критика институтов демократии по “моральным соображениям”, за утрату некоторыми политиками нравственных идеалов, несправедлива. Если, отмечает автор, в нашей власти отправить в отставку морально недостойных политиков, то их критика должна перерасти в самокритику граждан демократического государства - ведь от них-то и зависит контроль над институтами, их регулирование и совершенствование, в том числе и методом критики.

В свою очередь, сократическое отождествление воспитательной и политической деятельности (править должны самые лучшие, а в конфуцианской этике - “идеальные мужи”, то есть интеллектуально честные, но вовсе не самые ученые или наиболее благородные - это либо авторитарное, либо аристократическое требование) может быть легко искажено в духе государственного контроля над нравственностью граждан, так как поиски честного политика столь же легко влекут за собой подавление “лучших” путем ограничения интеллектуальных свобод.

Воспитательная миссия может трактоваться и как пробуждение способности к самокритике (сократическое признание собственного незнания) и критического мышления как такового, и как формирование самодовольного обладателя истины, высоко вознесенного над людьми как по причине своей “мудрости”, так и по законам своей власти (платоновский философ-правитель). Он менее всего будет озадачен совершенствованием институтов демократии, а начнет ради убережения собственного привилегированного положения стремиться задержать общественно-политические перемены с помощью полутоталитарной власти.

Поппер приходит к *следующему заключению*: вряд ли можно придумать институты для выбора наиболее выдающихся лидеров, а потому надлежит ожидать наихудших лидеров, хотя, разумеется, надо стремиться к лучшим. Нельзя обременять воспитательные учреждения невыполнимой задачей отбора лучших для политической карьеры. Такая тенденция превращает систему образования в беговую дорожку, а курс обучения - в бег с препятствиями. Вместо того, чтобы поддерживать любовь к изучаемому предмету и исследованиям, молодежь поощряют учиться ради личной карьеры, вынуждают приобретать только те знания, которые помогут преодолеть препятствия на пути к карьерному восхождению. К тому же трудно найти человека, характер которого не испортила бы власть.

Поппер осторожно обходит моральные аспекты реализации демократической власти (вероятно, потому, что это не входит в задачу его исследования). Он проявляет склонность к явным упрощениям таких вопросов, как осуществление общественных предпочтений в условиях конкурентной демократии и политического плюрализма, достижение демократического консенсуса, оценка достоинств плебисцитарной демократии в современных обществах, разрешение противоречий между волей правящих меньшинств, отнюдь не всегда избранных и потому подлежащих замене (власть как привилегия бюрократии, финансовых групп, различных групп давления и тому подобное), и волей большинства. А ведь эти вопросы опять-таки подводят к интригующему платоновскому вопросу. И его, думается, не решить простой отсылкой к проблеме минимизации возможного ущерба от действий “худших” правителей.

Любопытно, что Поппер с явным сочувствием приводит слова венского поэта и критика К.Крауза: цель политики заключается в том, чтобы выбирать наименьшее зло и не скрывать этого [47]. Такая идея, подрывающая самую

возможность существования политической этики, находит, к слову сказать, одобрительный отклик в нашей литературе, когда уверяют, будто в политике нет и не может быть выбора между добром и злом. В этом случае действительно получает этическую санкцию малая социальная инженерия (предотвращение значительного вреда, наносимого антидемократическими политиками, преуспевшими в обладании властью, однако обреченными оставаться в рамках зла), но почти не санкционируются ценностные подходы к деятельности политиков.

Как справедливо заметил канадский политолог Фред Эйдлин, призыв Поппера к защите демократических институтов легко трансформируется в простую рационализацию институционального *status quo*, подпирającego некое специфическое распределение власти и привилегий. К тому же, гарантиями выживания демократии в большей мере выступают не институты, ограничивающие власть, а система народных привычек, убеждений и верований, узаконенные не “верхами”, а “низами” типы поведения в первичных группах [48]. Стало быть, вопрос “Кто должен править?” оказывается неотделимым от проблем легитимации, добровольного подчинения именно тем, кого граждане считают достойными правителями. Даже тогда, когда те предпринимают действия, не одобряемые большинством граждан (что называется запасом авторитета власти, доброжелательством граждан в отношении политиков). Поппер уклоняется от изучения моральных аспектов различных и подчас противоречивых источников легитимации, высказывая равнодушие к иррациональным сторонам политической жизни, ее менталитету, к тому, что он сам именуется “моральной волей индивидов”.

Опять о “лучших”

Постановка Платоном вопроса о лучших, которым он разрешал - ради пользы подвластных - прибегнуть ко лжи, морально релятивированным поступкам, не лишена смысла, правда, совсем в другом отношении. Платоновская идея связана с античным идеалом прямой, непосредственной демократии, с “горизонтальным измерением политики”. В эпоху “первоначального накопления демократии” ее вертикальное измерение, иерархизация были еще незначительными, малосущественными. Американский политолог Джованни Сартори замечает по этому поводу, что сравнивать вертикальное измерение полисной демократии с подобным измерением представительной демократии национального масштаба - всё равно, что сравнивать венецианскую колокольню с Эверестом.

На наш взгляд, Сартори неправ, утверждая, что представительная демократия была создана “без ценностной опоры”. В этом случае непосредственная демократия просто невозможна. Он считает, что *представительная демократия остается без идеалов*, и хуже всего то, что в идеалах современных обществ она легко обнаруживает идеалы ей *враждебные* [49]. Такое суждение нам представляется излишне категоричным.

Прислушаемся к доводам сторон. Конечно, не может быть сомнений относительно справедливости упреков в адрес апологетической литературы, которая изображает представительную демократию столь великой и непорочной политической системой, насколько это позволяет человеческая природа. Подобные претензии просто смехотворны, хотя энергия, с какой они высказываются, пока не обнаруживает признаков истощения. Без особого риска можно присоединиться к более мягкому суждению Р.Арона, согласно которому “режимы, обычно называемые демократическими, не могут не вызывать разочарования в силу своей прозаичности и от того, что их высшие добродетели негативны. Они прозаичны, ибо считаются с несовершенством человеческой природы. Они мирятся с тем, что власть обусловлена соперничеством групп и идей. Они стремятся ограничить реальную власть, поскольку убеждены, что заполучившие власть люди злоупотребляют ею. Есть у таких режимов и позитивные качества - уважение к конституционности, личным свободам; но все же наивысшие их добродетели скорее носят негативный характер. Осознаешь это лишь тогда, когда теряешь возможность пользоваться ими. Такие режимы препятствуют тому, чему не препятствуют все прочие” [50].

В чем заключается проблема “ценностной опоры”? Реальную политику “делает” политическая элита, а возврат к непосредственной демократии и античным идеалам, как того хотели бы некоторые левые, новые левые, “новые-новые” левые, просто невозможен в современном сложном и высокоструктурированном обществе (хотя важнейшие элементы прямой демократии включены в механизмы демократии представительной - принятие конституций как наиболее непосредственного выражения суверенной воли народа, практика плебисцитов, прямой характер “низовой” демократии, местного самоуправления и др.).

Но все же текущую и перспективную политику вершит именно политическая элита. Что собой представляет эта элита - с точки зрения ценностного подхода действительно “лучших” или “отборных” (согласно Вильфредо Парето), по-настоящему “избранных”, но не просто “выбранных”, если придерживаться буквального значения слова “элита”? Напрашивается возражение: разве элита не образуется с помощью волеизъявления большинства избирателей? Разве в современном политическом лексиконе слово “элита” не имеет этически нейтрального смысла (согласно Гарольду Лассуэллу), тождественного смыслу выражения “власть и привилегии имущие”? В таком случае, следовало бы откеститься от термина “элита” и пользоваться менее выразительным, но зато более точным термином “правлящий класс” или расплывчатым понятием “политический класс” (по Гаэтано Моска). Где уверенность, что большинство предпочтет у избирательных урн такое “правлящее меньшинство”, которое сплошь состоит из “лучших”? Или - на худой конец - что “лучшие” будут преобладать среди прошедших на должности как численно, так и по степени влияния на принятие политических решений?

Демократия, полагает Сартори, есть выборная полиархия, и вопрос о ее деонтике, нормативном значении заключается в уяснении фактической

ситуации: способна ли демократия достигать политико-управленческих успехов (скорее безличностных, нежели персональных), оправдывая возлагаемые на нее надежды, если она не несет в себе собственного ценностного воздействия? Автор считает, что политическая жизнь остается аксиологически невоспринятой и видит выход из создавшегося положения во включении в нее системы отбора избираемых меньшинств (демократия как селективная полиархия).

Если при непосредственной, прямой демократии *равенство* людей, граждан, избирателей представляет собой важнейшую ценность, то при вертикальной - место равенства на вершине системы политических ценностей занимает *свобода*. Здесь приходится считаться, говоря легкомысленно, с “правилом Монтескье”, исключая элементарное равенство по причине общей “недостойности”: лучше принимать политические решения меньшинством голосов, а не большинством - ведь все признают, что умных людей меньше, чем глупых!

Однако это не может служить основанием для линейного противопоставления свободы равенству. Более того, возникает иная проблема. Чем обеспечивается подотчетность властной политической элиты (понимаемой этически нейтрально) интеллектуальным, культурным - неполитическим элитам, подотчетность, при которой неразборчивая избирательная машина как бы уступает первенство ценностным критериям. Речь идет о поиске неоднородного равенства, равенства по меритократическим основаниям достоинства, заслуг, способностей [51]. В соответствии с аристотелевским принципом равенства равных “демократия должна представлять собой полиархию по основанию достоинств” [52], а осуществляться она может путем постоянного соотнесения политической элиты со своими референтными группами.

Хотя демократия и “должна представлять”, она еще не представляет, а лишь демонстрирует некоторые серьезные черты упадка, убывания авторитета (в том числе, благодаря неустойчивости моральных стандартов политиков), “кризиса управляемости” (по терминологии Клауса Оффе). Под непомерным давлением различных требований, усиливающихся популистских атак, “революции растущих ожиданий” представительная демократия не может на деле похвастаться стойкостью по отношению к этим требованиям, дальновидностью в процессе принятия политических решений и твердостью в их проведении в жизнь. “Тот, кто представляет, несет ответственность не только *перед* кем-то, но и за что-то. Можно в этом смысле сказать, что представительствование по самой своей сути складывается из двух составных элементов: отзывчивости (отклика) и самостоятельной ответственности” [53].

Как видим, Сартори возвращается к веберовской идее *особого типа моральной ответственности политиков*. И это обязывает его признать, что представительная, конкурентная демократия при всем ее несовершенстве просто не могла бы функционировать без такой ответственности, без “ценностных опор” - требований и оценок политической этики. Последняя, не исключено, сыграла в укреплении демократических институтов роль подобную

роли двойной бухгалтерии, созданной итальянским математиком XV века Лукой Пачоли, в становлении рыночной экономики.

Ведь политическая этика требовала самоограничения власти, определяла нормы деятельности в “мегамашине” взаимодействия различных властей и институтов. Она освящала правила конфликтного (но не конфронтационного) поведения лиц, групп, объединений, действий в парламенте и других учреждениях, размещенных в многомерном политико-правовом пространстве, “обслуживая”, если угодно, бесперебойность процесса, регулируя моральными средствами сложные отношения “лидеры - политократы - массы”. Она защищала права *меньшинств*, но не правящих, а, например, проигравшей части электората или фракций в парламенте).

Постепенно возникли корпус норм, регулирующих *права человека*, *депутатская этика* - парламентского и внепарламентского политического соперничества и сотрудничества, поведения электората, *этика партийной деятельности* (в условиях отсутствия партократии), нормы и правила *профессиональной* (юридической и журналистской) *этики*, в той мере, в какой они оказываются причастны к политической власти - “третьей” и “четвертой”.

Этические установления, развитые просветительской философией и этикой, были призваны ограждать человека от государственного деспотизма и произвола, поддерживать принципы безусловного предварительного доверия к каждому члену общества, разумного ограничения карательного насилия, защищать свободу мысли, поддерживать только ту политическую власть, которая признаёт верховенство закона, и все три ее ветви подчиняются тем же установлениям, которые они предписывают остальным - подвластным и подконтрольным.

В перечисленных завоеваниях морально-политического плана выразился юридический и нравственный гуманизм (вера, с одной стороны, в способность людей к самоконтролю, а с другой - в их природную доброту). Подобные воззрения были пропитаны изрядной долей утопизма, во многом оставались иллюзорными, но, тем не менее, способствовали становлению общедемократических ценностей и гуманизма, сохранив своё непреходящее значение для нашего времени [54].

Надо отметить, что политическая этика формировалась не на пустом месте - в виде некоей “пришлой” морали, кем-то устанавливаемых правил политической игры, - а в процессе переработки богатого духовного наследия. Таким исходным “материалом” скорее всего служили сословный аристократический, патрицианский и бюрократический этосы управления абсолютистскими монархиями, а также этика романтизма, сентиментализма, дендизма, но прежде всего - этика джентльменства. Истоки политической этики требуют специального рассмотрения, но мы ограничимся ссылкой на известную работу польского философа Марии Оссовской “Рыцарь и буржуа: исследования по истории морали” [55].

За “скромным”, “минимальным” государством сохранялась функция сбережения *этических основ общества* - так называемый органический

консерватизм. Он требовал выполнения особой миссии воспитателей народа, поддержки солидарности, связанной с общенациональными задачами, восходящими ещё к античности, к учению Платона и Аристотеля о роли правителей как носителей высокой нравственности.

Думается, что существование идеалов, враждебных демократии, естественно для плюралистического общества. Культура, созданная индустриально-урбанистической цивилизацией, по своим целям неизбежно дистанцируется от “машинной” цивилизации и не только от маркетизированного мира всеобщей полезности, но и от его политической сферы. Она была обязана “пинать и презирать” его структуры и ими обусловленные “свинцовые” нравы.

И собственно активистская политическая культура с присущей ей политической этикой не является продуктом простого приспособления культуры и этики к рыночным стихиям и политическим играм. Они не навязываются политической деятельности как нечто чуждое ей, но вместе с тем и не вытекают непосредственно из законов функционирования политики. Кокконы культуры и этики привносятся извне, но созревают, тем более дозревают и развиваются, в новой для них среде. Выше мы называли ее процессами “приложения”.

Эти обстоятельства позволяют политической культуре и политической этике избежать позиции адвоката политической практики, используя, в частности, упомянутый метод иронии. Своей критичностью они содействуют углублению демократических процессов, преодолению кризисных явлений в политической сфере.

И, наконец, заключительный тезис, практически не нуждающийся в каких-либо дополнительных обоснованиях: чтобы все участники политического процесса, включая временно вовлечённых в него, руководствовались в своём поведении нормами и ценностями этики политического успеха, необходима совокупность благоприятствующих этому условий. В их число входят зрелость демократических институтов и культуры политического участия, зрелость гражданского общества в целом с присущей ему социальной структурой, в которой доминирует склонный к социальному партнёрству “средний класс”. Здесь же и приверженность граждан логике неконфронтационного политического поведения, склонность к политическому диалогу, переговорам, компромиссам, достижению баланса интересов.

Дело не только в условиях. Они, по традиционным схемам диалектики, входят в причинную цепь событий, но не завершают ее. Следование нормам этики политического успеха является во всех случаях результатом самостоятельного, свободного нравственного выбора политиков и тех, кто по своей воле или вопреки ей оказался в орбите наполненной опасностями, соблазнами и противоречиями политической деятельности. Она, по словам одного американского политика, - поле, которое усыпано яйцами с динамитом. Это означает, что верность этическим нормам является безусловной заслугой тех, кто совершил ответственный и необычайно трудный выбор.

Глава десятая

РОССИЯ НА РУБЕЖЕ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ: ПАДЕНИЕ ЭТИКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО УСПЕХА И ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС ЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Этика политического успеха под огнем критики

В предыдущей главе мы рассмотрели некоторые дискуссии, в которых прямо или косвенно затрагивались вопросы природы и назначения этики политического успеха. Переходя от проблем из мировой истории к российской современности, обсудим ряд периферийных по отношению к основной теме, но очень важных вопросов.

Дело в том, что еще в прошлом столетии проявила себя *романтическая* (отчасти леволлиберальная и консервативно-охранительная) *критика* гражданского общества, правового государства, “конкурентной” демократии, норм и ценностей вытекающей из нее политической этики, моделей политического успеха. Критике надо воздать должное: ей удалось зафиксировать целую серию исключительно важных по своим последствиям расколов нравственной жизни общества, особенно сильно проявлявшихся в политической сфере. И в этом заключается непреходящее значение такой критики, что мы и отмечали в Вводном разделе.

Вместе с тем критика умудрилась проглядеть тот факт, что именно отвергаемые ею гражданское общество, правовое государство (а это, кстати говоря, не тождественные явления) и этика успеха содействовали развертыванию инициативы людей, “наказуемой” в традиционном социуме, избавлению их от различных зависимостей, расширяли умственный горизонт, утверждали пластичность человеческих характеров и разносторонность чувств. Романтическая критика явно грешила ригоризмом и морализаторством, открывая для себя с безнадежной суровостью печальную истину - “подлинная”, как ей казалось, нравственность долга, альтруизма, солидарности людей вопиющим образом не совпадала с новой, “рациональной”, моралью, которая ориентировала на свободу, пользу, частный интерес, жизненный и деловой (в том числе и политический) успех. “Ничто хорошее не приходило в мир, не произведя при этом соответствующего ему зла”, - писал К.Юнг [56].

Обрушиваясь - и вполне справедливо - на различные формы морального отчуждения, критика не замечала, что имеет дело лишь с одной - пусть и ярко выраженной - тенденцией нравственной жизни индустриальной цивилизации, которой противостоят другие тенденции. Правда, в XIX веке они еще не проявились с полной силой. В глаза бросалась ограниченность либерализма, который лишь мирился с демократией, воспринимал ее как наименьшее зло и, следовательно, соглашался с односторонне понимаемой этикой политики. Экономическая, политическая и интеллектуальная свободы на базе формального равенства, сопровождающегося оттеснением и выталкиванием

масс из сферы политической деятельности, оказались тщательно оберегаемой новой привилегией немногочисленных правящих групп, истеблишмента. На такой идейной основе и возникла реалистическая леворадикальная критика гражданского общества и этики политического успеха.

В рамках этой критики гражданское общество воспринималось как атрибут капиталистической формации, и критика, ничтоже сумняшеся, была готова пожертвовать этим обществом, отдав созданные им институты и модели политического успеха на “поток и разграбление”. Ему противопоставлялась общность в виде свободной ассоциации людей, созданной для удовлетворения потребностей, в первую голову - потребностей в другом человеке, общении с ним, любви. В XIX веке субъектами такой критики выступают не только консервативно-романтически настроенные группы “высшего общества”, утрачивающего свои привилегии, но и “низы” индустриально-урбанистической цивилизации, действительно униженные и оскорбленные ею, не имеющие возможности удовлетворить свои материальные и уже развившиеся духовные потребности, но в то же самое время отпавшие и от общественной нравственности, испытывающие неукротимую ненависть к частной собственности и политической демократии, настроенные на абстрактное отрицание всего мира культуры и цивилизации и одновременно способные - как мнится критике - в “последнем и решительном бою” духовно очиститься, возродиться. Соответственно *политический успех* допускается критикой лишь в лоне *такой* борьбы и *такого* очищения и мыслится как коллективное дело.

От этики романтизма к этике революционаризма

Нравы “низов”, отрицающих, по Марксу, личность человека, конституирующих в роли власти зависть, особая *этика революционаризма* становятся предметом идеализации, и именно они *противопоставляются* значительной (подавляющей) части норм и ценностей гражданского общества и его *политической этике*.

По поводу сознания пауперизированных слоев общества приведем слова современного философа Э.Ю.Соловьева: “Неправильно было бы утверждать, что Маркс и Энгельс потакали плебейскому эгалитаризму, зависти и мстительности. Речь скорее должна идти о том, что эти настроения оказывались как бы в “слепом пятне” марксистского идеологического анализа и молчаливо им легитимизировались. Для условий Западной Европы второй трети XIX века это была не такая страшная беда, поскольку сами раннепролетарские иллюзии находились в стадии естественного отмирания” [57]. Хотя, строго говоря, первые формы этики революционаризма, отрицающие принятые в обществе модели политического успеха, возникли еще на антифеодальной основе, чуть ли не пару столетий назад.

В политической культуре антибуржуазного революционаризма давал о себе знать особый сегмент, который развился на основе левокоммунистического экстремизма и утопизма. Он опирался на два непреложных посыла: во-первых, веру в бесконечные возможности разума, якобы способного разработать некий

мегапроект не с малой, а с беспредельной социальной инженерией, абстрактную модель идеального, совершенного общества, воплощающего финальный план истории, эсхатологическую перспективу (итог непреодоленных догм рационализма эпохи Просвещения и социологического детерминизма XVIII и XIX веков), во-вторых, беззаветную убежденность в том, что энергией и волей революционеров, безответственными импровизациями по захвату архимедовой точки опоры - государственной власти - можно опрокинуть исчерпавшую себя западную цивилизацию и непосредственно претворить этот благостный проект в реальный абстрактный объект.

Данный сегмент ориентирован на мировой пожар, сокрушение ценностей и норм экономической и политической этики, которые однозначно и непреклонно квалифицировались как эксплуататорские; он грешил прожектерскими представлениями о “новых ценностях” и способах их “внедрения” в массовое сознание. Эти представления не оторвались от ценностей аскетического общинного существования с его аллергическим неприятием мира цивилизации. Они импонировали разномастной люмпенской публике, неприкаянному аутсайдеру потрясенных социумов, “сироте истории”, ее падшим ангелам, “интеллектуально-нравственной голытьбе”, как выразился один наш историк, “человеку дня”, утратившему свою идентификацию в новых социальных структурах и потому склонному как к авантюризму и анархизму, так и холопству (антинищенская “воля к подчинению”).

К ним - социальным субъектам “паралакса” от общечеловеческих ценностей, относятся деклассированные элементы, пролетаризирующиеся ремесленники, различные “выбросы” из села, плохо адаптированные к жизненным условиям урбанистического существования, так называемые “гулящие люди”, оказавшиеся вне групповых связей и народной культуры, активно отрекающиеся от общественных уз, обитатели городских гетто, дискриминируемые меньшинства, которые во многом смирились со своим состоянием и вину за него охотно переложили на чужие плечи (отдельные лица, обстоятельства, злополучное “паршивое общество”). Существование этого “социального маргиналеза” послужило веским оправданием революционаризма, его непомерных мессианских притязаний, ложного понимания человеческой свободы и достоинства.

В этой среде парий цивилизации чаще всего и рождались яростные нападки на фундаментальные нормы порядочности и культуры политического участия, преданность которым определялась как проявление заклитой буржуазности. Значительную часть людей из этих слоев манил - в погоне за успехом - дух избранничества, позволяющий запросто преступать моральные запреты (“предрассудки человечности”) и в политической, и в частной жизни. Соблазнял он инструментальным отношением к людям (но “ради их же будущего счастья”, содержание которого было досконально известно революционным благодетелям). Их притягивало иезуитское оправдание самых варварских, бесчеловечных средств достижения общественных преобразований. Если негодующая совесть и была первотолчком к бунтарству, “левизне”, то

впоследствии эволюция бунтарства протекала без подобных толчков: подхлестывают не “проклятые вопросы” человеческого бытия, не тревожащий зов совести, не мотивы сострадания или милосердия, а всё более укореняющийся моральный релятивизм (“нравственно лишь то, что содействует успеху революции!”), злобная расчетливость, как иногда пишут, “пакт с дьяволом”, всепоглощающая ненависть (“огонь в умах”, по Ф.Достоевскому), которую даже с натяжкой не назовешь священной [58].

Критика обретает респектабельность

Критику иного типа с известной долей условности можно было бы определить как *умеренно-социалистическую*. Она отклоняет левозэкстремистские нападки на цивилизацию и не приемлет революционного мессианизма.

Подобная позиция восходит к идеям “отцов-основателей” социализма, которые утверждали неразлучность установок на социальную защищенность и на свободу деятельности - ни одна из них не должна быть воплощена за счет другой. Они небезосновательно полагали, что к социалистической идее люди приходят через свободный выбор и нравственное возрождение, а не под ошеломляющим воздействием каких-то особых социальных обстоятельств, чрезвычайных ситуаций. Они отвергали левокоммунистическую эгалитаристскую традицию с ее плебейским допущением якобинства как самого надежного и скорого способа достижения социального равенства - ценой множества человеческих жертв и снижения эффективности общественного производства. Поэтому-то “отцы-основатели” оберегали общественную нравственность с ее собственными законами развития, ставкой на совесть удачливых и успешных, филантропию, христианский гуманизм, утонченную культуру цивилизованности, социализацию личности, способной обуздать некультурные устремления, на глубокие перемены во всем образе жизни людей [59].

Данный тип критики опирается на анализ наступивших после полосы революционных бурь тектонических по масштабам сдвигов в капитализме (особенно во второй половине XX века), на фундаментальные перемены в рабочем классе, изменения в условиях его существования и борьбы.

Неортодоксальный тип критики исходит из отказа от веры в необходимость массированного применения социального насилия, революционных потрясений и катастроф в целях низвержения гражданского общества с его антагонизмом людей, индивидуализмом, конкуренцией, “пользопоклонничеством”, враждебностью некоторым видам духовного производства и прочими прелестями. Критику больше интересует борьба за завоевание народного представительства в органах государственной власти, гарантии социальной справедливости, формирование благоприятных условий для духовно-нравственного развития людей труда. Такое движение, с одной стороны, готово признать правила политической игры и этику успеха, с другой - не нуждается в создании особой, то ли революционной, то ли “пролетарской”,

нравственности с намерением использовать ее для ускорения замедленного хода истории. Критика делает ставку на демократические процессы, насыщение их гуманистическими мотивами, максимальное использование этики политического успеха, этики компромиссов и ненасилия.

Социализм при этом интерпретируется не как особый тип общественной организации (посткапитализм), для реализации которого требуются опять-таки не реформы, текущие и структурные, а насильственный захват власти, расчищение “строительной площадки”, чтобы изменить старое общество чуть ли не до полной неузнаваемости. Он истолковывается не как политика безоглядных социальных экспериментов, а как мировой исторический процесс, наиболее точно и полно выражающий тенденции перерастания индустриально-урбанистической цивилизации в постиндустриальную фазу, и, одновременно, как совокупность гуманистических ценностей, ориентирующих этот процесс перерастания, преобразования. Как мировой процесс социализм реализуется самыми разнообразными способами и в разных формах, ни одна из которых не вправе претендовать на звание “единственно верной”, но всегда *охраняет и развивает* такие достижения цивилизации, как рыночная экономика, общедемократические ценности, правовое государство, институты представительной демократии, социальное партнерство, а стало быть, и *этику политического успеха*, без которой все это оказывается недостижимым.

В той мере, в какой данное движение обретает черты осуществленной реальности, открывается вполне реальная возможность сблизить либеральные и демократические ценности, а в перспективе - создать причудливый, “плавающий” симбиоз идеалов свободы и социального равенства. Обе системы ценностей дополняют друг друга таким образом, что одновременно и ограничивают друг друга. Подобный симбиоз не допускает затяжных и резких кренов то в одну, то в другую сторону. Дальнейшее продвижение общества в направлении свободы тормозится ростом социальной напряженности, тогда как продвижение в сторону социального равенства сдерживается потребностями экономической эффективности и интеллектуальной свободы. По язвительному замечанию писателя В.Максимова, “когда человек выбирал в истории свободу, он обязательно имел хлеб. Когда выбирал хлеб, он терял и хлеб, и свободу” (перифраз известного выражения Б.Франклина - “те, кто в главном отказывается от свободы во имя временной безопасности, не заслуживают ни свободы, ни безопасности”).

Прежде социалисты, особенно ленинцы, резко, с пристрастием поносили либерализм. Доставалось при этом и этике политической деятельности с установками на успех, на эволюционные формы нравственной динамики, на развитие демократического процесса. Эта этика высмеивалась, ей приписывалось свойство демагогичности, предлагалось “использование” отдельных ее норм и правил в целях классовой борьбы.

Историческая ситуация постепенно менялась. И не только по причинам, изложенным выше. Ведь в XIX веке еще не приобрела веса кошмарная “четвертая идеология” во всех ее внешних модификациях: тоталитаризм,

шовинизм, национал-популизм, анархо-терроризм и тому подобное. Теперь же общественная нравственность была пропущена “сквозь строй шпицрутенов” XX века, подверглась невиданному релятивистскому натиску (О.Мандельштам называл XX век веком релятивизма с чудовищной способностью к перевоплощениям), столкнулась с ужасающими проявлениями политического и иного аморализма, перед которыми детскими шалостями выглядят попрание норм и правил политической этики в “спокойных” условиях.

Свобода предполагает - по определению - не топтание на месте, а постоянное продвижение к новым рубежам. Так меняется и этика гражданского общества, а вместе с ней - этика политического успеха. Будучи сама продуктом процессов демократизации общества, политическая этика моральным авторитетом своих ценностей и непреложностью норм содействует углублению самоуправленческих процессов. Эти ценности и нормы повышают степень цивилизованности политических отношений всех рангов, обеспечивают надежность прав человека. И в этом своем качестве они не противостоят ценностям культуры, а включаются в ее центральные, сокровенные структуры.

В постиндустриальную эру, скорее всего, не произойдет такого “преодоления” гражданского общества, а заодно с ним государственности, политики и политической этики (это - одна из несущих конструкций в здании утопического проекта), которое предполагает их уничтожение или же “снятие”. Вероятнее такое “преодоление”, которое сохранит различные формы несинтезируемой человеческой деятельности в новой конфигурации. Речь может идти об обновленном варианте гражданского общества (назовем его “поздним” или *постгражданским* обществом), его этики политического успеха как одной из основ глобальной цивилизации и *глобальной этики* единого человечества, действующего в социуме культуроцентристского типа.

Искоренение

Какой была судьба этики политического успеха у нас в России? Нарботанного политологией и историей, этикой и социологией материала, на который можно было бы смело положиться в поиске ответа на этот вопрос, всё еще, к сожалению, мало. Приходится использовать некоторые сравнительно изолированные фрагменты (идеи, гипотезы, предположительные суждения) и пытаться по возможности увязать их в нечто целое.

Ситуацию в России, стране второго - “запаздывающего”, “догоняющего” - эшелона капиталистического, модернизационного развития мы уже обсуждали в Вводном разделе, затрагивая вопрос о *своеобразии* модернизации в России, о так называемом “русском пути” - либо евразийском, симбиотическом, промежуточном, либо подтипе европейско-христианской цивилизации, который конкурирует с западным подтипом и в тоже время дополняет его, уравнивает сложнейший и многомерный организм саморазвития цивилизации. Здесь гражданское общество только-только начало дифференцироваться от сословного строя, а политическая этика - в условиях нарождающегося парламентаризма и демократических свобод - еще не успела

пустить корни в плохо взрыхленную для этой цели почву практической политической жизни, тем более, в почву народной жизни. Но были возможности для использования, по выражению одного из представителей немецкой политической теологии, “закона преимущества опоздавших” [60]. Россия не успела выпестовать гражданское общество, стать “обществом обществ”, не успела затвердить нормы политической этики или же имплантировать их.

С известной натяжкой, однако, можно говорить о возникновении прообразов успеха в “высокой” и “низовой” политике, успеха думского, земского, партийного, служебного, журналистского, адвокатского (в той мере, в какой эти профессии были увязаны с политической деятельностью, обслуживали ее, поставляли кадры). Такие модели успеха в контексте российской политической демократии, намеченные лишь “вчерне”, уже по многим параметрам отличались от моделей успеха в рамках сословного строя (военного, светского, дендистского, чиновнического и тому подобное), когда факторы происхождения (“порода”), связанные с ним факторы господства и даже гендерные факторы (вспомним молитву: “Господи, благодарю Тебя, что ты не создал меня женщиной!”), играли решающую роль в достижении политического успеха.

В целом для предреволюционной эпохи более характерным было сравнительно быстрое формирование моделей делового, предпринимательского успеха, на основе которого возникали новый истеблишмент, новые иерархии, способные - при благоприятных условиях - стать базой утверждающегося российского капитализма. Такие модели, прорывая плотную завесу косных моральных представлений и привычек, возникали на началах так же быстро формировавшихся предпринимательской этики и трудовой морали. Некоторые из новых представлений и норм имели и глубокие религиозные корни [61].

Эти модели успеха подпирались не только ранней индустриализацией, набравшей скорость урбанизацией страны, трудным ее национализмом. За данными моделями стояли масштабные культурные изменения. Довольно бойко шел процесс европеизации, который, кстати говоря, имел давние традиции в России и был связан с цивилизационной переориентацией русской культуры с ближневосточно-православных образцов на европеизированные стандарты. “Золотой”, как и “Серебряный век” нашей культуры, был сплошь европеизированным, включая и славянофильскую линию. Процессы становления современных форм индивидуализма (не рыцарского, не византийского), расщепление слитного традиционного социума и его синкретизированного ценностного мира, нарастающая рационализация всех сторон жизнедеятельности и мышления, появление и усиление позиций экономического, политического и мировоззренческого либерализма, укрепление устоев частной жизни, включая и сексуальную сферу, - все это способствовало европеизации страны, укреплению присущих ей культурных образцов и моделей делового и жизненного успеха.

И все же культурные перемены шли накатами и откатами, синусоидообразно, просвещение не добиралось до самого “дна”, до массовых

слоев, охватывая преимущественно закрытые и открытые элитарные группы российского общества (аристократия, лица интеллигентных профессий, средние городские слои, деловой мир). Такая неравномерность, известная поверхностность культурных изменений делали их непрочными, что задерживало модернизацию общества, препятствовало направлению разбуженной ею социальной энергии в русло цивилизованного развития. Это порождало культурные разломы в обществе, ожесточенную конфронтацию как между традиционалистскими и вестернизированными слоями населения, так и внутри них. В свою очередь, такие расколы побуждали к различного рода крайностям, выразившимся в интерпретациях успешности, определении ее на шкале жизненных ценностей, вечном шатании между ними, крутых переходах от одного состояния массового сознания к другому, от взрывов иррациональных страстей к глубокой социальной апатии, политической спячке. Подобные расколы и шатания больше, чем что-нибудь другое, препятствовали становлению “рациональной” морали, этики делового - предпринимательского, политического успеха.

Между тем революция (назовем мы ее “Великой”, “тотальной”, “контрреволюцией” или просто “переворотом” - сейчас не существенно) смела почти всё то, что имело хотя бы отдаленное отношение к этике политического успеха. Ее нестойкие элементы некоторое время по инерции еще продолжали влачить свое полупризрачное существование, но лишь в той мере, в какой в ситуации гражданской войны, политики “военного коммунизма”, бестоварного казарменного строя сохранялись демократические начала внутри правящей партии и в Советах. И всё это происходило - таков парадокс истории - на фоне невиданного пробуждения человеческого достоинства, духа революционной свободы в “низах”, в самой человеческой гуще. Определяя парадоксальность русской революции в целом, П.Сорокин называл ее гигантским разрушительным успехом и колоссальным конструктивным поражением.

Правда, элементы эти оказались разблокированными и получили дополнительный импульс к развитию в краткую пору цветения экономического либерализма. Когда стало развиваться гражданское общество, оно незамедлительно востребовало правового государства и политического плюрализма с его представительством неоднородных и соперничающих интересов различных социальных групп и политических сил (вместо ярма единения “истинных” сверхцелей и сверхценностей) и, стало быть, потребовало и этики политического успеха. Это рожденное алгоритмом развития, самой логикой обновляемой модели общественного устройства требование носило когерентный характер. Как известно, оно не было удовлетворено надлежащим образом и вскоре оказалось сравнительно легко отторгнутым. Остается лишь прибегнуть к вольным пируэтам социальных гипотез, оперируя сослагательным наклонением, оценивая степень вероятности демократического развития в стране с недостаточно развитыми демократическими институтами и традициями.

В частности, можно предположить, что замысел НЭПа заключался не только в “успешно начатом втирании очков всему свету” (как писал В.И. Ленин наркому внешней торговли Л.Б. Красину), но в придании демиургической роли “надстроечному обществу”: решение общенациональных задач в России не смогли довести до конца ни национальная буржуазия, ни ранние формы гражданского общества. Возможно, такая миссия предполагала использование нэпманского варианта гражданского общества в расчете на скорое его уничтожение - гражданское общество нужно было как средство, которое можно отбросить сразу же после выздоровления.

Упомянутые элементы политической этики удивительно быстро исчезали в рамках такого типа политической культуры, как нескончаемое “мобилизационное подданничество” (этот тип возник не на пустом месте, а на фундаменте патриархально-подданнической смешанной политической культуры старой России, где государственность истари выступала в качестве орудия и социальной защиты масс против фрондирующей аристократии или казалась таковой, как фактор этнонациогенеза, а поэтому здесь развился культ государственничества и патернализма), а политическая культура такого типа не испытывала ни малейшей нужды в какой бы то ни было политической этике. Исследователи обращают внимание на то, что осуществленный вариант мобилизационной модели модернизации был наиболее жестким, беспощадным, аморальным из всех возможных вариантов. Одновременно он был наименее эффективным, оплаченным невероятным перенапряжением сил, беспощадной эксплуатацией природных, материальных и людских ресурсов, ценой отката страны на самые низкие ступени индустриального развития и качества жизни (квазицивилизация).

Политический переворот на рубеже “роковых тридцатых”, завершив отчуждение государства от народа, уничтожив самоуправление, узурпировав экономический и иной суверенитет частнохозяйственной и частнодуховной деятельности, превратив всех независимых прежде работников в псевдохозяев, в поденщиков, сделал рожденные прежде элементы политической этики объектом ожесточенного преследования. Их клеймили в качестве пережитков “зловредного” политического плюрализма в партии и вне ее, как продукт нарочито усложненной организмической схемы (в отличие от восхваляемой упрощенной схемы механистического типа, любезно одаривающей “подданных” простыми решениями и ясными указаниями) общественного устройства, схемы, в которой признаются различные уровни целостности, множество интересов и воля, а детерминация исходит не только из экономики, но и от законов развития социальности, менталитета, национального духа и человеческой телесности. Им, этим элементам, отводилось место лишь на пресловутом “факультете ненужных вещей” (Ю. Домбровский) - рядом с правом, “абстрактным гуманизмом”, общечеловеческими ценностями. Поэтому вопрос о том, в каком виде существует политическая этика в тоталитарной системе власти, вряд ли может послужить темой для плодотворных дискуссий.

Братание власти и народа

В связи с отмеченным выше отчуждением властных структур от народа, надо признать правомерность иной точки зрения на данный вопрос. Следует различать как отчуждение народа от власти, так и восприятие отчуждения в политическом и моральном сознании народа, переживание им насилия над собой.

Именно этого последнего в толще массового сознания эпохи тоталитаризма не происходило: кроме “врагов” и “изменников” (они представляли всякий раз различные меньшинства - “нэпманы”, “кулаки”, “пособники троцкистов”, “агенты вражеских разведок”, “народы-изменники”, “безродные космополиты” и тому подобное), которыми страна прямо-таки кишела и по отношению к которым было “все дозволено” и не признавалось никаких конвенциональных запретов, еще существовало легендарное монолитное - ныне раскрошившееся и высмеянное, но прежде воспетое - морально-политическое единство народа и власти, народа и государства как орудия идеологического насилия, внеэкономического принуждения и личной зависимости.

Обязательная для всех без исключения политическая культура “мобилизационного подданничества” допускала, а затем и предполагала, с одной стороны, братание власти и народа на базе общей агрессивности, ненависти к “врагам”, нетерпимости к ним, жажды возмездия и, с другой стороны, чувство идеологического и морального превосходства, духовного избранничества - в сравнении с погрязшими в тине обыденщины всеми “не нашими”, которых мы “неизмеримо лучше”. Это сакрализованное, мистическое единство было воплощено в идентификации индивида с государственностью (“государство - это мы!”), в фанатичной преданности центральным и местным, отраслевым и территориальным “вождям”, разномастным и многограновым источникам политического давления, канонизированным мнениям. При тоталитаризме политическое сознание масс ожидает от этих “вождей” всемогущества и рассматривает их жизнедеятельность как воплощение политического успеха, “этика” которого - вне подозрений.

В свою очередь, политический идеал задавал нормативный образ “человека из народа”, преисполненного беспредельного энтузиазма и аскетической скромности в желаниях (о чём еще будет повод высказаться отдельно), и всякий иной образ человека расценивался как “пережиток проклятого прошлого”, подлежащий преодолению в процессе формирования “нового человека”. В строгих координатах такого образа и рассматривались модели делового и жизненного успеха.

Отношения власти и “человека из народа” строились на иерархических началах, когда долг беспрекословного исполнения всех указаний “по вертикали” оказывался ведущей добродетелью и обязательным условием достижения успеха: не было ничего неожиданного в том, что долг “по горизонтали” (перед семьей, промежуточными коллективами типа коллегиальных, соседских, профессиональных, цеховых сообществ и

объединений, перед партнерами по рыночным связям, потребительскими или любительскими ассоциациями) утрачивал значение, которым он располагал в традиционном или гражданском обществе, значение, которое он имел для достижения успеха. Естественно, что модель жизненного, делового, в том числе и собственно политического успеха, предполагала полное усвоение культуры “мобилизационного подданничества”, нормативных образцов, вытекающих из этой культуры “добродетелей” исполнительства. Так появилась “шариковщина”, которая прокладывала свои пути к успеху.

То сознание, которое не обнаруживало собственного отчуждения от власти и - от общественной нравственности, можно было бы назвать, заимствуя термин из гегелевской “Феноменологии духа”, *довольным сознанием*. Оно пока не являлось лицемерным, это лишь ложное сознание - лицемерным ему еще предстояло стать в брежневскую эпоху. В политико-моральном плане необходимо выделить устранение из такого сознания критичности по отношению к главным аспектам социальной практики и человеческого существования и привитие ему апологетического отношения к данной практике, узаконивающего тоталитарный, а затем и авторитарный режимы.

Как же решалась проблема зла в “лучшем из миров”? На потребу дня родилась пародийная “теодицея”. Не то, чтобы *довольному сознанию* надлежало совсем уж не замечать зла, не чувствовать его и не реагировать на него: нравственность, отказавшаяся от критики наличных нравов и порядков, была бы чем угодно, но только не нравственностью. Такому сознанию предстояло не непосредственное уничтожение нравственности, но нечто иное, хотя и очень похожее на уничтожение, - обнаружить зло в том и там, где и в чём его не было и в помине. Хотя это и выглядит абсурдом, но именно критический потенциал морали провозглашался качеством аморальным, подрывным, клеветническим.

Отсюда глухота к стремительно усиливающейся дегуманизации отношений между людьми, которая привела к вытравлению добросердечия, благодеяния, к поразительной готовности на скорую руку оправдать одобренную “авторитетами” бытовую, хозяйственную, деловую и особенно - политическую ложь, жестокость, обесценение человеческой жизни.

Надо было, далее, ограничить остроту стихийно возникающей критики. Надлежало внедрить правила строго дозированной гласности, не смеющей преступить обозначенных для нее границ - это ли не нормы политической этики? “Дозволенной” признавалась критика “некоторых недостатков” в действиях отдельных лиц и учреждений, но преимущественно неполитического профиля (домоуправов, волокит-чинуш и тому подобное, хотя такой критике искусственно придавалась политико-идеологическая направленность), тем более не переходящая в “сгущенное изображение теневых сторон нашей славной действительности”.

Вся социальная организация не только с ее признанными достижениями, которые порождали в ряде случаев опьяняющее ощущение счастья первопроехочества, но и с ее ужасными пороками, с деформированными до неузнаваемости ценностями, должна была уберечь свою привлекательность и

непогрешимость, сохранить респектабельность и моральную “святость”. Напротив, всякого рода сомнения в этом, сколь бы ничтожными они ни были, не упоминая уже о подлинном ропоте недовольства и жаре разоблачающей критики, предстояло заарканить и остудить, а если придется, то и осудить не только политико-административными, но и собственно моральными средствами.

Безгласность “общественного” мнения вызывала низменные чувства, разного рода предрассудки, укореняла всеобщий страх и прочие виды массовой истерии и моральной патологии. Довольность “тем, что есть”, а еще больше - “тем, что будет” в самом скором, гипнотически обольстительном, хотя и расплывчатом, будущем, расценивалась как сертификат, удостоверяющий общую благонадежность и политическую лояльность. Как сказал один наш поэт, “маска коммунизма оказалась привлекательнее лица ГУЛАГа”. Несчастно-счастливая Софья Петровна из одноименной повести Л.Чуковской являет собой одно из воплощений ложного морального сознания, чья трогательная искренность вне подозрений, как и несмущаемая ничем вера в собственную правоту, приверженность высшим принципам коммунистической морали. Наивность благородная и глупая, ложь вынужденная и добровольная, честность и бесчестность, бескорыстная романтика (“романтика рабов”, согласно С.Алексиевич) и своекорыстный цинизм сплелись в один запутанный клубок. Всё человеческое оказалось помещенным в нечеловеческие условия.

Не следует думать, будто тоталитаризм полностью разрушал, дезагрегировал любые защищающие или подавляющие человека горизонтальные структуры. Существовало немало свидетельств так называемого горизонтального, *народного тоталитаризма*, повседневного, мимоходного, ползучего насилия, не связанного напрямую с властными вертикальными структурами. Он как бы был разлит в воздухе, и каждый парализовал активность каждого или канализировал ее в определенное русло (все-таки удалось преуспеть в формировании “нового человека”), преобладало групповое мнение, насыщенное завистью, круговой порукой, инерциональностью, физическим и духовным насилием [62].

Наконец, есть еще один аспект братания власти с народом: в отношении своей профессионально-политической культуры, своей способности эффективно управлять страной власть была ничем не лучше для этого подготовлена, чем большинство ее “подвластных”. Она вовсе не стремилась добиваться политических успехов за счет собственного профессионализма, тем более - сопряженного с этикой.

“Люди, пришедшие к власти в России в октябре 1917 года, действительно были образованными, но они не были специалистами в тех областях, которыми взялись руководить. Это неизбежно вело к неудачам и провалам, особенно очевидным на фоне той критики, которой подвергали действия большевиков их оппоненты-профессионалы. “Самое образованное правительство в мире” оказалось перед выбором: либо уступить место оппонентам-специалистам, либо устранить их. Начали робко - с насильственной высылки за границу. Затем

построили лагеря. Наконец, началось массовое уничтожение, переросшее в геноцид. Так возникла диктатура непрофессионалов - власть людей, не имеющих ни интеллектуального, ни нравственного, ни профессионального права руководить страной и удерживавшихся у власти с помощью даже не насилия, а сверхнасилия... Такой способ удержания власти запустил механизм процесса, позже названного противоестественным отбором. На место высокоинтеллектуальных и высоконравственных специалистов - чаяновых, кондратьевых, вавиловых - вставляли менее интеллектуальные, менее нравственные и профессиональные люди. Их сменяли “кадры”, стоящие еще на ступеньку ниже, пока, наконец, не возник гомеостазис. Дальнейшие репрессии не влияли на нравственный, интеллектуальный и профессиональный уровень руководителей” [63].

О политизированной морали

В каких понятиях можно охарактеризовать официальную нравственность малоэффективной, но чрезвычайно устойчивой раннеиндустриальной квазицивилизации? Какие трансформации произошли с общественной нравственностью?

Эту цивилизацию нередко описывают в терминах формационного редукционизма как “социалистическую” или как “коммунистическую”, полагая эталоном для всего человечества, высшей степенью его нравственного прогресса. Мы считаем, что здесь возник своеобразный синтез тяготеющих друг к другу идеологии люмпенства, с одной стороны, “морали” и стереотипов поведения деморализованных слоев общества - с другой. Такой аксиологический Вавилон предпочтительнее обозначать как *этатизированный этос* (хотя, строго говоря, здесь фигурирует сверхэтатизм тоталитарной государственности - государство как таковое функционирует на основе закона, а не на основе революционного правосознания, идеологических свершений или эманации воли вождей - государственность оказалась всего лишь “приводным ремнем” от госпартократии, а понятие “этос” в данном случае означает продвинутость лишь в собственном восприятии, а не в общенациональном смысле).

Предполагалось с помощью такого этоса свершить радикальный “переворот” в общественной нравственности, чтобы быстрее и уже окончательно преодолеть моральное зло, выкорчевать самые глубокие корни людских пороков. Фактически же уничтожению подлежали общедемократические моральные ценности, процедуры этикета цивилизованного поведения, впитавшие в себя моральные значения, традиционная народная нравственность.

Между тем, на поверхность всплывало то, что притаилось как бы в ценностном “андеграунде”, возвращалось “людьми из подполья”, “всемирной чернью”, в маргинальных слоях населения. Случилось так, что нечто, казавшееся в начале революции лишь лихими перегибами, избытками преобразовательного пыла или ожесточения в кровопролитных схватках

политической борьбы, осмысливаемое в сущности как нелепое отклонение от общей положительной линии обновления духовно-нравственной жизни общества, стало затем массовой деформацией гуманистических и демократических традиций, основ народной духовной жизни, их откровенным поруганием. Не это ли обстоятельство породило пессимистическое резюме французского философа М.Мерло-Понти, сказавшего, что революции истинны как процессы, но ложны как режимы?

Нельзя не отметить факт взращивания в этатизированном этосе верований в избранничество класса, партии, государства. Мессианство, “земшарство” (а на деле - глубокий провинциализм), нетерпимость к инакочувствию, простодушный общественно-политический нарциссизм основываются на ничем не смущаемом правоверии, убежденности в монопольном владении моральной истиной, на фанфаронских оценках реальных - чаще всего довольно скромных или же доставшихся непомерно большой, просто кошмарной ценой - успехов, приближении народа чуть ли не к земле обетованной. Это провоцирует ощущение всемогущества и - того хуже - вседозволенности социального экспериментирования с природой как таковой, с природой социума, и при этом менее всего считаясь с многострадальной природой человека.

“Общественное мнение” сравнительно легко согласилось с политикой, не освященной нравственностью, не измеряемой с помощью соответствующих критериев, слишком часто - просто с безнравственной политикой. Не принималось во внимание и то, что сами нравственные подходы имеют огромное политическое значение, если рассматривать их не конъюнктурно, не сквозь призму хитросплетений аппаратных игр политиканов, а в исторических измерениях. Этатизированный этос признавал приоритет политики над моралью. Политика как бы парила над приземленной сферой обыденной нравственности, почиталась запредельной по отношению к ней, отрывалась от общечеловеческих ценностей (или же этим ценностям придавалось узкобытовое значение). Личности же полагалось быть дробью или крупой, оставаться беззащитной перед отчужденной властью, не прикрытой независимыми от власти институтами гражданского общества, промежуточными общностями, ассоциациями. Ей исподволь навязываются представления и нормы этатизированного этоса, а в этом узурпированном выборе остаются лишь руины того, что некогда было подлинным выбором в пользу человеческой солидарности и верности общественному долгу, за коллективность незаметно выдается отказ от персональной ответственности, подмена личных инициатив дисциплинарным усердием, а “общественный” долг оборачивается слепым подчинением авторитарному воздействию.

Восхождение на подиум успеха

С помощью этатизированного этоса - описанного нами лишь в самых общих чертах - в массовом сознании формировались соответствующие установки на успех “нового человека” (эренбургского “ускомчела”). Система просто не могла существовать без *активистских моделей успеха*, в которых

побуждающую и лимитирующую функции морали исполняли нормы революционаризма, а позднее - этики правящей партии, этики социального управления.

Идеология успеха (советские модели Мечты) персонифицировались в обширной галерее подвижников, героев подобного активизма. В ней встречались несомненные патетические и “незаметные” герои - челюскинцы, авиаторы-испытатели, выдающиеся ученые и художники, участники освободительных войн и др. Пестование такого рода моделей делового и жизненного успеха мощными средствами социального стимулирования и пропаганды содействовало, с одной стороны, действительному пробуждению чувства личного достоинства, независимости (в том числе и от надзирающего начальства, что нередко оборачивалось трагическими исходами), а с другой - служило - в качестве стереотипизированных образцов для массового поведения - рычагом мобилизации социальной энергии, которая использовалась как основное “топливо” модернизационной мегамшины. Информация о такого рода активизме сворачивала значительную часть западной интеллигенции, которая столь сильно жаждала антибуржуазного Другого, что проморгала ужасы деспотического режима, удивительным образом умудрилась “не замечать” их.

Однако, в этой галерее толпились и “герои”, искусственно возведенные в сан. На катурны успеха возносилась значительная часть “вождей” всех рангов, чекистов, парттысячников, стахановцев, разоблачителей “врагов народа” и прочих. Технологию производства подобных “героев” продемонстрировал нашумевший в свое время фильм “Человек из мрамора” польского режиссера Анджея Вайды. Среди них были и те, кто не ведал слова “успех”, тем более, в личной форме; но, охваченные азартом классовой борьбы и социалистического строительства, они жаждали “побед”, торжества “общего дела”, воображая себя полномочными послами “великой идеи”. Их привлекал такой “общий памятник”, как “построенный в боях социализм”. Под такую установку подверстывалась идеология и предполагалось, что мы имеем дело с успехом на политическом фронте [64].

Одновременно с ориентацией на активизм и успех в патерналистическом мире не могла не культивироваться социальная *пассивность* на базе бездумного исполнительства, когда распоряжения начальства ставятся превыше безусловных велений совести (предварительно коллективизированной и фальсифицированной), а иногда даже выше требований “социалистической законности”. Это предполагает и аполитичность, неосознанность морального права контроля над властью, требования ответственности “верхов” перед “низами”. Проблематика успеха в этой ситуации почти полностью оттесняется в менее рискованный ареал (хозяйство, культура, частная жизнь, “вещизм” и тому подобное).

В то же время социальная пассивность, отказ от официальных и полуофициальных моделей жизненного и делового успеха был неоднозначным в моральном плане. Действительно, тираническая политика бесконечных “чрез-

вычайных обстоятельств” была способна реально мобилизовать социальную энергию значительной части народа (хотя другая часть только делала вид, что преисполнена экзальтации и веры в социальные миражи), побуждая идти - пусть и не совсем и не всегда добровольно - на нескончаемые жертвы во имя “порядка” и приближения заветного земного рая. Тем не менее, эта политика несла массам не только эфемерное счастье причастности к великой идее и победные реляции с различных “фронтов” социалистического строительства. Поразительным образом всё это сочеталось с опустошительным террором, кошмаром лагерей, закрепощением, душной атмосферой всеобщей подозрительности и страха, откровенной нищетой, временами - массовым недоеданием и просто голодом. И хотя режим пламенно приветствовали даже те, кто от него вдоволь настрадался (социопсихологам все еще предстоит вразумительно объяснить феномен безропотности и паралича воли, выявить механизмы, делающие человека покорным, как это в свое время сделал Б.Поршнев на примере “суггестии”, “контрсуггестии” и “контр-контрсуггестии”), всё же существовала потенциальная база для хотя бы *пассивного сопротивления* тирании.

По мере того, как всё труднее было оправдать политику “чрезвычайного” насыщения общества насилием, приучения его к насилию как перманентному и нормальному состоянию (“патология нормальности”, как говорил З.Фрейд), эта база росла и крепла, тем более - в годы позднего сталинизма и на заре послесталинской эры. Чем вдумчивее мы относимся к анализу поведения людей в тех сверхэкстремальных исторических условиях, тем последовательнее обязаны отклонить тезис о невозможности подобного сопротивления. Те, кто свидетельствовал лишь об агонии репрессированной общественной нравственности, коллапсе морали в недрах тоталитарного государства, тем самым недооценили силы духа освободительного движения. Оставляя в стороне вопросы о масштабах и эффективности такого сопротивления, его соразмерности угнетению, зафиксируем следующее: ненаписанная еще история сопротивления постепенно, шаг за шагом, приоткрывается теперь перед нами, поражая то величественным трагизмом, то вполне прозаической стойкостью людей.

Под этим углом зрения было бы кощунственно говорить о пьедесталах успеха - гораздо уместнее вспомнить о мартирологе, о пантеоне славы мучеников. И сделать это надо, тем более, что ныне стали подвергать сомнению этические основания сопротивления. Приведем только одно суждение, которое выделяется своей категоричностью и неблагодарностью: “Даже борьба диссидентов 60-80-х годов за демократию и права человека была, по сути дела, борьбой за демократию и права для себя. Именно это обстоятельство, на мой взгляд, было одной из причин того, что эти люди были крайне малочисленны и непопулярны в народе. Получив свои права и свободы, они (за редким исключением) тут же успокоились. Вопрос с демократией был для них решен. Остальные их уже не интересовали” [65].

Писатель Л.Жуховицкий возражает тем, кто полагает, будто “ни с кого нельзя спрашивать за прошлое, ибо, кроме нескольких героев и святых, все остальные были трусами, лакеями и негодьями, а раз виноваты все, то невиновен никто, и подлость лишь естественная человеческая реакция на крайне тяжелые обстоятельства”. Л.Жуховицкий утверждает, что это - ложь. “Трусами были только трусы, лакеями - только лакеи, негодьями - только негодяи. И не все писатели травили Пастернака, а лишь те, кто писал. И не все писали доносы на “Новый мир”, а лишь те, кто писал. И не все поносили Сахарова, а лишь те, кто поносил. И не все приветствовали суд над Синявским и Даниелем, а лишь те, кто приветствовал” [66].

История не вправе пройти не только мимо тех, кто выстоял в застенках и прошел школу лагерного подвижничества, кто осмеливался открыто возмутиться кровавыми жертвами и попранием свобод, кто вовлекался в бунтарство и даже мятежи. История не вправе позабыть о доставшемся нам тоже дорогой ценой нравственном опыте ненасильственного и “незаметного” противостояния “бессонному сатаноиду” (А.Платонов), хотя, разумеется, границу между этими двумя видами сопротивления трудно прочертить со всей ясностью.

История сопротивления охватывает весь менталитет народа, а поэтому и тех, кто оказывал помощь пострадавшим от репрессий и их семьям, отворачивался от доносчиков и рьяных охотников за “идеологическими ведьмами”, кто на эзоповом языке выражал свое недовольство и несогласие с режимом и его политикой. Эта история охватывает все виды уклонения от соучастия в безнравственном “ангажементе”, уклонения, временами равнозначного вызову злу - когда, например, молчание становилось знаком несогласия. Подобное уклонение естественно предполагало отказ и от официальных моделей делового и жизненного успеха. И человек, ориентированный на такого рода успех, априорно воспринимался как соглашатель и даже циник. Литературный герой рассказа “Заповедник” Сергея Довлатова говорит о себе: “Всю свою жизнь я ненавидел активные действия любого рода. Слово “активист” для меня звучит как оскорбление. Я жил как бы в страдательном залоге”.

Имелись ли моральные предпосылки для этих двух видов Сопротивления? Не исключается ли самая возможность подобных предпосылок в условиях этатизированного этоса? Вопросы далеко не праздные. Полной неправдой было бы утверждение о повальной, почти не ведающей исключений деморализации общества, стыдливо прикрытой приверженностью “коммунистической морали”. Общество, будучи искусственным по замыслу, не могло бы просуществовать столь длительный срок, если бы не сохранились, во-первых, традиционная народная нравственность и, во-вторых, элементы возникшей до Октябрьской революции этики гражданского общества [67].

Именно сбереженный нравственный потенциал, неустранимая внутренняя свобода совести побуждали человека к выбору той части активистских моделей делового и жизненного успеха, которые выпадали из

приоритетов господствующего общества. И то, что было укрыто в маргиналиях нравственной жизни общества, сразу выступило на авансцену в ситуации, когда над страной нависла смертельная опасность, - в годы Отечественной войны. Было бы крайне несправедливо не видеть в предвоенных поколениях людей, способных выиграть труднейшую для страны войну. И то же самое лежало в основе последующего покаяния и раскаяния (метанойи) за соучастие в безнравственных делах режима (покаяние и раскаяние, увы, далеко не всегда равнозначны содеянному злу), за неучастие в Соппротивлении.

В метафорическом смысле и с исторической дистанции есть основания говорить о незримом, неявном и часто малозаметном успехе - *успехе в сохранении нефальцифицированных нравственных ценностей*, явленных почти во всех сферах жизнедеятельности, хотя менее всего в собственно политической сфере. Такого рода успех обнаруживается там и тогда, где и когда реализуется разумность в мире абсурда, проявляется обычная человеческая порядочность. Можно, например, говорить о сохранении нравственных ценностей в тех ситуациях, когда политике этноцида противостояла твердая линия на защиту этнонациональных ценностей, прежде всего в области культуры, религии и в бытовых отношениях. Все было не так, богаче, подвижнее, противоречивее, чем представлялось в классических антиутопиях.

По всей вероятности, самой массовой формой ненасильственного сопротивления, российской “сатьяграхи”, “упорства в истине” было отступление в частную, укрытую от тоталитарного контроля жизнь. Мы имеем в виду уход в групповой или индивидуальный изоляционизм, эскапизм и квиетизм как способы хотя бы частичного и временного сохранения гуманности и спасения честности, чаще всего успешно опредмечиваемых в узкопрофессиональной сфере и приватном воспитании. Но ведь и этого тоже было немало в трудные времена. Сделавшим такой выбор предстояло не просто разорвать связи с враждебной официальной социальной средой, казарменным коллективизмом, прекратить участие в псевдосоциальности, но и отстраниться от политически одобряемых действий, нередко - отказаться от служебного продвижения, минимизировать жизненные запросы, уйти в “затаенное” существование (“лечь бы на дно как подводная лодка и позывных не передавать”). Правда, такое затворничество, “антиуспешное” бытие могло быть тщательно прикрытым с помощью внешнего почтения к расхожим стандартам поведения, клишированному языку и моделям успеха. В таком виде оно могло проникать в номенклатурную сферу и накапливаться там, подготавливая грядущие перемены.

Этика ненасилия оборачивалась навязываемой *этикой недеяния* (выше мы говорили о вебериянских “картинах мира” с соответствующими векторами социального действия - приспособление к миру и бегство от мира, но не освоение мира) и *вынужденного безмолвия*. Думается, она была оправданной как тактическое отступление, как, по выражению поэта, “духовная гигиена” неучастия. Надо было иметь смелость, чтобы смолчать, не высказывать бездумной “преданности” режиму, не аплодировать спекулятивным проектам и

призывам, не поддерживать “бутафоризацию” демократии и тем более всякого рода чистки.

Те, кто *и сегодня* ориентируется на ненасилие, кто остается в границах известного “кухонного диссидентства” в тот момент противоборства страстей, когда молчание и безмятежное недеяние обретают подчас зловещий смысл, в действительности выступают не против “паршивого общества” и столь же “паршивого режима”, как им лишь мерещится, а против вполне конкретных сил обновления, поборников демократии, нередко поставляя волонтеров в ряды правоэкстремистских и левоэкстремистских групп.

В усугубленном виде моральные предписания этики недеяния получают отражение в деятельности различных “придонных” слоев общества (бичей, бомжей и тому подобное), черпающих пополнение практически из всех социальных групп. Это - “рыцари антиуспеха”, принципиальные противники достижительных ориентаций, любых моделей успеха. Они демонстрируют мучительные хитросплетения человеческих трагедий, в том числе и людей, потерпевших неудачи в попытках добиться успеха в его социально одобренных формах, с привязанностями к бродячему и разгульному образу жизни. Новый импульс получил и хиппианский образ жизни (некоторые социологи обоснованно полагают, что здесь мы сталкиваемся с циклическими процессами). Непринужденные “тусовки” хиппарей с потреблением наркотиков, поисками мистической экстравагантности, романтикой путешествий, непротивленчества, свободной любви, пристрастием к некоторым направлениям рок-искусства становятся способами закрепления и развития современной этики недеяния и уклонения от этики успеха.

Менее массовой, но зато более высокой формой ненасильственного сопротивления является *стоическая позиция*, ориентированная на религиозный или светский лад. Она, как мы уже говорили в Вводном разделе, требует мужественного отказа от удобной всеутешающей веры в “законы истории”, которые якобы надежно подстраховывают режим и уже тем самым гарантируют ему заветную моральную чистоту, требует отказа от доверчивого отношения к политическим утопиям, заклинаниям присяжных идеологов. В этой позиции человек обретает силу, способную, не роняя достоинства, не теряя терпения, не впадая в раздражительность и агрессивность, преодолевать разлад со временем и страх перед режимом, в том числе тогда, когда последний дряхлеет и начинает заигрывать с гуманизмом (что А.Платонов едко окрестил “оргией гуманизма”). Свою перспективу, нерасчетливую антисудьбу, свой эквивалент жизненного успеха такой человек выстраивает усилиями доброй воли и непоколебимой приверженности долгу - при самых обескураживающих, казалось бы, обстоятельствах. Такой человек готов к поражению, даже к тому, что будет оболган, растоптан, обвинен во всех смертных грехах. Но он готов и к победе, к успеху, которые равным счетом ничего не могут изменить. Ненасильственное сопротивление открывает возможность для превращения личного мужества в общественную силу, для лавинообразных мутаций в массовом сознании,

возникновения новых умонастроений в самой как-будто бы неприспособленной для прозрений обстановке.

Конечно, исторический опыт, выношенный и выстраданный нами, казалось бы, неопровержимо свидетельствует против прекрасодушной веры во всеислие нравственной стойкости как таковой, ее способности дать отпор вторжению inferнальных начал. И всё же нельзя не восхититься благородным духом стоической позиции, ее особой мотивацией в противоборстве с политическим аморализмом, обыденным цинизмом, соглашательством. Вполне правдоподобно предположение, что без такого опыта были бы невозможны “оттепельное десятилетие”, появление новых форм ненасильственного сопротивления неосталинизму, сопротивления как фермента духа перестройки и реформирования. Еще предстоит произвести беспристрастное расследование как условий существования, так и образа мышления тех слоев народа, для которых рассмотренные выше позиции обладают повышенной притягательной силой, а заодно проследить те превращения, которые они испытали в долгие годы “мертвого сезона”: застоя в первые перестроечные годы.

Существовали ли эрзацы политической этики?

Как бы мы ни характеризовали эпоху тоталитаризма, может остаться тревожное сомнение: разве в тоталитарном обществе не существуют упорядочивающие и ориентирующие нормы политического поведения власти и народа? Разве предосудительно определять их совокупность как этику политического успеха?

Во-первых, такие нормы, безусловно, существовали. И называть их можно, конечно, как вздумается. Но, во-вторых, они имеют отдаленное отношение к гуманистической морали. Хотя данное обстоятельство могло быть и не принято во внимание общественным мнением того времени.

Поведенческие нормы и оценки, которые заранее одобряют любой произвол властей, самую чудовищную безнравственную политику, “политическую поножовщину”, абсолютный контроль над человеком и обществом, вражду по отношению к тем, кто “не с нами”, нельзя даже с натяжкой отнести к сфере этического, как нельзя считать патриотизмом доносительство и стукачество, ставшие социальным явлением (доступным каждому советскому человеку, по ироничной аттестации М.М.Зощенко). Скорее, это регламент пандемониума для “люмпен-социализма”, некоторые правила действий в мире политики, правила показной политической ритуалистики, ее этикеты и церемонии, которые при определенных условиях могут вести к политическому успеху, но успеху, независимому от этики и чаще всего обретаемому вопреки ее установлениям.

Что касается партийной этики, которую нередко выдавали за матрицу превращения этики революционаризма во всеобщий моральный стандарт, то она являла собой лишь образцы той же самой ритуалистики. Более того, даже самое понятие “партийная этика” подвергалось, начиная с 30-х годов, основательному забвению и произошло это отнюдь не случайно. Партия, легко

став составной частью супергосударства, перестала быть союзом единомышленников, в чём-то правых, а в чём-то добросовестно заблуждавшихся. Она превратилась в формальное объединение, с одной стороны, действительно убежденных сторонников социалистического выбора (число которых со временем непрерывно таяло), а с другой - откровенных приспособленцев, карьеристов и стяжателей, полагающих, что успеха достойны те, кто его добился (их число всё время нарастало). “Партнизы” могли претендовать на крохи успеха, тогда как верхние эшелоны партийного руководства стали тем временем становым хребтом господствующей политической элиты страны. Понятно, что между этими крайними точками размещалось огромное множество переходных и смешанных позиций.

Организационные нормы деятельности партии оправдывали абсолютизацию централизма в ущерб демократии. Создатели этих норм считали в порядке вещей подавление воли меньшинства решениями большинства, выталкивали партийные массы за пределы действительно политической, а не административной, полицейской деятельности. Они обязывали принимать как должное неравенство партмасс и партноменклатуры, господство последней над выборными органами и поведением “партподданных”, настаивали на подавлении разномыслия и даже робких отклонений от идеологического новояза. Процветали бюрократические “добродетели”, укрытые бутафорией демократических процедур с въедливым интересом к процедурному крючкотворству, выхолощенной ультрареволюционной фразеологией, возникшей еще в условиях подпольного товарищества, льстивой как по отношению к “вождям”, так и к “маленьким винтикам” истории, “песчинкам грандиозной социальной бури”.

Всё сказанное относительно партийной этики имело, разумеется лишь официальный нормативный смысл и могло не совпадать с эмпирически зафиксированными мотивами и поступками тех или иных членов партии, лиц, очутившихся в опасных и коварных водоворотах политической деятельности, не говоря уже о различных формах сопротивления политическому аморализму. Его очаги существовали внутри партии, только издали кажущейся абсолютно монолитной, и сыграли важную роль в эволюции режима - прообразы политической этики складывались, возможно, в сопротивлении, подготавливая “революцию сверху”, инициированную частью партийцев. При этом одним из каналов мобилизации нравственных ресурсов была идеализация “ленинской гвардии” и “ленинских норм” партийной жизни, которая на излете перестройки была легко изжита.

Между аскетизмом и гедонизмом: вульгаризированные интерпретации успеха

Прежде чем подробнее остановиться на проблеме аскетической скромности, сделаем необходимые разъяснения. Речь пойдет о *жизненных идеалах* (возможны и другие обозначающие выражения), каждый из которых в явном или неявном виде содержит специфические модели успеха. Такие идеалы

складываются на основе обобщения людьми не каких-то отдельных сторон их жизнедеятельности, а прежде всего их индивидуального и группового опыта. Это “отзвуки” всей социальной практики, “слежки” с повседневных отношений. С некоторой приблизительностью они выражают потребности и интересы людей в определенных социальных обстоятельствах.

Как и свойственно идеалам, они предписывают лишь “образы личности”, но не “образы ее действий”, указывают не на то, как ей следует поступать в тех или иных ситуациях, а на то, какой ей надлежит быть в данную эпоху. Они содержат стержневую направленность всех ценностных ориентаций, обосновывают стратегическую программу жизнедеятельности (стратегему), образы возвышенного и низменного, должного и запретного. Эти идеалы оснащаются ориентирами нравственных исканий личности, позволяют оперировать с предельными (терминальными) характеристиками человеческого бытия. Можно утверждать, что на широкой основе воспроизводятся различные типы мировосприятий, сложившихся и отшлифованных не столько в сравнительно краткой для нашей страны истории капиталистического развития, сколько в долгой истории традиционных социумов. О некоторых из них и пойдет речь.

В прошлом проповедь аскетических добродетелей находила отзвук в среде отсталых слоев трудящихся, по тем или иным причинам неспособных в данный момент встать на путь сопротивления злу, - наверно, аскеза могла служить своеобразным “моральным опиумом” с анестезическим предписанием [68]. Поначалу аскетизм мог быть и инструментом раскочки пассивных масс. Затем аскетизм “низов” утрачивает свою мятежную силу, а с ним и историческое оправдание.

В нашей стране аскетизм сыграл в целом позитивную роль в освободительном движении. В значительной мере он присущ и образу жизни революционеров - как вынужденный момент, обусловленный подпольной деятельностью, необходимостью соответствующей закалки (вспомним Рахметова, а заодно и происхождение аскезы - это слово первоначально означало только тренировку тела и воли, “упражнение”, а вовсе не культ жертвенности и самоотречения). Хотя уже тогда обнаружилась и его негативная роль - готовность к самоограничению как бы дает право на вседозволенность по отношению к другим, на этику революционаризма с ее бездонными резервуарами морализирующего насилия.

В послереволюционные годы с аскетизмом произошли странные превращения. Революционный аскетизм стал сам собой угасать и вытесняться, условно говоря, *советским гедонизмом*. Начало ему положило постепенное политическое и нравственное перерождение части правящей элиты. “Оборотничество” на ранних этапах протекало без особого размаха и шокировало своим бесхитрым меркантилизмом, пристрастием к мещанским вкусам. Но оно почти безошибочно сигнализировало о переменах в социальном составе правящей партии. Часть “верхов” стремилась извлечь выгоды из своего положения, обрести материальные и общественные

привилегии и начала усматривать зримые черты и сертификаты успеха в приобретательстве.

Тем временем стала складываться целая система подкупа “верхов”, мощная и разветвленная социальная инфраструктура (повышение окладов, дополнительные пайки по строго иерархизированным показателям, сеть спецраспределителей и спецобслуживания, денежные и продуктовые инъекции к знаменательным дням, дачные зоны, горничные и швейцары, персональный транспорт, жилые дома по особым проектам и тому подобное), даже отдаленно имеющая мало общего с принципом материального стимулирования сложного и ответственного политико-управленческого труда. Элита стала увлекаться охотой и лукулловыми пирами, заключать “династические браки”, награждать сама себя орденами, присваивать звания, стремилась увековечить свои имена, поощряла безудержное славословие в свой адрес. Размытые контуры успешности приобретали более четкие очертания.

При этом главной привилегией оставалась сама власть как доминирующая ценность, которая может быть по определенному курсу обменена на любые другие блага и соответствующие символы. Поэтому успех - и прежде всего политический успех - измерялся достижением этой заветной привилегии, ее масштабами, символами, сопутствующими льготами. И кроме того, по выражению М.Джиласа, власть, тем более власть практически неограниченная, является наивысшим “наслаждением из наслаждений”.

Мы полагаем возможным применить для обозначения данного процесса выражение “*гедонический поворот*”, хотя градус этого поворота тщательно прикрывался широко демонстрируемой приверженностью былому аскетизму, строгой пуританской морали, от которой на деле остались разве что руины. Публично исповедуемый аскетизм, восторженный или угрюмый, крайний или сдержанный, с известной идиосинক্রазией по отношению к жизненному успеху и ставкой на “успех” в самоистязаниях, становился всё более лицемерным, а в годы “брежневизации” этот гедонический “вираж” в элитарных слоях общества оказывался откровенно беззастенчивым, вовлекая новые и новые группы руководящих кадров, соблазняя заодно и не очень руководящих лиц, главным образом из числа тех, кто связал свою судьбу с различными “теневиками”, кто возжаждал вкусить от “прелестей” полупаразитического образа жизни.

Испытывая потребность в идеологическом прикрытии своего гедонизма, святоши от власти “гурманного социализма” усилили моральное и психологическое осуждение потребительских устремлений “низов”. Обрекая множество людей на бесконечные лишения, они выдавали вынужденный аскетизм масс за особо чтимую добродетель. Данный аскетизм вводился в систему представлений значительной части людей о социальной справедливости, подкрепляя их веру в то, что только бедность, отказ от ориентации на личный успех являются надежным залогом непорочности, честной политики, моральной незапятнанности, условием укрепления дисциплины и трудовой морали. Такие представления, сохранившиеся до наших дней, чуть-чуть “припудривались” и с многочисленными оговорками проникали

и в казенную идеологию, и в практическую политику, которые держали интересы масс “под подозрением”, охотно проповедовали непорочность бескорыстия, жертвенности и уравниловку, слегка прикрытую концепцией материального и морального стимулирования. При этом само наличие аскетических мотивов в поведении масс создавало обманчивое впечатление, будто этика политического успеха всё же существует на просторах тоталитарного общества, хотя бы на нижних этажах его политической жизни.

Поскольку в остаточных формах поощрялась и “бюрократическая романтика” всеобщего равенства, аскетизму во многом оказался созвучным *революционный романтизм*. Он возводил в ранг политической успешности ориентацию на скорое сокрушение норм и ценностей старого общества методом форсированной “пролетаризации” населения, слома давних форм межличностного общения. Отрицанию подлежали и многие элементы политической, а также профессиональной этики тех сфер деятельности, которые так или иначе обслуживали политику или тесно были с ней связаны (этика управленца, журналиста, юриста, военного и тому подобное). Что касается новых ценностей, то прожектерские представления о них самих и способах их “внедрения” были во многом упрощенными, не оторвавшимися от норм и ценностей аскетического общинного существования, эгалитаристских упований, негативного восприятия мира цивилизации. Такого рода романтизм, причудливо сочетающий величественное со смешным и даже ужасным, пожалуй, наиболее выразительно представлен в повестях А.Платонова.

Можно ли говорить об этике революционаризма?

Позицию аскетизма в годы революционного лихолетья усиливала не только романтическая (это было бы полбеда!), но и *анархическая* волна. В условиях всеобщей сорванности с коренных начал жизни она вынесла на поверхность деклассированную, выбитую из традиционных социальных “ниш” публику. Надо сказать, что в политической культуре прошлого, кроме того сегмента, который заключался в нормах и ценностях политической этики, воспроизводился и ее *антипод*, сформированный на анархизме, революционно-утопических идеях. И в политической культуре, в политологии Нового времени революционаристский сегмент постепенно определился в качестве относительно самостоятельной линии развития.

Социальным субстратом “параллакса” становятся маргинальные слои потрясенных обществ, неприкаянные аутсайдеры, у которых были свои представления об успехе, о непричастности этики к моделям успеха. В ходе революции эти слои смогли прорваться с окраины политической и нравственной жизни общества в самый эпицентр событий, пробиться к власти. Если говорить только о нашей стране, то надо зафиксировать возникновение зловещего альянса групп, утративших социальную самоидентификацию, с силами, влекущими страну на путь создания тоталитарной диктатуры. Этой, вздвигнутой на вполне, казалось бы, рациональных началах, обожествляющей

“порядок” системе как будто бы должен быть противопоказан всякий анархизм, любая не поддающаяся социальному управлению общественная энергия. Однако платформа для неожиданного сближения существовала - общая предрасположенность к “левизне”. Проницательные наблюдатели давно рассекретили тайну взаимоотношения зла избыточного порядка со злом избыточного беспорядка.

Ссылками на государственную целесообразность здесь пользуются для того, чтобы прикрыть политический цинизм, крупное и мелкое политиканство, всякого рода двойничество, неразборчивость в средствах достижения политического успеха, готовность ради восхождения “идти по трупам”. С этим кентавром казенно-дисциплинарной и иррациональной бурсаческой “морали” мы продолжаем сталкиваться и в послетоталитарную эпоху, в изначальную пору демократизации общества. И здесь политическая культура “мобилизационного подданничества” прибегает к помощи маргинальных элементов, люмпенов, к разным “архаровцам”, неокочевникам, “временщикам”, культурно одичавшим толпам.

Спрашивается: о какой этике политического успеха революционаризма может идти речь? Думается, что данное направление политологической мысли и соответствующая ему политическая практика менее всего причастны к созданию норм и ценностей собственно этики политического успеха. Со всей определенностью надо говорить о *групповой морали* революционаризма. Впрочем, ее нормы и ценности даже в запальчивости справедливой критики нельзя называть лишь антиэтикой в политике. И не только потому, что в революционной деятельности дает о себе знать самоотверженность, дух товарищества, определенные моральные основания, отнюдь не сводимые к названному “параллаксу”. Только на стадии тоталитаризма и на предмостьях к нему бывшие моральные основания постепенно становятся аморальными - происходит радикальный разрыв с завоеваниями этики гражданского общества, не признается ее органическая связь с этикой политического успеха.

Пренатальная стадия

В истории, как известно, не бывает абсолютно тупиковых, патовых ситуаций. И тоталитарная система при всей ее кажущейся несокрушимости, монолитной неподвижности начинает в конце концов утрачивать свою былую мощь; неумолимо снижаются ее динамизм, экономическая (модернизационная) и военно-политическая эффективность, обнаруживаются неизгладимые следы разложения. Тем самым открывается возможность превращения ее в более мягкую - авторитарную - систему власти.

Внешне всё как будто бы остается непоколебленным. Тем не менее “единство” власти и народа всё больше становится - во многом благодаря сопротивлению и “власти безвластных” - лишь идеологической имитацией “единства”. Внутри незыблемой прежде тотальности возникают трещины и надломы - недоступные для власти автономные “анклавы”. Как будто из небытия являются на свет задавленные прежде горизонтальные инфраструктуры,

каждая по-своему оберегающая людей от тотального контроля над их умами и делами (правда, легализуются эти инфраструктуры в первое время лишь при обязательном условии неполитического характера деятельности в этих анклавах), - частично это экономика и культура, сфера личной жизни людей, где созревают и утверждаются эмбрионы неофициальных моделей успеха. Теперь экономические просчеты или профессиональные ошибки, новые культурные запросы и вкусы не оцениваются как абсолютное свидетельство идеологического неблагополучия или даже политической измены, которое требует быстрого и решительного репрессивного реагирования. И вообще репрессии, к которым прибегает власть, всё больше приобретают селективный характер [69]. Метко сказано Е.Евтушенко, что “пора репрессий сменяется порой депрессий”.

В период первичного “потепления” еще рано категорично утверждать о зарождении политической этики, но можно предположительно говорить об ее пробуждении от летаргического сна в рамках частичного восстановления политических свобод. Этому содействует ряд обстоятельств. Например, происходит реанимация, “припоминание” профессиональной этики в тех точках ее приложения, которые прямо или косвенно связаны с политической деятельностью. Встает вопрос об оживлении “замороженной” прежде партийной этики и признании ее прав. Но главное - из множества разномастных “Мы” воскресает автономная личность как подлинный субъект будущего правового государства.

Факт отчуждения масс от власти постепенно становится достоянием их сознания. Но, поскольку такое отчуждение официально не признаётся, это сознание постепенно преобразуется из “ложного” в “лицемерное”. Оно как ни в чём не бывало продолжает демонстрировать свое “нерушимое единство” с властью, хотя фактически всё больше ограничивается лишь показной приверженностью и только частичным послушанием. Слабеет принудительная сила формулы “запрещено всё, кроме того, что разрешено” (в свое время У.Черчилль добавил к ней: “...а то, что разрешено, то обязательно”). Всё чаще начинают пробуксовывать механизмы политической культуры “мобилизационного подданничества”, хотя рисунок и содержание моделей политического успеха меняются в замедленном темпе.

Развивая сюжеты о кризисе тоталитаризма, его мутации в авторитаризм, намереваясь вникнуть в предпосылки, ведущие к появлению на свет этики политического успеха, мы должны зафиксировать рост индифферентности в отношении к власти, усиление политической апатии, ослабление давления догматизированной идеологии. Параллельно этому процессу шел процесс укрепления “довольности” сознания, апологетического отношения к действительности, но уже с обновленной мотивацией. Многие из восторженного, энтузиастического довольства было осуждено, а крайности оказались изжитыми в реальных отношениях и даже в политической фразеологии.

Однако в условиях приливно-отливной критики политического и морального отчуждения искушение довольностью, как таковое, уцелело, изменив лишь формы проявления и интенсивность, сделав ее более умеренной и осмотрительной. По-прежнему считалось “естественным” лучезарное славословие в адрес социальной организации и ее руководства (что не исключало не очень замаскированной иронии и насмешек по их поводу), замораживание процессов накопления вполне оправданного недовольства, обуздания критики нравов, смирение с расхождением велений совести и порядочности, с одной стороны, и требованиями эффективности организации производства, практики социального управления, образования и воспитания - с другой.

И в послесталинскую эру, включая “оттепельное” десятилетие, считалось неизбежным существование закрытых для критики зон и располагающих критическим иммунитетом лиц (“небожители”), занижение остроты и масштабности противоречий общественного развития. Обоснованным признавалось (отчасти и поощрялось) моральное негодование, но по преимуществу лишь на микросоциальном уровне, где приветствовались громкие призывы к ответственности, бесконечные воззвания к активной жизненной позиции, требования единства слова и дела. То ли намеренно, то ли по недомыслию смешивались настоящее критиканство, сутяжничество и шельмование, с одной стороны, и созидательная критика, неотъемлемое свойство морали и независимого общественного мнения быть критически-конструктивной силой - с другой.

Еще раз о гедонических версиях успеха

В этом пункте рассуждений мы вынуждены вновь возвратиться к гедонизму, но на сей раз не “верхов”, а “низов”.

В тоталитарную эпоху бытовала не лишенная смысла формула: “Полуголодный, но вполне довольный”. Быстрый рост потребления (на фоне длительного предшествующего недопотребления масс, их пауперизации - всё познается в сравнении!), резкие перемены в формах потребительской деятельности, качественные изменения в объемах, структуре и динамике потребления как компоненте общемировых процессов, с середины 50-х годов смогли подвести под “довольность” своеобразную “материальную базу”. Теперь гедонизму, претендовавшему на роль надежного поводыря в запутанном лабиринте мира ценностей, не грозило - во всяком случае, непосредственно - превращение в морализирующую проповедь, как это было, допустим, в век французского, русского и какого-либо другого Просвещения. И вот теперь хорошо знакомые драматические сюжеты, впервые разыгранные на исторической сцене позднего феодализма и раннего капитализма в Западной Европе, вновь проигрываются - по обновленной партитуре - теперь уже на сцене мира, который полагает себя социалистическим.

В сознании потребительски ориентированной личности с присущими этой ориентации моделями успеха нормы общественной нравственности

причудливым образом вступают в отнюдь не мирное сосуществование с гедоническими пристрастиями к наслаждениям, к развлекательной “версии жизни”. Эта, по выражению наших сатириков, “веселящаяся единица” погружается в протекционистские заботы, занята организацией “блатмейстерских” и мафиозных связей, готова заложить душу дьяволу, лишь бы раздобыть и блеснуть вожделенными, модными, дефицитными вещами. Политическая дистрофия вытекает непосредственно из снижения чувства ответственности, “постылого” отношения к гражданским обязанностям, приспособленчества, чрезмерного увлечения *успехом в образе условно-престижного потребления*, взращивания комплексов зависти к тем, кто преуспел в этом славном занятии, или комплексов “морального превосходства” над теми, кто безнадежно застрял лишь у подножия сияющих вершин жизненного успеха (по отношению к которому деловой успех, карьерное продвижение всё больше расценивается лишь как простое средство).

Особое поприще успеха, весьма далекое от какой-либо этики (кроме разве что столь же специфической “фан моралити”), показано в автобиографическом описании В.Аксёновым эпохи раннего стиляжничества. На этом поприще преобладали невероятная жажда выделиться, щегольнуть, обскакать конкурента за призовые места, ради чего практически все средства оказываются приемлемыми. Успеху в таком состязании иногда придавалась политическая направленность с артикулированным неприятием советских моделей жизненного “просперити”.

Как оценить весь этот многоликий, многогранный процесс? Его нельзя целиком списать на тоталитаризм и авторитаризм, так как такой процесс составляет и часть общецивилизационных явлений (потребительство, эгоизация, омассовление, деперсонализация и тому подобное). Нам хотелось бы отметить в нем и позитивные моменты - отказ от обольстительных чар мифологического единения власти и народа, развитие индивидуалистических начал, столь важных для грядущего перехода к гражданскому обществу. Но этот процесс означал вместе с тем и подрыв устоев общественной нравственности. Выступая в ее защиту, режим проводил шумные компании критики потребительской “морали” и вытекающих из нее моделей успеха.

Такая критика страдала дидактичностью и идеологической претенциозностью. Острота нападок явно превосходила глубину анализа, стремления добраться до корней. В слабо состыкованной с жизненными реалиями критике содержалось не только много поверхностного и уныло-назидательного, но и много фарисейского. Нельзя не принять во внимание упомянутый выше гедонический “поворот”, который так увлек “верхи” общества. Хуже другое. Консервативно-охранительным силам была выгодна ситуация, при которой продолжается диктат производителя над потребителем, а интересы потребителя не рассматриваются в качестве арбитра целесообразности, третейского судьи в отношении как эффективности организации производства, так и качества предоставляемых услуг. Нельзя не сказать о том, что изменения в объеме и качестве массового потребления

превращают его в источник инноватики для потребителя-пользователя, а это ставит его в один ряд с разработчиком и производителем, меняет его вкусы, его духовную конституцию, характер его жизненных запросов. Прикрываясь необходимостью противостоять потребительству, морализирующая критика использовала это для того, чтобы обрушиться на идею перехода к рыночным отношениям, многоукладной экономике, дифференцированным доходам. Противопоставляя деловитость и “святость”, такая критика осуждает значительные доходы, руководствуясь в оценках главным образом их размерами, а не источниками, социальной природой. Если доход значительный - стало быть, он не праведный, заведомо не трудовой, не имеет нравственного оправдания.

Такая ригористическая идеология притесняла экономические реформы, думается, ничуть не меньше, чем это делали бюрократические запреты и рогатки. Практические шаги к рыночным отношениям клеймились тавром малодушных уступок потребительству. Фактически это привело к замедлению перевода экономики на рыночные рельсы, инфляции, обусловило бурный рост нетрудовых и непредпринимательских доходов, последующее превращение значительной части политической элиты в замаскированных собственников (обмен власти-должности на собственность, что, надо признать, сделало непосредственный переход к новым отношениям сравнительно безболезненным, бескровным, хотя его отдаленные последствия оказались мучительными). Между тем, огромный неудовлетворенный спрос населения, решительно обходя административные барьеры и ловко лавируя между громогласными инвективами в адрес “тлетворного потребительства” со стороны официальной морали, конъюнктурной этики, обращался к “теневикам”, неформальной экономике, “черному рынку”, что лишь содействовало разложению нравов в эпоху, которая излишне скромно именовалась “застоем”.

В критике потребительской “морали” давали о себе знать перегибы разного свойства. Когда наше общество изображалось чуть ли не как гигантская благотворительная контора, как “государственная богадельня”, которая денно и нощно заботится - в порядке “дарения”, “милости” - об удовлетворении “разумных” потребностей граждан, не задумываясь при этом над тем, что у “опекаемого человека” предприимчивость, дух инициативности, готовность к риску, ориентация на успех, столь необходимые в гражданском обществе, заменяются инерциальным мышлением, иждивенческой психологией и попрошайничеством, моралью “give me”.

Издержки подобных представлений в идеализированном виде дошли и до наших дней. Вот, к примеру, уже знакомые нам рассуждения известного филолога Г.Гачева. Он вспоминает, что в те благословенные времена мы имели роскошь свободного времени: не убивались на работе ради заработка, “тянули резину”, устраивали “перекур с дремотой”, не были озабочены гнусной процедурой превращения времени в деньги, чтобы затем, как западный человек, покупать и свободное время, и то, чем его заполняют. Мы не дрожали за завтрашний день, не имели стрессов и спешки. У нас можно было жить и не

суетливо, и не вертяться: не прытко, а плавно, в темпоритме собственного достоинства. Советский человек - человек с замедленными реакциями, он не приспособлен к состязанию-конкуренции рынка, зато приспособлен к тишине, сосредоточению, вниманию к Бытию, Духу, Красоте, Творчеству. Без мелочного раздражения и волнения. И в награду за все жертвы и муки “бури и натиска” становления нового социума в первую половину советской истории, нам, “поколению пожертвованных отцов”, было дано зажить в уже нежестком периоде “оттепели” и “застоя”, пользуясь благами социализма, получать по векселям за страдания.

Здесь хорошо видно, как ценой отказа от “успешности” страна оплачивала сонливость, нарастающее отставание от мировых стандартов производства и потребления, умудрилась проспять НТР 50-60-х годов, а поэтому не имеет смысла возражать Гачеву - важнее зафиксировать само наличие таких представлений в современных условиях.

Может показаться, что наше изложение уходит в сторону от главной темы. Это не так. “Довольное сознание” и апологетика авторитаризма препятствуют возрождению гражданского общества, становлению его этики в качестве предпосылки для формирования этики политического успеха. Вместо этики независимых (индивидуальных или же ассоциированных) производителей и потребителей, неопекаемых и ответственных за свою судьбу людей (а не иждивенцев государства и его поденщиков), надежно защищенных от идеологического давления и капризов неустойчивой политической погоды, избавленных от морализаторской, ригористической подозрительности в недозволенной приверженности личным и групповым интересам, осуществляющих в деловом поведении утилитарный принцип эквивалентности воздаяния, но одновременно и реализующих ценности социальной ответственности, получила развитие этика социального управления в такой своей разновидности, как социальное опекуновство.

И она привносит в ментальность народа свои модели успеха. Дело в том, что расточительная “мораль” потребительства и идеология “довольности” связаны с “моралью” *технобюрократической*. В ней различаются свои добродетели и пороки, неписанные, но зато высокочтимые чиновничьи кодексы поведения. Даже отдаленно они не “тянут” на политическую этику, как, впрочем, и на этику менеджизма. Нормы и ценности такой “морали” подкрепляют стереотипы приспособительного поведения как обязательного условия делового, карьерного успеха. Они поощряют регенерацию такой конкурентной борьбы за успех, которая ведется вовсе не с помощью трудовых, социальных, интеллектуальных, культурных достижений, как того требует этика гражданского общества. Конкуренция ведется посредством приобретения и потребления модных, дефицитных вещей как сертификата принадлежности к элите или же путем хитроумных и коварных “аппаратных игр”, где доминируют патронажно-клиентальные отношения, клановая логика, методы доноительства и подсиживаний.

Утрачивая веру в ценности общественной нравственности, а заодно и в квазиценности этатизированного этоса, потребительски ориентированная личность тем не менее настойчиво стремится придать респектабельность своей деятельности по социальному управлению. Она жаждет испытать удовольствие от “разумности” своих устремлений и образов жизненного успеха. Но как всего этого достичь? Предстоит либо отказаться от потребительского эгоизма и карьерных добродетелей, либо - от общественной нравственности: третьего не дано!

Вот тут-то на помощь и приходит технбюрократическая “мораль”. Публично, для демонстрационного обихода, она осуждает потребительство и карьеризм, хотя и делает это как-то неохотно, вяло, прибегая к затасканным и малоубедительным доводам. Но втихомолку, келейно человеку-потребителю внушается, будто ему предстоит сделать ничтожно малое, чтобы выкарабкаться из пикантного положения и ощутить себя выполняющим свой долг самым исчерпывающим образом.

Как добиваются такого чуда? В Вводном разделе мы отмечали, что для этого ограничивается сфера приложения моральных оценок, а требования нравственности аккуратно сводятся к правилам и ритуалам учрежденческих кодексов поведения. Делается это с истовой верой в службистское усердие и послушание как средства достижения материального и карьерного успеха.

Тандем технбюрократической и потребительской морали прибегает для оправдания подобной оппортунистической в моральном плане позиции к трюкачеству, выдавая за подлинную политическую этику ведомственный, “департаментский”, территориальный или социопрофессиональный эгоизм. К тому же данная “мораль”, будучи особенно чувствительной к потребительским символам, трансформирует второстепенный критерий социального признания личности, признания ее успеха, выраженный в виде определенного количества и качества приобретений, вещей, услуг едва ли не в главный критерий социального признания, орудие завоевания “престижа”, способ карьерного продвижения, эмпирически осязаемое свидетельство “жизнеумения” и “жизнеуспешности”.

Такая “мораль” легко прощает мелкие и крупные прегрешения, совершаемые ради карьеры, предлагая воспользоваться обретенной “моральностью” в качестве необычайно ходкого товара. И проделывает она всё это на тех участках социальной реальности, где пренебрегают расширением свобод в профессиональной и, особенно, в политической сфере, а в реестре поощряемых человеческих качеств преобладают эрзац-добродетели безынициативности, чуть ли не обожествленной лени, (“кайф” чиновников и управленцев) услужливости, показного оптимизма и восторженности, имитации исполнительности и тому подобное.

Если “синдром довольности” полагает аморальным нарушение лишь некоторых сдерживающих норм, если общественная нравственность сводится лишь к исполнению службистских кодексов в их ведомственной интерпретации, то кого же может удивить, что усиление влияния потребительской и

технобюрократической “морали” синхронно росту цинизма и опустошенности, социальной дезорганизации, измельчанию характеров и проституированию убеждений (не тех или иных, а убеждений как таковых). Значит, синхронным и росту преступности, коррупции, попранию элементарных нравственных норм.

Но ведь принятие синдрома довольности заключается в подчиненности силам авторитарного порядка, значит, потребительская “мораль” в трогательной унии с “моралью” технобюрократической не может не кичиться благими намерениями исполнить роль этакого оплота общественной нравственности. Между тем, она оказывается “у разбитого корыта”, неспособная даже достаточно четко отличить общепризнанную аморальность поведения от поведения как будто вполне порядочного, социализированного.

И ни литургический язык жрецов - псалмопевцев названной унии “моралей”, ни так называемые фелицитологические программы, выводящие счастье человека из его карьерного, потребительского успеха, не в силах помочь обрести столь желанное душевное равновесие в рамках сохранения верности избранному идеалу, вытекающему из него “здравому смыслу” - как бы ни старался человек спрятать свое ощущение виновности от других и от самого себя за фасадом бодряческой довольности, за псевдоэтикой успеха.

Этика политического успеха:

эпоха первоначального накопления ценностей

Тоталитарно-автократические системы власти так или иначе сходят с исторической сцены. Они попадают в ситуации “цугцванга”, когда любой очередной ход оборачивается для них печальным результатом. И чаще всего речь идет не о смене декораций и политического гардероба и даже не о чередо социально-политических кризисов и потрясений, но об еще одной переходной форме на долгом и мучительном пути к демократии. Как же протекают эти процессы и какое это имеет отношение к нашей теме?

Признанные во всем мире нормы поведения основываются на так называемом “новом политическом мышлении”. Преодолевается застарелый изоляционизм, поднимаются всевозможные “занавесы”. По выражению писателя С.Каледина, нельзя долго гладить историю против шерсти. Пробуждается огромный интерес к завоеваниям мировой политической культуры, цивилизованному пониманию ценностей и норм, регулирующих политическое действие. Открывается путь к прямому или косвенному заимствованию в сфере политической культуры и политической этики как ее органической части. Известно, впрочем, что при пересадке демократической инфраструктуры легко воспринимаются лишь формы, ритуалы, этикеты, но культурные образцы и ценности, сформированные на этой почве, или плохо приживаются, или усваиваются со значительными опозданиями и серьезными отклонениями от образцов, иногда делая их неузнаваемыми.

Важнее, однако, не проблемы политических заимствований (хотя и их нельзя недооценивать: допустим, проблема укоренения норм парламентаризма или избирательных процедур), а сущностные характеристики преобразуемой

системы власти. При брежневском и горбачевском авторитаризме уже возникают независимые от власти группы, социальные объединения, а в целом восстанавливается (пока еще с немалыми изъятиями) гласность, независимое общественное мнение, причем не как механическая сумма высказываний людей, но как органический продукт социальной жизни, коллективное суждение, возникающее в результате сложной социальной коммуникации - оно у нас существует далеко не везде, не во всех средах и не всегда [70]. Однако у власти наконец-то появляется достойный партнер - вместо послушной массы подданных. С таким партнером она может вступить в диалог, пусть еще не равноправный. Но уже становится зримым конец обожествления партноменклатурной государственности ("сверхгосударства"), догматической идеологии, эсхатологических надежд на коллективное спасение на индустриальной основе, на "осчастливливание" народа по предписанию и расписанию. Слабеет не только их оболъстительная сила, но и священный трепет перед их мощью: возникают пока еще очень ломкие, хрупкие механизмы духовной самозащиты теперь уже не отдельных единиц, а социальных групп. Режим вынужден разрешать любые - в том числе и политические - организации: ничего не подделаешь! Всходы новых организаций столь заметны, что еще немного и можно будет зафиксировать переход к многопартийности, создание для этого политико-правовых и моральных условий. Стали отходить в прошлое иллюзии по поводу социально-творческого потенциала однопартийной системы. Появилась возможность открытой политической борьбы за власть как основы "конкурентной" демократии.

Мы уже говорили о дифференциации или расщеплении целостного традиционного социума на автономные сферы, в результате чего и выделилась политическая сфера со своими институтами и этическими стандартами. В советском социуме расщепление институционально произошло, но поскольку политика, экономика, культура не обладают автономной логикой, постольку преждевременно говорить об их уже дифференцированно-структурном бытии. Существуют лишь подобия автономных образований, так как еще не выделены (до зримых границ) ни государство, ни общество.

Такое положение задано природой советского социума (и патримониальной модернизацией) как в принципе не преобразуемого, лишенного способности к качественной трансформации. И чтобы начать ее, социуму предстояло пройти процессы распада, хаоса, стадию социального небытия с негарантированным актом "рождения вновь" [71].

Тем не менее, начало диалога власти с народом дало ей спасительный шанс на осуществление сравнительно спокойного обновления, консолидации, сбережения за собой политической инициативы, легитимации режима. Начались процессы отделения политической власти от монополизированной собственности, образования многоукладной экономики. Со скрипом, но все же пошло отделение государства от возрождающегося гражданского общества с его независимой экономической и духовной деятельностью (разгосударствление, деэтизация, поэтапная приватизация). Легализуются

конфликты в политических институтах. Правда, еще не успели созреть условия для формирования сильной демократической оппозиции, состоящей из партий, преимущество которых было заключено лишь в том, что они не были отягощены политической и моральной ответственностью за прошлое. Только начинала выработываться нормативно-правовая база для свободной политической деятельности. Но всего этого оказалось достаточно, чтобы в нашем обществе начался процесс первоначального накопления ценностей политической этики, норм и моделей успеха, механизмов контроля за соблюдением этих норм.

Моральные издержки

Есть немало оснований считать, что в стране - по мере накопления перестроечных сдвигов - происходил стремительный прорыв из советского политического пространства в прозападное демократическое пространство: уже упомянутые выборы в законодательные органы и в президентскую институцию на альтернативной основе, парламентаризм, все еще не очень ясное разделение властей, эмбриональные формы многопартийности (зарегистрировано около 300 партий), конституционные изменения, высвобождение и усиление “четвертой власти”, аналогичные ожидания относительно “третьей власти”, открытость почти всех сфер общества, элементы партнерского диалога властей со своими подвластными и т.п.

Казалось бы, все это предвещало столь же быстротечный и - не исключено - плавный процесс первоначального накопления ценностей этики политического успеха. Ведь демократические институты и организации сами по себе вне этического контекста не гарантируют политическую свободу. Они попросту не смогут начать сколь-нибудь эффективно функционировать, если люди, ими “мобилизованные и призванные”, будут действовать так, будто бы в природе не существует моральных правил политического поведения, будто ради политического успеха хороши даже явно небезупречные средства. Без принятия всеми участниками политической игры данных правил, норм и ценностей все эти институты и организации лишь формально могут считаться демократическими, а политическая культура общества может называться активистской, партиципационной лишь номинально. Данные регулятивы должны быть приняты не просто как вынужденная мера, итог внешнего давления, а именно как средства моральной регуляции, внутренне мотивированные ценности долженствования и ответственности на уровне политики.

Однако, как известно, для морали не характерны импульсивность и скачкообразность развития, мгновенные трансформации в лучшую или худшую сторону, внезапное прекращение действия инерциальных сил. Мораль - область “тихих” перемен, затяжной культурной эволюции: в глубоких водах все течет неторопливо даже в тех случаях, когда дело касается не всей общественной нравственности, а только тех ее сегментов, которые “привязаны” к политической жизни. И если иногда применяются термины “культурная

революция” или “моральная революция” [72], то их адекватное использование чаще всего предполагает метафоричность, чтобы подчеркнуть непредсказуемость перемен - темп изменений в этой области совершенно несопоставим с темпами политических перетасовок и революций, крутых виражей, неожиданных зигзагов. Так или иначе, все это обязывает нас открыть обсуждение темы о моральных издержках быстрых, тайфунообразных политических перемен.

Дело, думается, в том, что чуть ли не революционный *размах* и удивительная *скорость развала* так называемой административно-командной системы, а точнее - тоталитарных и авторитарных институтов власти, отвержение программы их совершенствования с приданием “человеческого лица” оказались совершенно неожиданными как для участников политической игры, так и для наблюдателей. Не было длительного и насыщенного политическим опытом периода, когда могли бы созреть демократические убеждения и моральные представления, а не только радужные демократические упования. Как это и ни парадоксально, *но гигантский политический успех демократических сил*, позволивший им практически бескровно оттеснить с политической сцены уже до того ослабленную и расколотую партноменклатуру (российский вариант “бархатной революции”), отнюдь *не содействовал утверждению моделей политического успеха на нравственных основаниях*. Этот процесс явно запаздывает, пробуксовывает в зыбучих песках старой ментальности, в этатизированном этосе или, как красиво говорят, в “энтропийном болоте”.

Об этом свидетельствует море фактов - бесконечные “разборки” власти, громогласные политические скандалы, обвинения в лихоимстве коррумпированных чиновников, располагающих властными функциями административного и политического свойства, открыто выражаемое отвращение порядочных людей к тем, кто исполняет эти функции, продажа должностей, nepотизм и клановость, грубые нарушения парламентской, журналистской, судебной этики. В такой атмосфере разговоры о призвании в политике, о “подлинном” политике, о единстве профессионализма и нравственности имеют потешный характер. И сейчас уже не столь важно выяснить причинно-следственную зависимость: односторонность ли и непоследовательность демократизации препятствуют утверждению этики политического успеха, или же неосвоенность норм и ценностей этой этики оказывается непреодолимым барьером на путях демократизации общества.

В политической жизни данного общества все еще сказывается действие моделей успеха, сформированных в распределительно-корпоративной системе отношений. Типологически они сходны с моделями успеха спекулятивного, непродуктивного, то есть малоэффективного, отчасти просто мафиозного предпринимательства, сопровождающимися призрачными надеждами на последующую их санитарно-цивилизационную обработку с помощью специфически этических средств. Они аналогичны ориентациям на слабо выраженный успех, практикуемый в корпоративно-патерналистских

отношениях, а также на сильно выраженный успех, применяемый в подобных отношениях (об этих отношениях нам еще предстоит разговор в заключительных главах монографии), где он сравнительно легко оказывается достижимым без риска открытой конкурентной борьбы и без бремени профессиональной политической ответственности. Труднее всего приходится тем, кто ориентирован на продуктивный политический успех, опирающийся на демократические убеждения и этический контроль поступков.

Предпосылки

Почему же такое случилось? Напомним, прежде всего, о хрупкости *демократических традиций* в политической жизни страны, тогда как прочность таких традиций является если и не самым важным, то, во всяком случае, одним из благоприятствующих факторов принятия обществом ценностей этики политического успеха.

В дореволюционной России, как известно, не сложилась и прочная *политико-правовая культура*. Между тем, в Западной Европе, отмечает профессор Римского университета Л.Пелликани, “не капитализм создал правовое общество, а, напротив, как раз последнее сделало возможным капитализм, даже если справедливо то, что капитализм, в свою очередь, послужил питательной средой для роста ресурсов и жизненных запасов, усилив правовое общество” [73]. Можно сказать, что право - это скорее базис современного общества, чем его надстройка.

Э.Ю.Соловьев, отмечая давний и острый дефицит правосознания и правовой нигилизм в старой России, подчеркивает, что в ситуациях социокультурных кризисов это губило, случалось, лучшие нравственные порывы и свойства народа. К тому же, писал этот автор, такому практическому дефициту “соответствовал дефицит правопонимания в отечественной философии, тесно связанный с ее этикоцентризмом и проповедью *абсолютно нравственного подхода к жизни*”, а там, где они утверждаются в своих излюбленных сюжетах, “феномен права ступшевывается и превращается в периферийную и прикладную этическую тему” [74]. Правовая регуляция отрывалась у нас от гражданских свобод и неминуемо обретала запретительную трактовку и обвинительный уклон (при этом право подчас трактовалось как инструмент “окончательного решения” по выкорчевыванию корней зла и искоренению человеческих пороков), нередко рассматривалась всего лишь в качестве низшей разновидности регуляции нравственной. Праву предписывалось обслуживание державной воли (вертикальная направленность права) и в данной области не предполагалось ничего сколь-нибудь похожего на общественный договор между властью и народом, державой и подданными (горизонтальная направленность права), отрицалось само существование права независимого от государственной власти и стоящего над ней (верховенство закона). Речь идет только о господствующей тенденции “моралистического антилегалитета” - не более.

Приведем пример контртенденции, связанный с русским либерализмом (она восходит к А.Н.Радищеву, М.М.Сперанскому, П.Я.Чаадаеву). Вот что писал видный русский юрист и социолог В.А.Кистяковский: “Хотя право не может быть поставлено рядом с такими духовными ценностями, как научная истина, нравственное совершенство, личная святость, тем не менее социальная дисциплина создается только правом, содержание которого составляет обусловленная общественной средой свобода”. Между тем, “русская интеллигенция никогда не уважала право, никогда не видела в нем ценности; из всех культурных ценностей право находилось у нее в наибольшем загоне”, в нашей литературе “нет ни одного трактата, ни одного этюда о праве, которые имели бы *общественное значение*”, а “в идейном развитии нашей интеллигенции, поскольку оно отразилось в литературе, не участвовала ни одна правовая идея”. “Где наш “Дух законов”, наш “Общественный договор”? - вопрошал Кистяковский. “Притупленность правосознания русской интеллигенции и отсутствие интересов к правовым идеям являются результатом нашего застарелого зла - отсутствия какого-то ни было правового порядка в повседневной жизни русского народа”. Не удивительно, что духовные вожди русской интеллигенции неоднократно или совершенно игнорировали правовые интересы личности или выражали враждебное отношение к ним, подчеркивает автор [75]. Сходные взгляды проводили В.С.Соловьев, П.М.Новгородцев, Б.Н.Чичерин, Л.И.Петражицкий, С.И.Гессен, П.Б.Струве и др.

Правда, в старой России были иного рода предпосылки для этики политического успеха. Ведь, как нам известно, такая этика возникает не на пустом месте в виде кем-то устанавливаемых правил политической игры, а перерабатывая весь наличный духовный “материал”. И таковыми, кроме демократических и правовых традиций, служили сословный *аристократический и бюрократический этосы* социального управления страной, а также этика романтизма, сентиментализма, дендизма (А.С.Пушкин, полагают, был первым русским денди), джентльменства. Такого рода духовные предпосылки в российской ментальности были представлены достаточно выразительно. Существовали довольно стойкие этические основы органического консерватизма (в его лучших, нерреакционных проявлениях), связи власти с ответственностью патриотического и религиозного характера со своими парадигмами успеха на политико-административном поприще. А.С.Панарин говорит о “служилой аскезе” в российской ментальности.

Возможно, имело бы смысл опереться и на ряд положительных традиций *ориентации на успех советского периода*. Не исключено и использование опыта моделей политического успеха даже в рамках реконструированной партийной этики - при дифференцированном подходе к подобному в высшей степени противоречивому духовному наследию, в то время как сейчас - под аккомпанемент перестроечного романтизма - предпочтение отдается любовому противопоставлению советских и постсоветских моделей успешности.

И все же, на наш взгляд, самым внушительным барьером на пути первоначального накопления этики политического успеха следует считать

события и процессы, находящиеся как будто бы на краю политической ойкумены. Выше уже говорилось о коэволюции политической этики и этики предпринимательства, проходящей в рамках более обширного целого - этики гражданского общества. От регулятивного резонанса между ними, от *сформированности гражданского общества в целостную систему*, от его зрелости и структурированности решающим образом зависит и ход демократизации модернизирующегося общества.

Нет сомнений в том, что современная Россия продвинулась в этом направлении, доказательством чему может служить значительный перевес в идеологии и психологии “рынкофилов” над установками “рынкофобов”. Еще совсем недавно антирыночные фобии были едва ли не самыми главными преградами модернизации, но социологические замеры общественного сознания, проведенные в последнее время, свидетельствуют о преодолении данных барьеров: рыночная ментальность успешно теснит ментальность патерналистскую.

В упадок приходят распределительные отношения и планово-директивные регулятивы хозяйственной жизни. Этот процесс начался не со вчерашнего дня. Данные отношения и регулятивы стали трансформироваться с постсталинских времен в систему административного торга всех со всеми в пространстве “бюрократического рынка”. Кристаллизовались свои незыблемые установления и правила, главной из которых была бесчисленное множество раз осужденная формула *do ut des*. Это была, конечно, еще не этика предпринимательства, но уже нечто ей подобное, смутный ее прообраз. Почти тридцатилетнее существование при такого рода рынке с его поведенческими “предморальными” правилами, с контрольными санкциями, моделями успеха основательно подготовило население к принятию ценностей малознакомой ему рыночной культуры, ценностей “неорганизованного” индивидуализма (но в пике лишь казарменному, распределительному коллективизму), а также к быстрому, сравнительно легкому переходу в рыночный мир открытого типа, когда “предчастная” собственность (т.е. когда государственная собственность, скажем, дачных участков, квартир или рабочих мест используется в качестве частной) обращается в настоящую частную собственность - в индивидуальной, кооперативной, акционерной формах. Этим не отменялись трудности адаптации к рынку, но они по крайней мере смягчались.

Вместо присущих бюрократическому рынку “теневой”, “неформальной” и “черной” экономики с запутанными системами бартерных обменов (приписок, толкачества, подношений и тому подобное) получает развитие настоящая инфраструктура рынка открытого типа (биржи, брокерские конторы, банки, консалтинговые службы, страховые фирмы и т.п.). Становится на ноги частнопредпринимательская деятельность. Она подкрепляется процессами массовой (менее всего - ваучерной) приватизации, которую не так-то легко аннигилировать с помощью контрпроцессов “прихватизации”. Зримым оказывается продвижение в сторону частнодуховной (культурной, конфессиональной) деятельности. Сделаны первые робкие шаги в направлении правового

обеспечения отношений в гражданском обществе (например, принятие Гражданского кодекса, развитие арбитража и т.п.).

Явно прорисовываются новые модели поведения в достижительной цивилизации, модели успеха в деловой жизни, часть которых связана с криминальной активностью. Ироническое выражение “новые русские” односторонне выражает данные морально-психологические сдвиги, так как, размывая старые стереотипы успеха, соответствующие модели успеха смещаются в массовые слои населения, затрагивая прежде всего новые его поколения (еще не “новые”, но уже и не “старые русские”). В социальной структуре общества образуются неформальные группы, ориентированные на успех, а не только на потребление и распределение.

Не случайно говорят о “достоинстве сильных”, о пассионарных слоях населения, о творческих, энергичных, инициативных людях успеха, не удовлетворенных не только величиной своего дохода, жизненным уровнем, знаком престижа, но и состоянием дел вообще, нравов - в особенности. Они обеспечивают признание ценностей успеха, а стало быть, и политического успеха. Они противостоят люмпенизированным и просто дезориентированным слоям общества по всем его срезам, по всем стратификационным показателям (а не в одном лишь бизнес-слое). Именно они задают поведенческие образцы, укрепляют здравый смысл в стране, прививают уважение не просто к труду, а к продуктивной деятельности, а также к неравенству, которое не покушается на стандарты социальной справедливости. Они выступают против апологии бедности (слова Р. Бернса о том, что жалок тот, кто стыдится своей честной бедности, не имеют отношения к тем, кто кичится бедностью, тем более, если она - результат безделья и скудоумия) и упрощенных способов ее преодоления [76].

Такое продвижение от старого порядка в целом оказалось *недостаточно системным, последовательным, равномерным, прочным*, чтобы сформировалось независимое от государства гражданское общество и, естественно, этика такого общества. Более того, данное продвижение сопровождалось попятными шагами. Никакими правительственными мерами не удается стабилизировать разрушительные последствия глубокого экономического кризиса и преодолеть затяжные паузы в реструктурировании экономики и ее технической модернизации.

Кризис и медлительность преобразований крайне отрицательно влияют на состояние трудовой и профессиональной морали, и до того не блиставшее достижениями. Остановка предприятий, простои, задержки выплаты зарплат и пенсий, их обесценивание в результате опережающей инфляции, ослабление трудовой мотивации, упадок производственной дисциплины, депрессия в ряде базовых отраслей хозяйства, запущенность социальной сферы на всех уровнях, “клептократия” и т.п. деструктивно воздействуют на общественную нравственность в целом. Большинство населения продолжает жить, как иногда говорят, при “бытовом социализме”. Процессы, которые, казалось бы, должны были содействовать *распаду* былого монолитного единства идеологизированной

политики и политизированной *морали*, освобождению нравственности от идеологического давления и очищению ее от деформаций прошлого, оказались в сильной степени девальвированными. Современные исследователи пытаются даже (на примере Украины) вычислить индекс деморализованности населения [77]. Сегодня лишь ленивый не говорит о нравственной недостаточности, о хаосе в мире духовных ценностей, нередко сильно преувеличивая масштабы антропологической и аксиологической катастрофы, - причитания на сей счет охотно разыгрываются в качестве крупных козырей в политических играх и идеологических битвах.

Негативно воздействуют на состояние общественной нравственности и головокружительные темпы процессов социальной дифференциации - с отбрасыванием значительной части населения за черту бедности со всеми сопровождающими ее человеческими страданиями и пороками. Бедности - на фоне появления "внезапных" миллиардеров и вызывающей роскоши нуворишей - неизбежно сопутствуют социальная напряженность и ностальгические запои. Дополнительный импульс получила советская антиномия гедонизма "верхов" и вынужденного аскетизма "низов" как "добродетели" особого рода.

Речь идет не просто о чрезмерной вилке в доходах, а о широкой приватизации должностей, конверсии властных позиций в собственность, форсированном развитии так называемого "государственно-бюрократического" или "номенклатурного капитализма", срастающегося с мафиозным капиталом ("пятой властью" с ее специфическими методами запугивания конкурентов, актами насилия, незаконного контроля над ресурсами, практикой подкупов, "отмывания" грязных денег и т.д.), вообще с капиталом, в котором потребительские соображения и всякого рода махинаторство берут верх над продуктивно-творческой мотивацией, над финансовыми и технологическими инициативами ("народный капитализм" с честной конкуренцией и экономической демократией). Нравы "дикого" рынка, а не рынка социально ориентированной экономики, резко повышают издержки рыночного общения, тогда как стандарты поведения на рынке девальвируются. До этики ли в такой ситуации? А до политической этики - и подавно!

Все эти негативные процессы - результат "сопротивления ценностно-нормативной системы" и "сопротивления социального окружения", - часто перекрывающие процессы позитивные, приводят к ослаблению и без того не очень-то крепких устоев государственной дисциплины как гаранта правопорядка и отчасти морального порядка. Они ведут к общественной анархии, а вовсе не к укреплению гражданского общества, утверждению демократических начал, а через них - и к становлению этики политического успеха. Не опирающаяся на этические принципы варварская рыночная экономика становится и малоэффективной, и бесчеловечной, и чреватой социальными катаклизмами, тем, что сейчас предпочитают называть сценариями по "беспределу".

Объективность оценки современной ситуации должна предусматривать одно серьезное обстоятельство, которое коротко можно выразить следующим

образом: за благо свободы, за свободный выбор приходится платить. Вот мнение по этому поводу специалиста-правоведа. “Человеческое общество в конце XX столетия оказалось в криминальном капкане: в условиях демократии, рыночной экономики и законособлюдающей юстиции оно не вполне справляется с интенсивно растущей и динамично приспособливающейся к новым возможностям уголовной преступностью; в условиях тоталитаризма, командной экономики и всемогущих правоохранительных органов с дискреционными полномочиями государство может удержать преступность под контролем, но лишь такими методами, которые намного опаснее вульгарной преступности. И в том, и в другом случае экономика играет не последнюю роль. Командная ее форма в авторитарных режимах является одной из составляющих тотального контроля за поведением и деятельностью людей, а рыночная форма в демократических странах - одним из условий экономической, политической и личной свободы, которая облегчает преступную деятельность, особенно экономическую, способствует расслоению общества и усиливает противоречия между социальными слоями общества, в том числе и криминогенными, а также формирует иные мотивации противоправного поведения” [78].

О неприживаемости

Почему этика политического успеха плохо приживается в России? Причина заключается в *поверхностной демократизации* политической жизни, в отсутствии действительно демократических отношений “сверху донизу”. Не без оснований сами слова “демократия”, “демократ” приобрели у части массового сознания одиозный смысл. Возникла странная послеавгустовская демократия без демократов. Вопрос о политической этике тесно связан с вопросом о системе отношений, при которых “низы”, народные массы (мы вынуждены прибегать к не очень-то корректным для науки терминам) смогут не просто обсуждать политические проблемы (этот уровень *гласности* с большими или меньшими изъятиями уже достигнут и вряд ли может оказаться обратимым) и даже не просто сумеют оказать влияние на их решение (избирательные системы более или менее удачно функционируют повсеместно), но и будут *решать* их в своих интересах, участвовать в их исполнении. Речь должна пойти о самоуправляемом, самодеятельном, как говорил молодой Маркс, обществе (в этом смысле демократия и является народовластием).

Конечно, в таком обществе политические элиты не отправляются в полном составе в отставку, здесь не “отменяется” профессионализм в управлении общественными делами, не вытесняются принципы и нормы “конкурентной” демократии и не заменяются исключительно плебисцитарными формами. Современное управление, осуществление политической власти настолько усложнилось, что требует не краткосрочных ликбезовских курсов для всех, а серьезной профессиональной подготовки. Да и у управляемых вовсе не всегда есть возможность для участия в управлении и не всегда возникает стремление “порулить”. Хотя, верно сказано, что “политика - привилегия всех”, но когда у знаменитой кухарки есть из чего приготовить обед, меланхолично

заметил остролов, она не стремится управлять государством. Вовлеченность в исполнение властных функций усиливается по мере того, как снижается высота властной иерархии, постепенно приближаясь к уровню местного самоуправления.

Пока же политическая этика плохо функционирует даже на одном только электоральном уровне, о чем свидетельствует массовая безответственность на выборах, беззащитность избирателя перед беспардонными поползновениями разношерстного популизма, “проталкивающего” свои образы политического успеха, или о чем говорят столь же массовые акты электоральной абстиненции (к этому мы еще вернемся в восемнадцатой главе).

Она явно недостаточно функционирует и на элитарном уровне, так как власть пока формируется на внепартийных личностных началах, а без развитых партий не может возникнуть и партийная этика современного типа.

Чем это вызвано? Не претендуя на полноту ответа, заметим, что низовой горизонт политической жизни затемнен очевидным *преобладанием ментальности подданнической политической культуры*, где этика избирателя и вообще вся этика политического поведения рядового агента политической жизни никогда не культивировалась. Формировалось свойство беспрекословного подчинения власти и - в зависимости от обстоятельств - либо свойство восторженного восприятия ее решений и символов, либо равнодушия к ним.

Напомним, что вопрос стоит об очищении нравственности от следов этатизированного этоса, который позволял держать под контролем официальной политики всю эту сферу во имя чертогов “светлого завтра”, оправдывать подмену четкого законоуложения, верховенства закона социально-классовой целесообразностью, пренебрегая при этом “формальной законностью”, без которой нет и не может быть моральных основ политической деятельности. Поправление этих основ во имя “неприрученного морального инстинкта” или политической бдительности просто не могло пройти даром. “В любой стране, которая прошла через диктатуру, число сознательных жертв режима - тех, кто избрав духовную свободу, предпочел умереть стоя - всегда оказывается несоизмеримо меньше числа выживших на коленях. Даже ничем не запятанный лично - сам не убивал, не доносил, не раболепствовал сверх неизбежного - каждый из выживших все равно носит в себе некий фермент безнравственности. Тирания страшна не столько физическим уничтожением, сколько моральным растлением покорившихся... Опыт Европы показал, что растлевающее влияние тиранического режима на подвластное ему общество сохраняется надолго и после смены власти. Душевно ущербными всегда остаются два поколения: как сломленное диктатурой, так и ею же выпестованное” [79].

Этатизированный этос оправдывал прежде всего стремление к абсолютизации политического господства, дающего бесконтрольную возможность распоряжаться имуществом и даже жизнью людей, стоять над ними, исключая всякое сопротивление бесправью. В той мере, в какой удалось

осуществить дезагрегацию традиционного и гражданского общества, извести народную нравственность и демократические ценности, возникал “новый человек”, грядущий житель коммунистической обители, которому был ведом лишь один долг - долг перед пирамидой властных структур, ее вождями и утверждаемым ими “порядком”. Подобная “мораль” соучаствовала в люмпенизации общества, насаждала дух мессианства, верования в избранничество, в идею “руководства миром”, общественно-политический нарциссизм, ощущение могущества, не сомневающегося в моральном праве на вседозволенное социальное экспериментирование.

Такая “мораль” навязывала чувство превосходства над “другими”, духовно-нравственную отгороженность от цивилизованного мира, который “во зле лежит”, примитивную контрастную схему добра и зла со столь же упрощенной механикой “пластырного приложения” ее к различным сферам человеческой деятельности, в том числе - к политической сфере, с соответствующей манихейской лексикой [80]. Именно такая “мораль” способствовала обожествлению патерналистской власти, которая столь трогательно возлагала на себя бремя забот о благе отдельного подданного и поэтому “верхам”, пекущимся о “малых мира сего”, выдавался морально-политический карт-бланш.

Вот какой изящный пассаж мы слышим по этому поводу от следователя Иванова из известной повести А.Кестлера: “Мы не можем допустить, чтобы реальный мир превратился в притон для чувствительных мистиков. И это наша основная заповедь. Сострадание, совесть, отчаяние, ненависть, покаяние или искупление вины - все это для нас непозволительная роскошь... Величайшие преступники - это Ганди и Толстой... Закон “цель оправдывает средства” есть и останется во веки веков единственным законом политической этики; все остальное - дилетантская болтовня” [81].

Кризис такой “морали”, ее отступление на периферию нравственной жизни общества - явление положительное, хотя, во-первых, следы этой “морали” еще долго будут давать о себе знать, и, во-вторых, такое отступление неизбежно имеет побочные негативные последствия (ощущение морального вакуума).

Рассуждая о трудностях утверждения этики политического успеха, нельзя не отметить *неосвоенность массами ценностей политической свободы и демократии*. Разочарования в демократической политике перестроечных и постперестроечных лет породили отвращение к данным ценностям. Приобретает популярность неувядаемая сентенция о политике как игре без правил, как грязном деле, и вот уже аудитория приветствует слова певца: “Дай Бог не вляпаться во власть”. Разочарования извлекли из подсознания затаившееся там чувство страха, эмоции рессентимента, потребность в образах врагов и почти такую же по силе потребность в руководящей роли партии и вождей. Так передается забвению вещее предупреждение Б.Брехта по поводу опасности реставрации тоталитаризма: “Еще может плодоносить чрево, породившее все это!”

Получается, что, казалось бы, давно истрепанные и забытые лозунги, имиджи, приемчики политической мобилизации масс вновь регенерируют. И они создают иллюзию полнокровной политической жизни у тех, кто с охотой снуют с митинга на митинг, кто тусуется в пикетах, даже предварительно не заглядывая в ультрапопулистскую литературу. Такая вовлеченность оказывается своеобразной формой политического успеха, “успеха” при котором удачная и шумная демонстрация или пикетирование не насыщают демонов ненависти, а лишь распалют их аппетиты. К тому же власть проявляет удивительную неспособность адекватной реакции на подобные настроения и действия.

Но *вина* (в историческом смысле) за то, что произошло не столько “пробуждение” этики политического успеха, сколько возникновение всего лишь ценностного вакуума, должна быть в значительной мере возложена и *на элиты*, как партийно-политические, так технократические, как на федеральные, так и региональные, как на традиционно-советские, так и либерально-демократические (включая и “демократические контрэлиты”). Все они оказались не созревшими для восприятия норм и ценностей этики политического успеха, не смогли выбраться на дорогу, ведущую к храму свободы и демократии.

Хорошо, что переход власти от партноменклатуры, “государственного класса”, к новым элитам произошел хотя и не безболезненно, но практически без массового применения насилия и, что особенно существенно, без полномасштабной гражданской войны. Прежняя власть партноменклатуры просто-напросто развалилась. Но ценой, уплаченной за советский вариант “бархатной” революции в августе 1991 года, оказалась проворная адаптация старых кадров к новой системе политической власти. Только наиболее замшелая и совершенно не приспособленная к деятельности в изменившейся ситуации номенклатура оказалась “выбитой из седла”. Зато на авансцену политической жизни бодрым маршем вышли средние (вторые и третьи) эшелоны неономенклатуры и те, кто пребывали в кадровом резерве. И почти весь директорский корпус, “генералы индустрии”, представления которых об успехе меньше ассоциировались с политической карьерой, чем с приобретением значительной части приватизированного имущества и прибылей. Многие из членов элиты теперь оказались заинтересованными принести “реформы” в жертву “стабилизации” или замедлить их ход (ибо уже получили все то, чего так страстно желали). Наиболее удачливые и гибкие ушли, как было принято говорить, в коммерческие структуры, в бизнес-слой, используя в частной коммерческой деятельности старые связи, наработанный опыт управления, информацию, знания и, конечно, материальные ресурсы, оказавшиеся в их распоряжении. Но они и сейчас продолжают влиять на процесс принятия и осуществления политических решений, однако косвенно, методами лоббирования (уместно сказать, что можно рассуждать об особой этике не закрытого, а открытого лоббирования, ее специфике). Хотя широкий размах получила межэлитная циркуляция кадров, тем не менее опросы директората свидетельствуют о том, что модели политического успеха не стали для него

привлекательными, как, впрочем, и модели рыночного, предпринимательского успеха со своей этикой.

В целом, по всей вероятности, правы те политологи, которые говорят о моносубъектности политического процесса в современной России, когда в роли ведущей силы, определяющей смыслы, векторы, размах и основательность реформ, смогла стать только слабо подконтрольная обществу элитарная “партия власти”. Хотя и эта последняя сама раздирается жестокими противоречиями между различными составляющими ее слоями, фракциями, группами. Но, как уже отмечалось выше, вряд ли можно предполагать, будто эти противоречия и конфликты внутриэлитного свойства разрешаются вполне цивилизованными способами согласования частных интересов и подчинения их общему корпоративному интересу, в том числе при помощи норм и правил партийной этики, так как, во-первых, политические элиты не придают особого значения институализации общенациональных партий право- и левоцентристской ориентации (во всяком случае до сих пор), довольствуясь использованием на выборах прессинг-групп и общественных движений, а во-вторых, опасаясь, что такие партии как-то могут ограничить свободу маневра исполнительной вертикали власти и самих элит.

К тому же пролонгированное существование феномена “власть-собственность”, по суждению А.С.Панарина, означает, что потеря власти влечет за собой потерю собственности, которая была слабо легитимизированной, а стало быть, сохранение власти является едва ли не абсолютным условием для решения любых проблем. Власть стремится в этом случае к уберезению себя любой ценой и к самовозрастанию, поэтому ставки в политической игре несравненно превышают принятые в обычной демократической системе, что резко ограничивает возможности следования нормам политической этики с ее готовностью к самоограничению властных полномочий. Данные нормы воспринимаются как помеха для “держателей запретов”, “партии власти” [82].

Между тем “истинные политики”, в терминологии М.Вебера, люди призвания, служения Делу, подрастерялись в неожиданной для них обстановке и либо изменились к худшему, подчиняясь доминирующим нравам, царящим в коридорах власти, либо пробавляются крохами политического романтизма. Разбавленные в миллионной массе чиновничества и управленцев старого чекана (говорят иногда о происшедшем “бюрократическом декадансе”) и при сильном противодействии старого аппарата, далекого от ценностей демократии (по выражению О.М.Попцова, у аппарата была другая “группа крови”), отдельные лидеры и активисты демократической плеяды тонули и не смогли, или не сумели, перебороть принятые в данной массе модели политического и технбюрократического успеха. Тем самым нормы партноменклатурной “этики” получили продленное существование. Возродились и сопутствующие представления о деловом и жизненном успехе, способах его достижения и последующей утилизации (гедонические ориентиры, связи с новыми привилегиями, клановая логика поведения, конкурентные схватки за роль сверхуспешных “бонапартов” и т.п.).

Благодаря этому авторитарно-олигархическая система власти (на политологическом сленге - “демократура”) смогла форсировать процессы первичного накопления капитала, однако сдерживала процессы первичного накопления ценностей этики политического успеха, ее эталонов и способов как “низового”, так и профессионально-группового контроля, затормозила процессы самообновления, тем самым снижая эффективность политической деятельности в целом. То и дело “малолетней” политической морали демократического правления возвращают дискреционный стиль принятия решений (по усмотрению исполнительной ветви власти, едва ограниченной законом), в то время как имплантируемые модели этики политического успеха плохо прижились, обрели свойства утопичности. От элит требовалось соблюдение “правил игры”, за чем наблюдала исполнительная вертикаль власти и что было выгодно самим элитам, но “правила честной игры” оставались в основном слабо востребованными. И тогда усилилась тяга к морализации политики со всеми вытекающими отсюда последствиями. При том, что основная часть печатных и электронных средств массовой информации осталась демократически ангажированной, “партия власти” никак не могла научиться сосуществовать с независимыми средствами информации.

Вместе с тем нарастающая политическая апатия масс, стратегия “опущенных рук” не позволяют эффективно сдерживать крайние, экстремистские силы, способные расшатывать государственность и довести до точки кипения социальные страсти, напряженность, дестабилизацию в различных регионах страны и сегментах общественной жизни. Власть оказалась недостаточно подготовленной для того, чтобы наладить действенный политический и моральный контроль за процессами в стране, не способной внятно определиться по отношению к демократическим ценностям, к нормам этики политического успеха, иерархизировать соответствующие ценности, соотнести их со все еще патерналистской ментальностью значительной части населения, которая, к тому же, после отступления либеральной и коммунистической идеологии оказалась насыщенной националистическими мотивами. Она была недостаточно подготовлена к действиям на публичной политической сцене, предпочитая им раздражающую массы закулисную возню. Она была больше расположена к сделкам, сговорам, нежели к политическим компромиссам в результате непрерывного диалога между соперничающими группировками. Над ней доминирует негативный образ компромиссов. Между тем, пишет известный конфликтолог В.Лефевр, “реальная демократия возможна лишь в обществе, основанном на такой этической системе, где достижение согласия поднимает личность в собственных глазах (и глазах других) в большей степени, чем достижение цели” [83].

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Луман Н.* Честность политиков и высшая аморальность политики // Вопросы социологии. 1992. Т.1. №1. С.72.
2. *Бурдые П.* Социология политики. М., 1993. С. 228.
3. *Бродский А.И.* Об одной ошибке русского либерализма // Вопросы философии. 1995. №10. С.157.
4. *Луман Н.* Цит. соч. С.72.
5. От киников и стоиков идет понятие “адиафо-ры”, понятие “безразличного”, лежащее на середине добра и зла или между ними и с точки зрения морали не имеющее значения (бедность и богатство, удовольствие и страдание, здоровье и болезнь). Кант углубил это представление трихотомическим подходом, тогда как Фихте отклонил его.
6. Политолог А.Янов определяет этот глубинный пласт ограничений власти как “культурный”, его наращивание лежит в основе политического прогресса. (*Янов А.* История автократии // Октябрь. 1991. № 8. С.146-147.)
7. *Вернан Ж.-П.* Происхождение греческой мысли. М., 1988. С. 114.
8. *Драгунский Д.В., Цымбурский В.Л.* Генотип европейской цивилизации // Полис. 1991. №1. С.13.
9. *Ролз Дж.* Теория справедливости. Новосибирск, 1995. С. 66.
10. *Сутор Б.* Политическая этика // Полис. 1993. №1. С.69.
11. *Фридмен и Хайек о свободе.* Минск, 1990. С.17.
12. *Геллнер Э.* Условия свободы: Гражданское общество и его исторические соперники. М., 1995. С.11,62.
13. *Геллнер Э.* Цит. соч. С.15. См. также: *Keane G.* Civil Society and the State. London, 1988; *Keane G.*: Democracy and Civil Society. London, 1988. Вполне допустима идея “чистого” гражданского общества, не соотнесенного с государственной властью, как это было в Исландии VIII-XI в.в. (*Славный Б.И.* Проблема власти: новое измерение // Полис. 1991. №5. С. 48.)
14. Там же. С.109. См. также: *Библер В.С.* О гражданском обществе и общественном договоре (размышления философа) // Будь лицом: ценности гражданского общества. Томск, 1993.
15. *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С.281.
16. Там же. С.175.
17. *Руссо Ж.-Ж.* Трактаты. М., 1969. С.221-222. Американский политолог Р.Даль отметил, что негативное отношение Руссо к представительству, в том виде, как оно содержалось в “Общественном договоре”, противоречило его же взглядам, выраженным им в работах, созданных как до, так и после “Договора”. См.: *Даль Р.* Полиархия, плюрализм и пространство // Вопросы философии. 1994. №3. С. 47.
18. *Рассел Б.* История западной философии. М., 1959. С.712.

19. Этика прав человека: Материалы международной конференции. Москва-Тула, 1994.
20. *Бурдые П.* Цит.соч. С. 228.
21. *Капустин Б.Г.* Грядущие выборы и правила шумпетерианской демократии // Этика успеха. 1995. Вып. 5-6.
22. См.: *Almond G., Powell G.* Comparative politics: developmental approach. Boston, 1966.
23. *Юнг К.Г.* Различие восточного и западного мышления // Философские науки. 1988. №10.
24. *Степаняни М.Т.* Справедливость и демократия в контексте диалога культур // Вопросы философии. 1966. №3.
25. Там же.
26. *Рикер П.* Цит.соч. С. 32.
27. *Вебер М.* Харизматическое господство // Со-циологические исследования. 1988. №3; *Ожиганов Э.Н.* Политическая теория Макса Вебера. Рига, 1986.
28. *Болл Т.* Власть // Полис. 1992. №5. С.37.
29. Двадцать шесть основных понятий политического анализа // Полис. 1993. №1. С.24.
30. Цит.соч. С.25-26.
31. *Бродель Ф.* Динамика капитализма. Смоленск, 1993. С.73.
32. *Тульчинский Г.Л.* Разум, воля, успех: О философии поступка. Л., 1990. С.129-132.
33. Словарь по этике. М., 1989. С.397.
34. Независимая газета. 1995. 3 февраля.
35. Независимая газета. 1996. 8 мая.
36. *Варнава, епископ Беляев.* Основы искусства святости // Опыт изложения православной аскетики. Т.1. Н. Новгород, 1995; *Батыгин Г.С.* Деловая аскеза // Этика успеха. 1994. Вып.1.
37. *Вебер М.* Избранные произведения. М.,1990. С.692.
38. Цит.соч. С.694.
39. Цит.соч. С.697.
40. *Апресян Р.Г.* Этика пользы. // "Будь лицом: ценности гражданского общества". Т.1. Томск, 1993. С.183.
41. *Бердяев Н.* О фанатизме, ортодоксии и истине // Философские науки. 1991. №8. С.124, 128.
42. *Ашин Г.К.* Политическое лидерство: оптимальный стиль // Общественные науки и современность. 1993. № 2. С.117.
43. *Вебер М.* Цит.соч. С. 691-692.
44. *Вебер М.* Цит.соч. С.706.
45. *Поппер К.* Открытое общество и его враги. Том 1. М., 1992. С.165. К тому же "принципиально не подверженного порче правителя существовать не может" (*Хеффе О.* Политика, право, справедливость. М., 1994. С. 277).
46. Там же. С.167.

47. *Поппер К.* Цит.соч. Том 2. С.396.
48. *Эйдлин Ф.* Карл Поппер и теория демократии // *Философские науки.* 1990. №5. С.75.
49. *Сартори Дж.* Вертикальная демократия // *Полис.* 1993. №2. С.84.
50. *Арон Р.* Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С.135-136.
51. *Янг М.* Возвышение меритократии // *Утопия и утопическое сознание.* М., 1991.
52. *Сартори Дж.* Цит.соч. С.87.
53. Там же. С.89.
54. *Соловьев Э.Ю.* Прошлое толкует нас: Очерки по истории философии и культуры. М., 1991. С. 408-411. Не случайно свой доклад на VII конференции философов “Восток-Запад” он назвал так: “Право как мораль политиков”.
55. *Оссовская. М.* Рыцарь и буржуа. М., 1987.
56. *Юнг К. Г.* Архетипы и символ. М., 1991. С. 207.
57. Умер ли марксизм? // *Вопросы философии.* 1990. № 10. С.28.
58. О понимании политического успеха и культуре антибуржуазного революционаризма см. подробнее: *Камю А.* Бунтующий человек: Философия, политика, искусство. М., 1990; *Бердяев Н.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990.
59. *Ципко А.* Был ли Маркс социалистом? // *Социум.* 1991. №1. С.75-79. Но, с другой стороны, прав известный экономист Г.Лисичкин, назвав свою брошюру (Минск,1993) следующим образом: “Карл Маркс - злейший враг российских большевиков”.
60. *Мец И.* Будущее христианства // *Вопросы философии.* 1990. № 9. С.126.
61. Там же.
62. Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989. С. 23,48.
63. *Левин Г.Д.* Профессионалы в профессиональном споре // *Вопросы философии.* 1996. №1. С.174. Социолог А.Г.Быстрицкий считает в этой связи революцию “бунтом дилетантов в предверии развития профессионализма в России” (*Быстрицкий А.Г.* Корпоративизм в России // *Этика успеха.* 1995. Вып.4. С.120.).
64. *Аннинский Л.* Павел Корчагин как современный политический менеджер - осуществимая идея? // *Этика успеха.* 1994. Вып.1. С.62-63. Поскольку мы не имеем своего Томаса Карлейля, написавшего не только “Этику жизни”, но и бессмертную книгу “Герои, почитание героев и героическое в истории”, то функцию социографии и бытоописания лиц из упомянутой галереи исправно выполняли искусство социалистического реализма и приданное ему литературоведение. В последнем портретистика людей успеха, подчас с весьма сомнительной этикой, была представлена с исчерпывающей полнотой. Достаточно в этой связи упомянуть коллизии братьев Кавалеровых из “Зависти” Ю.Олеши. Однако нельзя не заметить, что в ней слабо намечалась тематика собственно политического успеха, хотя, как уже было заявлено, политико-идеологическое представительство подминало под

себя все сферы человеческой жизнедеятельности, сколь далеко бы они и не отстояли от политики.

65. *Желенин А.* Гребни к себе: Ещё раз о могиканах // Независимая газета. 1994. 28 сентября.

66. *Жуховицкий Л.* Время не приходит никогда // Дело. 1994. № 43.

67. *Бредли Д.* Общественные организации и развитие гражданского общества в дореволюционной России // Общественные науки и современность. 1994. № 5.

68. Существовали и неполитические формы аскетизма. См.: *Батыгин Г.С.* Предпринимательский аскезис // Будь лицом: ценности гражданского общества. Том 2. Томск, 1993.

69. *Гозман Л.Я., Эткинд А.М.* Люди и власть: от тоталитаризма к демократии // В человеческом измерении. М., 1989. С.388-391.

70. *Грушин Б.А.* Электоральная социология в России: Что мешает ее успеху? // Этика успеха. 1996. Вып.9. С.148.

71. Вопросы философии. 1993. №7. С. 17-18, 21.

72. Иногда говорят о “революции морали”, “революции в сфере морали”, “буржуазной моральной революции”. См.: *Белоцерковский В.* Куда несет Россию? // Свободная мысль. 1996. № 6. С.26, 27. Ср. характеристику феномена “мораль в революционном развитии” в кн.: *Лернер М.* Развитие цивилизации в Америке. Т. 2. С. 156-169.

73. *Пелликани Л.* Предпосылки экономического развития: советский вариант // Полис. 1991. № 2. С.27.

74. *Соловьев Э.Ю.* Прошлое толкует нас // Очерки из истории философии и культуры. М., 1991. С.231. Об этой “диктатуре морального суждения” см.: *Соина О.С.* Феномен русского морализаторства: Этические очерки. Новосибирск, 1995.

75. *Кистяковский Б.А.* В защиту права // Вехи: Интеллигенция в России. М., 1991. С.109-110,113-115.

76. О “неприлично низком уровне жизни” см.: *Жувенель Б. де.* Этика перераспределения. М., 1995.

77. *Головаха Е., Панина Н.* Социальное безумие. Киев, 1996.

78. *Лунеев В.В.* Рыночная экономика и преступность // Общественные науки и современность. 1996. № 3. С. 40.

79. *Слепухин Ю.* Время надежды // Век XX и мир.1988. № 1. С.8.

80. *Коэн С.* Бухарин: Политическая биография. М., 1988. С. 378-379, 399.

81. *Кестлер А.* Слепящая мгла // Нева. 1988. № 8. С.111-112.

82. *Панарин А.С.* Какое президентство ждет Россию // Этика успеха. 1995. Вып.5; *Панарин А.С.* Потенциал и лимиты политики державности в “новом курсе”// Этика успеха. 1996. Вып.7; *Панарин А.С.* Политический потенциал идеи народного капитализма // Этика успеха. 1996. Вып.9.

83. Московские новости. 1989. 23 июня.

Том второй

**АКСИОЛОГИЯ И
ПРАКСИОЛОГИЯ
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИГР**

Часть первая

МЕТОДОЛОГИЯ

После того, как мы ознакомились с основными теоретическими положениями этики политического успеха, вникли в историю возникновения, уничтожения и начала ее возрождения в России, пришла пора проанализировать состояние политического этоса, выявить возможности воздействия на него, обобщить наш практический опыт. Такая задача обязывает прежде поставить вопросы методологического свойства. Вероятно, эту часть второго тома *можно* было бы назвать, имея в виду значительную степень академической самостоятельности и тематической самодостаточности, “специальной”.

Глава одиннадцатая

ИГРЫ, В КОТОРЫЕ ИГРАЮТ ПОЛИТИКИ. ПОЛИТИКИ, КОТОРЫЕ ИГРАЮТ В ИГРЫ

Вводные замечания о плюсах и минусах “игрового” подхода к политике

Метафорическое название этой главы, перекликающееся с известными книгами Эриха Берна [1], скрывает за собой содержание, имеющее весьма отдаленное отношение к задачам психотерапии. Назначение метафоры - представить нашу гипотезу о “триединстве” таких характеристик человека, как “*хомо политикус*”, “*хомо люденс*” и “*хомо моралес*”.

Игра трактуется здесь как один из основных феноменов человеческого существования, как вид человеческой деятельности, способный воспроизвести все другие ее виды благодаря, во-первых, “двуплановости” (условности и серьезности одновременно) и, во-вторых, интеграции в одно целое самоценности игрового мироотношения, самовыражения внутренних сил личности и - результативности; прав - и свобод; импровизации - и организации.

Мораль здесь - способ освоения действительности, синтезирующий аксиологические и праксиологические критерии человеческого выбора в целостном акте поступка. Практиологические аспекты морального выбора, как мы уже подчеркивали ранее, - не просто “технология”, “инструментарий”, “средство”, они еще и самоценны в собственно моральном отношении.

Повторим тезис из Вводного раздела, что в моральном выборе отчетливо представлены черты личности “хомо люденс”. Это субъекты инициативные, предприимчивые, рискованные, обретающие ничем не заменимую радость в достижении цели, черпающие наслаждение от игры шансов как в борьбе, так и в сотрудничестве, в счастье успеха и в мужестве поражения. Достойные успеха, они способны и выдержать его; счастливые в напряжениях жизненной игры, они сознают свои способности востребованными избранной ими же самими судьбой, личным призванием. Бремя и счастье морального выбора - это и бремя и счастье игры.

Искрящий контакт соединения черт “хомо моралес” и “хомо люденс” в приложении к *этике политического успеха* неизбежен уже потому, что культивирование игровой природы политической деятельности приводит, с нашей точки зрения, к обретению “человеком политическим” признаков этического пассионария. В игре как испытании всех заложенных в ситуации жизненных сценариев, в игре как сверхсвободе человек совершает больше, чем ему самому “надо”. В этом отличие пассионария от “менеджера-оптималиста”. И игра помогает совершить нравственное открытие - в “политическом менеджере” (речь идет не о профессии, а об образе и стиле жизни) обнаруживается пассионарий.

Гипотеза о “триединстве” содержит, на наш взгляд, и профилактическое средство против распространенного представления о “честной игре” просто как “игре по правилам”. В практических применениях политической этики (как, кстати, и этики предпринимательства) действительно существует соблазн свести этику к чисто конвенциональным нормам и тем самым *спровоцировать* политику на циничное понимание успеха. Правда, если жульничество не выгодно, а соблюдение правил (“честность”) дает эффект благодаря хорошему имиджу, то можно играть и по правилам. Однако это скорее условный императив - минимум, без которого мораль повисает в воздухе над грешной землей, не востребована земной жизнью. Уверенность в самодостаточности этого минимума может “разбудить” в нем ген аморальности и породить ненадежность политической этики с точки зрения общечеловеческих нравственных ценностей.

Игра - не только “игра по правилам”. И даже не столько “игра с правилами” как одна из черт моральной рефлексии. За “игрой с правилами” должна стоять Большая Игра, игра как экзистенциальный феномен, оправдывающий само дело, открывающий человеку смысл его дела, его земного призвания.

Мы полагаем, что игровой подход к этике политического успеха - одно из средств противостояния аморализму, кроющемуся в абсолютизации роли конвенциональной стороны “правил игры”. Он помогает демифологизировать конвенциональное начало, возвысить условный императив до качества быть средством реализации *категорического императива успеха*.

Хочется верить, что необходимость в настойчивом и обстоятельном оправдании решения включить главу об Игре в книгу по этике политического успеха будет существовать не вечно - стоит только обществу “дорости”, наконец, до осознания роли игровой культуры в развитии человека в целом, “политического человека” - особенно. Однако сегодня игровой подход - все еще “не осознанная необходимость” как для зарождающейся этики гражданского общества, так и для собственно политической этики. В лучшем случае, сегодня она - “осознанная возможность”.

Поэтому, все же выдвигая нашу гипотезу о “триединстве” при таком диагнозе и рискованном прогнозе - ведь сам Й.Хейзинга с сожалением отмечал исчезновение игровой установки в современной культуре [2], - мы апеллируем к тем тенденциям современной действительности, которые позволяют зафиксировать сохранение и даже развитие игрового феномена - разумеется в самых разных его формах и масштабах.

На наш взгляд, эта тенденция возрождается в России. Речь идет о новом возрождении, ибо аналогичный период уже был в нашей истории. Как отмечают П.Вайль и А.Генис, “советское общество дохрущевского периода было серьезным. Оно было драматическим, героическим, трагическим. Оно, как басня, имело свою мораль. 60-е искали альтернативу этой модели. Они просто заменили знаки. И общество 60-х стало несерьезным. Продуманное, ответственное, целеустремленное отношение к жизни привело к катастрофе, о

которой народу рассказали в 1956 и 1961 годах. Естественно, что выход из тупика следовало искать в противоположных мировоззренческих установках” [3].

Основные признаки тенденции возрождения? Во-первых, по мнению этих исследователей, “в карнавализованном обществе 60-х” рушились незыблемые устои. Во-вторых, “несерьезное стало важнее серьезного, когда досуг преобразовывал труд, когда дружба заменила административную иерархию, трансформировала и всю систему социально-культурных жанров” [4].

Очередная смена эпох - и смена знаков. Застой. Перестройка. И вот ситуация с игровым потенциалом советского ТВ в ее динамике. “Пуританское советское ТВ к играм и викторинам относилось всегда с подозрением, - пишет критик Л.Польская. - “Оттепель” и “Застой” предложили по одной суперигре: “КВН” и “Что? Где? Когда?” - и только. Совсем обойтись без них трудно - ТВ выглядело бы как-то сиротливо и кособоко” [5].

Сравнивая три игры: “КВН”, “Что? Где? Когда?” и “Поле чудес”, - критик показывает процессы формирования суверенной личности в процессе демократизации самой идеи субъекта игр. “Простодушная игра” несет с собой, полагает Л.Польская, симптомы нового, “другого” ТВ. Понимая, что “Поле чудес” куда примитивнее первых двух игр, она все же считает новую игру в определенном смысле выше. “В этом парадокс - впрочем, объяснимый. “Поле” делает то, чего не смогли предшественники: оно разбивает толпу на отдельные единицы. Игра - это телевизионное “наивное искусство”, тот низкий жанр, без которого не может обойтись культура. Выходя в “Поле чудес”, игрок побеждает ... судьбу, которая расчертила ему однообразный бег по кругу”.

На смену элитарности “эрудитов” и “знатоков” (не забыть, тем не менее, что карнавальность и первой, и второй игры несла с собой способ противостояния “серьезной” системе, форму воли или вольности в тоталитарном пространстве) пришла игра, снявшая преграду непричастности между сценой, экраном, с одной стороны, и массовым зрителем - с другой.

“Человек, оказавшийся перед волчком - посланец того, кто остался у телевизора, - пишет Л.Польская. - Соревнуется ли зритель (мысленно) с игроком, ревнует ли к успеху, злорадствует ли по поводу неудачи или высокомерно улыбается, угадав слово на два хода раньше, - он все время в игре. Для тех, кто попал на телеэкран, она становится реальностью. Для оставшихся дома реальностью становится новое, не всегда осознанное отождествление с игроком. Они вполне могут поменяться местами. Наступает момент, когда зритель - пусть один из сотни тысяч - понимает, что сам может встать хозяином у дверцы выигранного автомобиля. И тогда он встает с дивана”. И этот шаг, сделанный по своей воле, автор считает “едва ли не революционным” для советского человека, “катастрофически отученного предпринимать любые не запланированные рутиной жизни действия. *Он понял прозрачный намек игры: каждый кузнец своего счастья*” (курсив наш. Авт.).

Примем вывод автора в целом - здесь не место обсуждать меру адекватности пафоса по поводу шага от дивана навстречу автомобильному

призу. Тем более, что сама Л.Польская вполне трезво предупреждает, что, предлагая выбор между продолжением игры и поощрительным призом, “Поле чудес” ставит игрока перед “самой страшной для советского человека дилеммой” - риск, за которым или автомобиль или ничего... либо хотя бы и импортный пустяк, но гарантированный, здесь и сейчас.

Самое важное для нашей гипотезы - найти прецеденты не просто возрождения тенденции, но и оценки ее *нравственного потенциала*. Ведь игровой феномен может быть и жертвой. Например, тоталитарное общество насаждает аморальные игры, извращенные формы игры - духовное манипулирование, социальное лицемерие, политическое фиглярство. Да и современная политическая ситуация переходного периода дает основания для акцентирования в рассуждении об игровом феномене понятий скорее негативного толка.

“Впечатление такое, что наша действительность заигралась”, - замечает критик Ю.Богомолов по поводу театрализации политической жизни [6]. Автор показывает, что уходят в прошлое способы театрализации политической деятельности застойного периода, когда тоже хватало театральности. “Публичное поведение в тоталитарном режиме не предполагало игровых отношений между теми, кто облечен властью, и теми, кто ею обречен. Для первых существовал регламент должностного возвышения. Для вторых - регламент рабского повиновения”.

Затем Ю.Богомолов оценивает три сменяющих друг друга типа театрализации политики. “Оттепель дала импульс процессу “десемиотизации” наших лидеров, - пишет он. Хрущев в какие-то моменты обнаруживает признаки естественной характерности. Конец оттепели означал приостановку реформы политического театра. Брежнев являлся на публику как символ государственной власти, но вовсе не как субъект оной. С началом перестройки очеловечивание первых лиц государства возобновилось с невиданной прежде силой”. Однако именно это возобновление и вызвало у автора впечатление-диагноз: “заигралась”. В чем же это проявляется? При Сталине “в ходу были мифотворческие забавы, сейчас мы ступили на почву бульварной литературы. И никак не можем вступить на почву действительности”, - заключает автор.

И, наконец, последний сюжет, в котором, как и в предшествующем, фиксируется нравственная противоречивость игрового феномена в сегодняшней жизни. Рассуждая о специфике отечественной ситуации, И.Мартынов использует ряд игровых понятий для того, чтобы показать политическое и моральное распутье - правила игры в этой ситуации либо не ясны, либо неприемлемы. “Россия во мгле? Врешь, мужик. Россия в Мыле! Россия хрипит, и топчет, и скачет, как шарашливая лошадь по степи, зноем раскаленной. И все по кругу, все по кругу. И масть у нее каждый раз почему-то новая, только у седока-наездника лицо неизменное, и где-то я его видел... Нет времени вспомнить, голова идет кругом, в глазах рябит. Делают ставки лифтеры в смокингах, гетеры в “Мерседесах”, коммунисты в джинсах. Ну объясните же

правила! Как играть в эту чумовую игру? Откуда мы взялись, куда скачем и за что призы? Молчат, заклинило умы гонкой, останови - умрут” [7].

Разумеется, нам еще предстоит определить свою позицию в дискуссии о смыслах понятия “игра” - иначе и замысел главы окажется безосновательным, начиная с ее заглавия. Но первое, что можно и нужно сделать незамедлительно, это обострить вопрос: совместима ли характеристика политической жизни в понятиях игровой деятельности с природой самой игры, с природой политики, с природой политической этики? Ведь не только обыденному сознанию политика - как суперконцентрированная утилитарная деятельность - представляется чем-то противостоящим “несерьезной”, “бесполезной” игровой культуре, которая скорее отождествляется с “игрой в бисер”?! А если и не противопоставляется, то не для того ли, чтобы изъять политический этос из сферы действия ценностей и норм общечеловеческой морали, изъять, а затем “дисквалифицировать” от имени морали?! И в дополнение ко всем этим вопросам: не ломимся ли мы в открытую дверь?

Разделим наш пока предварительный ответ на две части. И снова обратимся к типичным сюжетам.

Первый из них может выглядеть весьма случайным. В статье “Если уж мы влипли в этот сумасшедший КВН...”, опубликованной в “Московских новостях” (1994, № 9), депутат Госдумы Юлий Гусман постарался показать сходство Думы и КВН. “Тут совпадение полное, до смешного”, - полагает он. Разумеется, одному из основоположников КВН нетрудно применить схему сравнения. “Присутствуют все элементы. Есть приветствие. Предполагалось, что приветствовать будет президент. Приветствовал премьер. К приветствиям относятся и обращения фракций - в пятницу в последний час заседания. Есть разминка. Это - право предлагать любые вопросы, связанные с повесткой дня. Лучшие вопросы, наиболее остроумные и яркие, Дума голосованием принимает. Есть конкурс капитанов - конкурс лидеров фракций. Сегодня, конечно, самый яркий капитан у фракции ЛДПР. Можно его не любить, но это так. Есть конкурс болельщиков - это хлопающая и работающая масса. Лучшая команда болельщиков у ЛДПР. Капитан их болельщиков - Марычев. По общему мнению, если он кому-то и проигрывает, то мне - капитану болельщиков “Выбора России”. Есть выездной конкурс, когда дается задание: поехать, проверить, вернуться, доложить. Есть домашнее задание - это парламентские слушания, когда готовится заранее какая-то тема”.

Квалифицируя себя как импровизатора, человека эстрады, человека митинга, Ю.Гусман говорит, что ему “веселее наблюдать, как депутаты состязаются в остроумии, нежели выверять каждую запятую в поправках к законопроекту. В зале атмосфера “упоеания в бою”: гарцуют кони, прохаживаются хорунжии, штандарты партий развеваются, вот поскакал гонец Жириновского, вдалеке протрубили аграрии. Это вам не скучные законы обсуждать”. Но переходя на серьезный язык, отмечает, что “ничего, кроме стыда”, такая Дума у него не вызывает. “Дума, которая похожа на театр и КВН, не может вызывать к

себе уважения. А не вызывающий к себе уважения законодательный орган начинает страдать комплексом неполноценности ...”.

Итак, игровой подход здесь, казалось бы, используется лишь для негативной характеристики политического института. Но выводы автора из его же полушутливого “врачебного заключения” на тему “Дума как диагноз” несколько иные: “Если уж мы воспринимаем политику как некие подмости (а это так, потому что политика - часть жизни), если уж мы влипли в этот сумасшедший КВН, то придется осваивать эту профессию даже тем, кто никогда не собирался быть актером и привык к нормальной жизни. Это вовсе не значит, что Гайдар должен кричать у микрофона. Но найти свою форму общения с людьми (как, кстати, ее нашел Жириновский), научиться давать людям надежду, а не предлагать им все время жевать горькую пилюлю, даже не запивая водой, ему придется. Это можно считать ложью, а можно - кавказским тостом. Хороший тамада за кавказским столом отличается от плохого. И тот, и другой говорят гостям и тостуемому приятные вещи. Но умный тамада всегда найдет при этом возможность сказать правду. Он не скажет пожилой даме, что она - роза стола, он будет говорить о мудрости. Он не будет говорить о мудрости молодой глупышке, он скажет, что она - роза стола”.

Кто не поймет нашего желания немедленно прокомментировать столь яркий - и столь противоречивый - текст? Увы, в рамках вводных замечаний в нашу задачу не входит оценивать, насколько адекватно сравнение игры и политики в зарисовках автора. Достаточно зафиксировать говорящую саму за себя попытку такого сравнения.

Следующий сюжет вряд ли покажется совсем случайным. Энциклопедический словарь “Политология” определяет *политическую игру* (этому понятию посвящена отдельная статья словаря) как “метафорическое наименование политического маневрирования, интриги, закулисных сговоров, сделок, скрытых замыслов за фасадом безупречных политических отношений” [8, с.263].

Вообще-то с характеристикой понятия “политическая игра” в этой версии можно было бы согласиться, если бы за ней не стояло вполне определенное понимание игрового феномена вообще и его преломления в политической деятельности - в частности.

Отмечая, что политику нередко отождествляют с игрой в более широком смысле, авторы энциклопедической статьи не возражают против такого “нестрогого словоупотребления”, но определяют возможные, с их точки зрения, границы используемой метафоры. “Переносный, метафорический смысл понятия “*политическая игра*” состоит в достаточно тонком, хотя и точном различии между политикой (политическим действием и творчеством) и игрой. Суть этого различия состоит в самом понятии игры. Строго говоря, игра является имитацией деятельности, а не самой деятельностью, которую она в определенной (игровой) форме воспроизводит (т.н. имитационные игры), причем также в форме некоторой деятельности, но игровой” [8, с. 263].

Даже не обсуждая концепцию двуплановости игры, сводя игру лишь к условности, не учитывая экзистенциальные аспекты игрового феномена, авторы далее утверждают, что “в политике нет аналогичных ситуаций: игровой имитации, тренировки, подготовки к реальной деятельности как таковой и т.п.” (там же).

А вот, на наш взгляд, столь же спорное, сколь и категоричное, суждение авторов этой статьи: “Игровая деятельность, как и любая другая, подчинена правилам, часто очень строгим, включающим ограничение игрового пространства (игровое поле, спортивная площадка, шахматная доска, район маневров т.п.) и время игры. Политическая игра не знает правил такого рода. Это игра без правил, единственное регламентирующее правило в ней - нормы морали, формальные или негласные соглашения, чувство меры и т.п.” (там же).

Авторы, казалось бы, понимают причины распространения игрового понимания природы политики. “При всем принципиальном различии политики и игры основание совмещать их тем не менее есть, что и побуждает многих *обманываться метафорой* (курсив наш. Авт.). Это структура присущих им отношений, в которой сосредоточен сам смысл игры и политики: наличие двух или нескольких состязающихся сторон; чередование успехов и неудач, выигрышей и проигрышей; погоня за выигрышами и выгодами; отбор сильных и слабых; чемпионат (состязание равных, решивших держаться до конца); нарушение равновесия вторжением вероятности и случайности; разрушение соответствия между затратами и результатами; увлечение и азарт в расчете на выигрыш; или, что то же, бессмысленность (иррациональность) процесса, основанного на вере в удачу; динамизм, импровизация, риск; культура блефа, обманных маневров, возможность скрывать подлинные намерения и вводить противника в заблуждение...” (там же). Итак, авторы понимают основания, но не принимают последствия.

Таким образом, нам вряд ли удастся уклониться от оценки адекватности сравнений Ю.Гусмана - хотя сразу же можно сказать, что в нашем анализе “игровых” аспектов темы речь идет скорее об “идеальном типе” политика, который не тождествен ни “конкретным случаям”, “ни средней величине”.

Невозможно ограничиться только констатацией противоречивости, спорности и прочих квалификаций, которые с точки зрения нашего подхода можно и нужно предъявить цитированной позиции авторов политологического словаря.

Но актуализировать нашу гипотезу с помощью приведенных в вводных заметках прецедентов игрового подхода к политической этике, кажется, удастся. Во-первых, вряд ли теперь надо долго доказывать, что уж в открытую-то дверь мы не ломимся. Во-вторых (и это более важно), теперь стало достаточно понятным наше решение не уклоняться от обстоятельного исследования лишь затронутых выше вопросов и посвятить им специальную главу.

Завершая вступительные замечания, заявим о стремлении совместить два принципа: принцип, акцентирующий в игре *свободу выбора*, и принцип, акцентирующий ее *правила*. В самом же процессе совмещения попытаемся

выделить роль игровой установки в создании, принятии и исполнении жизненных “правил игры”. В соответствии с этим стремлением алгоритм наших последующих рассуждений включает следующие этапы: исследование “метафизики игры”, характеристику игровой природы морали, “аттестацию” идеального политика как “хомо люденс”, анализ связи всех элементов “триединства” как целого, фокусирование темы монографии на этом целом.

И, наконец, вопрос вопросов методологического раздела - мостик между концепцией игры, развиваемой в этой главе, и концепцией игрового метода гуманитарной экспертизы, рассматриваемой в двенадцатой главе.

Метафизика игры

“Игровой космос” - понятие, используемое уже в античности. “Хомо люденс” - “новояз”, введенный современным культурологом И.Хейзингой, так и назвавшим одну из своих книг [9]. Что общего между этими понятиями, разделенными веками? Какую тенденцию обнаруживает их преемственность?

В “Толковом словаре” В.Даля термину “игра” посвящены две страницы убористого текста, вместившие самые разные значения: игра с огнем и игра судьбы; развлечение; игра природы; исполнение роли в пьесе; играть руководящую роль; играть в жизнь и играть с людьми и т.д. Разумеется, источником для современного исследователя является не только словарь В.Даля. Более того, автор толкового словаря не мог и предугадать содержания современных словников, тезаурусов, справочников по кибернетике и психологии, экономике, политологии, педагогике и т.п.

Исследователи, которые либо свели метафизику игры к уровню конкретного познания, либо вовсе не ставили перед собой задачу исследовать эту тему, включают в перечень видов игровой деятельности игры военные и детские, экономические и спортивные, театральные и управленческие, обучающие, клоунаду и т.п. В специальных классификациях выделяются игры естественные и искусственные, а в рамках первых - игры животных и детей, в рамках вторых - игры имитационные и спортивные, деловые и дидактические и т.п. Поэтому сегодня мы имеем весомые основания использовать характеристики Платона и Хейзинги и принять формулу “вся жизнь - игра”.

Этико-прикладному исследованию феномена игры - в нашем случае речь идет о феномене политической жизни как игры - предстоит прежде всего самоопределиться в современных философских, культурологических, антропологических теориях, включивших категорию игры в высшую иерархию. Так, например, игровой феномен рассматривается Е.Финком в качестве одного из пяти основных феноменов человеческого существования - наряду с трудом, любовью, смертью, господством [10]. Этический интерес, казалось бы, должен побуждать нас к отбору для анализа лишь тех подходов, которые акцентируют нравственно-развивающий потенциал игровой деятельности. Но ведь любая версия метафизики игры не может не содержать этого акцента.

Сошлемся еще раз на Е.Финка, который в характеристике игры не смог (и не хотел!) обойти тему ее *подлинности-неподлинности*. Отметив уже

упомянутый статус игры как одного из атрибутов человеческого существования, автор пишет: “Игра охватывает не только себя, но и четыре других феномена. Содержание нашего существования вновь обнаруживается в игре: играют в смерть, похороны, поминовение мертвых, играют в любовь, труд, борьбу”. Однако “здесь мы имеем дело вовсе не с какими-то искаженными, неподлинными формами данных феноменов человеческого бытия, их розыгрыш - вовсе не обманчивое действие, с помощью которого человек вводит других в заблуждение, притворяется, будто на самом деле трудится, борется, любит. Эту неподлинную модификацию, лицемерную симуляцию подлинных экзистенциальных актов часто, но неправомерно, зовут “игрой”. В столь же малой степени это игра, в какой ложь является поэзией. Ведь произвольным все это оказывается только для обманывающих, но не для обманутых. В игре не бывает лживой подтасовки с намерением обмануть”, - утверждает Е.Финк. А завершает рассуждение мыслью, имеющей прямое значение для понимания игры как “двупланового поведения”. По его мнению, “игрок и зритель игрового представления знают о фиктивности игрового мира. Об игре в строгом смысле можно говорить лишь там, где воображаемое осознано и открыто признано как таковое”, и “это не противоречит тому, что игроки иногда попадают под чары собственной игры, перестают видеть реальность, в которой они играют...” [11].

Единой концепции “метафизики игры” в известной нам научной литературе, видимо, нет. И чем больше различных отраслей знания и исследователей с различными методологическими подходами подключаются к процессу познания игровой культуры, а тем самым - к освоению “игрового космоса”, тем более разнообразными становятся определения, позиции, выводы.

Для целей нашего исследования и для рассмотрения гипотезы о “триединстве” целесообразно, во-первых, сконцентрировать внимание на тех концепциях, которые пытаются связать (или, наоборот, развести) категории “игра” и “свобода выбора”; во-вторых, выделить во всем многообразии концепций видов и форм игровой деятельности кросс-подход к трактовкам игры как “play” и как “game”, благодаря которому в природе *игры* можно обнаружить аналоги природы *морали* - с присущей морали диалектикой норм-стимулов и норм-рамок, с ее правилами и конфликтом между ними как движущей силой морального выбора, с ее вечной проблемой совмещения категорического и условного императивов.

Предмет нашего особого интереса - тенденция сближения концепций М.Бахтина и Й.Хейзинги. Это сближение способствует - по принципу дополнительности - формированию гибкого симбиоза “play” и “game”. Характеризуя эту тенденцию, М.Эпштейн отмечает, что в ней “критике подвергается как жесткая упорядоченность социума, так и стихийность чисто природного существования. Игра развивается на границе общественной и природной сфер, не совпадая ни с одной из них. Достойный человека удел, оберегающий и отграничивающий его как от натуральной серьезности животного, так и от официальной серьезности чиновника, обретается только в игре, а это и есть собственно область культуры” [12]. Возможно, исследование в

духе этой тенденции имеет шанс создать метод освоения противоречивой природы этики политического успеха в единстве бремени (“серьезное”) и счастья (“радость”) морального выбора.

Итак, каков потенциал тех исследований метафизики игры, которые с наибольшей силой акцентируют нравственно-развивающий потенциал ее природы? Герменевтическое изучение игры привело Х.Г.Гадамера к выводу о том, что “субъект игры - и это очевидно в тех случаях, когда играющий только один, - это не игрок, а сама игра. Игра привлекает игрока, вовлекает его и держит” [13]. За этим утверждением философа стоит его представление об общей черте, которая свойственна отражению сущности игры в игровом поведении. “Всякая игра, - пишет Гадамер, - это становление состояния игры. Очарование игры, ее покоряющее воздействие состоит именно в том, что игра захватывает играющих, овладевает ими. Даже если речь идет об играх, в которых стремятся к выполнению самостоятельных задач, существует риск, что игра может “пойти” или “не пойти”, что удача всегда может сопутствовать игроку или уходить и возвращаться, что и составляет всю привлекательность игры. Тот, кто таким образом искушает судьбу, на деле становится искушаемым”, - заключает Гадамер [14].

Отнесение игры к основным экзистенциальным феноменам, характеристика игры как исключительной возможности человеческого бытия (“...ни животное, ни бог играть не могут”, - полагает Е.Финк [15]) требуют от исследователя противостояния обыденным, будничным толкованиям игры, препятствующим постановке вопроса о ее бытийной сущности. На этом пути важно прежде всего показать имманентные игровому действию цели. “Если мы играем ради того, чтобы за счет игры достичь какой-то иной цели, если мы играем ради закалки тела, ради здоровья, приобретения военных навыков, играем, чтобы избавиться от скуки и провести пустое, бессмысленное время, - тогда мы упускаем из виду собственное значение игры” [16].

Не слишком ли категорично? Нет ли здесь “другой крайности”, когда из опасения перед вульгарными или просто прагматическими версиями вольно-невольно абсолютизируется самоценность игры? Иначе говоря, не разорвана ли при таком подходе связь между “метафизикой” и “физикой”?

Нам представляется, что речь идет скорее о приоритете, чем об абсолютизации. И действительно, для нравственного развития личности обучение на игровом тренажере менее значимо, чем катарсис. И потому вполне понятен скепсис исследователя, увидевшего в игре “не просто калейдоскоп игровых актов, но прежде всего основной способ человеческого общения с возможным и недействительным”, а потому и в игровом удовольствии - “не только удовольствие в игре, но и удовольствие от игры, удовольствие от особого смещения реальности и нереальности” [17], скепсис философа в отношении к “использованию игры”, “приспособлению” ее к интересам какого-либо дела.

Вслушаемся в аргументы, за которыми стоит далеко не зряшное отрицание. “Считается, что игре воздается сполна, если ей приписывается

биологическое значение какой-то еще пока безопасной, лишенной риска тренировки и отработки будущих серьезных дел нашей жизни... Именно в педагогике обнаруживается значительное число теорем, низводящих игру до предварительной пробы будущего серьезного действия, до маневренного поля для опытов над бытием. При таком понимании игры ее польза и целительная сила усматриваются в том, чтобы в направляемой и контролируемой детской игре предвосхитить будущую взрослую жизнь и плавно через игровой маскарад подвести питомца ко времени, когда лишнего времени у него не останется: все поглотят обязанности, дом, заботы и звания. Оставляем открытым вопрос, исчерпывается ли подобным пониманием игры ее педагогическая значимость и вообще - ухватывается ли хотя бы приблизительно”, - фиксирует свой двойной скепсис Е.Финк [18]. Но он же и “закрывает” свой риторический вопрос, отвечая на него самым отказом отводить игре *только* лишнее время и прямо связывая игру и свободу.

Надо ли удивляться тому, что люди низводят основные феномены своего бытия - и не только игру, но и любовь, и труд, и ... - до их поверхностного содержания? Надо ли удивляться, что философ пытается противостоять такому редукционизму, даже если он делает это сверхполюемически? Важнее “пробиться” к его решающим аргументам - о связи игры и свободы.

Будничное представление об игре стремится противопоставить игру и серьезность жизни. Широко распространено стремление трактовать игру как отдых, паузу, праздник и т.п. Делу - время, игре - свободное время... Парадоксальный вопрос задает Е.Финк сторонникам такого представления: “Играем ли мы потому, что у нас есть свободное время, или же у нас есть свободное время как раз потому, что мы играем?” [19]. Не считая такую постановку проблемы простым “переворачиванием”, автор дает вполне строгую характеристику связи игры и свободы: “Мы говорим, что у нас есть свободное время, поскольку и пока мы играем. Свобода времени теперь означает “не пустоту”, а творческое исполнение жизни, а именно осуществление воображаемого творчества, смысловое представление бытия, в известной мере освобождающее нас от свершившихся ситуаций нашей жизни” [20].

С очевидностью напрашивающийся здесь вопрос о реальности такого освобождения находит у автора вполне логичный - для его исходных позиций - ответ. “Такое освобождение, конечно, не реально и не истинно, мы не избегаем последствий своих поступков. Человеческая свобода не в силах перескочить свои последствия. Но у нас есть выбор, в сделанном выборе со-установлена цепочка следований. В игре у нас нет реальной возможности действительно возвращаться к состоянию перед выбором, но в воображаемом игровом мире мы можем все еще или снова быть тем, кем мы давно и безвозвратно перестали быть в реальном мире...” [21].

Знатоки диалектико-материалистической теории человеческой свободы! Затаив дыхание, удержим критический порыв. Все равно предъявленные автором взгляды богаче, эвристичнее в целом, чем те моменты его позиции, которые требуют полемики. Зафиксируем и то, и другое для дальнейшей

работы, сказав себе здесь, что метафизика игры не дает нам “низвести ее до ...”. Впрочем, конкретно-научные исследования игры забывают - или не успевают? - “возвысить ее до...”. Вряд ли это реальное противоречие можно просто “снять”. Важнее не забыть о нем.

В то же время важно видеть и пределы достоверности тех подходов в жанре “философии игры”, которые недостаточно учитывают эффект *противоречивости* игровой деятельности, ее двуликости. В нашей литературе в этой связи уже предпринимались попытки критики “новой этики”, построенной на “игре в жизнь”, проведен анализ ряда работ, в которых “игровой момент жизни как важный перекресток моральных ценностей абсолютизируется и тем внутренне опустошается, морально обесценивается” [22]. Нельзя не услышать - как нельзя и переоценивать - предупреждение о развитии неморальной “людологии”, которая, в отличие от нравственно обогащенных исканий создателей философии игры (Гадамера, например), “превращает культуру в сферу функционирования некоего духовного уровня и жизненных ориентаций, смотрящего на мир как на игровую площадку, а на людей как на временных партнеров или соперников” [23].

И все же более всего нас должна занимать проблема освоения “метафизики игры” на том уровне предмета, где доминирует “физика”: разве не в понимании соотношения игры и дела, роли игры в деле, сторонников этико-прикладного интереса к исследованию игры ждут наибольшие трудности? Как разрешить не поддающееся никаким умолчаниям и хитростям противоречие между самоценностью игровой деятельности, самодостаточностью ее нравственно-развивающего начала, с одной стороны, и конфликтующей с этим началом рациональной природой политической деятельности?

“Хомо моралес” как “хомо люденс”

Очевидно, сам по себе процесс “скрещивания” изобретенного Хейзингой “новояза” с древним “хомо моралес” еще не является свидетельством возникновения новой парадигмы?! И все же *гипотезу* об общей “тайне” природы морали и природы игры выдвинуть таким способом вполне возможно. Переиначив известное выражение “понять природу игры - значит понять природу детства”, скажем, что, поняв природу игры, можно глубже проникнуть в тайну природы нравственной жизни. Общность их тайны - и в известной незаинтересованности основного мотива, и в самоценности развивающегося процесса, и в роли правил честной игры, и в значимости “играючи” достигнутого результата.

Попытаемся прояснить этот тезис обращением к общеизвестной сентенции “жизнь - театр”, стремясь теперь выявить за игровыми кодами реальной действительности *нравственно* значимые диагнозы и прогнозы.

Вот уже несколько веков живет крылатая фраза о мире-театре, в котором люди-актеры играют в свою или в чужую жизнь [24]. Но разве это не вполне актуальная мысль? Приведем лишь несколько свидетельств. Первое

принадлежит драматургу, но рассуждает он не только о собственно театральной жизни.

Положительно ответив на вопрос “Хорошо это или плохо?” относительно театрализации нашей жизни, А.Галин подчеркивает необходимость понять то, что именно будет играть общество: новую пьесу или “введет в старую новых исполнителей?”. И далее отмечает в этой ситуации выбора характерные признаки переходного периода: “Мы пока не играем, мы только учим текст. Пытаемся понять: кто за кем говорит, кто громче, кто тише. Репетируем, очень пока еще бестолково. До премьеры не скоро. Затянулось распределение ролей. Меняют исполнителей - и это бывает в театре. Как жадно слушают актеры новые роли! Один вопрос на лицах: что мы будем играть? Что мы будем жить? Страшно бывает, когда актеров разочаровывает пьеса. Для них тогда это нудная пытка, замазанная гримом. Но куда страшнее разочарование людей жизнью, ролями, которые им предлагает она” [25].

Нам важно понять не просто реальность, скрытую за образной характеристикой “жизнь - театр”. И даже не просто оценить степень того, насколько эта характеристика современна. Это легко. Но вот какое отношение она имеет к действительным ситуациям *морального* выбора - если люди трактуются лишь как исполнители навязанного им спектакля по пьесе, написанной не ими?

Может ли этот вопрос быть риторическим? Вряд ли он возникает в современной культурологической рефлексии только из любознательности. Более вероятно, что за актуализацией такой метафоры стоят нравственные - на мировоззренческом, смысложизненном уровне - искания наших современников.

“На евразийском нашем ветрище живем, словно играем, и играем, как живем”, - пишет Л. Аннинский. И размышляет о вполне общезначимых реалиях, характеризующихся “невероятной сценичностью”. Автор ставит “типично русский запредельный вопрос” - что такое реальная действительность; иначе говоря, что реально при такой невероятной сценичности современной жизни - что “реальность”, а что “зеркало”?

В чем сомнения автора? “А может, как сказал Пастернак, в России “нет действительности”? Может, та объективная реальность, что дана нам в ощущениях, - лишь часть, лишь одно из выявлений того целостного, что в нас и что тоже есть реальность? И в эту целостность дух входит отнюдь не на правах зеркала... привыкли?” [26].

Разумеется, пытаясь различить реальность и зеркало, автор рассуждает не о теории отражения. “Меня волнует сейчас вековой опыт нашей практической народной жизни, которая отливается в мистериях, в этой тотальной театральности, в этом голошении гласности на весь свет, в этом всенародном смотре друг на друга (чтобы кто чего не утаил?), в глобальных, на весь мир, “смотрящих” новорожденной нашей демократии (чтоб без обмана!), - пишет Л. Аннинский. - В чем причина такой невероятной сценичности нашей теперешней жизни...?”.

Не продолжая цитату, зафиксируем более важный здесь для нашей темы факт размышлений об этическом измерении игрового начала жизни.

И, наконец, еще одно рассуждение - В.Топорова, которое, возможно, не просто продолжит выстраиваемый ряд, но дополнит предшествующие характеристики игровой деятельности благодаря трактовке шестой части земной суши (цитируемая статья написана в 1991 году - примечание авторов) как сцены, действие на которой разворачивается не только перед человеком, но и *с ним самим и в нем самом* - “так осужденный на медленное умерщвление в одном из рассказов Кафки прочитывал письма приговора своей изъязвленной спиной, куда одна за другою вонзались иглы” [27]. Сценичность современной жизни нашего общества автор считает по целому ряду признаков уникальной, ни на что не похожей, затрудняющей любые аналогии. Каждый из этих признаков имеет, на наш взгляд, отношение к признакам изменяющейся ситуации нравственной жизни.

Эта уникальность заключается прежде всего в том, что “на сцене идет не один спектакль, а несколько десятков спектаклей сразу. И в широчайшем жанровом диапазоне - от высокой трагедии до райка. Каждый спектакль идет по своей пьесе, но название ее ни в коей мере не соответствует содержанию, роли, реплики и репризы порядочно перепутаны, один спектакль играется сразу с третьего акта, другой увяз в прологе, третий еще только репетируют, к четвертому строят макет и малюют задники, пятый из кукольной комедии на твоих глазах превращается в драмбалет, шестой отменен, в седьмом суфлер перекрикивает артистов, восьмой почему-то перенесен в буфет, в девятом изъясняются макароническим текстом, десятый и одиннадцатый готовят к длительным зарубежным гастролям”.

Не потеряем за иронией авторской интонации (она почти сатирична) реальный социально-политический и морально-политический контекст нашей жизни. И, прервав в самом начале процесс предъявления широкой панорамы (там еще и характеристика составов актеров с точки зрения их профессиональной и моральной культуры, и экспертиза содержания пьес и т.п.), отметим смоделированный автором характерный диалог критиков. Театральный критик, испуганно ежащийся при звуке выстрелов висящих на стене бутафорских ружей, стреляющих в зрительный зал, “шепчет на ухо своему боязливому коллеге: “Какой ужас! Ни одному из них не объяснена сверхзадача. Они сами не понимают, что играют”. - “А им и не надо понимать”, - возражает тот. - “Революция - это импровизация. Давайте поверим в органику их переживаний, в спонтанность чувств, а сверхзадачу мы с вами выявим и сформулируем задним числом. Ну хотя бы в антракте”.

В том же стиле В.Топоров представляет и “репертуар” сцены. Здесь и “пьеса”, которая после августовских событий шла под названием “Безумцы, казнокрады и карьеристы бьют мерзавцев, казнокрадов и карьеристов”. Другая пьеса идет под названием “Крушение Российской империи”, а на авансцене этого спектакля “с определенным опережением разыгрывается “Прибалтийская интермедия”. А в это же время “... на руинах, бутафорских и подлинных,

загромоздивших меж тем уже чуть ли не всю сцену, труппа Театра Экономического Абсурда, продолжая уже не первый сезон хоровую декламацию пьесы “Рынок”, тем же составом и в то же самое время разучивает по ролям провинциальный анекдот “Сохранение единого экономического пространства”.

Какую “мораль” можно извлечь из этого и других “игровых” анализов нашей жизни? Легче всего уже по этим трем сюжетам диагностировать и квалифицировать игровое содержание современной отечественной общественной жизни как фальшивое, “не-игровое” и, тем самым, вынести ему нравственный приговор. И действительно, опубликованная более полувека назад книга Й.Хейзинги кажется абсолютно точным пророчеством, когда речь идет об отмирании собственно игровой культуры, господстве псевдоигры и “пуерилизма”. К числу факторов, участвующих в последнем, “принадлежат вступление полуграмотной массы в духовное общение, девальвация моральных ценностей и слишком большая “проводимость”, которую техника и организация придали обществу. Состояние духа незрелого юнца, не связанное воспитанием, формой и традицией, в каждой области тщится получить перевес и слишком хорошо в этом преуспевает... Чтобы вернуть себе освященность, достоинство и стиль, культура должна идти другими путями”, - утверждает Й.Хейзинга [28].

И все же реальность опасности - это еще не приговор и потому не освобождает от задачи бережного поиска подлинно игровых элементов нравственной жизни, и не только для простого их различения от “не-игры” ради разоблачения последней, но для культивирования первой. Игровой потенциал нашего общества имеет в переходный период два вероятных сценария (за полвека после диагноза Й.Хейзинги тоталитаризм не только развился, но и начал разлагаться), и элементы игровой культуры в ее нравственно-положительном смысле не оставили наше общество вовсе, а прогноз их судьбы - не безысходен. Более того, этот прогноз зависит и от нашей “намеренности”. Ведь в анализируемом в рамках трех сюжетов феномене театральности эксперты показывают и “вековой опыт нашей практической жизни”, и стремление “актеров” играть достойные спектакли, и роль “смотрин” в том, чтобы “не было обмана” в становлении демократии...

С нашей точки зрения, основанием для актуализации идеи о совпадении характеристик “хомо моралес” и “хомо люденс” служит представление и о жизненном пути человека, и о деле, которому он служит, в их нравственных координатах - как тотальной ситуации выбора, риска, ответственности. Нравственная жизнь действительно предстает в своем развертывании как драма, в которой человек оказывается (точнее, должен быть) и автором, и актером избранного им самим жизненного сценария, автором и актером игры, имя которой - жизнь. И главное - ответ на вопрос: можно ли играть не фальшиво, не манипулировать, а выращивать в игре свободные решения? Могут ли люди уйти от взаимного цинизма кукловодов и марионеток и *играть* так же нравственно, как и нравственно *жить*? Может ли игра служить свободе, быть ею, оставаясь Добром?

Да, от принципиальной разницы игры и “не-игры” никуда не деться. И наш положительный ответ на эти вопросы опирается на тщательный анализ аргументов, выдвигаемых *против* характеристики “хомо моралес” как “хомо люденс”. Взвесим же основной набор этих аргументов, прямо или косвенно нагруженных отрицательным нравственным смыслом. При этом контраргументы классиков мировой мысли не должны вытеснять суждения наших современников, содержащие непосредственные и актуальные диагнозы и прогнозы.

Стремление к истине и справедливости требует прежде всего напомнить о трезвом скепсисе Хейзинги по поводу особых моральных надежд человечества на игру. В заключительных абзацах своей книги он писал, что человеку, у которого “закружится голова от вечного коловращения понятия “игра - серьезное”, опору взамен ускользнувшего логического следует искать в этическом” [29]. Нет, он не противопоставляет игру серьезному так, чтобы видеть моральное содержание лишь за последним. “Когда человеческая мысль обогатит все сокровища духа и испытает великолепие его могущества, на дне всякого серьезного суждения она обязательно найдет осадок проблематичного. Любое высказывание решающего суждения признается собственным сознанием как неокончательное. В том пункте, где суждение колеблется, умирает понятие абсолютной серьезности. Место старинного “Все есть суета сует” занимает, видимо, позитивно звучащее “Все есть игра” [30].

А что же дает “обращение к этическому”? Здесь, как нам кажется, автор совмещает два подхода, один из которых - скорее проблематизация для будущих критиков его концепции, рассматривающих игру как мифологему. “Игра - пишет Хейзинга, - как таковая, говорили мы вначале, лежит вне сферы нравственных норм. Сама по себе она ни добра, ни дурна”.

Но разве не более адекватной его подходу была бы квалификация игры по критерию “и добра, и дурна”?! Тем более, что далее следует адекватное заглавию книги суждение: “Если, однако, человек должен решить, предписано ли ему действие, на которое толкает его воля, как серьезное или разрешено как игра, тогда его нравственная совесть немедленно предоставляет ему мерило. Как только в решении действовать заговорит чувство истины и справедливости, жалости и прощения, вопрос теряет смысл. Малой капли сострадания достаточно, чтобы поднять наши поступки над различениями мыслящего духа. Во всяком нравственном сознании, которое основывается на признании справедливости и милосердия, вопрос “игра или серьезное”, который в конце концов остался нерешенным, навсегда умолкает” [31].

Нам представляется, что здесь автор, хотя и не возлагает на игру особых надежд, но и не признает ее абсолютного имморализма, не давая достаточных оснований толковать феномен игры как лишь уязвимый в нравственном отношении [32].

Попытаемся *понять* тех авторов, которые в попытке “приложить” игровой феномен к процессу исследовательского познания и практического освоения морали прежде всего смотрят на игру как на деятельность, смысл которой

“нагружен” отрицательными значениями. И действительно, понятия “игра” и “мораль” противоположны - если принять за первым лишь негативный морально-психологический облик неискренности, лицемерия, суррогата близости и т.д. Ведь именно против такой трактовки игры направлена, например, книга Эриха Берна, ставящего цель научить людей в процессе общения меньше “играть”, а больше быть самим собой, искать “подлинной интимности и подлинной свободы” [33]. Именно против негативного понимания смысла игры направлена весьма распространенная характеристика человека *подлинно* нравственного как человека, *не выигрывающего* в жизни.

Перейдем к анализу более конкретного уровня контраргументов. Вспоминая приведенные выше сюжеты об игровом элементе современной политической этики и смысл выражений типа “политические игры”, попытаемся не пропустить *действительных* оснований критики двусмысленности, возникающей при “игровом подходе” к политической этике. Приведем с этой целью рассуждения литературоведа Л.Сараскиной и социолога Г.Батыгина.

“Одна из самых отличительных черт революции - бешеная жажда игры, лицедейства, позы, балагана,” - писал И.Бунин в “Окаянных днях”. Прочитав его слова, Л.Сараскина предположила, что “симптом балагана слишком характерен и для нашего - времени благословенной и благодетельной гласности - общественного движения”. Предупреждая, что не стремится к обобщениям и навешиванию ярлыков, автор говорит, что на разного рода союзы и объединения, формальные и не формальные, она смотрит без должной эйфории: “Не хочется, а видишь в них зачастую и лицедейство, и позу, и бешеную жажду игры” [34].

Негативное содержание игры акцентирует Г.С.Батыгин в исследовании феномена утопии. Поставив вопрос о том, “как утопия - порождение свободной фантазии, своего рода метафора, - превращается в неотвратимую и жуткую реальность”, автор полагает, что “сама реальность становится утопией, она играет, как дети играют в воображаемую игру или взрослые в деловые игры. Очевидно, что идея, заложенная в игру, не только отражает реальность, а сама реальность являет собой материализацию духа”.

Каковы же характерные черты “театра утопии”, как играет утопия? “В качестве действующих лиц, - пишет социолог, - здесь выступают массы, и мир воспринимается как театральные подмостки. Идет игра на самоуничтожение, где нетрудно опознать идею “Бесов”. Ф.Ницше, знавший этот роман Ф.М.Достоевского, точно заметил, что безумие единиц - исключение, а безумие групп, партий, народов, времен - правило. В отличие от обычного театра, “актеры” входят в роль до самозабвения, играют самих себя, уже не имея сил остановиться, опомниться и прекратить спектакль. Сцена и зал образуют одно целое, привычная повседневность исчезает и становится иллюзорной, ее вытесняют массовая эйфория, радостное возбуждение, неотличимое от отчаяния, воля человека парализуется и снимается социальный контроль. Над всем властвует насилие” [35].

Что же после всего этого можно сказать о стереотипе “политика - грязная игра”?!

На фоне приведенных контраргументов нашей гипотезе (ясно, что они здесь далеко не исчерпаны) мы ставим вопрос в иной плоскости: а можно ли играть иначе: не манипулировать, не злодействовать, играть именно для того, чтобы не стать жертвой бесов, пешкой в чужих играх? Если мораль “хомо манипуляториса” может быть средством лишь сциентистских, прагматистских ориентаций, то, возможно, моральный потенциал “хомо люденс” в благородном смысле этой характеристики снимает дилеммы ответственности и свободы, пользы и самовыражения? Снимает (или хотя бы минимизирует их противоречие) при более конструктивном подходе к связи игры и морали: мораль не является ни альтернативой “игре”, ни беспредельным тождеством “серьезного”; включая в себя и условное, и серьезное, без каждого из этих моментов мораль неизбежно вырождается либо в догматизм, либо в релятивизм.

Наши аргументы в пользу такого рода подхода следующие. “Хомо моралес” несет в себе черты “хомо люденс”, во-первых, потому, что человек есть субъект свободы выбора с ее риском и индивидуальной ответственностью, во-вторых, потому, что человек как субъект морального выбора *играет* с моральными правилами. Человеческая деятельность с этой точки зрения выступает как свободная игра нравственных правил, а тайна свободы заключается в познании и преобразовании законов жизненной игры.

Риск здесь - не крохоборческая ставка в беспроигрышном состязании, а осознанная необходимость принять объективную неопределенность ситуации выбора и ответственность за самоопределение в меняющемся, но вечно противоречивом мире ценностей. Мораль как способ освоения мира развивает в самой себе игровую культуру как “технология” этого освоения. Столкновение традиций и инноваций (когда новое приходит в облике зла), возможность реализовать должное лишь насущными, а поэтому неадекватными средствами (“меньшее зло”), конфликт ценностей и норм внутри одной системы морали или между системами, атрибутивный риск морального выбора неопекаемого человека - все это поле игрового творчества “хомо моралес”.

Неразрывная связь нравственной культуры с “правилами игры” очевидна. Правила игры как условие такой культуры - правила подлинной игры - не являются, разумеется, сами по себе тождественными, например, правилам игры в шахматы, ибо человек, соблюдающий такого рода правила, еще не проявляет себя именно как *моральный* субъект, скорее он всего лишь праксиологически точен. Но подлинная моральная культура не может существовать вне правил игры, игрового поведения в целом.

Приведем в доказательство два типа аргументов. Первый - из книги “Хомо люденс”. Й.Хейзинга, не употребляя собственно моральных категорий, говорит о связи культуры и правил этически достоверно: “Подлинная культура не может существовать без определенного игрового содержания, ибо культура предполагает известное самоограничение и самообладание, известную способность не видеть в своих собственных устремлениях нечто предельное и

высшее, но рассматривать себя внутри определенных, добровольно принятых границ. Культура все еще хочет *играться* - по обоюдному соглашению относительно определенных правил”.

При этом, подчеркивает автор, “подлинная культура требует всегда и в любом аспекте *a fair play* (честной игры); *a fair play* есть не что иное, как выраженный в терминах игры эквивалент порядочности. Нарушитель правил игры разрушает самую культуру. Для того, чтобы игровое содержание культуры могло быть созидающим или подвигающим культуру, оно должно быть чистым. Оно не должно состоять в ослеплении или отступничестве от норм, предписанных разумом, человечностью или верой. Оно не должно быть ложным сиянием, которым маскируется намерение осуществить определенные цели с помощью специально взращенных игровых форм” [36].

Второй вид аргументации - из, казалось бы, “чужой” для морали сферы. Дело в том, что практически прямое подтверждение общности тайны игры и морали обнаружили исследователи, посвятившие свою работу принципам отражения *экономической* действительности в деловых играх. Опираясь на положение Л.С.Выготского “для игры существенно свое личное внутреннее правило... внутреннее самоограничение и самоопределение” и на концепцию диалога в работах М.Бахтина, авторы исследования М.М.Крюков и Л.И.Крюкова удачно соотносят проблему *преодоления* правил со свободой выбора: “Степень свободы оказывается зависящей от заключенной в игровых правилах перспективы их имманентного усовершенствования, которая предстает перед игроком как возможность выбора, возможность приложения творческой энергии, воплощения устремлений личности. При удачных правилах такая перспектива почти бесконечна. Стало быть, только от игрока зависит окончательно, в каком направлении и “насколько” он улучшит правила, и поэтому он действительно свободен” [37].

Интересно то, что не принимая распространенные трактовки игры как исчерпывания свободы выбора исключительно *в рамках* правил, авторы отмечают, что игровая свобода возникает именно на границах правил и личности играющего. И, что особенно важно, выполнение правил, перестав быть целью, становится условием “развертывания внутренних способностей носителя поведения” [37].

В специальной литературе, посвященной игровому феномену как в метафизическом, так и игротехническом аспектах, почти все авторы связывают природу игры с *преодолением правил*, фиксируя в этом сходство игры и творчества. В подходе процитированных выше авторов привлекает тезис “специфика игры заключена в преодолеваемом предмете - специально сконструированных и сознательно принятых правилах”, а преодолеваются эти правила посредством внутреннего диалога, самоограничения и самоопределения [38]. Привлекает потому, что возможность выбора, заложенная в игровой свободе, несет в себе нравственный смысл - если за самим фактом наличия альтернативных ситуаций, стратегий, правил стоит диалог нравственных позиций, ценностей, идеалов, норм.

Итак, развивая культуру “хомо люденс”, мы тем самым развиваем и культуру “хомо моралес”. Моральный выбор как свободная игра с нормами и правилами, добровольно принятыми и столь же добровольно преодолеваемыми в процессе морального творчества вплоть до открытия новых норм и правил, переживание и обогащение чувства свободного выбора в борьбе с правилами или в процессе создания новых правил - таковы общие моменты в “тайне” игры и морали, которые в своем взаимодействии и составляют “тайну” свободы.

Современная жизнь творит новый игровой космос. И новое освоение открывшихся нашему обществу “планет” требует особого искусства, в котором сплавлены черты “хомо моралес” и “хомо люденс”. Одна из этих планет - этика политического успеха.

“Хомо политикус” как “хомо люденс”

Тема, вынесенная в заглавие этого параграфа, раскрывается здесь лишь в первом приближении. Это связано как с задачами всей книги, так и со степенью продвинутой нашего исследования. Во всем многообразии качеств, дающих в своей совокупности представление об образе “хомо политикус” как “хомо люденс”, мы выделяем такие атрибуты политической деятельности, которые наиболее тесно связаны с ее базовыми этическими ценностями и обнаруживают в игровом феномене стремление к достижению, саму деятельность с присущими ей неопределенностью, венчурностью, агональностью, эффективностью, результативностью, ответственностью.

Риск в деятельности политика - дело будничное. Но это же предложение можно завершить и знаком вопроса, если иметь в виду метафизические аспекты рискованного выбора и, тем самым, увидеть в них “вольтову дугу”, соединяющую два экзистенциала - Игру и Свободу. И если задача, например, психологического подхода заключается в анализе восприятия риска личностью и принятия риска в ситуациях социального характера [39], то этическая позиция предназначена для включения риска в контекст проблемы морального выбора.

Речь должна идти не просто о нравственно-психологических свойствах личности (под этим углом зрения в зависимости от склонности к риску различают перестраховщиков и смельчаков, готовность к риску одного и того же человека оценивают применительно к обстоятельствам: например, политик не отважился на принятие новаторского решения, но разгоняет свой автомобиль до скорости, граничащей с безрассудством), а о собственно нравственном аспекте проблемы риска. В этом случае задача заключается в том, чтобы определить, во-первых, есть ли моральная альтернатива риску (допустимо ли и должно ли в определенных ситуациях рисковать), во-вторых, найти критерии предпочтений оптимистической или пессимистической установки на риск, и в-третьих, соотнести первые два аспекта, составляющие скорее этико-праксиологическую сторону морального выбора, с аксиологической, мировоззренческой стороной выбора, с проблемой риска в мировоззренческом самоопределении личности.

Иногда единственной моральной альтернативой риску объявляется трусость: “Намеренное уклонение от риска будет основано в лучшем случае на непонимании необходимости, в худшем же случае - на трусости” [40, с.69]. Думается, было бы неправильно доходить до апологии риска, абсолютизации его эффекта в моральном выборе (особенно в его праксиологических аспектах) на том основании, что преодоление известного риска в той или иной форме - необходимый атрибут человеческой деятельности в любой ее сфере. В определенных ситуациях эффект рискованного действия может оказаться прямо противоположным. Например, в ситуациях, когда приходится рисковать чужими судьбами, жизнями, не имея на то ни морального права, ни права, предписываемого служебным долгом. Уклонение от риска - нередко не простая трусость. На это тоже подчас требуется моральное мужество.

В то же время вполне понятный и именно моральный “соблазн” рискованного решения - в возможности *превзойти поставленные цели*. Это - своеобразный императив риска в единстве аксиологических и праксиологических аргументов. И в политическом этосе такой императив скорее всего атрибутивен - как и в этике предпринимательства, например. Во всяком случае исследователи проблемы хозяйственного риска подчеркивают, что “отклонение будущего результата от запланированного может быть связано не только с потерями, но и с дополнительной прибылью. В соответствии с этим речь может идти и о риске поступлений (выгоды), т.е. наряду с риском понести расходы существует риск получения дополнительных доходов (прибыли)” [41, с.14-15].

Известный по песне В.Высоцкого образ “канатоходца” представляется вполне приложимым к особенностям профессиональной роли и жизненной позиции политика (хотя, разумеется, его моральный смысл универсален) - здесь и его “Верую”, и нравственный потенциал целесредственного стержня деятельности. Но здесь же и предпосылка игровой характеристики. Вспомним: “И сегодня другой без страховки идет. Тонкий шнур под ногой - упадет, пропадет! Вправо, влево наклон - и его не спасти! Но зачем-то ему тоже нужно пройти четыре четверти пути...”

Следующий штрих эскизной зарисовки отдельных проявлений игровой природы политического этоса связан с *сопоставительностью*, конкурентностью. В этом плане интересна трактовка конкуренции как процедуры открытия. Автор такой эвристической версии фон Хайек показывает, что “всякий раз, когда обращение к конкуренции может быть рационально оправдано, основанием для этого оказывается то, что мы не знаем заранее фактов, определяющих действия конкурентов. В спорте или на экзаменах - как, впрочем, и при распределении правительственных подрядов или присуждении правительственных премий - конкуренция, бесспорно, была бы лишена всякого смысла, если бы с самого начала нам наверняка было известно, кто окажется лучшим... Я предлагаю рассматривать конкуренцию как процедуру для открытия таких фактов, которые без обращения к ней оставались бы никому не известными или, по меньшей мере, не используемыми” [42, с.6-7].

Подняв тему игровой природы конкуренции, нельзя не отметить односторонность ее трактовки в духе беспощадной “борьбы всех против всех” и потому как “игры без правил”. Такая интерпретация не различает “конкуренции” и “противоборства”. Как справедливо отмечают современные исследователи, надо вспомнить буквальный смысл слова “конкуренция” - состязание в беге (конкур), а не столкновение. “Это неразличение, - пишет А.Шмелев, - почти столь же грубая ошибка, как и непонимание разницы между спортивной борьбой и дракой. В случае конкуренции бегут, продвигаются вперед все конкурирующие стороны. И в этом смысле имеет определенные достижения и проигравший. Честная конкуренция без подножек бегущему рядом - это не борьба, это спорт. А в спорте, как известно, проигравшего не уничтожают. Более того, дают утешительный приз, особенно если проявлены воля, упорство, честность. Конкуренция - это если и не сотрудничество, то и не антагонистический конфликт на уничтожение” [43, с.206].

Чтобы показать следующую грань характеристики, вынесенной в заглавие этого параграфа, вернемся к вопросу о связи метафизики игры и метафизики дела, обострим его, фиксируя внутреннее противоречие Игры - здесь и самоценность процесса, и результативность, внутреннее противоречие Дела - сверхрациональность установки на полезность и самовыражение в процессе, а затем и кумулятивный эффект от взаимодействия двух этих внутренне противоречивых феноменов. Как “приложение” игрового подхода к политическому этосу совмещается с основной идеей метафизики игры о ценности развивающей - а не производящей - природы игры? Не с аналогичной ли трудностью сталкиваются и исследователи в сфере педагогики: “Либо дать ребенку возможность играть свободно - и он не научится тому, чему хотим мы его научить, либо вмешиваться в его игру, ставя перед ним цель, - и мы тем самым испортим игру, а ребенок перестанет учиться” [44].

После исследования Эриха Берна об игре кажется, что можно легко снять эту дилемму в ее приложении к характеристике “хомо политикус” как “хомо люденс” посредством отказа от крайностей в трактовках игры - “игры в бисер”, с одной стороны, отождествления игры с фальшивой имитацией, неискренней манипуляцией и прочими суррогатами - с другой. Но ведь недостаточно различить “игру в бисер” (антидело) и дело - у дела есть много видов и смыслов - при инвариантности таких его признаков, как авантюризм, венчурность, состязательность и т.п.

Можно и нужно избегать морализаторского высокомерия, самодовольства, проистекающих из экзистенциального пафоса радости игры, с одной стороны, вульгарно-прагматического отождествления игры с видом эксперимента - с другой [45]. А можно ли избежать крайностей в решении парадокса политической (и предпринимательской, например) деятельности? Ее рациональность, кажется, безнадежно конфликтует с игрой и с моралью? Вероятно, один из способов ответа - анализ эволюции политической этики, сравнительный анализ проявлений в ней, например, утилитаристской этики и протестантского ригоризма. Предположим, что как игровая, так и антиигровая

интерпретации политической деятельности отражают, скорее всего, *исторические* моменты ее природы. Гиперрациональность политической деятельности вполне допускает, а то и требует правил игры, которые снижают жестокость конкуренции. А игровая мотивация повышает моральный потенциал состязательности. Уже эти выводы позволяют рассчитывать если и не на “снятие” противоречий игры и дела, то хотя бы на очищение конфликта от чуждых для него моментов.

Так возникает мостик к последней стороне “триединства”. Где те основания, которые оправдали бы применение модели “хомо моралес” как “хомо люденс” к политической этике? Уместно поставить вопрос: в чем специфика проявления игрового феномена в определенном этосе, отличается ли игровая составляющая политического этоса от такой же “составляющей” предпринимательского этоса, профессионального этоса, этоса воспитания и т.п.? И, наконец, модифицируется ли игровая составляющая общечеловеческой морали в случае приложения ее к этике политического успеха?

На первый взгляд, игра говорит языком, в котором переплетены моральные и праксиологические понятия, общие для всех людей независимо от того, связан ли их жизненный путь и дело с политикой или нет. Однако, например, если сравнить - пусть схематично - императивы этоса советского человека “вообще” и политического этоса, то обнаружится пропасть между требованием “Не высывайся!” и требованием “Дерзай!”. Игровая составляющая в первом случае существует скорее всего лишь в виде своего негативного потенциала, в лучшем случае - защитного для личности, когда игра помогает выжить, остаться на позиции имморализма. Во втором - игровое поведение способствует преобразованию обстоятельств, моральному реформированию общества. В первом случае в качестве игроков на сцене жизни выступают прежде всего “статусы”, во втором - личности.

Позволим себе тезис: если в политическом этосе выявлены игровые элементы и если они не противоречат, более того, адекватны версии игры как сферы и признака моральной свободы, то возникают основания включить такой этос в общечеловеческий. Разумеется, тест на “игру”, “игровая экспертиза” не только не исключают, но помогают зафиксировать противоречивость политического этоса, опасность лишь формального - а то и прямо лицемерного - сочетания категорического и условного императивов. Но в целом “приложение”, которым мы считаем политическую этику в отношении к общечеловеческой, возможно и необходимо, и именно с этой позиции эффективны как апология, так и критика политической этики.

Подчеркнем, что основанием для поиска игровых элементов политической деятельности, которые обуславливают ее нравственную природу, стал тезис о сознании свободы выбора как сущностной черты игровой деятельности. Из многих метафорических характеристик природы политики - “поединок”, “груз забот и бремя ответственности”, “искусство”, “служба”, “вызов судьбе”, “поединок с риском” и т.п. - мы выбрали и отработали здесь одну - “игра”. Значения этого понятия многообразны - от метафизической до

“карточной” интерпретации. Но сущность соответствовала природе политики - и природе морали. Конечно, эскиз игровых черт политического этоса отражает лишь начальный этап исследовательского освоения. Это всего лишь первое подкрепление нашей гипотезы, аванпроект будущей работы.

“Честная игра”:

кодекс моральный или праксиологический?

Вернемся к нашей гипотезе о “триединстве”. Игровой подход к исследованию этики политического успеха представляется нам средством противостояния такой “игре” (здесь уже мы сами, поставив *игру* в кавычки, интонируем скептическую оценку) в “честную политику”, когда соблюдение этических норм мотивируется только лишь аргументами целесообразности. В подлинно игровом подходе к политической этике за вопросом об “игре с правилами” встает - во всяком случае должен встать - вопрос об “игре со смыслами”, и тогда требование честной игры из статуса условного императива возвышается до статуса императива категорического, вводя политическую этику в систему общечеловеческих нравственных ценностей (или выводя ее из этой системы).

Иначе говоря, “триединство” - средство демифологизации *сверхроли* “правил игры”, даже если это апология правил “честной игры”. Нравственный потенциал таких правил имеет свои рамки, его предел ограничен необходимостью критерия целесообразности для понимания человеческой деятельности. Вывод о том, что “честная игра” повышает эффективность деятельности, а жульничество - неэффективно, положителен сам по себе. Но и повышение эффективности обременено геном зла, если понятие “честная игра” не включает нравственного иммунитета, который дается *смыслом* соответствующих правил - служением делу, делу, которое становится *серьезным* в экзистенциальном контексте игры, обретает смысл человеческой свободы. Дается Большой Игрой со Смыслом.

Тема честной игры, ее смысла и правил - стержень развиваемого в этой книге подхода к этике политического успеха. В этой же главе нам предстоит обсудить правила честной игры с точки зрения конкретизации в них “триединства” характеристик “хомо политикус”, “хомо люденс” и “хомо моралес”. Особый интерес представляют внутренний кодекс игрового мироотношения политического субъекта и правила саморегулирования игровой культуры политического этоса.

В чем заключается наш замысел? Политика, по определению, не может быть нечестной игрой ни в аксиологическом, ни в праксиологическом значении этих слов: предпочтение честной игре как акт морального выбора - яркий пример возможности совпадения правил нравственности и принципов эффективности, требований категорического императива и условного императива выбора. При этом нетождественность “правил игры” и “правил морали” не означает безусловного приоритета последних в этосе политики: отрыв морали от критериев эффективности оборачивается утопией,

стремлением исправить реальность без должного уважения к законам жизни. Это во-первых. Во-вторых, испытание “хомо политикус” по критериям “хомо люденс” не должно обернуться забвением моральной противоречивости игрового феномена, политики и, наконец, самой морали.

Прежде чем аргументировать этот тезис, предпримем еще одно, более обстоятельное, чем в предшествующем фрагменте главы, прояснение правил жизненной игры. При этом будем исходить из ранее выдвинутого положения о том, что тайна нравственной свободы - в познании и преобразовании законов этой жизни. В жизненном соревновании субъекта морали с самим собой, с другими людьми, с обстоятельствами выигрывает тот, чьи правила вписаны в общечеловеческий кодекс честной игры, а стремление к успеху ориентировано на кодекс свободного антагонизма и свободного сотрудничества, на правила “скромной этики контракта”.

Вспомним: исследуя метафизику игры, мы пришли к выводу, что игровая культура в нравственной жизни - как элемент культуры морального выбора - выступает тончайшим, деликатнейшим и труднейшим искусством свободной игры с нормами-правилами, добровольно принятыми и столь же добровольно преодолеваемыми в процессе морального творчества, творчества, присущего и игре по правилам, и игре с правилами, и игре против правил.

Естественно, здесь же возникает вопрос о роли правил-рецептов в выборе. Надо ли долго доказывать, что “запрашиваемый” здравым смыслом морального сознания “рецепт” мотивирован особым риском решения конфликтной ситуации. При этом правила морального решения несут в себе основное противоречие здравого смысла - позицию стихийного сциентизма, жаждущего уже готового, преднайденного решения, с одной стороны, моменты креативности в ситуационном анализе конфликта - с другой.

В центре внимания нашего исследования - “правило правил”, проблема выбора самих правил. Независимо от того, считается ли такой выбор нейтральным в моральном отношении или рассматривается как предмет обязательной “моральной проверки” на жизненных дорогах, включается ли эта проверка в процесс “игры с правилами” в статусе “правил игры” или задает лишь внешние моральные рамки выбору правил, очевидно переплетение *всех трех видов* правил: праксиологических, моральных, игровых. Как же трактуется и как используется этот объективный фактор “переплетения”?

Проанализируем одну из версий. “Если допустить выбор из различных возможностей, то позволительно выбирать и из правил жизни. Смена этих правил и даже намеренные отклонения от них не всегда означают нарушение морали. Выбор и смена правил не содержат ничего аморального, если имеют целью найти наиболее эффективный из многих морально равноценных и допустимых способов решения задачи. Короче говоря, смена правил и отклонения от них позволительны при соблюдении норм морали”, - пишет П.В.Корнеев [46].

Для разработки принципов создания и осуществления жизненной стратегии автор считает целесообразным провести аналогию между правилами

жизни и правилами игры. “Основной смысл и ценность игры, на наш взгляд, состоят в развитии доброй воли человека, в добровольном подчинении всех игроков правилам игры, добровольном и честном выполнении этих правил, в добровольном объединении и общении людей на этой основе” [47]. Несомненно, в таком подходе “схвачен” существенный момент игрового видения морали (добрая воля, честность, объединение и т.п.). Но потенциал этой точки зрения ограничен: в ее рамках трудно “иноходцу”. Не в том, разумеется, смысле, что, как отмечает П.В.Корнеев, “животные не договариваются между собой о правилах игры, не обязуются выполнять их”, а в том, что игровое видение моральной нормы интерпретируется только как *исполнение* нормы, оставляя в стороне нравственное содержание *нарушения* нормы, *создания новой* нормы, именно нормы морали, а не просто праксиологического правила. Тем самым практически неизбежным оказывается и односторонний подход к проблеме *метаправил*.

“Признание метаправил, - пишет П.В.Корнеев, имея в виду правила о том, как применять правила, а для этих правил свои правила и т.д., - влечет за собой “регресс в бесконечность”. Чтобы избежать этой ловушки, он выделяет три фактора, делающих метаправила излишними: правила жизни воздействуют друг на друга и в этом процессе взаимно координируются; человек обладает интеллектуальной способностью распознавать соответствие правила и случая; противоречия, неразрешимые на абстрактном уровне, преодолеваются в практической деятельности [48].

Возможно, здесь предложено действительно эффективное средство от “логических ловушек”, связанных с правилами жизни, но применимо ли оно к нравственной жизни? Мы не ставим задачу обсуждать роль “золотого правила”, “категорического императива”. Однако напомним представленный выше тезис о неизбежности морального риска при любых ситуациях выбора. Неизбежности риска в обеих ипостасях морального творчества. Риска оказаться догматиком или релятивистом, когда стремишься не впасть в моральный нигилизм по отношению к традиционным нормам, к “истокам”, с одной стороны. Риска, неизбежного при стремлении обрести мужество в инноватике - с другой. Переход от тоталитарного общества к гражданскому никому не дает уйти от такого риска. И игровая культура - одно из средств освоения ситуаций морального риска; в ней, вероятно, заключается действительная альтернатива “дурной бесконечности”, к которой может привести идея метаправил.

“Правила игры” как преодоление “правил жизни” отражают естественный феномен культуры - это, говоря словами из культурологического исследования Ю.М.Лотмана, “правила для нарушения правил и аномалии, необходимые для нормы” [49]. В сфере нравственной жизни такого рода естественный феномен сосуществования правил и исключений, феномен игры с правилами также атрибутивен. Примером может служить ситуация, в которой “нормативное сознание как бы раздваивается и обретает форму ловушки: предоставляет право выбирать между нормой нравственной и безнравственной, позитивной и негативной”. Фиксируя эту ситуацию в процессе исследования любви как

способа выхода за рамки нормативной системы общества, О.П.Зубец отмечает, что “возникающее между этими крайностями напряжение создает ту ценностно насыщенную, богатую возможностями среду, в которой у человека сохраняется возможность обновления, самооживления, игры” [50].

Переходя к еще одному этапу очищения избранного подхода и смысла анализируемых в рамках нашей гипотезы понятий от иных коннотаций рассмотренного в вводных замечаниях к этой главе выражения “политические игры”, отметим, что трудность такой задачи не исчерпывается уточнением характеристики этико-праксиологического подхода к исследованию конфликтных ситуаций морального выбора как подхода, оптимизирующего “правила игры”, культивирующего саму игру с этими правилами как способ этико-праксиологического творчества. Необходимо еще найти и укрепить позитивный смысл самого понятия “правила игры”, чаще всего трактуемого даже не нейтрально, и не скептически, а морально негативно.

В каждом случае обсуждения правил игры в той или иной сфере человеческой деятельности мы должны исходить из презумпции доверия и уклоняться от априорного односторонне негативного отношения к правилам. Возьмем, например, “бюрократические игры”. Лицемерие, манипуляция, имитация? Или же это все-таки игра по каким-то “своим” правилам, которые могут и должны стать объектом беспристрастного анализа и, на его основе, предметом “контригры”? И можно ли из словосочетания “бюрократические игры” убрать второе слово, заменив его чем-то другим? А может быть, речь идет именно об игровом поведении? Если “да”, то в чем его специфика с точки зрения правил? “Правила” такой “игры” имманентны системе? Эффективны только для административно-командной системы? Разрушают любую систему?

Во-первых, при любом ответе на эти вопросы не разделить праксиологическую и аксиологическую составляющие правил любой игры. Во-вторых, без “правил игры” нет ни первой, ни второй составляющей морального выбора в любой сфере человеческой деятельности. Ведь и в политике, и в предпринимательстве, и в шахматах, и в картах, и в жизни встречаются, например, и блеф и честные правила. Так что ж, любой игрок в карты - “картежник”? Любой предприниматель - “деловар”? Любой политик - обманщик? Или же есть и честные игроки? Конечно, последний вопрос риторичен, ибо политическая этика и выстроена на честной игре.

Теперь вернемся к вопросу о возможности и правомерности квалификации кодексов честной игры в конкретных сферах человеческой деятельности - политика, воспитание, профессиональная деятельность, спорт, предпринимательство и т.п. - с точки зрения критериев *нравственного* выбора. Одно основание для такого приложения мы уже называли: речь идет об игровой деятельности как поведении в ситуации неопределенности, вероятности разных (а иногда и равных) возможностей, риске прийти как к победе, так и к поражению, о вере в удачу и т.п. *Фронестический* потенциал игры - целенаправленная попытка испытать свою судьбу, разрешить конфликт

неопределенности, вероятности, случая, с одной стороны, и жажды успеха, улыбки Госпожи Удачи - с другой.

Второе, очевидно связанное с первым, основание, заключается в трактовке игры как такого вероятностного поведения, в котором соперничающие стороны *равны в риске*. Если еще раз обратиться к представлениям об игре как модели жизненного поведения, то игра по правилам в нашем анализе - это не правила “выигрыша у случая”, персонифицированного, например, в продавце лотерейного билета или в банкомете, а *стратегия соперничества*. В этой стратегии как раз и снято упомянутое выше неравенство риска у противников, как, например, у понтера и банкмета [51]. Риск и удача в этой стратегии сопряжены с рациональной деятельностью, с расчетом и мастерством.

Нелишне, видимо, напомнить, что игровая фронестика ориентирована прежде всего на игры типа “game” (в этом смысле политический субъект - не “плейбой”, а “геймбой”?), регламентированные особыми правилами. И правила такой игры противоположны кодексу, например, шулера Казарина из лермонтовского “Маскарада”:

Что ни толкуй Вольтер или Декарт,
Мир для меня - колода карт,
Жизнь - банк, рок мечет, я играю,
И правила игры я к людям применяю.

Игровые правила держат игру. Определенные правила держат определенный тип игр - у каждой свои правила. Мы принимаем или не принимаем эти правила вместе с решением играть в эту игру, даже если стремимся играть против правил, ломая одну и создавая новую традицию.

Рассмотренные выше основания имеют непосредственное отношение к проблеме моральной квалификации “правил игры”. “Игра с правилами” в сфере морального выбора - вплоть до их нарушения - следствие атрибутивной для такого выбора неопределенности - вариативности - нравственных решений. Игра здесь - это “освоение” нравственных правил и последствий их применения. Игра - лаборатория нравственной свободы.

Мифология связывает первый акт человеческого выбора с нарушением правила-запрета. “Мужчина и женщина живут в садах Эдема в полной гармонии друг с другом и природой. Там мир и покой, там нет нужды в труде, нет выбора, нет свободы, даже размышления не нужны. Человеку запрещено вкушать от древа познания добра и зла. Он нарушает этот запрет и лишает себя гармонии с природой, частью которой он является, пока не вышел за ее пределы. С точки зрения церкви, представляющей собой определенную структуру власти, этот поступок является бесспорно греховным. Однако, с точки зрения человека, это - начало человеческой свободы. Нарушив установленный богом порядок, он освободился от принуждения, возвысился от бессознательного предчеловеческого существования до человеческого. Нарушение запрета, грехопадение, в позитивном человеческом смысле, является первым актом

выбора, актом свободы, то есть первым *человеческим* актом вообще”, - писал Эрих Фромм [52].

Нет ли известной односторонности в нашем внимании к акту *нарушения* правил при характеристике правил игры с моральными правилами? Ведь моральная традиционность всегда была сильнее стремления к инновациям. И даже имморализм вызывал скорее скепсис, чем поддержку. В свою очередь, сама имморалистическая позиция скептична в отношении к “новым правилам”. Так, например, настроен имморализм “лагерного человека”, исследованный в работе В.Дудченко “Гражданин-невидимка. Сопrotивление и сила лагерного человека” [53]. Отметим в характеристике автора не столько новые акценты в мотивации имморалистической позиции, сколько тотальный скепсис ее последователей. “Что дальше? Не ясно. Стреляного воробья на мякине не проведешь - лагерные люди не спешат менять свою защиту на плюрализм и конкуренцию, даже если впереди обещают “правовое государство”. Сумеет ли человечество воспользоваться их опытом, опытом людей, уже повидавших гибель цивилизации? Или впереди у нас новая попытка сплести над человеком новую сеть обязательств, - а потом, по наезженному пути, новый крах?” [54].

Вопрос не риторический и предельно трудный, в том числе и для исследователей этики гражданского общества и правового государства. И все же этим вопросом проблемы “новых правил” не снимаются, не снимается и вопрос об игровом подходе к ним. Как нам представляется, этот подход применим ко всем проявлениям нравственных правил: к нормам традиционным и инновационным, даже к имморалистической позиции (если, разумеется, не представлять игровую методологию в извращенном виде “лагерного моделирования”). Применим не только в смысле прагматизма непосредственного, проявляющегося, например, в мотивированном риске, связанном с расчетом шансов на успех [55], но и в смысле риска “*надситуативного*”. Автор гипотезы о таком типе риска В.А.Петровский показал, что надситуационный риск - особая форма проявления активности субъекта, и такой риск выступает не как характеристика цели деятельности, а в виде самостоятельного мотива, “риска ради риска”[56]. И существование этого феномена тесно связано с практикой “проигрывания”, предварительного моделирования акта выбора, решения.

Возвращаясь к вопросу о роли выбора “честной игры”, отметим еще раз: с помощью сюжетов из “нашего” политического этоса легко опровергнуть тезис о том, что политическая деятельность воспитывает честность и погашает лживость. Но есть аргументы, способные противостоят поверхностной логике “очевидности”.

Плодотворен, на наш взгляд, способ опровержения такого рода “очевидности”, примененный Г.С.Батыгиным в характеристике предпринимательства как своего рода религии, “религии дела”, в рассмотрении предпринимательской деятельности как призвания, требующего послушания, аскезы.

Автор заранее предвидит вопрос, задаваемый с негодованием: “Где это ты видел аскетов среди дельцов?”, - и готов ответить контрвопросом: “А где ты видел дельцов?”. По мнению Г.С.Батыгина, “то, что происходит ныне, - не бизнес, а сшибание денег или, на худой конец, подборание их с земли, где сейчас валяется денег сколько угодно, если, разумеется, их можно назвать деньгами” [57]. И далее автор показывает необходимость учитывать общецивилизационные критерии правил “честной игры” при аттестации процесса зарождения современного отечественного предпринимательства.

Происходящее в нашей предпринимательской практике, с его точки зрения, нельзя назвать даже школой бизнеса, ибо такая школа зиждется на усвоении правил. “Предположим, ориентируясь в духе времени на конечный практический результат, мы будем обучать дельцов - не побоимся этого слова - шельмовать и квалифицированно обманывать партнеров. Очень небесполезные знания! Это все равно, как если бы в шахматной школе, наряду с дебютами и эндшпилями, изучались приемы кражи фигур с доски, запугивания противника, подкупа судей и т.п. Успех здесь гарантирован только в одном случае - если большинство игроков-деловых людей останутся доверчивыми простаками, не умеющими записывать ходы. Попросту говоря, нужны дураки. Но правила игры - шахматной ли, жизненной - не могут включать в качестве посылки наличие дурака, они по своей природе общезначимы, легитимны для всех участников и являют собой необходимое условие нормальной, то есть честной предпринимательской работы”.

Здесь автор делает предположение о том, что было бы в том случае, если бы “правила блефа были признаны как всеобщие. Это предположение вполне реально, потому что нашим плановикам и управленцам в госсекторе до сих пор приходится осваивать методику приписок самоучкой. “Теория и практика махинаций” должна быть введена в программу планово-экономической подготовки”. Но тут же опровергает эту версию: “нелогичное невозможно: система социальных связей терпит крах, наступает эпоха общественной дезорганизации, мир теряет смысл, господствуют произвол и дурацкое право сильного схватить лучший кусок”.

Анализ далеко не риторического вопроса о правомерности характеристики современного нам отечественного политического этоса по общецивилизационным современным критериям мы уже провели выше и еще обратимся к нему в последующих главах. Здесь же отметим, что вольное или невольное постоянное соотнесение советской и постсоветской моделей политического этоса с общецивилизационным эталоном - или, наоборот, коррекция этого эталона при исследовании инвариантных оснований политической этики в их приложении к советской и постсоветской версиям, выводят на проблему *уровня* моральности практикуемых “правил игры”, исторической *динамики* в понимании той или иной *меры* честности этой “игры”. В этом заслуживающем самостоятельного обсуждения вопросе необходимо учесть такое обстоятельство, как необходимость исторической конкретности при сравнении современного этоса с практикой предшествующих эпох.

Новый “игровой космос” в отечественных обстоятельствах становится сегодня все более “игрой на выживание”, акцентирующей скорее правила борьбы, чем правила сотрудничества. Как эта тенденция смотрится в исторической ретроспективе? Автор специального исследования “О некоторых изменениях в этике борьбы” М.Оссовская в свое время убедительно показала относительность прогресса в смягчении правил борьбы. “Принято считать, - отмечает автор, - что борьба, которая ведется на наших глазах - как с помощью так и без помощи оружия, - стала более жестокой, во всяком случае, по сравнению с тем, как обстояло дело в Европе в конце прошлого и начале нынешнего столетия. Довольно часто говорится о том, что тогда кодекс борьбы был заключен в какие-то рамки “честной игры”, *fair play*, допускал отказ от некоторых норм целесообразности в пользу моральных норм; теперь же, наоборот: моральные ценности подчинены соображениям эффективности, что придает борьбе особую беспощадность” [58]. “Не будем идеализировать прошлое”, - призывает М.Оссовская, предлагая при этом обратить особое внимание на те факторы, которые влияли на *смягчение* правил борьбы” [59]. В перечне этих факторов она особо выделила *игровую мотивацию*.

Именно концептуализация игры позволяет удержаться от крайностей апологетики и разоблачительства. Таков основной тезис этой главы.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Берн Э.* Игры, в которые играют люди. Люди, которые играют в игры. М., 1988. Вряд ли надо специально доказывать, что метафоричность не только не враг теоретического исследования, но и условие эвристичности гипотез. Метафора как перенос термина из одной системы (или уровня значений) в другую рассчитана на понимание подразумеваемых ею ассоциаций. Превратившись в научную парадигму, она “стимулирует определенное направление исследований, результаты которых позволяют сравнивать эвристическую плодотворность, объяснительную силу и практическую ценность разных теорий” (*Кон И.С.* В поисках себя. М., 1988. С.10-11).

2. “Все больше и больше напрашивается вывод, что игровой элемент культуры с XVIII века (там мы имели возможность наблюдать его в полном расцвете) утратил свое значение почти во всех областях, где он раньше чувствовал себя “как дома”. Современная культура едва ли еще “играется”; там же, где кажется, что она играется, игра эта фальшива” (*Хейзинга Й.* Игровой элемент современной культуры // *Полис.* 1991. № 5. С.201).

Сравним: “В мире резких антагонизмов и грозящей атомной войны трудно смотреть на жизнь как на игру, которую не следует принимать слишком всерьез. Обстановка, в которой живет сегодня молодежь многих стран, не способствует игровой мотивации” (*Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М., 1977. С. 508).

3. *Вайль П., Генис А.* Страна слов // *Новый мир.* 1991. № 4. С.241-242.

4. Там же.

5. *Польская Л.* Вечерние игры для взрослых. “Поле чудес”: наивная драма // *Независимая газета.* 1991. 9 октября.

6. *Богомолв Ю.* Аншлаг: Политики на подмостках перестройки // *Литературная газета.* 1991. 5 июня.

7. *Мартынов И.* Так говорил Иван-дурак: Бессмертные заповеди национального героя // *Собеседник,* 1991. № 3.

8. *Политология: Энциклопедический словарь.* М.: Изд-во Моск. коммерч. ун-та, 1993. С. 263.

9. *Huizinga I.* Homo Ludens. Hamburg, 1956.

10. *Финк Е.* Основные феномены человеческого бытия // *Проблемы человека в западной философии.* М., 1988. С.360.

11. *Финк Е.* Цит. соч. С.391.

12. *Эпштейн М.* Парадоксы новизны. М., 1988. С.277.

13. *Гадамер Х.Г.* Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988. С. 152.

14. *Гадамер Х.Г.* Цит.соч. С.152.

15. *Финк Е.* Цит.соч.

16. *Финк Е.* Цит.соч. С.365.

17. Там же. С. 396.

18. *Финк Е.* Цит.соч. С.365.
19. Там же. С.396.
20. *Финк Е.* Цит.соч. С.399.
21. Там же.
22. *Титаренко А.И.* Антиидеи. М., 1984. С. 280-297.
23. *Апинян Т.А.* Игра в контексте современной буржуазной философии // Философские науки. 1988. № 9. С.68-69.
24. Если вести отсчет от Шекспира. Однако в специальной литературе (см.: *Михайлов А.В.* Й.Хейзинга в историографии культуры // Осень средневековья. М., 1988. С.435) зафиксирован фрагмент эпиграммы Паллада, возраст которой - полтора десятка веков: "Вся жизнь - сцена и игра; либо умей играть, отложив серьезность, либо сноси боли".
25. *Галин А.* Когда ходуном ходит зал // Литературная газета. 1989. 26 июля.
26. *Аннинский Л.А.* Больше... Меньше... // Советская культура. 1989. 21 октября.
27. *Топоров В.* Записки из зрительного зала // Независимая газета. 1991. 19 октября.
28. *Хейзинга Й.* Цит. соч. С.200-201.
29. *Хейзинга Й.* Цит. соч. С.206.
30. Там же.
31. Там же.
32. *Гальцева Р.А.* Западноевропейская культурфилософия между мифом и игрой // Самосознание европейской культуры XX века. М., 1991. С.18.
33. *Берн Э.* Цит. соч. С.50.
34. *Сараскина Л.* Все это уже было... // Век XX и мир. 1989. № 5. С.24.
35. *Батыгин Г.С.* "Место, которого нет": Феномен утопии в социологической перспективе // Вестник АН СССР. 1989. № 10. С.18.
36. *Хейзинга Й.* Цит. соч. С.205.
37. *Крюков М.М., Крюкова Л.И.* Принципы отражения экономической действительности в деловых играх. М., 1988. С.12.
38. Там же.
39. О различных аспектах исследования риска см.: *Петровский В.А.* Активность субъекта в условиях риска: Автореф. дисс. М., 1977; *Хозяйственный риск и методы его измерения.* М., 1979; *Козелецкий Ю.* Психологическая теория решений. М., 1979; *Альгин А.П.* Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989; *Луман Н.* Понятие риска. *Бек У.* От индустриального общества к обществу риска. *Гиденс Э.* Судьба, риск, безопасность. // THESIS: риск, неопределенность, случайность. Вып. 5. М., 1994.
40. *Вильке У.* Объективные истоки морального риска // Моральный выбор. М., 1980.
41. *Хозяйственный риск и его измерение.* М., 1979.

42. *Хайек Ф.* Конкуренция как процедура открытия // *Мировая экономика и международные отношения.* 1989. № 12.
43. *Шмелев А.* Открытое общество и конкуренция // *Новый мир.* 1991. № 2.
44. *Буске М.М.* Что заставляет нас играть? Что заставляет нас учиться? // *Перспективы.* 1987. № 4. С.90.
45. *Финк Е.* Цит. соч. С.370.
46. *Корнеев П.В.* Жизненный опыт личности. М., 1985. С.99.
47. Там же. С.96.
48. Там же.
49. *Лотман Ю.М.* В школе поэтического слова. М., 1988. С.159.
50. *Зубец О.П.* “Одной любви музыка уступает...” // *Этическая мысль.* М., 1990. С.90-91.
51. См. об этом статью *Ю.Лотмана* “Тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века” и книгу *С.Рассадина* “Гений и злодейство или дело Сухово-Кобылина” (М., 1989).
52. *Фромм Э.* Бегство от свободы. М., 1990. С.38.
53. *Дудченко В.* Цит.соч. // *Век XX и мир.* 1991. №5. С.30.
54. Там же.
55. *Альгин А.Д.* Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989. С.92-93.
56. *Петровский В.А.* Активность субъекта в условиях риска: Автореф. дисс. М., 1977.
57. *Батыгин Г.С.* Ода бизнесу и бизнесменам // *Менеджер.* 1990. № 5 (11). С.4.
58. *Оссовская М.* Рыцарь и буржуа. М., 1987. С.490.
59. *Оссовская М.* Цит.соч, С.491.

ГУМАНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА И КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Проблемная ситуация

Этико-прикладное исследование предполагает применение особых методов. Их специфика выражается прежде всего в анализе проблемной ситуации, складывающейся при попытке ограничиться традиционными методами познания морали.

Аретология и этическая кодификация. Перебирая в памяти предложенные в нашей этической, политологической и социологической литературе способы дескриптивного анализа моральных норм и ценностей, приходится признать, что описания добродетелей и пороков (аретология) носят преимущественно очерковый характер. К тому же мы знаем, что в специализированных секторах общественной жизни определяющую роль играют не личные добродетели и пороки, а профессионализированные системы (подсистемы) регуляции поведения. Аретологический метод, думается, лучше всего зарекомендовал себя при анализе процессов нравственной жизни индивида, его приобщения к миру ценностей макросреды через микросреду (семья, школа, группы сверстников и др.). Интериоризированные ценности видоизменяются в ходе их применения в специализированных секторах человеческой деятельности, в процессе повторных социализаций.

Аретологический метод продемонстрировал свою эффективность и при описании этнонационального характера. Для описания же нравственной жизни коллективов и организаций, наверно, больше подходит метод этической кодификации, и на этом уровне этико-психологические средства описания дополняются средствами, которые предлагает социология морали.

Когда же речь идет об описании моральных ценностей крупных сообществ (профессиональных, территориальных и т.п.), должна быть привлечена более сложная процедура исследования нормативно-ценностных систем (или подсистем).

Структурно-системный метод. Мораль, как известно, не является простой орнаментовкой или инкрустацией предметно-практической деятельности человека. Это особый духовно-практический способ освоения мира (это - в рамках марксистской парадигмы), и уже в этой вполне самостоятельной роли (не как надстройка, это - уже в немарксистской парадигме) она оказывается аспектом любой человеческой деятельности. Названные системы (и подсистемы) являют собой единство объективного и субъективного, нравственных отношений и морального сознания.

В свое время профессором МГУ А.И. Титаренко была предложена (и пока еще никем не оспорена) следующая структура нравственных отношений как онтологии нормативно-ценностной системы: а) объективированный в культуре и поведении каркас (или “сетка”) ценностей, обеспечивающий известную непрерывность воспроизводства образа жизни. Иными словами, это ценностная

матрица всей духовной культуры эпохи; б) исходная нравственная позиция (“пучок” доминирующих ценностей), которую занимают общность или группа в моральном выборе, во взаимоотношениях с другими субъектами нравственной жизни; в) типичные ситуации морального выбора и типичные нравственные коллизии; г) массовидные, закрепленные в нравах эталоны и стереотипы поведения, стили жизни, некоторые обычаи, этикетные процедуры повседневного общения; д) способы накопления и трансляции нравственного опыта, его агрегирования и кристаллизации, в том числе передачи от поколения к поколению; е) последовательность, иерархия в расстановке и соподчинении моральных требований к поведению и образу мыслей, то есть “код”, влияющий на функционирование общественного мнения; ж) способ сохранения ценностей, общественные санкции одобрения, признания или осуждения, непризнания.

Объективированной стороне нравственной жизни соответствует ее субъективная сторона. При этом моральное сознание и нравственные отношения взаимодействуют не на основе принципов первичности или вторичности, отраженности. Данные стороны пронизывают друг друга в системе нравственных устоев общества, его морального порядка, причем обе стороны изоморфны, подобны, но не гомоморфны. У второй стороны нравственной жизни автор выделяет следующие основные параметры: а) элементы сознания (нормы, запреты, разрешения, принципы и т.п.); б) основные ценностные ориентации, позволяющие улавливать как бы с помощью “сонара” важнейшие ценности в их конфигурации и соподчинении; в) основной смысл и социальная направленность оценок и самооценок, привычный трафарет умозаключений при оценивании; г) совокупность мотивов и побуждений, отражающих высшие духовные ценности и социальные потребности личности; д) мировоззренческий пласт, влияющий на соподчинение норм и ценностей (представления о назначении жизни, ее смысле, о счастье, справедливости, достоинстве и т.п.); е) контрольно-психологические механизмы сознания - долг и совесть, в которых выражается императивность морали [1].

Эту схему приходится все время “держат в уме”, когда идет процесс описания базовых ценностей нормативно-ценностных систем (или подсистем). Но дело и в том, что исследование данных систем не может оставаться на уровне целостного анализа и продвигается дальше - к анализу связанных происхождением и задачами “малых” подсистем.

Фактически этика политического успеха - как уже было показано - как раз и является одной из таких подсистем, и здесь анализ наталкивается на повышение роли “массы случайностей” во всех проявлениях нравственной жизни и на резкое расширение поля возможностей, обусловленное вариативностью развития по отношению к системе в целом, к ее отдельным фазам и состояниям (забегание, отставание, неравномерность, кризисность и т.п.). Выше мы попытались развить теорию такой “малой” подсистемы, избавленной от “мимики научности” (по выражению французского эпистемолога Ж.М.Леви-Леблена).

“Куда же нам плыть?” Об этом высказываются то излишне дерзкие, то чересчур осторожные суждения. Для нас развитие структурно-системного метода [2] означает продвижение к теории “малых” нормативно-ценностных систем (подсистем) - этико-прикладному знанию, опирающемуся прежде всего на *метод гуманитарной экспертизы и консультирования*.

Экспертно-консультативная функция этико-прикладного знания

В чем суть концепции гуманитарной экспертизы и консультирования?

Речь идет о приложении комплекса научных знаний о морали к ситуациям морального выбора, к проблемам, встающим перед субъектами оценки, решения и поступка.

Деятельность в стиле гуманитарной экспертизы и консультирования предполагает умение специалиста инициировать и развивать рефлексию повседневного (обыденного) морального сознания, стимулировать моральное творчество субъекта нравственного поиска, как того, кто “заказывает” экспертизу и консультирование, так и абстрактного субъекта, которому результаты экспертизы адресованы как бы “до востребования” (например, в режиме “Римского клуба”). Короче, это особое взаимоотношение этического знания с его специфическим видом теоретизирования и практики нравственной жизни, нетрадиционный процесс подготовки выбора и решения.

Что в этом случае означает термин “*гуманитарность*” применительно к экспертно-консультативной функции комплекса научного знания о морали? Гуманитарный подход отражает широкую трактовку нравственных ценностей как ядра гуманистического мировоззрения, фокуса того, что нередко называют “человеческим измерением” [3]. В соответствии с этим гуманитарная экспертиза и консультирование ставят различные критерии целесообразности человеческой деятельности (политические, экономические, организационные и т.п.) в соподчинение критерию нравственности. Последний - выражает императив отношения к человеку как к высшей цели, обладающей статусом самоценности, и тем самым задает критерий *высшей* целесообразности его деятельности.

Гуманитарная экспертиза означает также определенную технологию реализации научного знания, ориентированного на человеческие проблемы. С этой точки зрения гуманитарная экспертиза и консультирование суть синтез аксиологического и праксиологического подходов к моральному выбору, а значит, и инструмент этической конфликтологии, обеспечивающий возможность диалога с различных моральных позиций, норм, ценностей, ориентаций, идеалов. При этом сохраняется установка на общечеловеческий кодекс нравственности (этико-культурный минимум, о котором уже упоминалось и еще будет сказано далее). Диалог здесь - майевтика толерантности и сосуществования, а в лучшем случае - консенсуса и сотрудничества, воплощение как культуры согласия, так и культуры несогласия, этики ненасилия и т.д. [4].

Гуманитарная экспертиза и консультирование, далее, направлены на развитие культуры этического мышления как ценностного основания решений, содержащихся в программах, проектах, акциях официальных организаций и самостоятельных объединений корпораций, социальных, культурных, профессиональных групп и отдельных личностей.

Непосредственным предметом экспертизы и консультирования в сфере деятельности организаций, ассоциаций и т.п. чаще всего являются фиксируемый процесс подготовки и принятия решений, контроль за альтернативными социальными технологиями, последствия которых прямо связаны с “человеческим измерением”. Задачи гуманитарной экспертизы - вскрыть максимум реальных вариантов выбора, выявив для этого ценностные основания, определив цели и смыслы каждого из вариантов. Ей предстоит указать на прецеденты решений в аналогичных (если таковые были) ситуациях. Вслед за этим экспертиза обязана предложить субъекту выбора и решения алгоритм поиска, стимулировать его моральную рефлексию, выработать в диалоге с ним гуманистическую ориентацию выбора в ее аксиологических и праксиологических аспектах.

Участники экспертно-консультативного диалога - субъект, проводящий гуманитарную экспертизу, и субъект морального выбора, заинтересованный в этой акции, - образуют целевой междисциплинарный научно-практический коллектив, формой деятельности которого в нашем опыте часто является *игровая команда*. Игровая деятельность выступает здесь и как средство решения нетривиальных проблем теории и практики, и как способ формирования, сплочения экспертного сообщества. Игра становится своеобразной лабораторией для культивирования “встречного движения” этического знания и практики морального выбора (в данном случае - в политической жизни). При этом эффект деятельности экспертов и консультантов обусловлен результатами предварительных этико-прикладных исследований и разработок, которые предлагаются “заказчику” не в виде готовых к употреблению, “упакованных” выводов, инструкций, рекомендаций, адаптированных текстов и т.п., а воплощенными в методе разрешения уникальных ситуаций морального выбора [5].

Помня о режиме экспертизы “до востребования”, значительно расширяющей представление о ее “заказчике” за пределы прямого взаимодействия ЛПР и экспертов, отметим, что особое место в предмете гуманитарной экспертизы и консультирования занимают состояния морального сознания различных социальных, профессиональных, социокультурных слоев и групп, в том числе и состояния самого экспертного сообщества, влияющего на массовое сознание.

Концепция гуманитарной экспертизы обеспечивает приложение этики (как теоретической дисциплины) к практике посредством синтеза гуманитарных знаний. Нетрадиционный для этики как философской дисциплины способ выхода в практику (экспертиза и консультирование вполне привычные методы в психологии, социологии, теории управления и т.п.) и нетрадиционная форма

самой организации научной работы (например, игровое моделирование) представляются нам целесообразным решением в условиях жесткой альтернативы, перед которой стоит этика, выбирая пути своего дальнейшего развития: либо тупик самодостаточности, либо междисциплинарная кооперация и новые способы связи с практикой, даже если такая кооперация нарушает веками выработывавшийся стереотип этического знания и способов его накопления. (Этим вовсе не осуществляется “подрыв” этико-философских исследований, их значимости для развития этической теории.)

Защищаемая нами концепция этического знания как системообразующего элемента человекознания вовсе не является гегемонистской. Она реализуется в рамках гуманитарной экспертизы, во-первых, посредством развития “сквозных” приложений этики (здесь политическая этика соседствует с другими областями этики - управленческой, педагогической, экологической, хозяйственной и т.п.); во-вторых, посредством встраивания этической доминанты в различные виды игрового моделирования (игр дидактических, инновационных, управленческих, организационно-деятельностных и т.д., разумеется, наряду с конструированием собственно этических, точнее этико-праксиологических игр); в-третьих, путем совместной деятельности в целевом коллективе, деятельность как междисциплинарную, так и научно-практическую.

Концепцией гуманитарной экспертизы программируется эффект пересечения, взаимодействия и взаимообогащения таких идей, как диалогическое взаимоотношение этической теории и морали; игровое моделирование как этическая “лаборатория” в “храме свободы”, формирующее и способ организации диалога, и его язык; экспертно-консультативные опросы как метод культивирования моральной рефлексии. В результате применения этих идей создается эвристическая ситуация для формирования и развития этического знания-умения, “умения уметь” - *фронезиса*.

Что означает данное понятие, актуализированное в современном философском лексиконе Г.Гадамером? Является ли фронезис загадочной магией, каким-то паролем, позволяющим проникать в закрытое для посторонних сознание партнера по диалогу и преобразовывать его в желаемом направлении? Оказывается ли неким таинственным мастерством демонстрации в собственном поведении таких ценностных начал, которые делают их безусловно убедительными для других, чтобы незамедлительно воплотиться в их поведении?

В каком-то смысле все это действительно так. Фронезис - и магия слова, и чудо “заражения” примером, мастерством организации дела, способного дать желаемый нравственный эффект. Все это верно. Но главное - в другом. Фронестика - это и способ этизации знания, прежде всего гуманитарного, и способ перевода этого знания в действие. Фронестика есть личностное воплощение научного знания. Если мудрость в традиционном смысле - это особый, пронизывающий вид знания и его воплощения в поведении, то в современном смысле такой сплав обогащен множеством научных подходов, перебрасывающих мосты между личностным и безличностным знанием, между

радикально обновляемой теорией и стремительно меняющейся практикой. Фронезис - это мудрость морального выбора. Выбора не просто поступка, но и всей линии поведения, а следовательно, и мудрость мировоззренческого выбора [6].

Трудноуловимые признаки этой неаксиоматической науки об искусстве морального выбора не обнаруживаются в отдельности ни в теории, ни в практике. Место и способ их формирования - процесс взаимодействия нравственных исканий субъекта и нравственной мудрости человечества. Именно такой процесс порождается и интенсифицируется с помощью гуманитарной экспертизы. Но это не “обогащение” тем, что уже найдено другими, и в этом смысле чужим “богатством”; не “лечение больного”; не “пастырское наставление”, но стремление посредством игровой методологии преодолеть ощущение одиночества в принятии решения, включаясь в исторический опыт нравственной жизни; это не анонимное теоретизирование, а персонифицированная деятельность ученого в отношении уникальных моральных ситуаций (когда появляется возможность сразиться с моральной “пропагандой”, идеологией, мифологией и т.п.).

Установка на диалогичность этической теории и морали, исследователя и лица, принимающего решения (даже если речь идет об экспертизе в режиме “до востребования”), не означает утраты самостоятельности, конкретной ответственности каждой из сторон. “Понимающая” этика не должна выродиться в “этику” прислуживающую, социальный или персонифицированный “заказ” отнюдь не предполагает потери научной принципиальности. Так же как не означает необходимости сотрудничать с “заказчиком”, открыто отрицающим, например, идею консенсуса различных общественных сил, стремящихся использовать потенциал науки в узкогрупповых интересах, противоречащих интересам всего общества.

Специалист, проводящий гуманитарную экспертизу, обязан быть критичным к “заказу”. Таково требование профессиональной этики ученого, независимо от того, исходит ли “заказ” от наиболее реального на сегодняшний день субъекта принятия решения - политико-управленческого корпуса, начинающего (пока лишь в единичных случаях) делить ответственность с демократическими институтами, от формирующихся в условиях переходного периода общественно-государственных структур или же от наиболее вероятного в правовом государстве “заказчика” - самоуправляющихся объединений.

В позиции “заказчика” специалист, ведущий гуманитарную экспертизу, видит отражение всего многообразия нравственной жизни современного общества. Например, за апелляциями управленцев-политиков к “человеческому фактору” консультант обнаруживает (должен обнаружить) болевые точки, внутренние противоречия современной моральной ситуации: между существующими нравами и моральной идеологией, между консерватизмом и авангардизмом в духовных идеалах, между тенденциями традиционализма и модернизма (а также постмодернизма) в нравственных исканиях, между ориентациями на индивидуальную свободу и социальную справедливость и т.п.

[7]. Его особая забота - выявить извращенные представления о роли морали, когда она используется как инструмент манипуляции человеком, формирования “удобной”, “послушной” личности, не способной критически оценивать социальную систему и реально существующие нравы.

Ориентация гуманитарной экспертизы на “заказ” требует разработки профилактических средств против бюрократизации процесса проведения и, особенно, процесса реализации результатов экспертизы. В противном случае, например, игровой подход может выродиться в “бюрократические игры”, в заигрывание с демократией, наукой, общественным мнением и т.п., в имитацию реформирования общества. Здесь эксперту необходимо противостоять двум соблазнам: искусству ограничить свое влияние на практику принятия решений сотрудничеством лишь с “аппаратной” составляющей управленческой деятельности, с одной стороны, соблазну поддаться патерналистским ожиданиям, сциентистскому экстремизму - с другой [8].

После предъявления тезисов концепции в целом перейдем к обстоятельной характеристике методов гуманитарной экспертизы - опросов экспертов и игрового моделирования.

Консультативные опросы экспертов: антиномия Станислава Лема

Принято считать, что наиболее точный диагноз прошлых и сегодняшних проблем, социальных, политических и нравственных “болезней” формулируется словами Эриха Фромма “Бегство от свободы”. На фоне беспощадной оценки “нового” человека, у которого “исчезает самый вкус к свободе” (Н.Бердяев), который “не любит альтернатив”, а его самого преследует “страх выбора”, общество начинает осознавать способ лечения и выхода из “пограничной ситуации”. Многими авторами этот способ трактуется как перифраза спинозовско-гегелевско-энгельсовского определения свободы через сознание необходимости: “Свобода - еще не осознанная необходимость, скоро ли эта необходимость будет осознана”?!.

Но как достойно сыграть жизненную драму, сценарий которой мы сегодня стремимся написать столь же самостоятельно, сколь свободно избрать себе адекватную ему роль? Как минимизировать неизбежность освоения инноваций методом проб и ошибок? Ведь нет ни школ, ни учителей, ни лабораторий, разрабатывающих методы развития культуры принятия свободного решения и, тем более, принятия личной ответственности за эти решения. И, наконец, кого считать достойным роли мудрецов, экспертные суждения которых помогут сориентироваться в лабиринтах свободы, в сложных конфликтных ситуациях?

В подобных ситуациях принято прибегать к опросам экспертов. Однако все более очевиден дефицит доверия к мнениям традиционных групп экспертов, диагнозы и прогнозы которых всегда были ориентирами в принятии решений. Доверием в этих процедурах сегодня чаще всего наделяется непрофессиональное, антиэлитарное, массовое мнение, прямо противопоставляемое экспертному.

Некогда писатель-фантаст С.Лем сформулировал антиномию принятия решений: является ли наша цивилизация правлением экспертов или же - правлением всех? Но действительно ли существует противоречие массовости и компетентности, не допускающее хотя бы компромиссного выхода? Степень сложности вопроса, подвергаемого экспертизе, обратно пропорциональна числу людей, разбирающихся в этом вопросе. Но чем больше доверия специалистам, тем уже круг людей, влияющих на принятие решений.

Весьма широко распространено представление о том, что в век усложнения социальных связей “непрофессионала” не только не следует привлекать к подготовке ответственных решений, к разным формам участия в управлении, в том числе и к экспертным оценкам, но и советоваться с ним не стоит. Однако, не оказывается ли “профессионализм” подобного свойства завуалированным и слегка модернизированным бюрократизмом? Из этого опасения, разумеется, не следует вывод о снижении требования компетентности эксперта, как и не вытекает заключения о неотвратимости связи процесса демократизации управления с дилетантизмом. Скорее, наоборот, чиновник сплошь и рядом только для профформы прибегает к услугам эксперта-ученого, плодя произвол как в стратегическом решении, так и в оперативном управлении. Не с этим ли обстоятельством связан поток жалоб на падение профессионализма во многих сферах человеческой деятельности, особенно в политико-управленческой сфере?

Итак, элитарность (меритократия) или демократия доминируют в экспертизе? Так и подмывает резче качнуть маятник, чтобы компенсировать разочарование в ведомственной компетентности, в бюрократизированном профессионализме гипердемократичностью, гипердилетантизмом. Однако окажется ли одна крайность лучше другой?

Видимо, не следует искать панацеи ни в супернаучном составе экспертиз, ни в супермассовости опросов населения. Гораздо меньше ошибок может дать сочетание того и другого, нежели абсолютизация одного из них. Нужно не провоцировать антиномию Лема, но нельзя и пытаться устранить ее простым покаянием в грехе сциентизма, с одной стороны, и в некомпетентности, дилетантизме - с другой.

Антиномия эта может быть смягчена лишь в процессе развития научной культуры общественных экспертиз и демократической культуры научных экспертиз, путем преодоления группового эгоизма меритократов и эгоизма “большинства” (эгоист, гласит шуточное определение, это человек, который о себе заботится больше, чем о других эгоистах). Антиномия может быть минимизирована конкретизацией ответственности ученых, лиц, принимающих решения, посредством организованной связи науки, общественности и власти. Речь идет об особой форме проведения экспертизы, диалоге между субъектами экспертизы и субъектом принятия решения.

В идею гуманитарной экспертизы заложено стремление обеспечить высокий этический уровень оценок и практических рекомендаций. Это стремление преодолеть узость, односторонность взглядов, присущих и

экспертным заключениям самых компетентных профессионалов. В этом плане для теории и практики экспертиз, стремящихся смягчить антиномию Лема, полезен каждый из подходов, который помогает экспертам испытать интервал эффективности принятой парадигмы и при необходимости сменить ее.

Приведем компетентное мнение. “Проблема экспертов не в том, что у них отсутствует профессионализм или чувство ответственности. Их проблема в узости взгляда. Именно то, что делает их высокклассными специалистами в своей узкой области, оказывается недостаточным и даже опасным, когда они начинают заниматься более широкими проблемами политики. Человек, профессионально занимающийся какой-то проблемой в рамках определенной парадигмы, взаимосвязанной и непротиворечивой картины мира, психологически отождествляет себя с ней и не способен взглянуть с иной точки зрения, перейти в другое измерение... Именно в этом, в изменении угла зрения, в расширении выбора возможностей, в создании новой психологической атмосферы, делающей возможным альтернативный спектр вариантов развития, облегчающий смену парадигм, - заключается, на наш взгляд, основная роль гражданских движений на современном этапе, движений, все больше сливающихся в единое движение за реализацию общечеловеческих ценностей” [9].

Развивая концепцию и практику гуманитарной экспертизы и консультирования, мы вели поиск в двух направлениях - “меритократическом”, заключающемся в подборе на роль экспертов именно специалистов, и “демократическом”, основанном на “самовыдвижении” экспертов и, тем самым, выходящем за рамки традиционных представлений о компетентности. Разумеется, это условное деление, допускающее на практике известное смешение обоих направлений.

Нет ли противоречия в самом понятии “демократическая экспертиза”? Остается ли ключевой признак эксперта (специалист, компетентный человек) при таком прилагательном, способен ли такой субъект экспертизы различить выбор подлинный и мнимый? Достаточно ли убедительна для сферы моральных оценок и решений в политике распространенная аналогия с названием книги Е.Евтушенко: “Политика - дело всех”?

Одна из наших задач - определение интервала эффективности такой экспертизы, пределов ее компетентности и ограничение возможного “беспредела” в процессе совмещения ее результатов с экспертными опросами “меритократического” типа.

Основание как скепсиса, так и надежды - в том, что демократическая экспертиза находит способ своего существования в рамках выбора подлинного - мнимого (в сциентистском смысле слова). Субъекты такой экспертизы сами себе выбирают такую роль - их не подбирают по репрезентативной выборке, как это делается в массовых опросах. Они не обрекаются на неизбежное участие в выборе позиции, как это происходит, например, при референдуме. Но именно в этой *неподбираемости* содержится основание для определения пределов компетентности демократической экспертизы: в состав экспертов неизбежно

попадают представители обоих типов выбора: аффективного и рационального. Мы, разумеется, не стремимся отлучить от моральности один из этих типов, лишить его носителей нравственного лица, но можем связать оба типа выбора с различными этическими парадигмами, системами моральных ценностей, с выбором не только разных дорог к Храму, но и самих Храмов.

Казалось бы, материалы и результаты такого рода экспертиз могут быть полезны лишь ученым и политикам. Первым они дают своеобразный камертон, ориентир для собственных экспертных суждений, вторым - возможность отнестись к демократической экспертизе как консультации, позволяющей прогнозировать отношение различных групп сознания к подготавливаемому решению. Но, возможно, они полезны и более широкому кругу - в том числе и тем, кто относит или отнесет себя к субъектам демократической экспертизы: здесь, как в зеркале, можно узнать (и познать) самого себя.

При этом материалы гуманитарных экспертиз в режиме экспертных опросов свидетельствуют не о выборе вообще, но об “экспертном” выборе, выборе в феноменальном пространстве ценностных суждений, выборе, который совершает эксперт, выносящий свой ценностный вердикт по предложенным альтернативам, и выборе, который совершают авторы гуманитарной экспертизы в поиске экспертов. Но, тем самым, - это материалы о человеческом выборе, выборе моральном, ради которого развивается теория и практика гуманитарной экспертизы и консультирования.

А все же: речь идет о проблеме выбора *между* разными видами экспертизы, о приоритете *одной из* них - или о какой-либо форме их *согласования*? Наша цель - показать возможность и необходимость взаимодополняемости разных видов экспертиз на основе взаимодействия и диалога двух культур - научной и “аматерской”, любительской. Речь идет о способности гуманитарной экспертизы при таком подходе преодолеть антиномии профессионализма - дилетантизма, ведомственности - неформальности, массовости - компетентности (по крайней мере, смягчить эти антиномии). Основанием для такого вывода является то обстоятельство, что идея гуманитарной экспертизы и консультирования, в отличие от экспертизы научно-технической (технической, технологической, экономической, экологической, “чисто” социологической и т.п.), исходит, во-первых, из приоритета общечеловеческих ценностей в оценке любых альтернатив, во-вторых, из равенства всех моральных субъектов с точки зрения их права на оценку, самоопределение. В-третьих, гуманитарная экспертиза - феномен нравственной культуры, аккумулирующей нравственный опыт человечества, предполагающей преодоление моральным субъектом как экспертом “одиночества в решении”, преодоление, опирающееся на нравственное освоение мира.

Меритократическая экспертиза

Запрос на гуманитарную экспертизу и консультирование - от лица или группы, которым предстоит принять решение (или инициативная экспертиза в режиме “до востребования”) - возникает в проблемной для них ситуации, не

дающей ЛПР или ГПР возможности скопировать предшествующий опыт, применить стандартное решение. Это - ситуация неопределенности, свидетельствующая о рискованности выбора, о противоречивости его последствий при предпочтении любой альтернативы; нередко - ситуация нравственного конфликта, когда следование какой-либо нравственной ценности означает одновременное нарушение другой ценности, значимой для лица или группы, принимающих решение. Именно глубина противоречия, масштаб риска, мера ответственности и прочие признаки проблемной ситуации морального выбора требуют особой компетентности и, соответственно, особых процедур подготовки решения, среди которых мы выделяем в данном фрагменте главы консультативные опросы экспертов.

Известно, как возникает потребность в научной экспертизе вообще, в экспертных методах - особенно. Когда понимание нетрадиционной ситуации не “дается” накопленному опыту, вер альтернатив трудно обозрим для привычной точки зрения. В этом случае для решения проблемы не подходят наработанные аналитические методы. Поэтому, прежде чем бездумно рисковать или столь же бездумно уклоняться от решения, необходимо посоветоваться с авторитетом, чьим мнением мы дорожим, опыту которого мы доверяем, суждения и оценки которого обладают достоверностью, реализующейся в экспертных методах.

Экспертом в этом случае выступает человек, который, по словам Нильса Бора, “знает, какие в его области могут быть совершены грубые ошибки и как их избежать”. Специалисты по системному анализу характеризуют качества эксперта путем его сравнения с “новичком” в каком-либо деле и показывают, что новичку для принятия решения требуется больше информации, чем эксперту (в этом смысле, например, опытному водителю трудно представить себя на месте новичка). Иначе говоря, для того чтобы отличать одну вещь от другой, нужно учиться этому. Ясно, что квалифицированный человек, эксперт, реагирует на меньшее количество информации, чем не квалифицированный, не специалист. “Советуюсь” с ученым как с экспертом, обращаясь к его мнению, мы рассчитываем прежде всего на его интуицию (вспомним, что речь идет о ситуациях, когда аналитические методы эффективны лишь частично), профессиональная база которой позволяет найти нужную рекомендацию.

Метод, которым достигает своих результатов эксперт (группа экспертов) - экспертная оценка. Отличительная черта метода - способность комплексного, нерасчлененного, “антианалитического” освоения ситуации. Мотивы предпочтения метода экспертных оценок видны уже в его характеристике как “антианалитического”. Необходимо, однако, сразу поставить вопрос об интервале эффективности, определяющем целесообразность такого предпочтения. Еще в семидесятых годах В.Шляпентох предупреждал: “Экспертные методы сейчас переживают известный бум. Они относятся к модным научным методам и являются поэтому объектом злоупотреблений. Мнения, высказанные несколькими экспертами, более или менее знакомыми с сутью проблемы людьми, нередко спешат истолковать как результат экспертного опроса. С помощью экспертов пытаются “с хода” решить самые

трудные для современной науки проблемы или заменить экспертными оценками иные, в ряде случаев более достоверные способы получения информации”. “Сфера эффективности применения экспертного метода отнюдь не безгранична, - подчеркивает автор... - В то же время у этого метода не существует серьезных конкурентов” [10].

Наш опыт использования опросов экспертов и метода экспертных оценок для диагностики и прогноза “болевых точек” и “точек роста” современной нравственной жизни, для консультирования ситуаций морального выбора еще не достаточно велик, чтобы сделать вывод об интервале эффективности этого традиционного для многих наук метода в области теории и практики нравственной жизни в целом, прикладных проблем - особенно. Тем не менее, имеются результаты (они представлены в главах 13, 14, 19, 21), которые подкрепляют мотивацию первого - и в нашем личном опыте, и в отечественной этической науке - изучения мнений и суждений экспертов [11]: такие опросы не просто дань буму, не слепое подражание моде, а насущная необходимость. Она возникает в условиях, когда специфика предмета - ситуации морального выбора - не улавливается иными, широко практикуемыми методами сбора морально-значимой информации, прежде всего, аналитическими методами, когда сбор экспертных суждений, мнений, предложений является наиболее эффективным средством научного обеспечения принимаемых решений в уникальных управленческих и исследовательских ситуациях.

Обладают ли исследователи культурно-нравственной жизни общества, приглашаемые на роль экспертов, эффективными познавательными средствами, позволяющими оперативно и достоверно поставить диагноз современной социальной, политической и т.п. морали, дать прогноз ее развития, проконсультировать ситуацию выбора и решения? Вряд ли кризисное состояние теории может быть преодолено и сегодня, и завтра. Но именно поэтому в качестве одного из оперативных средств диагностики и прогнозирования ситуации в общественной морали мы и проводили опросы представителей гуманитарного знания, результаты которых развивались методом игрового моделирования.

Здесь же следует подчеркнуть, что экспертные опросы - это особая работа с “этически ориентированным сообществом”. Залог ожиданий организаторов такого рода опросов - в выходе за пределы задачи-минимум, когда первый тур опроса оказывается и заключительным (этот тур, действительно, может иметь самостоятельное значение, формируя диалогическое поле для такого сообщества в целом). Программа-максимум - в достижении известного науковедам эффекта развития “теоретической группы”, в интенсификации пути от первой до более высоких стадий, от “нормы” до “дисциплины” через “сеть” и “сплоченную группу”, в участии авторов первого тура опроса в игровом моделировании изучаемых проблем.

Достоверность гуманитарной экспертизы во многом отличается от репрезентативности экспертизы естественно-научной, технической и т.п. Разумеется, в экспертном опросе по любой отрасли знания критерием отбора

экспертов является их компетентность. “Первое, что необходимо сделать, организовав экспертизу качества - оценить качества самих экспертов... Главное достоинство эксперта - компетентность - определяется его способностями, знаниями, опытом. Поскольку все эти признаки качественного порядка, для оценки эксперта приходится прибегать... к экспертизе” [12].

Если специалисты по узкой проблематике - в сфере физики, экономики, кибернетики и т.д. известны, их круг ограничен, то по вопросам морали, социальной инженерии или воспитания, казалось бы, все могут быть экспертами?! Точнее, однако, считать, что все люди равны в праве на оценку конкретных поступков, в анализе же состояний общественной нравственности, причин и тенденций ее развития систематическое обсуждение вопросов, применение научных подходов дают определенное преимущество теоретикам. Особым видением обладает и художественное познание. Поэтому, работая с “меритократами”, мы, как организаторы опроса, стремимся включить в корпус экспертов ученых, писателей, публицистов, журналистов. При этом инициативная группа организаторов не возлагает на себя роли “сверх-экспертов”, обладающих правом “выборщиков”. Ориентируясь на “критерий первоначального списка”, организаторы каждого следующего опроса обращаются прежде всего к уже проявившим себя участникам предшествующих опросов. Труднее - с деятелями культуры. Здесь в выборе экспертов большое значение имеет глубокий интерес к моральной проблематике, активное участие в обсуждении вопросов духовной деятельности.

В то же время проблема отбора экспертов этим не снимается. Опыт, накопленный на первой стадии опросов по проблемам морального выбора (например, применительно к ситуациям этнического содержания), наглядно показывает необходимость отношения к экспертным опросам прежде всего как к теоретической деятельности. Чтобы не свестись к банальным оценкам, гуманитарная экспертиза должна проводиться в соответствии с определенной теоретической схемой: эксперт предъявляет критерии, которыми он руководствуется, передает их на обсуждение другим экспертам, и таким образом участники опроса сами (если не предусмотрена итоговая аналитическая записка) формулируют основания своих оценок либо организатору гуманитарной экспертизы и консультирования, либо лицу, принимающему решения, либо субъектам “демократической экспертизы”. Главное, чтобы процесс подготовки решения опирался не только на варианты оценок, но и на лежащие в их основе базовые ценности. Естественно, речь идет о гуманистических - прежде всего нравственных - ценностях, что, в свою очередь, требует их формального и содержательного определения с последующей операционализацией.

Эти требования относятся скорее ко второму и последующим турам экспертных опросов; целесообразны они и в качестве самоцели, когда научной экспертизе подвергаются результаты “демократической экспертизы”. Особое значение имеют эти требования в таких ситуациях, когда экспертиза и консультирование выступают в роли “экспертизы экспертиз”, например,

гуманитарной экспертизы результатов экономических, этнических, политических, экологических и т.д. экспертиз.

В такого рода ситуациях базовые нравственные ценности призваны стать ядром комплексной экспертизы, а задача гуманитарной экспертизы - выявить и “испытать” явные или скрытые ценности специализированных (узкодисциплинарных, ведомственных и т.д.) заключений. Важно при этом подчеркнуть, что гуманитарная природа экспертизы определяется ее противопоставлением не столько естественнонаучному, сколько узкогуманитарному подходу.

Сегодня мало преодолеть подход к человеку как “фактору”, недостаточно уже и просто учитывать “человеческое измерение” - оно может быть “мелким”, “узким”. Гуманитарная рефлексия в этом случае призвана сосредоточиться на формальных и не формальных направлениях “экспертного движения”. Очевидная инновационность этого движения требует, как и любая инновация, обязательного “человеческого измерения”, в контексте которого вполне оправданы притязания субъекта гуманитарной экспертизы и консультирования на статус “сверхэксперта”. Не менее опасными могут стать и сверхамбиции организаторов опросов. Конечно, само употребление этого слова, даже взятого в кавычки, должно быть очень определенным, требует предельной самоиронии.

Демократическая экспертиза

До сих пор наши рассуждения были довольно категоричными, ибо описывали значительный опыт “меритократического” вида гуманитарных экспертиз и консультаций. Однако последние годы дали возможность развития и “демократической экспертизы” как синтеза методов прикладной этики и социологии морали. Стимул для инициирования этого вида экспертизы заключался не только в уже упомянутом антипрофессионалистском настрое общественного мнения, но и в необходимости привлечения к участию в гуманитарной экспертизе более широкого круга людей, не являющихся профессионалами в этическом моделировании. При этом речь шла о разработке метода, который, отличаясь от “опросов общественного мнения” в их традиционном режиме, мог бы интегрироваться в процесс этического игрового моделирования, требующий диалога специалистов в теории морали и непрофессионалов в этой сфере.

Естественно, что находясь на первых этапах освоения метода “демократической экспертизы” (отметим здесь прежде всего ситуации, когда он был применен для подготовки игрового моделирования - см. тринадцатую главу), мы должны продолжить наше изложение в стиле менее категоричном, придав ему статус рабочей гипотезы.

Как формируется субъект демократической экспертизы, если известно, что его нельзя искать случайно (а именно так отбираются респонденты в массовом опросе), что искомый субъект не может быть подвергнут предварительной селекции и аттестации (в то время как “экспертизе экспертов”

присуща подготовка экспертного опроса среди специалистов)? Как соотносятся нормы-рамки и нормы-цели этого вида гуманитарной экспертизы?

Один из способов конструирования таких норм - анализ прецедентов независимых, неформальных экспертиз. Возрастающее число этих экспертиз актуализирует антиномию Лема, кристаллизуя аргументы “за” и “против” обоих видов экспертизы. Так, например, уже в серии экспертиз по поводу строительства Ленинградской дамбы и освоения Ямальских газовых ресурсов был выявлен конфликт “дилетантизма” и “профессионализма”, за которым трудно было не обнаружить противостояние ведомственных и общественных интересов и, соответственно, ведомственной “морали” и морали общечеловеческой, общедемократической.

При этом, во-первых, был выявлен нравственный потенциал именно “дилетантского” подхода, не принимающего узкопрагматической ориентации “казенных” экспертиз. Ведь именно с помощью “дилетантов” был остановлен поворот рек Севера, именно “зеленые неформалы” противостояли как минводхозовским “профессионалам”, приведшим Арал к катастрофе, так и профессионалам-газовикам, приведшим к такому же состоянию природу и этнос Ямала. Именно те и другие “дилетанты” восстали против лозунга “любой ценой”.

Во-вторых, опыт независимых экспертиз показал способ согласования экспертизы, которую проводят специалисты ведомства, и неформальных экспертиз, которые обычно организуются населением, вынужденным на себе испытать оцениваемые экспертами последствия проектов. Здесь отвергается само противопоставление видов экспертиз. Более того, обостряется вопрос: достаточно ли у специалистов компетентности и ответственности - прежде всего нравственной - чтобы своими решениями не породить угрозу людским судьбам? А результаты профессиональной экспертизы выносятся на общественный консилиум, которому, как, например, в Японии, придается в отношении экологических экспертиз правовой статус.

Отметим, что квалификация ведомственных экспертиз как профессиональных, а неформальных - как дилетантских не точна, тем более, что ряд независимых экспертиз предпринимается с участием высококлассных профессионалов. Скорее их сходство и различие можно квалифицировать через меру сочетания в экспертных заключениях рациональных и аффективных выборов, меру, которая, можно предположить, смещена в обоих случаях в разные стороны.

Итак, анализ прецедентов неформальных экспертиз выявляет одну норму их организации: неформальные экспертизы инициативны и поэтому речь может идти о самовыдвижении экспертов [13]. Но именно это самовыдвижение и порождает основное противоречие “демократической экспертизы”, связанное с уровнем рациональности-аффективности экспертных суждений, а также с “достоинствами” и “слабостями” здравого смысла.

Проблема гуманитарной экспертизы занимает особое место в традиционной дискуссии о рационализме в морали и культуре в целом. Отсюда

и жесткость в характеристике экспертного выбора как рационального или аффективного и, соответственно, подлинного или мнимого. В свою очередь, “меритократический” и демократический виды гуманитарной экспертизы соотносятся как теоретическое знание и здравый смысл. Их соотношение представляет для наших поисков особый интерес, если, в свою очередь, в рациональном выделить разумное и рассудочное.

Во взаимодействии научных представлений и здравого смысла имеются две тенденции: отделение их друг от друга и, наоборот, в связи с возрастанием прагматичности науки, укрепление непосредственных контактов между ними.

Здравому смыслу принадлежит особая роль в диалоге этической теории и морали, в контактах прикладной этики с ее “адресатом” и “заказчиком”. Именно через здравый смысл происходит ассимиляция научных разработок в практике, причем постижение научной позиции происходит не пассивно, а в процессе обогащения здравого смысла научными достижениями. Особый интерес представляет, конечно, обратное влияние - здравого смысла на научное знание. Аргументами для этого заключения служат результаты гносеологического анализа “языка здравого смысла” в его сравнении с “языком науки”. Поэтому противоречивость здравого смысла, его известная ограниченность не должны приводить к безусловному противопоставлению его современному этическому мышлению. Более того, эталон диалогичности этического знания и морали, герменевтические ориентации прикладной этики (“понимающая этика”) требуют акцентировать “презумпцию” здравого смысла, который в этом случае не отождествляется с шаблонным мышлением. В то же время, установка на доверие здравому смыслу учитывает известную предрасположенность его в критических ситуациях искать в науке “опекуна”, занимать позицию стихийного сциентизма, жаждущего готового решения, избавляющего от бремени самостоятельного выбора.

Для более точного представления об интервале компетентности здравого смысла уместно обратиться к проблеме моральных “рецептов”. Разумеется, речь идет о смысле “рецептурности” в контексте современного типа мышления. В культурах иного типа “рецептурность” может быть окрашена в тона безусловной позитивности и креативности.

В процессе выработки стиля, языка гуманитарной экспертизы и консультирования феномен противоречивой роли “рецепта” (“рецепта” и запрашиваемого, и ожидаемого) занимает особое место. Проблемная ситуация здесь заключается в том, что практика постоянно воспроизводит “заказ” на “рецепты” и, с другой стороны, сложился и широко распространен стереотип обыденного и теоретического сознания, согласно которому в культурно-нравственной жизни составление рецептов бессмысленно и бесплодно.

В многогранной теме “рецептурного мышления” выделим вопрос о единстве и противоположности “рецептурного” и творческого подхода к решениям, показав при этом как “плюсы”, так и “минусы” применения “рецептов” - именно те “плюсы” и “минусы”, которыми характеризуется здравый смысл.

В специальных исследованиях по проблеме культуры мышления (их результаты вполне могут быть распространены и на сферу этического мышления) в оценке “рецептурного мышления” выявляются два полюса. Положительный полюс заключается в том, что “рецепты” целесообразных действий складываются из обобщения практического опыта (например, праксиологический анализ поговорок у Т.Котарбиньского). Условием эффективности этих рациональных обобщений при их ситуационном истолковании и применении является требование не оказаться “набитым дураком”. Отрицательный полюс образуется из возможности одностороннего осмысления народной мудрости - под углом зрения ограниченной позиции, приводящей к “выуживанию” из этой мудрости лишь “ходячих” ее форм.

Конкретизация проблемы “рецептов” предполагает сочувственную, “понимающую” оценку человеческой потребности опереться на уже найденную, готовую мудрость, получаемую “нуждающимися” без предварительного риска, без метода проб и ошибок в ее “присвоении”. Слишком легко было бы свести желание человека получить мудрость “готовой” только лишь к попытке избежать личной ответственности, к стремлению уклониться от бремени выбора - “замысла жизни”, линии поведения, конкретного поступка. Презумпция доверия помогает увидеть, как в таком желании отражаются трудности и противоречия индивидуальных нравственных исканий, результаты которых могут быть намного более благоприятными для личности, если они опосредованы нравственными ценностями, накопленными и закрепленными в передовом культурном наследии поколений. Эти ценности, этот опыт поколений способны помочь - особенно в кризисные, переломные моменты жизни - и как мировоззренческие ориентиры, и как стимулы саморазвития. Избавление споров о возможности и необходимости “рецептов” в морали и воспитании от беспредметности, от безграничности самого понятия позволит понять как необходимость творческой корректировки любого “рецепта”, так и нецелесообразность в каждом случае “изобретать” формы и средства решения ситуаций заново.

В конечном счете успех теории и практики гуманитарной экспертизы зависит от интеграции двух культур - научной и здравого смысла: гуманитарное знание принадлежит к особому типу теоретизирования. Не менее значим и тот непреложный факт, что современная ситуация в нашем обществе демонстрирует стремительное и непрерывное обновление статуса субъекта экспертизы (как и статуса субъекта принятия решений). Это обновление, в свою очередь, выражает процессы демократизации общества, атмосферу антиэциентистских настроений в отношении к ведомственной науке и антибюрократических - к аппарату управления как субъекту принятия и исполнения решений.

Метод этических рационализаций

Гуманитарная экспертиза не исчерпывает своего арсенала лишь методом опросов экспертов. В нашем опыте этико-прикладных исследований

определенное место занимает метод *этических рационализаций*. Мы прибегаем к нему для обозначения теоретизированных описаний идей, ценностных ориентаций, образов массового сознания.

Как известно, понятие “рационализация” возникло в начале прошлого века в рамках политэкономических изысканий (в том числе в русле марксистской традиции), а затем благодаря М.Веберу и его последователям перекочевало в социологию. Это понятие характеризует процесс упорядочения идей и ценностей, выражающих интересы определенных социальных групп. Данный процесс представляет собой, во-первых, последовательное вытеснение иррациональных, случайных, неотрефлексированных и не соответствующих идеальным основаниям образований, которые включаются в качестве компонентов в социальное действие. К ним обычно относят аффективную и рутинно-традиционную мотивацию действия - и нечто побуждающее, и нечто объясняющее свои побуждения. Во-вторых, рационализация выступает как вытеснение и таких интерпретаций социального действия, которые несовместимы с основными его принципами.

Этот процесс преодоления дуализма должного (идеального нормативно-ценностного порядка) и сущего (эмпирической реальности) осуществляется посредством уяснения системы целей и средств, что предполагает ранжирование базовых ценностей по некоторым правилам, в свою очередь определяющее порядок выбора целей, поиск адекватных средств и учет вероятных последствий социального действия группы и отдельных индивидов, а также предполагает и способы институциализации ценностей культуры. В ходе последней возникает прочное разделение видов деятельности (обычно исходной моделью служит разделение, практикуемое в экономической деятельности), ее нормирование с последующей организационной оформленностью, тогда как определение смыслов деятельности индивидов позволяет сложиться определенным этосам, образам жизни [14].

Методология неокантианства, философии жизни, “понимающей” социологии исходит из того, что нравственная жизнь общества может быть познана только на основе смыслов, вкладываемых в действие. Поэтому исследователю вменяется в обязанность освоить воззрения и предпочтения, ориентации и оценки самих субъектов нравственной жизни общества, идентифицировать себя с носителями данных воззрений (дать своей жизни “проникнуть” в другую), чтобы затем подвергнуть познаваемые смыслы, ценности, взгляды обработке “изнутри”. И тогда отношения между объектом познания (моральным сознанием, духовно-нравственной жизнью общества, теми или иными этосами) и его субъектом (этическим знанием) окажутся чем-то подобным сокровенному прочтению смыслов. Такое предпочтение станет возможным благодаря применению индивидуализирующих способов постижения мира, позволяющих уловить и проинтерпретировать то, что ускользает от организованного познавательного процесса, что неподвластно, а то и просто безразлично науке.

Данный подход известен прежде всего критикой натуралистических, “событийных” описаний нравственных процессов и устранением позитивистско-сциентистских требований освободить этическую теорию от заинтересованного отношения к моральным проблемам нашего времени. Однако “понимающая” методология сама оказалась безоружной перед давлением агностицизма, так как не позволяла справиться с проблемой объективных, общезначимых результатов в процессе познания такой “тонкой материи”, как общественная нравственность, как “предельные”, “терминальные” ценности морального феномена.

Кроме того, она оказалась обремененной еще одним прегрешением: методы “схватывания”, “сопереживания” исключают для исследователя право занимать критическую позицию по отношению к объекту познания - массовым воззрениям, ориентациям, побудительной и оправдательной мотивации участников общественной жизни. Это обрекает исследователя на ограничение его программ только рационализацией практического морального сознания. А такая процедура оказывается лишь “вторичным отражением”, систематизацией и кодификацией идей, вплетенных в непосредственный “язык реальной жизни” [15]. Стало быть, понятия, которыми оперируют в границах такого рода рационализаций, не способны отражать ни социально-вещные отношения, ни факты нравственной жизни как таковые. Эмпирическая база этих понятий - мироощущения и верования, пристрастия и ожидания, присутствующие в моральном сознании. Они являются продуктом рефлексии такого сознания, экспликацией нетеоретических, но вместе с тем мировоззренческих понятий в рамках этого сознания, его структур.

Данные понятия, конечно, позволяют в чем-то превзойти стихийно-эмпирическое познание, обыденный уровень мышления с его символично-метафорическим или использующим притчи отражением социальной практики. Но так как они захвачены миром иррациональных и превращенных форм, то знакомят только с “перелицованной логикой” отражения материальных, бытийных отношений в сознании участников общественной жизни, главным образом тех слоев, чье объективное социальное положение обуславливает особенно сильную потребность в фетишизации. Не удивительно, что как бы далеко ни отстояли суждения и умозаключения, присутствующие в наукоподобном двойнике фетишистского сознания, от того, что Маркс называл “религией повседневной жизни” [16], они в конце концов регулярно возвращаются к ее отправным пунктам: неспособности выделить побудительные силы побудительных сил, сведению общественных нравственных отношений к повседневным привычкам, системных характеристик морали - к элементарным (профессиональным, национальным, “статусным”, половозрастным, культурно-групповым и др.), рассмотрению исторических типов морали в качестве универсальных установлений, восприятию их преимущественно в плане устойчивости, как олицетворения норм любой социальности и т.д. При заключительной проверке продвижение в познании оказывается чем-то подобным “езде в заранее известное”, т.е.

самопознанием, - обстоятельство, в ряде случаев тщательно скрываемое за безукоризненной научной формой, яркостью и отточенностью мысли. Данное обстоятельство в полном объеме не обнаруживается подчас и самими творцами рационализаций.

Как отнестись к факту существования этических рационализаций? С позиций претендующей на научность этики очевидно, что усилия, затраченные на производство рационализаций, независимо от полученного познавательного результата, не напрасны. Эти рационализации, во-первых, оказывают мировоззренческо-регулятивное воздействие на деятельность практически всех социальных институтов, в каком-то смысле более сильное, чем собственно этические теории. Во-вторых, с помощью указанных институтов содержание этических рационализаций (понятно, что наряду со всеми другими) включается в систему идеологического и психологического воздействия, направленного на массовое сознание. Этот процесс облегчается в наше время общим ростом образованности населения и повышением интеллектуального уровня массового сознания, серией глубоких технологических преобразований в средствах массовой коммуникации. Через разнообразную продукцию “массовой культуры” и все виды пропаганды данное содержание становится непосредственно доступным объекту манипулятивного воздействия.

Не может быть двух мнений относительно того, что не рационализации как разновидность моральной идеологии определяют содержание спонтанно складывающихся моральных представлений, верований и оценок. В данном плане практическое моральное сознание первично по отношению к его же теоретизированным описаниям. Однако в наше время это массовое сознание лишь отчасти можно признать как независимое и непосредственное отражение конкретной жизненной практики, индивидуального и группового опыта людей, выводов, полученных ими с помощью здравого смысла. Дело, как нам представляется, в том, что отношения, в которые независимо от собственной воли вовлечены люди, сами оказываются мозаичными, а в ряде случаев не лишены противоречий. Происходит это из-за стирания прежних четких социальных граней, из-за известной двойственности образа и стиля жизни в индустриальном обществе вследствие “затемненности” реальных жизненных перспектив, непроясненности политического и морального опыта людей (данные характеристики относятся в первую очередь к маргинальным, промежуточным слоям населения, которые в ситуациях радикальных перемен способны к быстрому росту). К тому же массовое сознание наталкивается, как на глухую стену, на такую социальную действительность, которая на каждом шагу порождает вереницы обманчивых, превратных форм общественных отношений и особенно запутанных нравственных отношений, что увеличивает возможности возникновения неадекватной самоориентации, усиливая колебания людей в познании, оценках и поступках.

Вследствие указанных обстоятельств массовое сознание оказывается сравнительно слабо защищенным от чрезвычайно интенсивного и многостороннего идейного и психологического давления. Претендуя на миссию

“поводыря” или же “благожелательного суфлера” в запутанных отношениях современного мира, это давление направлено на то, чтобы узаконить и сделать универсальными некоторые стороны мироощущения и мировосприятия масс, их отношения к социальной действительности (усилить, скажем, элементы наивности, доверчивости, тенденцию к морализаторской оценке событий, склонность к утопизму, эгалитаризму, недисциплинированному социологическому воображению и т.п.), а некоторые другие стороны - сильные, живые, творческие, демократические - нивелировать или же ослабить. Таким образом, в одном “пакете”, в едином культурно-мировоззренческом контексте манипулятивное давление вносит в сознание людей и те социально-нравственные верования, которые не выражают интересы масс, не соответствуют их опыту, и те, что представляют собой рационализации - более или менее систематизированные, изоцированные и развитые в желаемом направлении описания уже упомянутой “религии повседневной жизни”, ее иллюзий и предрассудков, форм надежд и тревог, но при том частично выражающие предметность, опыт и ожидания массового сознания.

Благодаря тому, что это стихийно складывающееся сознание выявляет в содержании этических рационализаций хотя бы некоторые свойства, представления и предпочтения, созвучные собственным, помогающие ему как-то сориентироваться в меняющемся и полном противоречий мире, оно воспринимает и остальное содержание исподволь навязываемого “пакета”, пользуясь им как мыслительным материалом для настройки и перестройки своих структур. На основе этих структур формируются и “облицовочные” элементы данного сознания - всевозможные оценочные суждения, расхожие мнения по всему диапазону социальных и нравственных проблем.

Но процесс обработки сознания не ограничивается его “приручением”, некоторой “пропиткой”: стихийно складывающиеся моральные представления, верования, образы смешиваются, налагаются друг на друга, срастаются и, наконец, сплавляются с более или менее развитыми идеологическими представлениями [17].

Можно предположить, что в основе подобных сплавов лежат особые духовные образования, которые можно было бы назвать *жизненными идеалами личности*. Это максимально широкие (а не специализированные по родам деятельности, видам практики, социальным функциям) представления личности о том, какой ей надлежит быть в эпоху исторического лихолетья и как ей должно поступать для осуществления своих замыслов, “проектов бытия”. Такие представления отражают стержневую направленность всех видов ценностных ориентаций, их вектор (нравственность, как известно, способна интегрировать все способы отражения действительности, все формы духовного производства), концепт цели, ее “стратегему”, основную модальную идею деятельности (“делай то-то”, “избегай того-то”, “стремись к тому-то”), содержат их обоснование, знания о способах саморегуляции поведения, некоторые коды поведения, схемы ординарной мотивации, модели “священного” и должного. Эти идеалы как раз и составляют (хотя и не исчерпывают) основное содержание

развитых моральных идеологизированных образований, получивших форму рационализаций.

Сегодня в массовое сознание внедряются традиционные жизненные идеалы, генетически и функционально связанные чуть ли не с начальными этапами истории как морали, так и этики. Несмотря на столь почтенный возраст, они весьма привлекательны благодаря своей апробированности, ореолу иллюзий, будто отражаемые ими поведенческие принципы и способы мировидения, погасив все неудачи проб и ошибок, уже стали неподвластны течению времени, духу перемен. Кажется, что, выключившись из исторического процесса и неизбежной смены мировоззрений, они вытекают чуть ли не из “природы” человека, естественным образом связаны с его высшими духовно-нравственными потребностями, запечатлевают в многократно снятой форме оптимальные способы “вхождения” в цивилизованный социум, дают надежные образцы взаимоотношений индивида с ним.

В это тем более легко поверить, что данные идеалы и в самом деле не привязаны к меняющимся обстоятельствам, прямо не выводятся из наличных форм социальных отношений, являются, по давнему выражению О.Г.Дробницкого, “трансторическими”, могут сравнительно легко переключиваться из эпохи в эпоху. Очевидно, что “призыву на службу” таких идеалов предшествует длительная селективная работа, которая как раз и осуществляется в процессе производства этических рационализаций. Именно в этом процессе в рамках традиционных идеалов гедонизма, эвдемонизма, стоицизма, аскетизма, анархизма, квиетизма, перфекционизма и т.п. ставятся новые вопросы и только тогда, когда с помощью этих идеалов обретаются искомые ответы, они, после необходимой “подгонки” к изменившимся общественным условиям, реанимируются и используются для наркотизации массового сознания.

Не наталкиваемся ли мы в данном случае на малознакомую линию преемственности в истории этики, прочерчиваемую не столько между теориями различного типа, сколько между исходными теориями первого круга этики и их современными рационализациями?

Независимо от возможного ответа на данный вопрос, все сказанное позволяет предложить и отстаивать гипотезу о существовании в высокоразвитых обществах своеобразной интенсивной циркуляции моральных идей, образов, представлений. Первоначально рационализации складываются на базе идущих “вверх”, так сказать, “испарений” массового сознания (если, разумеется, абстрагироваться от их истоков в предшествующих рационализациях, воздействующих на новые в соответствии с законами не научной, а идеологической преемственности). Они возносятся над повседневностью, обретают черты беспредпосылочности, социальной необусловленности и развертываются затем по некоторым правилам научно-теоретического построения, двигаясь в рамках познавательных норм научного мышления (четкое разграничение объекта и субъекта, выделение позиций субъекта по отношению к объекту, создание идеальных объектов,

агрегирование выводов, иерархическое размещение заключений, отработка логико-гносеологических критериев и т.п.). И уже потом, оваянные славой теоретического дерзания, рационализации возвращаются назад, к истокам, воспринимаются массовым сознанием в качестве “своих”, и потому им безропотно отводится роль лейтмотивов и ориентиров поведения. Принимаются и “прилипшие” к ним идеологические клише, язык отвлеченных доктрин, абстрактных этических принципов. Благодаря подобной циркуляции (ее масштабы и темпы в разных случаях оказываются различными) ни стихийные, ни систематизированные моральные образования не функционируют в чистом виде, смущая тем самым исследователей как моральных, так и этико-теоретических идей.

Не следует ли наложить методологическое вето на использование этических рационализаций в научных исследованиях и в гуманитарных экспертизах? На такой “каверзный” вопрос нельзя, к сожалению, дать однозначный ответ, так как в рамках этики сосуществуют различные дисциплины (уровни), и к тому же слово “использовать” само имеет несколько значений. Представляется очевидным, что при построении теоретической модели морального феномена этика не должна пользоваться рационализациями. В самом деле, познание смыслов должно не руководствоваться установками массового сознания, а наоборот, максимально отдалиться от них, преодолеть их притяжение, избежать соблазнов рационализации, объясняя эти смыслы, установки и предпочтения материальными процессами, потребностями и интересами социальных групп и общностей, объективными и субъективными факторами общественной жизни. Всякое нарушение такого запрета чревато неадекватной интерпретацией нравственной жизни, самого морального феномена, препятствует исследованию закономерностей мотивации, формирования смыслов и оценок.

Но разве мыслимо в процессе этического исследования избежать воздействий массового морального сознания на ценностные предпочтения самого исследователя? Конечно, предписание Спинозы относительно того, что надлежит не смеяться или плакать, а только понимать, не может быть исполнено: абсолютная элиминация воздействий установок массового сознания невозможна. Но этическое знание “снимает” догматический характер противопоставления объективного теоретического исследования мира нравственных отношений и практического сознания, руководствуясь прежде всего тем, что не всегда и не всякое моральное сознание является фетишистским, испытывая неодолимую тягу к иллюзиям по поводу своего социального бытия.

Однако вся проблема использования рационализаций ставится совсем по-другому, когда возникает вопрос об организации эмпирических и прикладных исследований в этике. На этом уровне рационализации могут и должны быть использованы в качестве исключительно ценного источника информации о состоянии и тенденциях реальной нравственной жизни. Знание, которое они содержат, не следует уподоблять тому знанию, какое, по ироническому

замечанию Б.Рассела, любитель собак имеет о своей собаке. “Творцы” и “пропагандисты” рационализаций способны чутко вслушиваться в биение пульса нравственной жизни, чтобы уловить и усилить сдвиги в настроениях, мироощущении и верованиях близких им по духу социальных слоев и групп, а затем подвергнуть эти настроения, мироощущение и верования процедурам теоретизирования.

Современные методы эмпирических исследований в этике не настолько развиты, чтобы можно было позволить себе пренебрегать богатым материалом, в качестве которого выступают как раз рационализации, и довольствоваться только строго выверенными фактами. Это в той или иной форме признают все, кто пытался заниматься проблемами моралеведения, социологии морали и социологии воспитания.

Разумеется, опасно доверять информации, отбираемой на основе декларируемых или же маскируемых идеологических пристрастий. Но это обязывает не отворачиваться от обильного источника, а научиться отсеивать предрассудки, превратные моральные представления, переносимые в рационализации из некоторых сфер практического морального сознания. Если исследователю необходима информация о моральных предрассудках, то они должны быть зафиксированы именно в этом своем качестве.

С другой стороны, следует устранять извращения, возникающие в ходе производства самих рационализаций, поскольку последние не являются точным слепком, аналогом практического морального сознания определенных слоев и групп - хотя бы потому, что обработка фактуры, известное развитие понятийного аппарата, выведение следствий, имплицитно содержащихся в принятых посылках, “переодевание” в замысловатые теоретические “одежды” довольно существенно меняют исходный мыслительный материал. Подняв моральные суждения и умозаключения, образцы поведения и настроения данных слоев и групп на уровень рефлексии по поводу их оснований и системности, рационализации определенным образом преобразуют эти феномены, смещают устоявшиеся в них акценты, редуцируют какие-то признаки, усиливают другие и только после такого рода “исправлений” в желаемую сторону “отпускают с миром”. Это обстоятельство должно быть учтено исследователями, оперирующими рационализациями, чтобы не попасть в ловушку дезинформации. Лишь косвенно, принимая значительные поправочные коэффициенты, можно судить по этическим рационализациям о подлинных реалиях практического морального сознания.

В данной связи можно рекомендовать некоторые охранительные меры. Прежде всего, использование этических рационализаций в качестве источника информации лишь тогда будет в необходимой степени критичным, когда этико-прикладное исследование осуществляется в русле фундаментальных ориентаций философской этики. Само по себе это еще не может гарантировать глубину изучения и адекватность выводов, однако надежно нацеливает на объективное исследование тех социальных отношений и процессов, противоречия которых обуславливают динамику состояний общественной

нравственности. Благодаря такому изучению могут быть достоверно познаны и порожденные этими сменами состояний этические рационализации, а тем самым будет исключено противопоставление моральных феноменов вызывающим их социальным обстоятельствам.

Далее, важно не допустить ограничения методов получения эмпирического знания о нравственной жизни одним только критическим анализом этических рационализаций. С помощью всех остальных методов получения эмпирического знания (“моральной статистики”, полевых социологических зондажей, анализа текстов и т.п.) можно подвергнуть этические рационализации строгой критике, перепроверя содержащуюся в них информацию. В целом, по выражению М.К.Мамардашвили, методом предметно-редуктивного анализа, путем “*дереационализации*”, т.е. движением от вторичных отражений к “первичным”, можно обрести знание об общественной нравственности с точки зрения преобладающих в ней установок, характера мотивации, связей с теми или иными социальными мифами. Через идейно-психологические различия, фиксируемые в этических рационализациях, можно выявить и различия в идеалах, ценностных предпочтениях и “языке” морального сознания. Эти различия представляют собой особенно значимый материал, когда исследование продвигается от изучения “больших” нормативно-ценностных систем и соответствующих моральных типологий личности к описанию их “малых” подсистем (трудовой и профессиональной морали, политической этики, этоса воспитания, семейно-бытовой морали и т.п.), к определению их влиятельности, уяснению принятых в них способов саморегуляции поведения, схем мотивации, специфики моральной символики. Они полезны, стало быть, при рассмотрении функционирования указанных подсистем, при описании временных и промежуточных моральных типологий личности, определении степени влияния различных ситуативных факторов на состояние общественной нравственности и тенденции ее развития.

Чтобы оптимизировать использование этических рационализаций, их надо определенным образом классифицировать. Классификацию можно построить, во-первых, по степени обобщения морального сознания, во-вторых, по степени сочетания в этих рационализациях элементов реалистического этико-теоретического и псевдотеоретического анализа и, в-третьих, по уровню их системности.

В первом случае можно выделить собственно этические рационализации, этические рационализации по преимуществу и неспециализированные рационализации, в которых рассеяны отдельные элементы, отражающие те или иные стороны нравственной жизни. Последние, надо думать, наиболее содержательны в информационном плане, так как в обществе не существует специализированных “лабораторий” по производству моральных идей, норм и требований - они формируются в ходе комплексного духовного производства.

Во второй схеме рационализации группируются по признаку нарастания (или убывания) в них элементов объективного анализа нравственной жизни. Такие элементы неизбежно оказываются разнокачественными и могут

относиться к сбору, первичной обработке и обобщению фактов, к их объяснению, к различным допущениям, догадкам, преднаучным решениям. Заметим попутно, что литература по этике позитивистской или антипозитивистской направленности, хотя и может заключать в себе фрагменты рационализаций (испытывая сильное давление тех или иных разновидностей фетишистского морального сознания), тем не менее не должна быть отнесена к классу этических рационализаций.

Наконец, по третьему признаку надо выделить моральную эссеистику, философскую и социологическую публицистику, некоторые культурологические работы и труды, которые нельзя определенно отнести к сфере собственно научного знания.

В связи с этим встает сложная проблема разграничения этических рационализаций и художественных произведений (прежде всего близких к очеркам нравов произведений социографической литературы), являющихся самостоятельным источником моральной информации. Прочертить границы между ними не только трудно, но в ряде случаев невыносимо. Это относится, например, к этическим рационализациям, ориентированным на экзистенциализм, персонализм, неотрейдизм, так как принятый в них способ философствования во многом подобен художественным методам постижения действительности. Речь идет об отказе от аналитических приемов, причинно-следственного рассмотрения, о признании этики, по выражению А. Камю, “тщательно выстроенной исповедью” и т.п. И напротив, есть художественные произведения, прямо-таки перенасыщенные анализом моральных идей, как, например, роман “Степной волк” Г. Гессе, памфлеты Н. Мейлера, драмы Ж.-П. Сартра, новеллы Г. Парезо и др.

Этические рационализации в целом могут и должны быть использованы с учетом указанных выше ограничений. Возможно, эти исследования и не сулят откровений, но они позволяют конкретизировать ряд принятых в нашей этике представлений. Поскольку такого рода исследования в немалой степени строятся на воображении (“имажинистская этика”), то с ними, конечно, связан значительный риск субъективизма. Но дальнейшая разработка способов критического прочтения этических рационализаций может снизить этот риск до уровня, оставляющего исследователя в пределах “осторожного дерзания”.

Этико-праксиологические игры

Тайна нравственной свободы и тайна игрового космоса имеют достаточно много общего, чтобы обеспечить потенциалу игрового моделирования ситуаций морального выбора высокую степень адекватности относительно такой функции *прикладной этики*, как гуманитарная экспертиза и консультирование.

Современное название заявленного в названии этого фрагмента главы направления (первоначально - “этические деловые игры”) соответствует развитой форме общественной нравственности с характерным для “общества свободной близости и свободного антагонизма” рациональным обоснованием моральных решений.

Этико-праксиологические игры (*далее - ЭПИ*) в рамках гуманитарной экспертизы и консультирования ориентированы на проблему выбора средств в процессе морального решения, проверку достоинства цели нравственным качеством применяемых способов ее достижения. Актуальность этого подхода очевидна при осмыслении переходного периода как ситуации, провоцирующей применение так называемых “вынужденных средств”. Этот объективный факт должен быть объектом пристального внимания гуманитарной экспертизы, в рамках которой обоснование обязательно подразумевает и моральную оппозицию, критику. Рациональное обоснование - “оправдание” и “оппозиция” - эффективности решений - сложнейшая задача “экспертного рационализма”.

ЭПИ как метод гуманитарной экспертизы реализуют потенциал этико-прикладных исследований современной нравственной жизни благодаря проектированию инвариантного для игрового феномена эффекта взаимодополнительности “условного” и “серьезного” в процессе моделирования нравственно-конфликтных ситуаций (представленного в одиннадцатой главе). Конфликтность игровой деятельности, закодированность в правилах игрового поведения культуры разрешения конфликта, “науки и искусства” конкуренции и сотрудничества, культуры успеха и поражения сопрягаются с конфликтностью нравственных норм и правил ее разрешения в ситуации выбора.

Как было показано в предшествующей главе, мораль как способ духовно-практического освоения мира развивает в самой себе игровые элементы (“хomo моралес” как “хomo люденс”). Столкновение традиции и инновации (особенно, когда новое приходит в облике зла, когда должное достигается насущными и потому не адекватными средствами), конфликт ценностей, принадлежащих разным системам морали, экзистенциальный риск морального выбора - задачи игрового моделирования как средства развития морального творчества.

Игровое творчество в нравственной жизни - фронтестика - моделируется в “лаборатории освоения”, где игровые правила выступают как оперирование моральными нормами; необходимые для встраивания игрового пространства в пространство серьезное правила развивают знание-умение (фронтестнику) решать ситуацию выбора, а не “хитрить” с ней, не уклоняться от решения. Нормотворчество - творческое применение нравственных норм и правил в конкретных ситуациях и формирование новых правил для ситуаций не стандартных - самодостаточная цель любой ЭПИ.

ЭПИ находят свое основание в метафизическом содержании игрового феномена, в трактовке игры как одной из основных форм человеческого существования, вида человеческой деятельности, способного воспроизводить все другие ее виды благодаря двуплановости, интегрировать самовыражение и результативность, правила и свободу, импровизацию и организованность. Соответственно, и “метафизика нравственности” позволяет увидеть в праксиологических аспектах морального выбора не просто “технологию”, но и известную самооценку. Бремя и счастье морального выбора - это и бремя, и счастье игры, игры, которая Добру и Злу не равнодушна.

Диапазон научного поиска в сфере ЭПИ варьирует от исследования “метафизики игры” в ее этической интерпретации до развития консенсологической способности метода в экспертизе ситуаций выбора и разработки кредо и кодекса игрового моделирования (моральные стимулы и моральные запреты на развитие игровой фронестики). Диапазон опыта разработки и внедрения конкретных игр - основные сферы приложения этики.

Разные заказчики (оргкомитет международной конференции и правительство России, Ассоциация малочисленных народов и Агентство печати “Новости”, окружной совет народных депутатов и школа менеджеров, городская администрация, колледж), разные запросы (весь спектр направлений сотрудничества науки и практики), изменяющаяся морально-политическая ситуация в обществе - условия, которые позволили не просто испытать гипотезу гуманитарной экспертизы средствами этико-праксиологических игр, но и развить методологию и методику диагноза и прогноза современной общественной нравственности в режиме сотрудничества-соавторства в экспертной деятельности как “заказчика”, так и “исполнителя”, в режиме морального диалога субъектов ситуации морального выбора.

Этико-праксиологическая игра как модель освоения ситуации морального выбора

Наша задача - показать, что, ЭПИ, *во-первых*, является адекватной природе морали методологией освоения ситуаций морального выбора. *Во-вторых*, обосновать методологию такого рода как этическую праксиологию, которая наряду с этической аксиологией является неотъемлемой акта морального выбора. *В-третьих*, ЭПИ моделируют собственно этико-праксиологическую сторону любого дела: борьбы, конкуренции, сотрудничества, кооперативных действий, успеха и поражения, победы и компромисса. Тем самым ЭПИ концентрируют взятые из жизни “хомо моралес” аспекты деятельности, которые через потребность освоить ситуацию морального выбора (преодолеть конфликтующие обстоятельства, нормы, позиции, достичь достойной цели, решить нравственную задачу, проявить нравственную инициативу, решиться на риск и т.п.) развивают его моральный потенциал.

Метод ЭПИ отнесен нами к гуманитарной методологии освоения ситуации морального выбора. Самые важные аргументы в пользу такой квалификации предъявлены в одиннадцатой главе. Однако, ни достижения исследователей метафизики игры, по своей классической традиции чаще всего равнодушных к праксиологической “прозе”, ни различные ветви “древа” игрового движения, вполне лояльные к делу, но не ставящие проблему познания диалектики аксиологического и праксиологического в принятии морального решения, не дают ответов на вопрос о природе ЭПИ. Поэтому и в нашем описании метода нельзя не заметить несоответствия между желаемым результатом - и результатом достигнутым в поиске тайн ЭПИ.

Исследование природы ЭПИ - как и их конструирование - сопровождается сильным “сопротивлением материала”. Этот вывод подтверждается уже при первой попытке определить само понятие, которое все еще трудно вывести из статуса “размытого”.

В процессе методологической рефлексии можно и необходимо различить все три “составляющих” понятия: “этическая”, “праксиологическая”, “игра”. Но при этом опасно потерять ту *тайну* ЭПИ, которая формируется, живет лишь в пограничных зонах взаимодействия “составляющих”, в процессе их “искрящего контакта”, возникает в виде “вольтовой дуги” между потенциалами моделирования как способа познавательной деятельности и игрового отношения к жизни как особой реальности, особого способа отношения к самой познавательной модели, потенциалами нравственных исканий и игрового самовыражения, а возникнув, оформляется в особом сплаве *игрового моделирования ситуаций морального выбора*. Опасно потерять тайну ЭПИ, не существующую вне целостности ее природы, особенно проявляющуюся в тех точках пограничных зон, которые фиксируют максимальное приближение модели к самому объекту, а игры к жизни, в точках “вживления” игровой модели в самую серьезную реальность.

Важно, далее, учесть, что в восприятии всех трех “составляющих” понятия ЭПИ и авторов, и конструкторов, и участников ЭПИ, а также читателей соответствующих описаний подстерегают стереотипы обыденного, интуитивно-очевидного “улавливания” содержания каждой из них и их сочетания. Не случайно, например, многие конструкторы *деловых* игр и авторы соответствующих публикаций предупреждают о распространенном отторжении словосочетаний из “серьезных” и “несерьезных” понятий, характерном не только для здравого смысла, но даже для профессионального мышления. А если уж эта трудность фиксируется в практике социального управления [18], то тем более она неизбежна в сфере традиционного морального сознания и этического мышления.

Итак, в попытке понять природу ЭПИ мы ставим вопрос о том, в каком смысле ЭПИ является: а) *игрой*, б) *игрой праксиологической*, в) *этико-праксиологической игрой*?

Игра?

Если ЭПИ имеет *игровую* “составляющую”, то она относится к одному из видов игровой деятельности, многогранного игрового феномена в жизнедеятельности общества, группы, личности. Сущностной чертой ЭПИ является способность воспроизводить все другие виды человеческой деятельности, интегрируя при этом самоценность процесса игры, самовыражение внутренних сил личности - и результативность игровой деятельности, “условность” - и “серьезность”, правила - и свободу, импровизацию - и организованное поведение.

Нетрудно обнаружить, что речь идет о чертах ЭПИ, вводящих ее в игровое движение, об инвариантных признаках игровой деятельности.

Моделируя ситуации *морального* выбора, возникающие при этом альтернативы и соответствующие позиции, оценки, решения, поступки, ЭПИ все равно основана на игровом поведении ее участников в соответствии с организованной ситуацией и закладываемыми в игровой сценарий ролями. ЭПИ предполагает исполнение ролей как способ представления себя “со стороны”, действие по набору принимаемых - и осваиваемых - участником игры правил. ЭПИ характеризуется воспроизведением и импровизацией моделируемой деятельности под влиянием соревновательных стимулов и т.п. Как и другие виды игровой деятельности, ЭПИ и прежде всего ее игровая “составляющая”, характеризуются вариабельностью условий, правил, оценок и решений; ЭПИ предлагает участникам игрового моделирования условную реальность как способ прожить все возможные в данной ситуации “сценарии” нравственной жизни. На этом общем для всех видов игр основании, которое еще будет развернуто при анализе собственно *этической* “составляющей”, игра обладает потенциалом развития морального творчества, формирования культуры морального выбора, “воспитания выбором”.

Приступая к развернутому анализу общих черт игрового моделирования, видом которого является *игровая* “составляющая” ЭПИ, приходится начинать с констатации того обстоятельства, что сегодняшнему разработчику ЭПИ, при всем богатстве исследований по метафизике игры и общей теории игровой деятельности, более всего следует заботиться о поиске именно этико-прикладных подходов к игровой деятельности, связывая собственные теоретические и эмпирические находки с достижениями различных видов игрового движения.

Характерно, что большинство современных исследователей фиксируют “игровой бум” в теории и практике и отмечают конституирование понятия “игра” в качестве одной из наиболее емких и эвристически богатых категорий универсального, общенаучного плана. В то же время ряд работ пронизан скепсисом по поводу возможности однозначного определения игрового феномена и создания общей теории игры (не говоря уже об общей “метафизике” или, наоборот, инвариантной прикладной теории). Этот скепсис подкрепляется указаниями на разнообразие конкретных проявлений игрового феномена и, одновременно, его сложность [19]. Авторы одной из монографий спрашивают: “Стоит ли за всем этим многообразием какое-либо реальное единство, какая-либо специфика деловой игры как таковой?” [20, с.7].

Действительно, сложность понятия “игра” велика: в гнезде признаков, прямо или косвенно характеризующих данный феномен, кроме указанных ранее - условность, самовыражение, двухплановость, внеутилитарность, освоение мира, самоутверждение, имитация, моделирование, импровизация, конкуренция, риск, испытание потенций, роль, эмоциональность, самообновление и т.п. - игра определяется как непреднамеренное самообучение, функциональное упражнение, способ становления новых форм деятельности, “умение уметь”, эвристическая деятельность, эвристическое мироотношение,

производственная деятельность, метод решения реальных проблем, моделирование действительной ситуации и т.д.

Легче всего абсолютизировать расплывчатость самого феномена и чрезмерную многогранность выражающих эту расплывчатость характеристик, уклонившись на таком основании от попыток теоретизирования в сфере игровой деятельности. Разумнее пойти путем освоения достигнутых в науке результатов, отбирая их по критерию, вытекающему из задач выяснения природы ЭПИ.

Эффективным способом анализа полученных наукой об игре результатов может быть “классификация классификаций”, сравнительный анализ предложенных различными теориями попыток классифицировать все многообразие игрового феномена. Сегодня можно опереться на ряд работ, в которых предложены разнообразные классификации игровых подходов [21, 22, 23, 24, 25 и др.].

В рамках такого анализа следует вновь обратить внимание на разделение игр “естественных” и “искусственных”. Дело в том, что, даже различаясь в трактовке разных исследователей [26, 27, 28] в конкретных деталях - одна из привлекательных версий представлена в названиях основных типов игр как “импровизированных” и “организованных” [29], - разделение игр на “естественные” и “искусственные” вносит определенный порядок в хаос “игрового космоса”, организует наши представления о сферах проявления “хомо люденс”.

Конечно, внимательный анализ схемы [30, с.55], на которой к “естественным” отнесены игры животных и игры детей, а к “искусственным” - игры результативные и игры детские, сразу же обнаружит условность такой классификации: ведь искусственные игры развились из естественных. Однако в определенном интервале такое разделение весьма плодотворно, ибо отражает действительную специфику связи каждого из этих типов игр с культурой общества: часть игр, например, детские и спортивные, имеют длительную историческую традицию и уже стали элементами культуры, а игры, например, управленческие созданы искусственно, конкретными авторами и еще не вошли в культуру общества как неотъемлемый ее признак [30, с.56].

Эффект классификации по типам “естественные” и “искусственные” обогащается при ее совмещении с классификацией игр по критериям игр “импровизированных” - когда речь идет, соответственно, об играх свободных, не связанных никакими условиями и правилами (ограничения, присущие серьезной жизни, в такой игре могут легко преодолеваются, как в играх детских, например), и игр “организованных”, игр по правилам, - когда игра внутренне организована гораздо больше, чем сама жизнь, ценна же не свобода самовыражения, а выигрыш (например, в спортивных играх) [29, с.247]. С помощью признаков, конкретизирующих эту кросс-классификацию, можно дать более полную характеристику признаков “искусственных” игр, выявляя в них элементы игр “естественных”.

В литературе предложены характеристики видов деловых игр, которые выделяются, например, по характеру моделируемых ситуаций, по природе

игрового процесса, по способам передачи и обработки игровой информации, по динамике моделируемых процессов [30, с.51-52]. Обзор можно подытожить замечаниями по поводу классификаций как таковых: во-первых, не следует “упиваться” их “простотой”, во-вторых, целесообразнее отнестись к ним как к средству приближения к тайнам игры. При освоении всего многообразия классификаций нельзя упустить сверхзадачу: определение координат для метода ЭПИ. Что для этого требуется? Выделение для них особого и самостоятельного места на “древо” игр? Дополнение “древа” новой ветвью?

В поиске ответа на эти вопросы попытаемся ориентироваться на трактовку игры как *деятельности*, выделив наиболее значимые для познания природы ЭПИ черты *игровой деятельности*. Это не просто, ибо современная литература, посвященная игровому феномену, не содержит единодушной позиции по поводу деятельностной природы игры.

Заинтересованные читатели имеют возможность ознакомиться со специальной литературой, где рассматриваются такие вопросы, как структура и функции игровой деятельности (от их решения зависит характеристика игры и как формы жизнедеятельности, и как средства развития); представления о связи игры с другими видами деятельности; особые контакты игрового ареала с общением и творчеством и т.п. Мы же ограничимся сейчас разбором наиболее перспективных моментов, обеспечивающих эвристический результат деятельностного подхода к исследованию природы игры.

В ряду видов человеческой деятельности игра будет представлена здесь прежде всего с точки зрения ее интенсивного воздействия - прямого и косвенного - на формирование ситуации свободы выбора. Эта ведущая черта игровой деятельности базируется - кроме собственного вариативного потенциала игры, т.е. особых отношений игрового феномена с “возможностями”, отношений, обоснованных уже метафизикой игры, - на способности игры *воспроизводить все другие виды человеческой деятельности* и достигаемого в процессе реализации такой способности “*умения уметь*” [31]. Все эти моменты имеют непосредственное отношение к процессу возникновения, конституирования и развития метода ЭПИ, ибо в свернутом виде содержат совокупный потенциал нашего метода.

Однако “непосредственное отношение” - это еще не прямое приложение: само освоение результатов деятельностного подхода к игровому феномену не может быть прямо использовано для развития ЭПИ из-за неразработанности представлений о наиболее значимых для приложения к ситуациям морального выбора атрибутах игровой деятельности.

Можно предположить, что среди множества разноплановых аргументов в пользу выделения *свободоразвивающего* потенциала игровой деятельности в нравственном формировании личности приоритетное место занимает, например, способность игры драматизировать диалог конфликтующих структур (позиций, норм, смыслов, правил и т.п.), задавать соперничеству-сотрудничеству участников диалога ситуацию экстремальной борьбы с задачей (и, конечно, с условными носителями тех или иных способов ее решения). Но важна и

способность игры организовывать особые испытания разных версий *праксиологии свободы*, ставить участников в обстоятельства, когда декларируемые цели проясняются с помощью предъявляемых для реализации этих целей средств (например, социальных технологий).

Однако, было бы более эффективным попытаться выделить интегрирующий момент потенциала игровой деятельности, формирующего сознание (и поведение) свободного выбора. Таковым, на наш взгляд, является аргумент *двуплановости* игровой деятельности, синтезирующий, “условное” и “серьезное” в сознании и поведении участника игры.

Высказанная в культурологических публикациях идея двуплановости игры, наиболее известна в отечественной литературе в версии Ю.М.Лотмана: “Игра подразумевает одновременную реализацию (а не последовательную смену во времени) практического и условного поведения. Играющий должен одновременно и помнить, что он участвует в условной (не подлинной) ситуации, и не помнить этого” [32, с.80].

Как уже было сказано в главе об игровом феномене, исследование соотношения условного и серьезного в самой жизни, соотнесение серьезного и условного в процессе игровой деятельности стали предметом интереса многих классиков философской мысли. Так, например, Х.Г.Гадамер определяет взаимопереход условного и серьезного как двуплановость поведения игроков через следующую характеристику: “В игре заложена ее собственная и даже священная серьезность” [33, с.147]. По мнению основоположника герменевтики, эта характеристика может быть развернута: “В поведении играющего всякая целевая соотнесенность, определяющая бытие с его деятельностью и заботами, не то чтобы исчезает, но своеобразно витает в воздухе. Сам играющий знает, что игра - это только игра, и она происходит в мире, определяемом серьезностью цели. Но он знает это не так, как если бы он сам, будучи играющим, все еще подразумевал эту соотнесенность с серьезностью цели. ...Весь процесс игры только тогда удовлетворяет своей цели, когда играющий в него погружается. Игру делает игрой в полном смысле слова не вытекающая из нее соотнесенность с серьезным во вне, а только серьезность при самой игре. Тот, кто не принимает игру всерьез, портит ее. Способ бытия игры не допускает отношения играющего к ней как к предмету. Играющий знает достаточно хорошо, что такое игра и что то, что он делает - это “только игра”, но он не знает того, что именно при этом “знает” [там же, с.147-148]. Перекличка этого рассуждения с высказыванием Е.Финка об игре, дающей человечеству “возможность самопредставления и самосозерцания в зеркале чистой видимости” очевидна. При этом для нашей темы особое значение имеет характеристика подлинности-неподлинности игрового мира.

Мы незаметно вознеслись в мир “метафизики игры” - причина в том, что теоретико-прикладной уровень исследования игры еще только предстоит развить, и поэтому соблазнительно заняться либо “философией игры”, либо фиксацией накопленного эмпирического материала. Но, может быть, рассуждения о философской стороне проблемы “условного” - “серьезного”

имеют хотя бы какое-то *приложение* к определенным видам игровой деятельности, в том числе и к ЭПИ?!

В некоторых исследованиях образности деловой игры выдвинута версия, согласно которой двуплановость игры не является атрибутивной хотя бы потому, что само понятие двуплановости “до сих пор не удавалось практически применить” [34, с.15]. Авторы этой точки зрения полагают, что прикладной статус рассматриваемой проблемы “обеспечивается” представлением об игре как “процессе имманентного преодоления добровольно принятых правил” [там же, с.12]. Они считают, что этот подход предпочтительнее для построения и проведения игр, тем более, что с их точки зрения “принципы двуплановости и имманентного преодоления почти равносильны”. Каковы аргументы? - трактовка правил как основного источника игровой условности. Авторам представляется очевидным, что пребывание одновременно в двух сферах означает “пребывание на их границе. Из того, что двуплановость - это особая установка сознания (помнить... и не помнить), задающая внешнее поведение, вытекает наличие внутреннего самоограничения и самоопределения. Отсюда следуют остальные особенности преодоления правил (двуплановость - принцип отношения к правилам, ибо они - единственный источник условной сферы в игре” [там же, с.14].

Собственный опыт авторов цитируемой монографии по разработке экономических деловых игр дает основания доверять избранному ими предпочтению. Именно прикладная ориентированность их версии соблазняет и к привнесению ее в концепцию ЭПИ. Однако именно природа ЭПИ не позволяет осуществить простое “заимствование”.

Прежде всего, проблема “условного” - “серьезного” в ее метафизическом “измерении” не сводится (независимо от того, хорошо это или плохо) к проблеме преодоления правил. Кстати, в играх типа “play” самой проблемы “правил” не возникает. Но дело не столько в этом. С каждой попыткой хотя бы еще на шаг приблизиться к тайнам природы ЭПИ, сформулировать ее основные загадки, мы убеждались, что ориентир поиска содержится в решении проблемы “условного” - “серьезного”. Полагаем, что, назвав эту проблему стержнем игровой деятельности, мы можем именно на этом основании предположить, что в ЭПИ “серьезный” элемент - не то или иное “Дело” (моделируются ли, например, политический конфликт, этническая ситуация или моральные проблемы предпринимательства). Само это дело становится серьезным - в *моральном* плане - лишь в том случае, если игра содержит экзистенциальный контекст, т.е. не сводится, например, лишь к функции “допинга” или к развлекательно-динамизирующему фактору, а создает контекст человеческой свободы как экзистенциальный фундамент, *смысл* дела.

Тем самым мы уже с большим основанием можем повторить сформулированную выше гипотезу: особенность ЭПИ заключается в сочетании и экспериментальных, и экзистенциальных аспектов моделирования, сочетании, которое позволяет “хомо люденс” стать субъектом *духовно-практического* освоения мира. ЭПИ не тождественны любому подвиду деловых игр, потому

что, выполняя свою экспериментальную роль (в этом, как уже говорилось ранее, все деловые игры имеют общее назначение - подготовку к реальному освоению ситуации, решению проблемы), ЭПИ приносит *пользу* лишь в том смысле, что помогает осваивающему конкретный вид человеческой деятельности субъекту освоить *смысл* этой деятельности - развить себя нравственно, продвинуть себя к свободе. Но такое сочетание аксиологии с праксиологией, как специфика ЭПИ, становится возможным благодаря именно двуплановости игровой деятельности.

В заключении этого фрагмента главы попытаемся предложить для дальнейших исследований проблемы ряд соображений и связанных с ними материалов, анализ которых непосредственно переведет характеристику *игровой* “составляющей” понятия ЭПИ в характеристику *праксиологической* “составляющей”.

Проблема соотношения “условного” - “серьезного” связана с измерением игр по критерию “естественное” - “искусственное”. А здесь в явной или неявной форме и скрывается вопрос о гуманитарности - негуманитарности потенциала методов игрового моделирования.

Гуманитарна ли “игра в бисер”? Гуманитарна ли игра типа “game”, т.е. игра по правилам, которые служат лишь нейтральной технологией, пригодной для любых целей? Может, гуманитарна лишь игра типа “play” - как “чистая радость”? И как избежать дилеммы морального утопизма и прагматизма? “Хитрее” всего было бы сконструировать игру, синтезирующую “play” и “game”? Но где критерии, мера и способы такого синтеза?

Принципиальность того или иного подхода к соотношению “естественного” и “искусственного” в игре обнаруживается, например, при анализе идеологии организационно-деятельностных игр. Безоглядное использование идей этого направления, по-нашему мнению, имеет тенденцию рождать “инженеров человеческих душ” среди активных последователей и, тем самым, среди самих участников.

Скорее всего, эта критика - самокритика наших собственных представлений о роли ЭПИ в нравственном развитии личности, о возможности доведения экспертно-консультативной роли прикладной этики до конструктивно-проектной. Наивно-утопичны надежды сохранить “чисто” естественный подход в гуманитарном *моделировании* - конструктивная майевтика уже есть естественно-искусственная деятельность.

Гуманитарная методология - особое сочетание естественного и искусственного, в котором “понимание” не исключает конструктивизма, придает диалогу проектировочно-инновационную функцию, выращивающую новую реальность. Все дело в том, использовать как этот потенциал для развития морального творчества.

Тайна ЭПИ как раз и скрывается в соперничестве-сотрудничестве идеологии самоопределения “естественников” и идеологии интенсивной подготовки к выбору посредством игрового моделирования у сторонников “искусственного”. В противоречивом воздействии “естественного” и “искусственного” ЭПИ находит возможность проектировать *ситуацию* свободы,

конструировать *экологию морали*, доверяя моральному субъекту собственно процесс суверенного выбора.

Игра праксиологическая?

Праксиологическая (“деловая”, если пользоваться первоначальной характеристикой) “составляющая”, казалось бы, самый легкий предмет в общей характеристике метода ЭПИ. И действительно, она может показаться очень легкой, если, исключив любые попытки проблематизировать отношение “игры” и “серьезного”, воспользоваться заголовками репортажей о деловых играх: “Игра в рабочее время”, “Игра в жизнь”, “Деловые игры в деле”, “Игровая работа” и т.п. Игра здесь считается *деловой* в том смысле, что - в отличие от игр спортивных, карнавальных, учебных, досуговых и т.д. - ориентирована прагматически на “игру взрослых в свою работу”, на приложение игрового подхода к производственной деятельности.

Однако для ЭПИ такая “простота” в определении второй “составляющей” не подходит. Достаточно вспомнить характеристику морального выбора как объекта этико-праксиологического исследования, общую концепцию гуманитарной экспертизы и консультирования ситуаций выбора в аспекте соотношения целей и средств, и станет очевидной нетождественность характеристик “деловая” и “этико-праксиологическая”, соответственно - очевидность особых отношений игровой культуры и прикладной этики именно в этой “составляющей”.

Тем не менее, попытаемся вписать праксиологическую “составляющую” ЭПИ в общее направление *деловых* игр - именно в этой попытке возникает возможность выделения специфического этико-праксиологического направления игр. Начнем с общего для различных видов деловых игр противоречия: как “приложение” к “делу” совмещается с основной идеей метафизики игры о свободном характере игровой деятельности, ее ценности как деятельности *развивающей*, а не *производящей*? Это противоречие давно уже сформулировано, например, в специальной литературе по педагогическим играм в виде дилеммы: “Либо дать ребенку возможность играть свободно - и он не научится тому, чему хотим мы его научить, либо вмешиваться в его игру, ставя перед ним цель, - и мы тем самым испортим игру, а ребенок перестанет учиться. Камо-Кру сформулировал это довольно четко: “Игрой нельзя манипулировать, так как она не готовит ребенка к выполнению какой-либо конкретной задачи, а обеспечивает общее развитие человека” [35, с.90].

Это противоречие имеет глубокое содержание. Опять возникают вопросы о соотношении естественного и искусственного, о свободе субъекта осуществлять выбор между участием в игре и отказом от нее. Но здесь важнее тема *полезности* игры, *эффективности* ее результатов с точки зрения “дела”, ради которого такого рода направление игры развивается.

Является ли игра *деловой*, если “на выходе” не планируется какой-либо предметный продукт (проект, программа, решение и т.п.) ? А если итогом игры окажется лишь формирование культуры “ноу-хау”? Становится ли игра *деловой*

лишь в том случае, если ее участники исполняют *те же самые* роли, что и в реальной деятельности, или это не обязательное условие? Вопросы эти - в таком общем виде - для современной литературы, посвященной игровому феномену, звучат достаточно риторически. Ну, например, после публикации уже упомянутой книги Э.Берна “Игры, в которые играют люди...” кажется, что совсем легко выделить именно деловую “составляющую” - через противопоставление игрового моделирования реальных проблем не только “играм в бисер”, но и фальшивым имитациям, лицемерным контактам, неискренним манипуляциям и прочим суррогатам. Но, во-первых, кто доказал безопасность деловых игр с точки зрения манипуляторства? И, во-вторых, разве “игре в бисер” противоположны не весьма разные *виды* Дела и *смыслы* Дела?

Применим для анализа всего многообразия деловых игр два критерия. Первый из них - предмет моделирования, ожидаемый результат игры. Пытаясь классифицировать цели деловых игр различного типа, В. Розин отмечает три ведущих типа. Первый - когда деловая игра используется главным образом с целью изменения “профессионального сознания и понимания” ее участников. “Предполагается, что в ходе игры играющие начнут по-новому видеть и понимать интересующие их и организаторов игры проблемы и затруднения, способы и пути их решения, отношения с другими специалистами и т.п... Тем самым деловая игра выступает как инструмент (способ) выявления границ существования профессионального сознания”, - заключает автор [36, с.86]. Второй - когда деловая игра используется с “целью исследования в широком смысле тех или иных объектов и систем”. При этом “исследование может проводиться как в рамках научного познания, так и с другой целью - для проектирования, инженерной деятельности, управления, обучения, художественного конструирования и т.п.” (там же). И, наконец, третий тип - когда “деловая игра используется с целью решения в игровой форме собственно деловых профессиональных задач, стоящих в различных областях деятельности... Именно в этом третьем случае наиболее ясно народнохозяйственное значение применения деловых игр...” [там же, с.69].

Как нетрудно увидеть, в этой классификации прагматизм никак не доминирует: деловая “составляющая” предстает здесь как выражение любого вида человеческой деятельности, и лишь в третьем случае акцентируется критерий полезности игры как признак ее принадлежности к виду игр “деловых”.

Ворвавшись в практику игрового движения, “организационно-деловые”, “проблемно-деловые”, “практические деловые игры” [37, 38, 39], объединяемые целью решать *реальные* проблемы (и тем, явно или неявно, противостоящие “просто деловой игре”, имитационным и учебным играм), обострили вопрос о *полезности* игры, о критериях эффективности того Дела, благодаря которому в их название входит соответствующая “составляющая”. Конкретная индивидуальная польза каждому участнику? Польза самого процесса игрового поиска? Долгосрочная инвестиция (как, например, от высшего гуманитарного образования)? Ноу-хау? Разрешение реальной проблемы (выбран директор,

запрещено освоение новой территории, приостановлено строительство дамбы, создана организация по спасению озера...)?

В любом случае речь идет о необходимости специального внесения в систему мотивации участников игры такой цели соперничества - друг с другом, с проблемой, - как выигрыш, польза. Тем самым в любом из этих видов деловой игры сталкивается еще одна “пара” основных черт игровой деятельности - “утилитарность” и “неутилитарность”.

Авторы работ о деловых играх не очень увлекаются исследованием этой темы. Однако - пусть это не покажется формальным парадоксом - эвристичные подходы и конкретные решения проблемы “утилитарности” - “неутилитарности” игровой деятельности обнаруживаются как раз в тех исследованиях, которые рассматривают игру как деятельность неутилитарную.

Так, содержательные моменты для выявления в игре продуктивного аспекта имеются в характеристике “организованных” игр через сравнение их с играми “импровизированными”: первые не сохраняют своего игрового (читай - самооценного) характера до конца, ибо в них имеется победитель и выигрыш; такие игры итогом своим принадлежат к “серьезному состоянию мира”, состоянию, “которое именуется борьбой” [40, с.255].

Количество аргументов (и их убедительность) в пользу выделения в игровой деятельности продуктивного аспекта нарастает по мере перехода от анализа игр естественных к играм организованным, а без учета природы этих последних (прежде всего такого их подвида, как управленческие имитационные игры) сегодня нельзя познать природу игр в целом. Именно охват всего игрового ареала, в том числе и инноваций в нем, должен внести существенный эвристический эффект в решение проблемы “утилитарности” - “неутилитарности”.

Анализ трактовки игры лишь как самооценной деятельности - деятельности неутилитарной (такая трактовка широко распространена и без ее критического разбора нельзя развивать метод, в названии которого одной из составляющих является “праксиологическая”), позволяет подчеркнуть прежде всего односторонность данной трактовки, ибо ею пытаются исчерпать природу игрового феномена. Более эвристичной представляется попытка охарактеризовать данную черту игры посредством акцентирования ее самооценности в многогранном, широком и гибком представлении об игре, которое не допускает исключения каких-либо видов игрового феномена, относясь к каждому из них как к элементу целого.

Необходимые аргументы для предпочтения такого подхода обнаруживаются в современной философской, управленческой, педагогической литературе. Сегодня наряду с трактовкой игры как “непосредственного творчества”, которое имеет “процессуальный и преходящий характер”, т.к. не фиксируется в конкретном виде, развивается и представление о высокой значимости именно результата игровой деятельности, важности объективации игрового процесса в определенной продукции, о “серьезном” эффекте игры и т.п. Согласно такого рода представлениям в философском подходе

самоценность игры не отменяет значимости ее результата [41, с.98]. А вот, например, разработчики дидактического вида игры считают результативность основополагающим принципом игры: итоги такого рода игр служат объективной основой оценки результатов обучения [42, с.88]. Кстати, этот принцип в игре отражает не только осознание игровой деятельности как предметной, но и обуславливает принцип соревновательности, выражающий мотивы участия в игре.

Переходя ко второму критерию анализа всего многообразия деловых игр, приходится зафиксировать очередное противоречие: “практические деловые игры” выделяют себя из игрового движения посредством исключения условности ситуаций и проблем, которые являются предметом игры. Сохраняется ли в этом случае уже не деловая, а игровая составляющая, в которой обязательна условность?

Во всяком случае мотив такой модификации деловой игры понятен: учебные деловые игры, имитирующие реальные или воображаемые ситуации для отработки у участников навыков принятия решений в сходных обстоятельствах - это “дорогая цена условности”, - отмечает А.И.Пригожин [43, с.61]. Дорогая уже потому, что делает разыгрываемую ситуацию чужой, а решение, принятое в ней, каким бы верным оно ни было, обрекает на вечное невоплощение (там же). Понятна и логика движения этого направления, развивающего в качестве собственной части игры *реализационный процесс* и пытающегося вырастить в участнике игры *субъективность*, стремление выбрать себе на игре роль и деятельность, которые будут развиты в жизни.

Но все же, в чем заключается условность практической деловой игры? Попробуем прямо связать более высокий уровень условности игровой ситуации с аналогичным уровнем практичности результатов игры, используя для этого аргументы современных методологических исследований. Как показал в своих работах В.Розин, в деловых играх, “как правило, исследуются не обычные состояния и характеристики объекта, а, так сказать, парадоксальные и вырожденные конфликты, монстры, гипертрофированные и полярные типы, логически мыслимые, но не наблюдаемые случаи и т.д.” [44, с.68]. Именно на этом основании автор рассматривает деловые игры как форму научно-художественного мышления.

Итак, становление метода ЭПИ *в русле общего для всех деловых игр* подхода далеко не случайно. Столь же не случайно и стремление выявить специфику ЭПИ через постепенную, но непреложную модификацию деловой “составляющей” *в праксиологическую* - так отражается современная задача этико-прикладного знания инициировать исследование *этики успеха* и культивировать его результаты.

Подкрепим этот тезис напоминанием, что только в своем наиболее развитом историческом состоянии мораль способна преодолевать антагонизм категорического и условного императивов и тем самым культивировать этическую праксиологию. Фундаментальная возможность сочетания двух императивов в развитой моральной системе и порождает этико-

праксиологический эффект как в исследовании морального выбора в целом, так и в моделировании соответствующих ситуаций посредством ЭПИ.

Этико-праксиологическая игра в своем инварианте - модель морального выбора применительно к любому субъекту (обществу, группе, личности), к любому виду человеческой деятельности (политической, менеджерской, воспитательной и т.п.). Ее задача - активизировать моральное развитие личности и таким образом развить у “хомо политикус” (или “хомо фабер”, например) черты “хомо моралес”. Не забудем, что, в свою очередь, “хомо моралес” развивается, например, в “хомо политикус” под воздействием синтеза аксиологических и праксиологических аспектов ситуации выбора, моделируемой на игре.

Прикладная этика становится таковой не только потому, что выбирает в качестве одного из своих предметов какой-либо вид человеческой деятельности (политика, предпринимательство, экология, профессия и т.п.) , но и благодаря выявлению в них возможности и необходимости включения “императива умения” в структуру морального выбора и тем самым придания этому императиву нравственного статуса. Праксиологический потенциал морального выбора по своей природе наиболее адекватен “целесредственной” природе игрового моделирования. В этом - особая функция праксиологической составляющей в понятии ЭПИ.

Не повторяя здесь содержания Вводного раздела, напомним, что в доктрине этики успеха ставится задача культивирования успеха, сохраняющего достоинство лишь в случае разрешения проблемы цели и средства, преодоления “рубиконов” морального выбора. Игровое моделирование морального выбора с этой точки зрения эффективно лишь в том случае, если экспертиза и консультирование “собственно” аксиологического аспекта исследуемой ситуации проводятся в процессе испытания этого аспекта через анализ целесредственного отношения.

Особую роль играет этот подход в связи с тем обстоятельством, что современный игровой космос - не будем пока оценивать его тенденции в моральных терминах - все более становится игрой на выживание, акцентируя игру-борьбу в ущерб игре-сотрудничеству. Нравится это или нет, но освоение игровой культуры и осознание ее роли в современном мире требуют познания правил игры-борьбы, без которых вряд ли можно достичь успеха в смещении акцентов в пользу правил игры-сотрудничества. Игра как модель борьбы и сотрудничества, ЭПИ как гуманитарная экспертиза и консультирование этики борьбы и сотрудничества: здесь актуальное поле интереса для этико-праксиологических игр.

“Правила игры” в этом случае выполняют далеко не служебную роль. Они отражают правила жизни и, что не менее важно, выступают в качестве “воспитателя” самой жизни. Во-первых, игра как вид деятельности ценна - для того, кто осваивает правила жизни игровым способом - развитием чувства доброй воли, ибо ее смысл состоит “в добровольном подчинении всех игроков правилам игры, в добросовестном и честном выполнении ими этих правил, в

добровольном общении и разъединении людей на этой основе” [45, с.96]. Во-вторых, “искусство игры требует не только физических и интеллектуальных навыков, но и мастерства применения правил. Хороший игрок использует в игре с противником не только свои телесные и духовные силы, но и правила игры...” (там же). В-третьих, праксиологические правила - это рационализированная форма существования правил нравственной жизни.

Повторим: если Д.Карнеги и авторы подобных работ, которые мы рассматривали в Вводном разделе, дают прекрасные сборники праксиологических правил успешной жизни, то этико-праксиологические игры - это активизация моральной рефлексии по поводу *смысла* этих правил и, благодаря игровому потенциалу, способ освоения *содержания* этих правил успеха в “лабораторных условиях”. Если принять трактовку творчества Карнеги как праксиологическую моралистику, то ЭПИ - способ связи этики успеха с практикой, отличающийся признаками и эффектом игрового моделирования - с его инновационным потенциалом как в сфере исследования, так и в сфере “воспитания выбором”.

Игра этическая?

“Собственно” этическая составляющая? А что осталось на ее долю после того, как первые две “составляющие” метода ЭПИ “просвечивались” именно через *моральное измерение*?!

Представление об этой “составляющей” опирается на подход этико-прикладного знания к специфике взаимодействия этики, морали и воспитания; к особенностям деятельности личности как субъекта морального выбора; к феномену взаимопроникновения этической теории и моральной практики в процессе морального творчества. Именно этот подход определяет возможности метода ЭПИ выступать в роли организатора сотворчества этики, морали, воспитания в нравственном развитии личности.

Попробуем проиллюстрировать такой “сверхэффект” ЭПИ через различие “менеджера” и “пассионария”. Характеризуя игру как возможность испытания всех заложенных в ситуации жизненных сценариев, как “сверх-свободу”, мы полагаем, что в ЭПИ человек делает больше, чем ему самому “надо” - именно в этом отличие “пассионария” от “оптималиста-менеджера”. Более того: тем самым ЭПИ в “менеджере” открывает “пассионария”.

Далее, опираясь на приведенные ранее характеристики экстремальности игровой ситуации - ее обнаженной и гипертрофированной нравственной конфликтности, подчеркнем, что “воспитание выбором” в условиях ЭПИ стимулируется максимизацией (за счет условности ситуации - например, “Суд будущего”) не только набора альтернатив, позиций, ценностей, но и санкций - норм-рамок и норм-целей, санкций запретительных и побудительных. В свою очередь, эта максимизация практически исключает возможность “пройти мимо”, уклониться от ответственности, в том числе ответственности собственно *моральной*.

В отличие от роли участника “чисто” имитационной или “чисто” реализационной игры, роль участника ЭПИ определяется мерой субъектности выбора как целостного акта поступка, а не просто ролью субъекта послеигрового действия. Дело в том, что любое действие во время ЭПИ, самоопределение к любой позиции, ситуации, команде уже моделируют ситуацию морального выбора: моральную позиционность, моральную конфликтность, моральное творчество и т.д.

Тема моральной позиционности (конфликтности) в ЭПИ представляется стержневой для характеристики этической “составляющей”. Без мотивации свободного выбора, самоопределения к той или иной позиции участники игры и не примут предлагаемого им статуса, статуса морального эксперта, игра потеряет для них смысл игры как таковой [46, с.85; 45, с.75]. Разумеется, моральная позиционность не противопоставляется здесь традиционно отработываемым на разного рода деловых играх предметно-профессиональной позиционности, организационно-ведомственной конфликтологии и т.п. Более того, поскольку редки “чистые” ЭПИ, постольку и этические конфликты, ситуации морального выбора в целом присутствуют на ЭПИ скорее в ткани других позиционных интересов или их конфликтов. Отличие же состоит в том, что ЭПИ моделирует конфликт моральных субъектов, а не профессиональных ролей. Участник игры исполняет свою роль, но это термин театрального, а не этического словаря.

Потенциал этической “составляющей” наглядно проявляется с точки зрения взаимодействия различных видов игрового движения, взаимообогащения и взаимокритики разных игровых подходов и игровых культур. Этическая “составляющая” характеризует роль метода ЭПИ в целом и для нравственного обеспечения (экспертизы и консультирования) целей и средств иных видов деловых игр.

Часто ли у разработчиков различного вида деловых игр возникают этические проблемы? Разумеется, некоторые из них озабочены и психологическими аспектами игры (“распредмечивание”, “мотивация”, “выход из игры” и т.д.), считая обязательным участником авторской команды игры психолога. Но не выносятся ли за скобки внутренняя проблема игрового феномена, остающаяся и в рамках деловой игры: “лицемерность поведения”, “бисерность статуса”, “манипуляционный соблазн” и т.п.? Как учитывается содержащийся в игре момент несвободы?!

Уверенность практиков, самостоятельно разрабатывающих игры, надо, на наш взгляд, подстраховать не только специальными монографиями и методическими разработками конкретных видов игрового движения, но и активизацией рефлексии о *смысле* игры, который не может (и не должен) быть сведен к “примерке”, “тренингу” и прочим утилитарным предназначениям. Игровая методология несет в себе ген технократичности - манипуляторства в отношении к мотивам участия в игре, апологетического отношения к ценности моделируемых проектов, программ, решений и т.п.

ЭПИ могут взять на себя этом случае функции метода ценностного контроля, экспертизы и профилактики возможной диверсификации метода деловых игр в различных сферах управления и обучения. Иначе широкий фронт деловых игр в сегодняшней управленческой практике, в подготовке кадров и т.п. может обернуться трансформацией “игры для пользы дела” в “бюрократические игры”. Этическая “составляющая” способна обеспечить выявление скрытых целей такого рода “бюрократических игр”, постановку и реализацию действительно гуманных целей обучения, проектирования, воспитания, выбор соответствующих им средств, критику прагматической “технологии управления”.

Любая деловая игра - обоюдоострое оружие. Относится эта констатация и к собственно ЭПИ, которые не просто “сопровождают” моделирование каких-либо сфер человеческой деятельности, но прямо “работают” на различные виды прикладной этики. Сверхзадача ЭПИ, ее этической “составляющей” - развитие культуры морального выбора при решении любой проблемы, этико-праксиологическая экспертиза любого из моделируемых социально-технологических элементов и т.п. Этическая “составляющая” в таком случае стремится испытать любую инновацию переходного периода на достоинство выбора в мире идеалов и ценностей, целей и средств; стимулирует попытку уже в модельных обстоятельствах проявить скрытые болевые точки, определить готовность субъекта к противостоянию им, передать ему прецеденты справедливых решений, стимулировать поиск, поддержать в поражении.

В заключение выскажем предположение о том, что интересы этической “составляющей” прямо ориентированы на весьма близкое будущее, когда сформируется самостоятельный вид *морально-этических* (а не просто этико-прикладных) игр. Уместно подкрепить это убеждение апелляцией к работам специалистов по игровому методу. Здесь должны привлечь внимание аргументы о “новой эре игры”, о выходе “игрового космоса” на новый виток развития, указания на необходимость таких шагов, которые бы сделали игру союзницей и детей, и школы, и общества в целом, для чего важно выйти за пределы привычных ограничений, найти ранее неведомые “стыковки” [47, с.211]. Плодотворны и результаты анализа социальных функций игры - изучение и освоение среды, в которой человеку предстоит действовать; причем речь идет именно о самых “молодых” играх, в отношении которых делается прогноз о том, что и они станут таким же атрибутом общественной жизни, как игры детские, спортивные и т.д. [45, с.94].

И последнее замечание. Важно акцентировать роль внутриэтического ресурса в развитии потенциала метода ЭПИ. Этот акцент необходим потому, что инновационность игрового метода нередко связывают с внеэтической сферой - с организационной теорией, системным подходом, инноватикой и т.п. Эту связь не следует ни преуменьшать, ни преувеличивать. Однако основной резерв совершенствования метода содержится именно в этико-прикладном знании.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Титаренко А.И.* Нравственность как историческая система. Моральные системы как объекты структурно-исторического анализа // *Методология этических исследований.* М., 1982. С. 194-229.

2. В нашем плане рассуждений представляет интерес работа: *Ачильдиев И.У.* В рабстве у систем. М., 1993.

3. Понятие “гуманизм” лишь кажется самоочевидным, опыт XX столетия выявил его многоликие противоречия. См.: *Хайдеггер М.* “Письмо о гуманизме” // *Проблема человека в западной философии.* М., 1988. С.314-356; *Гуревич П.* Гуманизм как проблема и ересь // *Свободная мысль.* 1995. N 5.

4. Этика ненасилия. Материалы международной конференции. М., 1991; *Опыт ненасилия в XX столетии: Социально-этические очерки.* М., 1996.

5. О метафизике игры см. одиннадцатую главу.

6. О фронеистике вообще и в приложении к сфере воспитания см.: *Бахитановский В.И., Потапова Е.П., Согомонов Ю.В.* Выбор будущего: К новой воспитательной деонтологии. Томск, 1991; *Бахитановский В.И., Ганжгин В.Т., Согомонов Ю.В.* Фронеизис-2 // *Самотлорский практикум-2.* Москва-Тюмень, 1988.

7. См., например, о том, каким образом снимается противоречие между либеральным индивидуализмом и социальной справедливостью, в кн.: *Хеффе О.* Политика. Право. Справедливость: Основоположения критической философии права и государства. М., 1994.

8. Гуманитарная экспертиза: возможность и перспективы. Новосибирск, 1992; *Гуманитарные проблемы освоения // Сборник научных трудов.* Москва-Тюмень, 1990.

9. *Гладков П.* Психология выживания. // *Век XX и мир.* 1988. № 4. С. 12.

10. *Шляпентох В.Э.* Как сегодня изучают завтра. М., 1975. С.144-145.

11. *Самотлорский практикум // Материалы экспертного опроса.* Тюмень, 1987; *Самотлорский практикум-2 // Сборник материалов экспертного опроса.* Москва-Тюмень, 1988.

12. *Гладков П.* Психология выживания. // *Век XX и мир.* 1988. № 4. С.15.

13. Подробнее о “демократической экспертизе” в ее концептуальном виде и в опыте реализации см. в кн.: *Бахитановский В.И., Согомонов А.Ю.* Конфликт инновации и традиции, дилемма, ценностные суждения, выбор: По материалам экспертных исследований в Тюменском регионе. Тюмень, 1990.

Поиск экспертных групп, не сводящихся по своей задаче к типологии респондентов в опросах специалистов и в массовых опросах, ведется рядом исследователей. Так, например, отвечая на одну из наших анкет в рамках экспертного опроса, А.И.Пригожин заявил метод “структуризованного форума”. Буквальное самовыдвижение, собственное, не организованное стремление участвовать в экспертизе отличают эту норму в нашей практике от принципа подбора состава участников “структуризованного форума” - метода,

предложенного А.И.Пригожиным для включения в обсуждение общественно-значимых проблем социально-активных субъектов, представляющих основные группы сознания. См.: *Пригожин А.И.* Структуризованный форум // Освоение без отчуждения. Тюмень, 1989.

14. См.: *Золотухина-Аболина Е.В.* Рациональное и ценностное: Проблемы регуляции сознания. Ростов-н/Д., 1988. С.45-89; Рациональное и эмоциональное в морали. М., 1983; *Мудрагей Н.С.* Рациональное и иррациональное. М., 1985; Современная западная социология: Словарь. М., 1990; *Тульчинский Г.Л.* Разум, воля, успех: О философии поступка. Л., 1990. С. 31-82.

15. См.: *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 24. Общий анализ указанной процедуры осуществлен в работах Л.Г.Ионина, М.С.Козловой, Т.А.Кузьминой, М.К.Мамардашвили, Э.Ю.Соловьева, В.С.Швырева и др.

16. *Маркс К., Энгельс Ф.* Соч. 2-е изд. Т. 25. Ч.II. С. 398.

17. Возможно, именно эти обстоятельства побудили А.А.Гусейнова провести различие между моралью как обособившимся идеологизированным абстрактно-всеобщим сознанием и нравственностью как фактическими нравами.

18. Управленческие имитационные игры. София, 1983.

19. *Добринская Е.И., Соколов Э.В.* Свободное время и развитие личности. Л., 1983.

20. *Крюков М.М., Крюкова Л.И.* Принципы отражения экономической действительности в деловых играх. М., 1988.

21. *Айламазьян А.М., Лебедева М.М.* Деловые игры и их использование в психологическом исследовании // Вопросы психологии. 1983. № 2.

22. *Левада Ю.А.* Игровые структуры в системах социального действия // Системные исследования. Методологические проблемы. М., 1984.

23. *Розин В.М.* Методологический анализ деловой игры как новой области научно-технической деятельности и знания // Вопросы философии. 1986. № 6.

24. Проблемно-деловая игра как метод управления общественным развитием. Саратов. 1989.

25. *Геронимус Ю.В.* Игра. Модель. Экономика. М., 1989.

26. *Азаров Ю.П.* Игра. Размышления о нравственном воспитании // Новый мир. 1983. № 6.

27. *Бакистановский В.И., Чурилов В.А.* Региональная модель политического этоса: технология преднамеренности // Будь лицом: ценности гражданского общества. Т. 2. Томск, 1993.

28. *Ефимов В.М., Комаров В.Ф.* Введение в управленческие имитационные игры. М., 1980.

29. *Эпштейн М.* Парадоксы новизны. М., 1988.

30. *Арстанов М.Ж., Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С.* Проблемно-модельное обучение: Вопросы методологии и технологии. Алма-Ата, 1980.

31. *Устиненко В.И.* Место и роль игрового феномена в культуре // Философские науки. 1980. № 2.

32. *Лотман Ю.М.* Структура художественного текста. М., 1970.

33. Гадамер Х.-Г. Истина и метод: Основы философской герменевтики. М., 1988.
34. Крюков М.М., Крюкова Л.И. Принципы отражения экономической действительности в деловых играх. М., 1988.
35. Буске М.М. Что заставляет нас играть? Что заставляет нас учиться? // Перспективы. 1987. № 4.
36. Вучков Ю. Искусство жить. М., 1989.
37. Пригожин А.И. Игровой подход в управленческом консультировании нововведений // Проектирование и организация нововведений. М., 1987.
38. Попов С.В., Щедровицкий П.Г. Конкурс руководителей. М., 1989.
39. Проблемно-деловая игра как метод управления общественным развитием. Саратов, 1989.
40. Эпштейн М. Парадоксы новизны. М., 1988.
41. Демин М.В. Природа деятельности. М., 1984.
42. Арстанов М.Ж., Пидкасистый П.И., Хайдаров Ж.С. Проблемно-модельное обучение: Вопросы методологии и технологии. Алма-Ата, 1980.
43. Пригожин А.И. Игровой подход в управленческом консультировании нововведений // Проектирование и организация нововведений. М., 1987.
44. Розин В.М. Методологический анализ деловой игры как новой области научно-технической деятельности и знания // Вопросы философии. 1986. № 6.
45. Ефимов В.М., Комаров В.Ф. Введение в управленческие имитационные игры. М., 1980.
46. Амонашвили Ш.А. Игра в учебно-познавательной деятельности младших школьников // Перспектива. 1987. № 1.
47. Азаров Ю.П. Игра. Размышления о нравственном воспитании // Новый мир. 1983. № 6.

Часть вторая

**ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭТОСА
ЭПОХИ ПЕРЕСТРОЙКИ**

Преамбула

Идея перестройки, которая предполагала и перестройку политического этоса государственного социализма, обусловлена не только осознанием политической элитой (по крайней мере, ее влиятельной частью) всей глубины кризиса, в котором оказалась дряхлеющая тоталитарная (авторитарная) система, или согласием с непреложной потребностью отыскать выход из данного кризиса, преодолеть состояние затянувшегося застоя, стагнации, но и самораспадом ряда звеньев этой системы.

Идея “перестройки”, обусловленная догмами идеологизированного мышления, предполагала не столько решительный (или, для начала, частичный) демонтаж режима, разрушение изжившей себя системы, а ее спасение. Такой замысел ориентировал на осторожную терапию, ограничение круга реформ, способных устранить препятствия для дальнейшего существования данной системы (хлестко, хотя и неадекватно названной тогда же “административно-командной”).

Поэтому и критика в ее адрес первоначально была связана со стремлением сбросить “достижения” системы, сохранить ее наследие, продолжить патримониальную, антилиберальную модернизацию страны (лозунги “ускорения развития” и “социализма с человеческим лицом”). По выражению одного немецкого профессора, едва ли не основной чертой “нового мышления” был принцип “примата этики над политикой”, что, по существу, означало отказ от политического выбора, обоснованного новыми историческими условиями, и попытку продлить существование строя, который именовал себя социалистическим.

Не следует думать, будто у позиции умеренного самореформирования системы и ее политического этоса вообще не было никаких шансов хотя бы на временный и относительный успех, что она может быть квалифицирована лишь как радикальный утопизм. Как в материально-организационных, так и в идеолого-политических структурах общества уже накопились неофициальные, неформальные отношения типа бюрократического рынка, теневой экономики, опыт политических обменов, торга, компромиссных соглашений различных элит между собой и с массами, нецензурированного рынка культуры, не говоря уже об общих достижениях модернизации - пусть и патомодернизации - страны. В числе этих достижений образовательный потенциал, урбанизация, городская культура, научные завоевания, утилитаристские (еще не либеральные) установки и рационализм массового сознания. Эти отношения, как мы уже говорили в предшествующем разделе, оказались продуктом циклически возобновляемого раскола в обществе; но при определенных условиях и при

наличии политической воли они могли стать благоприятствующими факторами умеренного реформизма.

Однако политическая элита использовала этот шанс скорее в гибридной форме, что отразилось в политической риторике тех лет. Вспомним понятия: “демократический социализм”, “рыночный социализм”, “плюрализм мнений”, “разделение властей”, “правовое государство”, “свободные выборы”, “самоуправляющиеся предприятия” и т.п. Но удивительно скоро обнаружилось, что “прививка” капиталистической, либеральной “розы” к отечественному “дичку” не получилась, что система государственного социализма исчерпала свой исторический ресурс, что, не покидая ее пределов, нельзя одним только декретным способом вывести страну из глубокого кризиса, что задержки в продвижении к новым рубежам нельзя исчерпывающим образом объяснить контрреформистским сопротивлением ряда правящих структур или сделать то же самое, ссылаясь на патерналистский менталитет масс, что романтизированной этикой невозможно подменить подлинный политический выбор. “Процесс пошел”, но совсем иначе, чем предполагали партийные реформаторы.

Мы попытаемся показать - демонстрируя работу методов гуманистической экспертизы в ходе прикладных исследований - как обновлялся политический этос, который правящая партия стремилась реформировать, не произведя принципиальных смещений в самой социально-политической системе общества.

Отметим, что на старте перестройки авторы данной монографии провели два специальных экспертно-консультативных опроса (точнее - два тура одного опроса): “Самотлорский практикум - 1” и “Самотлорский практикум - 2”. В них большой группе ученых-этиков и гуманитариев близкого профиля был предложен круг вопросов, которые можно было бы условно обозначить как “Перестройка и нравственность”.

Мы стремились сосредоточить внимание экспертов на диагностике “болевых точек” и “точек роста” в современной ситуации нравственной жизни и в ситуации этического знания. Организаторов опроса интересовал образ гносеологического идеала современной этики, банк идей по названной тематике, характеристики каналов “встречного движения” теории и практики в сфере нравственной жизни и воспитания. Мы стремились привлечь внимание к социальному заказу на гуманитарную экспертизу и консультирование (сформулированному в выступлениях лидеров перестроечного движения в стране и регионе), к возможностям этического сообщества адекватно реагировать на такой запрос конструктивными подходами, эвристичными познавательными средствами.

Перестройка в духе того времени трактовалась прежде всего как ситуация не политического, а морального выбора, что предполагало и гражданский выбор ученого, исследующего проблемы и процессы нравственной жизни общества. Предстояло как бы заново осознать и оценить значение морали в социалистическом обществе (семиотический код - “восстановление”, “очище-

ние” нравственности, “улучшение морально-политической атмосферы в коллективах”, “преодоление личностных деформаций” и т.п). И хотя ориентиры выбора вытекали из приоритета этики над политикой и эксперты руководствовались идеологической догматикой восприятия “реального социализма”, в материалах экспертизы содержались перспективные идеи [1]. На основе этих материалов позднее были выпущены две коллективные монографии [2].

Глава тринадцатая

**ПОПЫТКИ САМОРЕФОРМИРОВАНИЯ
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭТОСА**

*Начало трансформации
политического этоса правящей партии*

На первом этапе своего возникновения и развития партийная этика и партийный этос большевиков воплощали сущность, принципы и все противоречия революционной морали. Перестроечные годы выявили и сделали очевидными отрицательные моменты революционной морали. Многие критики даже поставили под сомнение саму возможность именовать партийную этику полноценной моралью - трудно считать таковой ту нравственную идеологию и практику, которые усматривали критерий добра исключительно в революционной (позднее - в государственно-номенклатурной) целесообразности.

В требованиях морали как будто бы и не существовало ничего абсолютного, непреложного, святого - если они приходили в противоречие с политико-административной целесообразностью. Критики напоминали стихотворение Э.Багрицкого "ТВС" - о том, что надо солгать или убить, если революция прикажет это сделать. В то же время, замечает культуролог Г.Померанц, "историк обязан понять, что в стихах Багрицкого - мораль, а не просто-напросто аморализм... Ради революции не щадили ни жизни, ни совести. Но троцкисты и бухаринцы расходились в понимании того, что полезно для революции, и поэтому были непримиримыми врагами. А Сталин мог блокироваться и с теми, и с другими. Ему плевать было на пользу революции или социализма и на всякую мораль тоже плевать. В совершенной безыдейности и абсолютном аморализме - один из источников его силы" [3].

Выше были охарактеризованы трансформации, которые претерпела партийная этика в эпоху тоталитаризма: с одной стороны, она выродилась в пустую ритуалистику, а с другой - претендовала стать ядром этатизированного этоса, исходной мотивации общественной нравственности во всех ее конкретизациях. Распад тоталитарной системы привел к ситуации морального кризиса, упадку данного этоса, но, вместе с тем, были и попытки реставрации партийной этики как этики партийной деятельности, а не как идеального образца для морали всего общества. Какова же была парадигмальная перспектива развития партийной этики?

Не следует забывать, что она помогла становлению важнейших элементов политического этоса демократизирующегося общества. Поэтому исследователям важно было определить вероятные пути развития партийной этики хотя бы в самых общих чертах. Обязательной предпосылкой для обсуждения этих путей было предварительное изучение представлений о будущем самой партии в контексте гуманизации всего общества, когда стали

обновляться мотивы социалистического выбора, меняться соотношение идеалов, целей и средств (средствам предстояло “оправдать” цели), а стало быть, и соотношение свободы и ответственности, социальной справедливости и человеческого достоинства. Принципиально важно было знать, какую партию (партии) *изберет себе* общество обновляющегося социализма и какие из вырабатываемых обществом политических и моральных идеалов *выберет себе* обновляющаяся партия, предопределив тем самым и свою новую этическую парадигму.

Именно с этой целью и была предпринята попытка гуманитарной экспертизы и консультирования основных моделей развития партии в критический момент выбора ею своего нового облика.

В январе 1990 года научно-консультационный Центр парткома Агентства печати “Новости”, Ленинский райком КПСС г.Москвы, Вахитовский райком КПСС Татарской АССР совместно с Ханты-Мансийским окружкомом КПСС Тюменской области и лабораторией прикладной этики Института проблем освоения Севера СО АН СССР провели в рамках общепартийной предсъездовской дискуссии научно-политический практикум “Партия на пути к правовому государству: ситуация выбора”.

Неизбежная вариативность путей развития советского общества, правящей партии, подход к перестройке как ситуации выбора обусловили конструирование такого механизма анализа альтернативных вариантов, который, оставаясь практически реализуемым, был бы максимально человеческим, гуманным, а при этом - максимально технологичным в социальном и политическом смысле.

Организаторы практикума рассматривали его как метод ответственного поиска, способ освоения будущего для тех, кто осознал востребованность своей гражданской ответственности, кто стремился максимально увеличить шансы на выживание общества.

В обращении к экспертам говорилось: “До “игр” ли нам сегодня, в такое напряженное, грозное время? Не уход ли это от реальности в выдуманный мир, в “игру в бисер”? “Игра в демократию”?! Паллиатив действительной политической активности? Выдуманные ценности и нормы вместо жесткой этики политической борьбы? Нет! Наш практикум - фрагмент партийной дискуссии, способ дополнения и усиления традиционных форм поиска эффективных решений проблемной ситуации как в партии, так и в обществе”.

В сценарий, который предстояло разыграть участникам практикума, была заложена имитация вероятного поведения различных течений, позиций, групп и отдельных членов партии в условиях, которые возникнут, если реализуется та или иная дискутируемая модель партии. Речь шла об экспериментально испытываемом взаимодействии (с точки зрения самой его возможности и реальных путей) всех позиций, которые вовлечены во время практикума в прогнозируемую и проектируемую ситуацию, а соответственно, о моделировании “плюсов” и “минусов”, характеризующих нововведения, и, наконец, о содействии и сопротивлении им различных сил в партии и обществе.

В то же время условность игровой деятельности, ее правдоподобность, вероятностный характер ситуаций должны были снять целый ряд проблем реального эксперимента и защитить участников от последствий того риска, на который они идут при том или ином выборе модели. Именно риск, ибо игра - социальное изобретение для освоения нового, для приобретения опыта, в котором нет учителей, это социально-технологическая лаборатория, в которой “исследователь” и “объект” - в одном лице, это - *эксперимент на самих себе*.

Условность ситуации, в которой находились участники практикума, позволила совершить невозможное в реальной жизни: пройти по всем вариантам выбора, испытать *каждый из прогнозов*. Чтобы успеть за временем - в реальной жизни оно шло быстрее, чем находились ответы на вопросы, вызванные инновационными ситуациями - его предстояло “свернуть”, ускорить, интенсифицировать опыт проживания ситуаций, сценарного испытания каждой альтернативы.

Игровое моделирование. Примененный на практикуме метод игрового моделирования акцентирует гуманистический потенциал технологии сотворчества, диалогизирует поиск, ибо не “подгоняет” ответы к тем, что даны “в конце задачника”, а “выращивает” их. Особенность такого моделирования - акцент на нормах и ценностях этики политической деятельности, активизирование моральной рефлексии в процессе подготовки политических решений.

В обращении к участникам-экспертам специально определялись *игровые обстоятельства*, “правила игры”: “Условная ситуация, в которой нам предстоит прожить два дня, - собрание партийного клуба “Консенсус”, созданного на территории партийного округа в период подготовки к выборам делегатов будущего съезда партии. Участники практикума - члены и гости клуба (в зависимости от того, принимают они или не принимают нормы Кодекса клуба). Какие нормы? Это, во-первых, сознательное разделение членов клуба на секции, ассоциации, фракции и т.п. по приверженности к одной из моделей развития партии. Во-вторых, метод консенсуса в принятии решений (нет проигравших и победителей, все результаты вырастают из компромиссов между позициями каждой секции).

Инициативный научно-практический коллектив организаторов рассматривает участников практикума как коллективный субъект экспертизы и консультирования вариантов демократической и гуманистической технологии разрешения ситуации выбора. Мы проверяем рабочую гипотезу, согласно которой модели обновления партии могут быть интегрированы в единую платформу для выбора делегатов на съезд - если сторонники всех вариантов социалистического выбора попытаются создать механизм сотрудничества, соглашений, компромиссов как единственный способ обеспечения гражданского мира, выживания общества.

Экспертиза концентрируется на действиях секций, объединившихся вокруг каждой из испытываемых моделей, поведении лиц и групп, борющихся не друг с другом, а за общую цель - победу *над проблемой*. Экспертиза здесь

обращена к самому трудному акту в жизни каждого человека - к его выбору, самоопределению, к тем качествам человека, для консультирования которых у многих из нас просто нет положительного нравственного опыта, ибо в предшествующих ситуациях развития общества этот опыт в его позитивном выражении не запрашивался”.

Перед участниками практикума стояли следующие *задачи*: диагностика альтернативных моделей, определение узловых моментов интегративной модели, конструирование переходной технологии обновления партии. Решение указанных задач предполагало и результат, достигаемый экспериментом, репрезентируемым по социологическим критериям, и потому содержащим диагностические и прогностические элементы.

Приведем еще один фрагмент обращения к участникам практикума: “Сейчас вы войдете в зал, разделенный на секторы. Членам клуба - в зависимости от выбранной ими модели - выделены отдельные ряды. Зарезервированы и места для возможных новых моделей. Игра содержит элементы ролевого поведения, что предполагает выбор не обязательно согласно личным убеждениям эксперта, но и возможность, так сказать, “влезть в шкуру” оппонентов. Для тех, кто еще не определился в отношении к той или иной модели, или не принял нормы Кодекса клуба, также выделены секторы зала.

Задержитесь на мгновение перед входом. Прочитайте еще раз модельные варианты платформ. Простите за известную категоричность вопросов, но, пожалуйста, взвесьте перед выбором одной из моделей свои предпочтения:

- Несут ли в себе предлагаемые модели шанс на разрешение проблемы?
- Содержит ли ситуация подлинный выбор?
- Допустима ли для конфликтующих друг с другом моделей ориентация на победу?
- Можно ли рассматривать выживание общества как высшую ценность консенсуса сторонников каждой модели?

Вам предстоит серьезная работа, у Вас есть возможность повлиять на ход и результаты партийной дискуссии, на формирование важных политических решений, уровень демократичности и гуманистичности процесса их подготовки и их результатов”.

Для экспертизы были предложены следующие модели.

Модель 1. Партия переживает тяжелые времена, но не кризис. Она остается в целом здоровым институтом, хотя и требующим перестройки. При этом ни о какой особой “ситуации выбора”, ни о каких принципиально новых “вариантах”, “моделях” речь не идет. Партия должна по-прежнему оставаться руководящей и направляющей силой общества, ядром политической системы. Общество должно оставаться однопартийным, учитывая сложившиеся традиции, отсутствие у значительной части трудящихся политического опыта.

При этом очевидно, что новый этап общественной жизни требует обновления партии в том, что касается форм и методов партийной работы: применительно к новым условиям они должны стать более гибкими и разнообразными. Принцип демократического централизма, обеспечивающий

единство и боеспособность партии, должен быть и сохранен, и упрочен. В партии недопустимы платформы, различного рода группы, а тем более фракции. Как никогда важна чистота рядов КПСС. Партия должна очиститься от кадрового балласта и дискредитирующих ее членов.

Модель 2. Партия переживает кризис из-за отхода от ленинских принципов внутрипартийной жизни и руководства обществом. В силу глубины кризиса выбора у партии нет: условием ее выживания и, соответственно, выживания общества, является переход партии исключительно на политические методы работы, регулируемые законом. Общество уже сегодня настойчиво ищет альтернативу партии для своего выживания, и КПСС должна активно взаимодействовать с различными социальными движениями и инициативами, завоевывая лидерство в политическом диалоге своим нравственным и интеллектуальным авторитетом, способностью предлагать обществу глубокие, интегративные по характеру концепции политического, экономического, социального, духовного развития.

Путь к такому разрешению ситуации лежит через изменение Программы и Устава, демократизацию внутрипартийной жизни (отказ от многозвенных и глубоко бюрократизированных структур аппаратного руководства ею, передача функций определения основных приоритетов партийной жизни на местах и способов решения вопросов первичным партийным организациям, гарантия прав внутрипартийного меньшинства, превращение в норму сопоставления взглядов коммунистов на основе различных платформ и т.п.). Необходима отмена или радикальная переработка статьи 6 Конституции СССР.

Модель 3. Общество уже не откажется от возможности выбирать свой путь. Сегодня КПСС практически не сможет просто “запретить”, остановить поворот общественного сознания к многопартийности как средству выживания не только социалистической модели развития советского общества, но и собственного выживания. Однако немедленный переход к многопартийности чреват появлением на политической арене страны несоциалистических партий, в том числе - открыто экстремистских. В этих условиях целесообразно легализовать реально существующие политические ориентации членов партии (традиционно-коммунистическая, социал-демократическая и т.п.) и, объявив о самороспуске КПСС, образовать на ее основе три-четыре партии заведомо левой ориентации.

Участие ряда таких партий в политической жизни страны, в парламентской борьбе позволит найти “свою” платформу значительной части граждан, приверженных идеям социалистического развития, и будет выполнять роль гаранта устойчивого развития советского общества по социалистическому пути.

Модель 4. Ситуация выбора в жизни партии, как и в жизни общества, принципиально изменилась. Кризис партии - и всего общества - требует коренного пересмотра как ее идейного багажа, так и принципов организации, изменения ее места в обществе. Чтобы преодолеть отставание Советского государства от развитых капиталистических государств в экономическом и

научно-технических отношениях, коренным образом повысить уровень жизни советских людей, партия должна отказаться от роли монополиста в жизни государства и общества, признать необходимость и санкционировать переход советской политической системы к многопартийности. Это предполагает, что лидерство КПСС доказывается овладением ситуацией выбора на деле, предусматривает соревнование за право определять перспективы общества между партиями, отражающими социально-экономические, политические и духовные реалии страны 90-х годов.

Самой КПСС, чтобы не утратить политического влияния в массах, более точно реагировать на изменения в политической жизни и влиять на них, необходимо трансформироваться в партию парламентского типа (не только с платформами, но и с фракциями).

Прежде чем приступить к рассказу о ходе практикума, отметим, что данные модели послужили предметом предварительного экспертного опроса среди специалистов в различных отраслях науки, публицистов, партийных работников разного ранга [4].

Стенограмма игрового эксперимента составила около 300 страниц. Даже в часовой видеопленке (“Мужество выбора”. - Видеоредакция АПН. - Москва, 1990) удалось включить лишь десятую часть отснятого материала. Зафиксируем поэтому только главные итоги двухдневного поиска.

Напомним, что участники практикума должны были в процессе решения игровых ситуаций или подтвердить свою верность выбранной на первом этапе модели, или сменить позицию, или прийти к согласованию моделей на основе компромисса, выработав некую “модель единства”. При этом секциям была предоставлена возможность испытать два пути движения к взаимопониманию: традиционный метод убеждения в предпочтительности своей позиции в режиме митинга, во-первых, и метод “круглого стола” - во-вторых.

Первое действие алгоритма (после вводного для всех участников “самоопределения к моделям” и разбивки по соответствующим секциям “партийного клуба”) предполагало коллективную работу членов каждой секции по совершенствованию избранной модели, развертыванию ее в декларацию и подготовку к защите перед оппонентами из других секций.

Действие второе - предъявление моделей. Оппонентам было предложено выполнить свою роль в разных режимах: пресс-конференции, митинга, партийного пленума, сессии советов. В процессе обсуждения каждой модели экспертами выступали народные депутаты и правоведаы.

Затем для выдвинутых от каждой команды участников “круглого стола” была проведена консультация по технологии выработки консенсуса. После согласования позиций делегатов “круглого стола” со своими секциями весь “клуб” разделился на две части. Первая организовала митинг, чтобы именно в такой форме определить возможность консенсуса, вторая - собственно “круглый стол”.

Представим здесь более подробно этот - третий - этап гуманитарной экспертизы версий развития партийной этики. Еще до начала “круглого стола” в декларациях секций звучала резкая критика в адрес оппонентов. Авторы репортажа об этой игре в “Московских новостях” (28 января 1990 г.), дав своему материалу характерный заголовок “Соблазн и страх компромисса. Что возобладало у партийных работников в ходе деловой игры?”, отметили, что, например, “консерваторы” высказывались о “радикалах” и “обновленцах” так: “Их модели не устраивают нас с точки зрения отсутствия коммунистических установок... Идти с ними на компромисс невозможно...”. Однако от самой попытки сблизить позиции не отказался ни один из участников “круглого стола”. Используя специальную методику, опираясь на предварительные консультации ученых, на ходу обучаясь искусству диалога, вырабатывая правила политического этикета, участники “круглого стола” испытали, на наш взгляд, все возможности компромисса.

Второй день игры начался было с предусмотренного сценарием задания по технологизации моделей каждой секции в виде предложений к Уставу партии и ее платформе (для испытания возможности выработать интегральную платформу клуба). Однако часть представителей первой модели - не без согласия своих делегатов за вчерашним “круглым столом” - объявила о введении “чрезвычайного положения” как более эффективного средства партийной “дискуссии” (даже имитированный митинг, который, естественно, показал свою абсолютную бесплодность при попытке выработать согласованные позиции, не давал оснований для такого поворота событий). Разумеется, другие секции выдвинули предложение о принятии против сторонников ЧП строгих правовых санкций.

Тем не менее, эта игровая импровизация не сломала общего алгоритма, и лидеры каждой команды вынесли на обсуждение “клуба” свои разработки (ясно, что сам факт коллективного поиска не менее важен, чем его конкретные результаты: подлинная наука коллективного проектирования была освоена очень слабо).

Заключительный этап игрового моделирования был посвящен отработке технологии выборов делегатов съезда. Результаты выборов содержали, на наш взгляд, определенную прогностическую информацию. Больше число голосов членов клуба набрал делегат от “умеренных”, следующим по числу голосов был делегат от вновь созданной во время практикума секции “круглого стола”, за ним - “обновленец”, “радикал”, “консерватор” (условные названия секций даны авторами репортажа в “Московских новостях”).

Какими были итоги экспериментальной попытки ответить на вопросы программы практикума? Опираясь на подготовленное разработчиками и ведущими практикума В.И.Бакштановским, Ю.В.Казаковым, В.А.Чуриловым “Заключение”, распространенное среди всех учредителей экспертизы и заинтересованных инстанций, зафиксируем здесь прежде всего выводы, которые свидетельствуют об эффективности предпринятой экспертизы.

1. Участниками практикума была принята и реализована идея коллективной гуманитарной экспертизы ситуации выбора в жизни партии посредством нетрадиционных методов игрового моделирования. Подавляющим большинством участников признаны полномочными и принципиально важными для выбора модели обновления партии те критерии отбора, что закладывались в идеологию игры: примат задачи выживания страны и ориентир на соответствие моделей партии ценностям и нормам правового государства.

2. По оценкам участников практикума, метод игрового моделирования позволил основательно прояснить отношение экспертов к идее сотрудничества сторонников различных подходов. Он позволил опробовать приемы и способы сближения позиций и даже достижения согласия. В ходе практикума удалось установить - естественно, лишь в первом приближении - те пределы компромисса, на которые могут в принципе решиться сторонники различных моделей обновления КПСС.

3. Весьма полезно рассмотрение различных моделей развития партии как сквозной “технологической цепочки” из моделей, перерастающих одна в другую в ходе становления правового государства, вплоть до модели партии, действующей при многопартийной политической системе.

4. Несмотря на то, что технология “круглого стола” позволила сблизить целый ряд позиций различных сторон, ход практикума достаточно четко выявил то обстоятельство, что достижение идейно-нравственного единства членов партии на основе консенсуса в современной КПСС крайне затруднено, а то и вовсе невозможно. Нынешнее единство во многом мнимое, связанное с непроявленностью у значительной части членов партии потребности в самоидентификации с той или иной идеологической платформой, с отсутствием достаточно основательных представлений о различных направлениях современной социалистической мысли. Очевидно, что единство такого рода в кризисной ситуации может существовать только как временное.

5. Экспериментальные испытания сценариев ролевого поведения членов партии, придерживающихся различных взглядов на обновление КПСС, выявили (в данном “лабораторном” варианте) конкретные фрагменты моделей, которые могут быть в принципе приведены к консенсусу в случае применения технологии “круглого стола”. Обнаружены фрагменты, не поддающиеся компромиссу (на этом этапе трудно судить “пока” или “в принципе”).

6. В итоге наиболее популярной оказалась модель партии, действующей в рамках многопартийности левого ряда. Выбор именно ее в качестве базовой значительным числом участников игры был обусловлен как компромиссным началом этой модели, так и тем, что компромисс определялся в границах именно социалистического выбора.

7. В ходе практикума испытана процедура выборов делегатов съезда по партийным избирательным округам, предусматривающая сопоставление платформ кандидатов.

Подтвердила свою эффективность в ходе игры такая форма организации диалога, выявления позиций и наращивания элементов сотрудничества членов

партии, как партклуб. Именно партклуб позволяет секретарям первичных партийных организаций наиболее плодотворно вести диалог, расширять возможности для согласования интересов разнородных партийных организаций, входящих в партийный округ, учитывать весь спектр мнений членов КПСС.

Примечание. Естественно, в дни, когда пишется эта книга, модели партии, которые стали объектом гуманитарной экспертизы в 1989 году, связанные с ними политическая лексика, мотивация выбора, а также механизмы претворения платформ кажутся во многом наивными - темп изменений нашего общества прямо-таки головокружителен. Но тогда они привлекали своей свежестью, злободневностью, смелостью постановки вопросов и предлагаемых решений.

И, разумеется, это было одним из важных этапов формирования политического этоса нашей страны.

***На пути трансформации представительной власти:
о кодексе народного депутата
и профессионализме регионального парламента***

В этой части главы содержится анализ двух наших попыток провести экспертизу и консультирование этоса политического успеха в сфере представительной власти. Попытки различались, во-первых, методом исследования ситуации и влияния на нее, во-вторых, масштабом ситуации - союзным в одном случае и региональным - в другом, в-третьих - этапом самореформирования этоса.

Что касается *первой* из этих попыток, следует прежде отметить, что в отличие от партийной этики, которая, как тогда казалось, переживала время своего возрождения, *парламентская этика* в нашей стране еще пребывала в эмбриональном состоянии. Вообще-то парламентская деятельность для советского общества не новинка, но тот парламент, которым мы располагали в доперестроечную эру, совершенно не нуждался в какой-то особой этике: ему вполне хватало самых общих правил этикета, чтобы послушно проштамповывать любые решения, исходящие от партаппарата или исполнительной власти.

Поэтому-то сегодня представительная демократия в нашей стране располагает не столько собственными традициями, сколько богатым мировым опытом функционирования норм и санкций парламентской этики, тщательно разработанными этикетами и ритуалами.

В то же время в “розовые” годы перестройки у нас появились первые ростки собственного опыта нравственного регулирования конфликтов между депутатами, аппаратом парламента и его депутатским корпусом; между носителями законодательной и исполнительной власти; между Советами разных уровней и т.п. Многие конфликты, правда, возникали ввиду отсутствия или же несовершенства статусов народного депутата, из-за неотработанности парламентских церемониалов. Нередко источником конфликта служил перенос

“этоса площади” в чинные залы и коридоры парламентских зданий. Случалось и так, что некоторые конфликты их инициаторы пытались “принарядить”, представив в качестве собственно этических конфликтов, хотя и под микроскопом не удалось бы разглядеть в их сюжетах хотя бы “атомы моральности”. *Комиссии по депутатской этике* оказывались в силу этого перегруженными несвойственными им функциями, в ущерб своим основным предназначениям.

Парламентская этика - атрибут правового государства. Она, безусловно, отражает состояние общественной нравственности, но она же и предъявляет обществу известные эталоны политического поведения, задает некие “моральные планки” общения во всех органах демократической власти. Поэтому, например, трансляции заседаний парламента по телевидению, с одной стороны, демонстрировали массовому зрителю безрадостное состояние парламентской этики у ряда депутатов, а с другой - тиражировали и положительный опыт, позитивные прецеденты в качестве заделов для кодекса депутатской этики (для парламентав всех рангов).

В отличие от случая с экспертизой партийной этики, тема этики парламентской деятельности разрабатывалась на ином этапе отношений нашей исследовательской команды и потенциального “заказчика” - Комиссии по депутатской этике Верховного Совета СССР. Экспертиза велась лишь на этапе подготовки “заявки” на исследовательский проект - мы прошли пилотажный опрос, сформировали аванпроект, опробовали “заявку” на Комиссии по депутатской этике Верховного Совета СССР. Соответственно, в этом параграфе представлены только указанные предварительные этапы экспертизы.

Предстоящая работа депутатов над регулятивными принципами - говорилось в преамбуле “заявки” - связана с анализом как проблемной ситуации, так и предполагаемого способа создания будущего кодекса. Существует заслуживающая серьезной этической критики тенденция, выражающая весьма своеобразную парадигму этики политической деятельности в целом и уж, конечно, этики депутата. Речь идет о доминировании в современных дискуссиях о морали и политике акцентов на критической функции морали в отношении политики, тогда как не менее важно сосредоточить внимание на *побудительной* роли морали вообще, политической морали, в частности.

Политика подлежит нравственному суду. Но, во-первых, не впасть бы на этом суде в “морализаторство”, вредное не только для политической деятельности, но и для самой морали. И, во-вторых, не сведем ли мы на таких “судах” роль морали только к запретам, сдерживающим нормам-рамкам. И, в третьих, мораль - не нечто внешнее по отношению к политике, но и в своей прикладной ипостаси, как *политическая этика*, является органическим элементом самой политической деятельности.

Предпосылки исследовательского проекта, таким образом, приводили его разработчиков к скепсису относительно трактовки предназначения Комиссии по депутатской этике - Комиссия воспринималась нами как лишь дисциплинарный

институт, а кодекс депутатской чести - как набор запретов и репрессивных санкций. И по предварительному знакомству с работой Комиссии было видно, что среди мотивов ее создания доминируют именно эти подходы. За ними стояло все то же представление о морали не как человеческой свободе, а как узде для нее. Контрольно-репрессивной мотивации (“Уложение о наказаниях”) должна, на наш взгляд, противостоять мотивация морального самоопределения депутата, а воспитывающим побуждением должно стать стимулирование нравственного самосовершенствования. Если и говорить именно о контрольной функции депутатской этики - то только *наряду* с функцией моральной защиты депутата.

Полагаем, отмечалось в заявке, что Комиссия - не столько надзирающий и карающий суд или “полиция нравов” для парламентариев, а орган этической экспертизы и консультирования, лаборатория коллективной моральной рефлексии.

Кодекс - не инструкция-регламент, “где-то” и “кем-то” расписанный и спущенный “сверху” для неукоснительного исполнения. Моральные кодексы, в том числе и кодексы профессиональной морали, вообще трудно приживаются и чаще всего отторгаются в ситуации их насильственного приживления. Если у них и есть шанс на существование, то лишь в случае, когда они являются итогом морального нормотворчества тех, кому предстоит исполнять эти нормы, когда они - продукт самообязательств.

И, наконец, о самом процессе “писания” норм. В теории и практике развития отечественной прикладной этики уже есть апробированный метод “выращивания” такого рода кодексов - игровое моделирование ситуаций морального выбора. Именно этот метод в его сочетании с экспертными опросами закладывается в исследовательский проект.

Этическая “деловая” игра в отношении цели проекта является средством организации коллективной рефлексии депутатского сообщества по поводу профессионально-нравственных аспектов кодекса. Это сотворчество-соавторство есть необходимое условие принятия парламентом своих нравственных норм. И они не только не могут быть “спущены сверху”, но и привнесены “со стороны”, допустим, специалистами в области этики. Нравственная философия (кредо) и конкретные нормы кодекса должны быть выведены из личного (группового) опыта депутата, в процессе их собственных нравственных исканий, освоения коллективного опыта предшественников и современников.

Этическое игровое моделирование и есть одно из средств аккумуляции нравственного опыта путем совместного творчества. Соавторство, собственно, и придает эффективность именно нравственным, а не регламентационным и административно-правовым аспектам кодекса. Развитие же нравственного потенциала кодекса в направлении кредо позволит фиксировать не только требования общества к корпусу депутатов, но и встречный процесс - манифестацию своих нравственных ценностей перед лицом общества во имя морального доверия с его стороны. Более того, профессионально-нравственная

акцентировка норм должна выражать и нравственные претензии общества, и нравственные самообязательства депутатского корпуса, а тем самым - сочетание побуждающих мотивов и пресекающих санкций.

Предполагаемая проектом игра по своему типу приближается к проблемно-поисковой. Она не является ни “чисто” учебной (в которой организаторы обычно заранее знают необходимый научный результат и лишь “подталкивают” к нему участников игры), ни “чисто” практической (в которой исследователи-консультанты берутся помочь заказчику решать реальные конкретные проблемы его организации). Поэтому ожидаемые результаты игры отражают: а) ее поисковый характер, ибо научный и другие результаты создаются в самой игре; б) ее инновационный потенциал, ибо игра служит средством проектирования кодекса, обеспечивает эффект его последующего внедрения; в) экспертно-консультационную позицию разработчиков и организаторов игры, когда акцентирование этических аспектов игрового поиска способствует адекватному решению профессионально-нравственных задач кодекса. “Сверхзадача” игры - создание формы представления ее результатов всему сообществу депутатов.

Итак, “заявка” разработана и представлена на согласование. Этап согласования с представителями Комиссии по депутатской этике Верховного Совета СССР и Комитета по работе с Советами показал, во-первых, совпадение взглядов “заказчика” и формирующегося целевого научного коллектива на предназначение и Комиссии по этике, и кодекса: Комиссия не должна стать “судилищем”, а кодекс - дисциплинарным уставом. Более того, обнаружилось взаимоприемлемое представление о методе создания кодекса, снимающем опасность его отторжения депутатами (в случае “административного пути” его создания и “внедрения”). В выступлениях членов комиссии, обсуждавших “заявку”, были предложены конкретные направления исследования “парламентской конфликтологии”, которые прежде всего ориентируют этикетную часть будущего кодекса.

События августа 1991 года не позволили продолжить работу с “заказчиком” той уходящей эпохи. Но исследовательский проект не потерял своей актуальности. Необходимость гуманитарной экспертизы и консультирования парламентской этики в рамках трансформации представительной власти только усилилась. В ожидании нового “заказчика” мы сосредоточили внимание на вопросах методологии и методики.

Апробирование “заявки” убедило нас в актуальности исследования способов соединения в этикетных фрагментах кодекса праксиологических рекомендаций, ритуалов, табу - и норм морального выбора. Здесь нас ждало ожидание “заказчиком” такого “оформления” кодекса, которое бы давало эффект известных рекомендаций Дейла Карнеги. Причем речь шла о “запросе” не столько в отношении мастерского стиля - в этом превзойти Д.Карнеги очень трудно. Вероятно, “заказчиков” соблазняла сама природа рекомендаций автора книг о “науке успеха”.

Полагаем, что праксиологические достижения исследований Д.Карнеги ставят читателя перед той же проблемой, что и работы праксиолога политики Н.Макиавелли - мы уже рассуждали об этом в Вводном разделе. Отделив мораль от политики, итальянский мыслитель поставил проблему совмещения праксиологических рекомендаций политикам со спецификой морального регулирования. Чтобы стать *этической* праксиологией, депутатская этика в ее кодифицированном виде должна уловить тонкую грань между совпадениями и различиями нравственной культуры и культуры эффективной деятельности.

Еще один вопрос был связан с противоречием кодификации профессионально-нравственных норм. Опираясь на наш опыт экспертизы и консультирования школ менеджеров, ассоциаций социологов, руководителей, воспитателей, в том числе и опыт этического игрового моделирования этого процесса, мы посчитали необходимым включить в сферу исследовательского проекта парламентской этики следующие соображения.

Нам не раз приходилось сталкиваться с проблемой “контркодекса”, т.е. с отрицанием самой возможности (и необходимости) проектирования профессионально-нравственных кодексов. В некоторых играх мы специально вводили задание “контркодекс”, чтобы показать, как сами специалисты по прикладной этике интерпретируют противоречивость задачи такого проектирования.

Действительно, когда кодексы проектируются на манер казенно-коллективистской морали в чиновничьем исполнении, тогда они оказываются подобными правовому принципу оценки (но без правовой санкции, хотя и с возможным предвкусением оной). Кодекс в этом случае выступает как прокрустово ложе, лекало, механический ранжир, требующий лишь одного - наложения нормы на казус. Между тем оценка другого человека - это тоже поступок и, стало быть, моральное решение. Хотя в самой практике оценивания содержится элемент стандартности, репродуктивности, тем не менее кодификация, которая поддается соблазну преимуществ стереотипности оценки, имеет весьма отдаленное отношение к нравственности и к парламентской этике. Подлинный кодекс должен быть не самодовлеющим инструментом оценивания, санкционирования, а - до того - ориентацией поступка. Кодекс - только подспорье для самостоятельной оценки, своеобразная лоща для творческого акта морального выбора. Представляется, что имеет некоторые преимущества прецедентный жанр происхождения (и применения) кодекса, если он не отрывается от норм и не просто иллюстрирует их, а нацелен на конкретизацию общественной нравственности применительно к определенной области человеческой деятельности.

И еще один важный момент в очевидно противоречивом процессе кодификации. Опыт свидетельствует, что легко оформляется в качестве нормы и плавно “внедряется” то требование, которое по ряду причин почти готово перейти на уровень *обычая*, в котором нет проблемы выбора (по Пушкину “обычай - деспот меж людей”), а репродуктивная сторона поступков и их оценки нередко оказываются их преимуществом, а вовсе не недостатком. Но

требование, уже ставшее обычаем, не нуждается в кодификации - обычай известен всем.

“Заказчик” не заставил себя ждать слишком долго. В конце 1992 - начале 1993 года в Совете народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа созрела потребность в самотрансформации представительной власти. В итоге совместными усилиями Совета и Центра прикладной этики была создана “Программа регионального центра профессионального парламентаризма”.

Начнем с ее концептуального замысла. Глубокий кризис в политико-административном управлении страной, прежде всего - тупик во взаимодействии федеральных ветвей власти, создал во многом патовую ситуацию в работе властных институтов. Наметившийся выход из тупика на пути резкого повышения роли регионального управления поставил вопрос о готовности этого уровня власти выступить в роли низового рычага выхода из кризиса. Но не могла ли воспроизвестись патовая ситуация федерального уровня на уровне региональном?

Одна из возможностей позитивного ответа связана с выдвинутой окружным Советом народных депутатов идеей самореформирования и с практическими ростками трансформации окружного Совета в профессиональный региональный парламент - в той мере, в которой традиционная природа Советов оказывается совместимой с парламентаризмом.

“Продвинутость” в этом отношении Ханты-Мансийского автономного округа была очевидной. В то же время очевидной была и недостаточность самого по себе желания пассионарного Совета “запустить” идею трансформации. Мало “решиться” на самореформирование. Не гарантировали успеха и спонтанные начальные шаги. Более того, не подготовленный должным образом старт мог невольно привести либо к воспроизведению федерального тупика на региональном уровне, либо выродиться в “шаг на месте”, а то и обернуться рецессией. Поэтому стала естественной потребность в теоретико-прикладных исследованиях, экспертизе и консультировании трансформационной инициативы окружного Совета - эти функции решением малого Совета сосредоточивались в программе деятельности Регионального центра профессионального парламентаризма.

Надежды на простоту реализации идеи самореформирования Совета в духе арифметической задачи о поезде, вышедшем из пункта “А” в пункт “Б”, вряд ли могли доминировать. И объективное понимание природы пункта “А”, и ясный образ пункта “Б”, и представление о местонахождении “поезда” в момент декларации трансформационных намерений - иначе говоря, и теоретическую концепцию, и социальную технологию - предстояло создавать “в пути”.

Но именно поэтому важной оказалась задача избежать и такого “научного” творчества, организованного “по ходу движения”, которое смоделировано в известном анекдоте о паровозе, ведомом в светлое будущее известными в советской истории партийными лидерами и остановившемся

перед разобранными рельсами (некоторые из этих лидеров предлагали то задержать на окнах шторы и раскачивать вагон, чтобы и при разобранных рельсах создавать видимость движения, то открыть все окна и двери и прямо сказать друг другу о том, что рельсов дальше нет). Поэтому и предстояло, во-первых, принять *ситуацию неопределенности* как данность и даже как ценность становящегося гражданского общества, во-вторых, выделить базовые идеи и ценности, ориентирующие программу деятельности Центра парламентаризма, во всяком случае, на начальной стадии.

Первая из этих идей относится к природе переходного периода и отражает критерии *профессионализма* парламентской деятельности. Вторая идея определяет образ *системного* профессионализма применительно к парламенту.

Идея системного парламентского профессионализма актуализировалась благодаря одному только осознанию возможности свести понятия профессионального парламента к его бюрократическо-административной версии. В ее духе речь может идти об учреждении “*учреждения*” с хорошими кадрами, с вертикальной дисциплиной и т.п., а не о политическом органе гражданского общества, где открыто сталкиваются и взаимодействуют разные интересы, где отрабатывается механизм функционирования самого парламента как балансирующего органа гражданского общества.

Увидеть профессиональный парламент не как орган межпартийной конкуренции, но как межсословный, межкорпоративный баланс, организуемый парламентской деятельностью, выдвинуть в качестве одного из критериев профессионализма сословно-корпоративное согласие, - в этом направлении, как нам представлялось, и должна была развиваться идея системного профессионализма.

Новый депутат - это профессионал или просто порядочный человек? Достаточно ли для ответа “диалектической хитрости”, простого решения, вроде того, что речь идет о порядочном профессионале, политике, играющем в рамках нравственно определенного пространства? Даже при достаточности такого ответа надо решить вопрос о “печке”, от которой предстоит “танцевать” к профессиональному парламенту. От трансформации *личности* народного депутата? Или от конструирования *оргсистемы*, которая с неизбежностью востребует профессионала? Допустим, что завтра утром все депутаты Советов проснулись конвертируемыми в профессионалов (т.е., по распространенной версии, в “юриста”, “экономиста”, “управленца” и т.п.) - стал ли окрсовет профессиональным парламентом? Или он стал лишь советом экспертов? Иначе говоря, возник вопрос о характере ответственности будущих парламентариев.

Как нам представлялось, в поиске ответов на вопросы, связанные с критериями системного профессионализма, эвристичной могла стать идея двух моделей - модели *удачи* и модели *успеха*, соответствующих нашему пониманию советской и постсоветской моделей успеха. Разве можно категорично отказывать советам народных депутатов (работавшим в модели *удачи*) в своеобразном профессионализме, весьма адекватном для прежних условий? И трансформация модели *удачи* в модель *успеха* отнюдь не означает тотального

отказа от первой в пользу второй. Смысл переходного периода и состоит в создании промежуточной модели, определяющей деятельность *протопарламента*.

Следующая базовая ценность определяет *меру* профессионализма протопарламента. Протопартии, протосословия, в целом протогражданское общество - феноменальный ряд переходного периода, объясняющий и феномен протопарламента. Однако трактовать его можно и как замедляющий трансформационный процесс, и как ускоряющий его.

Действительно, протопарламент не может не нести в себе черты Советов и в их персонифицированном, и системно-функциональном виде. Задача протопарламента - достичь такой возможной степени, меры профессионализма, которая явилась бы “повивальной бабкой” структурных институтов гражданского общества. Например, через приоритет в развитии корпоративности в регионе - вплоть до отношения к *региону как корпорации*, в отличие от понимания его как “капли”, в которой отражается вся страна. С другой стороны, “акушер” своими действиями в развитии региона как корпорации создает и базу для самого себя, основу для объективной востребованности профессионализма гражданским обществом.

Новый российский регионализм (сочетающийся в такой характеристике с ценностью федерализма) - та базовая ценность, которая конкретизирует идею профессионализма парламентской деятельности.

Почему привычное слово “регион” обретает такой смысл? В новом контексте регион, во-первых, оказывается посредником между государством в целом и отдельным гражданином. Во-вторых, хотя “субъект РФ” во многом еще остается объектом административно-командной системы, в то же время *регион* есть субъект нарождающегося правового государства и гражданского общества.

Главная ценность концепции - *морально-правовой минимум* гражданского общества.

На первой стадии разработки концепции легче было охарактеризовать это понятие через сравнение с ценностью тоталитарного периода развития страны, называемой, как мы уже знаем, “морально-политическое единство”. При этом фиксируется транзитивный характер взаимодействия обеих ценностей: “морально-правовой минимум” *создается* (во многом - возрождается), “морально-политическое единство” - *разрушается*.

Ценность “морально-политического единства” выводилась из якобы объективного единства интересов всего народа, но реально - из намеренного искоренения (через деструктурирование) институтов гражданского общества. Лозунговое оформление: от классовой дифференциации к социальной однородности. В свою очередь, ценность “морально-правового минимума” исходит из идеи объективного плюрализма интересов с их согласованием как раз на базе этого “минимума”. В социальной технологии балансировки процесса структурирования интересов особая роль принадлежит именно профессиональному парламенту.

Ценность “морально-политического единства”, далее, выступает как *сверхминимум*, который исключает плюрализм ценностей и потому превращается фактически в а-морально-политическое единство. В свою очередь, ценность “морально-правового минимума” выводится из отказа от обязательности политического единства, альтернативой которому выдвигается, в частности, идея консенсуса.

Концептуальная гипотеза заключается в том, чтобы рассмотреть ценность “морально-политического единства” как адекватную природе Советов. В свою очередь, в этой гипотезе ценность “морально-правового минимума” рассматривается как адекватная профессиональному парламенту. В пользу последнего тезиса - три дополнительных аргумента.

Во-первых, границы “минимума” не закрыты, предполагается и даже стимулируется возможность их оспаривания и изменения. При этом роль правовой составляющей “минимума” скорее заключается в “охране” его границ, а роль моральной составляющей - в их изменении.

Во-вторых, профессиональный парламент является полем политической *борьбы и сотрудничества* (здесь вспоминается метафора о “свободной близости и свободном антагонизме”). Три суперкорпорации - предпринимателей, профсоюзов и государства - договариваются, заключая социальный контракт (и через профессиональный парламент, и с ним самим) на основе морально-правового минимума.

В-третьих, не закрыты и границы - границы совершенствования - самого профессионального парламента. Суть переходного периода заключается во взаимокреации гражданского общества (ценность “морально-правового минимума” является основой такого общества) и профессионального парламента (именно такой парламент является системой, требующей для своей ориентации “минимума” - так же как Советы “требовали” в свое основание ценность “морально-политического единства”).

Феномен *амбивалентности* процесса трансформации Советов в Парламент и дилеммность вопросов, встающих перед исследователями и ЛПР, осуществляющими влияние на этот процесс, - в основе формирования и развития замысла. В числе противоречий трансформационного процесса - соотношение отечественных обстоятельств и возможности кальки с чужого опыта, который нельзя не использовать, но и использовать нельзя - не подходит к современной российской ситуации.

Другая идея - различие типов баланса властей в развитом правовом государстве и в переходный период: *видимого* подлинного баланса - и *незримого* подлинного баланса. В первом случае законодательная власть превышает любой другой, ибо она - представительная власть. Функции ветвей четко разделены, ранжированы в виде “зримого баланса”. Во втором случае, характерном для современного состояния России, о балансе - *искусственном* - властей предстоит *договариваться*, осознанно заключать временный контракт.

В связи с идеей “незримого баланса” - и автономно от нее - возникает задача реагирования на феномен “парламентского лага”. Давно уже бытует

своеобразная теория - к ней склонны и эксперты, и общественность, - согласно которой парламент всегда *отстает от общества*, ибо кажется, что экономические изменения происходят быстрее, чем парламент на них реагирует; аналогично и с социальными изменениями и т.п. Предполагается тем самым, что парламент как бы обречен лишь *реагировать на то, что уже происходит*. Преодоление “теории лага” возможно через понимание взаимодействия парламента и гражданского общества. Специфический профессионализм парламентской деятельности - в представлении интересов такого общества и в их культивировании.

Здесь уместно выделить возможно самую трудную задачу программы. Не получится ли так, что Центр регионального парламентаризма будет рассматриваться как орган управления “парламентским лагом” в интересах некой группировки (клана, клики и т.п.), стремящейся, чтобы профессиональный региональный парламент реагировал именно на ее действия, а не на объективные интересы репрезентируемого парламентом гражданского общества? Поэтому самостоятельной идеей концептуального замысла служит идея контроля и профилактики *псевдотрансформационной* тенденции, тенденции вырождения замысла профессионального парламента в осознанно-неосознанную задачу консервации Советов, их природы. Предстояло в рамках концепции развернуть тему гарантий от приостановки трансформации или от мимикрирования действительных контртрансформационных интересов. Вряд ли в этом отношении можно “отделаться” поручениями для комиссии по депутатской этике (контроль изнутри) или “озадачиванием” средств массовой информации (контроль со стороны).

Вот минимальный перечень вопросов, ответ на которые может дать представление о региональном протопарламенте.

- Является ли такой парламент миниатюрной версией федерального или же масштаб меняет и содержание, и функции?

- Как в региональном парламенте сочетаются политическая игра и профессионально-дисциплинарное знание, функция политического органа и органа совещательного (коллегия)?

- Как конституируются интересы структур региона: а) в личностях депутатов, б) в партийных фракциях?

- Как в региональном протопарламенте отражается амбивалентная природа регионального эгоизма?

- Какие варианты профессионализации парламента предпочтительны в условиях нефтегазового статуса региона, его этнической специфики, конфликта трех субъектов РФ, места региона в Сибири и в РФ в целом: а) через блок партий “Региональный интерес”? б) через противоборство вне(над) региональных политических сил (“демократы”, “патриоты”, “коммунисты” и т.п.) в регионе? в) через надпартийного лидера и его команду (“региональный Ельцин”)?

Увы, в этой части главы собраны материалы проектов, которым не суждено было воплотиться в реальность: изменения политической ситуации оба раза устраняли “заказчика” с политической сцены. Что касается Центра профессионального парламентаризма, то обсуждение его концепции - последнее, что успел сделать окружной Совет до октябрьских 1993 года событий в Москве. Предстояли выборы окружной Думы.

Тем не менее, одна из запланированных окрсоветом акций так и не учрежденного Центра может, на наш взгляд, представить определенный интерес для исторического анализа процесса трансформации этоса представительной власти. Речь идет о нашей разработке практикума “Эстафета профессионализма”. Здесь мы приводим лишь его программу.

“Уважаемый коллега!

Мы встречаемся в напряженные дни неожиданно развернувшейся выборной кампании в представительные органы власти. Среди нас те, кто вольно или невольно, справедливо или несправедливо выбывают “из игры”, и те, кто попытается продолжить свою политическую карьеру непосредственно - через депутатство или косвенно - через предложение своего политического капитала новой окружной Думе.

Стремительность процесса конституционного реформирования в стране, непрерывная и непредсказуемая смена правил игры, сильная тенденция к авторитаризации исполнительной власти и т.п. ставят проблему выборов представительных органов власти в округе как причину и условие убережения субъектности округа, сохранения всего достигнутого благодаря такой субъектности, передачи достигнутого окружной Думе в качестве задела для движения вперед, что в целом придает этой проблеме особый статус задачи “национальной безопасности” округа как субъекта РФ.

Цели практикума

- подготовка к выборам в окружную Думу с позиции преемственности профессионализма представительной власти, в том числе в ее содержательном и даже персональном (во всяком случае, с точки зрения “командности”) аспектах;
- формирование новой стратегии региональной субъектности;
- проектирование элементов платформы окружной Думы;
- максимальное использование политического капитала всех лидеров представительной власти прежнего созыва.

Алгоритм практикума

Работу участников практикума предлагается организовать в три этапа.

Первый из них посвящен наследию, которое окружной Совет стремится передать окружной Думе. Предполагается анализ этого наследия с точки зрения практикуемых Советом принципов парламентского профессионализма и обсуждение условий успешности эстафеты этих принципов с точки зрения готовности новой команды к эстафете и обновлению. Особая задача этого этапа - дискуссия о возможных стратегиях морального выбора у политической элиты

округа после октябрьских событий и в связи с развернутой конституционной реформой.

Второй этап посвящен теме диагноза и прогноза *политического успеха* округа в изменившейся политической ситуации (изменения в отношениях “федеральный центр - округ”, “область - округ”, новый политический расклад внутри округа). Этап предполагается завершить размышлениями о “Хартии” новой политической элиты округа.

Третий этап практикума - если он состоится, если среди его участников проявятся те, кто примет решение непосредственно работать на избирательную платформу окружной Думы - предполагает индивидуальное и групповое консультирование по темам: (1) принципы проектирования и фрагменты избирательной платформы, (2) формирование имиджа, связи с общественностью и средствами массовой информации, (3) технологии политического успеха на выборах”.

Этика и преобразование национальной политики

В процессе совместной деятельности люди вступают в нравственные отношения не только как члены каких-либо социальных, профессиональных, демографических или культурных групп, различных организаций, как участники тех или иных общественных движений, но и в качестве граждан государств, представителей определенных народов (этносов, национальностей). Отсюда вытекает система их нравственных обязанностей, требований к поведению, образуя особую этику, которую можно было бы условно назвать *этикой национальных отношений*.

Нам представляется, что по ряду параметров такая этика *соприкасается и даже совмещается с политической этикой*. В этом легко убедиться, так как обе эти этики предполагают защиту принципа равенства в отношениях между народами, людьми разных национальностей, принципов свободы для народов безотносительно к их расовой принадлежности, социальному и культурному развитию, к перипетиям их исторической судьбы (например, совместное проживание или рассеяние, наличие или отсутствие государственности и т.п.). Обе они морально, специфически духовными средствами осуждают любые формы национальной дискриминации, ненависти и розни - как утверждение национального и расового превосходства, исключительности, так и ощущение приниженности на этой же почве, этнической неполноценности.

И политическая этика, и этика национальных отношений, поддерживая позитивные процессы роста национального самосознания, выступают против разобщенности народов, политики, ведущей к местничеству, к национальной замкнутости, сепаратизму, прибегающей к игре на национальном самолюбии, кичливости и чванстве. Обе они содействуют согласованию национальных интересов в рамках демократической системы власти, способствуют снятию напряженности в межнациональных отношениях, поощряют спокойный и взвешенный подход при разрешении национальных конфликтов, ориентируют на поиск компромиссов и консенсуса. Нормы и ценности политической этики и

этики национальных отношений ориентируют на преодоление иждивенческих настроений, разумное использование природных и иных ресурсов национальных регионов, на осуществление требований справедливости в сфере межнациональных отношений.

Идея гуманитарной экспертизы и консультирования политических решений в сфере национальных отношений реализовалась в нашем опыте игрового моделирования на “Самотлорском практикуме-2”, тема которого говорит сама за себя: “Этос и этнос: социально-этическая справедливость как объект политического решения”.

“Самотлорский практикум-2” состоялся в июне 1989 года в г.Ханты-Мансийске Тюменской области. Цель практикума: гуманитарная экспертиза и консультирование альтернативных политических решений проблем выживания, убережения и содействия развитию коренных народов Севера.

С точки зрения комплексности применения методов гуманитарной экспертизы и консультирования этот практикум наиболее показателен. Участникам игры для коллективной экспертизы были предложены стереотипные для массового сознания модели решения этнической проблемы, которые были выявлены в процессе предварительно проведенного *пилотажного* практикума. В свою очередь, до *игрового этапа* по этим моделям были проведены (а) экспертный опрос специалистов - *меритократическая экспертиза* - и (б) *демократическая экспертиза* как вид изучения общественного мнения. Результаты обоих опросов были опубликованы и представлены каждому участнику практикума [5].

Начнем наш рассказ с анкеты участника практикума, содержащей модели, предъявляемые для игровой экспертизы.

“Уважаемый эксперт!

Реальная практика интенсивного промышленного освоения Севера делает проблемным само этническое выживание коренных народов со свойственным им патриархально-традиционным общественным укладом и типом сознания. Политические решения, пытающиеся минимизировать негативные последствия в области национальной политики, обычно запаздывают, вызывают неудовлетворенность и тем самым способствуют эскалации социальной напряженности в национальных отношениях.

Анализ мнений и предложений участников *пилотажного* научно-политического практикума позволил выявить три наиболее активно выдвигаемые идеализованные модели политического решения. Просим вас дать экспертную оценку полученных материалов. При этом предполагается, что гуманитарная экспертиза отдает приоритет ценностному измерению и лишь в самых общих чертах анализирует социально-технологические проекты.

Модель 1. Невмешательство. Сторонники этой модели исходят из убеждения, что управлять национальными процессами мы еще не умеем (“еще не научились”), а скорее эти процессы и вовсе “неуправляемы”. Следовательно, для субъекта политического решения достойнее и гуманнее в такой ситуации не брать на себя ответственность, уклонившись от выбора.

Нравственно ли это решение? Оцените, пожалуйста, следующие контраргументы, выдвинутые группой участников пилотажного моделирования.

“Принять модель “Невмешательство”, опасаясь неведомых и непрогнозируемых последствий управленческих решений, значит обречь коренные народности Севера либо на самоуничтожение (слабая степень приспособляемости к новым условиям, нежелание и неумение переходить на новые технологии, низкий уровень жизни, грамотности, широкое распространение алкоголизма и т.п.), либо на уничтожение, поскольку рано или поздно их поглотит процесс промышленного освоения, обремененный отчуждением от человека как целей, так и средств”.

Модель 2. Заповедная зона. Ее поборники предлагают исключить некоторые территории, где традиционно проживали коренные народности, из процесса промышленного освоения. Эти земли закрепляются за коренными народностями в форме национального поселка, района, управление которыми предельно автономно. Предполагается, что именно таким путем удастся восстановить традиционный образ жизни и тем самым, как минимум, устранить социальный дисбаланс, предотвратить физическое исчезновение этноса, а возможно, и достичь этнического возрождения.

Насколько нравственным, справедливым может быть такое решение? Выскажите, пожалуйста, свое мнение по поводу следующих сомнений группы участников пилотажа.

“Модель “заповедная зона” противоречит стремлению нашего общества к единому идеалу социальной справедливости. В то же время решение о создании подобных “зон” приведет к тому, что часть народов страны будет открыта историческому прогрессу, а другая - выключена из него, искусственно или добровольно загнанная в условия резервации. Сегодня мы создадим “заповедные зоны” для коренных народностей Севера, а завтра для других, более развитых, народов? Наконец, не придем ли мы к тому, что создание искусственных барьеров породит историческую “смерть” всем тем народностям, которые ныне не способны соревноваться с развитыми регионами страны”.

Модель 3. Культурная ассимиляция. Субъект политического решения расценивает как аморальные и несправедливые и первую (“стыдно уклоняться”), и вторую (“по сути - это резервация”, насильственно возвращающая этнос в “патриархальную первобытность”) модели. Сторонники модели-3 (при всем их многообразии - от “прогрессоров” до “миссионеров”) предлагают в качестве альтернативы контролируруемую обществом ассимиляцию культур, своего рода “подтягивание” их до уровня современной цивилизации. При сохранении народной самобытности такое решение даст возможность “вписать” этносы Тюменского Севера в единый современный тип сознания, а через него - в новый тип общественного уклада.

Допустимо ли этически такое решение, нравственно ли навязывать свои ценности другим народам насильственно? Квалифицируйте, пожалуйста, альтернативное суждение группы пилотажного моделирования.

“Не говоря об утопичности стремления поднять уровень цивилизации коренных народностей до такой степени, когда они вольются в единый культурный массив страны, модель эта безнравственна априорно. Не обманываем ли мы сами себя, навязывая чуждые коренным народностям урбанистически-индустриальные ценности и жизненные идеалы, полагая, что у нас с ними общие смысложизненные представления, установки и приоритеты?! Традиционные образы жизни и мыслей настолько разительно отличаются от современных, что коренные народности не только не готовы, но, безусловно, и не хотят иной культуры, иной системы ценностей. Они не видят в “ином” альтернативы: за них выбор уже осуществил обычай”.

Итак, для экспертизы предложены три модели и три порождаемые ими этические контрпозиции. Мы будем признательны вам и за предложение других моделей, учитывающих, с одной стороны, жизненную реальность, а с другой - гарантирующих, что цель не потеряет своего нравственного достоинства. А возможны ли такие модели вообще? Возможно ли “освоение без отчуждения”?”

На практикум были приглашены ученые, партийные, советские, комсомольские работники, деятели культуры, представители средств массовой информации. Им предстояло принять на себя роли участников заседания “Президиума Совета народных депутатов автономного округа”. Такого рода органа управления тогда, в 1989 году, не было. Но именно в моделировании деятельности этого гипотетического института как своеобразной переходной модели предстояло достичь нового уровня политической культуры в решении национальных проблем, ориентации политических решений на ценности права и требования общественной нравственности, на достижения гуманитарного знания.

Алгоритм игрового поиска включал три этапа.

Первый, диагностический этап, посвящен анализу стереотипных моделей и тех предложений, которые возникли на предварительной экспертизе. Итог первого этапа - отбор тех моделей, которые участники практикума посчитали целесообразным для дальнейшего игрового испытания. В процессе такой селекции сформированы команды - целевые научно-практические бригады, объединенные признанием той или иной модели политического решения. Их задача - не столько победа одной команды над другой, сколько “соперничество с проблемой”.

Второй этап игры - проверка отобранных (или вновь созданных) вариантов посредством ситуационного испытания конкретных “болевых точек” современной жизни района нового освоения. Критерий подбора ситуаций - положения международных юридических документов, посвященных народам Севера. Разумеется, учитывая специфику региона.

Третий этап - поиск способов доведения апробированных моделей до уровня социально-технологических предложений и рекомендаций.

Планируемый итог практикума - проект “Гуманитарная платформа политического решения этнической проблемы на Тюменском Севере”. Основному содержанию этого проекта предстояло войти в проект “Закона о Ханты-Мансийском автономном округе” (в его целевую часть и разделы, содержащие пакет социально-технологических решений). Предполагалось, что процесс работы над документом позволит, во-первых, сформировать новое представление о взаимоотношении гуманитарного знания и политической деятельности; во-вторых, приведет к осознанию исследователями и политиками общественной необходимости в гуманитарной экспертизе, содержащей рефлексию человеческого смысла политических решений.

В соответствии с общей идеей о роли игр в гуманитарной экспертизе игровое моделирование выступало формой совместного творчества заинтересованных сторон, методом испытания не только “вариантов”, но и моральных позиций их авторов. Особое испытание - для тех, кто после игровой формы экспертизы будет принимать решения уже в “серьезной” ситуации.

Три момента игры оказались весьма драматичными. Во-первых - драма самих коренных народностей, среди которых есть приверженцы всех упомянутых экспертами моделей решения. Можно ли говорить об *общей* судьбе для всех народов Севера? Во-вторых - драма власти, стремящейся совместить гуманизм с реализмом, прагматизмом. Удастся ли ей сотворить нечто большее, нежели “меньшее зло”? В-третьих - драма гуманитариев, рискнувших перейти от традиционной (критической) позиции в отношении к политическим решениям к позиции конструктивной, пытающихся участвовать в политической деятельности при очевидной противоречивости морали и политики, при неразвитости политической этики в ситуации переходного периода.

Практикум, посвященный конкретной проблеме, активизировал поиск в сфере политической этики, позволил испытать и развить нравственный потенциал современной политической практики, поддержать стремление ориентированных на перестройку представителей власти овладеть политическими методами руководства в новой ситуации, когда на первый план выдвигаются гуманизм целей и демократичность решений.

Экспертный характер игрового поиска ориентировал на испытание намерений, возможностей и умений политиков принимать максимально возможные в данных условиях справедливые решения, искать наилучшие варианты этих решений в диалоге с представителями коренных народностей, а не вместо них, сотрудничать с гуманитариями как в экспертизе, так и в проектировании новых социальных технологий, без которых не вылечить застарелые болезни общества.

Итоги игры еще раз убедили, что на перепутье вышли все структуры общества - не только профессиональные политики и этнические общности, но и те, кто исследуют политику и этнос, социогуманитарное сообщество. И каждая структура, и каждый в структуре стоят перед выбором. “Трудно быть богом?”.

А легче ли выжить этносу? Легко ли политическому деятелю выбрать справедливую модель? А быть экспертом, обреченным призывать минимизировать зло? Каждый выбирает сам за себя?

По-видимому, нет иного способа “подготовки” к жизни в ситуации политической свободы, чем вовлечение в реальный выбор и активная рефлексия по каждой альтернативе решения.

Анализ многопластового результата игры “Этос и этнос” (объем стенограммы - 540 страниц) не входит в задачу нашей книги. Приведем лишь один из ее результатов - фрагменты платформы “Возрождение”, которая в тот период истории страны и региона имела ряд перспективных аспектов и привлекательных сторон, не утративших, как нам думается, этих свойств и сегодня.

Преамбула

...Каждый народ, независимо от своей численности, имеет право на саморазвитие. Для коренных народов Тюменского Севера право на саморазвитие на нынешнем этапе неразрывно связано с обеспечением возможности этнического выживания, утверждением приоритета самобытности народной жизни над интересами промышленного освоения.

Материальной основой развития народов является их суверенное право на землю и ее недра. Абсолютной ценностью признается обеспечение условий возрождения традиционного образа жизни. При этом уважается свобода выбора образа жизни в соответствии с интересами как того или иного народа в целом, так и каждой этнической общности, личности.

Духовной основой саморазвития народа является возрождение его национальной культуры, для которой традиционно единение человека с природой.

Исходя из уникальности и самоценности любого народа, его возрождение не может быть достигнуто в ущерб другим. Гармонизация этнических интересов - условие развития и возрождения каждого из народов региона.

Преемственность исторического опыта органического взаимодействия народов Севера с природой является основой культуры освоения региона.

1. Суверенитет народов

...•Предполагается двухпалатный орган власти территории расселения: “Совет территории” - пропорциональное представительство, равное для всего населения; “Совет народов” - 50 процентов коренных народов, 50 процентов - равные квоты для других народов, проживающих на территории округа.

Такая структура - условие консенсуса в решении этнических и межнациональных проблем.

...•В рамках округа могут вычлениваться отдельные территории промышленного освоения. За Советом округа признается исключительное право на установление границ и режима промышленного освоения.

•Коренные народы Севера имеют право на объединение в различные общественные организации, ассоциации, комитеты, конференции. Этим

объединениям обеспечивается возможность участия в международных неправительственных организациях.

•В рамках автономного округа предусматривается создание национальных районов, поселков. Вопросы, затрагивающие интересы первичных территориальных образований, решаются местными органами самоуправления.

•Каждой национально-территориальной общности, каждому гражданину гарантируется право свободного выбора образа жизни в рамках существующего законодательства.

2. Хозяева своей земли

•Обеспечивается полное самоопределение относительно форм собственности (родовая, частная, кооперативная, коммунальная и т.д.).

•Обеспечивается полная собственность на всю продукцию, произведенную на территории округа. Должна быть преодолена государственная монополия на распоряжение этими продуктами.

...•Отчуждение территорий возможно только с согласия Совета, принцип компенсации является обязательным. Окружной Совет устанавливает размеры компенсации за использование территорий, отчужденных в целях промышленного освоения.

•Считать приоритетной целью расширение зоны, выводимой из-под промышленного освоения с последующей обязательной рекультивацией за счет использовавших ее предприятий.

•Признается, что самодеятельность и самоуправление как принципы жизнедеятельности общества возможны лишь при условии установления законом собственности каждого и общественной собственности.

•Провести комплексную социально-экологическую и гуманитарную экспертизу промышленного освоения региона в целях ее изменения под приоритет народной жизни.

3. Духовное возрождение

Только на основании предполагаемых экономических и политических преобразований возможны возрождение и расцвет самобытной национальной культуры и национального самосознания коренных народов округа.

•Основополагающим является принцип двуязычия (работа средств массовой информации).

•Формирование политики в области народного образования находится в преимущественной компетенции округа.

•Национальная культура коренных народов округа получает приоритетное развитие, при этом правом на культурную автономию обладают все другие народы, проживающие на территории округа.

•Памятники культуры, верования, обычаи, традиции коренных народов находятся под особой защитой органов власти территорий.

•Признается принцип свободы совести, уважения верований, обычаев, традиций коренных народов Севера.

•Каждому представителю коренной национальности обеспечивается такой уровень воспитания и образования, который позволяет выбирать образ и стиль жизни, род занятий.

•Принять меры по укреплению семьи и созданию условий для нормального семейного воспитания, взяв курс на постепенную замену госинтернатов на семейные.

4. Здоровье народа

...•На основании исследований должна быть разработана комплексная программа, обеспечивающая рост продолжительности жизни народов, живущих в регионе, в том числе путем снижения уровня детской смертности от инфекционных, наследственных и других заболеваний, улучшения качества питания, расширения наркологической службы как одного из факторов предотвращения суицида.

•Разработать и принять закон о поощрительных мерах в отношении семей коренных народов, воспитывающих трех и более детей (жилье, медицинское обслуживание, материальная помощь).

•Одной из практических задач является обеспечение условий для устранения дискриминации между уровнями медицинского обслуживания “осевшего” и кочующего коренного населения.

На “Самотлорском практикуме - 2” все игровые команды (а их число выросло в процессе диалогового общения) проявили готовность понять друг друга, без колебаний высказали продуктивные сомнения по поводу предлагаемых альтернативных моделей политического решения. Поэтому данная игра, в отличие от некоторых предшествующих, сохраняла, а временами даже усиливала интерес участников к теме обсуждения, хотя не применялись игротехнические способы искусственного “подогревания” азарта борьбы, желания победить в схватке во что бы то ни стало.

Вместе с тем игра мало напоминала развитие действия по строгому дипломатическому протоколу. Она одарила неожиданными поворотами, практическим результатом с неоспоримым позитивным эффектом - в ее ходе возникли непредусмотренные сценарием инициативные группы самих участников. Примечательно возникновение ядра будущей Ассоциации малочисленных народов Тюменского Севера с серьезным “заделом” для собственной программы. И тогда игровой конфликт перерастал в реальный: условно-серьезный мир игры предстал как в высшей степени серьезный мир ответственных политических решений. Их принятие вовлекало участников игры в драму идей, создавало ситуацию трудного выбора. Соответственно учтиво-воспитательный диалог превратился в диалог, составленный из конфликтных поступков. Обнаружились несовпадения умеренных нравственно-политических позиций представителей старшего поколения коренных народов и одной из групп научных консультантов с радикальными позициями другой группы научных консультантов и представителей молодой интеллигенции коренных

народов Ханты-Мансийского автономного округа. До сего дня трудно предсказать отдаленные результаты такого конфликтного диалога, хотя получившая всеобщее одобрение участников игры “Платформа выживания коренных народов Севера” оказалась одновременно платформой, объединяющей - в главном - и умеренные, и радикальные группировки.

Эффектом политической социализации была насыщена сама атмосфера игры. Ее организаторы смогли сконцентрировать усилия участников на легитимизации прав меньшинства - духовное воздействие обеспечивалось не просто созданием ситуации выбора, но и спроектированными в процессе игры демократическими процедурами решения этих ситуаций.

Мучительно трудный вопрос композиции нового социально-политического идеала получил, кажется, дополнительный импульс. Первоочередное значение приобрел национальный компонент этого идеала, что явно недооценивалось на предыдущих этапах развития нашего общества. На глазах участников игры формировался синдром “взрыва” этнического сознания малочисленных народов. Одновременно был поставлен вопрос о создании на Тюменском Севере новой русскоязычной межэтнической общности (“северяне”). В этом процессе этногенеза могли бы обрести оседлость те из числа “пришлых”, которые олицетворяют феномен “промышленного кочевничества” нашей цивилизации - опасный дестабилизирующий элемент не одних только районов нового освоения.

Игра выявила и сгусток бед и страданий, которые выпали на долю коренных народов Севера, но не обошли стороной и тех, кто уже обжился в регионе, и “кочевников”. Игра вызвала чувство сопереживания, сострадания, желание без промедления протянуть руку помощи (не отсюда ли родилось название одной из инициативных групп - “Немедленное действие”?!). Усилия соавторов командных вариантов проекта “Возрождение” подхлестывались именно этими настроениями. Сопереживание выразилось и в максимализме требований некоторых команд (вспоминается лозунг молодежного движения 60-х годов - “будьте реалистами, требуйте невозможного!”).

Эффект игры заключается, видимо, не только в том, что представители национальной интеллигенции обрели большее чувство собственного достоинства, подкрепленное сочувствием всех участников игры, но и в том, что остальные участники оказались в выигрыше: хотя бы частично реализованное стремление оказать помощь является характерным свойством всякой гуманитарной экспертизы.

К выработке этики политической борьбы

Проблематика становления политической этики подвергается особому испытанию в ситуации борьбы, которая активизируется в период становления демократических институтов. В этих ситуациях праксиология свободы приобретает конфликтную форму. Речь идет о цивилизаторской роли ценностей и норм политической этики в напряженной атмосфере соперничества политических сил - партий и фракций, организаций и движений, лидеров и масс.

Этизация политической деятельности в условиях демократии не означает устранения из политики факторов борьбы, протекающей подчас в предельно острых формах. Этика должна минимизировать опасность превращения арены политической борьбы в кровавое поле гражданской войны, исключить “борьбу без правил”, не дать стремлению субъекта политической деятельности к успеху, карьере, риску и т.п. выродиться в политический цинизм, беспринципность, аморализм.

Широкую панораму заявленной в названии последнего фрагмента этой главы темы мы рассмотрим на примере одного из появившихся в первые годы перестройки поприщ политической борьбы - “Окружного предвыборного собрания”, технологического изобретение избирательного закона переходного периода. Хочется надеяться, что это “поприще” никогда больше не вернется на политическую сцену. Но еще совсем недавно оно представляло собой полигон столкновения двух политических культур. Одна из них - подданническая - не желала добровольно уйти в прошлое, а другая - активистская, партиципационная - была вынуждена уживаться с первой, стремясь путем компромисса обеспечить свое будущее.

Итак, зарисовка гуманитарной экспертизы этого новоизобретения. В течение 1989 года первая попытка провести экспертизу в режиме игрового моделирования была предпринята в Ханты-Мансийске, затем в Тюмени и, наконец, уже в отработанном виде - в Москве (по итогам столичной игры Агентством печати “Новости” был снят видеофильм). Мы остановимся на московской версии игры.

Кому могла быть интересна тема “Окружное предвыборное собрание”, кроме “Избиркома”? Да, организаторы той избирательной кампании участвовали в игре, обсуждали видеофильм, и это непосредственно повлияло на ход соответствующего собрания в территориальном округе №1 Москвы. Но для нас важнее то обстоятельство, что это был прецедент экспертизы *этической составляющей политической борьбы*.

Замысел игры заключался в таком моделировании этого “изобретения”, которое, во-первых, помогло бы уже “на тренажере” понять его природу, овладеть его технологией и, во-вторых, демистифицировать те моменты процедуры, которые пытались ограничить меру демократической свободы, создав “сито” между избирателями и кандидатами.

Разумеется, никому до тех пор не известная процедура не была ведома и самим организаторам экспертизы, поэтому и многие открытия им приходилось делать “на ходу”, вместе с участниками игры. А участвовали в этом эксперименте “на себе” и кандидаты в народные депутаты, и представители клубов избирателей, и, естественно, работники избирательных комиссий всех уровней, и партийные функционеры. Большая группа участников игры - праведы, социологи, политологи, психологи, выступающие в качестве консультантов ключевых игровых заданий.

Не будем описывать здесь сам алгоритм игры - он совпадал с ходом любого такого рода собрания. Воспользуемся репортажем из “Московских

новостей”. Вот как увидел задачи, ход и результат игрового поиска журналист В.Н.Дымарский.

“Как очевидец того “мероприятия”, могу засвидетельствовать: премьера удалась, игра, по общему признанию, принесла огромную пользу и сидевшим в зале кандидатам в народные депутаты, которые примеряли на себя новый “костюм” новой роли и новой процедуры, и членам окружной избирательной комиссии, убедившимся в том, как много неожиданностей их подстерегает в реальной жизни, и “группам поддержки”, учившимся в игровой ситуации технике и тактике избирательной борьбы, защите своего кандидата.

Около двух часов “Окружное предвыборное собрание” не могло открыться из-за разного рода процедурных проволочек. То обсуждали, что делать с рвавшимися в зал “неформалами”, то давали отвод счетной комиссии, то решали вопрос о том, насколько и в какой степени правомерна наглядная агитация за кандидатов. Была борьба кандидатов и их программ, было тайное голосование, был и счастливый “победитель”, наиболее удачно прошедший через “сито” каверзных и далеко не всегда деликатных и этических вопросов. И именно тогда, еще до того, как общественное мнение, проверив нововведение на практике, вынесло ему обвинительный вердикт, уже прозвучал вывод, к которому подтолкнула игра: давайте задумаемся, уважаемые участники окружного собрания, не слишком ли много мы на себя берем, делая свой выбор в пользу одного или двух кандидатов? Ведь среди отсеянных может оказаться тот, кого предпочтут потом избиратели...

Игра “Окружное предвыборное собрание”, с видеозаписью которой познакомились затем организаторы избирательной кампании в Москве, позволила им обойти многие подводные рифы. Потом жизнь поставила перед обществом новые проблемы, и вроде бы стал уже забываться тот короткий этап, когда изобретенные Законом о выборах окружные собрания подняли волну эмоций, одобрений и порицаний. Но еще раз вспомнилась та игра в дни работы первого Съезда народных депутатов: сколько времени, особенно на первых порах, было потрачено на процедурные вопросы, на выработку той необходимой технологии, без которой, как выяснилось, демократия не только не может себя защищать, но и вообще рискует погибнуть”.

Выделим особо моменты *послеигровой рефлексии*, специально организованной нами после первого просмотра видеофильма. Среди наиболее интересных сюжетов, не только представляющих историко-этический интерес, но и имеющих значение для будущего политической этики, была коллективная рефлексия о духе закона, о ценностных основаниях процедуры “Окружного собрания”. Каково право его участников на “селекцию” кандидатов, на отсечение избирателей от всего числа выдвинутых ими кандидатов? Этот в общем-то элементарный вопрос по поводу представительной и прямой демократии следовало изучить с точки зрения всех его этических последствий. Не случайно участниками игры были выдвинуты альтернативные варианты, в

том числе и предложение отказаться от отбора и проголосовать за включение всех кандидатов в избирательные бюллетени.

Выступая в роли организаторов этой коллективной рефлексии, мы подняли вопрос, который не потерял актуальности и в сегодняшних политических баталиях. Не слишком ли много внимания было уделено в процессе моделирования политическим технологиям, процедурным моментам? Не теряют ли участники собрания чувство реальности и не создают ли иллюзорный мир, в котором азартный и изощренный поиск процедурных альтернатив опустошает душу и волю - где уж тут помнить о *духе* демократии? Можно пойти легким путем оправданий - и закон технологически не проработан, и у избирателей с кандидатами мало политических навыков... Но можно встать и на более трудный путь: а возможен ли *дух* демократии без "*плоти*" - четкого процедурного механизма? Средства без цели слепы, но и цели без средств пусты.

В заключение - "воспоминание о случае", о прецеденте собственно *этической* экспертизы нашего проекта, в которой более важным представляется процесс *постановки вопросов*.

Научное сообщество на Западе давно и основательно вовлечено в консультирование больших политических кампаний, в том числе и с этической точки зрения. Одной из доступных нам форм углубления экспертизы стало обсуждение видеофильма об этой игре на Всесоюзной конференции по этике в МГУ. В коллективном практикуме "Политика и мораль" мы предложили участникам конференции обсудить следующие вопросы, возникшие в результате просмотра видеофильма.

- Что увлекает участников игры? Осваивая роль избирателей, они рассчитывают на обретение большей свободы в реальной политической борьбе? Или их волнует азарт борьбы, свойственный всякой игре? Возможно ли средствами морали активизировать политическую борьбу? Или задача морали - прежде всего оберегать политику от беспринципности, макиавеллизма? И только? Какие функции по отношению к политике выполняет мораль? Контролирующие? Или также стимулирующие, активизирующие?

- Можно ли средствами политической этики содействовать достижению наибольшего народовластия в процессе выборов?

- Возможны ли научная этическая экспертиза и консультирование ситуаций политической борьбы? Или реальна лишь обычная моральная оценка таких ситуаций, как и всяких других? Если этическая экспертиза возможна, то что является ее предметом? Степень демократичности? Дух справедливости? Или процедурная сторона?

- Можно ли игру "Окружное предвыборное собрание" квалифицировать как способ диагностики нравственных состояний общества? Такая игра - что это для ее участника: способ освоения роли избирателя или отработка инструмента власти для манипуляции выборами? Какова с точки зрения этики мера ответственности выборщиков: определение оптимального числа кандидатов, или следует делегировать выбор самим избирателям?

Для этического сообщества тех лет важнее был сам прецедент такой “экспертизы экспертизы”. И рассчитывать на рефлексию коллег можно было, разумеется, прежде всего с точки зрения *общеетического* подхода, еще мало связанного с проблемами собственно политической этики. Тем не менее, в наших рассуждениях о политическом этосе современности эта рефлексия выступила определенным стимулом.

Глава четырнадцатая

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЭТОС НАКАНУНЕ ПЕРЕМЕН

Вводные замечания

На рубеже 90-х годов перестроечные процессы стали захлебываться под воздействием собственных противоречий. Еще не начался распад политической системы страны, а о радикально-либеральных экспериментах лишь начали - и весьма робко - рассуждать. И все же “Эпоха поздних прозрений” (Ю. Левитанский), эпоха “бурь и натиска” шла к своему завершению. Развитие гласности, демократизация политической сферы уже изменили общий фон и обстоятельства в стране. Патерналистская система государственного социализма уже была основательно расшатана и - вполне возможно - опиралась разве что на действие инерционных факторов. Политический режим с трудом сдерживал в “разбуженном обществе” демократическое обновление, хотя оно и протекало волнообразно, рывками, импульсивно.

Перестроечное руководство, реформаторы стремились соединить политические преобразования с экономическими, однако синхронность перемен не была достигнута и даже вероятность их продвижения параллельным курсом была незначительной. Этому препятствовали ожесточенное сопротивление консервативных сил (которые брали верх в правящей партии и тем самым обрекли ее на полную деградацию) и явное нежелание общества платить высокую цену за реформирование именно экономической и социальной сфер в первую очередь. Разумеется, речь идет не о всем обществе, но о доминирующих ориентациях. Их называют “потребительским индивидуализмом” или “безличностным индивидуализмом”, и они не были способны служить массовой социальной опорой либерализма, утверждению посткапиталистической социализированной экономики. А это вело к потере темпа реформ, к стратегическим проигрышам. Как вспоминал М.С. Горбачев, действовал “эффект тайги”, когда “наверху шум, а внизу все тихо”.

Становилось все яснее, что без перехода от централизованно управляемой экономики к “включению” рыночных механизмов стране дальше не продвинуться по пути реформирования. Смещения в экономической сфере и в соответствующем сегменте общественной нравственности легче обретают массовую поддержку и способствуют тем переменам, которые уже произошли в политическом этосе. Необходимо было ограничить возможность откатов на исходные позиции и рецессий в данном процессе (первые признаки “ностальгических запоев” обнаружили еще до 1991 года). При этом следовало учитывать, во-первых, сочлененность экономических и политических сегментов общественной нравственности и, во-вторых, учитывать разновременность процессов разрушения, вытеснения ценностных представлений периода застоя и созидания новых нормативных представлений.

Этими общими соображениями мы руководствовались, когда проектировали консультативный опрос экспертов “На пути к гражданскому

обществу: нравственные оппозиции” [6]. Цель опроса - характеристика восприимчивости (невосприимчивости) духовно-нравственной ситуации в обществе к обновлению.

Три задачи стояли перед нами. Во-первых, диагностика конфликтного состояния общественной нравственности в ситуации перехода к рынку, трактуемой нами как ситуация морального выбора. Во-вторых, прогноз возможностей и путей выхода из этого состояния. В-третьих, обсуждение идеи консенсуса, формирование системы необходимой рациональной аргументации для обеспечения диалога конфликтующих сторон по отношению к проблеме моральности рынка в целом.

Конкретные этапы работы, предложенные нами экспертам: а) экспертная оценка системы ценностных суждений “за” и “против” рынка; б) дополнение набора ценностных суждений как в группе “рынкофилий”, так и в группе “рынкофобий”; г) выяснение мировоззренческих оснований той и другой системы ценностных суждений; д) классификация нравственных конфликтов в современной ситуации; е) определение возможного поля консенсуса между рынкофобическими настроениями и аргументацией в защиту рынка.

Работа над первыми четырьмя этапами осуществлялась с помощью предложенной экспертам таблицы, в которой моделировался набор типичных ценностных суждений против рынка и за него. Работа над этапом “д” осуществлялась с помощью предложенной для экспертизы типологии конфликтов. Реализация последней задачи опроса (этап “е”) предполагала высокую степень самостоятельности экспертов в консультировании алгоритма консенсуса, предложенного нами в качестве механизма организации диалога сторон.

Наконец, о нашем способе работы с экспертами, с их материалами и о способе предъявления полученных результатов. Мы избрали в проекте метод консультативного опроса экспертов, в котором публикация их текстов имела самостоятельное значение. Поэтому в данной главе мы прибегли к нарративному изложению экспертных оценок в их логико-структурной последовательности.

И на стадии разработки “анкеты для эксперта”, и на этапе нарративного анализа мы исходили из гипотезы об экспертно-ролевой репрезентации внутри интересующего нас публичного дискурса. Учитывая строгую направленность опроса-консультации, мы условно исходили из приоритетности внутри социально-гуманитарного знания следующих экспертных специализаций (научных жанров): философия, социология, этика, психология, филология. Кроме этого, были представлены и другие гуманитарные специализации - политология, правоведение, футурология.

В свою очередь, приоритетные научные жанры конкретизировались посредством специфических ролевых функций. В частности, этическая экспертиза представлена такими ролями, как Моральный Философ, Историк Этики, Этик-Теоретик, Этик-Аксиолог, Моралист. Психологическая экспертиза задана ролями: Психолог, Психолог-Публицист, Социальный Психолог,

Психолог-Педагог. Социологический ролевой репертуар был таков: Социолог-Теоретик, Социолог-Эмпирик, Социальный Историк, Урбано-Социолог. Роли в философской экспертизе: Культуролог, Методолог, Социальный Философ, Философ Права. Филологическая экспертиза: Литературный Критик, Журналист. Иные роли: Правовед, Политолог, Публицист, Экономист. Разумеется наша классификация не исключала “набегов” экспертов на соседние (и даже совсем “чужие”) территории.

Избранный подход позволяет, на наш взгляд, рассмотреть материалы консультативного опроса экспертов еще и как предмет работы для читателя, взявшего на себя нелегкий труд эксперта, что, в свою очередь, дало нам основание включить в эту лекцию не просто готовые результаты, но и рассказ о процессе их созидания, а заодно и демонстрацию “строительных лесов научной теории”, которую еще предстоит создать.

Материалы экспертных суждений и их анализ разбиты здесь на три этапа, соответствующих названиям следующих ниже трех фрагментов главы. Каждый из них начинается с текста анкеты, обращенного к экспертам.

“Рынкофилы” и “рынкофобы”: программа опроса

Первый этап опроса предлагал вниманию экспертов материалы предварительной диагностики обыденного морального сознания в его отношении к рыночной экономике. В соответствующей таблице были даны характерные для современной лексики *ценностные суждения* носителей двух условно выделенных нами идеализированных позиций - “рынкофобов” и “рынкофилов”. Их полярность отражает, на наш взгляд, реальность раскола в моральном сознании общества, дух нетерпимости и недиалогичности, интонации и методы идейно-нравственного противостояния.

Ценностные суждения против рыночного общества (“рынкофобия”)

Рыночное общество основано на идее “всеобщей полезности”. Оно ставит знак равенства между Добром и Пользой, при их конфликте побуждает делать выбор “в пользу Пользы”. Тем самым беспринципная сила расчета оставляет Добру жалкий удел быть бессильным принципом

Ценностные суждения в пользу рыночного общества (“рынкофилия”)

Магистральная тенденция человеческой истории демонстрирует не просто ущербность, но архаичность самого принципа альтернативности выбора между Добром и Пользой. Обвинения против рынка отчасти справедливы относительно периода первоначального

<p>общества чистогана. На долю бесполезного, невыгодного, бескорыстного выпадает лишь равнодушие, в лучшем случае - унижительная жалость. Словом, "принцип пользы" губит совесть, душу человека, иссушает его нравственные чувства. Вовлеченность в рыночную экономику убивает в человеке устремленность к идеалу, духовные начала, тягу к вечности, тем самым заводит его в болото мещанства, мелкобуржуазной обывательщины. "Идеалом" здесь служат "доход", "умеренность и аккуратность", отсюда - крохоборство, мелочные расчеты ("даже нос должен иметь свой интерес, прежде чем он решится понюхать").</p>	<p>накопления капитала и раннеиндустриальной цивилизации. Современная же история показывает, что именно насаждаемое казарменным социализмом "бескорыстие" в первую очередь глушит инициативу, губит душу человеческую, рождая множество форм показного и фальсифицированного бескорыстия. В цивилизованных рыночных отношениях преодолевается кажущаяся несовместимость "Интереса" и "Идеала". Личный интерес все меньше воспринимается как элементарное своекорыстие. С другой стороны, снимается "очарование" жертвенности, аскетизма, ходульного "героического энтузиазма" и повышаются значимость повседневного существования, непреложное достоинство частной жизни. Ориентация на личный интерес оказывается полезной и для всего общества, благоприятствуя - через самореализацию - самосовершенствованию человека.</p>
---	--

Частная
собственность
привязывает к себе че-
ловека таким образом,
что разъединяет его с
другими людьми. Она
порождает
индивидуализм, эгоизм,
ведет к росту
аморализма, подрывает
основы человеческой
солидарности. Даже
если частник и не станет
рантье, выступает как
человек работающий, но
работает-то он лишь на
себя. А потому, пусть
даже и принося пользу
обществу, в моральном
отношении он имеет
подозрительный статус.
Если наше государство
и стеснит
экономическую свободу
частного собственника,
то это столь же мораль-
но оправдано, как и пре-
следование наркомании,
проституции, мошенни-
чества и тому подобное.

“Героями” рынка
являются
предприниматель, ком-
мерсант, бизнесмен, а
вовсе не простой
труженик. Их цель -
богатство, их методы -
“игра без правил”, мо-
ральная

Обвинения частной
собственности суеверно
догматичны. Речь идет
об индивидуализации
собственности, которая
в смешанной экономике
существует в разных и
равных ипостасях: как
общественная (акцио-
нерная, кооперативная и
тому подобное) и как
частная. Только
разгосударствленная и
приватизированная (то
есть обретшая кон-
кретного владельца)
собственность делает
человека независимым,
служит гарантом и
условием его достоинст-
ва: хозяином нельзя
командовать. К тому же
индивидуализм
предполагает сочетание
установок на
самореализацию и сот-
рудничество, служит
противовесом как
стандартному
коллективизму, казар-
менности, так и ме-
лочной бю-
рократической
регламентации.

Предприниматель,
коммерсант, банкир,
менеджер - пассионарии
рынка, их ключевые
фигуры. Но они отнюдь
не мафиози, не
спекулянты, не
“теневики”, не корруп-
ционеры. Требования

вседозволенность. Предприниматель живет по закону сильного, он безжалостен к слабому. Его душа если и молится, то лишь идолам успеха. Его кураж - риск, его улада - победа любой ценой. Стало быть, законы бизнеса - антипод законам морали. Конкуренция - борьба хищников.

Рынок с его обожествлением экономической свободы, несовместим с подлинным равенством, а потому рыночное общество по сути своей антидемократично и антинародно, как бы оно ни маскировалось под "ценности" формальной демократии. Равенство в бедности куда достойнее "свободного неравенства". Народная нравственность всегда выражает классовые интересы трудящихся: не тех, кто гребет прибыль с помощью предпринимательской изворотливости, а тех, кто честно живет на свою зарплату. Мораль - это особая свобода благоденствия, любви и

рынка утверждают непреложные нормы честности, порядочности и доверия в качестве обязательных условий эффективности деловых отношений. А это в целом благотворно влияет на состояние нравов во всех сферах жизни. Конкуренция - воистину суровая борьба, но это "игра по правилам", соблюдение которых бдительно контролируется общественным мнением.

Смысл демократии заключается прежде всего в свободе, а справедливость и уравнительность - не одно и то же. Ведь равенство в бедности неизбежно приводит к кризису общественной нравственности и порождает пороки (массовое воровство, лицемерие, лень, иждивенчество, показуха и так далее). Необходима моральная реабилитация прибыли (которую нельзя сравнивать с наживой) как продукта очень сложного и ответственного труда и богатства, приобретенного по законам правового общества. Бедность, разумеется, нуждается в

<p>альтруизма, а не рыночная “свобода”, которая зиждется на равенстве “эквивалентного обмена” по принципу “я тебе ровно столько, сколько ты - мне”. Именно этот принцип навязывает расчетливую “честность”, вытесняет сокровенную суть морали: доброту без меры, любовь как неэквивалентное воздаяние.</p>	<p>социальной защите (как, впрочем, вся сфера культуры, здравоохранения, фундаментальной науки и тому подобное), но в моральной правовой защите нуждается престиж, статус “сильных” - от подозрений в алчности, от зависти со стороны лживой посредственности, от бюрократической ретивости.</p>
--	--

Рыночное общество ведет к отчуждению. Люди относятся друг к другу лишь как к средству, функции, нарушая тем самым золотое правило нравственности, категорический императив. Однако непреложные законы морали требуют рассматривать человека только как цель. В товарной же цивилизации человек и самого себя привыкает рассматривать как средство, а его себялюбие тоже оказывается односторонним, побуждающим использовать свои силы и способности по бесчеловечным законам рынка.

В рыночном обществе, безусловно, “заложена” возможность отчуждения личности. С одной стороны, недопустимо в одностороннем порядке противопоставлять статус человека как цели практическим целесредственным отношениям. С другой - в развитом гражданском обществе существует множество норм, которые ограничивают функциональные, ролевые отношения между людьми. Это позволяет противостоять тенденции к абсолютизации отчуждения. В таком обществе вырабатываются способы погашения отрицательных последствий функционального подхода к человеку, их морально-психологической компенсации.

Наши заказы экспертам для первого этапа работы (фрагмент анкеты):

“а) просим оценить полноту представленной совокупности ценностных суждений. Мы будем благодарны за все внесенные вами дополнения и коррективы. При этом мы меньше всего ждем от экспертов редакционных, стилистических и даже смысловых уточнений к предъявленным позициям. Нам важнее:

б) дать анализ реальной “силы”, влиятельности того или иного совокупного суждения и связанного с ним образа рынка (антирынка). Мы, разумеется, понимаем неравнозначность сил “фобии” и “филии” в восприятии

их моральным сознанием: “левая” колонка таблицы дана в опыте каждого либо как система догматов, либо через личную осведомленность о ситуации на рынке, в то время как “правая” - почти не дана в непосредственном опыте советского человека и поэтому может восприниматься как сумма “измов”;

в) просим вас также дать комментарий относительно тех ценностных суждений, в которых сфокусированы наиболее острые проблемы современного нравственного конфликта;

г) наконец, последний аспект нашего заказа на этот этап консультации: провести анализ мировоззренческих оснований (идеалов-ценностей-норм), детерминирующих социальное бытие приведенных суждений”.

“Рынкофилы” и “рынкофобы”: анализ экспертных суждений

Как мы и предполагали, одни эксперты буквально следовали поставленной перед ними задаче, другие - не захотели ограничиться анализом “полноты”, “дополнением” или “корректировкой” и взялись за “сверхзадачу” - рефлексию по поводу самих оснований предложенной им оппозиции (прежде всего с точки зрения своих представлений о соотношении морали и рынка) и по поводу способа выстраивания оппозиции.

Со спецификой отечественной ситуации, в обстоятельствах которой формируется как самосознание предпринимателей, так и общественное мнение о них, начинает свои размышления *Литературный Критик* (материалы опроса даются в алфавитном порядке). Отметив “рельефность” и “драматургичность” оппозирующих рядов ценностных суждений, эксперт сразу же пытается заострить проблему, указав на специфику российского бытия и российской духовности. “Хитрость в том, - отмечает он, - что в реальности (в русской, российской реальности, исторической, современной, традиционной) два эти подхода всегда соединяются в бытии каждого человека. Но - тайно, лукаво, непредсказуемо. Скрытно. И в этой скрытности, в этой схороненности концов - вся специфика русской жизни (в отличие от западной - с ее откровенной ставкой на “борьбу всех против всех”, и от восточной - с ее откровенным растворением индивида в “солидарном целом”). У нас - все смешано, сопряжено, подменено, и чем громче кричат сегодня спорщики, разделяясь на “рыночников” и “антирыночников” (на сторонников “свободы” и сторонников “порядка” или “социалистического выбора”, или “научного подхода” - в зависимости от системы фраз), тем хитрее все это сплетается в сознании каждого отдельного человека, на всякий случай готового к любому обороту дела”.

По мнению *Морального Философа*, в наборе ценностных суждений, характеризующих позицию “рынкофилов”, упущено потенциально самое сильное суждение - об эффективности рыночной системы. Эксперт подчеркивает, что этот аргумент наиболее существен не только с экономической, но и с ценностной точки зрения: “Сведение ценностного к моральному... есть выражение ограниченности патриархально-романтического, в частности, социалистического сознания”. Замечание вполне справедливо, если

так резко не противопоставлять редукцию ценностного к моральному и потенциал этико-праксиологической аргументации.

В предложенном наборе *Журналист* нашел лишь один аспект для дополнений. Суть его он объясняет тем, что оценки инноваций связаны у людей не только с конкретными интересами и тревожащими перспективами входящего в их жизнь социального явления, но - порой неосознанно - с привычными для людей профессиональными рекомендациями. Так, граждане, находящиеся под влиянием христианской морали, особенно морали православной, испытывают двойное отношение к рынку. Рынок, с одной стороны, воспринимается как возвращение к христианской морали, благодаря тому, что переход к рынку связан с осуждением тоталитаризма, атеизма и прочими видами зла. С другой стороны, все рыночные отношения имеют отрицательный моральный оттенок, ибо прямо ассоциируются с “торжищем”. По мнению эксперта, известный лозунг “Обогащайтесь!”, выдвинутый в свое время А.Рыковым и Н.Бухариным по отношению к крестьянину, был осужден не только партийными инстанциями, но и массовым религиозным сознанием, ибо легче войти верблюда в игольное ушко, чем богатому - в царство небесное. Это была одна из важнейших реалий, позволивших Сталину безнаказанно провести изъятие собственности у крестьян, то есть коллективизацию.

Вероятно, в этом суждении эксперта выражено не столько дополнение к набору оппозиций, сколько аргумент для решения вопросов третьего этапа консультации, но все же справедливо введение в контекст нравственного конфликта как мотивов, так и аргументов религиозных этических систем.

По мнению *Социолога-Теоретика*, рассуждению о полноте и силе предложенных ценностных суждений, об их мировоззренческих основаниях необходимо предпослать анализ “оснований самих оснований”. Поэтому он считает простительным нарушение “инструкции эксперту”, чтобы поставить вопрос об основаниях отождествления оппозиции “рынкофилия - rynкофобия” с нравственным выбором.

Прежде всего эксперт стремится “обозначить топику, в пределах которой возможно судить о существовании нравственного выбора”. В этой связи предложенная оппозиция являет, с его точки зрения, “не просто общественное мнение о рынке, но парафраз архетипичного нравственного решения: чем руководствоваться в своих поступках - долгом или склонностью”. Поэтому он считает целесообразным еще до рассуждений о степени полноты и силе ценностных суждений “филов” и “фобов” и до анализа их мировоззренческих оснований разграничить “с одной стороны, вербальные и “смутные” образы рынка, бытующие в массовом сознании, где рыночная и антирыночная альтернативы переводятся на язык нравственно-оценочных установок и диспозиций, а с другой - формирование нравственного конфликта внутри каждого из этих типов социальной организации”. С точки зрения эксперта, важен разговор о том, как сам рынок повлияет на генезис и саморазвертывание нравственного выбора. Прогнозируя такое влияние, он допускает, что рынок

“может внести дополнительные aberrации в уже искривленную оптику путем создания настоящих фантомов-фальшценностей”.

Оценивая степень полноты предложенных оппозиций как “вполне достаточную”, *Социолог-Теоретик* предлагает описывать “рынкофилию” и “рынкофобию” не только в терминах идеологем, но и в терминах проективных ситуаций, демонстрирующих выбор стиля поведения в различных “игровых пространствах”. На уровне идеологем, говорит эксперт, все оппозиции снимаются путем разъяснения основных понятий: добро, польза, интерес, делец-пассионарий и тому подобное. Тем самым, подчеркивает он, “снимается необходимость нравственного выбора, который, как правило, дает человеку шанс явить автономию воли, стать свободным и на рынке, и в лагере, и на необитаемом острове”. С этой точки зрения нравственные оппозиции “лучше всего искать в критериях нормативности, принятых в той или иной системе координат, когда осуществляется проекция выбора линии поведения”. В дополнение к предложенным авторами проекта оппозициям он предлагает ввести еще одно измерение, называемое “жизненной” схемой. Так, например, “жизнь человека, руководствующегося эталонами рыночной деловой морали, подчинена жестоким дисциплинарным правилам, соблюдение которых легитимизирует его социальные роли. Эти правила обладают силой внутренних императивов, безразличных к внешним обстоятельствам, и, по существу, являют собой автономную волю, реализованную в “мирском суждении”. Человек должен неукоснительно соблюдать свои обязательства, тщательно калькулировать каждую минуту своего времени, никогда не трата его на пустяки, то есть бесполезно. Каждый отвечает за себя, поэтому нельзя вмешиваться в дела ближних”.

Чтобы дифференцировать этические критерии, эксперт предлагает набор проективных ситуаций. Вот первая из них. “Ночь. На улице - ни души. К пешеходному переходу приближается гражданин “рыночного” типа. Красный сигнал светофора. Автомобилей нет. Что делать?.. Этот хрестоматийно-русский вопрос никогда не возникает у человека, чьи правила жизненной игры сформировались в рыночной системе поведения, потому что рынок - это не просто свободная купля-продажа, а прежде всего неукоснительное соблюдение правил даже тогда, когда, казалось бы, их можно нарушить без всяких последствий. Все равно нельзя. Запредельные вопросы, связанные с последними причинами, здесь отвергаются как нелегитимные. Не положено... Человек же, руководствующийся рефлексиями над вопросом “Что делать?” в плане судеб русской революции и перестройки, даже не взглянет, какой сигнал горит на табло светофора. Этот сигнал для него не значим, значимые иные обстоятельства и императивы: милиционер, “с толпой можно...”.

Итак, в качестве главного измерения оппозиции “рынкофилия-рынкофобия” предлагается оппозиция целерациональной схемы и схемы ценностно-рациональной. “Целерациональность интерпретируется, конечно, по Веберу, как техника, безразличная к моральным ценностям. Поэтому в расколдованном мире технических схем поведения нет и не может быть морали

в том запредельном смысле, когда слова о блаженстве “плачущих, кротких, милостивых...” воспринимаются как подлинные”, - заключает *Социолог* первый этап работы над анкетой.

Очевидная нерасчлененность в тексте всех трех шагов 1-го этапа (“полнота” - “влиятельность” - “мировоззренческие основания”), “примеры”, взятые из любой сферы, - что же “дает” нам этот текст? Во-первых, четкий образ “жизненной схемы” “рынкофила”, заставляющий примерить ее к реальному отечественному этосу и к отражению в зеркале общественного мнения. Во-вторых, актуализирует в сознании читателя-эксперта наши рассуждения о разных уровнях морали и морального выбора, конкретизации норм общечеловеческой морали в сфере этики гражданского общества, нравственном содержании “правил игры”.

Футуролог сравнивает парадигму “рынкофилии” - “рынкофобии” с предложенной им самим альтернативой, суть которой видится ему не в проблеме нравственного выбора “за” или “против” рынка, а “в способе выхода общества из противоестественного состояния реализованной утопии”. Он подчеркивает, что “при реализации утопии рынок во всех его чертах, проклинаемых в представленных суждениях “против”, полностью сохранился, только, естественно, в уродливых, извращенных, большей частью в “теневых” или даже открыто преступных формах; как это и должно быть при любом противоестественном состоянии. Так что все приведенные в анкете суждения, с этой точки зрения, - не более чем проявления эмоций, так сказать, ругань, не относящаяся к сути дела и лишь скрывающая (прикрывающая) стремление одних социальных слоев и соответствующих им политических сил сохранить статус-кво, а других, противостоящих им слоев и сил, - изменить положение в направлении нормализации ненормального общества, дезутопизации утопии”.

Как мы уже говорили, некоторые эксперты поставили себе “сверхзадачу”: подвергнуть экспертизе прежде всего заложенные в анкете представления о соотношении морали и рынка, а также о соотношении рынка и гражданского общества. Так, *Культуролог* определяет свое отношение к предложенным оппозициям следующим образом: “Очень точно и напряженно сведены оппозиции “рынкофобов” и “рынкофилов”. Но только почему и на каких основаниях отождествлены прелести и мерзости рынка и ... гражданского общества?”. По мнению эксперта, именно в их различии и заключается суть дела.

Прервем его размышления и подумаем: что означает “возвышение” до культурологического уровня? Использование материалов консультативного опроса в исследовании отечественного этоса осуществляется нами посредством анализа менталитета *переходного периода*. И авторы проекта, и эксперты рассматривают не абстрактные оппозиции, а реальное состояние нравственного сознания, стремятся уловить и оценить конфликтность ситуации моральной реформации, в которой одним из ведущих субъектов, пассионарием, является предприниматель. Это в его “классовом” (и индивидуальном) сознании происходит внутренняя борьба между “филией” и “фобией”, это ему

приходится постоянно размышлять по поводу собственного этического кодекса и его восприятия в общественном сознании. Можно ли продемонстрировать это материалами экспертизы, проведенной *Культурологом*?

Поясняя проблему различия рынка и гражданского общества, он говорит, что “антитеза рыночных “фобий” и “филий”, о которой идет речь в оппозициях, порождена только внерыночными отношениями и особенно - отсутствием гражданского общества. И “за” и “против”, как ни странно, существуют тогда, когда мы живем в вакууме, в котором пушкинская “тайная свобода” индивида поглощена и разжевана произволом внешнего принуждения. А дальше - в зависимости от личных пристрастий - возникают оценки рынка со знаками “плюс” и “минус”.

Прежде всего эксперт формулирует свою концепцию гражданского общества и его этики. “Сама детерминация рынка или, точнее, общества, в котором индивид - хозяин, собственник своей плоти и воли, сама эта детерминация определяет освобождение индивида от чисто экономического детерминизма. И глубина ситуации - не в рынке (это поверхность, пленка, оболочка), но именно в возможности отделяться от собственных сил и способностей, распоряжаться ими, быть свободным по отношению к самому себе. Такая экономическая детерминация (в сфере “чистой экономики”) создает лауну между свободным и рабочим временем, позволяет вступить в свободные договорные, а не амебоподобные отношения с другим столь же отдельным и свободным индивидом. Возникает пространство собственно гражданского общения. Рынок, рыночные отношения не нравственны и не вненравственны. Это о другом. Нравственны те отношения и те мотивации, и те поступки, которые возникают в свободных решениях и договорах гражданского общества”.

В соответствии с концепцией тождества и различия структур “рыночных отношений” и “отношений гражданских” оппозиция “филий” и “фобий” выглядит иначе. Эксперт иллюстрирует общий “сдвиг темы” от исходных оппозиций следующим образом: «В первой “фобии” речь идет о том, что рынок изгоняет тягу к Вечности и Идеалу, развивает “крохоборство” и мелочный расчет; в первой “филии” говорится об архаичности самой альтернативы Добра и Пользы. Но в контексте “двойного обращения”, присущего гражданскому обществу, все выглядит иначе. В общественном договоре, где причинные связи преобразуются в связи смысловые, и затем в векторе, обращенном вниз, в стихиях рынка смысловые связи вновь превращаются в связи причинные, в таком договорном общении Польза рынка, действительно, не должна иметь ничего общего с Идеалом, а идеал - с Пользой; путать две эти сферы нельзя, невозможно, бессмысленно”.

Но в нравственном сознании свободного гражданина “польза” и “расчет” уходят в нети, а Идеал приобретает форму не ценностного - верх указующего перста, но - тайной свободы воли и творческой сосредоточенности”. Аналогичные изменения должны приобрести и другие оппозиции. “Феноменологически они сформулированы точно и остро, но каждый раз

отсутствует схематизм переключения этих оппозиций через опосредование гражданского общества, и в итоге - оппозиции “рынка-внерыночности” и общества, организованного по схеме военно-партократической. А это, повторяю, не одно и то же. Хотя и “тепло”, но еще не “горячо”».

По мнению *Психолога*, “суждения в обеих колонках роднит стремление обосновать справедливость защищаемой общественной системы, ее соответствие нравственным нормам. Я думаю, что порочным является само стремление к справедливому обществу. Мало того, что концепции справедливости было принесено в жертву неисчислимое количество жизней; именно эта идея лежит в основе тоталитарного государства”. Поэтому, по его мнению, выход из представленной в анкете нравственной коллизии следует искать не в самой дискуссии по поводу отдельных ценностных суждений каждой из сторон оппозиции “рынкофилов” - “рынкофобов”, “а в отказе от самого стремления к справедливому, нравственному обществу. Задача человека - нравственное поведение, справедливость в конкретных ситуациях, в контексте индифферентных к нравственным понятиям, ориентированных на прагматические критерии социальных условий. Нравственные критерии относятся к человеку, отнесение их к социуму легко оправдывает безнравственность самого субъекта”.

Следующий эксперт акцентирует метауровень предмета опроса и рассматривает предложенные оппозиции прежде всего с точки зрения правомерности квалификации их взаимодействия как конфликтной ситуации выбора. “Авторы исследовательского проекта, на мой взгляд, очень точно реконструировали состояние сознания советского общества на рубеже 80-90-х годов и его отношение к рынку: проблема рынка оказалась важной для общественной самоидентификации индивидов, а отношения к ней полярны”, - пишет *Историк Этики*. Однако, признавая “известную ценность сравнительного анализа обозначившегося различия позиций и аргументов”, он полагает, что “нельзя согласиться с тем, что именно выбор среди них совпадает с поиском истины”.

Мы неоднократно приводили свои аргументы по поводу квалификации рынка как внеморального механизма и возможности оценивать предложенные оппозиции в контексте ситуации морального выбора. Поэтому здесь важно предложить, во-первых, дополнительные аргументы для “экспертизы экспертизы”, содержащиеся в рассуждениях автора о деэтизации конфликта “фобов” и “филов” и, во-вторых, критику состояния общественного сознания в переходную эпоху.

По мнению эксперта, раскол людей на сторонников и противников рынка при абсолютной уверенности каждой стороны в своей правоте свидетельствует и о непонимании природы рынка, и о неготовности общества к нему. “Быть “рынкофилом” или “рынкофобом” - все равно, что быть, например “зернофилом” или “зернофобом”, “солнцефилом” или “солнцефобом”. Рынок - это единственная нормальная форма общественных связей между людьми в условиях разделения труда”. Поэтому, полагает эксперт, “сама замкнутость

общественного сознания на проблеме рынка является болезненной, свидетельствует о патологии общественного сознания и служит препятствием на пути к гражданскому согласию. Консерваторы и либералы могут договориться между собой, но “тупоконечники” и “остроконечники” - никогда.

Рассматривая бытующие в общественном сознании оппозиции, *Историк Этики* приходит к выводу, что “и те, и другие основываются на большом количестве несомненных фактов и, расположившиеся симметрично - соответственно на правой и левой сторонах листа, - являются одинаково истинными, как и вообще правое и левое. Когда говорят, что рынок - механизм выявления общественной полезности (производительности) труда, что он стимулирует личный интерес и утверждает достоинство частной жизни, что экономика оказывается процветающей в той мере, в какой она становится рыночной и так далее, то возражать против этого невозможно. Но невозможно опровергнуть и утверждения тех, кто видит в рынке злую силу, соединяющую добро с пользой, дегероизирующую человеческий дух, привносящую в человеческие отношения недоверие, скрытность и так далее. Это приблизительно так же, как если бы кто-то утверждал, что солнце является источником энергии, а другой возражал ему, что оно порождает засуху. Правы обе стороны. Ошибкой (недоразумением, злым умыслом, иллюзией?) является столкновение и сталкивание “рынкофилов” и “рынкофобов” и само существование этих позиций (больше чем позиций - социальных типов)”.

Давая этическую квалификацию этим оппозициям, эксперт предлагает “исходить из того, что стремление к собственному счастью и нравственные обязанности по отношению к другим являются двумя атрибутивными характеристиками человеческого существования”, и на этом основании заключает, что “нравственные оппозиции, предметом которых является положительное или негативное отношение к рынку, представляют собой уродливо односторонние искажения образа человека”. Отсюда следует прогноз: “Можно сколько угодно сопоставлять этико-романтическую критику рынка и его этико-утилитарную апологию, выявлять их вполне очевидные различия и скрытые детерминации, однако совершенно несомненно, что ни одна из этих позиций в конкретных условиях нашей страны не создает духовного пространства для возвышения общества, в том числе и прежде всего для его экономического развития”.

Аналитический подход к противостоящим блокам ценностных суждений, их декомпозиция до уровня реальных нравов и не менее реальных идеалов позволили *Этику-Теоретику* дать критическую характеристику истинности оппозиции “рынкофилии” и “рынкофобии”, вскрыть за “риторическим орнаментом” архаически идеологизированный контекст, привнесенный в полемику из другого оценочного ряда: “прорелигиозные, идеалистические морализации, с одной стороны, и нравственно-правовые утопии средних слоев буржуазии эпохи Реформации - с другой”.

Анализируя конструкцию оценочных рядов, эксперт подчеркивает, что “в морали есть один слой, состоящий из императивов и норм, который люди

должны обязательно обсуждать и обдумывать. Здесь переплетаются общее и конкретное, надуманное и реальное, субъективно-личностное и общественное. К сожалению, в указанных оппозициях этот аспект показан плохо. Но менее всего люди знают самих себя. Поэтому, аттестуя других и восхваляя себя, они скорее всего бывают не точны”.

И еще одно замечание эксперта по предложенным оценочным рядам: рассматриваемые оппозиции не дают информации о том, как ценностная система включается в деятельность. Обращаясь к ценностной системе “рынкофилов”, эксперт полагает, что “сторонники рынка подменяют вопрос о долге “правилами игры” и добросовестным выполнением деловых обязательств, данных обещаний, то есть профессиональным кодексом чести. Они совершенно безоружны в нравственном отношении вне своего корпоративного пространства. Им предоставляется возможность действовать “по закону”, “по экономической необходимости”, по обстоятельствам, по договоренности, “по логике своего капитала”, а также рисковать. Наивно было бы думать, что все эти нормы поведения безупречны с моральной точки зрения, в высшей степени очеловечены и никогда не станут действовать против “человека” во мне или против “человека” в ком-то другом”.

Приняв “правила игры” авторов анкеты, *Социолог-Эмпирик* предложил свою конкретизацию всей схемы консультативного опроса экспертов. Применительно к первому этапу он считает целесообразным противопоставлять “рынкофилическую” и “рынкофобическую” идеологии “по отдельным, образующим их категориальным компонентам так, чтобы в основе каждого лежала одна определенная категория”. Такие компоненты он делит на две группы: а) в основе компонентов лежат категории, используемые в споре обеими сторонами, пусть и в противоположной интерпретации; б) в основе компонентов лежат категории, используемые лишь одной из сторон.

Далее *Социолог-Эмпирик* характеризует те компоненты нравственной позиции “рынкофилов” и “рынкофобов”, которые при категориальном совпадении противоречат друг другу в этическом толковании: “человек как самоцель”, “равенство”, “коллективизм”, “героизм”, “собственность”, “конкуренция”, “расчет”, “рынок”, “прибыль”.

Отвечая на вопрос о степени полноты представленной совокупности суждений, *Социальный Философ* отметил, что “этот вопрос провоцирует эксперта на “экстенсивный подход” к задаче, тем более что априорно можно считать любой список ценностных суждений неполным”. Отказываясь идти по этому пути, он обращает внимание на “принципиальную неполноту” самой дихотомии “люблю - не люблю рынок”. Неполнота этой дихотомии в самом способе ее образования - через отрицание. Когда речь идет о ценностных суждениях, позиция отрицающего более ущербна, неконструктивна, чем позиция утверждающего. Поэтому, с точки зрения эксперта, предпочтительнее дихотомия, у которой обе части позитивны. “Современная наша экономика - не чистый лист, на котором предстоит писать “люблю” или “не люблю”. В ней уже действуют определенные правила (назовем их “план”), и есть люди, которым

эти правила нравятся. Но есть люди, которым нравятся другие, рыночные правила. Значит реальная дихотомия: “планофилы-рынкофилы”, а то, что те и другие еще и “фобы”, - вторично”.

Целесообразно коротко прокомментировать убедительное рассуждение эксперта. “Неконструктивная дихотомия” взята нами из все той же речевой практики. Именно эту практику мы стремились сделать предметом экспертизы (иной вопрос - несоответствие морального сознания стандартам научного мышления), оставляя иные возможные конструкции, в том числе и те, которые возникнут в процессе консультативного опроса экспертов, для дальнейшей работы.

Между тем *Моралист* отмечает, что говорить хотя бы об относительной полноте представленных в анкете ценностных суждений трудно не только из-за обилия в речевой практике “соответствующих идеологических клише”, но в связи с явлениями “своеобразного бриколажа” в современном отношении к рынку - “когда различными семантическими средствами обслуживается уравнивающая их на более глубоком уровне общая “антирыночная интенция”. По его мнению, при анализе ценностных суждений по поводу рынка важно учесть, что современник, испытывающий легко объяснимое недоверие к понятиям типа “социалистическая идея”, “коллективизм” и тому подобное, тем не менее зачастую хватается за них, чтобы прикрыть безотчетное, глубоко укоренившееся отвращение к рыночной организации жизни... Понятно, что наличие такой настроенности составляет часть ценностных суждений о рынке принципиально открытыми: подвернуться под руку может все, что угодно, вплоть до отсутствия у адептов должного патриотизма и тому подобное”.

Следующий шаг в работе экспертов над первым заданием - характеристика влияния того или иного ценностного суждения и связанного с ним представления о рынке.

Учитывая неизученность социальной структуры нарождающегося гражданского общества, *Журналист* предложил в качестве способа организации своих оценок выделить “знакомые типы” - известные по художественной литературе, по расхожим политическим оценкам образы, не требующие детального описания и выступающие как целостные модели. С помощью такого приема он предпринял попытку оценить влияние в тех или иных слоях общества идей “рынкофобии” и “рынкофилии”, анализируя каждый ряд противостоящих ценностных суждений.

Оппозицию № 1 он назвал “имени Чернышевского” - тезисы обеих сторон достаточно полно обсуждались в романе “Что делать?”, хотя и в несколько иных терминах, характерных для философско-политического словаря эпохи XIX века, где польза и чистоган подменялись понятиями эгоизма, а оппонирующие - “разумным эгоизмом”. По мнению эксперта, обе позиции широко распространены в слоях технической интеллигенции, впитавшей эти понятия на уроках литературы. Характерное противоречие этой позиции: распространенность и влияние велики, но не в конкретных действиях: при выборе между “пользой” и “не пользой” все моральные соображения отходят на

второй план. На поверхности общественного сознания моральные понятия этого рода появляются лишь в дискуссиях, в письмах в газету и тому подобное. “Если расценивать силу и влияние оппозиции № 1 в менталитете нарождающегося общественного сознания, то я бы оценил их на сегодняшний день в 4 балла (из 10 возможных).

Оппозиция №2 чревата конфликтами нравственного порядка. Дело в том, что “роль так называемых абсолютов сегодня преувеличивается почти бессознательно: до сих пор они просто замалчивались, но за последние пять лет сделались как бы гражданской жизнью общества. Тяга к вечности, к высшим духовным началам, к абстрактным идеалам противопоставляется всем иным интересам и устремлениям, снижая нравственную ценность последних”.

Оба суждения второй оппозиции, по мнению *Журналиста*, распространены в одном и том же слое людей, который “можно приближенно окрестить как современных потомков незабвенного Лоханкина, не добравшегося в гимназии до физики Краевича, но уже перелиставшего пудовые тома “Мужчины и женщины”. Представляется, что “именно слой городской интеллигенции, ощущающий себя как бы дворянством по отношению к выходцам из села, одержимым карьерой и современным бизнесом, создаст со временем один из самых серьезных нравственных конфликтов. Причина в том, что суждения правого ряда оппозиции кажутся сомнительными и частенько опровергаются фактами обыденной жизни”. Этой оппозиции эксперт дает оценку 8 баллов.

Оппозиция №3 рассматривается им как наиболее сильный конфликт и оценивается в 10 баллов. Здесь заложен “наиболее взрывоопасный участок формирующейся новой нравственности, здесь будет проходить скрытая, более того, тщательно скрываемая от посторонних глаз зона разрыва с нравственностью “рынкофобии”. Причина в том, что масса слабо прислушивается к аргументам “правого ряда”, а реальность сняла с человека защитную форму коллективизма и не дала ему никакой социальной защиты в нарождающемся новом обществе. По мнению эксперта, “этот конфликт будет затяжным, растянется на несколько поколений. Его социальный слой ясен: это наша бюрократия, рабочая и колхозная аристократия, учительство, школа вообще (в том числе и высшая)”.

Оппозицию № 4 эксперт считает ориентированной на сознание малоквалифицированного слоя, ибо и при тоталитаризме, и при рынке он страдал и будет страдать от эксплуатации и собственной неразвитости. “И пока этот слой существует, пока он широко представлен в социальной структуре общества, нравственный конфликт здесь неизбежен. Причем конфликт суровый, жестокий, который должен быть оценен, полагаю, в 7 баллов”. Оппозиции №№ 5 и 6 оцениваются экспертом как близкие к нулю.

Футуролог акцентирует не столько социально-нравственные, сколько социально-политические основания влияния различных ценностных суждений, которые находятся в простом “черно-белом” противостоянии по отношению к рынку. В такой предельно упрощенной схеме, отвлекаясь от

взаимопереплетений и внутренней противоречивости, он выделяет четыре социально-политические силы.

К вопросу о реальной силе тех или иных ценностных суждений *Психолог-Публицист* подходит с точки зрения приоритета свободы личности. Он взвешивает “антирыночные” и “рынкофильские” настроения не по критерию “большинство-меньшинство”. “Поскольку, - рассуждает он, - свобода человека является самодовлеющей, с несвободой не следует особенно считаться. Я понимаю, что эта мысль звучит недемократично, но проблемы личности... не решаются большинством. Абсолюты нельзя ставить на голосование. Если один фермер хочет взять землю в собственность, - он должен иметь на это право (других никто не заставляет). Немыслимо проводить референдум среди питекантропов по вопросу, хотят ли они становиться людьми. Столь же немыслимо ставить на голосование вопрос: не желает ли наш народ в полном составе отправиться в сталинские лагеря? Даже если желает - этого не должно быть, и невозможна сама постановка такого вопроса. Но точно такая же нелепость - решать большинством голосов вопрос о рынке, об экономической самостоятельности производителей”.

Из этого вытекает и ответ на вопрос о реальной силе предложенных на экспертизу ценностных суждений. “Не следует преувеличивать силу “антирыночников”, так сказать, “снизу”. Категорические противники рынка, как правило, - лица социально пассивные и обществу, прямо скажем, не очень нужные. Консерваторы чаще всего - женщины, пожилые, люмпены, преступники и так далее. Не они делают погоду. (Другое дело - консерваторы “сверху”, те могут быть очень опасны. Но по отношению к ним должны быть и другие методы борьбы.) Вероятно, А.Янов сильно преувеличивает, когда говорит, что наш народ сейчас - “западник”, но в принципе он прав: активная масса народа устала от равенства и предпочитает сытость. С прочими на каком-то этапе можно не считаться”.

Высказывая свое суждение о самой острой “болевой точке” конфликта “рынкофилов” и “рынкофобов”, *Социальный Психолог* замечает, что был готов “включиться в эту увлекательную игру и придумать еще целый ряд “за” и “против”, однако задача репрезентации нравственного сознания общества требует от экспертов-гуманитариев вспомнить, что представленные ценностные суждения отражают спор скорее о рынке, ставшем, осуществившемся, как это прежде всего видно в позиции “филов”. По его мнению, в нашем обществе “на первых порах (а это в масштабах одной человеческой жизни отнюдь не кратковременный период) рынок может быть только нецивилизованным (и это вовсе не специфика нашей страны, а общая закономерность). Поэтому и аргументы “против” будут иными. Добро и Польза действительно не противоречат друг другу в системе развитой рыночной экономики, но противоречат, и довольно резко, на этапе перехода к ней. Думается, исходной противоположностью являются все-таки не ценностные противоречия “фобов” и “филов”, но противоречия двух сфер - нравственной справедливости и

экономической эффективности, а самой “болевой” точкой будет такая категория нравственного сознания, как справедливость”.

Конечно, аргументы “рынкофилов”, обращенные к “светлому будущему” рыночной экономики, не могут быть достаточными. Правда, и “рынкофобские” настроения нуждаются в конкретизации своей критической направленности, чтобы не свестись к критике “рынка вообще”. Но что более сложно в научном плане, это категорично определить конфигурацию ценностей гражданского общества, их отношения между собой. Во всяком случае, вряд ли какая-либо из ценностей будет все время занимать одно и то же место.

Завершающий шаг 1-го этапа работы экспертов - анализ мировоззренческих оснований ценностных суждений. И трудность выявления “собственно” мировоззренческого уровня исследования, и сопряженность разных аспектов анализа в одном и том же тексте экспертов, которые не всегда следовали за алгоритмом анкеты, проявились достаточно сильно.

В качестве материала для коллективной рефлексии *Психолог-Педагог* предложил сравнительный анализ базовых ценностей, который призван помочь и в диагнозе, и в прогнозе трудностей переходного периода, связанных с конфликтом “рынкофобии” и “рынкофилии” - базовых ценностей, сконцентрированных в “культуре полезности” и “культуре достоинства”. Он отмечает, что “общество не выйдет из кризиса, если не осознает со всей отчетливостью и болью, что наша культура - это “культура полезности”.

Поясняя эту оценку, он говорит, что мозаику культур в ходе истории человечества можно условно расположить у двух полюсов - полюса полезности и полюса достоинства. Первая характерна для безликой общественной системы, в которой люди оцениваются - как муравьи в муравейнике - по своей служебной функции, способности стать винтиком безликого механизма. “Культура, ориентированная на полезность, всегда стремится к равновесию, к самосохранению, всегда озабочена тем, чтобы выжить, а не жить. Ее единственная цель, прикрываемая тем или иным благостным идеалом, - воспроизводство самой себя без каких-либо изменений.

Иное дело - культура, ориентированная на отношения достоинства. В такой культуре ведущей является ценность личности человека, независимо от того, можно ли получить от этой личности что-либо для выполнения того или иного дела или нет. И именно культура достоинства гораздо более готова, чем культура полезности, к преодолению социальных катаклизмов, выходу из кризисов в драматическом процессе человеческой истории”.

Интересно объяснение экспертом особенностей той слепой веры, источник которой - в административно-командной системе тоталитарного государства. Сердцевиной этой веры он считает “бегство от принятия собственного решения, от личностного выбора в ситуациях, жестко регламентируемых командами центра, и неприятие права других на выбор”. Суть эффекта “выученной беспомощности” заключается в том, что “человек, раз за разом убеждающийся в неподконтрольности ситуации, в невозможности изменить своими действиями ход событий, в конечном счете вообще

отказывается от поиска. Неотъемлемыми чертами его характера становятся послушность и исполнительность, беспрекословное выполнение приказов. Он уже сам стремится избежать жизненных перемен, так как они сулят неизвестное, вынуждают к поиску, а поиск атрофирован”.

По мнению *Этика-Теоретика*, “в нынешней морали и ее фонограммах зияет мутная бездна на том месте, где должны быть гражданские идеалы и общезначимые цели. Их нет. И это трагедия для людей, которая бросает их либо в сторону пессимистической медитации, либо в сторону мелочных сует... Сторонники рыночных отношений полагают, что общезначимые цели складываются как-то сами собой, в конечном итоге взаимодействия самостоятельных индивидов. Им не страшно от того, что эти цели пропали из виду... Подход, который хорош и эффективен в борьбе за личное существование, совсем не годится для “существования в Истории”, то есть в сфере высших человеческих устремлений. Человеческие проблемы могут решаться на базе личного интереса лишь до какого-то момента, после чего индивид должен ориентироваться на другие ценности и исходить из других мотивов. Личный интерес не может обеспечить моральное совершенствование.

“Противники рыночных отношений, - продолжает свою аргументацию эксперт, - некорректно высказываются о моральном идеале. Они грешат абстрактностью. Недостаточно сказать, что добро превосходит пользу, а принцип добра отличается от принципа полезности, что идеал есть некоторая духовная, возвышенная сущность. Идеал и добро - не просто слова, обозначающие самое высокое состояние моральности, ее апогей и местопребывание. Такой идеал только прикрывает нравственные конфликты в обществе, усугубляет морализаторство. В живой речи употребление поучительного тона и абстрактных понятий считается почтенным делом, но при ближайшем рассмотрении эти риторические упражнения отдадут бессмыслицей. Необходимо раскрывать содержание определенного морального идеала, ставить его в политический, экономический, социальный, эстетический контексты, переводить на язык практической морали, императивов действия, разъяснять этапы его осуществления и возможные затруднения”.

Моралист специально выделяет наиболее острые грани нравственной ситуации вокруг рынка, связанные с мировоззренческим обоснованием “рыночных” и “антирыночных” ценностных ориентаций. По его мнению, альтернативность Добра и Пользы “полагает именно “рыночное”, ориентированное на пользу сознание, но отнюдь не нравственное чувство современного человека, корреспондирующее с целостностью нашего присутствия в мире. Связь идей свободной жертвенности и Добра в какой-то мере компрометирует история XX века, но и в наши дни ее заново утверждает двухтысячелетнее христианство, которому не откажешь в том, что оно относится к “магистральной тенденции человеческой истории”.

Особое внимание эксперт уделяет анализу “права сильного”, “сильной личности”, как нуждающейся в особой защите. “Мало того, что эта идея - антихристианская по своему существу, в нашей социальной среде еще слишком

ощутимо присутствие “сильного человека” совсем иной, нерыночной формации, который также имел до недавнего времени прекрасную социальную защищенность. Вообще роковым парадоксом всей нашей системы изначально явилось то, что, беспощадно подавляя человеческую индивидуальность, она в “лучших” нищегорьковских традициях всегда проповедовала мораль “сильной личности”, всегда возвышала силу и “сильных мира сего”.

Среди наиболее ярких мировоззренческих черт антирыночной ориентации *Моралист* выделяет традиционалистскую систему ценностей. Он отмечает, что в России требования возродить органические формы общественных связей и натурализации экономики связаны с апелляцией к “народному духу”, традициям крестьянской общины, ценностям православной духовности, “препарированным с неоязыческих позиций современного национал-шовинизма”. И наряду с “насаждением индивидуализма”, основные нравственные изъяны рынка усматриваются “в некоей “антинародной” хитрости, избыточной рассудочности, всякого рода “гешефтмахерстве”. Вместе с тем, как показывает опыт демократического движения в нашей стране, наиболее естественно рыночная ориентация вписывается в последовательно гуманистическую систему взглядов, приоритетом для которой выступают неотчуждаемые права и свободы человеческой личности”. Существенные особенности современного подхода к рынку связаны с “утверждающимися ныне глобальными мировоззрением и моралью”, которые дистанцированы от индивида, однако ориентируют на его собственное нравственное самоопределение и, вместе с тем, учитывают мировой опыт “прохождения через рынок”.

Этик-Аксиолог предлагает анализ структурных пластов морального сознания. Исходная методологическая позиция эксперта заключается в разделении морального сознания на три самостоятельных пласта (сферы). Первый из них - мировоззренческий - он характеризует как наиболее заметный (“вершина айсберга”), а его центральными элементами считает идеалы. Второй пласт - это слой престижных ориентаций, выступающих реальными целями деятельности. Повседневные, обыденные стереотипы поведения образуют третий пласт морального сознания. Анализируя взаимодействие слоев, эксперт сосредоточивает внимание на следующей особенности: “В обычных, “спокойных” условиях функционирования нравственности связь первого (мировоззренческого) и третьего (обыденного) слоев сознания осуществляется в основном через “посредника” (ориентационный пласт). И лишь в кризисных, экстремальных ситуациях наблюдается непосредственное взаимодействие”.

Как оценивается состояние каждого из пластов морального сознания? Состояние первого пласта характеризуется здесь как “эрозия идеалов”, второго - как “разброд в ценностных ориентациях”. “Моральная перестройка” не могла не стать и переоценкой идеалов, мировоззренческих, научных оснований. Такая переоценка привела к незащитности мировоззренческого слоя морального сознания “перед оголтелым, нередко невежественным нигилизмом, переориентировавшим массовое сознание на 180°”.

По мнению эксперта, в этой ситуации в политических целях была использована “внутренне присущая примитивному массовому моральному сознанию особенность - максимализм, непререкаемое деление всего только на “черное” и “белое”. В качестве аргумента для доказательства этого тезиса рассматривается воспринятый с огромным энтузиазмом идеал обладания богатством. “Может показаться, что он органически несовместим ни с социалистической, ни с религиозной нравственностью. Но это не совсем так - по крайней мере, теоретически. Богатство само по себе не является злом, тем более благосостояние, достигнутое личными усилиями, энергией, изобретательностью и прочее. Богатство - это совокупность условий для всесторонней самореализации личных жизненных ориентаций. Но таковым оно становится лишь на определенной фазе своего развития - это конкретная мера количества капитала и качества ценностей, которыми индивид обладает”.

Обращаясь к оценке другого пласта общественного сознания, эксперт подчеркивает, что “ценностно-ориентационный пласт” претерпел за последнее время существенные изменения. Ранее существовали две морали. Одна - пропагандируемая, но не исполняемая - “по труду”, содержала в себе внутреннюю неприязнь к “нетрудовым” доходам (рынок трактовался в значительной мере как “спекуляция”), снижала престиж ряда профессий (торговца, работника сферы услуг и т. п.). Вторая мораль - синекурная - не столько “по труду”, сколько “по статусу” на иерархической, бюрократически-корпоративной лестнице (открыто не пропагандируемая, но всем знакомая и признаваемая). ...Наряду с этими “двумя моральями”, всегда существовала частнособственническая ориентация на богатство (причем практически во всех слоях общества). “Сейчас она захватывает ключевые позиции в “среднем” (втором) пласте морального сознания. Это установка на всемерную, крупную, скороспелую наживу. Свою окончательную форму и нравственно-психологическое содержание эта ориентация еще не выработала. А старые ориентации - подорваны. Результат - нравственный хаос”, - заключает эксперт.

Типология нравственных конфликтов

На втором этапе консультативного опроса экспертов мы сформулировали следующую преамбулу заказа экспертам.

“Вы, наверное, обратили внимание на разнотипность и многоярусность явных и неявных конфликтов в отношении к этике гражданского общества - реакцией на них и явились ценностные суждения каждой из сторон. Представляется, что попытка классификации нравственных конфликтов, связанных с ситуацией выбора при переходе к рыночной экономике, поможет объяснить специфику идейно-нравственной конфронтации в обществе, внести конструктивный стиль в разрешение нравственных конфликтов или, по меньшей мере, придать им цивилизованные формы.

Мы предлагаем для экспертизы и консультирования один из вариантов такой классификации, в котором выделяем три типа конфликтов, возникающих на переходном этапе становления гражданского общества.

1. Конфликт норм и ценностей *моральной традиции*, нравственного опыта “хомо советикус” с характерным для него дорыночным образом жизни, формами общения, правилами делового поведения, с одной стороны, *моральных инноваций*, обусловленных взрывом перемен в отношениях собственности, трудовой мотивации, предпринимательской деятельности, сферах потребления и досуга и т.п. - с другой.

Особый пласт этого конфликта - столкновение идеологизированной морали, этической догматики и современной версии общечеловеческой морали, в основе которой лежат базовые ценности свободы и ответственности.

2. Конфликт *внутри самой нормативно-ценностной системы*, связанной с рыночной экономикой, то есть атрибутивный конфликт этики гражданского общества, который отражает, особенно в переходный период, несбалансированность этой системы (например, конфликт между свободой и ответственностью, индивидуализмом и солидарностью, ориентацией на прибыль и благотворительностью, подчинением кодексам организации и личной инициативой).

Особый пласт этого типа конфликта встроен в процесс конкретизации общечеловеческих норм и правил, так называемых абсолютов, в исторически изменчивый контекст этики гражданского общества, в противоречивый процесс морального творчества. Здесь возникает проблема “нового зла” (моральное отчуждение, фурии частного интереса и т.п.).

Еще один пласт - конфликт в так называемых пограничных зонах этики гражданского общества с политической этикой, этикой семейно-бытовых отношений.

3. Конфликт, обостряющий нравственные проблемы первых двух типов в *ситуации их приложения к историческим, этнонациональным и политическим особенностям нашей страны* (“русская идея”, “особый путь”, регионы “мусульманской цивилизации” и так далее).

Пожалуйста, дайте экспертную оценку предложенной классификации. Если вы ее принимаете - целиком или частично, - приведите, пожалуйста, поддерживающие и развивающие примеры. Возможно, итогом вашей работы станет консультация в виде типологии, построенной на иных основаниях”.

Переходя к материалам этапа опроса, связанного с типологией нравственных конфликтов, сгруппируем их по трем основаниям: а) общая оценка эффективности типологии, предложенной авторами проекта; б) критические аргументы; в) собственная типология, предложенная экспертами. Разумеется, ряд экспертов и на этом этапе консультации проекта не могли уйти от обсуждения оснований классификации.

Социальный Историк сосредоточил внимание на том “трагическом обстоятельстве, что нравственные, этические противоречия, связанные со становлением рынка, имеют в известном смысле антиномический, до конца не разрешимый характер”. С его точки зрения, постановка вопросов в анкете “допускает некоторое упрощение, как бы невольно трактует проблему более оптимистично, чем следует... Становление рынка связано с противоречиями

внутри самой нравственности: дело не только в том, что некий безрыночный порядок допускает неэффективное, но нравственное устройство жизни, а рынок дает возможность, благодаря в том числе безнравственности, добиться эффективности. Дело, мне кажется, в том (возможно, это вообще коренится в человеческой природе), что нельзя целиком осуществить требования нравственности в любой системе - рыночной или безрыночной”.

По мнению *Политолога*, решение поставленных перед экспертами вопросов зависит от того, удастся ли моральному сознанию общества избежать “смены знаков на противоположные”, “простого выворачивания тоталитарного мышления наизнанку”. “Похоже,- замечает он,- что “новое мышление” - это иной раз все же тоталитарное сознание, поменявшее знак. Если раньше считалось, что нравственная экономика не может быть основана на товарно-денежных рыночных отношениях, что нравственность - это нечто более высокое, чем деньги, то сейчас все чаще приходится слышать, что ничего более нравственного, чем деньги, человечество вообще не придумало. Перед нами тот же тоталитарный тип мышления, стремящийся отождествить вечное, абсолютное с преходящим и относительным, или, говоря конкретнее, опять, хотя и на новый лад, отождествить экономику с нравственностью”.

Социолог-Эмпирик излагает свою версию типологии нравственных конфликтов. В лагере “рынкофобов” он выделяет конфликт между позициями неприятия рынка по разным основаниям - позицию “коммунистических фундаменталистов” и позицию “люмпенов”. Во внутренней логике “рынкофилов” он обращает внимание на конфликт между нравственными позициями “торгашей” и “менеджеров”.

В первой “паре” эксперт выделяет характеристику нравов “люмпенов”, к которым относит значительную часть самых разных слоев общества, включая интеллигенцию. Практическая мораль этой категории населения основана на эгоизме, иждивенческих настроениях, враждебном отношении ко всем переменам в своей жизни, а также ко всякому начальству, которое, по их представлению, стремится решить свои и государственные проблемы за их счет, на полном равнодушии к общественным проблемам, нежелании что-либо сделать для их решения”.

“Торгаши” ориентированы главным образом на прибыль и сиюминутную выгоду, всегда готовы нарушить правила и нормы рыночных и внерыночных отношений, для них характерна моральная вседозволенность; осознание временности, непрочности положения порождает тип поведения, связанный с временностью успеха, а потому и лишенный чувства социальной и моральной ответственности.

“Менеджеры”, ориентированные не на прибыль, а на коммерческий успех “как успех свободного и компетентного профессионала”, когда “прибыль является только общезначимой оценкой его профессионального успеха”, имеют высокое чувство социальной и моральной ответственности, заботятся о своей личной репутации и фирмы в целом, стремятся оказать влияние на развитие общества и т. п.

Кроме того, *Социолог-Эмпирик* выделяет “существенные коллизии в нравственном отношении к рыночному обществу ... в отдельных культурных политических группах. Так, переход к рынку ставит моральные дилеммы перед “русской идеей” и близкими к ней духовными концепциями. С одной стороны, рыночная экономика и основанное на ней общество должны быть приняты как альтернатива семидесятилетнему пути России к социализму в условиях тоталитаризма и всеобщей планируемости. С другой - традиция славянофильства, в русле которой развивается “русская идея”, не может принять таких вещей, как прибыль, конкуренция, предпринимательство, которые оцениваются как черты западной, следовательно глубоко чуждой России, культуры”.

Еще одна тенденция внутренней конфликтности - противоречивое отношение к рынку в моральных позициях представителей творческих профессий. С одной стороны, с рынком они связывают свободу творчества, условие соревновательности талантов, - здесь видно, кто чего стоит. С другой стороны, в рынке же они видят среду, враждебную высокому искусству и чистой науке. По мнению *Психолога-Публициста*, авторы проекта точно отметили, что “важнейшим является конфликт между двумя нравственными системами, одна из которых сама внутренне конфликтна”.

Характеризуя “антирыночную” систему ценностей, он подчеркивает, что она “нацелена на бесконфликтность, на образ непротиворечивого человека. В этой утопической системе человек как идеал “легко и свободно” (в теории, разумеется) реализуется в конкретной исторической ситуации, оставаясь там таким же идеалом - “не пачкая рук”. Бесконфликтность этой моральной системы эксперт прямо связывает с тоталитаризмом. “Недаром слово “тоталитаризм” происходит от слова “целостность”. Тоталитарное нравственное сознание целостно, бесконфликтно. Если долг перед государством - то только долг перед государством, и нет никаких ограничителей, и для человека уже нет ни бога, ни семьи, ни истины. Любая нравственная максима, уж если она принимается, то принимается как абсолют и тем самым раз и навсегда снимает с субъекта бремя нравственного выбора”.

В противоположность этому “сами ценности рынка (они же ценности свободы) внутренне противоречивы, ибо рассматривают человека и как существо конечное, стремящееся к конкретному результату, к выгоде, пользе - то есть как существо вещного мира, - и, одновременно, как существо бесконечное, существо потустороннего мира, которое в погоне за, казалось бы, преходящими ценностями только и может реализовать самое непреходящее, что в нем есть, - творческую энергию, активность, инициативу, иными словами, то самое начало, которое делает человека Образом и Подобием”.

Противопоставляя свободного человека тоталитарному, эксперт отмечает, что социум свободного человека не целостен, ни одна из структур, в которые он включен, не подчиняет себе другие, поэтому такой человек находится в постоянном внутреннем конфликте. “С точки зрения интересующей авторов опроса в первую очередь этической системы рынка можно представить себе

целый ряд перманентных нравственных конфликтов. Возьмем, например, бизнесмена: конфликт между сиюминутной пользой и долговременным успехом толкает на противоположные стратегии поведения; конфликт между свободным включением в торгово-промышленный процесс и необходимостью подчинения этому процессу (иногда настолько, что поведение становится вынужденным, детерминированным, теряется возможность хоть как-то использовать для себя получаемую прибыль и так далее)”.

Социальный Философ полагает, что предложенная авторами проекта типология конфликтов “достаточно логична”. Это относится прежде всего к конфликту моральных традиций и инноваций, являющемуся, по мнению эксперта, в настоящее время основным. Что касается конфликта внутри становящейся ценностной системы гражданского общества, то он предлагает учесть многовариантность этого общества. Так, “если утверждается общество со смешанной экономикой, то ее различные секторы будут представлены отличающимися подсистемами ценностей, отношения между которыми будут иметь конфликтный характер”. Эксперт полагает, что в последнее время начинает преобладать третий тип конфликта, обусловленный культурно-историческими особенностями страны, и этот тип оттесняет на второй план и даже блокирует основной.

Считая предложенную классификацию конфликтов приемлемой, *Моралист* дает к ней поправку. “Выдвижение внутренней противоречивости “рыночной” нормативно-ценностной системы в качестве центрального, наиболее содержательного момента классификации порождает прогрессистскую иллюзию, согласно которой упомянутой системе остается лишь самосовершенствоваться на основе этой внутренней противоречивости. Между тем мир ныне стоит перед катастрофой, приближенной многолетним пренебрежением к внешним границам человеческой деятельности, в том числе и предпринимательской. В связи с этим представляется, что уместнее было бы говорить... о конфликтности интеграции рыночной экономики в целостный мир человеческого бытия и уже в этой связи - о внутренних стимулах совершенствования, свойственных данной системе ценностей. Таким образом, нравственная коллизия рынка предстала бы перед нами в трех измерениях: в проекции на опыт “хомо советикус”, на национальные и культурные особенности нашей страны, а также в общебытийном контексте развития человеческой цивилизации и культуры”.

С одной стороны, важно знать меру, в которой рыночная экономика способна влиять на нравственную реформацию общества, с другой - взвесить меру оправданности сопротивления рыночной экономике со стороны духовно-нравственной культуры как своеобразного “противовеса”. Первые попытки анализа позволяют эксперту говорить, что стимулирующее воздействие рынка на нравственную культуру общества сочетается с известной ограниченностью такого стимулирования.

“В принципе активизм этики и психологии рынка при любых обстоятельствах нуждается как в своем необходимом противовесе в этике

ограничения деятельности и даже отказа от деятельности”. Речь идет о такой этике, где “доминирующей является не деонтологическая, а ценностная модальность, где речь идет об утверждении неповторимых, выходящих за рамки всеобщих определений деятельности, ценностей человечности, природы, культуры. А отсюда следует, что никакой подъем идеологии рынка не в состоянии отменить или сделать менее настоящей противостоящую ей нравственную культуру милости, сострадания, любви, индивидуального человеческого призвания”.

Перейдем теперь к анализу группы текстов, авторы которых предлагают критику типологии нравственных конфликтов, приведенных в проекте. Условно отделенные нами от первой группы, эти тексты объединяет конструктивность отношения к исходной гипотезе.

Не соглашаясь с предложенной в проекте типологией конфликтов, ориентированной на ситуацию перехода к рыночной экономике, *Моральный Философ* полагает, что “социальные конфликты, разверзшиеся в перестроечные годы, это не конфликты “бытия-к-рынку” или “к-гражданскому обществу”, а конфликты, спровоцированные детоталитаризацией, деэтизацией советского общества, его плюрализацией... Это - конфликты, вызванные появлением новых субъектов общественной жизни, идентифицированных этнически и конфессионально. Экономическая “неприкаянность” этих субъектов привлекает их внимание к идеологическим противоречиям, в то время как реальные экономические основы этих столкновений невозможно зафиксировать”.

Конкретизируя свою оценку современной ситуации с точки зрения “дориночной” - но не “предориночной” - ситуации, эксперт считает целесообразным акцентировать в формулировке первого конфликта то обстоятельство, что “с самого начала социалистическая мысль продолжила критику капитализма с позиций, порожденных внеэкономическим мышлением, в этом смысле традиционалистским, архаически-патриархальным мышлением, более того, инфантильными интуициями стихийно-гедонического мышления, противящегося, протестующего против дисциплины, функциональности, взаимности риска отношений, построенных на денежном расчете”.

В характеристике второго типа конфликтов он видит не столько атрибуты системы, связанной с рыночной экономикой, которой еще нет, сколько противоречия, возникающие в процессе предпринимательской активности “в условиях экономики, только начинающей свой переход к чему-то, что должно стать рынком”. Мощное противоречие, которое несет в себе предпринимательство, эксперт усматривает прежде всего в том, что, с одной стороны, “оно является формой интенсивного социального творчества, созидания новых социальных форм”, а с другой - “предпринимательство разрушает старые формы, которые так или иначе всегда персонифицированы, подрывает привычные человеку с детства личные отношения”.

Приступая к характеристике типологии нравственных конфликтов эпохи перехода к рынку, *Психолог* высказывает сомнение в самом понятии “хомо

советикус”. Концепция эта, отмечает он, существует в двух видах - диссидентском и апологетическом (“моральный кодекс строителя коммунизма”). Апологеты режима и их критика сходились в том, что системе все-таки удалось создать “нового человека”. При одинаковых описаниях феномена отличалась лишь оценка качеств - само их наличие сомнению не подвергалось. Но “хомо советикус”, превыше всего ценящий равенство, определенность и безопасность, не умеющий принимать решения, брать на себя ответственность, органически неспособный к жизни в условиях политической и экономической свободы, - это скорее мечта идеологических отделов и кошмарный сон интеллигенции, чем реальность”.

Вывод эксперта: “Нравственные конфликты перехода к рынку имеют не столько советский, сколько общечеловеческий характер”. Первый и второй тип классификации он считает заложенными еще ранним христианством, и человек сталкивается с этой дилеммой в любой экономической системе: взять себе или отдать другому, а переход к рынку только обостряет эти конфликты, делает их более открытыми. В свою очередь, это, “в соответствии с психотерапевтическими принципами, дает шанс на разрешение конфликтов, так как переводит их из подсознания в сознание”. Не имея общего решения, эти конфликты требуют от человека решать их для себя в каждом конкретном случае, но ситуация рыночных отношений, как представляется эксперту, “более способствует честному и открытому решению”.

Третий тип конфликта, “о котором много говорят фундаменталисты в разных регионах страны”, *Психолог* считает “скорее пропагандистской уловкой, чем реальной проблемой”. С его точки зрения, мировой опыт убеждает в сочетаемости рынка со всеми религиями и политическими режимами.

Здесь эксперт затронул тему, которая представляется исключительно важной для понимания политической этики, а также места ценности успеха в ней.

Свои типологии нравственных конфликтов предложили несколько экспертов. Так, *Социальный Психолог* типологизирует конфликт двух моральных систем - дорыночной и рыночной - “по форме и субъекту проявления”. Первый тип - “четкое идеологическое противопоставление двух форм нравственного сознания” (что и сделали авторы проекта на первом этапе консультирования). На этом рефлексивном уровне репрезентируются массовые тенденции нравственного сознания.

Второй тип - конфликты социальных групп. Ссылаясь на то обстоятельство, что рыночная экономика несет обществу не только блага, он предполагает, что противостояние в обществе в первую очередь будет выражаться в столкновении экономических интересов, которые приобретут, однако, моральную окраску, - “ведь человеку трудно признаться в своей неконкурентоспособности на рынке труда, для самооценки проще сослаться на безнравственность рыночной экономики и предпринимательской деятельности”.

Третий тип - внутри индивидуального нравственного сознания. Здесь наблюдается мозаичность сознания, в котором причудливо, а то и

парадоксально сочетаются различные менталитеты. В сочетании несовместимого эксперт отмечает закономерность: “Нравственным признается все выгодное, из внерыночной и рыночной экономики хотелось бы взять “все хорошее”. Так, рынок нравственен, если он обеспечивает широкий выбор товаров, ликвидацию очередей и дефицитов, но все эти товары должны иметь низкие цены и быть доступны всем”. На этом основании он делает заключение о слабой надежде на “мирный” исход нравственного конфликта “рынкофила” и “рынкофоба” даже в одном “отдельно взятом” индивидуальном нравственном сознании - “без серьезных внутренних стрессов, мировоззренческих потрясений, ощущения смыслоутраты и пр.”.

Комментируя предложенную в рамках второго этапа экспертизы типологию, *Публицист* обратил внимание на суть разногласий сторонников и противников рынка: “Сегодня нам выпало еще раз в полную силу разыграть драму, которая с незапамятных времен пронизывает все духовные, нравственные искания человечества. Смысл ее можно передать так: неразрешимый спор двух правд - ну, скажем, правды Дон Кихота и правды Санчо. Нет никаких бесспорных нравственных оснований для того, чтобы одну из них предпочесть другой. Если выбор все-таки делается, то он отражает иные, посторонние для чистой нравственности, влияния: если не грубые экономические расчеты и политические пристрастия, то уж обязательно личные нравственно-психологические склонности”.

Скромная этика контракта

Заключительный этап нашей консультации с экспертами посвящен возможностям сближения позиций, сформулированных на первом этапе, снятия атмосферы нетерпимости и взаимного раздражения, налаживания диалога противостоящих сторон. Предстоял поиск принципов, основываясь на которых, можно преодолеть антирыночные “фобии” морального сознания, его неподготовленность и поэтому неприятие гражданского общества в целом, а также преодолеть рыночную эйфорию, идеализацию бизнеса, обожествление гражданского общества. Сосредоточением внимания на конфликтной ситуации мы меньше всего хотели бы обострить противостояние “западников” и “почвенников”, “инноваторов и традиционалистов”. Трудно переубедить любую из сторон, тем более, если она считает себя единственным распорядителем моральных ценностей. Наша задача - стимулировать фундаментальное мировоззренческое и ценностное обоснование идеи и практики гражданского общества, опираясь на метод, который избавляет участников противостояния от изнуряющего упорства и жажды победы.

Итак, для экспертной оценки и консультирования был предложен алгоритм разрешения некоторых из обсужденных выше нравственных конфликтов посредством снятия взаимной подозрительности, выявления диалогового потенциала каждой из позиций, определения в ней неустойчивых моментов, положений, допускающих трансформацию, всего, что открывает саму возможность налаживания честного диалога. Самое важное здесь -

готовность к признанию формы диалога не менее значимой, чем его содержание. Речь при этом должна идти не о пассивном механическом выборе из заданных альтернатив, а о конструктивном, творческом выборе, создающем новые альтернативы.

Ставя задачу “выращивания” морального консенсуса, мы видели проблему не только организационно-технологическую, но и теоретическую: аналогична ли технология консенсуса *морального* консенсусу *политическому*? Если “да”, следует ли искать точку согласия в “центре” (аргументами “одной лодки” или “баланса сил”) или, понимая неизбежную поляризацию общества, скептически отнестись к потенциалу “золотой середины”? Если “нет”, то какие моральные аргументы сведут за “круглым столом” сторонников и противников рынка, когда каждая из сторон конфликта оценивает другую только в черно-белых тонах?

Как и на предшествующих этапах консультативного опроса, мы обратились к экспертам с конкретным заказом.

“В основе предлагаемых ниже вариантов конструктивного выбора лежит попытка гибкого симбиоза идеалов свободы и равенства, либеральных и демократических систем ценностей. Мотивом разработки этих вариантов служит понимание недостаточности аргументов “логики выживания” (в одной лодке не может быть ни “своих”, ни “чужих” и т.п.) и “обмена полезностями” (с которыми, конечно, нельзя не считаться) и осознание необходимости поиска и нахождения *моральных оснований* решения конфликта.

К фобии “принципа полезности”. Она связана с убеждением противников рыночной экономики в том, что мораль - качество, присущее только им, тогда как у их оппонентов она отсутствует. “Предполье” консенсуса - апелляция к истории. Диалоговым потенциалом обладают прецеденты ранее предпринятых человеческой мыслью попыток морального оправдания гражданского общества, основывающегося на рыночной экономике. Возможно, консенсус в этом конфликте будет стимулирован преодолением ригористического отношения к утилитаризму, прагматизму, персонализму и их этическим системам. И вообще поиск консенсуса требует определить, из каких этических парадигм целесообразно исходить, для того чтобы “наводить мосты” между оппозициями (этика любви, солидаризма, общественного договора, этика долга, пользы, справедливости и т.д.).

К фобии аморализма бизнеса. Возможное поле консенсуса формируется здесь вокруг сюжета о социальной (а не просто технологической или юридической) ответственности. Бизнес обычно ориентировался почти исключительно на прибыль. Однако современная этика предпринимательства и менеджериства, не отказываясь в принципе от этой традиционной ориентации, видит новую ориентацию в социальной ответственности. Соответствующая ей мотивация связана с принципом “собственность обязывает...” (к учету близких и отдаленных последствий предпринимательской деятельности - экологических, воспитательных и т.п.). Смежный - развивающий - сюжет поиска для консенсуса связан здесь с идеей достижения социальной гармонии.

К фобии конкуренции. Здесь возможное поле консенсуса - вокруг темы культурного облика конкуренции. Конкуренция способствует развитию агонального (соревновательного) духа в обществе и тем принципиально меняет его культуру, опираясь на творческое, позитивное начало индивидуализма. При этом в “правила игры” вписана особая этика - этика успеха и поражения в конкурентной борьбе. “Игра по правилам” исключает бесстыдство победителя и унижение (и самоунижение) проигравшего.

Рыночная конкуренция - механизм, который обеспечивает справедливое распределение прав и обязанностей, базовых ценностей в обществе. Конкуренция сохраняет элемент саморегуляции социальной справедливости, стимулирует самореализацию дифференцированных индивидуальных потенциалов.

Фобию можно преодолеть путем обсуждения темы “Конкуренция на основе достижений” - технологических, интеллектуальных, организационных и т.д. Эти достижения ведут к росту общественного богатства и таким путем благотворно влияют на состояние общественной нравственности (повышают роль творческого элемента в трудовой деятельности, снижают агрессивность в межличностных отношениях, расширяют возможности для благотворительности и т.п.). Условия рыночной конкуренции, соревнования за лучшее удовлетворение потребностей потребителя цементируют расшатанную трудовую мораль, ограничивают возможности бесхозяйственности, наживы на ней, влияют на качество продукции и т.д.”.

Заказ принят. И вот об основаниях консенсуса говорит *Литературный Критик*. “В замкнутом пространстве нужно договариваться: европейская ментальность начинается с греческого ощущения равновесия и римского ощущения пределов - эстетика и этика помогают оформиться юридическому обществу, юридическому мышлению. А Русь от века - пространство разомкнутое; договориться можно, но всегда можно и сбежать из “зоны договора” - “с Дону выдачи нет”. Какую критическую массу надо было скопить (и какую империю сплотить), чтобы эта масса перестала распадаться, растекаться, рассеиваться? И какие центробежные силы загнаны внутрь имперским обручем; два-три выхода из норы - это самый невинный вариант спасения в непредсказуемой ситуации, а непредсказуемость - главная черта всех русских ситуаций: и бытовых, и исторических, в этих-то ситуациях русский человек и действует по-настоящему, ставя в тупик иностранцев.

Кто такие русские? - “Те, что здесь смешались”. Русские - это не нация. Русские - это судьба. Те, что не обрусели в этом котле народов, пытаются сейчас “отвалить”, спастись, отбиться. Отсюда и национальный вопрос, совершенно, так сказать, абсурдный и безумный, с точки зрения происходящей во всем цивилизованном мире интеграции хозяйственных и культурных связей. Теоретически - да, абсурдный. Но практически национальная сфера - эта та печень, куда веками сбрасывалось все, что не усваивалось, отторгалось общей “русской установкой”. А установка эта - единство любой ценой. Однако любая

цена - понятие, с рынком не совместимое. Рынок - это разумная цена. Поэтому империя, пытающаяся спастись через рынок, трещит по национальным швам”.

“Вечный диалог или временный консенсус?” - так обозначает предмет своих размышлений *Журналист*. Он утверждает, что поиск аналогии политического консенсуса с технологией консенсуса морального невозможен и практически, и теоретически. Предприняв историко-философский экскурс, эксперт находит у К.Поппера точку зрения, противостоящую мнению о непродуктивности спора между логически противоречивыми исходными позициями, не дающими оснований для диалога. В доводах Поппера он принимает аргументы, относящиеся к принципам научной дискуссии. Но “одно дело научная дискуссия, где спор решается на основе аргументации, иное - следование обычаям, верованиям, традициям. Здесь споры бессмысленны, ибо в аналогичных случаях доверяют не доводам, а чувству, нравственной оценке, позыву души”.

“Технологизируя” свою позицию, эксперт предупреждает, что “не следует ожидать от спорящих смены идеала, надеяться найти в этом споре моральный консенсус (он не существует в подобного рода дискуссиях), но, чутко прислушиваясь к разным идеалам свободы, обществу следует “расценивать требования равенства, либерализации, демократизации и т.п. как второстепенные, где действительно возможно устанавливать консенсусы в сфере ментальности.

“Моральные конфликты, возникающие из “фобий” к “принципу полезности”, “аморализму бизнеса”, “конкуренции” и т.п., действительно возможно устранить путем обсуждения предложенных авторами проекта оппозиций в прессе”. По мнению эксперта, “сама по себе публикация этих оппозиций и обсуждение их открыто, с привлечением ведущих публицистов страны, специалистов по экономике, этике, политологии и культурологии принесут в результате неплохие плоды... Проект, начавшийся, казалось бы, с келейного и очень узкого обсуждения поставленных проблем, может оказать существенное влияние на ход самого формирования гражданского общества в нашей стране”.

По мнению *Культуролога*, “консенсус”, “симбиоз”, “гибкость” и т.п. - это “не из той оперы”. И “фобии” и “филии” возникают тогда, когда отсутствуют гражданские структуры общественного договора - “в зависимости от меры устроенности человека в таком внерыночном социуме”. Кроме того, “выход”, по его мнению, не в поиске “сбалансированности”, гармоничности “рыночной этики”. “Рынок, во-первых, ничего не балансирует, во-вторых, - это вообще, к счастью, не сфера морали или аморальности, это - сфера ...рынка. И все. В-третьих, ...это не сфера “баланса” и “гармонии”, не сфера внеисторического Абсолюта, но сфера предельных перипетий свободного (и ответственного) поступка. Перипетий, исторически определенных и неповторимых и сопрягающихся - как годовые кольца в стволе дерева - в душе каждого человека”. Отсюда следует вывод: “Для любой нравственности “симбиоз” - это смерть, да еще без права захоронения”.

Задачу третьего этапа экспертизы *Историк Этики* сформулировал следующим вопросом, адресованным прежде всего к себе: “Каковы моральные основания решения конфликта (какие моральные аргументы сведут за “круглым столом” сторонников и противников рынка, когда каждая из структур конфликта оценивает другую только в черно-белом измерении)?”. В поисках ответа эксперт пришел к выводу о том, что “нравственное самоопределение индивидов через отношение к рынку оказывается губительным для нравственности в такой же мере, в какой и для рынка. До тех пор, пока сторонники и противники рынка оценивают друг друга в черно-белом измерении, какого-либо консенсуса между ними быть не может. Но, с другой стороны, в той мере, в какой отношение к рынку осмысливается в этических терминах, это взаимовосприятие не может не быть черно-белым”. Из этого вполне логичен парадоксальный вывод: “Этическое решение конфликта состоит в том, чтобы снять его в качестве этического, развести мораль и рынок как явления, у каждого из которых свои основания и свои сферы функционирования”.

Экономист высказывает настороженность по поводу идеи консенсуса, видя в ней “стремление найти систему или построить ее. Поиски алгоритма разрешения конфликта в некотором роде сходны с поиском философского камня. Всегда, наверное, есть и будут люди, стремящиеся к “надпозиции”, предполагающие за собой способность “видеть целое” и поэтому претендующие на роль учителей жизни. Мне глубоко неприятно стремление свести противников за “круглым столом” и помочь им выработать консенсус”.

А вот первые строки размышлений *Психолога-Публициста*: “Думается, лучше всего начать с самого главного - с проблемы консенсуса и, соответственно, с границ возможного консенсуса. Таковой границей служит понятие личности, ее прав и ее места как ценности № 1. Является ли человеческая личность (единичная, единственная, неповторимая) сама себе целью, или она только средство на пути реализации чего-то более высокого, чем человек - Государства, Идеи, Исторического прогресса и т.п.? Вот в чем вопрос. С нашей точки зрения (точки зрения, принятой в современном цивилизованном мире), высшей ценностью является личность и ее свобода. ...На базе этого возможно согласие или нахождение компромисса по любому вопросу, возможно примирение любых без исключения точек зрения - если, и только если, обе точки зрения признают примат личности”.

Перейдем теперь к группе текстов, в которых содержится конкретная реакция на предложенные авторами проекта варианты снятия взаимных “фобий”.

В целом соглашаясь с предложенным в проекте подходом, *Моральный Философ* считает, что “в обществе всеобщего благосостояния моральный и идейный консенсус даже вреден”, и, таким образом, консенсус необходим не сам по себе, но как условие консолидации сил. При этом предпочтительность метода “круглого стола” перед авторитарными приемами - в процессе

утверждения рыночных отношений - подразумевает в качестве неперменного первого решения такого “стола” запрет на взаимные этические обвинения.

Что касается “фобий” рыночных образов - полезности, конкуренции и т.п., - то они “могут быть преодолены в процессе их конкуренции с образами социалистического коммунизма - солидарности, коллективистской взаимопомощи, безответственности вышестоящих перед нижестоящими”. “Что касается полезности, - отмечает эксперт, - то надо провести различие между полезностью и корыстью, выгодой”. Относительно образа бизнеса он считает необходимым признать, что образ этот, “поддерживавшийся в советской пропаганде, был позаимствован в основном из литературы эпохи свободного предпринимательства конца XVIII - начала XX века; при этом полностью замалчивался смысл антитрестовского законодательства, гибкой налоговой политики, системы социального страхования; наконец, игнорировались идеи политического и экономического либерализма”.

По мнению *Социолога-Теоретика*, “выработка консенсуса - роль скоро она возможна - означает победу целерациональной схемы поведения”. Парадоксальность эффекта такой победы представлена им достаточно наглядно: “Даже сам факт участия “почвенников”, “традиционалистов” и вообще “партейцев” в консенсусе-сделке означает принятие ими этих ненавистных им правил игры”. Не менее парадоксально представляет автор и конструктивную часть такого консенсуса, где “наиболее оптимален диалог об “этике бизнеса” как технике делания денег.

Аргумент заключается в том, что честная игра возможна только при свободном рынке, насыщенном товарами. Тогда начнет выигрывать не оборотистый проходимец, а бизнесмен-профессионал, для которого обманывать невыгодно. Этика бизнеса создается не на пустом месте, а самим бизнесом, конкуренция справедлива при игре без блефа. Однако формирование делового менталитета проходит через коррупцию, девиантное поведение и массовую деморализацию”.

Оценивая гипотезу авторов проекта о консенсусе, *Социальный Психолог* полагает, что предложенный для экспертизы алгоритм разрешения нравственных конфликтов “в действительности представляет собой “уговаривание” “рынокфобов”, дабы противники рыночного сознания ... приняли иную систему ценностей, что, конечно, утопично. Здесь нет никакого творческого синтеза, консенсуса противоположных нравственных позиций, а есть уговоры перейти в иную систему координат. И это не случайно, поскольку консенсуса противоположных нравственных ценностей в принципе быть не может, в отличие от консенсуса политического. Поэтому, на наш взгляд, можно говорить лишь о праксиологии консенсуса, а не аксиологии”.

Но, полагает эксперт, этика и может, и должна повлиять на переориентацию общественного сознания, перестроив свои собственные мировоззренческие основания, так как прежние выступали продуктом идеологии дорыночного общества. Здесь этике предстоит культивировать признание правомочности различных этических систем, “разведение их в

пространстве функционирования (скажем, этика любви - в межличностных отношениях, этика общественного договора - в политических отношениях как основа правового сознания, этика полезности и целерационального действия - в деловых отношениях и т.д.)”.

Не используя понятия “консенсус”, *Социолог-Урбанист* тем не менее показывает способы его достижения, отражающие мнение эксперта по поводу тезиса о том, что рынок и его следствия не даны в непосредственном опыте советского человека. С его точки зрения, “рынок “присутствует” в жизни и сознании нашего общества, но через двойное его отрицание”. Конкретизируя эту мысль, он отмечает, что “советское общество концептуально замыслено и выстроено как отрицание прошлого (дореволюционного) и настоящего (западного) “рынка”, каждой своей структурной клеточкой и принципом полагая их как “свое чужое”, многими своими подробностями настаивая на упрямом желании сделать “вопреки”, пусть даже и в ущерб своим прагматически понятным интересам...”

Негативистский импульс формирования “образа рынка”, разрушая монолитность общественной “рынкофобии”, делает не менее разрушительной и “рынкофилию”, деструктивный потенциал которой явно превосходит созидательный”. Делая вывод о том, что “рыночная ориентация в обществе достаточно устойчива, хотя, возможно, и не в состоянии на равных конкурировать с идеологической догматикой насильственного равенства”, эксперт выдвигает свой “консенсологический” тезис о задаче распрямления рыночной ориентации. Он предлагает развернуть ее “в массовую установку, раскрыть согражданам глаза на то, что рынок, который большинством полагается как возможная перспектива, в значительной степени - реальность их сегодняшнего состояния. Как же все-таки приличнее сказать о веревке в доме повешенного?”.

Психолог, естественно, особое внимание уделяет психологическим аспектам “рынкофобии” как условию углубления консенсологической идеи. Он выделяет ситуации, в которых за искренними обвинениями рыночной экономики в безнравственности стоят неосознаваемые мотивы. “Можно предположить, что в основе неприятия рынка лежит не пресловутая уравнилельная психология, к которой часто обращаются руководители страны в попытках оправдать медлительность реформ, а неуверенность в собственных возможностях прожить в условиях рынка, продать что-то. За этим стоит низкий уровень самооценок и самопринятия, характерный, к сожалению, для многих наших сограждан”.

“Смена образа рынка - преодоление “фобий” прежде всего, - например, когда он представляется обществом сильных людей, в котором страдают слабые, возможна, полагает эксперт, не путем объяснения нравственности рынка (это понятие нерелевантно по отношению к социально-экономической системе), а с помощью тезиса, что “в условиях рыночной экономики государство, страховые системы и общинные связи гарантируют каждому человеку определенный минимум, не бросая его в беде”.

И для самой мотивации консенсологической гипотезы, и для ее “технологического” обеспечения значимы “трезвость” и “грустные выводы” относительно установок на разрешимость конфликтов, содержащиеся в тексте *Социального Историка*. Во-первых, он предупреждает об опасности думать, что “на одной стороне - нравственность, а на другой - эффективность. На обеих сторонах и нравственность, и безнравственность”. Ссылаясь на историю христианской церкви, он напоминает, “что так называемая хилиастическая ересь (представление о том, что можно построить царство Божие на земле, т.е. добиться абсолютной нравственности и абсолютно идеального построения общества) была объявлена одной из первых ересей, одним из первых заблуждений христианства”.

Речь идет, во-вторых, о скептическом прогнозе относительно возможностей науки найти рациональные пути разрешения конфликтов по поводу этики рынка. “Ученый (и политик) может поставить диагноз и показать глубокую, почти неразрешимую противоречивость этих сторон нравственности. Но я не уверен, что возможен рациональный рецепт их решения. Полагаю, что, как бывало до сих пор, человечество решало такие противоречия все-таки с помощью людей, которых мы обычно называем пророками, харизматическими личностями, фигурами, способными внушать здравые этические идеи”.

В свою очередь *Социолог-Эмпирик*, рассматривая возможные пути достижения консенсуса, считает, что аморально культивировать в обществе пассивность, беспомощность, ожидание поддержки. С другой стороны, предпринимательство, бизнес опираются на собственную мораль, которая в мире деловых людей соблюдается достаточно строго. В узком смысле эта мораль предполагает честность, доверие к партнеру, обязательность в выполнении обещаний, соблюдение коммерческой тайны и т.п. В широком смысле этика менеджмента включает представление о своей социальной ответственности, исторической миссии в деле развития общества, его техники, культуры и технологии, заботу о своих работниках.

Разделяя идею морального консенсуса, *Социальный Философ* подчеркивает, что “нельзя потребовать консенсуса, его можно лишь “вырастить”. Отвечая на фундаментальный вопрос “как?”, он полагает, что “по технологии моральный консенсус отличается от политического: в последнем участвует относительно небольшое число делегатов, а в первом - массы людей; в последнем велика роль рациональных аргументов, в первом - участвуют эмоции, верования и другие нерациональные компоненты возможного консенсуса”. Снятие “фобий” обязывает “искать в конфликтующих позициях совместимые, хотя и различные элементы. Они могут оказаться отнюдь не в “центре”, а в любых точках доктрин. Важно показать участникам конфликта, что нередко их позиции лишь кажутся черно-белыми, а, по сути, они - многоцветные и имеют общие оттенки”. И общее замечание: “В выращивании консенсуса нельзя быть ригористами и считать результатом лишь решение конфликта. Успехом будет и смягчение конфликта, введение его в правовые, цивилизованные рамки”.

Вполне соглашаясь с тем, что оптимальным подходом в разрешении конфликта представленных в проекте оппозиций является обнаружение диалогического потенциала “на основе общеприемлемых нравственных очевидностей, не подменяемых штампами современной политической мифологии”, *Моралист* “предпочел бы говорить не столько о “фобиях” (от которых нужно избавляться), сколько о трудностях, связанных с переходом к рынку (которые необходимо распознавать и учитывать)”. Предложенное различие подходов он конкретизирует предположением о том, что людей “следует убеждать не в высоконравственности рынка (тенденция к чему прослеживается в представленных вариантах снятия “фобий”)”, а в том, что других путей действительно нет, что нравственный риск, связанный с переходом к рынку, оправдан, причем сама способность идти на такой риск утверждает определенный уровень гражданской зрелости и сознания человеческого достоинства”. Особое внимание эксперт обращает на то, что “становление рынка и обслуживающих его социальных и идеологических структур оставляет простор для альтернативных нравственных позиций, а в ряде существенных отношений и актуализирует их поиск”.

Для анализа гипотезы морального консенсуса *Социолог-Публицист* предлагает “парадокс Будды”. “Настоящая победа - та, когда никто не проигрывает и выигрывают обе стороны”. Рассматривая этот парадокс как эталон гуманизма в способе разрешения противоречия интересов - и по нравственным соображениям, и по соображениям практической пользы, - эксперт подчеркивает: “Для прошлого и для настоящего этот принцип во многом утопичен, на самом деле действенным он станет, видимо, только в благоприятном будущем, если в жизни человечества воцарятся законы сотрудничества, а не борьбы, вражды. Но чтобы попасть в гуманное будущее, конфликты настоящего надо решать методами такого будущего”. Различая “два лика рынка” - варварский рынок первого этапа и высший, цивилизованный, выросший из начального и уравновесивший его изъяны своими достоинствами, - эксперт полагает, что основанием согласия конфликтующих позиций может стать подход, исходящий из того, что “плюсы рынка можно развивать по настоящему, только нейтрализуя его минусы”.

Методолог исходит из своего стремления “поместить и “этику гражданского общества”, и спор “рынкофилов” и “рынкофобов” в контекст целостной человеческой общности и адекватной ей морали”. Вариант снятия фобии принципа полезности представляется эксперту неудовлетворительным, ибо “в багаже морального оправдания рынка - не аморализм; его аргументы просто вне сферы этики, ибо добро для них - одна из функций полезности, а не самоценность”. Нужна “идея взаимной дополнительности принципов пользы, долга и добра”.

Оценивая варианты снятия фобии аморализма бизнеса, он отмечает, что “социальная ответственность в бизнесе (преобразовательной деятельности вообще) может означать только одно: дополнение юридической, технологической и т.п. ответственности ответственностью моральной,

эстетической, религиозной. Быть в мире ответственным не как в лаборатории, а как в храме. А это уже не просто социальная, но также экзистенциальная и трансцендентальная ответственность”.

Рассматривая предложенные варианты преодоления фобии конкуренции, эксперт задает вопрос: “Конкуренция - вещь полезная, но зачем придавать технологии нравственный ореол?”. Отвечая на этот вопрос, эксперт конкретизирует свою позицию четырьмя репликами.

Во-первых, отмечает он, “игра по правилам” - это категория права, социальной психологии, но не этики. Требования этики здесь такие же, как и везде: честность, отсутствие злорадства, унижения и т.д.”.

Во-вторых, он считает некорректным распределение прав и обязанностей в одном ряду с “базовыми ценностями”. “Базовые ценности - это не блага, а внутренние ориентации выбора”.

В-третьих, саморегуляцию посредством конкуренции эксперт считает хорошей технологией, “но причем здесь мораль?”.

В-четвертых, он считает неубедительным, когда состояние общественной нравственности раскрывается через повышение роли творческого элемента в трудовой деятельности - разве нет аморальных творцов? - и через расширение возможностей для благотворительности - ведь она может осуществляться и не по нравственным мотивам.

Этим текстом мы фактически перекидываем мостик к третьей группе материалов, в которых эксперты предлагают собственные основания для консенсуса и его модели.

Политолог высказывает предположение о том, что “новая духовность будет складываться по линии экологии, которая в наших условиях может сыграть несколько иную роль, чем на Западе”. Речь идет именно об особенности перехода к рынку в ситуации нравственного конфликта. Без личности, предрасположенной к рынку, переход невозможен. Из двух же основных способов формирования такой личности - “или посредством формирования нового духовного уклада рядом с существующим с их последующей конфронтацией, как было в Западной Европе (протестантизм и “протестантская этика”), или путем использования национальных культурных механизмов и приспособления их к требованиям современной экономики (классический пример - Япония)” - выбор пути развития современной России пока прогнозируется с трудом. В этом неопределенном прогнозе ясно наверняка одно: “Культурные традиции большинства наших народов вряд ли можно считать благоприятными для перехода к товарно-денежным отношениям. Скорее наоборот”.

Отсюда и гипотеза об особой роли экологии. “Там экологические ценности (ценности спасения природы и человека как природного существа) выступают альтернативой экономической “одномерности” ценностей общества потребления, основанного на рыночных регуляторах. У нас же нет ни рынка, ни избытка потребления, но есть административно регулируемое хозяйство, которое в принципе не способно справиться с экологическими проблемами и

сохранение которого неизбежно приведет к катастрофе. Избежать этого можно только переходом к экономическим методам хозяйствования, которые, конечно, с экологической точки зрения тоже не безупречны, но с административными - попросту не сопоставимы”.

Правовед полагает, что “для формирования нравственного консенсуса в нашем обществе в любом случае необходимо первоначально добиться общего согласия в вопросе о судьбе социалистической собственности, о принципе ее всеобщей и справедливой индивидуализации. Без такого исходного социально-экономического консенсуса на базе всеобщего правового равенства всех граждан в отношении десоциализируемой собственности все остальные “консенсусы” будут беспочвенными, мнимыми, случайными. Никакая технология, аксиология и праксиология консенсуса - при всей важности в надлежащем контексте - не в состоянии справиться с последствиями неправомерной и несправедливой подмены всеобщей индивидуализации социалистической собственности ее произвольной приватизацией лишь в пользу части собственников”.

Переходя к вопросу о вариантах снятия фобий рынка, он полагает, что “фобии” “принципа полезности”, “аморализма бизнеса”, конкуренции и т.д. могут быть реально, а не мнимо преодолены лишь тогда, когда каждый (а не только некоторые) будет наделен адекватным и действенным механизмом защиты своих интересов в рыночной ситуации и получения своей надлежащей доли от “принципа пользы”, бизнеса, конкуренции и т.д.”.

“То, что предложено к размышлению под знаком “третьего этапа”, заставляет поставить встречный вопрос, так сказать в порядке уточнения: а чего, собственно, мы хотим, чего добиваемся?” - спрашивает *Публицист*. Он видит два варианта. “В анкете выразительно просматривается настрой создать “протестантскую этику-90”. Если, отбрасывая исторические метафоры, речь действительно идет о том, чтобы поспособствовать становлению в обществе нравственного климата, благоприятного для развития рыночных отношений, то это одна задача. Если же, как это следует из других тезисов анкеты, имеется в виду поиск пути к общественному согласию (“консенсусу”), то это уже другое - и цель иная, и средства для ее достижения должны быть, вероятно, иными”.

Эксперт исходит из неизбежности торжества рынка и непереносимости болезненности движения к рынку, общественных распрей, схваток. Поэтому “перед всяким “рыночником” (я из них) стоит очень трудный выбор: либо бросать все силы на борьбу против “плановиков”, “государственников”, доказывая несостоятельность и порочность их линии, либо все-таки воздерживаться от чрезмерного обострения борьбы с ними, сознавая, что дело может обернуться кровью”.

В ситуации выбора находится, по мнению эксперта, и противник рынка. “Объективно ему тоже приходится выбирать между деятельной верностью собственным убеждениям и ограничительными велениями нравственности”. В разработку “правил игры”, способствующих разрешению или, хотя бы, смягчению конфликта, эксперт вносит строгое ограничение “деидеологизации

морали” - в полемику не следует включать доводы, вызывающие к нравственности, - это только подольет масла в огонь. Он видит три опорных камня на стройке “консенсуса”: признание неизбежности рынка, политико-экономическое его оправдание и нравственная критика.

С точки зрения *Философа Права*, “консенсус внутри гражданского общества надо искать преимущественно не в сфере действия морали, а в области права”. Он предлагает искать основу консенсуса через подведение юридического, правового фундамента под общечеловеческие гуманистические ценности. Каковы аргументы? “В массовом обыденном сознании сохраняется вера в них, поскольку эти ценности всегда декларировались в нашем обществе, и рядовой советский человек воспитывался на них с детства. Но в условиях тоталитарного государства идеология “опеки”, превращая его в винтик государственной машины, создавала видимость компенсации в форме “гаранта” его прав, взявшего на себя заботу о благе личности. В атмосфере свободной рыночной экономики у человека появляется чувство обреченности, одиночества и незащитности, что и становится источником агрессивного неприятия рынка. Поэтому правовой фундамент гуманистических ценностей мог бы внести в эту атмосферу подозрительности и недоверия известное успокоение в виде реальных мер социальной защиты”.

Для того чтобы диагностировать и прогнозировать развитие политической этики в переходный период, наиболее важное значение имеет следующий вывод, вытекающий из рабочей гипотезы проекта и ее переосмысления на основе результатов консультативного опроса экспертов: консенсус “рынкофилов” и “рынкофобов” - это и *судьба* страны, и ее *выбор*. Их конфликт не может быть решен по правилам игры “с нулевой суммой”, путем искоренения какой-либо стороны: длительный переходный период к гражданскому обществу предопределяет их сосуществование. Итог же сосуществования и его характер не могут быть совершенно стихийными (“Судьба”), хотя иногда полагают, будто этика гражданского общества формируется исключительно спонтанно. Такой итог и характер подразумевают известную намеренность (“Выбор”). А где намеренность, там и ответственность. Ответственность за конструктивный диалог, за консенсус как способ выращивания ситуации нового выбора.

Глава пятнадцатая

**ПРЕНАТАЛЬНАЯ СТАДИЯ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭТОСА:
РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ**

Заказ и исследовательская гипотеза

События августа 1991 года и последующий вихрь перемен в духовной и политической жизни, соответствующие (хотя и не всегда своевременные) преобразования в политической системе радикально изменили всю обстановку в стране. Что было только расшатано, рухнуло: шлюзов, сдерживающих обновленческий поток, больше не существовало! Во всяком случае, так казалось. В повестку дня был поставлен вопрос стратегического плана: “Что делать?”.

Но либеральный проект коренного реформирования новой политической и хозяйственной системы страны еще не получил своего идеологического обоснования и существовал в виде разрозненных идей, платформ, на уровне предугадывания и предчувствия. Были сделаны только первые шаги преобразования идей, живущих на уровне публицистических сюжетов, в более или менее стройную идеологию радикального либерального экспериментирования. Только позднее выяснилось, что идеология и практика либерализма, отменно “работавшие” на Западе, истолковываются у нас имитационно, скорее в духе вульгарного либерализма, и потому чуть ли не априорно были обречены на пробуксовывание в России (а заодно и в других странах только возникшего СНГ). Еще далеко было (но речь идет - напоминаем - о спрессованном историческом времени) до возникновения альтернативных или консервативно-либеральных проектов реформирования общества, до осознания необходимости скорейшего завершения жесткого экспериментирования над экономическими и политическими структурами страны, до появления национально-государственных проектов реформ и контрреформаторского проекта.

В возбужденной и неуправляемой ситуации в ноябре-декабре 1991 года по заказу Правительства РФ Центром прикладной этики и организованным им временным творческим коллективом была проведена гуманитарная экспертиза вероятных последствий политического решения о либерализации цен. Предполагалось, что это будет первая из цикла гуманитарных экспертиз процесса либерализации в целом, обсуждался заказ на проектирование идеологии реформаторского курса.

Запрос на гуманитарную экспертизу последствий либерализации цен был сформулирован заказчиком в двух аспектах. Первый из них, социально-философский, концентрировался в тезисе о либерализации цен как *первом шаге* в направлении к либерализации экономики, жизни общества в целом. В свою очередь, этот тезис сопрягался с оценкой либерализации цен как “лучшего из худшего”, что могут предпринять реформаторы в сложившихся обстоятельствах.

Второй аспект, организационно-управленческий, фокусировался в тезисе о необходимости срочного испытания эффективности структур, созданных правительством России и, в случае их неэффективности, проведения опережающей управленческой коррекции.

Еще раз: по согласованному мнению заказчика и Центра прикладной этики реализация и того, и другого направлений экспертизы подразумевала, во-первых, ее многошаговый характер, которому анализируемая здесь акция лишь задавала импульс, и, во-вторых, подчинение организационных проблем идеологическим ориентирам программы реформ. Игровое моделирование как метод гуманитарной экспертизы рассматривалось как способ “проживания” различных моделей деятельности заказчика с целью стратегической коррекции его программы.

Интерпретация заказа как исследовательской проблемы выразилась в выборе *предметом* экспертизы “правил игры” переходного периода к правовому государству и гражданскому обществу, конфликтологии норм и ценностей взаимодействия субъектов рыночных реформ в ситуации формирующегося политического этоса гражданского общества. В соответствии с замыслом исследовательского коллектива в аванпроекте экспертизы были сформулированы три гипотезы.

Первая - требовала ответа на вопрос о моральной допустимости идеи намеренности в формировании гражданского общества, т.е. известного проектирующего воздействия на самоорганизующийся в нормальных (естественных) исторических условиях процесс, и о конкретных способах ее реализации в деятельности властных структур.

Вторая гипотеза - о возможности и целесообразности самого процесса прогнозирования поведения в условиях либерализации цен не в привычных как для заказчика, так и для большинства участников экспертизы социетальных характеристиках (профессиональных ролях, социально-демографических параметрах и т.п.), а в морально-психологических, этикокультурных идеализованных типах. Предполагалось, что экстремальная ситуация, в которой окажется российское общество после “Дня X”, будет соответствовать двум моделям поведения. И это не “сторонники” или “противники” реформ, “инноваторы” или “реваншисты”, и даже не “рынкофилы” и “рынкофобы”. Массовая ситуация может быть понята путем различения типов “человека рискующего” и “человека, стремящегося к гарантиям и стабильности”, иначе говоря - “людей *игры*” и “людей *порядка*”.

Третья гипотеза заключалась в том, что для реализации идеи намеренности важно знание реального этоса, “правил игры” субъектов рыночных реформ и, что особо значимо, культивирование “честных правил” взаимодействия этих субъектов; способом выявления практикуемых норм и влияния на них является игровое моделирование поведения субъектов и органов государства и гражданского общества.

Игровая модель

Исследовательский коллектив предложил заказчику игровую модель экспертной системы. Три элемента этой системы - “модель региона N”, “экспертный кабинет министров”, “гражданская экспертиза” - являются своеобразными “зеркалами”, стимулирующими и организующими рефлексию заказчика.

Экспертная подсистема “Регион N”, специальный анализ которой дается ниже [7], действовала в условном режиме открытой радиостудии и этим приемом технологизировала заданный игровой фактор - принцип гласности в процессе подготовки решений. Второе условное обстоятельство поведения этой подсистемы заключалось в декларируемом “администрацией региона” намерении визировать все принимаемые решения у научных консультантов - психологов, социологов, этиков. В целом “Регион N” (“администрация”, “советы”, “общественность”, “газеты”) был основным испытательным полигоном, репрезентирующим (напомним, что достоверность гуманитарной экспертизы определяется потенциалом прогнозирования поведения различных морально-психологических и этико-культурных типов внутри обычно выделяемых социологами социально-демографических структур общества) поведение государственных и общественных органов после “Дня X”; именно эта экспертная структура “должна” была совершить возможные ошибки и испытать разнообразные реакции на них.

Подсистема “Экспертный кабинет” не столько моделировала поведение “теневое правительство”, сколько стимулировала экспертную рефлексию, оценочную (в отличие от прескриптивной) функцию. Задача этой структуры на игре - наблюдать за ходом конфликта внутри самого “кабинета” с точки зрения интересов условно выделенных “идеологов” и “прагматиков” в составе правительства.

Структура “Гражданская экспертиза” моделировала идею “гражданского парламента”, модифицированную из оппозиционной политической формы в чисто экспертную, выражающую этико-культурные позиции нарождающихся элементов гражданского общества. Соответствие и представительство в этой подсистеме определялось не личной принадлежностью к какой-либо из структур (“от рабочих”, “от интеллигенции” и т.п.); в модельный парламент входили эксперты по структурам - публицисты, известные своими профессиональными работами по проблемам фермерства, власти, учительства, предпринимательства и т.п. Режим деятельности “Гражданской экспертизы” аналогичен деятельности “Римского клуба”.

Моделирование поведения участников экспертизы концентрировалось в проживании двух ситуаций, конкретизирующих последствия “Дня X”. Первая из них имела название, прямо ориентирующее на гуманитарную проблематику экономических реформ: “Справедливые цены”. Речь шла о предполагаемой морально-психологической реакции на “свободные цены”, на способность государственных и общественных структур соотнести критерии

распределительной и либеральной справедливости, разрешить или хотя бы правильно сформулировать неизбежный конфликт этих критериев.

Вторая ситуация - “Фиксированные цены”. Здесь моделировалось забастовочное движение на предприятиях, связанных с фиксируемыми “сверху” ценами на свою продукцию (прежде всего, на нефтяных предприятиях); особое внимание было уделено вопросу о том, являются ли фиксированные цены данью популизму или же они обусловлены экономической и социальной целесообразностью первого этапа реформ?

В соответствии с разработанным алгоритмом, ориентированным на испытание гипотезы намеренности, первый этап игры был по преимуществу мягко организованным внутренним взаимодействием структур “региона N”. “Чисто” стихийное становление регионального “гражданского парламента” сравнивалось с “чисто” проектировочным способом изначально организованной структуры “Гражданская экспертиза”. (В этой связи важен вывод участников послеигровой рефлексии о том, что заложенный в сценарии контраст между хаосом первого этапа игры и порядком второго этапа не способствует сам по себе повышению эффективности управления. Как и прогнозировалось, этот уровень обеспечивал лишь минимум эффективности соответствующим стандартам командной системы, принимающей оперативные решения, но не был достаточен для стратегического управления, призванного реализовывать социально-философский смысл реформ, ориентированный на взаимодействие государства и гражданского общества. Административный подход к либерализации цен обрекает ее на отрыв от более широкого смысла либерализации общества.)

Обратимся непосредственно к экспертной подсистеме “Регион N”. Исследование региональной модели политического этоса потребовало особых “правил игры”. Ведь задача “Региона N” заключалась в конструировании испытательного полигона, к жизни которого “относились” бы и заказчик, участвующий в игре, и другие экспертные подсистемы. Отсюда и метод ее работы - “эксперимент на себе”. Проверка рабочих гипотез исследовательского коллектива производилась таким образом, чтобы альтернативные решения ориентировались не на эталонный стандарт, но на средний уровень прогнозируемого управленческого потенциала региональных структур власти. Экспертная подсистема и предназначалась для того чтобы, даже совершая возможные ошибки, осознать и исправить их, показывая, хотя бы методом “от противного”, альтернативы поведения различных структур региона и природу политического этоса в условиях либерализации цен.

Из всего многообразия структур региональной модели особое внимание уделялось деятельности именно администрации региона и поведению управленческого корпуса, который принимает решения на местах. Ведь наибольшее число ошибок вероятно как раз в этом звене, да и наибольшее число конфликтных (вполне возможно, что не намеренных) шагов будут совершаться тоже здесь.

Моделируя ситуацию незавершенности формирования новых структур исполнительной и законодательной власти, неопределенности их положения, мы предполагали, что мало кто “на местах” захочет в сложной реформаторской ситуации брать на себя ответственность за решение конкретных вопросов.

Конструируя экспертную подсистему, мы пытались поставить между регионом и центром, регионом и правительством некую “мембрану”, чтобы смоделировать информационные потоки между ними. С этой целью “Администрация региона” часть проблем брала прямо на себя, решая их именно на региональном уровне, другую часть формулировала для “Правительства”, передавая их в компетенцию Центра. Определенную часть своих вопросов “Администрация” намеренно пропускала “наверх” (этот управленческий “прием” использовался из-за физической невозможности освоить шквал навалившихся задач и забот, в надежде затянуть время и отвести удар от себя). Еще одна группа вопросов объективно, из-за нехватки времени и сил, просто повисла в воздухе - их количество не контролировалось “Администрацией” (о них не узнавало и “Правительство”).

Это модельное состояние заслуживает особой рекомендации в случае усвоения “уроков” игры в реальной работе: здесь содержится самая опасная группа проблем, ибо не успевая ни решить их, ни даже делегировать решение другим, региональные политики накапливают критическую массу. Такая ситуация складывалась, например, в процессе работы “Администрации” в режиме свободного микрофона. Конечно, “население” считало, что “Администрация” не хочет слышать их насущные заботы, но не менее вероятна другая причина, удачно смоделированная на игре. Речь идет об ограниченной пропускной способности управленческой системы, в которой не налажены механизмы сбора и обработки информации в условиях, когда процесс подготовки решения открыт.

Стремление прямо выйти “на народ” - точно смоделированный популистский прием, который показал, что настоящая демократия невозможна без создания посредников между “государством” и “народом”, которые компенсировали бы неэффективность нынешних органов представительной власти. Но как только в общение с “Администрацией” включалась региональная “Гражданская ассамблея” - возникший на игре орган общественной инициативы, диалог становился более эффективным (прежде всего за счет уменьшения количества и повышения качества подобных обращений к администрации). При этом сам по себе прием, примененный “Главой администрации” - превращение своего кабинета в “радиостудию”, - целесообразен именно в чрезвычайных ситуациях, требующих особых способов общения власти и народа. Разумеется, необходим и известный опыт диалога для обеих сторон. Другое дело, что без развитых гражданских структур этот диалог может обернуться ловушкой, способной “утопить” благие намерения администрации и породить дополнительные фрустрации населения, в очередной раз обнаружившего декларативность “открытости” органов власти.

Моделирование взаимоотношения региона и Центра привело к выводу о необходимости тщательно разработанной региональной политической системы, специальных “правил игры”. Отсутствие этих правил, которые подразумевают перераспределение прав и ответственности, на деле порождает безответственность региональной власти. Так, в ходе экспертизы “Администрация” получила от “Правительства” прежде всего такие “вводные”, как аварии, “ЧП” и т.п., которые предписывали ей лишь роль “пожарников” и не позволяли действовать в качестве самостоятельных органов власти. Такого рода “вводные” не учитывают наличие у региональной администрации собственного опыта решения проблем (в том числе и в чрезвычайных ситуациях), порождают подозрение в недоверии Центра к позитивному опыту управленцев, накопленному ими на прежних ступеньках карьеры.

Эксперты, моделирующие поведение населения, отметили, что “Администратор” был не просто распят между “молотом” и “наковальней” (властью Центра и своим населением), но больше всего был озабочен неполным доверием правительственных структур назначенцу Президента, давлением “сверху”.

Структура “Администрации” в начале игрового эксперимента строилась тривиально, рутинно: “зам. по экономике”, “зам. по социальным вопросам”, “зам. по связям с общественностью” и т.д. Оказалось, однако, что структура нестандартной ситуации, порожденная либерализацией цен, диктует и нестандартные способы ее решения. В то же время специально смоделированная сценарием игры “кадровая революция” показала ненадежность ставки на включение в аппарат “чистых” теоретиков - они не справились с управленческими процедурами, не смогли взять на себя груз личной ответственности, скомпрометировав при этом саму идею кадрового обновления.

Не случайно, но по логике сценария и по собственной логике игры, в ее финале “Администратор” остался один, без команды, без поддержки населения, поддерживаемый лишь авторитетом назначившего его Президента.

Взаимоотношения администрации и законодательной власти в традиционном варианте распределения функций между ними также обнаружили неэффективность в решении и первой, и второй проблемных ситуаций. И после “Дня X” Совет народных депутатов по привычке продолжал брать на себя заботы, отошедшие к исполнительной власти (заслушивал заместителя администрации, не выработав при этом упреждающих - по отношению к программе мер администрации - законодательных стимулов и санкций, не очертив их условия). Внеочередная сессия Совета состоялась не в процессе подготовки ко “Дню X”, а лишь в первый день либерализации цен.

Вывод-рекомендация экспертов: на следующих этапах либерализации необходимо обеспечить готовность законодательных институтов регионального уровня к опережающему обеспечению каждого реформаторского шага. Особенно важно для Советов помочь администрации удержать позицию последовательного проведения реформ - при всех соблазнах к отступлениям в

популистском стиле под давлением “снизу”. И при всех неизбежных сменах команды администратора поддержать его личный авторитет (до тех пор, пока он из “назначенца” не будет переведен в ранг избранного народом губернатора). Особая рекомендация: необходимо немедленное выстраивание “законодательной вертикали”, которая должна сопровождать “вертикаль” исполнительную. А Президент России должен в равной степени заботиться о развитии обеих “вертикалей”; его “команда” должна иметь влияние как на ту, так и на другую власть.

Алгоритм работы экспертной системы “Регион N” трехэтапный: подготовка ко “Дню X”; оперативная реакция на первые последствия либерализации цен; “проживание” более отдаленных последствий.

В моделировании первой проблемной ситуации (“Справедливые цены”) региональная команда продемонстрировала нереальность выбора модельными участниками рыночных реформ позиции самостоятельных субъектов решения, освободившихся от патерналистских идеологии и психологии. Это обнаружилось уже в искренней готовности большинства членов данной экспертной группы принять именно то название ситуации, которое было предложено, даже не поставив под сомнение соответствие рыночному мышлению саму постановку вопроса о “справедливости цен”.

Вывод экспертов: региональным администрациям, заказчику необходимо отслеживать аналогичные попытки оценивать рыночные шаги в терминах патерналистской морали, морали уравнительности. Даже идя на вынужденные компромиссы, принимая паллиативные решения (вроде фиксированных цен), следует разводить новую и старую моральные идеологию и психологию.

В моделировании поведения структур региона во второй проблемной ситуации было испытано решение о реализации идеи либерализации цен собственно рыночными методами. Решение “администрации” о выпуске акций народной нефтяной компании моделировало намеренность государственного института стимулировать - идейно и материально - формирование субъектов гражданского общества. Рекомендация экспертов: для профилактики возможных конфликтов Центра и региона целесообразно, во-первых, стимулировать повышение ответственности администрации путем расширения ее свободы и, во-вторых, помочь чиновникам Центра отличать владение собственностью от управления ею. За таким подходом и обнаружится смоделированное экспертной подсистемой постепенное делегирование ответственности от государства региональным общностям.

Технология преднамеренности

Возвращаясь на уровень общих выводов, которые во многом вытекают из анализа региональной модели, подчеркнем, что мы концентрируем внимание на необходимых методах и средствах конструирования *технологий намеренности* в процессе делегирования ответственности за либерализацию общества от государства самому обществу. Соответственно, на первом плане оказывается идея *коэволюции* политической этики и этоса гражданского общества.

Вряд ли стоит с моралистским пафосом упрекать тех участников игры, чьи поиски сосредоточились прежде всего на прагматических целях: трудно думать о высших потребностях, когда под угрозу поставлены первичные. Этим же, вероятно, объясняется и склонность части экспертов к пессимистической оценке способности властей обеспечить тот минимум социальной защиты, без которого рискованна любая преднамеренность в модернизации общества.

Особый исследовательский и политический интерес представляет дифференциация разных этико-культурных типов людей с точки зрения готовности и способности принять на себя ту или иную меру тягот либерализации цен, ожидать возможных положительных эффектов от первого шага рыночных реформ. Конфликты между этими группами могут и должны составить основной предмет выработки “правил игры”.

Как подчеркнули авторы итогового отчета об экспертизе - среди них А.И.Адамский, Е.И.Головаха, А.Ю.Согомонов, главная проблема становления гражданского общества - координация разнонаправленных интересов его структур. Они оказались глухими друг к другу, а для разрешения внутренних конфликтов обращались только... к власти. Вероятно, реализация идеи намеренности предполагает взаимодействие государственных структур не с “населением”, “массами”, а с малыми группами гражданского общества, наиболее расположенными к риску, к негарантированным результатам. Такого рода адресности каждого шага государства может способствовать определение сферы, в которой даются гарантии, и сферы, в которой стимулируется гражданская ответственность.

До гуманизма ли в ситуации тотального конфликта по поводу тягот либерализации цен между всеми слоями и группами, стремящимися переложить эти тяготы на чужие плечи? Можно ли согласовать правила игры всех этих субъектов? Кто отрегулирует шаткий баланс интересов? Возможно, смоделированный на игре “гражданский парламент”? Но не забыть бы фактически пренатальное состояние структур гражданского общества и их склонность апеллировать к власти. Между тем, политический истеблишмент разного калибра - прежде всего в региональной модели - обнаружил низкую готовность к возмущениям в силовом поле перемен - независимо от того, решалась ли первая или вторая игровая ситуация. Он был более склонен либо к инертности, либо к импровизационным решениям в контролируемых секторах жизни. Доминировала ориентация на оперативные решения в ущерб стратегическим целям и ценностным основаниям рыночных реформ.

Проведенная без апологии и предубеждений экспертиза проявила глубокий провал в “идеологическом обеспечении” реформ в целом, либерализации цен - прежде всего. Может ли “нехватка времени и сил” распространяться на этот предмет: морально-психологическая неготовность к либерализации - вполне материальная сила. Не следует развешивать знамена казенного оптимизма. Но как обойтись без преодоления некомпетентности на уровне прописных истин, без воскрешения веры в ненаясность жертв, без

демонстрации перспективы - не светлого будущего, но просто будущего, т.е. формирования убежденности в том, что выход не позади, а впереди?!

Среди сформулированных в процессе гуманитарной экспертизы задач конструктивного плана - не допустить превращения потенциальных союзников либерализации, тех слоев и типов людей, которые ориентированы на перемены, в реальных противников. Важно укрепление позиций такого рода групп, при этом в первую очередь тех из “людей игры”, кто готов не к дикому, а к цивилизованному рынку.

Очевидна сопряженность этой задачи с заботой о противостоянии и правому, и левому популизму, культивировании социального партнерства (в решении второй ситуации с этой точки зрения примечательно моделирование в организации народной нефтяной компании).

При этом либерализация цен требует заботы об экзистенциальных проблемах личности, например, учета опасности унижения “попечительством”. В этой связи экспертиза сама стала стимулом моральной критики реформаторского прогрессизма в его “чисто” прагматическом проявлении.

Акцентируя проблему “правил игры” субъектов рыночных реформ, отметим, что проявившиеся на экспертизе “правила” оказались весьма старомодными: в кардинально изменяющейся ситуации и органы государства, и структуры гражданского общества отягощены менталитетом и инструментарием предшествующей системы. Дальнейшая работа над “идеологическим обеспечением” либерализации требует не только прогнозов несомненных конфликтов по поводу этих “правил игры”, отражающих конфликт государственной морали и морали рыночного общества. Заказчику экспертизы рекомендовано участие в арбитраже и в предоставлении форума по определению этих правил - трактовке правил и обеспечению их соблюдения.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. См.: Самотлорский практикум: Тезисы научно-практической конференции / Под ред. В.И.Бакштановского. Тюмень. 1987; Самотлорский практикум-2: Сборник материалов экспертного опроса / Под ред. В.И.Бакштановского. Москва-Тюмень, 1988.
2. См.: Гуманитарные проблемы освоения: Сборник научных трудов / Отв. ред. В.И.Бакштановский, Т.С.Караченцева. Москва-Тюмень, 1990; Гуманитарная экспертиза: Возможности и перспективы. Сборник научных трудов / Отв. ред. В.И.Бакштановский, Т.С.Караченцева. Новосибирск, 1992.
3. Век XX и мир. 1989. № 3. С.23. О драматической судьбе партийной этики см.: Партийная этика: документы и материалы дискуссии 20-х годов. М., 1989.
4. Партия на пути к правовому государству: ситуация выбора: Материалы экспертного опроса / Под ред. В.И.Бакштановского. Москва-Тюмень, 1990.
5. См.: Освоение без отчуждения: Материалы экспертного опроса. Ч. I, II. Тюмень, 1989; *Бакштановский В.И., Согомонов А.Ю., Чурилов В.А.* Общественное мнение о судьбах народов Севера: поиск справедливого политического решения. Тюмень, 1989.
6. На пути к гражданскому обществу: нравственные оппозиции. Материалы экспертного опроса. М., 1991.
7. *Бакштановский В.И., Чурилов В.А.* Региональная модель политического этоса: технология преднамеренности // Будь лицом: ценности гражданского общества / Под ред. В.И.Бакштановского, Ю.В.Согомонова, В.А.Чурилова. Т.2. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1993.

Часть третья

**КРЕДО И КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПЕРИОДА**

Преамбула

Методология проекта, результаты которого представлены в этом разделе, обязывает возвратиться к сюжетам двенадцатой главы, ибо, начиная с проекта “Российское президентство”, метод консультативных опросов экспертов получил дополнительный импульс к развитию. Выделим три ключевых момента этого развития.

Во-первых, в журнале “Этика успеха” был открыт макропроект, в основе которого - рефлексия над институциональными и культурными особенностями российской власти. Иными словами, предметом экспертизы являются феномены *президентства, депутатства, электората, судейства, губернаторства, чиновничества, четвертой власти* (значительная часть этих тем представлена в данной части монографии). При этом авторы проекта сделали ставку на всесторонний анализ культурного поля российской власти, то есть отказались от узкодисциплинарных подходов, стилей и методов. Был избран особый угол зрения: исследование ценностных оснований и “правил честной игры” власти во всех ее ипостасях. Соответственно, весь макропроект был озаглавлен: “*Кредо и кодекс российской власти*”.

Во-вторых, кроме анкеты, обращенной ко всем экспертам, - так мы действовали, например, при исследовании духа корпорации, миссии четвертой власти, этики успешного профессионализма, в настоящем проекте экспертный метод был конкретизирован с помощью индивидуальных программ опроса экспертов, которые отражали определенные направления проекта и известную специализацию конкретного эксперта.

В то же время, эксперты были ориентированы на переход персонифицированного к институциональному анализу феномена власти, который, в свою очередь, не отрицает живого интереса к персоналиям. Предстояло коллективными усилиями выработать язык идеологического самовыражения власти и ее самопрезентации становящемуся российскому гражданскому обществу.

В итоге удалось, как нам представляется, обеспечить прагматизм коллективной рефлексии, выраженный прежде всего в самом подходе к исследуемому явлению, в парадоксальном взгляде на рутинную - на первый взгляд - действительность, в критике предрассудочных толкований, многообразных версий аналитических центров и отдельных исследователей.

Ни суперпроект в целом, ни составляющие его проекты не имели ни политического “заказчика” из каких-либо властных или околотовластных структур, ни идеологической предвзятости, а потому и не были ориентированы на некий заранее предписанный результат. Ожидаемый продукт коллективной рефлексии - элементы новой нравственно-мировоззренческой доктрины

российской власти, адресованные “до востребования” изменяющемуся обществу(подобно результатам работы Римского клуба). Проект ориентирован на инициирование культурно-этического диалога общества и власти, независимо от того, какие конкретные фигуры заполняют или заполнят завтра пространство российской политики.

В-третьих, вся собственно *этическая часть* суперпроекта реализована нами в режиме той экспертизы, которую мы назвали выше методом анализа *этических рационализаций*.

Какими же выглядят кредо и кодекс российского президентства и депутатства не в глазах искушенных экспертов, а в массовом сознании? Каково самосознание избирателей? Используемый нами метод позволяет понять воззрения, нормативные образцы, оценки и мифы массового сознания как бы “изнутри”, отождествив для этого позицию исследователя с позицией носителя данных воззрений, смыслов, ориентаций, и таким образом выйти за пределы информации, которую представляют материалы экспертных оценок и данные социологических замеров массового сознания.

Мы отдаем себе отчет в том, что речь идет не о суждениях, оценках, модельных образцах, родившихся совершенно спонтанно и взятых *per se*, но только о тех из них, что обладают качеством *этических рационализаций*. Это качество, возникающее, во-первых, после их систематизации и кодификации, способствующих преодолению символично-метафорического, паремического стиля познания, его сильной зависимости от аффектов. Во-вторых, качество, образующееся в результате интенсивного воздействия на познание со стороны более развитых - идеологических - образований.

Конечно, мы лишь условно отделили содержание и природу экспертных суждений и оценок от мнений и оценок массового сознания. На самом деле следует принимать во внимание, что здравый смысл, его суждения и предпочтения в оценках, подчас обладающие завидной проницательностью и нравственной чистотой, в наше время лишь отчасти являются непосредственным отражением житейской практики. В рационализациях суждения здравого смысла сливаются с созвучными им идеологическими представлениями.

Итак, во всех трех главах, представляющих здесь суперпроект, мы пытались смоделировать те моральные представления, которые характерны для особого состояния сознания общества - когда оно уже поднялось над уровнем обыденных моральных суждений и оценок, но еще не достигло уровня теоретической рефлексии. Это - экспертные тексты, репрезентирующие некоторые результаты нетеоретизированности моральной идеологии. По внешнему виду тексты всех глав этого раздела кажутся морализаторскими. И они во многом действительно таковы - это следствие как раз нетеоретизированной моральной идеологии. Подчеркнем: такая характеристика относится не к позиции авторов монографии, но отражает моделируемые массовые моральные позиции.

Поэтому, рассказывая о массовых верованиях, ощущениях, предрассудках и т.п., связанных с политической властью, ее кредо и кодексом, мы постоянно оставляли за собой возможность прокомментировать их, дистанцироваться, чтобы занимать критическую, а не доверчивую позицию. Конечно, в монографии всем этим представлениям придана удобная для восприятия более или менее стройная форма, сопровождаемая определенной трансформацией в способах выражения мнений и оценок. И, наконец, в интересах компактности мы не стали приводить анализ конкретных источников (рассеянных речевых практик, зафиксированных разными способами; массовых интервью, данных опросов, выступлений СМИ и т.п.).

Экспертные материалы участников проекта опубликованы в журнале “Этика успеха” (выпуски 5, 6, 7, 9). Здесь же представлены только материалы, полученные в результате нашего исследования этических рационализаций. При этом, выступая в роли экспертов по вопросам этики политического успеха, мы обсуждаем здесь только вопросы, связанные с кредо и кодексом власти - так, как они представлены в моральной идеологии общества.

Заметим также, что безбрежная тематика этики политического успеха в приложении к институции власти обретает новые грани и дополнительные импульсы. Оказалось, что такое приложение не только служит естественным продолжением общего исследовательского замысла нашей монографии, но означает такой его поворот, который потребовал обновления проблематизации моделей политического достижения, насыщения этического поиска драматургией лидерства в современной России и драматургией электорального сознания и поведения.

Глава шестнадцатая

ЭТИКА РОССИЙСКОГО ПРЕЗИДЕНТСТВА

Кодекс

| Моральная аура президентства?

В каком “свете” выставляет себя наша верховная политическая власть - президентство - с моральной точки зрения? Как смотрится она с позиций должностования, присущих массовому сознанию?

Стоит только этому сознанию задаться таким “подрывным” вопросом, раскованное воображение так и начинает рваться из тенет земного притяжения, чтобы воспарить в разреженную атмосферу прекраснотушних мечтаний. И тогда неудержимо хочется увидеть если и не воплощение нравственного идеала в одном-единственном человеке, выявленном, выдвинутом и затем избранном из “человеческой гущи” (В.Маяковский) на президентский пост, то - по самому скромному счету - нечто близкое к такому идеалу.

Заметим сразу, что массовое сознание ослеплено нимбом вокруг высоких должностей. Впрочем, если экспертно отнести к этому благостному порыву к идеализации, станет ясно, что он переносит моральную идеологию в далекое прошлое, когда верховному правителю - как бы его ни называли - приписывались все мыслимые человеческие достоинства и добродетели в превосходной степени. Иного, видимо, не могло быть - в традиционных социумах верховная власть имела сакральный характер. К тому же она вовсе не была специализирована функционально, не ограничивалась политической сферой. Строго говоря, такая сфера еще не успела обрести атрибуты самостоятельности. Поэтому функции верховного правителя, монарха, которые сегодня называются политическими, на деле органически сплетались со многими иными функциями, весьма далекими от политики - судебной, военной, воспитательной и т.п., вплоть до исцелительной.

Монарх-самодержец в России, по точному выражению историка В.О.Ключевского, даже не правил страной, а просто владел ею. В патерналистском духе в таком личном домене он воплощал отеческие обязанности по отношению к остро нуждающимся в опекуновтве подданным. Лишь безукоризненное несение сурового бремени наставничества, куратора “малых мира сего”, придавало его всевластию нравственное достоинство. То была моральная оценка верховной власти, оценка, которая если и позволяла власти в исключительных случаях жертвовать благополучием подданных, то только ради широко признанных миссионерских предназначений - скажем, нести свет истинной веры или просвещения, освобождать из-под сатанинского гнета и т.п.

Этико-культурные ограничения монаршего произвола были сравнительно незначительными лишь при деспотических режимах, и они же оказывались достаточно высокими при сословно-правовых устройствах, тем более - при настоящем конституционализме. В ряде случаев гнетущее ощущение подвластными собственной “вины” перед обожествленной верховной властью

могло преодолеваться, и тогда морально санкционировалось сопротивление “безбожной” власти - вплоть до свержения ставшего ненавистным тирана.

Неумолимый рост республиканизма в мире породил за два последних столетия плеяду президентов-диктаторов, президентов-вождей авторитарных и полуавторитарных политических систем. Эта власть, хотя и была окутана флером демократизма, по сути представляла собой лишь разновидность узурпации власти, форму личной диктатуры (впрочем, она могла быть и коллективной, когда военная хунта или политбюро партии узурпировали всю полноту власти). Даже если это была так называемая “диктатура развития”, как, например, в Чили или Корее. Естественно, что при президентах-диктаторах нелепо даже упоминать об “этическом измерении” их власти - оставь на этику надежды всяк, под диктатурой оказавшийся!

Но мы исследуем здесь образ института президентства в моральной идеологии общества с характерной системой представительной демократии. Вслушиваясь в голос реальных носителей этических рационализаций, мы обнаруживаем: вряд ли кто в наше время рискнет всерьез приписать феномену президентства некую моральную ауру, святость целей и мотивов его политической деятельности. Президент, до поры до времени обладающий харизмой, предстает перед массовым сознанием просто человеком, избранным на должность, но вовсе не ангелом во плоти, не лучшим из лучших по моральному облику. Мораль, как известно, равнодушна к высоким чинам, пышным регалиям, громким званиям.

Продвинутые представители массового морального сознания - журналисты, публицисты, эссеисты, лидеры мнений, партийные функционеры и т.п. - отмечают редкие случаи, когда высокая должность не развращает, а возвышает человека в моральном отношении. (Если верить Тациту, то из всех римских принцепсов изменился к лучшему, обретя огромную власть над людьми, лишь один Веспасиан.) Но президент, полагающий себя неким “моральным превосходительством” и даже “высокопревосходительством” только потому, что он правдами или неправдами смог сколотить электоральное большинство, в конце XX века представляется политико-этическим анахронизмом.

*Этический стандарт президентства:
ценностный минимум.*

Моделируя требования массового сознания, предъявляемые президенту, выделим прежде всего требования этического стандарта. Этот стандарт “расписан” в незримом кодексе политической этики, воплощающем общекультурный ценностный минимум, который Ю.Хабермас замысловато назвал “универсальным ядром моральной интуиции”. В речевых практиках на первом месте стоит вывод о том, что соответствие такому минимуму гарантирует президенту политическую респектабельность и уровень нравственной порядочности, реноме честного человека как на полной своеобразия политической арене, так и в частной жизни (у президента могут

быть близкие друзья, личные привязанности, к тому же “муж жены президента должен быть вне подозрений”).

Кодекса политической этики как принятой и прочно усвоенной всеми участниками политического процесса нормативной модели поведения у нас не существует. Не только вчера, но и в посттоталитарном сегодня в аппаратах власти, на политическом ристалище если считаются с чем-то менее всего, так именно с этикой.

Анализ публицистики показал, что при формировании канона этики политического успеха России оказывается весьма полезным общецивилизационный опыт моральных дозволений и запрещений, которые регулируют поступки профессиональных политиков, причастных к политике чиновников, обслуживающих политику ученых, журналистов, юристов. А заодно и тех, кто вольно или невольно оказался втянутым в политический процесс, кто вполне или еще не совсем стал самостоятельным участником властного дискурса и соответствующего группового поведения (рядовые члены политических партий, ассоциаций, клубов, избиратели, демонстранты и т.п.). Как ядовито изрек известный сатирик, “верхи” должны иметь достойные “низы”.

Моральному сознанию ясно, что от соблюдения норм политической этики напрямую зависит слаженность, ритмичность, эффективность работы многоярусной и многозвенной политической машины демократизирующегося общества. Пусть даже это общество пребывает пока на начальных фазах демократизации со всеми присущими им недостатками, непоследовательностями. Комментируя такой неписанный кодекс политического поведения, нетрудно выделить принципы нераздельности власти и ответственности за нее, толерантности по отношению к инакомыслию, отзывчивости по отношению к меньшинствам, интересам политических союзников (добродетели партнерства, партнерской честности и верности), “нейтралов” и даже противников, отказ от конфронтационного поведения везде, где это возможно, от “беспредельных” правил политического ультрарадикализма. Мы видим как, обращенный к власти, этот кодекс требует верности нормам честной политической игры, которая не допускает уклонений от выполнения обязательств по политическим вексям, табуирует политический цинизм в высказываниях и поступках, интриганство, демагогию, крупное и мелкое политиканство, всякого рода двойничество, неразборчивость в средствах политической борьбы, осуждая готовность ради успеха в этой борьбе “идти по трупам”.

В анализе модели требований массового сознания, предъявляемых к политику, не всегда обнаруживаются трезвость, реалистичность и прочие моральные характеристики. Но в данном случае следует отметить, что кодекс не имеет ханжеского характера, не накладывает ригористического вето на хитроумные комбинации в политической игре, не запрещает маневрирования, своевременного умолчания о целях и замыслах обманных движений, не осуждает словесную и поведенческую жесткость, стремление политиков

представить себя в выгодном свете, прибегать - естественно, в меру - к политической рекламе, к популистским шагам. Иными словами, не запрещает всего того, без чего немислим политический успех. Напротив, кодекс всемерно побуждает к нему, оценивая стремление к успеху как положительное в нравственном смысле. К политику меньше, чем к кому-либо другому, может быть отнесена поговорка: “так добр, что ни на что не годен!”.

Канон политической этики, ее кодекс являются неинституциональным сегментом “общественного договора” в самом широком смысле этого понятия. Не исключено, что его аналогом в нашей стране можно было бы считать “Договор об общественном согласии”, если бы не его хрупкость и известная искусственность.

Все это позволяет нам вспомнить о конвенциональном характере норм и правил политической этики. Как мы уже отмечали в предшествующих главах, с одной стороны, они подкрепляют, цементируют политико-правовые соглашения и регулятивы, с другой стороны, сами подкрепляются требованиями общественности к поведению участников политического процесса, а также участников друг к другу. Такие требования политику нельзя проигнорировать, не рискуя при этом непоправимой компрометацией в глазах общественного мнения, не обрекая себя на политическую изоляцию, утрату доверия со стороны общественных кругов к проводимой им политической линии.

“Боже, как нам до всего такого еще далеко!” - это, фактически, общий крик морального сознания. Впрочем, дорогу осилит идущий. И для наших экспертов не может быть двух мнений относительно того, что президент уже сейчас полностью подпадает под “юрисдикцию” кодекса политической этики, и его деяния должны укладываться в очерчиваемые кодексом рамки.

Ничего сверхъестественного в этом никто не видит: президент обязан особенно скрупулезно придерживаться этического стандарта, тем самым побуждая и других политиков чтить нормы данного кодекса. Максима “Если не я, то кто же?” - обретает для президента характер чуть ли не категорического императива. Исполнять миссию гаранта соблюдения этики политического успеха нельзя иным путем, нежели примеряя эти нормы к собственному поведению.

Тяготы на стезе успеха:

искушение моральной исключительностью.

Разумеется, соответствие этическому стандарту лишь на бумаге выглядит делом незатейливым и самоочевидным. Это не составляет тайны даже для поверхностного наблюдателя политической жизни. Нравы, царящие в притененных “коридорах власти”, не балуют фактами соблюдения высоких стандартов поступков, особенно в нынешнее смутное время.

Для нашего наблюдателя очевидно, что, с одной стороны, соблазн покушения на порядочность резко возрастает вместе с ростом властных возможностей политика, а в случае с президентством мы имеем дело с предельными величинами подобных возможностей. Президент награждает и

наказывает, выдвигает различные проекты, законоположения, раздает и отбирает должности, синекуры, привилегии материального или престижного свойства. Нашептывающие и искушающие голоса политических сирен, услужливые подсказки или мольбы фаворитов и просто приближенных совершить нечто, выходящее за границы допускаемого этическим стандартом, звучат в данном случае постоянно, настойчиво и даже назойливо. И надо обладать хитроумием Одиссея, чтобы, вняв сладкозвучным голосам, устоять перед обольщением.

С другой стороны, максимум возможностей, определенный законом и подзаконными актами, порождает соблазн использовать их вопреки допущениям и запрещениям этического кодекса, а временами даже вопреки четко сформулированному закону. Тем более, если речь идет о возможностях, лежащих на границе разрешенного законом и моральным кодексом.

Анализ этических рационализаций выделяет то обстоятельство, что у президента может возникнуть искушение обрести для себя сомнительное право на исключение из этических правил. Пусть для начала только “в исключительных случаях”. Мы бы не хотели считать массовое сознание склонным к докучливому морализаторству, когда оно утверждает: стоит лишь стать на стезю скидок и попустительства, как учащается число “исключительных случаев” и оказывается невозможным очертить пределы, за которыми сравнительно безобидные проступки против морали плавно переходят в преступления, сливаются с ними, а этически терпимое деяние незаметно и незамедлительно переходит в откровенное злодеяние.

У президента нет и не может быть права играть не по честным правилам политической игры, хотя в ней постоянно возникают (или фабрикуются) сомнительные ситуации, при которых не всегда ясно, по каким правилам предстоит играть, а тот или иной очередной ход может соответствовать одному правилу игры и попирать другое, когда дразнит мнимой “невинностью” побуждение нарушить “малое” запрещение ради неких значимых результатов (в политике подобные искушения встречаются чуть ли не на каждом шагу).

Но как быть, если ориентация на политический успех, которая, безусловно, задается тем же этическим кодексом (кому, спрашивается, нужна провальная, не увенчанная успехом политика!?), наталкивается на то или иное правило, сковывающее политический маневр президента, необходимый для достижения успеха, удовлетворения государственного (но и партийного или личного: рокировки в этом случае столь привлекательны, сколь и коварны) интереса?

Да, массовое сознание готово признать, что часто нарушения правил навязывают президенту его беззащитные политические противники или непредвиденное стечение обстоятельств. Такого рода нарушения, казалось бы, легко могут быть оправданы лучшей информированностью президента (“мне виднее, как следовало поступить!”). Или большей его ответственностью, что не позволяет, например, воспользоваться преимуществами “силы, дарованной

слабостью” (по А.С.Пушкину), которой вдоволь располагают политики меньшего ранга, переадресуя часть ответственности верхнему эшелону власти.

Все эти уловки от лукавого - таков приговор наших экспертов. Хотя у президента может и не быть выбора, и тогда перед ним встает вечная проблема вынужденной вины, готовности принять ее на себя, не перекладывая на других. Остается в таких случаях утешаться поговоркой, что “чистая совесть - изобретение дьявола”.

*Добрая воля президента
или публичный надзор?*

Смягчению последствий от эффекта рокировки интересов с неизбежным этическим релятивизмом в придачу служит публичный, открытый характер исполнения президентом своих функций. Речь идет не только о жарком свете юпитеров - невозможно вынести за скобки потребность государственной власти в тайнах. Неусыпный надзор телевизионного ока уместен разве что при свершении протокольных церемоний. Шутливый афоризм предупреждает, что широкой публике не следует демонстрировать, как изготавливается колбаса и принимаются политико-правовые решения.

Тогда как же обеспечить открытость исполнения президентом властных полномочий? Достоянием массового сознания является вывод о том, что кроме всего предписываемого на сей счет законом, необходимо еще нечто трудноуловимое - добрая воля президента. Попытаемся так сформулировать отношение этого сознания к доброй воле президента: именно такая воля и является надежным моральным залогом использования всех поведенческих и символических стратегий для предотвращения узурпации властных функций как самим президентом, так и всей президентской ратью. Служение не должно быть конвертировано в господство, а гарантом тому являются не только конституционные принципы, но и установления этического кодекса, ориентирующие на открытость исполнения президентских функций, на не очень-то приятную готовность пребывать под постоянным наблюдением придирчивого общественного мнения (зачастую крайне несправедливого в своих оценках и инвективах) и обладающих правом контроля инстанций (органов представительной и судебной власти). Готовность такого рода не позволяет сколь-нибудь длительно и систематически, ссылаясь на благие намерения, утаивать в президентском поведении факты нарушения требований этического кодекса.

Не только лидерам общественного мнения, но и “рядовому” субъекту массового сознания известно из опыта политической жизни, как такие факты прикрываются показным смирением и скромностью, с помощью которых президенты изображают себя в роли этакого послушного исполнителя суверенной воли избирателей, преданного слуги народа. Нередки фальшивые апелляции к каким-то форс-мажорным обстоятельствам, которые якобы не позволили благим намерениям обратиться в благие поступки ввиду непреодолимого “упрямства” данных обстоятельств и тем побудили носителя

высшей власти к отказу от тех или иных обязательств этического свойства. В духе наигранного благочестия с помощью политической магии под видом государственного интереса подставляется интерес олигархический, клановый или - без затей - личный (который, заметим со своей стороны, нельзя на ригористический манер отлучать от государственного: они могут быть одного корня, соприкасаться какими-то гранями, могут оказываться созвучными в отдельных нотах).

Продолжая своими словами модельную характеристику представлений массового сознания об этике президентства, подчеркнем, что для общества весьма важно не допустить прямого либо косвенного “самоосвященства” (так говорил Ф.Ницше) президентской власти, важно содействовать десакрализации действий президента - они не запредельны, вполне поддаются рациональному исчислению, трезвому критическому анализу, взвешенной моральной оценке. “Окажи нам услугу, правь нами” - призыв рюриковских времен, никоим образом не вписывающийся в ценностный контекст правового государства. Равно как и соответствие кодексу политической этики не дает оснований для “самовосхищения” с последующей “продажей” такого соответствия общественному мнению.

Десакрализации президентских поступков в такой стране, как Россия, где в общественном сознании необычайно долго пульсировала противоположная тенденция, в которой верховная власть представлялась в мистическом ореоле, может содействовать юридически оформленный, но духовно не до конца преодоленный отказ от патерналистских претензий власти (время для этого безвозвратно прошло). Эти претензии, как известно из скорбного опыта, позволяли говорить о “подателе благ”, “спасителе”, который на деле стремился не только присвоить власть, но и оккупировать самую мораль методом ее политизирования. В таком случае верховной власти нет дела до “каких-то там” этических стандартов.

Этическая модель президентства

*Кто бьет в колокол - в процессии...
участвует.*

Отечественный опыт властных отношений побуждает к рассуждениям о национальных моделях этического кодекса верховной власти. Дают ли, скажем, политические особенности России, традиции ее политической культуры какие-то основания для права президента быть “не совсем честным” политиком, а как бы “получестным”? И где пролегает разделительная полоса между такой “не совсем честностью” и просто бесчестностью? Дают ли эти традиции основания для права не в полном объеме следовать принципу нераздельности верховной власти и высшей меры ответственности, уклоняться от скрупулезного соблюдения правил честной политической игры, от выполнения принятых обязательств, от верности слову, джентльменским соглашениям и т.п.?

Все эти вопросы требуют отдельного обсуждения. Однако уже сразу, причем не затрагивая особенностей российского конституционализма, свода

юридически определенных прав и обязанностей президента, можно сказать: президенту просто не удастся не считаться с российской спецификой не только в правовой, но и в моральной сфере. Тем более, что этический кодекс политики по необходимости имеет смешанную морально-правовую природу.

С какой же спецификой нельзя не считаться президенту России? На этот вопрос в массовом моральном сознании выделяются две позиции. Во-первых, приходится принимать во внимание переходность переживаемого страной периода (содержание которого в интересующем нас плане составляет распад унаследованной мобилизационно-подданнической политической культуры и постепенное утверждение партиципационной, активистской культуры развитых демократических систем). Во-вторых, нельзя не считаться с процессами неуклонного отступления политизированной общественной нравственности и с постепенным укреплением этики гражданского общества, с возникновением смешанных форм в сфере нравственности.

Президент в восприятии этого сознания - ведущая фигура переходного процесса. От него ожидают не действий в рамках исторической инерции, а наибольшей продвинутой политической поведенья. Оно должно характеризоваться не “доблестным” хвостизмом, но недвусмысленно выраженной пассионарностью в сфере политической культуры и морали. Ему предстоит и участие в мобилизации духовной энергии народов страны для продвижения к новым культурным “берегам”, и служение “маяком” на пути к общедемократическому этическому стандарту, отличающему поведение верховной политической власти.

Раз так, справедливо полагает это сознание, то президент не вправе испрашивать для себя какой-то “скидки” по сравнению с мировыми стандартами, урезанности своих моральных обязательств перед всеми, кто вовлечен в политический процесс. Его не может выручить старинное правило: “Кто бьет в колокол - в процессии не участвует”. Скорее следует говорить о дополнительных обязательствах, даже о сверхобязательствах, и безупречности их исполнения. Не изображая себя при этом безмерно уставшим от их бремени, великомученником долга.

Не слишком ли это много для “всего лишь президента”? Не избыточен ли вес его морального долга? Если президенту так и показалось, то никогда не поздно - несмотря на тщательно культивируемый образ человека “непотопляемого” - уйти в отставку, отказаться от мандата на власть, от желанья его обрести и даже укрыться от политики в частной жизни. Напомним: не об идеалах и святости ведется разговор, а, всего-навсего, о соблюдении морального минимума, правда, в условиях, когда необычайно высоко искушение нарушить его заповеди, и о больших стрессовых нагрузках. Но здесь, впрочем, тот самый случай, когда лидерское положение обязывает. И притом безусловно.

*Этическая модель российского
президентства как творческий акт.*

Задача российского президентства как институции (а само ее существование, думается, было неслучайным, свидетельствуя о неприемлемости для России изоляционистского пути формирования политической системы) в том плане, в котором его сейчас рассматривает массовая моральная идеология, кроме всего прочего, предполагает способность к умелой пересадке мирового политического опыта на наш скудный подзол, ускорение того, что уже было воспринято предшествующими президентами. Кокконы универсальной политической этики, возможно, и привносятся извне, однако созревают - тем более дозревают - они в новой для них среде.

С точки зрения такой идеологии миссия президентства обязывает принять участие в непредсказуемом по своим результатам коллективном творческом акте (его нельзя заранее смоделировать, “придумать” и представить как конструктивный проект) формирования российской модели “Большой этики политического успеха”, отделяя подлинные новации от псевдоноваций и венчая такую этику образцами политического успеха на самой вершине властной пирамиды. Ему - больше чем кому-либо другому - предстоит отыскать баланс между рационализированными нормами политической этики и национальными традициями, такой баланс, чтобы обе его стороны не сковывали бы друг друга. Исполняя данную миссию, президент одновременно чеканит свой индивидуальный поведенческий стиль, придает своеобразие своему моральному красноречию.

Со своей стороны приведем весьма немаловажное соображение по поводу этического кодекса политической деятельности, изложенное видным французским социологом Пьером Бурдьё в небольшом эссе под выразительным названием “За политику морали в политике”. Он полагает возможным говорить о морализации политики, хотя и не в том одиозном смысле, который принят у нас. Бурдьё обращает внимание на то, что политики самими обстоятельствами своей деятельности принуждаются к стратегии соответствия этическому стандарту. Только тогда приобретает политическую силу этическая критика политики.

“У морали есть какие-то шансы приобщиться к политике только в том случае, - пишет социолог, - если будут работать над созданием институциональных средств для политики морали. Официальная правда официального лица, культ публичной службы и преданности общественному благу не устоят перед критикой подозрения, которая повсюду обнаруживает коррупцию, карьеризм, “клиентелизм” или, в лучшем случае, частный интерес в служении общему благу... Общественные деятели являются людьми частными, социально легитимированными к восприятию себя как общественных деятелей и социально поощряемыми в том, чтобы думать о себе и представлять себя как преданных слугителей общества и общественного блага. Политика морали может лишь принять к сведению этот факт: с одной стороны, она старается поймать официальных лиц в их собственной игре, то есть в ловушку официального определения их функций. А также, и главным образом, она непрестанно работает над повышением цены усилий по утаиванию,

необходимому для маскировки различия между официальным и официозным, авансценой и кулисами политической жизни” [1].

Возможно, именно отсюда вытекает позитивная роль политической скандалистики, постоянно побуждающей политиков с выгодой для себя использовать подчинение правилам этического кодекса, проявлять хотя бы видимость добродетели, обретая выгоды от более простого и удобного соответствия моральному минимуму (назовем это политико-моральным утилитаризмом). Когда, вспомним Ларошфуко, говорят, что лицемерие - это дань, которую порок выплачивает добродетели, обращают внимание лишь на лицемерие, забывая, что такой платой одновременно оказывается почтение добродетели, а в политике - рациональным нормам этического поведения.

Призвание российского президентства

“Идеи” и “интересы”:
в эпицентре нравственного конфликта.

Хотя президент и занимает наивысшую должность в государстве, он не вправе, не может - если бы вдруг и пожелал - взирать на нее сквозь искривляющую бюрократическую призму. Это обстоятельство фиксируется в образах массового сознания. Оно полагает, что президент - не просто высокопоставленный чиновник, которому, дабы чувствовать себя комфортно, ощущать себя человеком порядочным, достаточно по минимальному счету следовать предписаниям кодекса политической этики (занятие, как мы уже успели уразуметь, далеко не из самых простых). Президенту, не желающему исчерпывать свое предназначение исполнением роли высшего чиновника, приходится покинуть асфальтированную площадку, где за моральные ориентиры сподручно было принимать дидактические сентенции, и оказаться на сильно пересеченной местности политических игр, в которых подобные сентенции способны вызвать разве что снисходительную улыбку. Не то чтобы ставка здесь выше, чем жизнь, но что-то близкое к этому имеет место - президент ставит на карту свою честь, репутацию, безопасность, будущее.

Этому сознанию ясно, что хочет президент того или не хочет, но он всегда находится в эпицентре немислимо запутанных нравственных коллизий. Практически по каждой политической и административной проблеме у него имеется не одно, а множество альтернативных решений. Ему никуда не деться от того обстоятельства, что любой политический выбор оказывается вместе с тем и выбором моральным, а стало быть, приходится думать о моральных индикаторах своих решений.

Гораздо труднее данному сознанию понять сложность такого выбора: что предпочесть с точки зрения интересов государства, что выгоднее, полезнее стране (а заодно и ее лидеру), когда эти интересы поразительно переменчивы, неуловимо многозначны, причудливо иерархизированы, да и образуются, собственно говоря, не “до”, а лишь в процессе взаимодействия, взаимодополнения? Президент обречен на каждодневное решение подобных задач, на то, чтобы “прикладывать руку” к определению и доопределению

интересов, рационально оценивать их в качестве “подлинных” или “мнимых”. Он - конченный политик, если его покидает способность быть реалистом и он не в силах освободиться от чар импортных или почвеннических политических мифов.

Впрочем, прагматика, вся эта “тьма низких истин”, не будучи одухотворенной чем-то возвышенным, всегда страдает известной односторонностью, планиметрическими подходами к проблемам, узостью горизонта, чем-то вроде “политического косоглазия”. Президент не должен быть романтиком (рыночным ли, национальным или каким-то еще) от политики и вместе с тем не вправе руководствоваться исключительно пальмерстоновской максимой, согласно которой у Англии нет постоянных друзей, зато есть постоянные интересы.

Ведь “интерес” незаметно способен впитать в свой сложнейший химический состав и какие-то “идеи”, притом отнюдь не в гомеопатических дозах. В их числе и моральные идеи о такой “малости”, как авторитет власти, о чести и достоинстве государства, страны, ее политической капитанской рубки. Страна вправе рассчитывать на то, что она может гордиться, а не стыдиться того, кто находится в этой рубке. И это с особой чуткостью регистрируется массовым сознанием.

Как агрегируется “голый”, до блеска очищенный от духовных “примесей”, политический интерес с интересом, насыщенным моральными интенциями, который политики предпочитают в более сдержанной манере именовать “высшим интересом”, - это всякий раз головоломная задача для принимающего решения президента, задача, к которой история опрометчиво забыла приложить спасительный “решебник”. Между тем, здесь кроются не просто политические, военные, разведывательные, дворцовые и т.п. тайны (темы, столь любимые потребителями продукции СМИ), а неразгаданные тайны самой истории, в вечной незавершенности которой и заключается гарантия утраты ключика к их разгадкам. Как долго приходится ждать, прежде чем история решится воздать кому следует укоризной или же осанной, сообразованно рассудит правых и виноватых! Политикам в тщете ожидания приговора, к тому же неокончательного, остается лишь догадываться о его содержании.

Соединение “интереса” и “идеи” никогда не обретает искомой прозрачности и доступности для взора не только простого смертного, а именно его взгляды доминируют в массовом сознании, но и проницательного политика, постоянно требуя напряженнейшего “всматривания” в череду проблемных ситуаций, обязывая к аналитическому осмыслению сопряженности силовых полей и линий, позиций, подходов.

Чтобы разобраться в запутанном клубке интересов и побуждений, близких и отдаленных последствий своих поступков, кроме развитой способности к рефлексии, к калькуляции ходов и контрходов в игре интересов и страстей, президенту необходимы изоощренное политическое чутье и моральная интуиция.

| *Нравственные искания.*

Эта тема была и остается одной из главных в этических рационализациях. Их носители убеждены, что президент не может пренебречь моральными аспектами собственной деятельности, беззаботно отдав ее во власть правил политической арифметики. Разумеется, история меньше всего дает повод рассматривать этику в качестве свода нравоучительных примеров, когда зло наказывается, а добро обязательно торжествует. В политической этике операции с понятиями “добро” и “зло” ограничены, приходится пользоваться и понятием “необходимое, малое зло”.

Президент между тем уведомлен о том, как за “голые” политические выкладки мстит попранная мораль. Из политики никому и никогда не удастся раз и навсегда “изгнать дьявола”. Но подобно тому, как силе, возобладавшей над правом, в конце концов безжалостно мстит историческое дальное действие (разве всю историю борьбы с различными версиями тоталитаризма в XX столетии нельзя считать тому наглядным свидетельством, хотя и не всегда идущим впрок?!), так и выверенной на одну лишь полезность политике рано или поздно приходится дорого расплачиваться за свое пренебрежение моральными соображениями. Одно это позволяет усомниться в непреложности печально известного изречения “политика - грязное занятие”.

Сложность двоякой задачи политического и морального выбора утраивается от того, что сам моральный выбор далеко не всегда оказывается однозначным, однопорядковым, черно-белым - между добром и злом или даже между наименьшим и несколько большим злом. Нередко возникают ситуации, когда приходится совершать выбор полихромного характера - между добром и злом в одной плоскости и между ними же в ином измерении, когда ради убережения одной ценности приходится жертвовать другой, возможно, не менее значимой - и не восстанавливаемой, когда в одной системе ценностных координат сталкиваются достоинство общества и государства, долг человека и гражданина, ценности публичной и частной морали. Допустим, в современной ситуации, когда серия политических решений президента, направленных на утверждение в России гражданского общества, связана с выбором различных моделей (проектов) этого общества, и за каждым выбором проглядываются различные системы культурных значений, а также ценности, так сказать, внесистемного свойства.

Причем сравнение ценностей и выбор могут осуществляться в рамках конфронтационных правил политического поведения (когда одни ценности провозглашаются псевдоценностями, а другие - суперценностями, ради которых можно пренебречь сдерживающими заветами политической этики и следовать каннибальской логике: “Если враг не сдается - его уничтожают!”). Тогда повышается накал ценностного конфликта, грозя переходом от ненасильственных средств к насилию, блокируются обоюдодоприемлемые решения, компромиссы - как признак слабости и капитулянтства, переговорный процесс.

Однако сравнение ценностей может идти и в русле неконфронтационного поведения, оправдывающего компромиссы этическими аргументами. Они

выводят президента из зоны альтернативных решений и включают в зону, где действуют правила этики комплементарности, дополнительности ценностей. Разумеется, это всякий раз является результатом непростого выбора. Он может быть и не найден, обрекая президента не только на политический, но и на повышенный моральный риск. Для него характерны напряженные нравственные искания (нравственные коллизии нельзя разрешить раз и навсегда), чреватые не только обретениями, но и утратами, драмами ненахождения.

Принимая ту или иную линию поведения и на ее основе те или иные решения, президент пользуется услугами советников, членов своей команды (хотя президента делает не столько свита, сколько “гроздь” лидеров-соратников). В отношениях с ними президент обязан придерживаться ряда особых правил политической этики. Но за окончательный выбор политического и морального решения президент несет единоличную ответственность. Надо уметь выдержать такую ответственность и бремя одиночества. И ему ничего не остается, как внутренне согласиться с поэтической метафорой: “Ты - царь. Живи один!”.

Вся система сопоставления ценностей и серия моральных выборов оказываются необычайно трудными для российского общественного мнения, о чем свидетельствуют результаты массовых опросов. Они слабо отражены в этических рационализациях. Хотя здесь, очевидно, произошли немалые перемены: духовное ожесточение и взаимная нетерпимость утрачивают свои былые позиции как в народном сознании, так и в связанных с ним этических рационализациях.

|Профессия и призвание политика.

Нарушение президентом норм политической порядочности и пренебрежение моральными аспектами своей деятельности становятся в высшей степени вероятными, если сомнительны сами мотивы, побудившие его заняться политикой и добиваться президентской должности. Раз мы заговорили об этих сюжетах, значит далее предстоит вступить в области, куда обычно без спроса вход крайне затруднен, а поэтому исследовательский лот здесь с большим трудом погружается на искомую глубину, оставаясь по большей части на мелководье.

Поскольку из-за сумятицы повседневности нельзя получить достаточную и достоверную информацию, морализирующее сознание попадает в туманную область допущений, вольных догадок, предположений, ибо речь идет не о фасадной части политического поведения президента, не просто о его соответствии кодексу, но о президентском кредо. В нем воплощена политикоморальная мотивация этого поведения, его исповедальность (обычно очень приблизительно отражаемая пост фактум в президентских мемуарах).

Разумеется, анализ поступков президента, слов, которые тоже являются поступками, правда, особого рода, способен преодолевать запреты на неприкосновенность внутреннего мира главы государства, допуская вполне

правдоподобные объяснения его действий. Ранее уже говорилось о мотивации такой полной своеобразия деятельности, как политика. Опыт отправления верховной политической должности и достижения ее свидетельствуют, что и президентам бывают не чужды мотивы с весьма ограниченным нравственным содержанием (честолюбие, игровые побуждения и т.п.) или вообще без такового (приобретательство, тщеславие, стремление к власти как самоцели). Чтобы не упрощать картину, следует помнить, что в чистом виде каждый из этих мотивов стремления к высшей власти, к успеху в политике встречаются редко. Чаще всего они совмещаются друг с другом в различных комбинациях, то усиливая негативные потенциалы, то несколько смягчая их.

Но неужели не существуют такие мотивы президентской активности, которые нельзя определенно отнести к числу нравственных? Или, может быть, высший эшелон политической власти - какое-то зачатое место, где никому не дано уберечь себя не только от покушений на кодекс политической этики, но и от нравственной порчи, сохранить порядочность, более того - реализовать свое нравственное кредо?

Интуитивно массовое сознание рассчитывает обнаружить в действиях политика, ставшего президентом, бескорыстие и беззаветное служение делу. В условиях современной России, наверно, это может выражаться в укреплении расшатанной российской государственности (а именно через поведение президента в первую очередь восстанавливается доверие к государству), продвижении реформ в оптимальные сроки и адекватными средствами, преодолении глубокой политической апатии населения и культурного раскола социума, умиротворении политических страстей, преодолении разнополюсного экстремизма, духовном возрождении и многом другом. Включая еще непоставленные, непроясненные и тем более неотрафлексированные вопросы, связанные, скажем, с утверждением жизнеспособных форм “низовой” демократии и власти власть неимущих.

Как профессиональный политик президент не вправе лишь манифестировать субъективную честность, ссылаться на кристальную незамутненность мотивов своих поступков. Президенту могут быть не чужды мотивы честолюбия, в том числе мотивы славы, исторической памяти. Не чуждается он и стремления к этико-психологическим наградам, к тому, что сейчас весьма неряшливо обозначают как моральное удовлетворение. Его влечет к соединению призвания с признанием.

Добавим к выкладкам, содержащимся в этических рационализациях.

В политической деятельности абсолюты при определенных условиях могут быть обойдены или “заморожены”, так как призывают человека действовать без оглядки на последствия. Между тем, президент, приняв на вооружение принцип безоглядного действия, сменил бы весь смысл данных абсолютов, поменяв в них ценностные знаки на противоположные. Президент не вправе попирает абсолюты морали; но он следует не за прекрасной этикой любви и убеждений, а за особой этикой величайшей ответственности. И не только перед “кем-то” (по необходимости он подчинен волеизъявлению

независимого суда и парламента, ответственен перед своим электоратом, не может не считаться с культурной элитой страны, возможно, должен отвечать перед неким “Комитетом по политической этике”), но и “за что-то”.

Это “что-то” и есть служение делу, следование долгу в лютеровском духе: “Стою здесь и не могу иначе”. А это связано с превратностями судьбы, требует политического мужества, готовности - при необходимости - принести на жертвенный алтарь свою популярность, славу, благополучие, ибо сказано: “Возле власти - возле смерти” (Иван Ильин). Призвание придает политической жизни президента (и жизни в целом) высший смысл, финальную ценность.

Интерес к последствиям своей деятельности, ориентация на результаты, а не на мотивы, вовсе не означают, будто президент за ненадобностью вправе пренебречь чистотой своих мотивов. Он непременно побуждается, с одной стороны, мотивом верности кодексу политической этики, правилам политической игры, даже если тот или иной ее раунд чреват проигрышем, а с другой - метамотивом ответственности за практичность собственных поступков.

Президент предан делу не как случайно затесавшийся в политические дебри человек, пиратствующий в чужой для него среде, или же как импульсивный дилетант от политики, охваченный страстью фанатик с его постоянной возбужденностью и романтическими грезами. Президент - особый профессионально идентифицированный тип человека (хомо политикус). И как преданный делу профессионал он не может не быть ориентирован на накопление опыта, политического капитала, на достижение эффективности своей политики, на обретение успеха.

Он, конечно, тоже человек страсти, в отличие от хладнокровного чинуши, лишь имитирующего политические чувства. Но как профессионал он способен дистанцироваться от вещей и людей, с которыми его сводит судьба. Его пассионарность обуздана изнутри четким, взвешенным политическим расчетом, оснащена организаторским и ораторским мастерством, прозорливостью нравственной мудрости. Именно это позволяет президенту рассматривать свою огромную власть не как самоценность, а лишь как средство (“власть для ...”) служения исключительно делу, даже если оно обременено трагическими последствиями для него лично.

Президентская эйкуменистика: консультация от авторов - “до востребования”

Сказанное в заключении предшествующего фрагмента, конечно, не просто академическая рефлексия, далекая от политических забот: за каждым аспектом многогранной темы обновления президентской политики явно или неявно высвечиваются глубокие мировоззренческие основания, прочитываются определенные моральные предпосылки, система базовых ценностей. К тому же, как мы уже говорили, особенностью современной российской ситуации является одновременное функционирование сразу трех систем ценностей.

Очевидно, ситуация разлада в духовной сфере не может не получить резонанса в собственно политической жизни страны, политических решениях и

методах их реализации, а тем самым - в стратегии и тактике президентской политики, придавая им черты неустойчивости, зыбкости, непоследовательности, обнаруживая колебания, бесконечные откаты от основной линии и возвраты к ней.

В российской президентской политике - коль скоро мы обсуждаем здесь не этику успеха как таковую, а ценностные основания политики высшей политической власти страны - было заложено предпочтение ценностям успеха, находящимся в эпицентре системы классических либеральных ценностей. Однако сегодня такое предпочтение стало раздражать слишком многих политиков и даже не политиков, а “рядовых” участников политического процесса (избирателей, активистов, лидеров мнений и т.п.), чтобы можно было бы всем этим пренебречь. И вместе с тем выявилось немало желающих спекулятивно использовать данные настроения, чтобы получить соответствующие дивиденды.

Можно ли не вслушиваться в аргументы оппозиционеров всех мастей - признавая или не признавая их справедливость в полном объеме, можно ли хотя бы частично утратить чуткость по отношению к массовым настроениям, ментальным структурам (в морали, как известно, аргументы далеко не всегда перевешивают эмоции)? А если нет, то возможно ли серьезное обновление президентской политики без ориентации на этику успеха, взятую вне сложного контекста взаимодействия “трех моралей”? Надо ли отказаться от этого предпочтения вовсе, лишь бы только угодить недовольным?

Ценностным основанием обновления политики высшей власти страны может быть, как нам думается, *поддержка сосуществования* “трех моралей”, чуткое внимание к нарождающимся формам пострациональной морали. Эти формы - повторим - не являются какими-то экстравагантными отклонениями от первых двух, некоей случайной контаминацией традиционности и рациональности. Они - естественный результат развития лучших тенденций, творческих возможностей как традиционной, так и рациональной морали, иначе говоря - этики, дезавуирующей по нравственным соображениям непосредственное стремление к ценностям успеха, достижения и - этики успеха как побудительного (и ограничительного) фактора поведения. В новой складывающейся социальной реальности России есть, так сказать, место и “подвигу успеха”, и нравственно трепетным мотивам отказа от успеха - равно делового, профессионального или жизненного.

Какой должна быть, как говорил Пьер Бурдьё, “этическая поза” президентства в отношении морали вообще, “трех моралей” в частности? Институтция, понятно, испытывает искушение стать “государственным воспитателем” страны, чуть ли не демиургом новой морали общества. Его еще только предстоит преодолеть без сожалений. Как, впрочем, и искушение стать “великим дидактом”, исправляющим общественные нравы стилем своего собственного поведения, используя себя самого в качестве наилучшего наглядного пособия по части морали (что приемлемо для Америки, хотя и там эта миссия

президента скорее лишь декларируется, нежели реально используется, но может не подходить для России?).

Итак, еще раз: кем или чем может быть российское президентство по отношению к нравственной жизни общества? Как именно *президентская* политика (а не вообще политика) может и должна влиять на мораль? И как президентская политика в ее *обновленном* виде способна впитать в себя импульсы, идущие из сферы нравственности?

Прежде всего, она призвана быть чуткой к обновленческим процессам в самой морали, к инновациям в духовной ситуации страны. Это и чуткость к новым моральным запросам общества, уставшего от конфронтации, экзальтации противостояния, поиска моральной аргументации для обеспечения этого противостояния. Это и восприимчивость к многообразию таких запросов (не забудем, что советский человек привык к мономоральности, и плюрализм в морали его смущает еще больше, чем плюрализм в политике), и отказ от попыток насильственными средствами повлиять на моральную ситуацию в обществе, и отказ от чисто наблюдательной позиции, от “хвостизма”. Президентская политика обновления не должна, подобно философии (по Гегелю) “приходить слишком поздно”. И “слишком рано” не должна приходить. Вовремя!

Так, опыт ставки на ценность успеха в первую президентскую пятилетку в России показывает, что политика “не увидела” ни *полного потенциала* этики успеха, ни тех *перемен*, которые произошли в этой этике тогда, когда стала формироваться пострациональная мораль. По существу, эта политика делала ставку на *устаревшую* версию ценностей и норм этики успеха, уже изживаемую в цивилизации, вступившей в эпоху постиндустриализма. К тому же, акценты этой политики на воспроизводство в России рыночных институтов и демократических форм правления игнорировали необходимость “выращивания” соответствующих ценностных позиций у носителей “недорациональной” морали. Вместо установки на *сосуществование* приверженцев этики успеха с приверженцами “недорациональной морали” была избрана - скорее всего неумышленно - позиция такой же острой *моральной конфронтации*, как и той, что поразила социально-экономическую, политическую и культурную сферы жизни общества.

В итоге президентская политика лишь частично опиралась на моральный потенциал общества - вместо всеобщей “моральной мобилизации”.

Используя парафраз, можно сказать, что все то в президентской политике нравственно, что содействует пострациональной морали, а стало быть, умеряет чрезмерные амбиции этики успеха и усмиряет реваншистский дух традиционализма.

Такого рода предпочтение пострациональности в моральных основаниях президентской политики, предполагающее сосуществование всех трех типов морали, нельзя считать беспринципностью, неразборчивостью. Речь идет о толерантности, причем в ее сильной, а не слабой версии, которая предполагает, что каждая из взаимодействующих сторон ради сосуществования отказывается

от чего-то важного для себя, подобно тому, как истину представляют в виде ослабленных крайностей. Обновляемая политика должна придерживаться такой версии толерантности, когда ставка делается на развитие всего перспективного, неувядаемого, *нравственно прекрасного* в каждой нормативно-ценностной системе.

Разумеется, образ такой версии трудно, не впадая в утопию, представить в конкретных и завершенных чертах. Но уже сейчас очевидно, что каждая из граней обновляемой президентской политики не может не быть пронизана обновленным этическим смыслом.

Глава семнадцатая

ЭТИКА РОССИЙСКОГО ДЕПУТАТСТВА

Общий замысел проекта

Второй этап реализации макропроекта “Кредо и кодекс российской власти” так же, как и первый, не имел ни политического “заказчика”, ни предписанного результата. В то же время этот этап в гораздо большей степени был ориентирован на культурно-идеологический диалог общества и власти.

Замысел проекта основан на предположении, что российская представительная власть не рассматривается обществом в качестве серьезного общественного явления и состоявшегося политического института. Сегодня она воспринимается скорее как некий “довесок” к уже функционирующему централизованному административно-бюрократическому аппарату. Без особого труда - путем анализа неспециализированных этических рационализаций - в массовом сознании можно зафиксировать *неадекватное* отношение российского общества к своей представительной власти. При этом *разочарование и безразличие* - среди прочих общественно значимых настроений - по сути являются определяющими не только по отношению к ныне действующему российскому парламенту, но и к *депутатству* как социально-политическому и нравственно-психологическому явлению.

Причины подобного отношения общества к собственной властной репрезентации неоднозначны. В самом деле, откуда взяться *адекватно заинтересованному* отношению к общественному представительству в такой стране, где институты местного самоуправления и гражданского общества находятся в эмбриональном состоянии?

Откуда взяться *уважительному* отношению к представительной власти в стране, где фактически отсутствуют сколь-нибудь развитые и длительные традиции парламентаризма [2], а законодательные prerogatives чаще всего концентрируются в руках исполнительной власти, которая сама изобретает и утверждает законы для собственного же исполнения?

Откуда взяться *адекватно сочувственному* сопереживанию судьбы парламентаризма, если первый опыт его инсталляции в общество так называемого “переходного” типа не продемонстрировал избирателям наглядных преимуществ плюралистической демократии, не убедил электорат в функциональности этой плохо структурированной институции?

Список соображений, обосновывающих причины *устойчивой общественной апатии и скептического отношения* электората к представительной власти, можно было бы продолжить, дополнив его отсылками к традициям российской политической культуры, к условиям и порядку нормотворчества в России, театрализации политической жизни, в конце концов. Общий диагноз в любом случае вряд ли существенно изменится: представительная власть в сегодняшней России по-прежнему остается не оцененным и непонятым, а именно *рационально не оцененным и адекватно непонятым* феноменом демократического общества “переходного типа”.

Подобное восприятие природы российского депутатства в массовом сознании предопределено, кроме всего прочего, весьма специфической системой сегодняшних общественных ожиданий, системой, лишь в минимальной степени обращенной к развитию рационального правового и морального кондоминиума общества над властью, то есть собственно легальных “правил игры”. Напротив, ожидания избирателей и избранников подчас весьма далеки от морально-правового нормотворчества и легализма, что неизбежно отражается на самих “правилах игры” в депутатство и его ценностно-мировоззренческих манифестациях.

Отсюда отсутствие в массовом сознании единого *образа и концепции* депутатства, его кредо и кодекса.

В то же время российское общество как бы свыклось с институцией представительства и, соответственно, с фактом представительной демократии, интуитивно и подсознательно оно приняло феномен депутатства как неременный фактор политической жизни, что, впрочем, кажется порой необоснованным предвосхищением нормы, свойственной более развитой степени национальной политической культуры.

В ситуации, когда в стране функционирует множество аналитических служб, центров и даже институтов, осуществляющих интеллектуальную и организационную поддержку депутатства в России, мы намеренно ограничиваем нашу исследовательскую претензию *пониманием* феномена российского депутатства в его ценностном аспекте, оставляя за скобками вопросы политических технологий и правовых рамок реализации депутатства как демократической институции.

Собственно говоря, нас прежде всего интересуют проблемы этики депутатства в том виде, как они преломляются сквозь призму рационализаций всех видов, соединяющих массовые представления и идеологические влияния.

Три типа суждений

о моральном измерении депутатства

Суждения о таких сложных материях, как представительная власть в ее моральном измерении, могут быть для массового сознания очевидными, не очень очевидными и вовсе не ясными, непроницаемыми.

Очевидно, что представительная власть как специфический социальный институт со своими целями и задачами не способна сколь-нибудь эффективно действовать, если она не оснащена суммой правил, норм, регламентов действий (как, впрочем, не могут сносно функционировать без соответствующих регуляторов и другие ветви государственной власти).

Такие процедуры, нормы, правила задаются уже при “закладке” фундамента здания представительной власти - в Основном законе страны, который является для них главным, хотя и не единственным источником. Затем эти нормы, процедуры, правила по мере необходимости подправляются и дополняются законодательным органом. При этом парламент принимает во внимание обычаи, национальные традиции в политической культуре страны,

судебные прецеденты. Так определяется мандат депутата, то есть объем его полномочий, обязательств, его права, привилегии и иммунитеты.

Мы говорим сейчас о правовых, административных и даже технико-организационных установлениях. Они исследуются в рамках парламентского и административного права, а также политического менеджмента. Но менее очевидно, что такие установления каким-то образом взаимодействуют, соединяются с нерасписанными и неформализованными моральными нормами. С небольшой долей риска их можно было бы назвать “невидимой рукой” политического рынка. Но при условии, что они предварительно определенным способом (стихийно и намеренно) изменили форму, состав, конфигурацию, будучи приложенными к такой до краев наполненной своеобразием сфере человеческой деятельности и отношений как политика.

И уже совсем не очевидно, какие моральные феномены скрываются за подобными нормами - от общих ценностных представлений до разноцветья нравственных идеалов. Такие феномены морального мировоззрения образуют *кредо* российского депутатства.

Желая обрести твердую почву под ногами, представительная власть должна в первую очередь прояснить сущность моральных норм, профилировать их с учетом специфики депутатской деятельности, хотя бы отчасти формализовать и по возможности свести в целостные *этические кодексы* парламентского поведения. Думается, такие попытки вполне актуальны для российского депутатства. Кодексы, как мы уже говорили в тринадцатой главе, предназначены для того, чтобы регламентировать деятельность депутатов, которая не поддается нормативной регуляции на основе правовой и административной ответственности. Такие нормы должны соответствовать известному *стандарту* (модели, образцу, парадигме) порядочности, этичности парламентского и внепарламентского поведения не рядовых граждан, а облеченных особым доверием избранных народа, обладающих властными полномочиями людей, от которых так или иначе зависит и судьба рядовых граждан.

Вправе ли рядовые граждане судить обо всем этом? Давным-давно Перикл мудро заметил, что “не многие способны быть политиками, но все могут оценивать их деяния”, и именно потому, что от решений и действий политиков существенным образом зависят дела и судьбы людей. Однако в качестве инстанции, непосредственно контролирующей соответствие поведенческих реалий депутатов писаным и неписаным предписаниям кодекса, требованиям стандарта, палатами обычно создаются специальные *этические комитеты* или комиссии, выполняющие роль своеобразных рупоров группового и общественного мнения. Они, разумеется, могут называться и иначе, но сути дела это не меняет. Комитеты или палата в целом, спикер палаты или ее руководящий орган в письменной или устной форме могут устанавливать (по закону или чаще по обычаю) дисциплинарную ответственность за нарушения обязательных или рекомендательных норм кодекса и определять соответствующие санкции (типа призывов к порядку, замечаний, порицаний,

выговоров, лишения слова, сокращения жалования, временного недопущения в зал заседаний и т.п.).

Кодекс депутата: от этикета к этике

Обращаясь к содержательной характеристике этических кодексов депутатства (а речь идет прежде всего о федеральных, но отчасти и о региональных органах представительной власти), *во-первых*, обратим внимание на одно весьма существенное обстоятельство: обыденное сознание в подобных кодексах главный интерес проявляет не столько к собственно этическим, сколько *этикетным* (от французского - “малая этика”) правилам - правилам общения депутатов друг с другом, с руководящими фигурами палаты и со всеми иными участниками политического процесса (сотрудниками исполнительного аппарата власти, представителями прессы, экспертами, лоббистами, партийными функционерами, должностными лицами парламента, обслуживающим персоналом и, конечно же, избирателями).

Это - правила бонтона, приличия, благопристойности, корректности, если угодно - даже любезности, деликатности, столь важные для тех, чья карьера во многом зависит от голосов избирателей. Правила эти достаточно либеральны и вряд ли кому-то придет в голову назвать их депутатским “домостроем”. Однако *этикетные* правила вовсе не нейтральны *этически*. Они облегчают политическое общение, содействуют взаимопониманию, оберегают достоинство людей. В них пульсируют побуждения человечности, мотивы доброжелательности. Они направлены на пресечение в парламентских буднях грубости, невоздержанности, бесцеремонности, развязности, и это чутко воспринимает массовое сознание, а затем транслирует такие представления в этические рационализации, где они “дистиллируются” и получают обоснование.

Следование правилам бонтона составляет существенную часть этического стандарта политического поведения депутата, образует, так сказать, культурно-нравственный минимум, скорее - “минимум миниморум”. Не случайно во всех европейских языках в ходу речевой оборот - “непарламентские выражения”. Иногда говорят об этике публичных выступлений депутатов (Аристотель говорил об особом этосе ратора). Этикетные правила не ограничиваются лишь внешним лоском, приглаженностью манер, приторно-фальшивой ритуалистикой (хотя они и могут подчас скрывать за учтивостью и лощеными манерами лицемерие или безразличие к тем, с кем общаются).

Нам очень не хотелось бы впасть в назидательность, в сто раз проговоренное нравоучение. Много в парламентском этикете самоочевидно для культурного человека, но депутаты довольно скоро, с одной стороны, обнаруживают в своей среде немало таких, кто страдает “иммуннодефицитом” моральности, а с другой - выявляют и немало тонкостей (парламентский этикет существенным образом отличается от этикетов дворцовых, театральных, церковных, праздничного застолья и т.п.) и даже противоречий, что требует особого обсуждения на заседаниях этических комитетов. Впрочем, они не вправе выступать в роли “судей” провинившихся депутатов за пределами

процедурных и этикетных правил, вторгаться в судейской роли в вопросы собственно морального свойства. Лишены ли они тем самым права на *моральную оценку*?

Разрешим ли парадокс моральной оценки?

Этот вопрос необычайно труден для массового сознания. Самые изощренные этические рационализации оказываются далеко не всегда способными его разрешить: он входит в компетенцию этики как научной теории.

Известно, что именно мораль в роли оценочного сознания недвусмысленным образом обязывает к предельной осмотрительности в оценках поступков других людей, тем более - в оценках их как людей добрых или злых. Дано ли отдельному лицу, группе, комитету по парламентской этике право выступать от имени Морали и судить-рядить кого-либо, кроме самих себя? Ведь сказано: “не судите, да не судимы будете” и “мне отмщение и аз воздам”. Депутат должен отвечать за свои поступки как юридически вменяемое лицо. А как моральный субъект, который несет ответственность перед своей человеческой и политико-профессиональной совестью?

Парадоксальность практики моральных оценок, по справедливому суждению одного видного российского философа, заключается в том, что тот, кто мог бы выносить моральные оценки другим, не станет того делать, сознавая собственное несовершенство, а тому, кто готов выносить моральные “приговоры” другим, нельзя этого доверять (именно потому, что он готов это сделать, обнаруживая самодовольство и тем самым несоответствие роли судьи).

Не закрывает ли эта парадоксальность саму идею именно *этических*, а не просто “*этикетных*” комитетов? Не означает ли сказанное моратория на *оценочную* практику комитетов? Массовое сознание как будто расположено принять подобный запрет.

Но мы, наперекор этому запрету, обратим внимание на известную традиционность или инерциальность использования прилагательного “*этический*” в применении к кодексу политического поведения депутатов, к названию соответствующих комитетов. Ведь кодекс, как мы уже не раз отмечали ранее, фиксирует лишь *минимум* моральных требований и этикетных предписаний, да и то не в чистом виде, а только в связи с правовыми и административными нормами.

Не забудем и то обстоятельство, что в современной России, в залах и кулуарах ее парламентов (в думах, советах, собраниях и т.п.) сплошь и рядом встречаются неумное стремление политиков морально скомпрометировать своих противников, попытки прямого или косвенного морального самовозвеличения. Очевидно, что среди мотивов такого поведения не последнее место занимает привлечение к себе внимания и симпатий массового сознания.

История парламентов мира полна событиями скандального свойства, поведение депутатов далеко не всегда было сдержанным и соответствующим правилам хорошего тона (нередки примеры использования ненормативной

лексики, рукоприкладства, неприличного внешнего вида и т.п.). В России же на парламентских нравах сказались еще и разбуженные политические или околополитические страсти массовых слоев населения. Подобные страсти высвобождают энергию распада, импульсивность, податливость всевозможным слухам, ненависть, мстительность, злобу. Полемика нередко, как говорится, с полуоборота, доводится до уровня фанатичной моральной нетерпимости, когда противники преподносятся публике даже не как люди, совершившие не очень благовидные поступки, а чуть ли не как носители “сатанинских начал”.

При таком оценочном своеволии мораль из способа обеспечения сотрудничества и согласия между людьми и организациями становится своим антиподом. И тогда политическая игра в стенах российского парламента ведется без правил. Начинают противоборствовать не рациональные интересы, а плохо калькулируемые иррациональные страсти. Политические действия оказываются направленными (или без особого труда могут быть направленными) на разгром и уничтожение соперничающих участников политического процесса. Возникают нетерпимость, патологическая ненависть к другому, непонятному, чужому. Подобная игра завораживает тех, кто охвачен зудом политического экстремизма, даже если игроки при этом щеголяют приличным платьем и джентльменскими манерами.

Вспомним, что нормы политической этики как раз и направлены на то, чтобы не допускать превращения соперничества, конфликтности во враждебность и озлобление. Тогда выигрыш одних в ходе так называемой мягкой конкуренции хотя и может означать проигрыш других, но в данном случае проигрыш не ведет к тотальному попранию интересов проигравших. Действие по правилам честной игры цементирует устои политического порядка в целом, дает новые шансы для последующих выигрышей, выявляет дополнительные возможности продуктивного диалога, открывает новые, подчас неожиданные перспективы.

Презумпция честной игры такова: депутаты принимают нормы и ценности политической этики успеха в качестве и побудителей к деятельности, и ее ограничителей, они способны сбалансировать свои цели, средства и ограничители, а также понять, где и когда надлежит отказаться от применения правил политической целесообразности. Те же, кто не принимает этих норм и ценностей, оттесняются на периферию парламентской жизни, морально табуируются.

Вернемся к парадоксальной ситуации, бросающей вызов здравому смыслу, на которой опираются этические рационализации в своей деонтической логике: как быть с со сферой собственно моральной компетенции этических комитетов, с их притязанием на собственно моральное оценивание?

Как известно, если моральные универсалии, абсолюты морали предлагают “не судить”, запрещают претендовать на роль “нравственного судьи”, всячески поддерживая непоказную скромность, то партикулярные моральные кодексы, различные отрасли *прикладной этики* (профессиональные кодексы, политическая мораль, этика предпринимательства, этос управления, этика

воспитания и др.), преодолевая парадоксальность морали, уже не содержат подобных самоограничений. Все они, начиная проповедовать отказ от оценок, немедленно утрачивают свое назначение - быть моральными средствами обеспечения эффективности и успешности специализированной человеческой деятельности.

Нормативно-ценностная регуляция на основе данных кодексов, хотя в них добро и зло не отделены друг от друга однозначно, без полутонов, (как хотелось бы носителю массового сознания), имеет притязательный характер. Иначе говоря, она предполагает обязательность, долженствование, не только направленные субъектом на самого себя, но и относящиеся к другим. Этим своим свойством она роднится с правом, не утрачивая, впрочем, специфичности собственно моральной регуляции и ориентации поведения. В этой связи представляется уместным утверждать о существовании в поле политической деятельности *этико-правового кондоминиума* над действиями политиков, что относится и к институту российского депутатства.

Этические комитеты парламентов могут и должны не только заниматься профилактикой девиаций, но и высказывать оценочные суждения по поводу тех или иных поступков (проступков) депутатов. Они могут и должны сопровождать выносимые оценки не только санкциями типа неодобрения или порицания, ограничения коммуникаций, но, как уже говорилось, и санкциями институциональными, формальными, заранее определенными и отнюдь не стихийными.

Парламентская этика в России: запаздывающее развитие?

Этикетные провинности и даже отклонения от этического стандарта поведения во многом очевидны для массового сознания. Они не представляют особых затруднений при оценивании. Но за стандартом просматриваются нравственные коллизии повышенной сложности, поступки, за которыми скрывается клубок мотивов, обстоятельств и последствий, решения, полные драматизма, когда обычные позитивные и негативные оценки, которыми так легко оперирует массовое сознание, оказываются малопригодными для того, чтобы охватить ими нравственные конфликты такой специфической деятельности как парламентская работа. Эти коллизии связаны с противоречиями в политической и нравственной культуре общества (парламент - их одновременно и незамутненное, и искривленное зеркало). Они предполагают трудные нравственные искания, обусловленные национальными особенностями психологии парламентариев, спецификой становления российского парламентаризма, особенностями того самого массового сознания, которое лицемерит деятельность нашего парламента, морально оценивая ее.

В отличие от парламентаризма стран Восточной Европы и некоторых государств, возникших на территории бывшего СССР, российский парламентаризм до сих пор так и не смог определиться в своей национальной идентичности. *Кредо* российского депутатства остается несфокусированным,

крайне расплывчатым, не проясненным как для него самого, так и для общества. Речь идет не о нравственных достоинствах или недостатках депутатов (хотя и это весьма существенно) и не об имидже, который они охотно демонстрируют общественному мнению, и которым, как им мнится, они располагают реально, а о противоречиях в политической и нравственной культуре общества, отраженных в этике российского парламентаризма.

В политической сфере все социокультурные расколы, вся инверсионность движения, его маятниковость ощущаются в большей степени, нежели в других сегментах общественной жизни. Не удивительно, что страна, ее общественное мнение (в той мере, в которой ему удалось сложиться), массовое сознание сравнительно безболезненно восприняли почти все *формы и формулы, структуры и механизмы* современного парламентаризма, но не поспевали освоить ни соответствующую *политическую логику*, ни ценностный язык политики, ни *соответствующую этику*.

Говорят, что современная Россия на скорую руку приняла устаревшие формы капитализма - как в свое время она приняла христианство, - но только в их вещественной и социально-экономической ипостаси, не сделав того же в отношении главного их движителя, “духа” капитализма. Эта мысль может быть в полной мере применена к области политической демократии. Предпринимательские навыки у нас, хотя и были в загоне, оказались развиты неизмеримо больше, нежели демократические традиции в государственном управлении; худо-бедно, но были эмбрионы как предпринимательской этики, так и трудовой морали. Этого нельзя сказать об этике парламентаризма. Парламентские институты были трансплантированы чуть ли не в одноразовой операции, тогда как порождающий и развивающий их дух оказался невостребованным.

Собственно говоря, дух парламентаризма, его этику нельзя “освоить” в виде привлекательного и хорошо упакованного серийного продукта духовного импорта, даже интегрировав их в ходовые этические рационализации - беллетристические, публицистические, попкультурные и т.п. Можно и нужно использовать мировой опыт парламентаризма, но насадить его нельзя: эффект отторжения последует без промедлений или не заставит себя долго ждать. Опыт должен упасть на хорошо взрыхленную и обильно удобренную почву, чтобы дать всходы, а не на такую почву, где парламентские традиции или вовсе “не ночевали”, или их семена были в свое время тщательно выполоты. Данная этика должна быть продуктом инновационного акта, чтобы органически вписаться в нашу культуру, а не навязываться ей на манер петровских ассамблей. Парламентская этика должна возникнуть в контексте не мировой, а именно российской демократии. Скорее всего, такой акт еще сильно задерживается или протекает крайне вяло.

Подобная констатация тем более верна, если мы говорим не только о кодексе парламентского поведения, который сравнительно легко принять и даже исполнять, а о кредо, о нравственной философии российского парламентаризма как главном нерве депутатской этики. Хотя по ряду признаков

можно предположить, что нулевой цикл его созидания, инкубационная фаза поиска национальной идентичности парламентаризма уже миновала. Может быть, осторожности ради лучше сказать, что возник ряд предпосылок для такого созидания. Прежде всего, в форме взносов в фонд общедемократических традиций, поступивших из сферы культуры, из “низовой” демократии и “малых” парламентов: федеративный парламент не варится в собственном соку, впитывая идущие извне демократические импульсы.

О нравственной философии российского депутатства и правилах честной политической игры

Попытаемся хотя бы пунктирно наметить главные сюжеты нравственной философии депутатства, лежащие в основе его кредо. Мы не рассматриваем здесь этические координаты деятельности российского парламента в целом и не анализируем политические взгляды депутатов, программы парламентских фракций, принятые палатами решения, декларации, законы и т.п. с точки зрения их нравственного значения.

Такая задача неминуемо увела бы нас в тему политики и морали, содержащую оценочные шаблоны и клише соответствующих суждений для массового сознания. Пришлось бы определить нравственную “цену” того или иного политического курса, возобладавшего в парламенте, если в нем доминирует сплоченное большинство, и “цену” консенсуса, если в нем нет доминирующего большинства. Пришлось бы определиться с моральной легитимацией как политического курса, так и консенсуса, устанавливать способность общественной нравственности (преимущественно представленной в виде указанных оценочных шаблонов и клише) контролировать политическую деятельность органа представительной власти. Все это само по себе исключительно важно, тем более, что невозможно полностью отстраниться от политической практики в ее соотношении с моралью, когда обсуждаются кодекс и кредо политического поведения депутатов.

Политическая этика формулирует и защищает правила *честной политической игры*. Они очень своеобразно соотнесены с правилами политической целесообразности и политического искусства, при этом и те, и другие правила имеют деонтическую природу. Политик обязан быть успешным деятелем, ориентироваться на достижение своих целей по принципу “максимальный результат при минимальных усилиях”. Долг депутата - отстаивать именно такую установку. В противном случае вся его легислатура обесмысливается.

Однако, ориентация на достижение программных целей и задач, достижение политического успеха (не обязательно громкого) лишь тогда нравственно оправданы, когда не нарушается другое, не менее существенное должностное - необходимость соблюдения правил честной политической игры (не лицемерить, не обманывать, держать слово, выполнять взятые обязательства и т.п.), независимо от того, выгодно или невыгодно это делать в каждом конкретном случае. Понятно, игра при этом сразу же усложняется.

Соединить одновременно критерии успешности с критериями честности, две лишь в конечном счете сплавляемые стратегии поведения, не просто. Но нельзя и уклониться ни от одной из них - достижение успеха не вообще в политике, а в честной политической игре является прямой обязанностью политика, частью его духовной социализации.

Проще всего исповедовать деонтику политической необходимости, якобы дающей депутату индульгенцию на моральное отступничество и призывающую только по возможности минимизировать отказ от моральных ценностей. Политическая практика изобилует примерами подобного рода. Считается, что где-где, а уж в политике без подобного оппортунизма нельзя добиться реализации благородных целей (“хотели как лучше”). Такие предлоги подчас благосклонно воспринимаются - либо прямо, либо через соответствующие рационализации - массовым сознанием, тем более, если под эти предлоги подверстываются стремления осчастливить чуть ли не всю страну, государство, отдельную группу населения и т.п. На такой почве легко вызревает феномен политического двуличия, лицемерия и цинизма, которых вскоре перестают стыдиться и подчас ими бравируют, почитают за доблесть, когда соревнуются в мастерстве по этой части в духе древнеримского авгуризма.

С другой стороны, нельзя смешивать честность с грубой прямолинейностью, негибкостью, наивностью, которые противопоказаны политику. Через такую специфическую форму этических рационализаций, как охотно читаемые и почитаемые биографии выдающихся политиков (Ш. де Голль, Дж.Неру, Ф.Рузвельт, Ф.Миттеран и др.) массовое сознание воспринимает эту этико-праксиологическую истину. Лавирование, компромиссы, умение комбинировать, находить хитроумные ходы - вещи совершенно необходимые депутату, но они вовсе не означают одобрения беспринципности, моральной нечистоплотности, бессовестности, трюкачества, демагогии, отказа от действий с “чистыми руками”. Подобно тому, как можно было побеждать в безупречно честном рыцарском поединке или на дворянской дуэли с очень высокими ставками при проигрыше, так и в политике можно вести честную игру и при том добиваться успеха.

Заметим, что от депутата требуется честность не только по отношению к обещаниям, данным избирателям, не только по отношению к “своим” (членам фракции, партнерам по коалициям, членам партии или движения), но и по отношению к “чужим” - политическим оппонентам и даже противникам.

В качестве ответной реакции на моральное отступничество возникает ажиотажный “спрос” на политическую честность, весьма, к слову сказать, отличающуюся по своим последствиям от честности бытовой. Не так давно один наш видный политический деятель заявил по телевидению: дело не в новых идеях и не в программах, а в том, чтобы власть на своих вершинах была честной, не вралась и не воровала! Понять его можно. И этот императив импонирует массовому сознанию. Но при этом забывается, что власть, в том числе и власть представительная, должна быть эффективной, социально выверенной, ответственной и профессионально исполняемой. Когда же

возникает дефицит на честность, тогда она становится самым ходовым товаром на политическом рынке и предметом опасных популистских спекуляций. Это сопровождается самовосхвалением парламентских “крикунов”, да так, что, как говорили прежде, белизна их риз слепила взор наблюдателю. С популизмом связана и коварная игра на неспособности рядового избирателя - субъекта массового сознания - разобраться в тонкостях политики, в ее профессиональных “тайнах”.

Стремление согласовать установки на успешность своей деятельности с политической честностью нередко ставит депутатов перед труднейшим моральным выбором, когда приходится поступиться одной нравственной ценностью ради осуществления другой - иногда нет иного достойного пути без подобной жертвы. Депутатам, не заглядывая в “святцы” кодекса, предстоит самим сделать верный выбор, то есть сопоставить противоречащие друг другу ценности в конкретной ситуации и взять на себя всю ответственность за выбор, за его ближайшие и отдаленные последствия (ведь политическая этика - во многом конвенциональная, а не только мотивационная система).

Если депутат - не пассивная, демонстрационная фигура в политике, неведомо как очутившаяся на парламентских скамьях и в полудремотном состоянии отбывающая свою представительную повинность (из таких образуется депутатское “молчаливое большинство”, более возбуждающееся от шумных политических акций, нежели от кропотливой и “скучной” работы в границах законотворческой “каторги” со слабо выраженным игровым началом), то ему не уклониться от действий в пограничных ситуациях морального выбора. Нет таких реальных политиков, которых судьба избавляла бы от тягостной необходимости осуществлять моральный выбор между ценностями и нести за него ответственность в полную меру. А это означает политический риск (избирательной кампанией, карьерой, имиджем, честным именем, состоянием), и выбор тяжким грузом ложится на политическую совесть депутата (бремя вины перед другими и - скажем несколько высокопарно - перед страной и историей, самоосуждение, метанойя с изменением собственного “Я”).

Бремя морального выбора: скромность самооценки

Справиться с бременем морального выбора и, по существу, с освоением кредо депутатства, его социальной миссии позволяет, во-первых, систематическое преодоление депутатами неадекватно преувеличенных самооценок и представлений о собственной исключительности, которые по требованию выдают “охранную грамоту” избраннику, когда тому оказывается удобнее уклониться от нравственной ответственности за содеянное. Хотя у парламентариев нет чрезмерного ощущения личной власти, которым подчас располагает даже мелкий чиновник из аппаратов исполнительной власти, у него есть ощущение значительности как собственной персоны, со сверхпрестижностью своих депутатских занятий, так и того, что творится в залах заседаний и в рабочих комнатах парламентских комиссий. Кажется, будто

в этих помещениях могут решаться любые (а не строго определенные Конституцией) вопросы и там чуть ли не творится история.

Политическая этика требует, чтобы депутат не почитал себя за жалкую марионетку лидеров фракций и исполнительной власти. Но она вместе с тем трезво предлагает оценивать депутатские права и возможности, предотвращая грех собственной заносчивости, выхода за рамки общеобязательных нравственных норм, импульсивное или намеренное уклонение от морального выбора с его непредписываемой “инстанциями” суверенностью решений и оценок. Такое требование политической этики облегчает и достижение компромиссов, столь необходимых для того, чтобы парламент функционировал как слаженный механизм, равно и для того, чтобы не следовать по пути беспринципных компромиссов.

Между тем, в отечественной ментальности еще очень сильны предубеждения против компромиссов, в том числе нравственно оправданных и, тем более, достойных решений в конфликтных ситуациях. Это обстоятельство повлияло и на ценностный аспект массового сознания, а также на значительную часть этических рационализаций, созданных с его участием. Не удивительно, что в сознании части депутатов еще не разрушена своеобразная диафрагма, которая задерживает все, что могло бы вести к смягчению политических (и персональных) конфликтов внутри и вовне парламентской жизни, что содействовало бы поиску промежуточных позиций, с которых можно было бы вести переговорный процесс, и не допускало бы применения правила “все или ничего”. И даже оправдывало бы компромиссы критерием выбора “наименьшего зла”.

Вместе с тем, в той же ментальности, в которой компромиссы клеймятся как “измена принципам”, “ловкачество”, “попустительство”, в лексике двухцветного манихейского мира удивительным образом уживается ориентация на бесконечное лавирование по бурным водам политического моря, когда стратегия как бы улетучивается, испаряется в тактике компромиссных забот или готовности подменить компромиссы уклонизмом, сговором, что превращает “меньшее зло” в зло абсолютное.

Бремя морального выбора: дух парламентского корпоративизма

Освоению ценностей и социальной миссии депутатства как условия для разрешения проблем морального выбора способствует, *во-вторых*, дух корпоративизма как составная часть нравственного кредо. Палаты российского парламента вполне подходят под обычное определение корпорации как относительно замкнутой ассоциации, которая выражает интересы своих членов и защищает их. Это обстоятельство уже оказалось осознанным депутатами, несмотря на межфракционное противоборство, на отсутствие “симфонической общности” (в терминах евразийства) и зависимость от разделяющих депутатский корпус внепарламентских факторов (влияние интересов

избирателей, которые представляют всевозможные группы давления, лоббистские команды, воздействие дисциплины партийных организаций и т.п.).

Однако, есть немало поводов думать, что при этом корпоративная идентичность наших парламентариев еще не основана на подлинном “экспри де кор”, духе свободного объединения и социальной чести. Она в большей степени побуждает помнить об обособленном от предгражданского общества “группизме” с его желанием оградить себя от испытания риском, со стремлением получать побольше различных благ, не утруждая ориентацией на достижения политической системы и на свободное развитие самих членов корпорации. Хотя внутри парламента, по всей видимости, так и не утвердились ценности патернализма и вассалитета рядовых по отношению к элитам палат, однако сформировались настроения группового эгоизма, солидаризма, не ведающего самоограничений. Это весьма рельефно проявляется при решении вопросов о парламентской неприкосновенности. В этом пункте дает о себе знать “вилка” во взглядах депутатов и представлениях об их статусе в массовом сознании, в высказываниях “человека с улицы”.

Бремя морального выбора: жизненное и профессиональное призвание

В-третьих, - и это самое существенное - нравственное кредо российского депутатства содержит ценности *жизненного призвания*. Его формула гласит: социальная миссия представительной власти заключается в ответственном *служении Делу* выражения и защиты общественного блага во властных структурах, не допуская авторитаристского отчуждения власти от пока еще инертного и расколотого общества, игнорирования его интересов и настроений, сужения социальной базы власти, маргинализации общества и личности по отношению к властным структурам. При этом служение общественному благу должно быть сочленено с пока непроявленным корпоративизмом, партийными и территориальными интересами и столь же неясным лоббизмом. Но, так или иначе, именно служение общественному благу лежит в основе морального выбора, является критерием выбора в ситуациях конфликта ценностей.

Такое служение может потребовать от депутатов в ряде случаев самоотверженного поведения, чему лучше всего способствует аскетическая мотивация политической активности и соответствующий нравственный идеал. Но самоотверженность не может быть принципом политического поведения в повседневной деятельности парламентариев. Она не должна жестко противопоставляться личной заинтересованности депутата, чей нелегкий труд неплохо оплачивается и связан с некоторыми материальными льготами. Депутат - не “святой” и не “отшельник”, а поэтому оплата его труда означает “честное пропитание” профессионала и оказывается одним из источников независимости его политического поведения.

Хуже, если подобная заинтересованность сопровождается не искренним интересом к самому делу, побуждается не мотивами служения ему, а лишь декорацией подобного служения: публичность деятельности парламентариев

подталкивает их к тому, чтобы постоянно демонстрировать свою неиссякаемую озабоченность состоянием общественного блага и делать вид, будто собственные материальные, карьерные, престижные, властолюбивые соображения их ни капельки не беспокоят. Другой вопрос, демонстрируют ли они такую озабоченность с подлинным артистизмом или же делают то же самое бездарно и постыдно, заигрывая с отсталой в культурном смысле частью электората, чьи пристрастия и ожидания включены в массовое сознание (напомним, что парламентская жизнь неизбежно театрализуется, становится по своему привлекательным зрелищем и в том нет прегрешения, если только при этом не утрачивается эстетическая мера).

Этику интересует не показная ответственность за исполнение своих обязанностей, не способы перенесения ответственности с отдельных лиц на всю парламентскую корпорацию или, скажем, на фракцию, а неподдельный дух призвания, дух, который органически соединяет призвание жизненное с призванием деловым, воплощает профессионализм депутата как политика и как законодателя, не позволяя профанировать профессиональное искусство политика, превращая его в шарлатанство, в грубые приемы популизма и манипулирования массовым сознанием. Он не только помогает смягчить последствия “нервной работы” депутата, свыкнуться с ее прозаическими аспектами, но и создает заслон недобросовестности и некомпетентности в этой работе, не позволяет депутату беспечно отлеживаться на парламентской “печи”, накапливая энергию для постпарламентской карьеры: ему суждено расточать ее прежде всего в стенах парламента за весь срок, на который он избран.

Дух этот - свидетельство жизненного предназначения в том смысле, что “политиком не становятся, а им рождаются”, что служение делу предполагает наличие особенностей ума и характера, которые, конечно, можно и развивать, но для этого их надо сначала иметь. Поэтому депутаты различаются не только политическими ориентациями, но и степенью понимания стоящих перед парламентом проблем, уровнем профессионализма и нравственными основаниями принимаемой ими ответственности.

Служение делу в целом содействует смирности, а не сознанию собственной исключительности. У преданного делу человека явно выражено стремление к глубокому душевному равновесию, удовлетворенности своей деятельностью. Это характерно для всякой творческой личности, но такое равновесие на парламентском поприще, к сожалению, достигается с большим трудом.

Вернемся к задачам этических комитетов парламента. Им предстоит труднейшая работа по *этической экспертизе и консультированию* принимаемых решений в сложных, нестереотипных, нравственно-конфликтных ситуациях, когда сталкиваются ценности разной степени важности, а выбор одной из ценностей не увеличивает этического достоинства других и даже может их попить. Комитеты обязаны распространять хорошо выверенные в

профессиональном и адекватные в этическом смысле представления об основах и нормах парламентской корпорации, культивировать ценности и оценочные трафареты этого кодекса, наблюдать за тем, как эти ценности и правила честной парламентской игры “работают” в реальной деятельности политиков. На плечи комитетов ложится и задача по реформированию кодекса по мере накопления практического опыта российского парламентаризма и кристаллизации его традиций.

Глава восемнадцатая
**ЭТИКА ИЗБИРАТЕЛЯ:
ПРОБЛЕМА ОТВЕТСТВЕННОСТИ**

Прембула

Завершающая глава цикла “Кредо и кодекс российской власти постсоветского периода” отличается от предыдущих тем, что, предпринимая “хождение в народ”, мы, может показаться, расстаемся с системой властных отношений. Однако в демократическом государстве именно политическая воля народа в его электоральных предпочтениях (аффективно или взвешенно) являет собой единственно легитимного в последней инстанции субъекта выбора - политики и политиков. Так или иначе, но говоря об этике избирателя, мы незаметно возвращаемся в сферу властных отношений и вновь всматриваемся в причудливые свойства ее нормативно-ценностной регуляции.

При этом специфика кредо и кодекса российской власти заключается в данном случае в том, что избирателю приходится действовать в условиях, когда гражданское общество, его этика только складываются, а у самого избирателя, соответственно, еще не получила развития электоральная культура. Граждане нашей страны еще “новички” на этико-политическом поле. Их десятилетиями приучали к симуляции демократического участия в политическом процессе (условно говоря, мы имеем дело в данном случае со своеобразной “этикой неучастия” и освобождения от ответственности - власть думает и решает за нас). Такие условия все еще сказываются на характере взаимоотношений избирателя и власти.

Сегодня, когда эти отношения начали понемногу меняться, власть сердито ворчит: российский избиратель капризен, непредсказуем, неустойчив, остается неуловимой “вещью в себе”. Политическая и интеллектуальная элиты настроены по отношению к избирателю с нескрываемой подозрительностью и даже с некоторой враждебностью. Вовсе не случайно, что отдельные группы элиты заинтересованы в возрождении “культуры” симуляции политической лояльности - опасаясь отрефлексированной позиции избирателя, его сознательного этико-политического выбора, они не брезгают прибегать к манипулятивной обработке сознания.

Речь, следовательно, идет, во-первых, об изменении реформируемого в кризисной ситуации общества - благодаря развитию электоральной культуры может возникнуть новая реальность, едва ли не иной “народ”. Во-вторых, предполагается изменение традиционного для России соотношения между государством и обществом.

Предпринятая в рамках макропроекта гуманитарная экспертиза была основана на культурно-историческом подходе к поведению избирателя. Естественно, в этом просматриваются различные моральные аспекты. Например, когда обсуждается вопрос о непознанном “таинстве” электорального выбора. В рамках же данной главы мы ограничимся анализом этического подхода. При этом обнаружили известные затруднения в использовании

метода этических рационализаций - здесь массовое сознание имеет дело не с какой-то вне его лежащей предметностью, материальной и духовной реальностью, но с самим собой.

Как возможна этика избирателя?

Избиратель - довольно странная фигура на политической сцене. Она каким-то образом принимает участие в политике, оказывается - пусть и мимолетно - вовлеченной в политические игры. Но избиратель не является ни профессиональным политиком, ни даже политиком-любителем. В славную эпоху торжества всеобщего избирательного права корпус избирателей стал почти совпадать по объему с понятием “народ”. Однако любые суждения об этом корпусе в целом наверняка окажутся такими же расплывчатыми и малосодержательными, как и суждения о народе в его целостности.

Избиратель “прописан” в политике в качестве едва заметной фигуры, заурядной пешки с неопределенными свойствами. Но вот приходит пора выборов и он становится “калифом на час”. От его воли до определенной степени зависит судьба партий, движений, программ, лозунгов, лидеров, функционеров, соискателей на занятие публичных должностей. И тогда-то, в преддверии подсчета голосов, трепетного ожидания электорального вердикта, перед избирателем начинают заискивать, с ним готовы сюсюкать, всячески улаживать. Все это, видимо, и дало веский повод известному исследователю-политологу Ханне Арендт для парадоксального высказывания об особой “власти безвластных”.

Итак, избиратель - странная фигура. Еще более удивительно явление, которое можно обозначить как “этика избирателя”. Если вопрос о предназначении “политической этики” более или менее ясен (она служит нравственным регулятором деятельности политиков), то с “этикой избирателя” до ясности далеко.

Во-первых, являясь, казалось бы, специфической (скорее всего - отраслевой) частью политической этики, этика избирателя призвана воодушевлять и нормировать поведение тех, кто политиками себя как раз и не считают, да и не являются ими по роду своих обычных занятий.

Во-вторых, можно ли говорить собственно об этике в таком краткосрочном исполнении? Ведь роль избирателя похожа на редкую и недолгую политическую “командировку”, откуда человек возвращается к своему обычному ролевому репертуару, к формам неполитической деятельности.

В-третьих, что это за этика, которая фокусирована не на чем-то определенном, скажем, на какой-то стороне общественной жизни, на виде деятельности, на типе профессионального труда, на месте в той или иной организации, а не на столь эфемерном занятии, как акт голосования?

В-четвертых, разве можно считать одного избирателя “добрым”, “хорошим” и поэтому делающим “правильный выбор”, а другого “злым”, “плохим”, стало быть, совершающим “неправильный выбор”?

И вообще, нельзя ли, рассуждая о поведении избирателя (на предвыборном митинге, собрании избирателей, избирательном участке при совершении таинства выбора, в кабине для голосования, при участии в процедуре отзыва депутата и т.п.), вообще обойтись без оценивания его действий с помощью категорий морали?

Мы думаем, что обойтись без этого никак нельзя. Хотя, разумеется, не следует примитивно распределять избирателей по биполярному моральному коду.

Чтобы как-то предварительно обозначить предметную область этики избирателя, можно сформулировать две, на первый взгляд как будто совершенно незатейливые, максимы, принципы воли, которые имеют очевидно моральный характер и подкрепляются моральными оценками и самооценками, сопровождаются одобряющими или осуждающими санкциями. Это требования, *во-первых*, исполнить гражданскую обязанность, приняв участие в выборах, и, *во-вторых*, осуществить данную миссию не формально, а свободно и ответственно.

Если этика политиков требует прежде всего их верности профессиональному призванию и честности (и она так трудно им дается!), то этика избирателя в первую очередь требует ответственного поведения и политической активности. И если поведение избирателя в полной мере отвечает этим требованиям, его можно посчитать “идеальным избирателем”. Вероятно, можно выдвинуть и еще ряд требований морального плана, но скорее всего они окажутся лишь детализацией этих двух максим.

Но достаточно ли обозначить лишь две максимы, чтобы претенциозно говорить об особой “этике”? Нет ли в этом случае избыточной щедрости, даже если речь идет не о фундаментальной, а о прикладной этике? Впрочем, две названные максимы только кажутся простенькими. В связи с ними можно говорить об особом и обширном нормативно-мотивационном комплексе.

В самом деле, этика избирателя, например, предусматривает моральное одобрение такого выбора, как абстиненция. Разумеется, далеко не в любом случае. Отказ от участия в процедуре выборов может быть свидетельством как безответственности (наплевательское отношение к гражданским обязанностям, общая недисциплинированность, дезертирство от якобы всегда “грязной” политики, от выборной “клоаки” и иные мотивы), так и разумности, гражданской зрелости избирателя. Императив такой зрелости - “без меня!”, его мотивация - в отсутствии удовлетворительной альтернативы; в том, что ниже критической отметки упало общественное доверие к власти; или по каким-то другим причинам предлагаемый ущербной избирательной системой выбор, в сущности, является аморальным. Абстиненция является здесь именно *зрелым* выбором, ибо требует известного мужества: ведь далеко не всякая обязанность является моральным долгом человека и различить обязанности предстоит ему самому.

Анонимная ответственность

Что побуждает избирателя включаться в предвыборные кампании, какая сила влечет его в воскресный - как правило - день отправляться на избирательный участок, чтобы “отдать” свой голос?

Может быть, могучая сила традиции (и тогда есть смысл даже говорить о “голосовательном инстинкте” как стойкой привычке)? Или, скажем, желание поучаствовать в праздничном мероприятии (организаторы выборов стремятся использовать все преимущества политического процесса как привлекательного зрелища)? Но тогда его действия имеют весьма отдаленное отношение к морали и, значит, в его поступках не обнаруживается “ни грана этики”. Иное дело, если он побуждаем чувством долга или интересом, который осознается в различных - утилитарных и неутилитарных - аспектах и не является таким уж антагонистом долга (как, бывает, его интерпретируют).

Как известно, и явка, и неявка на избирательный участок официально фиксируются. Но то, за кого (или за что) избиратель проголосует, лишено персональной маркировки. И тогда мы уже имеем дело с *анонимной ответственностью*. В этом случае совесть избирателя оказывается не только лучшим, но и единственным контролером его поступков и, безусловно, осмысливается как моральный феномен, образующий основной нерв этики избирателя.

Такую ответственность нельзя понять вне контекста свободы и автономии человека и гражданина, его священного права на собственное мнение и на его публичное (пусть даже в форме тайного голосования) высказывание. Ее нельзя понять вне суверенного права гражданина участвовать в управлении обществом, государством, его отдельными территориями и управленческими звеньями.

Очевидно, что участие в политической жизни может быть и неинституциональным и осуществляться вне избирательного процесса. Формы такого участия порой кажутся весьма привлекательными благодаря своей чувственной наглядности и непосредственности (участие в демонстрациях, пикетировании, погромах, баррикадных боях и в других видах социального протеста). Во всяком случае - по сравнению с маловыразительным и скучным походом на избирательный участок, с чуть ли не механически-однообразным опусканием бюллетеней в урну. Однако, неинституциональные формы социального действия чреватые и деструктивными последствиями, имеют весьма отдаленное отношение к управлению общественными делами, к обдуманному, ответственному и рациональному выбору - участник акции подчиняется здесь стихии толпы, его решения попадают под власть законов слепого подражания.

Обратимся еще раз к ситуации абстиненции. Почему избиратель сплошь и рядом предпочитает уклоняться от своего гражданского долга, позабыв даже о собственных интересах, почему отмалчивается голос политической совести? Прежде всего - из-за ощущения собственного бессилия: что значит единственный голос (он, как напоминает поэтическая строка - “тоньше писка”)?! Невозможность на точных аптекарских весах “взвесить” свой голос в

массе других голосов, чтобы понять его значение - в большой массе он тонет, утрачивает выразительность - порождает ощущение бессмысленности всей избирательной процедуры, провоцирует безразличие к акту голосования (“и без меня такого-то изберут или же не изберут”). Или - того хуже - рождает расположенность “продать” свой голос, отыскался бы на него покупатель.

Индифферентность избирателя порождается, далее, неверием в то, что своим голосованием он способен каким-то образом повлиять на политику, на власть. Такое отчуждение - явление не простое. В нем просматриваются не только слабость и неустойчивость нравственной мотивации избирателя, но и разочарование в демократических институтах в целом, ощущение фиктивности “власти” избирателя, о силе которой ему так сладко напевают политические витии.

Речь идет о кризисе доверия к институтам представительной конкурентной демократии, порождающем интерес к новым формам идентитарной, прямой демократии, без сложной избирательной процедуры. Речь идет о кризисе доверия к домогающимся мандатов политическим партиям классического типа с их программами, уставами, формальным членством и соответствующей дисциплиной, к окаменелым механизмам инвестиции полномочий, делегирования депутатам и избираемым должностным лицам права выражать и отстаивать интересы избирателей.

И это ситуация отнюдь не сугубо российская, а мировая. В ряде стран она оборачивается “бунтом избирателей”, знаменитым “голосованием ногами”, выражается в усиливающемся сомнении в разумности продажной “машины для голосования” (даже когда она автоматизирована) и в напряженных - хотя, в основном, стихийных и пока не очень продуктивных - поисках новых каналов взаимодействия граждан с властью. Но в странах с молодой демократией, таких как Россия, эта ситуация дает о себе знать с особой силой. Политическое отчуждение избирателей от власти сопряжено с моральным отчуждением от других лиц и ценностей. Даже верность повелениям этики избирателя не способна разрешить названный кризис, разве что может смягчить его проявления и тяжесть его восприятия, создавая тем самым некоторые предпосылки для грядущего выхода современной политической системы из состояния кризиса.

Этос российского избирателя

Характеристика этоса предполагает анализ определенным образом структурированного объекта. Избиратели - не гомогенная масса подобно толпе или публике, бесструктурным множествам с рыхлыми границами. Такими избиратели представляются разве что при подсчете бюллетеней - все социальные, культурные и нравственные спецификации здесь уже стерты, утратили свою значимость и остаются одни лишь сухие и бесстрастные столбцы цифр, диаграммы и графики.

Можно бесконечно разнообразить способы структурирования избирательного корпуса: социология и политология в обилии предоставляют

необходимый для подобных операций инструментарий. Ни в коей мере не преуменьшая его значимости, заметим, что нас - в связи с избранной темой - привлекает возможность отдать предпочтение иному - моральному - подходу. Мораль - материя исключительно тонкая, едва ли не эфемерная (хотя на редкость существенная), и классификационные признаки, которыми оперируют социология и политология, здесь неизбежно становятся расплывчатыми, произвольными, зыбкими, с трудом поддающимися эмпирической проверке. Исследователю, работающему в “моральном измерении”, предстоит отыскивать надежные способы понижения риска субъективности до уровня, оставляющего его в пределах “осторожного дерзания”. И именно здесь ему на подмогу приходят метод этических рационализаций, способность их расшифровывания и интерпретации.

В этом случае для структурирования многоликого, пестрого, противоречивого избирательного корпуса на типологические группы или слои, не совпадающие с социальными и культурными общностями как источниками регулятивной активности, предпочтительно использовать критерии вертикальной стратификации. При этом нельзя считать псевдообщности людей, образующиеся по избирательным округам, естественными территориальными общностями - впрочем, нельзя не признать некоторого подобия между ними.

По этому методу, проще всего усваиваемому этическими рационализациями, выделяют, во-первых, тех, кто относится к духовной элите общества, составляет его “образованное сословие”. Интеллектуально и нравственно наиболее развитых избирателей можно было бы обозначить как интеллигенцию - в традиционном русском смысле этого понятия. Те, кого охватывает данная номинация, голосуют, как правило, ответственно, со знанием дела. Они отдают себе отчет в том, чего хотят, свободны от большинства социально-психологических предрассудков и от расхожих мифов (обстоятельство, скорее отражаемое в массовом сознании, чем намеренно фиксируемое им). Они способны, будь в том необходимость, идти против течения в своих электоральных предпочтениях.

Вполне отчетливо осознавая опасность идеализации этого слоя, заметим со своей стороны и нечто иное: высокая планка культуры и нравственности для “допуска” в данный слой не означает, разумеется, будто все его представители голосуют единообразно, за одни и те же политические программы и партии, за одних и тех же политиков. Такая планка свидетельствует лишь об известном единообразии самого отношения к акту голосования, что вовсе не является форс-мажорным препятствием для политического плюрализма. Мотивы ангажемента способны быть самыми различными, политические предпочтения и вкусы могут оказаться даже причудливыми, экзотическими. Однако сам акт выбора в основных чертах соответствует духу и нормам этики избирателя.

Но при всем этом диапазон морального выбора имеет ясно очерченные границы: существует фильтр, некая диафрагма, которая не пропускает в сознание избирателя данного слоя мутные потоки манипулятивного давления, обеспечивая тем самым отрефлексированность его предпочтений. За пределами

выбора остаются политические скандалисты, беспардонные демагоги, поборники агрессивности, массированного применения насилия как средства достижения политических целей, группировки экстремистского толка: для такого избирателя приемлемы все партийные флаги, кроме пиратских.

Добавим к сказанному, что не сам по себе правовой статус придает избирателю положительные нравственные качества, сумму добродетелей, предопределяющих зрелость, ответственность, а временами и мужественность поведения. Эти качества и добродетели образуются до и вне такого статуса и только проявляются в электоральном акте. В ходе избирательных кампаний, в длительном опыте пребывания в статусе избирателя эти качества определенным образом укрепляются и конкретизируются на политическом поле деятельности.

Во-вторых, массовое сознание почти автопортретно выделяет наиболее обширный слой среднестатистических избирателей, который можно было бы обозначить как “обыватели” (не придавая этому выражению уничижительного смысла), как “молчаливое большинство” или - следуя за самоназванием - как “простые люди”. Сюда относятся все те, к кому применимо определение “рядовых” политической деятельности. Вопреки нередко встречающимся в политической риторике наших дней инвективам в адрес “обывателей”, в массе своей они обладают качествами порядочности, разумности, ответственности, воплощая некий условный *этический стандарт* поведения в данном обществе и в данное время. Возможно, к ним в первую очередь применимо понятие “средний класс” со всеми его характерными признаками и с учетом тенденций, задерживающих его консолидацию в России. В целом - это те, у кого нет устойчивой идеосинкразии к правилам и оценкам этики избирателя: только в таком измерении можно согласиться с латинской поговоркой о том, что глас народа - глас божий!

Однако не о “похвальном слове” данному слою избирателей, и не о наивной, не подлежащей опытной проверке, вере в его разумность и добрую волю идет сейчас речь, не о лубочной картинке так называемой народной нравственности. Политическая этика не может не ценить всеобщего избирательного права как морально-правовой основы современной цивилизации, третировать или преуменьшать ее значение в жизни цивилизации. Но она не обязывает идеализировать какой-либо слой избирателей, пусть даже самый массовый. Наоборот, было бы непростительной ошибкой не отдавать себе трезвого отчета в том, что “простые люди” в роли избирателей отнюдь не всегда ведут себя достойным образом, последовательно, ответственно и непременно порядочно.

Воплощая реликты патриархально-подданнической политической культуры, они не располагают устойчивым иммунитетом к некоторым особенно “сильным” формам манипулятивного воздействия, применяемого для мобилизации электората, нередко оказываются легкой добычей всевозможных политических авантюристов. В определенные периоды политической жизни фигура избирателя (“Господин Великий избиратель”, а не только “Великий потребитель”) становится наиболее обласканной (отчасти такое отношение,

надо заметить, допускают и даже предполагают правила игры в представительную демократию). И политические циники сверх всякой меры расшаркиваются перед избирателем, беззастенчиво ему льстят - и в то же самое время лгут, заигрывают с ним, ведут себя запанибрата, часто прибегают к подкупам и соращениям. Когда же оказывается выгодным, избирателю угрожают, а временами чуть ли не покрикивают на него.

Избирателю из массовых слоев, оказавшемуся в эпицентре воздействий, нелегко отличить проталкиваемое в его сознание содержание манипуляций от подлинно нравственного отношения политиков к своим избирателям. Такие политики апеллируют к достоинству и долгу избирателя и в этом смысле, разумеется, оставаясь крайне заинтересованными в их поддержке, уклоняются от безудержной погони за голосами. Эти политики проявляют, так сказать, “бескорыстное стяжательство” или “незаинтересованный интерес” (по выражению Э.Геллнера), так как нуждаются не просто в лишнем бюллетене в свою поддержку, а в укреплении достоинства и усилении чувства ответственности “подателей голоса”, что обещает избирательское сочувствие в стратегической перспективе.

Почему происходит “грехопадение” избирателя второго типа? И как быть с упомянутым выше этическим стандартом? Обычно массовое сознание не задумывается над этими вопросами и отгоняет от себя беспокойные гипотезы. Между тем грехопадение это случается, *во-первых*, потому, что все люди, независимо от уровня их духовного развития, обладают амбивалентными антропологическими характеристиками (пресловутый “полуангел-полузверь”). Природа человека позволяет ему балансировать - смещаясь то в одну, то в другую стороны, делая это то изящно, то грубо, - между нравственно положительным и отрицательным как в поведении, так и в образе мыслей. И даже в критические моменты исторической бифуркации общественного развития (знаменитое и, увы, верное “*esse homo*”).

Во-вторых, именно в поведении “молчаливого большинства”, в действиях обывателя, сильнее всего проявляются и проще всего обнаруживаются пагубные синдромы XX века - конформизм и приспособленчество, стадность и стремление безопасности ради укрыться в “середине” от пронзительных ветров, непрерывно дующих из нашей малопривлекательной социальной реальности.

В таком поведении “молчаливого большинства” нередко можно выявить процессы инволюции нравов, снижение уровня моральной свободы, снижение готовности к самостоятельному нахождению долженствования до уровня обычая - с его четко прописанным императивом “*поступай как все!*”. Наверно, на такой основе и формируется электоральное “болото”, склонное откладывать свой выбор вплоть до последней минуты, до кабины для голосования, откладывать потому, что так и не смогло выяснить: как же собираются поступить эти самые “все”. Понятно, что такая инволюция нравов “работает” против этики избирателя, ее требований и ценностей.

Каковы же объективные причины возникновения “болота”? Трудности противостояния глубоко эшелонированным процессам отчуждения,

массовизации и утраты самоидентификации. Нарастающая сложность общественной жизни. Непрерывно усиливающаяся мощь манипулятивных механизмов и многое другое. Все это, конечно, объясняет, но не может оправдать приспособленчество и уклонение от ответственности. В то же время нам не хотелось бы оказаться в фарватере тех оценочных суждений (они высказываются и справа, и слева), которые обвиняют представительную демократию в непомерной зависимости власти и судеб страны от “капризов” избирателя, от колебаний массовых настроений. При этом избирателя считают существом ленивым, тупым, равнодушным, несамостоятельным.

Перейдем теперь к завершающей - третьей - типологической группе. Она охватывает тех, чье поведение в каких-то отношениях “не дотягивает” до планки этического стандарта. И это охотно фиксирует массовое сознание и выразительно представляют этические рационализации всех видов. В поведении такого типа избирателей трудно обнаружить последовательность и минимально необходимую взвешенность. Вряд ли им знакомы муки рационального выбора, его бремя и радости. Они обладают неразвитым политическим сознанием, оперируют довольно примитивными представлениями о свойствах политики, ее механизмах и “правилах игры”. Они особенно подвержены импульсивным реакциям как на политические события, воспринимаемые с помощью СМИ, так и на реалии повседневности. Поэтому в их оценках людей и событий не следует искать справедливости. Естественно, что такие реакции и оценки не способствуют усвоению норм этики избирателя.

Избиратели из этого слоя практически безоружны перед воздействием политических демагогов и манипулятивной интервенцией в их сознание, и тем более, в “подкорку”. При случае они готовы приторговывать своим суверенным избирательским правом, своими голосами и, в свою очередь, легко поддаются воздействию всевозможных предвыборных трюков и провокаций. Избирательный выбор они не считают серьезным занятием, нередко приравнивая политический процесс к чему-то подобному “наперсточным” и им аналогичным играм. Для описания этой политически инфантильной публики можно применить термин “люмпен-избиратели”. Волонтеры в данные группы черпаются из всех структурных образований общества, но в первую очередь - из тех, кто образует маргинальные слои, из людей “социального дна”, деструктивно ориентированных, испытывающих комплексы неполноценности, обладающих, по Э.Фромму, жизнеотрицательной энергией.

Но “люмпен-избиратели” - равноправные участники политического процесса и поэтому не заслуживают одних только черных красок, к чему предрасположено массовое сознание. Они не лишены и некоторых положительных упований, неясных надежд покинуть “придонный слой”. И не только за счет только собственных усилий, но и при поддержке со стороны властей и общественности. Поэтому неуместны такие презрительно-высокомерные оценочные квалификации как “обезумевшая избирательная чернь”, “нравственно-политическая голытьба” и т.п. Тем более, когда социальный снобизм простирается на пострадавшие от нынешних реформ

обширные слои избирателей, ощутивших всю несправедливость распределения тягот реформ, избирателей, часть которых до предела раздражена непомерно высокой социальной ценой реформирования, а другая - просто впала в политическую прострацию.

От ответственности анонимной к ответственности персональной

Обращаясь к истокам ответственности избирателя, нельзя не поставить два наводящих вопроса: ответственность “за что?” и ответственность “перед кем?”

Вполне можно довольствоваться банальными ответами на эти отнюдь не банальные вопросы. Такие облегченные ответы сводят дело к ответственности перед политико-правовыми инстанциями (в ряде стран, например, конституционное право даже обязывает избирателей принимать участие в голосовании под угрозой штрафных санкций) или перед какими-то группами лиц и организаций - партиями, единомышленниками, “людьми своего круга”, коллегами, корпорантами и т.п. Это по части ответственности “перед кем?”. Если говорить об ответственности “за что?”, то результаты выборов выражаются в виде подсчитанных итогов голосования с вытекающими из них политическими и иными последствиями, в которых косвенно отпечатался и выбор, совершенный каждым отдельным избирателем.

Если ограничиться ответами такого рода, то наши вопросы останутся фрагментарными. И ответственность оказывается растворенной в массовом голосовании. В результате она едва отличима от безответственности, от плотного, непроницаемого безразличия к итогам политического выбора. А ведь избиратель никоим образом не подотчетен каким-то лицам и инстанциям (нечто вроде варианта политического иммунитета). Более того, его голосование само может быть истолковано как своеобразная форма требования отчетной ответственности политиков и партий перед избирателем.

Вопрос об истоках ответственности неизбежно переводит обсуждение на *метафизический* лад, к которому массовое сознание по преимуществу остается безучастным. В сжатом виде этот ответ может прозвучать следующим образом. Избиратель - как и все мы, грешные, ответственен перед самим собой, перед собственной совестью (“перед кем?”) за смысл своей жизни, за реализацию жизненного призвания (“за что?”). Именно через совесть - вопреки ее одномерному истолкованию в вульгарно-социологическом духе - человек, в том числе исполняя роль избирателя, преодолевает свое наличное бытие, отвлекается от непосредственных запросов и импульсов. Возвышаясь до сферы надличностного, одолевая собственные глухоту и немоту, настойчиво вопрошая, человек с помощью понимающего знания, либо воображения, обращаясь за помощью к рефлексии или даже молитве, обнаруживает подлинные истоки собственной ответственности.

К такому открытию чего-то большего и высокого, чем он сам, избиратель приходит в ходе напряженного внутрличностного диалога со своей

проснувшейся душой, как сказали бы прежде. В таком диалоге выясняются не те или иные мнения по конкретным вопросам жизни народа (группы, организации, других лиц, лидеров, движений и т.п.), не добрая или дурная молва, не всевозможные слухи, а ответ на вопрос вопросов: “Что я есть?” и “Чем должен быть?”.

Ответы такого ранга, а стало быть, и вытекающая из них ответственность, могут быть сакрализованными (в современном мире - не без известной иронии) или секуляризованными, независимо от того, полагаем ли мы такую позицию просто вытесненной стыдливой религиозностью или же квалифицируем ее как прагматику, свободомыслящий скептицизм, или они, наконец, могут быть результатом компромисса между этими позициями в случае их рутинизации. И здесь - вопреки надеждам на всеислие рациональных выкладок - трудно надеяться на исчерпывающую ясность ответов (тем более - в ситуации дефицита информации и времени, невозможности учесть отдаленные последствия выбора, но все же производить выбор подлежит не по произволу случая, не по правилам жребия, а по совести, у которой - как известно - всегда обнаруживаются свои резоны), подобно тому, как обстоит дело тогда, когда мы жаждем достичь подлинного понимания терминальных ценностей, которыми столь охотно пользуемся, - разве что мы в силах только подозревать, догадываться об их корнях и предельных значениях. Мобилизуя при этом все познавательные ресурсы, вплоть до возможностей своего бессознательного.

Актер, стоящий на подмостках, замечает австрийский психолог В.Франкл, не видит тех, перед кем играет; его ослепляет свет софитов и ramпы, а зрительный зал погружен в кромешную темноту. Тем не менее актер знает, что там, в темном зале, сидят зрители, что он играет перед кем-то. “Точно так же обстоит дело с человеком: выступая на подмостках жизни и ослепленный сверкающей на переднем плане повседневностью, он все же мудростью своего сердца всякий раз угадывает присутствие великого, хоть и незримого, наблюдателя, перед которым он отвечает за требующееся от него осуществление его личного конкретного смысла жизни” [3]. Не из такого ли понимания ответственности исходит старинное и для многих странное осознание своей вины (*mea culpa*) и совсем древняя “метанойя”: “Несовершенство мира есть лишь результат моего несовершенства”?

Но при чем тут деятельность избирателя, какое все это имеет отношение к мимолетному акту голосования или даже к более длительному периоду предвыборных схваток? Переведем сравнения на холодный язык политической прозы. И тотчас встает вопрос: не такое ли осознание собственной вины влечет граждан-избирателей к самокритике, от которой так хотелось бы ускользнуть, укрывшись в анонимности своей ответственности? И кому такое не удастся - к счастью ли или к несчастью, сказать трудно, - тот побуждается к раскаянию за произведенный выбор или за самоустранение от него: мы не отвергли негодных политиков, депутатов, президентов, губернаторов, мэров (хотя при демократической системе выборов и имели подобную возможность), вот и обрели - по расхожему суждению - таких правителей, которых заслуживаем.

Нельзя творить из избирателей неких агнцов божьих, которых ведут на заклятие зловерные политики.

Ведь это не кто-то и не где-то, а именно мы не смогли устоять перед посулами политиканов-зазывал и крикливыми обещаниями демагогов. Мы не смогли (случись такое) противостоять истеричности, массовым психозам, чем воспользовались циничные политики.

Разве не мы не смогли заставить себя вникнуть в предвыборные программы и речи кандидатов на избираемые должности, готовых перед выборами пресмыкаться у ног избирателей, чтобы после избрания мгновенно позабыть о тех, кому подряжались верно служить?

Это мы не пожелали разобраться в политической ситуации, в которой очутилась страна?

Кого же теперь винить?!

И вряд ли надолго принесет успокоение обычная оппортунистическая идея-душегрейка: “Что единица способна сделать?!”. Хотя, с другой стороны, надо признать, что выбор в пользу взвешенной, разумной, ответственной позиции сам по себе еще не дает никаких гарантий на успех, тем более - на конечный успех, когда наконец-то можно будет отправить в отставку разумность, мужество, ответственность.

Груз вины облегчается только признанием генетических изъянов самой процедуры избрания властей. Делегирование полномочий всегда сопряжено с “покупкой” доверителями на шумном и “диком” политическом рынке соответствующего лица, на лбу которого не написано о качестве данного товара: шанс оказаться обманутым исключительно велик. Но, как писал П.Бурдьё, “индивиды, находящиеся в изолированном и безгласном состоянии, не имеющие ни способности, ни власти, чтобы заставить слушать себя и быть услышанными, оказываются перед выбором: либо безмолвствовать, либо доверить другим право говорить от своего имени” [4].

И вообще человек живет не для того, чтобы быть избирателем и гадать, за кого ему проголосовать на очередных выборах. У него есть другие заботы, дела, привязанности, он не сосредоточен на политике, хотя некоторые выборы и имеют судьбоносное значение для избирателя, его забот, дел, привязанностей и даже жизни.

Никакая самая что ни есть совершенная демократическая избирательная система не дает надежных гарантий от манипулирования волей граждан-избирателей со стороны поликратов, *если* при этом избиратели не обладают развитым гражданским сознанием и сами не обеспечивают себя *этической защитой* от манипулятивного давления.

Только защищенное от духовной интервенции сознание позволяет преобразовать количественную, формальную, так называемую “шумпетерианскую” демократию в демократию качественную (по выражению К.Ясперса), помогает уйти от “горизонтального” измерения политики, чтобы перейти к альтиметрическому ее измерению (когда голоса не только

подсчитываются, но и взвешиваются). Только тогда возможна учитывающая этнокультурный контекст политика.

Дело организации этической защиты, преодоления аполитичности избирателей, повышения уровня политического участия не может быть всецело доверено не только одним политическим элитам, но даже и одним культурным элитам общества: оно вменяется в обязанность *всем* гражданам-избирателям. Дело это относится к разряду таких, которые никто за них не способен сделать.

Именно в этом смысле есть достаточные основания говорить об ответственности и об этике избирателя.

Часть четвертая

ПОСТСОВЕТСКАЯ СИТУАЦИЯ УСПЕХА: КОЭВОЛЮЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЭТОСА И ЭТОСА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Преамбула

В завершающей части нашей монографии обратимся к ряду важных исследовательских сюжетов, которые на первый взгляд нельзя отнести к этике политического успеха. Но они тесно соприкасаются с ней, существенны для ее понимания, так как речь в них идет о взаимообусловленных нормативно-ценностных комплексах (феноменах).

Прообразы этих комплексов, их эмбрионы возникли едва ли не в античности. В истории можно обнаружить переплетающиеся линии их инклюзивного, проникающего взаимодействия (с учетом типологии как рынков, так и демократий). В такой *коэволюции*, реализуемой в различных исторических ритмах (скажем, предпринимательство развилось раньше, нежели укрепилась институты демократии), выявляется известный параллелизм становления и развития этики политического успеха со всеми другими сегментами этики гражданского общества.

Разумеется, общецивилизационное движение по этому весьма извилистому пути не было предначертанным, детерминированным. Не было оно и направленным по вектору прогресса, неотвратимого подобно ходу времени. На таком длительном пути были как свои “рывки” и прорывы, так и застои, блокирующие ситуации кризисов различного типа и даже попятные шаги, зигзаги немислимой конфигурации. Не вдаваясь сейчас в историческую конкретику, мы вправе предложить следующее заключение: весь гражданский этос современного общества является конечным духовным продуктом сопряженного процесса становления и развития.

Основные сегменты этики гражданского общества, в свою очередь, оказались органически связанными с рядом других мотивирующих и регулирующих образований, формируя своеобразную топологию успеха. Наряду с политической этикой и этикой предпринимательства, ее образуют такие феномены, как трудовая и профессиональная мораль в их динамике, корпоративная этика, мораль четвертой власти, этика досуга и потребления.

В этой части в поле внимания окажутся только три сюжета, которые в значительной степени тяготеют к этике политического успеха и которым в последние два года были посвящены соответствующие этико-прикладные исследования.

Глава девятнадцатая
**МАСС-МЕДИА:
МИССИЯ И ПРАВИЛА ЧЕСТНОЙ ИГРЫ**

Проект, задуманный как гуманитарная экспертиза и консультирование одной из самых влиятельных профессиональных этик, дал возможность получить значимую информацию о потенциале корпоративного этика журналистики. Инициатива Центра прикладной этики была поддержана Комитетом РФ по печати и Фондом защиты гласности. Сотрудники последнего *Ю.В.Казаков* и *А.К.Симонов* стали соавторами нашего проекта.

Материалы, представленные экспертами, опубликованы в книге “Становление духа корпорации: правила честной игры в сообществе журналистов” (Под ред. В.И.Бакштановского, Ю.В.Казакова, А.К.Симонова, Ю.В.Согомонова. М.: Начала-пресс, 1995).

О словах

В начале объясним название книги, в которой опубликованы материалы проекта. На обложку вынесено словосочетание “дух корпорации”, а не привычное слуху “этический кодекс”. Но можно ли без слова “кодекс” размышлять о профессиональной этике журналистов?

Можно. Более того: избранное нами название было необходимо с точки зрения существа проблемы.

Связано это с тем, что многие профессионалы, во-первых, с понятной настороженностью воспринимают “моральные кодексы” как неоправданные вериги для творческой свободы. Во-вторых (и это наиболее существенно), рассуждения о профессионально-нравственном кодексе вообще не имеют смысла до прояснения *оснований* этики профессии, т.е. до выявления трудно описываемого, но реально существующего *духа корпорации*.

Конечно, любая версия кодекса профессиональной этики возникает не на пустом месте. За очевидным инструментализмом свода норм можно “прочитать” и свои “основания”, и свой “дух”. Но тут неизбежен вопрос: какой именно *дух*? И прежде всего - не патерналистский ли?

Правда, и выражение “корпоративный дух” настораживает многих и многих. И прежде всего тех, кто усматривает в нем начало несвободное, “государственническое” - в негативном значении, в том числе ассоциирующееся с черной страницей европейской истории (“корпоративное государство”), - и, исходя из этого, видит в “корпоративности” потенциальную угрозу покушения на свободные основы своей профессии, на личные профессиональные свободы.

Понимая озабоченность такого рода и уважая моральные основания тех, кто эту озабоченность выражает, подчеркнем, однако, очевидное, на наш взгляд, обстоятельство: нигде и никогда “корпоративный дух” не существует абстрактно, он всегда и всецело определяется характером общества. В обществе

гражданском корпоративность заведомо иная, чем в обществе тоталитарном. (Подробнее об этом - в следующей главе.)

Заметим также, что и идиома “четвертая власть”, в конце концов все же снятая нами с обложки книги (и из названия главы), не обладает безупречной ясностью. И не только потому, что в международной политологической традиции это не в России родившееся словосочетание имеет оттенки, значение которых проясняются в конкретном контексте. Как отметил Ю.В.Казаков, в устойчиво-демократической ФРГ, к примеру, существительное “власть” в этом словосочетании употребляют в лексической форме “Gewalt”, по смыслу приближенной скорее к слову “насилие”, чем “сила”, а не “Macht”, обозначающему законную власть. Во внимание было принято и различное отношение самих журналистов к понятию “четвертая власть”. И то, что российскому журналистскому сообществу пока еще объективно далеко до статуса, присущего СМИ в демократическом обществе и напрямую связанного с традиционно закрепленными за ними функциями квалифицированного представителя общественного мнения. Наконец, в расчет был принят и определенный волюнтаризм печатных и электронных средств, унаследовавших от эпохи советской власти притязание на роль верховного судьи, учителя, а порой и вершителя человеческих судеб.

Авторы проекта исходили из того, что в нашей “переходной” действительности немало слов оказалось перегружено негативными значениями, практически неизбежными в ситуации “морального междуцарствия”. Но тем более полезной нам представлялась попытка понять, с помощью журналистов, причины многозначности определенных слов, ключевых для морального нормотворчества в сфере такой корпорации, как СМИ, - и выявить перспективные тенденции, очистить эти слова от пристрастного и потому неизбежно одностороннего восприятия.

Предпроектная ситуация

Исходная гипотеза авторского коллектива заключалась в том, что переход к гражданскому обществу и правовому государству предполагает трансформацию реально существующих (хотя и не всегда осознающих себя таковыми) “лицензированных” государством корпораций, в том числе и профессиональных, в независимые, добровольные и ответственные объединения на основе общих интересов, способных не только “быть представленными” на государственном уровне, но и стать участниками равноправного диалога между обществом и государством.

Подобная трансформация - фермент, “точка роста” гражданского общества в его неразрывной связи с правовым государством, принявшим общественный контроль над собственной деятельностью. Но особенность ее в том, что сам процесс трансформации неизбежно оказывается буквально сотканным из “болевых точек”. Трудный, даже мучительный, он объективно чреват опасностью нарастания негативных тенденций: выделим в их ряду победу группового эгоизма и патернализма над действительным развитием

профессионалов и сохранением их интересов в рамках подлинного солидаризма. Корпорацию СМИ, в силу ее специфики, теоретически можно рассматривать в качестве одного из общественных институтов, призванных противостоять групповщине. Но... “врачу, исцелися сам”.

Противоречивая природа “переходного периода” в масштабах всего общества наглядно проявляется и в ситуации, характеризующей состояние профессионального сообщества журналистов. В попытках разобраться в своей сегодняшней судьбе и предназначении оно все чаще обнаруживает опасность утратить собственную социальную миссию, нередко демонстрируя мировоззренческие метания и фрустрации в моральном сознании многих членов сообщества.

В то же время просматривается и заветное стремление превратить СМИ из сервильного института государственной власти в автономную корпорацию гражданского общества под искушающим метафорическим названием “Четвертая власть”.

Сообщество журналистов стремится упорядочить стихийный процесс самопознания, в том числе и путем оформления его результатов в виде хартий, кодексов и т.п. Характерными особенностями этих документов можно считать а) непреодоленность советского наследия и в) известный инструментализм обращения с природой профессиональной морали.

В первом случае речь идет о наследовании такой трактовки повышенной ответственности профессии журналиста, в которой ответственность сводится к введению дополнительных запретов (или, напротив, исключению некоторых профессиональных ситуаций из ведения безусловных требований морали), а функция кодекса - к административно-управленческому регулированию нарушений профессионально-нравственных норм.

Разумеется, такой “рамочный” подход имеет определенное отношение к морали - мы уже затрагивали эту тему, например, в тринадцатой главе. Но это лишь та “мораль”, которая слабо доверяет собственной природе, опасаясь свободного морального выбора. И потому-то кодексы нередко приобретают репрессивную направленность, подкрепляющую административную регламентацию поведения журналистов.

С другой стороны, практика кодифицирования нравственности имела и имеет до сих пор утопические ожидания: вот появится кодекс - и оздоровит нравственную атмосферу в журналистской среде. Более того, разработчикам подобных кодексов, как правило, представляется, что такое улучшение способно повлиять на нравы всего общества. В подкрепление этих надежд не раз давались ссылки на некий “мировой опыт”. Характерно, однако, то, что при этом фактически никогда не приводилось мнение тех зарубежных исследователей, которые утверждали об изначальной беспочвенности подобных ожиданий, их апологетическом смысле.

На фоне такого рода “эстафеты”, очевидно, более продвинутой выглядит другая тенденция нормотворчества в сообществе журналистов: попытки осмыслить кодекс как инструмент развития журналистской общности,

решающий эту задачу лишь в том случае, если он, во-первых, выходит за пределы задачи “повязать” журналиста и, во-вторых, формулируется “цехом” скорее “снизу”, чем “сверху”.

Однако и в этом направлении процесса самопознания потенциал *морали* неизбежно оказывался востребованным журналистским сообществом лишь в ограниченной степени, а *побудительная* сила кодекса - слабо заявленной и малоосвоенной. Причины лежат на поверхности: а) формирование кодекса “снизу” - не панацея, коли “там” и по сей день доминирует “запретительский” стереотип понимания природы морали; б) озабоченность прежде всего (или даже только) *социальной* миссией корпорации отводит морали роль одного из “факторов”, подчиненного “социальности”.

Цивилизованное взаимодействие с приобретенным журналистским сообществом опытом кодифицирования профессионально-нравственных норм (такое взаимодействие - непереносимое условие эффективности нашего проекта) предполагает, разумеется, непрерывность эстафеты. В то же время необходимо и отчетливое представление о том, в чем имеет смысл ограничить инерциальность и прошлого, и современного опыта. *От какого именно наследия стоило бы отказаться?*

Во-первых, от попыток приспособить стандартные западные кодексы к современной российской действительности. Подчеркнем: дело не в псевдопатриотизме, а в том, что все “тамошние” кодексы вырастают из собственной моральной ситуации. Ее специфика: определенная доктрина нравственной философии уже давно освоена профессиональной культурой и *подразумевается*, если даже и не декларируется, в конкретных нормах; традиция профессиональных кодексов неустранимо “сверхпрактична”: по существу - вплоть до утраты “нерастворимого остатка” моральности. (Большинство известных нам кодексов имеют характер жестких практических предписаний, инструкций по поведению в определенных, стандартных ситуациях.)

Такую ситуацию нельзя “перешить” на собственную фигуру, путь к ней отечественному профессиональному сообществу необходимо *прожить*: вместе с гражданским обществом в целом. Поэтому-то “большой скачок” российского журналистского сообщества сразу в этап кодификации по зарубежным моделям был не просто не полезен, но *опасен*.

Во-вторых, от трактовки кодексов в стиле табуирующих моральное пространство, ограничивающих свободу выбора журналиста “регламентов”. Мотивации в духе “Уложения о наказаниях” предстоит противопоставить мотивацию морального самоопределения профессионала, позитивную самоориентацию: через призвание, ответственность, служение, солидарность, через самореализацию, наконец.

В-третьих, от догматической интерпретации самой роли кодекса. И журналистским сообществом, и обществом в целом должны, как представляется, осознаваться и признаваться благотворность определенного (метафизически неизбежного) риска журналиста в ситуации морального выбора

как *естественного* фактора профессионально-нравственной деятельности; то же относится и к обоснованию права на нравственные искания, на моральное творчество, в том числе и творчество, результат которого - *новые* элементы *правил честной игры*.

В-четвертых, от подмены нормотворчества как процесса, организуемого корпорацией проектировочными усилиями специалистов (социологов, управленцев, психологов, этиков), пусть даже и самого высокого класса. От создания кодекса в тиши то ли “храма корпоративной бюрократии”, то ли “храма науки”.

Нам представляется, что отмеченное выше “цивилизованное взаимодействие” с предшествующим и современным опытом “цеха” авторам проекта на этапах его подготовки и реализации удалось обеспечить благодаря достаточно строгому соблюдению ряда “технических условий”. И прежде всего благодаря тому, что сосредоточившись на исследовании *оснований* профессионально-нравственных кодексов, авторы проекта априори исключили мотив “подрывных действий” в отношении уже существующих или готовящихся кодексов, хартий, и т.п.

Цель и задачи проекта

Теоретической целью проекта явилось исследование предпосылок и оснований формирования профессионально-нравственных кодексов журналистской корпорации. *Теоретико-прикладной* - намерение уловить дух современного журналистского сообщества и оказать сильное влияние на процесс активизации нравственной рефлексии “цеха”, без которой бессмысленно говорить о становлении духа корпорации.

Соответствующие этой цели *задачи*:

- исследование природы корпоративной этики (“духа корпорации”);
- активизация нравственно-философской рефлексии, отвечающей корпоративному духу профессионального призвания, служения, долга, ответственности; культивирование потенциала этической конвенции в выработке корпоративных ценностей и “правил честной игры”;
- экспертиза прецедентов декларирования “правил игры”, вариантов кодификации этических принципов и норм профессии;
- подготовка теоретических и теоретико-прикладных (консалтинговых) материалов для последующей работы сообщества по моделированию корпоративных кодексов и деятельности этических комитетов.

Материалы к рабочей гипотезе

Ценностный мир корпорации. В процессе формирования теоретической части рабочей гипотезы авторы проекта прибегли к формулированию минимального набора *нравственных оппозиций*, которые были выведены в процессе анализа *речевых практик* журналистов. Условные названия этих оппозиций: “Цена защищенности”, “Цена успеха”, “Цена объективности”, “Драматическая профессия”. Результаты этой работы нашли отражение как в

анкете экспертного опроса, так и в теоретических выводах, составивших послесловие к книге. Приведем здесь таблицу “нравственных оппозиций”.

	<u>“Цена защищенности”</u>
“Корпоративные существа” добровольно ассоциируются в расчете на защиту своего социального и профессионального статуса	Цена “защиты” для нравственной жизни “корпоративного существа” оказывается дороже искомого результата.
Мотивы защиты от давления государственно-бюрократических и финансовых структур, ухода от жестокой профессиональной конкуренции, кроме материальных интересов, появляются вследствие потребности сохранить нравственную свободу и достоинство профессионала.	Благой мотив оборачивается вполне безнравственными последствиями в виде ограничения личной свободы выбора, вплоть до отказа от нее вообще во имя “моральной спайки”. Что касается стремления уклониться от участия в “крысиных гонках”, то оно заканчивается вовлеченностью в острую конкурентную борьбу внутри организации и формированием “бюрократических добродетелей”: карьеризма, сервилизма и т.п.
Мотив удовлетворения потребности в профессиональном призвании и цеховом общении.	Реальным результатом зависимости морального самочувствия от признания сообществом может оказаться <i>приспособленчество</i> к практикуемым в нем стандартам, “прокрустизация” творческой индивидуальности.

”Цена успеха”

<p>Мотив достижения, стремление к деловому успеху - профессиональный императив современного журналиста.</p>	<p>Стремление к деловому успеху, неотрывному от коммерческого, неизбежно подтачивает профессионализм журналиста.</p>
<p>Естественно, что о профессиональном призвании судят по готовности служить делу, а такое служение невозможно без стремления к реальным успехам. Мотив служения мобилизует и формирует морально-деловые качества профессионала, качества, неотделимые от честности и справедливости.</p>	<p>Ориентация на успех в условиях рынка порождает опасность подчинения критериев профессионализма коммерческой калькуляции - будь то интерес отдельных журналистов или целых редакций. Вполне естественная забота о выживании и тем более развитии, согласие с правилами “относительной честности” перерастают “вдруг” в смену приоритетов, когда “деньги” превращаются в самоцель, а профессиональный успех измеряется лишь коммерческими показателями. Вместо деления на “честных” и “нечестных” приходит деление на “деловых” и “неделовых”. Цена такой трансформации - от снижения уровня профессионального мастерства до подрыва нравственных устоев профессии: образ “золотого пера” приобретает отнюдь не</p>

“Цена объективности”

<p>Профессиональная миссия журналиста - объективностью информации служить стабильности общества, его нравственным устоям.</p>	<p>Нравственный мир журналиста не может быть ценностно нейтральным. Логика индивидуального морального сознания, если оно не ориентировано на самосожжение через гипертрофированную самокритику, побуждает журналиста думать, что именно его нравственная позиция в наибольшей степени - счастливым образом - совпадает с объективным подходом к информационной ситуации, с заботой об укреплении нравственного здоровья общества. В итоге формируется упрощенное представление о проблеме морального выбора - как об избавлении от морального риска.</p>
<p>Мотив объективности предполагает преодоление субъективной расположенности к тем или иным системам духовных ценностей, общественно-политическим предпочтениям, партийной приверженности. А подчас - и преодоление велений совести. Субъективная честность подлежит проверке профессиональной ответственностью журналиста, т.к. он располагает специфическими властными полномочиями и сильным инструментом воздействия на человеческие судьбы.</p>	<p>Нравственный мир журналиста не может быть ценностно нейтральным. Логика индивидуального морального сознания, если оно не ориентировано на самосожжение через гипертрофированную самокритику, побуждает журналиста думать, что именно его нравственная позиция в наибольшей степени - счастливым образом - совпадает с объективным подходом к информационной ситуации, с заботой об укреплении нравственного здоровья общества. В итоге формируется упрощенное представление о проблеме морального выбора - как об избавлении от морального риска.</p>
<p>Журналист и как профессионал, и как гражданин не может не иметь своих личных ценностных и политических интересов и пристрастий, которые могут прийти в</p>	<p>Нравственный мир журналиста не может быть ценностно нейтральным. Логика индивидуального морального сознания, если оно не ориентировано на самосожжение через гипертрофированную самокритику, побуждает журналиста думать, что именно его нравственная позиция в наибольшей степени - счастливым образом - совпадает с объективным подходом к информационной ситуации, с заботой об укреплении нравственного здоровья общества. В итоге формируется упрощенное представление о проблеме морального выбора - как об избавлении от морального риска.</p>

столкновение
требованием
объективности.

с

“Драматическая профессия”

Нравственно философский взгляд на журналистскую профессию обнаруживает *неустрашимость* ряда противоречий ценностного мира журналистской корпорации: от понимания мимолетности результатов труда (“жур” - день) - через вполне вероятное обнаружение собственной непризнанности, осознание вовлеченности в ролевой конфликт человека, гражданина и профессионала - до встречи с трагизмом труда Сизифа.

Правила игры в “четвертую власть”. В процессе сбора подготовительных материалов к рабочей гипотезе мы предполагали собрать наблюдения самих журналистов о практикуемых в “цехе” реальных “правилах игры”. Но удалось лишь получить суждения по поводу *неписаных* правил, которые, решишь кто-нибудь их записать, кодифицировать, оказались бы своеобразным “антиэтическим кодексом”.

В *речевой практике* журналистов мы встретили суждение, согласно которому зависимость журналистики от государственно-бюрократических структур и финансовых магнатов если и не исключает, то чрезвычайно сужает поле действия правил честной игры. Естественно, что господствующие правила отнюдь не честной и даже “сравнительно нечестной” игры не могут быть продекларированы открытым текстом - общественное мнение не выдержит такой пощечины. Однако каждый, кто вступает на ниву журналистики, довольно быстро знакомится с этими правилами. И обнаруживает, что вынужден руководствоваться ими, если думает бесконфликтно войти в “цех” и, тем более, преуспеть в нем.

Автор этого суждения заранее не соглашается с теми, кто заявит, будто мнение о доминировании “правил нечестной игры” является лишь побочным продуктом журналистской ментальности, особого профессионального цинизма. С его точки зрения, это реалии, с которыми просто нельзя не считаться, если не хочешь подвергнуться остракизму и потерпеть профессиональное поражение.

Но этот же автор обращает внимание на то, что в рамках “Большой корпорации” журналистов - всего профессионального сообщества - нельзя не заметить *островки выживания* и даже *развития профессиональной морали*, где небезуспешно практикуются правила честной игры. Не отказываясь от надежды дожить до времен, когда СМИ станут действительно свободными и демократическими, а правила честной игры будут не только декларированы в кодексах, но и воплотятся в жизнь, автор объясняет “островную” природу современной профессиональной морали становлением в “Большой корпорации” малых групп, объединяющих журналистов по степени их духовной близости, по уровню культуры и профессиональной квалификации. Именно поэтому здесь и

не девальвировано честное слово профессионала, соревновательность не приобретает грязного и хищного характера, а потому и “неписаность” правил игры вполне естественна - их незачем маскировать.

Автор следующего, на наш взгляд достаточно характерного, наблюдения рассказывал о том, как коллега, подрабатывавший несколько лет назад, во времена российского информационного “клондайка”, в частном информационном агентстве, прочитал ему полезную лекцию о том, сколько и кому из “деловых” (назывались имена и издания) принято давать в конверте, чтобы в этих изданиях появилась - в обход рекламного канала, ибо это слишком дорого для умного заказчика - статья, написанная в жанре деловой корреспонденции и выходящая за подписью, как правило, сотрудников самого издания. “А он берет только зелеными”, - в то время такая ремарка, уважительно прозвучавшая в адрес одного из популярных телеведущих, шокировала автора почти столь же сильно, как и замечание одной юной, но цепкой “деловой” журналистки, рискнувшей объяснить за закрытыми дверьми, что “хорошая статья не та, что хорошо написана, а та, после выхода которой обнаруживаешь под своим окном новый автомобиль”.

Третий автор, размышляя о практикуемых журналистским сообществом правилах игры, отмечал, что в условиях коррумпированного государства такие правила лучше называть *правилами безопасности*. “Расследователи”, например, в основном питаются информацией, которую им дают ФСК, МВД и другие “конторы”, организующие утечки, так как “рыть” что-то самому и безумно сложно, и абсолютно неблагодарно (давать взятки - где взять денег? выпрашивать - кто и чего ради рискнет сказать правду? и т.д.). А если журналист и “нарыл” бы секретную информацию про какую-то фирму - что с ней делать? Публиковать-то ее никто “просто так” не станет. Во-первых, потому, что если журналист и мечтает о суициде, то редактор - едва ли. А, во-вторых, все знают, что сейчас в России эффект от любых разоблачительных публикаций равен нулю.

По мнению автора, тут дело не в журналистике, а в обществе: нравственных критериев нет; названные вслух воры лишь ухмыляются. Да и почему бы им не ухмыляться - ведь они “на практике” реализуют всеобщую мечту об обогащении. В этой ситуации “статьи с пафосом” просто анекдотичны и уже конечно непрофессиональны по сегодняшним меркам. Циничная эпоха - циничная пресса: о каких уж тут “цивилизованных” правилах речь? - к такому заключению приходил автор.

Pro- и contr кодекс. Здесь мы приводим фрагменты заочной дискуссии смоделированных нами позиций в традиционно ожидаемом от профессионального сообщества журналистов ключе - через анализ аргументов “за” и “против”. В данном случае - за и против создания этических кодексов.

Начнем с “*контртезисов*”, выдвигаемых некоторыми теоретиками морали.

1. Мораль возникла как специфический способ ориентации поведения людей во всех сферах жизнедеятельности. Поэтому ее требования и оценки не могут не быть *универсальными*. В то же время любой человек следует ее велениям всегда в определенных, *конкретных* обстоятельствах. Поэтому мораль обязывает человека самому определять: каким нормам и требованиям, в каком объеме и в каком сочетании необходимо следовать в каждом конкретном случае. И человек несет ответственность за собственные моральные решения.

2. Мораль стоит над конкретными обстоятельствами, в том числе и обстоятельствами профессиональной деятельности. И поскольку невозможно для каждой профессии и тем более для конкретных обстоятельств создать свой этический кодекс, надлежит отказаться от такого рода сводов норм и правил. Мораль как таковая - самая гибкая, самая пластичная форма организации и регуляции человеческого поведения, и потому ее требования принципиально не кодифицируемы.

3. То, что конструкторы разнообразных “кляtv”, “сводов”, “самоограничений” и т.п. называют *этическими* документами, на самом деле имеет к этике весьма отдаленное отношение, приближаясь, по существу, к документам *административной* регуляции деятельности *формальных организаций* (регламенты, инструкции и др.), а не человеческих *ассоциаций*.

Теперь - тезисы, защищающие идею и практику кодифицирования норм профессиональной морали журналистов. Эти тезисы опираются на своеобразный (“игровой”) опыт участия журналистов в создании или обсуждении этических кодексов.

1. Кодексы позволяют сообществу глубже осознать свою профессиональную *миссию* и связанную с ней ответственность как перед гражданским обществом в целом, так и перед отдельными группами граждан и конкретными гражданами. Кодексы создают условия для превращения профессионального сообщества в более организованное, способное к самопреобразованию из группы, находящейся *на службе у государства*, в автономную профессиональную группу, сообщество, действительно претендующее на роль “четвертой власти”. Одним из условий такой трансформации является принятие этического кодекса, распространяемого на все сообщество и внедряемого на уровне отдельных звеньев сообщества (редакций, издательств, региональных ассоциаций, клубов и т.п.).

2. Достаточным обоснованием полезности и даже необходимости принятия такого рода кодексов являются цели, обозначаемые их создателями: обоснование прав и обязанностей журналистов как представителей профессии особого рода (“четвертой власти”); урегулирование взаимоотношений - на разных уровнях - с властью законодательной, исполнительной и судебной; фиксирование сложившихся норм отношений с гражданским обществом,

преступая которые журналист попадает за красную черту права на профессию (нарушение этических норм по отношению к тем, о ком он пишет; недостойное поведение внутри сообщества: стукачество, нечестная конкуренция и т.д.).

Собственная позиция авторов проекта, уточним, изначально не вписывалась ни в логику “Contra”, ни в логику “Pro”. Мы постарались удержаться от непосредственной реакции на предъявления того или другого подхода, от попыток повлиять на характер полемики и на ее ход включением в заочный спор экспертов, приведением дополнительных аргументов для обоснования как той, так и другой позиции.

Что касается не введенных нами в полемику аргументов, мы могли бы заметить, например, в адрес позиции “Contra”: похоже, что знатоки природы морали “забыли”, что на самом деле (а) каждый человек постоянно “примеряет” универсальные требования к повседневным обстоятельствам. В этой его способности к *моральному творчеству* - залог практичности морали; при том, что (б) требования профессионально-нравственного кодекса именно *непрактичны*, ибо они либо навязаны “сверху”, либо, если и идут “снизу”, то несут в себе организационно-инструментальное начало. К тому же (в) так называемые “этические” кодексы несут в себе идеологию казенного, чиновнического понимания солидарности. Обслуживая административную функцию, они не предлагают прямых правовых санкций, но косвенно апеллируют (и создают для этого как минимум психологические предпосылки) к возможности административно-правового воздействия на “нарушителей”. Не случайно некоторые кодексы предполагают конституирование “журналистских судов”, которым может быть предоставлено право исключать из профессионального союза. Последнее можно было бы рассматривать как фактическое изгнание профессионала из “Большой корпорации”.

Что касается поддержки позиции “Pro”, то здесь прежде всего был бы логичен подход “от эпохи”, в которой, по сравнению с “развитым тоталитаризмом”, наметились “точки роста” гражданского общества. Именно эти точки позволяют профессиональным корпорациям незамедлительно начать процесс самоизменения. В этом отношении сообщество СМИ - наряду с частным предпринимательством - наиболее продвинуто. Стало быть, создание профессионально-нравственных кодексов все же может содействовать (пусть и не гарантирующим образом) *корпоративной консолидации* на новых началах.

Добавляя эти аргументы на обе чаши весов, заметим, однако: много более плодотворным нам представляется переведение размышлений и дискуссий в иную плоскость, выводящую на передний план обсуждение ключевого по значению (если говорить о *миссии*) вопроса о корпоративном духе, воплощающем мировоззренческие ценности профессиональной морали - это обязательное *основание* любых кодификаторских инициатив.

Совершить такого рода проблемно-тематический перевод необходимо прежде всего потому, что те, кто позитивно говорят о профессионально-

нравственном кодексе, обычно слабо профилируют собственно *этическую* природу кодекса. Те же, кто озабочен правильным пониманием феномена морали, легко “забывают” о существовании ее *профессиональной* ипостаси.

Потенциал корпоративной солидарности. Анализ речевых практик показал, что профессиональное сообщество активно обсуждает проблему соотношения индивидуально-личностного и корпоративного в деятельности журналиста. Приведем некоторые фрагменты.

Первый автор отмечает, что в творческих профессиях “все глядят в Наполеоны”, болезненно друг другу завидуют. Доброго слова о коллеге и от коллег не услышишь - “сколько ни верти головой”. Солидарность?! Корпоративная этика, пожалуй, существует, да и то в определенном контексте: “Вы помалкивайте о наших грешках, мы - о ваших”. При этом последнее распространяется только на журналистов одного лагеря - “противников полощут все”.

Другой автор полагает, что “хваленая журналистская корпоративность не выдерживает испытания рынком”. Более того, отмечает он, всегда есть и не скрывается желание “поплясать на конкуренте”. Солидарность? И да, и нет. “Да” - потому, что и газеты, и журналы могут выжить только все вместе. “Нет” - потому, что нельзя высоко оценить перспективы объединения журналистов. “Журналисты хороши именно тем, что они разные”. А всякое объединение неминуемо начнет влиять, сглаживать противоречия и тем самым “нивелировать цех, стирать отличия”.

Наши выводы из подготовительных материалов к рабочей гипотезе вошли в основную часть анкеты для экспертов и в заключение по результатам проекта.

Методология проекта

Мы уже отмечали, что работа с таким специфическим “предметом”, как *мораль*, безусловно, ограничивает использование традиционного познавательного инструментария исследователя, приверженного поиску “объективных” истин, озабоченного ретушированием “случайных” личностных смыслов, не доверяющего “расплывчатым” версиям понимания, работающего с установкой на поддающуюся формализации репрезентативность и т.п.

С нашей точки зрения, единственным более или менее адекватным природе морали вообще и профессиональной морали в том числе методом познания, а точнее - *понимания нравственной жизни человека*, группы, профессионального сообщества, является метод *диалогического* общения исследователя и *эксперта* - независимо от того, ведут ли они очный или заочный диалог, идет ли речь о “меритократической” или “демократической” версиях гуманитарной экспертизы.

Выбор эксперта - сложная методологическая задача. Минимизация исследовательского произвола достигалась в нашем проекте, во-первых, за счет “конструирования” *системы зеркал* для профессионального сообщества, позволяющих ему увидеть самого себя в рефлексивных статусных позициях: руководителя редакции, журналиста, лидера профессиональной ассоциации,

разработчика кодекса, аналитика журналистских нравов, профессионального этоса. Во-вторых, за счет рекрутирования в корпус экспертов представителей т.н. *центральной* и т.н. *региональной* прессы, экспертов-авторов из Москвы и Тюмени. В-третьих, благодаря тому, что при выборе *эксперта-журналиста*, к примеру, ставка делалась прежде всего на его *имя*, на авторитет в “цеховых”, профессиональных, а также читательских, общественных кругах.

Гуманитарная экспертиза и неразрывно связанная с ней *консультативная* функция проекта предполагают обеспечение диалога исследователя с экспертом через предъявление на консультацию основных *модельных* форм профессионального этоса, в том виде, в каком они представлены в *обыденном сознании* и в *стереотипизированных картинах аналитиков*. Собственные научные пристрастия авторов проекта относительно “наиболее правильной” модели могут быть включены в предмет экспертизы и консультирования, но не должны быть предпочтительными.

Итак, природа гуманитарной экспертизы потребовала от авторов проекта инициировать *моральную рефлексию самого сообщества* - в отличие от “чисто” социологического или “чисто” морализаторского подходов, которые менее всего нуждаются в партнерских отношениях с “предметом” исследования. Поддерживаемый нашим методом режим *консультативного* опроса экспертов несет в себе именно диалогический - не назидательный, не дидактический - потенциал, позволяющий профессиональному сообществу узнать (или не узнать) себя в системе зеркал, которые трудно отбросить на манер того, как это сделала капризная сказочная красавица-царица.

Исходя из гипотезы о сформировавшейся ситуации становления корпоративного духа журналистского сообщества, авторы проекта обратились к ряду профессионалов, которые знают, чувствуют этос сообщества “изнутри” (“внутренняя экспертиза”), и - одновременно - к тем, кто видит журналистов, их деятельность и нравы как бы со стороны, тесно соприкасаясь с ними в процессе собственной профессиональной деятельности (“дистанцированная экспертиза”). Две эти категории экспертов получили предложение проконсультировать проект по всему диапазону изложенных выше вопросов рабочей гипотезы.

В общей сложности приглашение к сотрудничеству получили около сотни профессионалов, которых разработчики проекта априори считали “персонами грата” в поисковом пространстве. Отнюдь не все из тех, к кому мы обратились, согласились на сотрудничество. Среди как минимум полдюжины причин отказа были достаточно банальные (“работы столько, что нет времени на “отвлечение””), были и шокирующие. Конкретная формулировка главного редактора одной из уважаемых газет: “У меня газета останавливается, денег нет на выпуск следующего номера, - а вы хотите, чтобы я об этике думал?”. Формулировки, встречавшиеся достаточно часто: “тема сегодня практически неактуальна”; “правды не скажешь, а врать не хочется”. Были и отказы с мотивировкой “усложняете”. Как показывали уточнения, отторжение вызывала, как правило, необходимость реагировать на предлагавшийся эксперту набор моделей *социальной миссии* журналистики, полученный в ходе пилотажа. (Исследовате-

лей интересовали взаимодействие этих моделей с тем или иным способом этического нормотворчества, потребность и готовность экспертов корректировать предложенные им модели в определенном направлении.)

Публичным итогом проекта предстояло стать *книге*, составленной из экспертных текстов. По замыслу авторов, эта книга, проявляющая основания профессионального этоса в наиболее щадящем режиме *самопредставления*, адресована и самим журналистам, в том числе будущим, пока еще не вышедшим на “оперативный” простор *свободной профессии*, и заинтересованным политикам, и политологам. Уточним, что жанр *консультирования* авторов проекта (размышления, диалог, импровизация “на тему”, эссе о нравах и т.п.) избирали сами эксперты.

Анкета эксперта

Мотивация проекта. О “корпоративном начале”, заложенном в журналистике как профессии, заговорили, наконец, в России. И сразу выяснилось, что не только исследователи, но и сами журналисты понимают под корпоративностью нечто, различающееся не только оттенками смысла, но и знаком.

На “кристаллизацию” корпоративности одни надеются как на естественный процесс, связанный с вхождением прессы в систему рыночных отношений, и на серьезный шанс для российской журналистики стать более информативной, более человечной, менее ангажированной в политическом отношении. Другие, напротив, связывают тенденцию “корпоративизации” прежде всего с действием внешних для самой прессы сил - скажем - с угрозой монополизации СМИ властью или отдельными финансово-промышленными группировками. И предрекают, как почти неизбежное, использование меняющейся, стремящейся осознать себя “цехом” (или “цехами”) прессы в корпоративных целях или даже во вред обществу.

Характерно, что и сторонники, и противники активизации корпоративного начала в отечественной журналистике достаточно дружно апеллируют к *профессиональной морали* журналистов: имея возможность обращаться теперь уже не только к сумме частных (как правило - негативных) прецедентов из газетно-журнальной и радио-телевизионной практики, но и к попыткам морального нормотворчества, предпринимаемых самим “цехом”.

При том, что своды “моральных норм” в российской журналистике последнего времени разрабатывались действительно активно (назовем только “Декларацию”, подписанную в феврале 1994 года рядом известных журналистов, входящих в “Московскую хартию”, и “пилотный” “Кодекс телевизионного журналиста” С.Муратова), нам представляется, что полоса “свободного развития” профессионального начала в журналистике близка к завершению. Практическая журналистика подведена к пороговой ситуации выбора.

Один из признаков этой ситуации - несомненно нарастающее давление на журналистов властных структур. Не обсуждая объективных и субъективных

оснований и поводов для такого давления, отметим сам политико-моральный “обертон” властного подхода. Речь сегодня идет, как правило, о цене слова для общества и самой прессы, о необходимости сберечь ростки свободы массовой информации от заморозков, связанных с попытками превратить эту свободу в свободу от обязанностей перед обществом. Устами высоких должностных лиц власть фактически предлагает журналистам заново обдумать не только свои “властные” претензии, но и способы их выражения, - дополняя прямое влияние на прессу (законотворчество, правоприменение, установление норм и “правил игры” в экономическом пространстве) воздействием “установочным”, “ориентирующим” прессу на “объективность” и “полноту освещения” ситуации во “всей России”, а не только “в Москве и Чечне”, на недопущение “пошлости” и “непристойности”, на определенный стандарт “призвания журналистики”, наконец, - “служить духовному и нравственному возрождению России”.

Другой, еще более серьезный признак новой ситуации выбора: “свод моральных норм” практически оказывается основанием так называемой “профессиональной карточки” (удостоверения) журналиста, приобретающей характер “пропуска” в систему профессиональных прав, льгот и привилегий, к этой карточке привязываемых; по существу, речь идет о доступе к профессии в целом, о праве на профессию. Тому, кто сочтет данное утверждение преувеличением, напомним, что “Кодекс профессиональной этики российского журналиста”, одобренный Конгрессом журналистов России в июне 1994 года, начинается с констатации: журналист всегда обязан действовать, исходя из принципов профессиональной этики, зафиксированных в настоящем кодексе, “принятие, одобрение и соблюдение которого является непременным условием для его членства в Союзе журналистов России”.

Вопрос о том, существуют ли в современной России предпосылки для корпоративности журналистов в широком, “общецеховом” смысле, - не праздный. Тем более не праздным является вопрос о том, какого рода нормы и правила должны закладываться в основы такой корпоративности самим “цехом” как обязательные, определяющие возможность поддержания нормальных, устойчивых взаимоотношений “цеха” с гражданским обществом и властью.

Инициаторы проекта исходят из того, что людям, считающим себя представителями “цеха”, самое время задуматься о нравственных особенностях профессиональной журналистской корпорации, о том, что можно определить как ее “дух”, - и попытаться выделить те базовые нормы и ценности, которые именно сегодня должны быть заложены в качестве *побуждений* (в первую очередь) и *ограничений* (по возможности - во вторую) профессиональной деятельности ее членов. Этот комплекс норм, позволяющий корпорации вести игру “по правилам” в реальном обществе нашего времени, мы обозначили понятием “правила честной игры”.

Отдавая себе отчет в том, что для “игры по правилам” нужны, как минимум, по тем же правилам играющие партнеры - власть и гражданское общество в целом, мы все же рискнули предложить нашим экспертам выступить с “опережающей консультацией”.

Эксперты могут принять наш заказ в границах выбранного ими авторского жанра: размышления, спора, импровизации “на тему”, заметок “по поводу”, небольшого эссе о реальных и желаемых нравах журналистского сообщества. Чтобы в дальнейшем создать единую композицию книги, мы и разработали данную “анкету” - нечто вроде “рамочного сценария” для консультации, которую авторы проекта ждут от заинтересованных экспертов.

Проблемная ситуация. Что означает активизировавшееся “вдруг” моральное нормотворчество “цеха? Внутреннюю потребность? Ответ на внешний вызов, приобретший характер “вызова времени”? Пережиток авторитарных устремлений? Естественную форму самоорганизации свободной профессии?

Справится ли профессиональное сообщество с задачей “опознания” в предлагаемых ему сегодня проектах кодексов скрытого недоверия к его нравственной свободе, не всегда скрываемого административного упоения? “Разглядит” ли - и по каким признакам - в числе других те проекты, которые трактуют кодексы как ориентиры для нравственного самоопределения журналиста?

“Перебирая” варианты, “откроет” ли не всегда очевидную связь каждого из кодексов с такими понятиями индивидуального кредо, как “призвание”, “ответственность”, “служение”, “самореализация”, и зависимость между сводом норм и самоопределением сообщества относительно его миссии, социальной роли, всего духа корпорации?

Согласны ли эксперты с утверждением, что вне такого “открытия” самые благие намерения по развитию профессиональной солидарности слишком рискованны? Что в этом случае на практике дело придет либо к принудительному собиранию “цеха” на основаниях, достаточно далеких от морали, в том числе профессиональной, - либо к скачкообразному усилению его раздробленности: с потерей в обоих случаях и без того небольшого (если говорить объективно) шанса на трансформацию духа лицензированного (государством) “корпоративизма” в дух свободной корпорации.

Рабочая гипотеза: диагностический эскиз. Практика создания кодексов, хартий, наборов профессиональных принципов и т.п. вольно или невольно отражает различные представления тех или иных структур профессионального сообщества о миссии и социальной роли журналистики в обществе.

Эти представления, фокусируемые в широком диапазоне метафор от “приводного ремня” до “масс-медиа”, между которыми миссии “носитель массовой информации” и “четвертая власть”, редко проявляются в чистом виде. Очевидно, для переходного периода в развитии страны одновременное существование различных представлений о миссии профессии естественно. Показательно, что в разных моделях нормотворчества, - а мы выделили три таких модели - они сочетаются по-разному.

Модель первая. Доминирующая тенденция к созданию собственно кодексов характеризуется пестротой, “наложением” представлений о миссии журналистики, характерных и для советского, и для постсоветского периодов. С

одной стороны, бесспорный факт повышенной социальной ответственности журналистики уже сегодня фактически сводится к “мягкой” подмене гражданской ответственности ответственностью перед властью, - оборачиваясь, в том числе, введением дополнительных запретов к общеморальным требованиям. В итоге декларируемая большинством из известных сегодня кодексов “мораль” подозрительно настроена по отношению к своей собственной природе. Явно опасаясь непредсказуемости свободного морального выбора, авторы этих кодексов, по сути дела, “предупреждают” саму эту непредсказуемость сильной или слабой версией патернализма. Фактически современная профессиональная мораль журналистов в этом случае проявляет себя как мораль “традиционного” и этатизированного общества.

Есть и иной подход, проявляющий себя стремлением осмыслить этические кодексы как инструмент развития и консолидации самого журналистского сообщества. Как правило, сторонники такого подхода осознают, что активно способствовать в решении именно этих задач кодекс способен лишь в том случае, если сам он не навязывается “сверху” или “извне”, а формируется “цехом”. Когда он в полном смысле “приходит снизу”, а не проводится “через низы” или “именем низов”.

Однако, гарантирует ли сам по себе голос “снизу” преодоление бремени “традиционализма”? За несомненным “инструментализмом” обращения с нравственной свободой нельзя не увидеть определенные основания, вполне отчетливые представления о миссии и роли профессии.

Известно, скажем, что “четвертая власть” нередко воспринимается (в том числе и самими журналистами) как “власть” в буквальном значении слова. В реальных условиях современной России, при сложнейшем конфликте властных ветвей как в центре, так и в регионах, пресса - зачастую поневоле - берет на себя роль не только “морального судьи” или “компаса” (привычка советской эпохи), но и прямого партнера или же “противовеса” власти, восполняя тем самым неразвитость институтов и власти, и гражданского общества. В этом направлении журналистику подталкивают и менталитет самих журналистов, и менталитет читателя, слушателя, зрителя, которые, не отучившись воспринимать прессу как орудие власти, приучились за первые годы гласности воспринимать ее как орудие борьбы с ней.

Но оставляет ли такой подход шанс превратить журналистику из “еще одного” института государственной власти в автономную корпорацию гражданского общества? И, кстати, можно ли признать такое превращение целью полезной для России, актуальной для нее? А для самой прессы?

Очевидно, что миссия “четвертая власть” не идентична миссии “носитель массовой информации”. “Прописанное” законом понятие “массовая информация” отличается объективизмом, неидеологизированностью, антипропагандистским началом. Можно ли пренебречь этими характеристиками? Можно ли, допустимо ли рассматривать в качестве основы и показателя “независимости СМИ”, “свободы массовой информации” ситуацию, при которой газеты стремятся выразить не общественное, а свое мнение? И

стоит ли ожидать изменения данного положения до тех пор, пока не выработан своего рода общественный договор не только между обществом и прессой, но и между обществом и государственной властью, призванной представлять его интересы?

Модель вторая. Журналистское сообщество примиряется с наличием известного раскола в собственной среде? Во всяком случае известны обновленческие проекты, адресованные лишь отдельным группам журналистов. Не отказываясь от надежды дожить до времен, когда журналистика станет действительно свободной и демократичной, а правила честной игры будут не только декларироваться, но и воплощаться всем “цехом”, журналисты создают “островки” выживания и даже развития профессиональной морали, небезуспешно практикуя именно честную игру.

Создаваемые в этой ситуации своды норм в стиле “хартий” могут включаться и в общецеховые кодексы. Однако, в этом случае авторы кодексов могут достичь лишь внешнего освоения отбираемого “материала”. “Хартия”, как правило, более продвинута в направлении реального самоопределения журналиста. Не претендуя на охват всего сообщества, она собирает “моральных единомышленников”, опираясь при этом на этику коллегиального товарищества. В корпорациях малых групп легко проявляется, а поэтому и не девальвируется честное слово профессионала, соревновательность здесь не приобретает характера “грязной” конкуренции. Здесь вполне естественна доминирующая роль неписаных правил игры: в отличие от общецехового кодекса ставка здесь делается на неформальные санкции. Однако, устранена ли в таком типе нормотворчества та ограниченность доверия к моральной свободе индивида, которая явлена в модели общецехового кодекса? И не содержится ли в нем опасность высокомерного, элитарного группизма?

Размышляя над основаниями того типа нормотворчества, каким являются хартии, мы обнаруживаем сочетание тех же двух миссий - “четвертая власть” и “носитель массовой информации”, что и в случае с кодексами. В то же время первая из них представлена не столько в виде властной структуры, сколько в версии, приближающей ее к роли “общественного рупора” или “mass media”.

Модель третья. Авторам проекта известен и российский прецедент (единственный в своем роде) создания кодекса, более адекватно отражающего природу морального выбора. Речь идет о понимании кодекса как *эталона*, с помощью которого журналисты могут оценить этическое качество собственных моральных поступков.

Особое значение в этом прецеденте имеет органическая связь принципов профессиональной морали с моделью социальной миссии журналистики, акцентирующей общественную потребность в информации и права личности на гражданское самовыражение. Гражданское общество здесь - и субъект, и объект информирования. Такая модель более всего соответствует, как нам представляется, понятию и миссии “mass media”, отражающему ценности гражданского общества и роль журналистики как посредника между индивидом, общественными группами, движениями - и государством.

Наиболее трудный вопрос, возникающий в связи с этим прецедентом: много ли шансов на укоренение такой модели?

Завершая диагностический эскиз, мы просили экспертов проконсультировать нашу гипотезу, заключающуюся в том, что процесс нормотворчества и его результат (кодекс, хартия и т.п.) должны соотноситься с четко осознанной моделью миссии. Разумеется, мы спрашивали: есть ли у эксперта иное видение рассмотренных выше результатов нормотворчества и образов тех миссий, с которыми связана жизнь “цеха”, и способов связи между ними?

Апологетический прогноз

В каждом из такого рода опросов мы решали для себя вопрос о целесообразности “аналитического разбора” опубликованных текстов. Что ж, соблазна дать “соответствующие обобщения” избежать было нелегко. Но как же тогда было бы с декларированной в обращении и к экспертам, и к читателям диалогичностью? Инициаторам проекта о правилах честной игры не подобает самим нарушать такие правила.

С нашей точки зрения, полученные в итоге экспертные тексты, во-первых, самоценны. Не без известной доли иронии мы все же рассчитываем, что в своей совокупности эти тексты могут стать “свидетельством эпохи” - после того, как “сойдет” поверхностная актуальность проблематики. Во-вторых, предметом анализа они могут стать в режиме своеобразной “экспертизы экспертизы”, т.е. второго этапа проекта, когда сами участники первого этапа смогут отразить его итоги и когда в число экспертов второго тура опроса будут вовлечены и новые авторы. С расчетом на этот второй этап мы решили вместо аналитических размышлений о текстах экспертов представить в послесловии к книге свою собственную позицию, которая, в отличие от того, как она была дана экспертам в анкете, является теоретической концепцией. Концепцией, которая, как нам бы хотелось, легла в основу этапа “экспертизы экспертизы”.

Итак, после того, как по предложенной авторами рабочей гипотезе (“диагностический эскиз”) представлены опубликованные суждения экспертов, мы предложили собственную версию (“апологетический прогноз”) относительно одной из миссий журналистского сообщества - систему этических принципов, которую можно было бы назвать “*Духом свободной корпорации*”. На наш взгляд, именно на этом пути открываются значительные возможности для противостояния, с одной стороны, принудительному “собираанию цеха” административно-бюрократическими методами, а с другой - его дальнейшему дроблению, атомизации сообщества. И, вместе с тем, на таком пути представляется шанс наиболее полно удовлетворить назревающую потребность в консолидации журналистов на действительно демократических и нравственных основаниях.

Изложим наши тезисы об основных принципах “*Духа свободной корпорации*”.

Корпоративный дух масс-медиа: презумпция нравственного достоинства

Современное общество не может не быть корпоративным. Вопрос лишь в принятии или отторжении корпорациями “этического измерения”. Наша страна только начала продвигаться в направлении к независимым, добровольным корпорациям как в бизнесе, так и в профессиональных сообществах, поэтому состояние корпоративного духа как “клея” сообщества и рычага его обновления может быть понято лишь в цивилизационной перспективе с максимальным учетом национальной специфики.

Исходный тезис “апологетического прогноза” заключается в осознании назначения этики свободных профессий. Его суть - выражение коренных интересов двух взаимодействующих сторон. Прежде всего, это защита интересов ассоциированных членов корпорации (не они принадлежат корпорации, а напротив, она им принадлежит), защита их социального и профессионального статусов, свободы и достоинства. Вместе с тем, не менее существенно и обеспечение заинтересованности всего общества в наиболее эффективном осуществлении корпорацией своей социальной миссии.

Позитивный потенциал корпоративного духа заключен в способности обеспечить удовлетворение материальных и социальных интересов журналистов и, главным образом, их профессиональную свободу именно за счет включенности отдельных лиц и малых групп в “Большую корпорацию”, способную уберечь своих членов от давления государственно-бюрократических и финансовых структур, от жесткости профессиональной конкуренции на информационном рынке.

Вместе с тем, необходимо отчетливо сознавать двойственную природу всякой корпорации.

При определенных условиях она способна и ограничивать личную свободу журналиста, и обострить конкурентную борьбу - уже не на открытом информационном рынке, а внутри профессиональной ассоциации (или компании), где коммерческие калькуляции смогли взять верх над духом корпоративности. Все это провоцирует возвращение “бюрократических добродетелей” (сервилизм, карьерные предпочтения, бездумное исполнительство и т.п.) и приспособленчество, “прокрустизацию” творческой индивидуальности журналиста. Нередко в подобных ситуациях мы имеем дело просто со “спайкой”, групповщиной, слегка прикрытой словесами относительно сплоченности и солидарности (по принципу “вы помалкивайте о наших грешках, мы же - о ваших!”).

Позитивный потенциал корпоративизма выявляется не сам по себе, в виде некоего гарантированного итога, а лишь в результате преодоления сообществом собственных мучительных нравственных противоречий, возникающих как “плата” за защищенность статуса, за то, что критерием делового успеха становятся обретение влияния и/или денежных средств, за признание приоритетности принципа объективности информации над личными ценностными или же политико-идеологическими пристрастиями журналиста.

Позитивный потенциал корпоративного духа реализуется через права корпоранта на свободный “вход” в корпорацию и, соответственно, на такой же “выход” из нее, на моральное равенство членов корпорации, на достижительную ориентацию (корпорация - не убежище для “убогих и сирых”). Он осуществляется через притязательное право требовать от других, а не только от самого себя, действовать, руководствуясь правилами честной игры.

Позитивный потенциал корпоративности осуществляется через неформальное общение и санкции, которые в профессионально-нравственном кодексе должны быть вероятностными (могут осуществляться, но могут и не произойти) и неопределенными по объему. Такие санкции-реакции корпорантов предполагают свободу выбора в ситуации конфликта не только между добром и злом, соответствием или несоответствием нормам, между добром и наименьшим злом, но и между положительными нравственными ценностями, особенно - в различных контекстах культурных значений, например, в культурах достоинства и стыда и т.п. Так возникает моральная ответственность самого профессионала, за которого никто не в силах совершить выбор, не покушаясь при этом на его демократические прерогативы и его нравственную свободу.

Конвенциональная природа правил честной игры

Мораль гражданского общества в целом, корпоративная мораль сообщества журналистов в том числе являются не только итогом естественно-культурного отбора, но и плодом соглашения равноправных моральных субъектов; она возникает и эволюционным путем, но, в то же время, и в результате договора.

Конвенциональность не означает, будто формулирование норм, их обсуждение и мероприятия по последующему их принятию сообществом осуществляются на каком-то, условно говоря, селекторном совещании всех членов “цеха” или же на собрании специально делегированных представителей сообщества, его организаций. Эти нормы рождаются скорее стихийно, в результате длительного отбора методом проб и ошибок, с последующей их кристаллизацией. Субъекты такого отбора - прежде всего, “продвинутые” группы сообщества, успевшие раньше других “прожить” как “болевы точки”, так и “точки роста” процесса становления журналистской корпорации. При этом включаются не просто механизмы мимесиса, социального подражания, но весь творческий процесс сопровождается и стимулируется организационными усилиями по формулированию норм и по их кодификации. Не случайно говорят о скромной этике контракта, подчеркивая тем самым договорной характер, способ возникновения ее установлений, методов нормотворчества и, вместе с тем, минимальный характер требований, которые не могут не опираться на более широкие и глубокие нравственные основоположения, мировоззренческие принципы.

Природа корпоративного духа предполагает добровольное объединение профессионалов на основе правил честной игры, но, конечно, не общего

мировоззрения (культурный плюрализм). При этом обоснован и вопрос о выборе базовых ценностей для предпочтения тех или иных правил или же для их последующих изменений.

Профессионально-нравственная конвенция - это прежде всего соглашение по поводу нравственных оснований кодекса, хартии, декларации, нормативного манифеста и т.п. Узаконенные конвенцией правила игры представляют собой не только “чисто” моральные императивы (которые, как известно, не обладают никакой властной силой, кроме авторитета личности или корпорации в целом, предполагая осуждение отклоняющихся поступков духовными средствами и самоосуждение). Эти правила образуют некий симбиоз этическо-правовых нормативов, организационных норм, при условии, конечно, если последние не диссонируют с моральными нормами, содействуя строительству и саморазвитию корпорации в заданном ее “основателями” направлении. При этом важно, чтобы этическую функцию кодекса не подавлять, не маргинализировать, не оттеснить административно-правовой “составляющей” кодекса.

О пользе и вреде кодексов профессионального поведения

Нам не раз приходилось выслушивать аргументы против самой кодификации поведенческих норм для профессиональных сообществ. И мы включали эти соображения в виде задания “контркодекс” в наши игры. Попробуем здесь обобщить их еще раз.

Итак, мораль, утверждают критики кодификации, возникла как специфический способ регуляции и ориентации поведения людей во всех сферах их жизнедеятельности. Поэтому ее требования не могут не быть универсальными. Они не специализированы по родам и видам деятельности или по их сферам. В то же время человек следует ее непререкаемым велениям в различных обстоятельствах. Разве необходимо ввиду этого очевидного и банального факта создавать какие-то ситуативные этики, какую-то мораль ad hoc?

Универсальность морали заключается и в том, что она обязывает человека (актора) самому определять, каким именно нормам и требованиям, в каком объеме и в каком сочетании следует руководствоваться в каждом конкретном случае. Поэтому он и несет всю полноту ответственности за принимаемые моральные решения, за содеянное. Мораль стоит над конкретными обстоятельствами, их бесконечным многообразием, в том числе над обстоятельствами профессиональной деятельности. Стало быть, надлежит отказаться от намерений создать для каждой профессии (пусть только для некоторых профессий) свод норм и правил, систему оценочных суждений. Мораль сама по себе - гибкая, пластичная форма организации и регуляции человеческого поведения. И то, что конструкторы различных “клятв”, “сводов”, “хартий” и им подобных документов, называют их *этическими*, на самом деле имеет к этике весьма отдаленное отношение, по существу, приближаясь к документам административного регулирования поведения людей в организациях.

Разумеется, нельзя не признать известные резоны в критике кодификаторской деятельности профессиональных сообществ. Однако, следует привести и контраргументы. Дело в том, что кодексы позволяют сообществу глубже и разносторонне осознать свою профессию, ее значение, этос, миссию, связанную с ней меру ответственности как перед столь трудно нарождающимся гражданским обществом в России в целом, так и перед отдельными группами и гражданами страны. Кодексы создают возможность сделать профессиональное сообщество более организованным, способным к самоопределению и преобразованию из групп, пребывающих на службе в “конторах”, либо под присмотром власти, в автономную профессиональную корпорацию. Одним из условий такой трансформации как раз и является принятие этического кодекса как всего сообщества, так и отдельных его звеньев (редакций, издательств, телекомпаний, региональных ассоциаций, клубов и т.п.) и следование его предписаниям.

Однако, сама по себе приверженность идее создания и внедрения профессионально-нравственных кодексов не гарантирует понимания собственно *этической* природы таких кодексов. Дело в том, что корпоративный дух сообщества журналистов прежде всего характеризуется тем, что эта профессия относится к числу свободных. Таковыми эти профессии делает специфический “объект” профессиональной деятельности - человек, его права, свободы, гуманистические ценности. И требования универсальной морали при этом вовсе не “отменяются” (сие просто немислимо сделать!), но, напротив, развиваются, обогащаются за счет конкретизации моральных требований и оценок, их новой иерархизации и рационализации. Оставаясь этическими по своей квалификации, нормы профессиональной морали, в силу данного обстоятельства, должны быть предметом *морального творчества* профессионалов в процессе их сопряжения с очень специфичными ситуациями выбора и риска.

Впрочем, не должно быть упущено из вида, что те, кто справедливо концентрируют внимание на собственной природе морали, могут забыть поставить заслоны тенденции к морализаторству. Ее коварство заключается в перенасыщении не только обыденного языка, но даже и профессиональных коммуникаций моральными интенциями. Проще говоря, склонности к постоянному морализаторству, к которому располагает сама повседневная речь. Морализаторство вполне может создать видимость того, что разработчики профессиональных кодексов полностью учли природу моральной регуляции, тогда как на деле “учтены” лишь фантомы моральности.

Для соответствия кодекса и рекомендуемых им поступков природе морали важно не просто зафиксировать в кодексе долг журналиста, расписать его обязанности и ролевые соответствия. Самое важное заключается в том, чтобы нравственные *основания*, на которых только и может воздвигаться кодекс, побуждали бы журналиста не поддаваться лишь ограничивающим моральным ориентациям и находить баланс между повинностями обязательств, с одной стороны, и запретными правилами игры, с другой. А это предполагает

творческий поиск в поле созидательных поступков, самонахождение и самовозложение долга, когда свобода, самораскрытие, спонтанность не противостоят социальным предназначениям и корпоративной дисциплине.

***Успешные профессионалы:
нравственно - стало быть, эффективно***

Корпоративный дух - не некая абстрактная “нравственность”, привнесенная в профессиональную жизнь извне и укореняемая в ней, а нравственность, извлеченная из требований профессионализма в качестве обязательного условия эффективности, стратегически выверенной успешности такой деятельности. Успешно действующий журналист не располагает сертификатом нравственности автоматически, во всех своих поступках и отношениях. Но при массовых и серьезных нарушениях требований профессиональной этики подлинная миссия журнализма в “открытом обществе” оказывается подорванной. Этические требования нельзя трактовать в качестве незатейливых, и по сути дела, пошлых “сервоприводов” профессиональной деятельности или же рассматривать в роли своеобразных духовных “смазочных материалов”, которые позволяют бойчее, веселее крутиться колесикам огромной информационной машины, обеспечивая ее ритмичность, бесперебойность, эффективность. Но так или иначе, эта, лишенная этических начал, машина может воспроизводить различные негативные процессы, препятствовать мобилизации собственных динамизирующих ресурсов, реализации своих социальных функций и потенциалов.

Процесс становления корпоративного духа не может начинаться с “Большого скачка” в мир ценностей гражданского общества. Те, кто так или иначе озабочены настоящим и будущим своей профессии, объединяются в локальные образования по принципу взаимного интереса и взаимного доверия: “Мы вместе потому, что профессия в нашем понимании начинается с соблюдения безусловных норм честной игры, в которых выражены базовые ценности нашей профессии”.

Группы журналистов, “пассионарно” значимые для становления “Большой журналистской корпорации”, - это профессионалы, добивающиеся успеха, действуя по правилам честной игры, независимо от того, оказывается ли соблюдение этих правил полезным для них лично в каждом конкретном случае. Кодексы, хартии, манифесты и т.п. изначально не будут противоречить природе журналистской этики только тогда, когда окажутся точно сорентированными на ценности профессионального успеха - индивидуального, группового, общекорпоративного. Собственно говоря, любая профессиональная мораль (врачебная, педагогическая, юридическая, предпринимательская, научная, политическая и т.п.) не может не быть нацеленной на успех во всех его ипостасях, ибо кому нужен провальный профессионал любой специальности?!

Личный пример успешных профессионалов - достижение успеха именно благодаря соблюдению правил честной игры - лучшее “наглядное пособие” для

утверждения корпоративного духа с его, казалось бы, парадоксальным девизом: “Нравственно - стало быть, эффективно!” Но не наоборот!

Этические комитеты как консультанты профессиональной корпорации

Мы предпочитаем занять скептическую, сдержанную позицию относительно трактовки роли этических комитетов и комиссий профессионального сообщества как дисциплинарных институций, как подобия “журналистских судов” над провинившимися, тем более - как разновидности унижительной “полиции нравов”.

Но тем самым отнюдь не подрывается сама идея (и уже реальная практика, хотя бы отчасти) создания этических комитетов. Не исключено, что со временем возникнет потребность не только в создании таких комитетов, но и в координации их деятельности с помощью общепрофессионального этического комитета корпорации с совещательно-рекомендательными функциями.

Скорее всего важнейшими задачами этических комитетов и комиссий, там, где они уже созданы, и там, где их еще предстоит создать, могли бы стать следующие задачи:

- этическая экспертиза и консультирование принимаемых решений в сложных, нестереотипных, неопределенно-рискованных нравственно-конфликтных ситуациях, когда сталкиваются нравственные ценности различного достоинства и различного значения в поликультурном пространстве страны, а выбор одной из ценностей не увеличивает этического достоинства других и даже попирает его;

- распространение точных в профессиональном и адекватных в этическом смысле представлений об основах и нормах кодекса, признанного корпорацией “своим”;

- культивирование ценностей, норм и оценочных шаблонов этого кодекса и наблюдение за тем, как эти ценности, нормы, правила честной игры, системы оценок “работают” в реальной жизни сообщества;

- реформирование кодекса по мере накопления практического опыта существования корпорации и “мини-корпораций”, ее составляющих (они могут совпадать с различными организациями средств массовой информации);

- подготовка и принятие рекомендаций, закрепляющих отдельные положения кодекса в виде подкрепляемых авторитетом сообщества повседневных норм поведения в той или иной стандартной ситуации, представляющей собой не всегда замечаемую моральную “развилку”, способную создать узел напряжения во взаимоотношениях отдельных журналистов или всего сообщества с потенциальным пользователем информации или как-то обойти его, опираясь на уже известный способ действия “по прецеденту” и “по этическому канону”.

ДУХ КОРПОРАЦИИ: ПРАВСТВЕННЫЕ ОППОЗИЦИИ

Проект, который лег в основу этой главы, включает тематический выпуск “Этики успеха” (Вып.4) и экспертный опрос, результаты которого также вошли в содержание номера. В настоящей главе мы поставили перед собой задачу соединить эти материалы в некую мозаику “корпоративного духа”.

Миссия и этос корпорации: внутренняя экспертиза

Экспертный опрос, проведенный нами среди учредителей, руководства и сотрудников Финансово-инвестиционной корпорации (ФИК) “Югра”, представляет собой *внутреннюю* экспертизу: его заказчик - ФИК “ЮГРА”, его участники - ее же собственные акционеры и сотрудники. Однако, значимость экспертных материалов, как нам представляется, выходит за рамки интересов отдельной корпорации.

Обращаясь к экспертам, мы пригласили их принять участие в заочном “круглом столе” журнала “Этика успеха”, четвертый выпуск которого целиком посвящен теме “*Дух корпорации*”.

Термин “корпорация”, говорилось в анкете, стал модным словом, применяемым фактически к любому организационному нововведению наших дней. И не скрывается ли загадка этой популярности в том, что ценность *корпоративности* отвечает *духу времени*?

Достаточно вспомнить, как в 20-е годы сплошь и рядом создавались “товарищества”. Возможно, и сегодня российское общество, не удовлетворившись сугубо индивидуальными формами активности, с одной стороны, и не желая возврата к “трудовому коллективу” - с другой, с радостью и готовностью (обладая управленческим опытом и кадрами) обращается к “золотой середине” - к *ценности* корпоративности?

Кажется, тенденцию последних нескольких лет вполне можно назвать “*корпоративной революцией*” - корпорации создаются и успешно действуют там, где раньше никто и не помышлял ни о чем подобном; при этом корпорациями на деле являются такие организации, которые сами себя ими и не считают.

Не заключается ли *магия* корпоративности в удачном сочетании “советского” - с “несоветским”, “государственного” - с “частным”, “командного” - с “непартийным”, “единоначалия” - с “групповым принятием решения”, индивидуального аскезиса - с преданностью делу, лишенному заидеологизированной приобщенности ко “всему советскому народу”?

В силу всех этих причин *корпоративность* вполне успешна. И кто возразит против тезиса о том, что в ближайшем будущем можно ожидать “*корпоративизации всей страны*” - такова, как представляется, формула ее “переходного периода”?

Однако, разве та же самая “корпоративная революция” не поставила и новые для России, для ее наиболее “продвинутых” регионов, проблемы, в первую очередь морального, психологического, культурного планов?

По некоторым из этих проблем редколлегия журнала и Совет директоров ФИК “Югра” и просили консультации экспертов.

1. Что, на ваш взгляд, *отличает* внутрикорпоративную жизнь и внутрикорпоративное управление от привычного многим из нас по прошлой жизни “партийного руководства” и “партийной жизни” (например, собрание членов корпорации - от партийного собрания)? А что их *сближает*?

2. Какие “плюсы” и какие “минусы” вы видите в том, что современное российское общество постепенно превращается в “*корпоративное общество*”? Возможно, вы не согласны с таким диагнозом-прогнозом?

3. По каким “правилам игры”, на ваш взгляд, живет корпорация (обычная - и та, к которой вы себя причисляете)? Считаете ли вы правильным, если все общество перейдет на жизнь по этим правилам?

4. Может ли регион, в котором действует корпорация регионального развития, где экономические отношения формируются как корпоративные, стать более *успешным*, чем его соседи, остающиеся обычной “территорией”? Если “да”, то в чем? Если “нет”, то почему?

5. Как вы считаете, осознают ли люди, которые вступают в корпорации, что они, выигрывая в своей *защищенности*, *именно поэтому же* и проигрывают в *индивидуальной свободе и ответственности*?

Если, на ваш взгляд, вполне осознают, то считаете ли вы, что такое противоречивое соотношение *защищенности и свободы* - неизбежная цена *именно переходного периода* в жизни страны?

Или все же такое противоречие - *универсальная* характеристика любой корпорации?

6. Не могли бы вы отметить, какой - *позитивный*, а какой - *негативный* потенциал привносят корпорации в наше общество?

7. Как бы вы охарактеризовали “идеологию” и “дух” той корпорации, которую вы лучше всего знаете? И отдельно - корпорации “Югра”?

Попытаемся представить наиболее значимые суждения экспертов, сгруппировав их по некоторым из вопросов анкеты.

Характерна, прежде всего, реакция на *преамбулу* анкеты. По мнению ряда наших экспертов, частота употребления слов “корпоративность”, “корпорация” сегодня скорее чрезмерна, и употребляются они там, где не надо. Популярность этих слов, конечно, не случайна. Во-первых, она связана с присущей человеку тяге к новым и не очень понятным терминам. Во-вторых - отражает желание, с одной стороны, сохранить то хорошее, что было у нас или с нами до реформ, с другой - освоить то, что кажется хорошим и нужным в этих реформах. В целом речь идет о стремлении к *развитию*.

Могли ли назвать “Югру” просто компанией? Нет, назвали именно корпорацией, даже понимая, что на старте она скорее - “корпорация по

названию”. Да, поддались и магии этого слова, но полагают, что в “корпорации” наиболее удачно выражено то настроение и та модель фирмы, компании, которую и собирались создавать.

Корпорация - сложная структура. Это видно уже по структуре уставного капитала “Югры”, по структуре акционеров. Здесь и банк, и государственный орган, и государственная нефтяная компания, и частная нефтяная компания, и компания, которая занимается инвестициями, и инвестиционный фонд. Интересы государственной, частной и смешанной собственности предполагают сложное сочетание в ткани корпоративного интереса. Финансовое проектирование, инвестиционное проектирование, экспертиза, анализ, прогнозирование социально-экономического развития региона - все это само по себе предмет для работы отдельных компаний. И даже очень крупных специализированных компаний. В “Югре” же все это объединяется под крышей одной корпорации.

Эксперты понимают, что слово “объединяется” сразу вызывает вопрос. Как можно объединить столь разнопорядковые интересы, и по масштабам, и по содержанию? В чем их общий интерес? Проще было бы всего сказать: общий интерес, разумеется, в получении прибыли. Но это только база и способ преодоления эффекта “лебедь, рак и щука”. А сверхзадача или, громче, “миссия” корпоративного духа всех учредителей - инвестиционная корпорация как механизм реализации региональной политики, политики надежного развития региона и общества в целом.

Инвестиционные процессы, инвестиционная политика для России в ее нынешнем состоянии - нечто неведомое, новая страница. Это желаемое, но пока недостижимое будущее нормального развития страны. Во-первых, нет специалистов. Во-вторых, этот вид деятельности не пользуется популярностью, никто не ходит и не просит: дайте мне проект, в который я вложу деньги и получу прибыль и т.д. Нет такой тяги, нет и инвестиционной культуры. Но без идеи инвестиционной корпорации, инвестиционной политики, инвестиционного проекта не выжить, тем более - не заложить основу завтрашнего развития города, района, округа, страны в целом. Поэтому и объединились учредители и акционеры вокруг этой идеи и пытаются ее реализовать.

Что же отличает внутрикорпоративную жизнь и внутрикорпоративное управление от привычных для прошлого нашей страны “партийной жизни” и “партийного руководства”?

Говоря о соответствующих отличиях, следует, по мнению С.Я.Бабаскина (руководитель проекта), принимать во внимание, что не существует единой модели корпорации и искомые отличия зависят, во-первых, от мотивов, побуждающих людей или организации объединяться в корпорации, и, во-вторых, от соотношения корпоративных и индивидуальных интересов объединяющихся в корпорацию субъектов.

По мнению эксперта, по критерию побудительных мотивов корпорации могут быть разделены на три типа (здесь С.Я.Бабаскин ссылается на работу В.И.Шпильмана, опубликованную в третьем выпуске “Этики успеха” в 1994

году). Этой типологии, полагает эксперт, соответствует и деление корпораций по признаку соотношения корпоративных и индивидуальных интересов. Итак, корпорации *первого* типа отличаются стремлением их членов к получению прежде всего экономических преимуществ внутри самой корпорации и признанием корпоративных интересов несоизмеримо более высокими, чем индивидуальные интересы. Такие корпорации, по мнению эксперта, весьма напоминают трудовой коллектив - субъект “партийной жизни” и объект “партийного руководства”. Поэтому говорить о соответствующих отличиях, с точки зрения С.Я.Бабаскина, не приходится.

Корпорации *второго* типа - их члены объединились для деятельности, требующей нескольких исполнителей, например для изучения нового, реализации творческого потенциала, и признают индивидуальные интересы соизмеримыми с корпоративными - отличаются, по мнению эксперта, от обычного трудового коллектива “по критерию, используемому при принятии решения о том, является ли техническое решение изобретением или нет (в результате сложения всех признаков, описывающих техническое решение, должно получиться новое качество, которым не обладал ни один из признаков)”. Именно за счет соответствующего выбора совокупности признаков и благодаря организации их взаимодействия и достигается это новое качество - полагает эксперт.

Аналогичной он считает и задачу, возникающую при формировании внутренних “правил игры” корпорации, - эти правила не могут не учитывать тип корпорации. Так как в корпорацию второго типа субъекты объединяются для достижения цели, требующей объединенных усилий, для устойчивости этой структуры (чтобы она оставалась именно корпорацией, а не превращалась в “трудовой коллектив”), “руководство корпорации и ее члены должны достаточно четко представлять цели корпорации и свое место в ней”. И для этого руководство корпорации должно периодически информировать своих членов о делах корпорации. Определенное место в системе “правил игры” должно отводиться неформальному общению (в том числе семинарам, “мозговым атакам” и т.д.). “В результате у членов корпорации формируется чувство причастности к общему - к тому, что возможно оказало бы влияние и на формирование “духа корпорации”.

По мнению эксперта, “правила игры” корпорации должны включать в себя и правила административного управления. Однако правила корпоративного управления - в отличие от системы “партийного руководства” - должны учитывать, что корпорация “имеет дело не с “винтиком”, а с личностью, обладающей определенными правами”. Именно здесь, полагает С.Я.Бабаскин, едва ли не самое главное значение имеет “желание руководства корпорации создать именно корпорацию, а не “трудовой коллектив”.

Корпорации *третьего* типа - в них индивидуальные интересы ставятся выше корпоративных - являются скорее клубами по интересам, “правила игры” в которых могут быть весьма специфичными.

Эксперт полагает, что, принимая “правила игры”, члены корпорации должны вполне сознательно идти на ограничение индивидуальной свободы и меры ответственности при принятии решений, “получая взамен гарантии социальной защищенности в той или иной формах”. И это противоречие является универсальной характеристикой любой корпорации, не зависящей от особенностей переходного периода в стране.

В то же время, “влияние переходного периода может выразиться в том, что в корпорацию приходят и специалисты, склонные к индивидуальным формам активности (но без авантюризма), которые именно в силу особенностей переходного периода не могут реализовать себя в привычных для них структурах. Способность этих людей работать как в коллективе, так и в одиночку может оказаться полезной в корпорации. Аналогией может служить поведение волков зимой - с наступлением трудных времен одинокие хищники объединяются в стаи, поскольку это значительно повышает вероятность выживания”.

Корпоративная деятельность, с точки зрения *В.Е.Чугунова* (руководитель проекта), предполагает в процессе продвижения к поставленной цели и становление, и успех корпорации (далее - К.) и, вследствие этого - реализацию духовных и материальных потребностей партнеров - членов К. “Иначе говоря, каждый из партнеров видит свой успех только через успех К”.

С точки зрения эксперта, “партийная жизнь”, в отличие от жизни корпорации, основана на удовлетворении номенклатурой своих материальных потребностей за счет ресурсов партии, создаваемых не только рядовыми членами, но и беспартийными.

Разница в принципах партийного и корпоративного управления обусловлена различиями, представленными *В.Е.Чугуновым* в таблице.

	<i>Корпорация</i>	<i>Партийная жизнь</i>
Отношение к окружающим	Неагрессивность к себе подобным и иным	Подавление всего, не подчиняющегося собственным канонам
Отношения внутри системы	Духовная общность партнеров и, как следствие, взаимопонимание, доверие, достоинство	Номенклатурный страх
Движущая сила	Экономическая мотивация	Соблюдение интересов

	деятельности партнеров	партии, как среды обитания
Результаты	Вознаграждение в соответствии с профессиональным уровнем и вкладом в успех К.	Скрываемый личный интерес при отсутствии ответственности

Разница поведения на собрании.

<i>Корпорация</i>	<i>Партийная жизнь</i>
Общение с себе подобными - питательная энергетическая среда	Лавирование с целью избежать туманов и продвинуться к кормушке
Принятие решений, направленных на успех К.	Распределение ответственности между хозяйственными и другими не номенклатурными работниками
Удовлетворение от убежденности, что К. работает в интересах каждого	Атмосфера массового гипноза

Основные отличия внутрикорпоративной жизни от партийной (“корпорация” - как символ “народного капитализма”), по мнению *А.В.Дубровина* (вице-президент ФИК): наличие общей собственности; четкая установка на конкретные, прагматические цели; паритет интересов личности и корпорации; принцип договора (феода) во внутрикорпоративных взаимоотношениях; индикативная система оценок деятельности сотрудника, отдела, подразделения; участие в управлении через владение акциями, через разработку, обсуждение и принятие коллективного договора; интеллектуальный ценз.

Сходство партруководства и партжизни с корпоративными эксперт видит в том, что корпорации на стадии ее становления необходимы централизм и жесткая исполнительная вертикаль, приверженность общим идеологическим основаниям; “здесь остаются в силе все принципы, характерные для любой власти, ставящей целью эффективное руководство и адекватность управляемой среде”.

Исходя из того смысла понятия “корпорация”, который подразумевает “создаваемые на основе профессиональных интересов объединение или союз в форме акционерного общества”, *А.В.Филипенко* (глава администрации автономного округа, председатель Наблюдательного совета ФИК “Югра”) полагает, что “надо признать наличие существенных различий между внутрикорпоративной жизнью и внутрикорпоративным управлением, с одной стороны, и привычным многим из нас по прошлой жизни “партийным руководством” и “партийной жизнью” - с другой”.

Эксперт отмечает, что внутрикорпоративную жизнь и внутрикорпоративное управление определяют экономический интерес и экономическая целесообразность. Сообразно этому и идет формирование структуры, делегирование полномочий, выстраивание внутренней дисциплины. Эксперт еще раз подчеркивает основное различие корпоративной и партийной жизни: за все решения руководства (и правильные, и неправильные) корпорация расплачивается рублем, и ее руководство несет персональную ответственность перед собранием членов корпорации. А каждый член корпорации, присутствуя на собрании, должен активно участвовать в его работе, ибо “речь идет о судьбе его денег или собственности”.

Не обращаясь к словарям, можно отметить, по мнению *В.И.Карасева* (заместитель главы администрации автономного округа), самое важное в его понимании выражения “дух корпорации”: “Единый дух достижения цели, в том числе - людей с различными взглядами, но сознательно работающих на достижение единой цели, как каждый из них ее понимает”.

С точки зрения эксперта, корпоративность отличает “глубоко осознанное движение коллектива к намеченной цели, стремление умножать, прибавлять, стараться не допускать ошибок”. Он полагает, что это более высокая ступень “коллективного осознания необходимости движения вперед, согласованности действий, подстраховки”.

Под словом “цель” эксперт подразумевает и интерес, “интерес не только материальный, но и идейный”, так как “всегда существует желание укрепить корпорацию, сделать ее достаточно независимой и защищенной в бушующем море беспредела законодателей”. При этом не у всех и не всегда материальный интерес - главный. “В моем понимании, нормально и закономерно, когда все хотят, допустим, получать больше. Но параллельно с этим существует интерес укрепления самой корпорации. Не всегда даже в связи с тем, что ты будешь больше получать, иногда на каком-то этапе ты будешь получать меньше”.

Что сближает корпорацию и трудовой коллектив и что различает? В обычном трудовом коллективе не всегда и не каждый “хорошо понимает, куда идут, зачем идут, что делают”. И в корпорации такой тип людей тоже есть - наемные работники и т.д. “Но как раз задача самой корпорации и ее руководства - попытаться постоянно держать в достаточном творческом напряжении каждого члена коллектива, чтобы каждый знал, к чему стремится корпорация, как действует”.

Вопрос о различии “внутрикорпоративного управления” и “партийного руководства” как бы предполагает “жизнерадостный перечень того, что так принципиально, категорически делает нас всех - сегодняшних - непохожими на нас всех - вчерашних”, - отмечает *Т.С.Новашина* (вице-президент ФИК). Она говорит об отличиях, “основываясь на двухлетнем опыте участия в создании корпорации и жизни в ней”.

Первое отличие - сложность “встраивания” корпорации в привычный для многих механизм партийно-хозяйственного управления. Издавна отлаженный механизм партийного руководства определял место каждого в системе отношений. И если сегодняшняя корпорация удачно вписалась в регион, отрасль, любую другую нишу экономики, причины этого - “не столько в победе нового над старым, сколько в желании и умении этого старого принять или освоить новые формы управления, адекватные условиям сегодняшнего дня”. И это представляется эксперту вполне нормальным, ибо последствия идеи о разрушении старого мира “до основания” известны всем.

Второе отличие - в экономической основе, в собственности. Корпорация объединяет собственников, которые “вместо декларативного “все вокруг мое” оказались собственниками того немногого, что реально получили от учредителей и что, не менее реально, предстоит не просто удержать, но и приумножить в условиях весьма непростых”. При этом, отмечает *Т.С.Новашина*, собственнику трудно и при развитом капитализме, и при капитализме недоразвитом. “Поэтому, с одной стороны, пришло ощущение собственной значимости в свободном полете, а с другой - груз забот, который раньше не тяготил плеч”.

Еще одно отличие: обнаружился огромный дефицит знаний, профессиональных навыков, и потому “видимо, навсегда покинуло ощущение профессиональной самодостаточности, когда четко определялись границы запроса от партийного или иного руководства на то, что ты должен знать и уметь, а чего не должен. Все, выходящее за эти рамки, доставляло удовольствие и огорчение тебе самому и твоему неформальному окружению”.

Особенностью корпорации эксперт считает то, что положение дел в ней, “ее успехи или не успехи, ее рыночная устойчивость определяют для многих сотрудников их собственное материальное и социальное бытие”. А такая прямая зависимость “рождает прямой интерес”.

Что сближает “внутрикорпоративное управление” и “партийное руководство”? “Есть такое тривиальное понятие - общеуправленческая культура. Старое ее приобретает и культивирует годами, новое далеко не всегда ею богато. Отсюда объективная потребность в сближении”. При этом менталитет управленцев “не утрачивается в единый миг”, а значительная часть нынешних членов корпорации вышла из прежних структур управления.

Осознанная внутрикорпоративная жизнь и квалифицированное (прежде всего, легитимное) внутрикорпоративное руководство основаны, с точки зрения *С.М.Шатохина* (директор Тюменского филиала ФИК), “на социально-экономическом императиве объединения отдельных лиц (физических и

юридических)”, и это сегодня “более значимый приоритет для подавляющего большинства населения, чем духовные идеалы объединения, характерные (опять же, при соблюдении порядочности, а не культивирования двойных стандартов) для внутрипартийной жизни”. Здесь эксперт видит принципиальное отличие “внутренних источников корпоративного и партийного движений”.

Кроме мотивов объединения, существенное отличие С.М.Шатохин усматривает в порядке использования результатов деятельности “для отдельных членов сравниваемых объединений”. Так, если “политические дивиденды опосредованно изменяют жизнь, в основном, руководящего состава партии”, то “экономические дивиденды, получаемые корпорациями, непосредственно влияют на жизнь всех ее участников (пропорционально их долевого участию в капитале корпорации)”.

Классический тип корпорации представляется эксперту как “партия совладельцев имущества”, с помощью которого такие совладельцы добиваются объединившей их цели - прибыли. “Присутствие корпорации в политической, социальной, духовной жизни мотивируется только тем, что это участие (успешное!) создает условия, для реализации (успешной!) указанной суперцели”.

Классическая партия - это, по мнению С.М.Шатохина, “корпорация духовных единоверцев, которые с помощью презентации идеалов своей веры добиваются лидерства в обществе, чтобы закрепить эти идеалы в виде правовых актов и государственных приоритетов”. И участие партии в хозяйственной, социальной и т.п. сферах жизни “обусловлено необходимостью сохранения условий для реализации ее суперцели - политического лидерства”.

Две анализируемые в экспертном вопросе формы объединения отдельных лиц (в классическом варианте!) сближает, по мнению С.М.Шатохина: масштабность движений (она, например, обуславливает опосредованный характер общения участников - через органы управления, через их лидеров); механизм организации деятельности (например, определенное сочетание централизма и демократизма); отличие возможностей корпоративной и партийной элит от возможностей рядовых участников этих движений (например, в обеспечении социальных привилегий, в финансовом обогащении).

Каковы “плюсы” и “минусы” постепенного превращения российского общества в “корпоративное общество”? Какой позитивный и какой негативный эффект вносят корпорации в наше общество?

Современное российское общество, по мнению С.Я.Бабаскина, еще не имеет выраженной тенденции к превращению в корпоративное - “оно представляет собой отдельные мозаичные образования, среди которых появляются и корпорации”. При этом идет процесс структурирования российского общества - появляются признаки превращения его в “общество отдельных корпораций, имеющих антагонистические интересы”. К отрицательным сторонам этого процесса эксперт относит “тот факт, что наиболее сильными и живучими сегодня оказываются корпорации,

объединенные либо криминальной идеей, либо идеей типа “честь мундира превыше всего!”.

С точки зрения эксперта, превращение российского общества в корпоративное явилось бы положительным фактором - он мог бы стать компромиссным вариантом для двух популярных идей: “Каждый сам за себя” и “Человек человеку - друг, товарищ и брат”. Для этого эксперт считает необходимой объединяющую государственную идею, “хотя, быть может, именно процесс создания и консолидации отдельных корпораций и создаст эту идею”.

Восточный принцип “инь-янь”, означающий взаимовлияние и взаимопроникновение систем на пути к совершенствованию, действует повсюду, - отмечает *В.А.Чугунов*. “Общество порождает К. хорошие и разные, К. воздействуют на общество тоже по-разному. Управлять этим процессом можно, только участвуя в нем”.

Не готов согласиться с прогнозом о том, что современное российское общество постепенно превращается в “корпоративное общество” *А.В.Филипенко*. Дело в том, что у государства остается значительная доля собственности (госсектор), например, контрольные пакеты акций, казенные заводы или предприятия инфраструктуры, которые в силу их значимости для государства приватизации не подлежат.

Вместе с тем эксперт полагает, что “плюсов у феномена корпоративности больше, чем минусов”. Позитивный потенциал корпораций, привносимый в наше общество, состоит “в духе предпринимательства, инициативы, конкуренции за потребителя, придании динамичности в развитии экономики, повышении ее эффективности и др”. Вместе с тем, “корпорациям свойственен и негативный потенциал, связанный с периодом первоначального накопления капитала в переходный период от командной экономики к рыночной экономике”.

Начнет ли все общество жить по корпоративным правилам? Это, полагает *В.И.Карасев*, слишком далекая цель, потому что надо “зарядить” каждого человека, сформулировать те государственные цели, которые будут восприняты всеми как собственные.

“Я не скажу, что сегодня в обществе корпоративное движение столь уж широкое, могучее”. Позитивным автору представляется само осознание необходимости обозначить цели. Негативным - то, что формулирование целей затягивается. И если финансовые корпорации этот этап уже прошли - теперь они на стадии принятия конкретных планов, то финансово-промышленные группы, на взгляд эксперта, еще находятся на этапе формулирования целей. А что касается областных структур, они еще только подходят к этапу осмысления задач.

“Я согласен с теми, кто полагает, что корпорации несут в себе бациллу группового эгоизма: они все гребут “под себя”. Естественно, что это негатив, который они привносят в общество”. Поэтому “само общество должно однажды сформулировать для себя правила игры с корпоративным интересом и

согласовать групповые интересы с корпоративным интересом всего государства, страны, региона”. А правила эти формулируются и регулируются законодательством - если государственные цели будут, наконец, обозначены, а нация сплотится.

Позитивный потенциал, который корпорации вносят в общество, по мнению *А.В.Дубровина* - “высшая (не путать с наивысшей) ступень организации социума, вовлеченность в управление более широких слоев сотрудников, специализация сотрудников, повышенная ответственность и прямая зависимость действий и результатов. Корпоративное деление социума на крупные группы позволяет эффективней управлять обществом и прогнозировать его дальнейшее развитие”.

Превращается ли современное российское общество в корпоративное? На взгляд *Т.С.Новашиной*, оно таким и было, правда без упоминаний о корпорации, без формализации признаков корпоративности, “ибо последние к социализму отношения не имели”. Ведь “в сознании многих поколений сформировалось: “Говоришь - “корпорация”, подразумеваешь - “капитализм”. В действительности же “отрасли являются традиционно корпоративными и в советский, и в рыночный периоды, широко используя все формы корпоративной борьбы и защиты”.

Что же касается гипотезы о том, что “все российское общество постепенно превратится в корпоративное”, то для эксперта “этот возможный единый порыв народных масс, даже ограниченный только предпринимательским корпусом, мало чем отличается от коллективного похода в развитой социализм”.

Сущность корпорации, как отмечает *С.М.Шатохин*, это “коллективный индивидуализм, который основан на общей доле собственности, но не на общем труде”. Поэтому объединение на основе участия в общем трудовом процессе, но не на базе общей собственности, известное как *трудовой коллектив*, “является понятием другого ряда”. Практика показала, например, на опыте Японии, что “взаимопроникновение прав и обязанностей члена трудового коллектива и члена корпорации (т.е. собственника предприятия) делают корпорацию более стабильной, социально защищенной и динамично развивающейся”.

Эксперт полагает, что современное российское общество не просто постепенно, а весьма динамично (по общемировым критериям) превращается в “корпоративное общество” - в том смысле, что в ходе приватизации такие предприятия, как “Газпром”, “Сургутнефтегаз”, “Юганскнефтегаз”, ЗИЛ, АВТОВАЗ, ГАЗ и т.п., корпоризируются.

Корпорации же, по сути, являются “товариществами” 20-х годов. Ибо не имея корпоративного состава совладельцев, оптимально построенной “и, главное, корпоративно мотивированной управленческой структуры, мощной производственной (или другой материальной) инфраструктуры”, такие образования, “несмотря на амбициозность названия”, реально не участвуют в “корпоративизации всей страны”.

По мнению С.М.Шатохина, “корпоративизация” общества дает целый ряд глобальных “плюсов”: “а) открытое объединение лиц для реализации их материальных интересов дает существенный толчок рационализации (прагматизации) механизма развития экономики, поднимает ее социально-экономическую эффективность и динамичность; б) корпоративный управленческий состав более восприимчив к новациям, более заинтересован в реконструкции технической базы предприятия, профессионально способнее, значительно активнее в поиске, выделении и использовании инициативных работников, реализации их творческого потенциала; в) корпоративной экономике свойственна реальная заинтересованность в практическом обеспечении девиза: “От каждого по способностям - каждому по труду” (не только пропорциональная результатам труда широкая дифференциация его оплаты, но и должностные подвижки, и обеспечение участия в собственности корпорации и т.д.); г) повышение устойчивости развития экономики за счет минимизации принудительного труда, накопления в недрах экономики антагонистических противоречий; обеспечение плановости развития, возможности финансирования исследований спроса и предложения, научно-технических разработок, страхования от форс-мажорных обстоятельств; д) повышение правовой защищенности лиц (физических и юридических) от государства, противодействие приоритету одной политической силы или личности, авторитарному режиму государственного управления, создание реальных предпосылок демократического устройства общества путем увеличения социальной защищенности граждан, возможности корпоративных структур по созданию независимых от государства и конкурирующих на рынке средств массовой информации”.

В свою очередь классифицируются и “главные “минусы” корпоративного общества: а) деньги становятся высшим критерием успеха граждан, общество все менее строго “судит победителей”, негласно принимает тезис, что “деньги не пахнут”; б) национальное богатство все более сосредоточивается в узком кругу лиц, создавая предпосылки для превращения демократических институтов в орудие оболванивания населения, манипулирования его поведением”.

По каким правилам игры живет корпорация вообще и та, которую представляет эксперт? Можно ли положительно оценить ситуацию, в которой бы все общество жило по этим правилам?

Жизнь общества должна, полагает В.Е.Чугунов, подчиняться законам, изложенным в Библии, “и не нам их обсуждать. Мы можем лишь соизмерять законы и правила, созданные людьми, с этими законами, взяв за критерий духовное совершенствование человека”.

По мнению А.В.Дубровина, в настоящее время “корпоративное общество” - еще не преобладающий в социальной структуре тип построения социумов, “хотя тенденция несомненно просматривается”.

Правила игры эксперт изложил в ответе на первый вопрос анкеты. При этом он полагает, что все общество перейти на жизнь по этим правилам не

может, “поскольку в нашем обществе еще долго будет силен популистский, прокоммунистический уклад построения общественных, политических групп”.

А.В.Филипенко полагает очевидным, что любая хозяйственная корпорация в условиях конкурентной борьбы живет по рыночным “правилам игры”.

“Не думаю, - говорит эксперт, - что все общество перейдет на жизнь по корпоративным правилам”. Ведь за государством остается значительная доля госсектора, и для тех, кто работает в нем, “правила игры” будет устанавливать государство, “хотя и не без косвенного влияния корпоративного сектора”. В каждом из этих видов правил есть свои плюсы и минусы, и “люди в соответствии со своими наклонностями вольны выбирать то, что им по душе”.

Среди правил, по которым должна жить корпорация, *В.И.Карасев* выделяет прежде всего информационные правила, ибо все должны знать о целях и задачах корпорации и необходима обратная связь. “Я не хотел бы специально говорить здесь о системе поощрения и т.п., что связано с формированием духа корпорации”.

Эксперт хотел бы, чтобы дух корпорации трансформировался на все общество. “Общество разобщено, есть необходимость его собирать. При развитии духа корпоративности возникает чувство монолитности, чувство уверенности, что поставленная цель будет достигнута”. Кем поставлена? “Нами самими. Мы так хотим. Да, мы сами хотим быть мощной, сильной корпорацией, с которой бы считались во всем мире”.

“Правила игры”, по мнению *Т.С.Новашиной*, зачастую довольно резко меняются. При этом “верхушка корпорации живет по своим правилам, остальные корпоранты - по правилам, устанавливаемым ею”. Если это устраивает их, то люди из корпорации не выходят. Представить себе переход всего общества на правила корпоративной игры эксперт может, “но теоретически”. В то время как опыт установления общих для всех правил игры в социалистическом обществе уже имеется. Да и общечеловеческие правила жизни в обществе тоже давно известны. “Жаль, что не всегда и не все их придерживаются, равно, как в политике и экономике, так и в других сферах общественной жизни”.

“Если принять, что игра - это совокупность действий и их возможных последствий, интересующих ее участников, то под “правилами игры” следует понимать, - отмечает *С.М.Шатохин*, - условия осуществления этих действий и допускаемые участниками рамки их последствий”. Исходя из этих посылок эксперт обозначает некоторые “правила игры” корпорации:

“А) Член корпорации всегда прав, если он прекращает свое участие в Корпорации. Б) Управленческий персонал всегда прав, если его руководство делами приносит прибыль корпорации. В) Защищенность корпорации - в соразмерности вознаграждения за труд и дивидендов от доли в корпоративном капитале управленческого состава Корпорации. Г) Корпорация должна быть оптимально “прозрачной” не только для главных, но и для рядовых своих участников. Д) Корпорация возникает в обществе, ее развитие определяется обществом, поэтому ничто общественное ей не чуждо”.

Последние два правила С.М.Шатохин полагает особенно актуальными для крупных корпораций с большим числом вкладчиков, и это предопределяет активность руководящего состава в лоббировании общественного мнения, административных структур общества, систематическую информационно-рекламную деятельность.

Осознают ли люди, вступающие в корпорации, что, выигрывая в защищенности, они проигрывают в индивидуальной свободе и ответственности?

По мнению *В.Е.Чугунова*, вступить в корпорацию “вовсе не означает выиграть в защищенности”. Более того, вполне реальна ситуация, когда отдельный человек или группа станут нуждаться в защите “именно потому, что он (она) стал членом корпорации (а защита требует затрат...)”.

“Лучше всех защищен тот, кто не привлекает внимания. Копая утром червей для рыбалки, я заметил, что беру (совершая насилие) тех, которые извиваются, убегают - проявляют активность, дохлых же и вялых не замечаю или игнорирую: что с них проку!”

Что же касается индивидуальной свободы, то - принимая за формулу свободы “совокупность духовной свободы, правовой защищенности и экономической независимости” - именно корпорация, на взгляд эксперта, призвана обеспечить ее для личности (группы).

“Трактовку свободы как свободы от ответственности перед другими я не могу принять. Таким образом, вступая в корпоративные отношения, человек (группа) может быть и проигрывает в защищенности (или Корпорация проигрывает в финансах), но выигрывает в свободе”.

Реплика авторов: это распространенный стереотип: человек приходит в корпорацию потому, что выигрывает здесь в своей защищенности, но цена того, что он “под крышей” - потеря его индивидуальной свободы.

Потерей своей индивидуальной свободы наше поколение не испугаешь. Скорее всего, мы пугаемся от свалившейся на нас свободы, потому что не знаем, куда ее употребить, эту свободу. В генах у нас как раз отсутствие индивидуальной свободы. И мы теряемся сегодня не из-за того, что кто-то ее забрал, а, наоборот, из-за того, что нам кто-то ее дал. Поэтому и нет большого конфликта между защищенностью и свободой.

Сегодня мотив этого конфликта перенесен к нам с Запада. Но только сегодня. Поколение двадцатилетних остро страдает от ограничения индивидуальной свободы. И мучается как раз этим конфликтом: с одной стороны, не хочется поступиться своей свободой, своими желаниями, своими эмоциями и чувствами, с другой стороны - хочется быть защищенным, чтоб на тебя не капало, не дуло, деньги были гарантированы, чтоб комфортно работалось и жилось.

“Это неизбежная цена в настоящее время, - говорит *А.В.Дубровин*, - но не универсальная характеристика любой корпорации”.

А.В.Филипенко полагает, что люди, которые вступают в корпорации, осознают, что выигрывая в защищенности, “именно поэтому же и проигрывают

в индивидуальной свободе и ответственности”. С другой стороны, “уровень этой свободы и ответственности зависит от той ступеньки, которую люди занимают в иерархической системе корпорации, - согласно образованию, профессиональным навыкам, талантам”.

Автор полагает, что противоречие между защищенностью и индивидуальной свободой и ответственностью - “универсальная характеристика любой корпорации”. Однако, ее не следует абсолютизировать. Как показала зарубежная практика, увидев преимущества малого бизнеса в оперативности решения вопросов, динамичности производства, производительности труда, уровне ответственности и трудовой деятельности, крупный бизнес нередко идет по пути децентрализации и реструктурирования.

В.И.Карасев полагает, что “если ты сознательно идешь на работу в корпорацию”, то должен понимать: “сама корпорация, дух корпорации не нивелируют индивидуальность”, а, напротив, создают, “как когда-то это называлось, условия для творческого труда”. И многое зависит от самого работника. “Если он хочет чего-то добиться и понимает, как это надо сделать, создать условия для его творческого труда совсем не сложно”. И поэтому “человек не теряет индивидуальности, если он сам участвует в создании творческого коллектива”.

Эксперт не согласен с тезисом о том, что иерархия не дает возможности сохранить индивидуальность. “В любой системе иерархии у творческого человека, который работает не за страх, а за совесть, индивидуальность не пропадает, ибо есть возможность приложить к достижению обозначенной тебе цели свою голову, свою индивидуальность”.

Отвечая на обычное возражение (“человек пришел в корпорацию, даже попросился в нее. У него, “волка-одиночки”, свободы предостаточно, но нет крыши, защиты. И вот теперь уже корпорация сражается за его материальные, социальные блага. Но за это корпорация начинает им командовать, и он теряет свободу, и в итоге проигрывает”), *В.И.Карасев* подчеркивает, что на самом деле все иначе. “Кто же это будет морочить вам голову глупостями, ставить неверные цели? Есть же технология выработки цели. Цели мы сформулировали вместе: вот твои цели, вот твои отношения с другими, которые идут к этой же цели, но другими путями. Давайте формулировать разные возможности для ее реализации, корректировать их на каком-то этапе, а остальное - ваша свобода. Вас никто не водит. Задачи - да - ставятся, формулируются, определяется процент достижения цели”.

По мнению *С.М.Шатохина*, лица, вступающие в корпорацию, “безусловно предполагают, что, внося свои средства в корпоративное имущество, они защищают свою долю тем, что создают условия для обеспечения более высоких возможностей по защите аккумулируемых средств, в частности, возможность нанять высококвалифицированных профессионалов для управления корпоративным имуществом. При этом подавляющее большинство участников корпорации сознательно слагают с себя обязанность по систематическому контролю за действиями этого управленческого корпуса,

полагая, что главные вкладчики капитала за свой счет создадут необходимые возможности и найдут оптимальные способы контролировать уровень профессионализма и лояльности управленческого состава корпорации”.

Да, “участники корпорации (особенно рядовые) теряют возможность свободно и под свою ответственность распоряжаться собственными ресурсами, передаваемыми в “общий котел”, делегируя это право объективно более способной к этому структуре”. Однако это противоречие (когда “плюс” порождает “минус”) автор считает свойственным любому объединению интересов. При этом, подчеркивает он, отсутствие гарантированной защищенности характерно именно для переходного периода.

Как можно охарактеризовать идеологию и дух той корпорации, которую эксперт лучше знает?

Пытаясь охарактеризовать “идеологию” и “дух” той организации, в которой он достаточно долгое время работал, *С.Я.Бабаскин* отмечает, что эта организация - научно-исследовательский институт, в котором “естественным образом обитал дух научной корпоративности”. Сегодня отсутствие большой общей работы (из-за отсутствия финансирования) разваливает этот коллектив, несмотря на то, что руководитель финансирует сотрудников внебюджетными индивидуальными грантами. Поэтому в последнее время в коллективе царит дух не корпорации, а “резервации”.

Что касается духа корпорации “Югра”, наш эксперт может судить лишь о ее московском представительстве. А поскольку московское представительство достаточно молодо, то “наверное, рано говорить о его “корпоративном духе”.

В.Е.Чугунов подчеркивает, что все ответы на вопросы анкеты он давал, исходя из своего понимания корпорации как “добровольной общности людей (групп), разработавших и принявших правила взаимодействия между собой для достижения согласованных целей”. Эксперт полагает, что ФИК “Югра” еще в начале пути и то, каким будет этот путь, зависит от носителя ее принципов - президента корпорации. “Мы говорим “корпорация” - подразумеваем “президент”, мы говорим “президент” - подразумеваем “корпорация”. При этом главное выражение принципов корпорации - построение команды, а “здесь пока нет (как мне кажется) стабильного подхода”.

Лучшая корпорация - та, которая “основана только на духовной общности и не имеет экономической подоплеки”. Эксперт “имеет честь и удовольствие” быть членом такой корпорации. Она существует уже более 25 лет, хотя официально не оформлена. Эта корпорация - “общность моих друзей и партнеров, - говорит *В.Е.Чугунов*. - Я не знаю даже сколько их, но принцип, заложенный в наши взаимоотношения, таков: делать добро при любой возможности и нести полную ответственность за свои действия. Этот принцип позволяет быть уверенным в каждом, как в себе”.

Корпорация “Югра” - коммерческая структура, но это, полагает автор, не препятствие для применения тех же принципов, “только требования к каждому еще выше”. Дух и идеология “Югры” станут для каждого настолько приемлемыми и родными, насколько он привнесет в нее свои принципы. “Дело

за пустяком: сделать так, чтобы все эти принципы совпали. Тогда корпорация сильна”.

Реплика авторов. Об идеологии “Югры” лучше скажет предложение, которое мы адресовали участникам этого заочного “круглого стола”: сегодня, через три года после первой методологической игры, на которой осмысливалась идеология корпорации, подготовить и провести новое игровое моделирование, практикум о корпоративном потенциале региона, о роли корпорации “Югра” и ей подобных в развитии корпоративного духа региона. Надо попытаться соединить сегодняшние конфликтующие интересы. Ведь может оказаться, что тот блок задач, которые ставились еще в 1993 году, сегодня уже не актуален. При этом вряд ли придется менять цели - они актуальны сегодня и будут актуальными завтра.

Речь идет об идее именно модельной встречи носителей разных интересов. Если провести обычный “круглый стол”, то все могут испортить амбиции и обиды, которые уже, видимо, непреодолимы. Игра же даст возможность артикулировать интересы и продемонстрировать возможности их согласования в смягченной форме, когда достоинство каждого сохраняется, а потенциал конструктивности вырастает.

А.В.Дубровин говорит, что сейчас “Югра” - формирующийся организм, цели, идеология и инструментарий которого необходимо создавать всем членам корпорации. “Энергетика корпорации воздействует на сопредельные территории (аналог создан на Ямале, на других территориях), и это говорит о жизнестойкости самой идеи корпоративного развития территорий и позволяет уверенно проектировать способ управления развитием территорий и учиться на опыте аналогичных структур”.

На взгляд *А.В.Филипенко*, идеальную корпорацию отличает дух соперничества, а ее идеологию - наиболее полное и качественное удовлетворение потребителей в своей продукции и услугах.

Процесс корпоративизации еще не определился. “Активность в делах, ответственность за состояние дел в корпорации может быть, исходя из сложившихся традиций, далеко “не проста”, а превалирует то же “разделить”. Но не будем очень строги. Будущее покажет”.

Дух корпорации, по мнению *Т.С.Новашиной*, характеризуется демократичностью установленных в ней правил игры: “При всей их внутренней жесткости внешне они выглядят довольно мягко: хочешь - входи, не хочешь - выходи”. При этом “каждый определяет для себя, что для него важнее - игра в команде, со всеми ее плюсами и минусами, или же индивидуальная свобода с теми же знаками”. В связи с тем, что многие к такого рода выбору не способны или не готовы, достаточно часто происходит смена игроков. Но это, видимо, обычное явление на стадии начального формирования корпорации в сегодняшних условиях. “Принципиальные разногласия участников в понимании целей и средств их достижения во вне и внутри корпорации происходят зачастую в процессе совместной деятельности. Это одна из причин ухода из корпорации, к сожалению, хорошо знакомая и для “Югры”.

С другой стороны, “достаточно большое число приходящих в Корпорацию сотрудников не способны выйти из состояния присутственного анабиоза, столь широко распространенного среди совслужащих. Поставленные перед необходимостью менять присутствие на работе, зачастую весьма деятельное, на работу как таковую, да еще в условиях жестких требований, они уходят, на мой взгляд, не из-за желанной индивидуальной свободы (она далеко не всем нужна), а утратив защищенность со стороны системы”. Корпорация - далеко не всегда гарантирует такую защищенность, которая может возникнуть только на фоне благополучного развития корпорации, ее успеха, “а также зависит от решения тех конкретных внутрикорпоративных задач, которые связаны с благополучием каждого члена корпорации”.

И все же говорить о “духе” корпорации “Югра” эксперт полагает преждевременным - и отдельные факты, и выводы должны “отстояться” в сознании. “Единственное, что не вызывает сомнения, уже сказано - ощущение собственной значимости в свободном полете”.

“Я, к сожалению, не знаю “идеологии” и не ощутил “дух” корпорации “Югра”, - отмечает *С.М.Шатохин*. С его точки зрения, “и то и другое появится только тогда, когда управлять корпорацией будут ее совладельцы”.

Комментарий к материалам экспертного опроса. Именно в ответах на последний вопрос практически все эксперты были предельно сдержанны и лаконичны - как относительно других корпораций, так и применительно к ФИК “Югра”. На наш взгляд, дело заключается не только в непривычности вопроса, неразработанности дискурса, и не только в молодости самого феномена корпоративности в нашем обществе, но и в неизученности самого корпоративного духа (еще один пример тому - проблема, обсуждаемая в тринадцатой главе). Именно этой ситуацией и объясняется содержание последующих параграфов данной главы.

В предыдущей главе подчеркивалось размежевание структур гражданского общества и политико-административной инфраструктуры. Однако, их разделение не имеет абсолютного характера.

Во-первых, в самом гражданском обществе существует пульсирующий сектор политической активности с соответствующими институтами и полуинститутами (типа политических клубов, ассоциаций, предпартий, коалиций партий, всевозможных движений с политической направленностью, политические ориентированные средства массовой информации и т.п.).

В числе таких институтов гражданского общества находятся и корпорации, которые, казалось бы, пребывают за пределами политического поля, но которые на деле систематически вовлекаются в политическую игру в качестве самостоятельных фигур.

Во-вторых, корпорации соотносятся, как мы покажем дальше, с государственными институтами, являются их своеобразными дополнениями. Поэтому и вопросы о кредо и кодексе новой власти России, о миссии и этосе

СМИ, и вопросы, поднятые в последней главе монографии связаны с проблематикой корпоративизма, тем более, если она рассматривается в этическом ключе.

Природа корпоративности

Начнем наш дискурс с вопроса, который может показаться риторическим после предшествующей главы: не рано ли сегодняшнее общество стало привольно пользоваться завораживающим словом “корпорация”, беззаботно отложив процедуру прояснения его смысла. Тем более, если речь идет еще и о некоем “духе” корпорации?

Да, на рыночном “гуляй-поле” новых слов появилось еще одно - “корпорация”. Звучит завораживающе. Но что оно означает, чем привлекает?

Словарное определение понятия “корпорация” достаточно прозрачно. Это - особый социальный институт, относительно замкнутая ассоциация, которая на определенных условиях выражает интересы своих членов и защищает их.

Нередко, впрочем, встречаются и расширительные версии данного понятия, когда им произвольно именуют звенья производственной структуры, ее ячейки с матрицей в виде любого трудового коллектива. Допустим, мы переименуем их в “корпорации”, но что даст смена вывески, кроме ложного ощущения продвижения в неведомую даль?

К этой версии мы еще вернемся, а пока заметим, что иногда понятием “корпорация” характеризуется достаточно сложная организация, ориентированная на достижение какой-либо заранее фиксированной цели, что требует согласованных действий ее членов. В ней значительное место занимает функция управления и, стало быть, подготовленный персонал. Однако, хотя в корпорациях действительно выражен организационный эффект, далеко не всякая организация и не любая автономная группа могут быть названы корпорациями.

На чем же нужно сфокусировать внимание при употреблении понятия “корпорация”? Скорее всего, мобилизация этого термина окажется оправданной лишь тогда, когда им станут маркировать ассоциации с консолидированными самостоятельными интересами, ассоциации взятые не сами по себе, а в их взаимодействии с государством или же друг с другом, но опять-таки в связи с государством, его отдельными институтами. Отметим, что в литературе предлагается обратить внимание на отличия таких ассоциаций от неорганизованных (дисперсных) интересов, как не имеющих представительства на государственном уровне.

Но и это еще не все. Речь идет не просто о каком-то внешнем взаимодействии с государством и его институциями, как это происходит, скажем, при влиянии политических партий, движений, отраслевых или региональных элит, так называемых “групп давления”, при воздействии различных лоббирующих команд. Вопрос стоит, как подчеркивает социолог С.П.Перегудов, об участии корпоративных ассоциаций в управлении с вытекающими отсюда вполне осязаемыми обязательствами данных групп перед

государством. Тем самым государственное управление не замыкается в самом себе, а, напротив, как бы размыкается, в той или иной степени вовлекая (инкорпорируя) в этот процесс всевозможные влиятельные общественные институты. Прежде всего имеются в виду организованный бизнес (всевозможные концерны, консорциумы, кондоминиумы, пулы, холдинги, олигополии, торговые гильдии и т.п.) и профессиональные коллегиальные ассоциации (судейские коллегии, научные сообщества, журналистские союзы, объединения офицеров и др.), где минимизированы отношения подчинения, а преобладают товарищеские связи, отношения подопечности. Сюда же следует включить организации, занятые “производством” профессионалов, их соответствующим образованием и воспитанием.

Бифуркация “подсистем”

Для уяснения картины с использованием понятия “корпорация” сделаем еще два исключительно важных замечания. Во-первых, корпорации, по мнению многих западных и отечественных исследователей, существуют не сами по себе, подобно изолированным телам внутри общественного организма, но всегда оказываются скромными “подсистемами” большой социальной организации. Это позволяет понять явление корпоративизма. Кроме средневековых сословно-правовых обществ, основанных на корпорациях (в России такие корпорации по ряду причин не получили развития и оказывались всецело зависимыми от государства), возник корпоративизм Нового и Новейшего времени. Он представлял собой ограниченное число принудительно сформированных ассоциаций, которые монополизировали представительство различных групповых интересов (на уровне предприятий, отраслей, территорий, профессий) перед государством, его отдельными институтами. А они, в свой черед, предписывали корпорациям исполнение тех или иных функций. Чаще всего корпоративизм в современном мире был в различной степени - что зависело от культурных и религиозных традиций - присущ тоталитарным или авторитарным общественно-политическим режимам.

Иное дело либеральная цивилизация. Здесь корпорации представляют собой добровольные общественные объединения на основе общих интересов. Не опосредованные государством свободные, равноправные и самоуправляемые ассоциации сотрудничают и одновременно конкурируют между собой (отношения “свободной близости и свободного антагонизма”, по меткому выражению писателя Вас.Гроссмана), вступая в слабоинтегрированные связи с государственными структурами. Они располагаются на периферии гражданского общества и политики, служат одним из каналов взаимодействия между этими относительно самостоятельными мирами.

Гражданское общество, как заметил еще А.де Токвиль, представляет собой огромное количество союзов, комитетов, “разного рода ассоциаций”. Создавая ассоциации на основе взаимных соглашений для выполнения тех задач, которые нельзя осуществить в одиночку, люди учатся совмещать общественные добродетели со своим пониманием личного интереса. “В

демократических странах умение создавать объединения - первооснова человеческой жизни; прогресс всех остальных ее сторон зависит от прогресса в этой области” [5].

В ассоциированной жизни человек принадлежит самому себе, а не закабален навязываемой ему извне корпорацией, через которую он оказывается в зависимом положении от государства. Корпорация охраняет свободу своих членов, защищает их интересы, представляя их в государственных структурах. Она *усиливает* индивидуальные возможности в системе отношений высокоорганизованного общества. Это обстоятельство позволяет понять мотивацию добровольного объединения или вступления в корпорацию (и, естественно, мотивацию свободного выхода из нее). Конечно, для корпорантов существует немало способов обрести, сохранить и даже развить свою индивидуальность вне корпораций, на уровне анонимной макросреды, но корпоративное бытие оберегает свободу от множества факторов, покушающихся на нее, используя для этого механизмы формальных (но вовсе не бессодержательных) прав, всевозможные уставы, договоры, регламенты, дозвоительно-запретительные кодексы с “обязательно-притязательными” характеристиками.

“Эспри де кор”

Теперь второе замечание. Более или менее длительное существование корпораций приводит к возникновению не менее существенной, чем материальные соображения, цементирующей ее силы - *духа корпорации* (знаменитого “эспри де кор”). Можно сколько угодно ассоциироваться, например, бизнесменам и профессионалам любого профиля, но “на выходе” вдруг оказывается лишь механическое соединение лиц и интересов, шаткие агломерации или конгломерации, но вовсе не то, что с полным правом именуется корпорацией. И так будет обстоять дело до тех пор, пока не возникнет таинственное “склеивающее” вещество духовного свойства.

“Эспри де кор” - дух корпорации - имеет прежде всего *этическое* измерение с сильно выраженным акцентом на представлениях об общей судьбе корпорантов, их взаимной ответственности, призвании (которое, по словам поэта, есть “влечение, род недуга”), товарищеской солидарности. На первый взгляд такой дух побуждает припомнить вдоль и поперек изведанный нами и за последние годы всяких перестроек и передряг основательно подзабытый “дух” трудового коллектива. Можно бесконечно долго говорить о коллективизме (на самом деле казарменном коллективизме) и методах его принудительного укоренения, которые ведут к обезличиванию, к атрофии личностной автономии и ответственности (“индивидуализм” использовался в качестве бичующего идеологического ярлыка), подавлению всякого независимого мнения и поведения (“не отрывайся от коллектива”, “коллектив считает, требует, выступает ...” и т.д.), можно вводить и исчислять коэффициенты сплоченности трудовых коллективов, однако все это весьма далеко от свободного духа корпорации. “Дух” трудового коллектива выводит на передний план патернализм,

привязанность к государственному опекунству, делает ставку не столько на производственные или творческие достижения, эффективность и успешность деятельности (хотя имели место и вполне реальные ординарные и даже выдающиеся достижения отдельных производственных объединений, в чем-то - целых отраслей и регионов), сколько на распределительные калькуляции. Такой “дух” выводит не столько на самостоятельность корпорантов и их социальную ответственность, сколько на конформизм, долг бездумного повиновения и ответственности по начальственной вертикали.

Трудовые коллективы были (и во многом продолжают еще оставаться) частями гигантской государственной структуры, “винтиками” государственной машины. В первую очередь это относится к монополизированным отраслям, даже к “гроздьям” отраслей типа ВПК или АПК. Они, по меткому выражению известного социолога, “лицензированы” государством и пребывают под его недремлющим институциональным и политическим контролем. За ними остается “право” выторговывать льготные условия при дележе ресурсов и статусов, “право” минимизировать произвол властей (и в меру успешности таких согласований, обменов, постоянно возобновляемого торга между руководством, директором и трудящимися, таких “прав” у нас формировались изолированные островки гражданского общества и даже прообразы, силуэты корпораций, сдерживать напор которых становилось ослабевшему государству все труднее и труднее).

Этика корпоративности

Между тем дух корпораций не витает где-то в заоблачных высях, в разреженной атмосфере отвлеченных идей, а вполне зримо и весомо воплощается в нормах и правилах корпоративной этики профессионального призвания и ответственности, в этике предпринимательства и т.п.

Этика корпоративности предстает в жестких “правилах честной игры”. Точнее говорить даже не об “игре”, а об “играх”, поскольку различаются правила взаимодействия, во-первых, между правовым государством и автономными корпорациями, во-вторых, между однородными и разнородными корпорациями, в-третьих, между корпорациями и неорганизованными интересами и, в-четвертых, существуют правила внутрикорпоративной игры. Чаще всего эти правила сведены в более или менее четкие профессиональные поведенческие кодексы и они предусматривают как собственно моральные, духовные, так и административные санкции за их нарушения.

Эти правила, впитавшие в себя “дух корпорации”, не только содействуют удовлетворению групповых интересов, но и нацелены на подавление группового эгоизма с его желанием гарантировать себя от испытания риском, стремлением побольше получить различных благ и поменьше их отдать, прибегая в массовых масштабах ко всякого рода нарушениям отчетности, подтасовкам, искусству лакировки, попранию “большого” и “малого” законодательства, пренебрежению экологическими запретами и т.п. На защите общественных интересов и общественной морали стоят системы

представительной власти, противовесы в виде оценок общественного мнения и суждений независимых средств массовой информации.

Ясно, что сегодня мы еще не живем в мире свободных корпораций и нас пока не осеняет “эспри де кор”. Но надо принять во внимание незавершенность обновленческих процессов и их значительную искаженность. Так или иначе, в посттоталитарную эру общество утратило былую чудовищную централизованность, плотную интегрированность и незыблемость принципа неделимости властных полномочий. В значительной степени оно уже перестало быть тем, чем было совсем недавно, - “суперкорпорацией”.

“Корпорации” против корпораций

Группы консолидированных интересов смогли укрепиться. Вместе с этим усилился групповой эгоизм отраслей и ведомств, а также территорий. С ним связана опасность “неофеодализации”, когда в корпорациях власть концентрируется у узких элитных групп, и все остальные спешат укрыться под покровительством этих элит, соглашаясь на принятие ценностей вассалитета, а не ценностей либерально-демократического типа.

Столь же очевидно, что не заработали в полную силу противоположные факторы, своеобразные ингибиторы подобного эгоизма. С одной стороны, возник свободный парламент, но с ограниченными возможностями сдерживающего воздействия на усиливающийся напор группового эгоизма. Аналогично положение и с общественным мнением. Хотя оно стало и неоднородным, и значительно более свободным в своих суждениях и оценках, однако его влияние на групповой эгоизм трудно назвать существенным и надежным. Безусловно, средства массовой информации стали “кусачее”, но заинтересованные группы не очень-то склонны прислушиваться к их критике.

С другой стороны, заработал новый фактор: слабо регулируемый рынок, подготовленный его предтечей - рынком “административным”, “бюрократическим”. С ним связаны такие позитивные моменты, как образование предпринимательских корпораций либо путем объединения малого и среднего бизнеса, либо путем сложной и многоступенчатой трансформации “брежневизированных” отраслей и ведомств, отдельных их звеньев в предпринимательские корпорации различного типа. Усилились также позиции профессиональных союзов как особого вида корпораций, еще совсем недавно бывших сателлитными, “ручными” у тоталитарной власти. Появились и иные типы корпоративности (например, казачество).

Роль государства в процессе трансформации неоднозначна. Оно стремится “уходя, остаться”. Однако в эту запутанную игру вмешиваются обретшие независимость хозяйственные руководители со своими планами и интересами, а также и “рядовые” производственники, сила которых вовсе не равна нулю. Социологические исследования показывают, что среди предпочтений на первое место выходит не социальная или национальная идентичность, а именно *корпоративная идентичность, поиск защиты интересов с помощью их*

групповой консолидированности (и прежде трудовые коллективы исполняли ряд функций, которые должны были бы выполнять государство и общество).

Мы можем предположить, что становление разнокачественных корпораций связано с реструктурированием российского общества, когда снижается значимость прежних структурообразующих критериев. В известном смысле корпоративность служит своеобразным заслоном от нарастающего деструктурирования общества. К тому же корпорации сравнительно легко выдерживают смещения силовых факторов от центра к регионам. Главная опасность в этом случае заключается в бюрократизации самой корпоративной жизни. Она, с одной стороны, обеспечивает эффективность и рост корпорации, но и она же, с другой стороны, чревата неэффективными решениями, коррумпированностью, ложными стратегиями развития.

Новые и обновляемые корпорации не успели обрести самостоятельность до такой степени, чтобы у них сформировался свой собственный дух. Патернализм, прочнейшая привычка жить в условиях распределительно-опекающей системы, уклоняться от риска, связанного с частной инициативой и ответственностью, готовность примириться с падением уровня притязаний трудящихся лишь отступили с доминирующих позиций, но оказались еще далеко не сломленными.

Между тем все сильнее ощущается потребность в чем-то “третьем” между частными, групповыми и общественными интересами. Таким “третьим”, нам представляется, и должна быть *корпоративная мораль*, этика профессионального, предпринимательского и политического *успеха*. Не потому, что все эффективное одновременно становится нравственным чуть ли не автоматически. Нравственное, сопряженное с долговременным, стратегическим, устойчивым и оказывается залогом успешности. Обострились вместе с тем противоречия между свойствами неизменности, неререформируемости духовных структур поздне тоталитарного общества и начавшимися процессами обновления. Надо учесть также, что у нас не было и подходящего духовно-нравственного наследия корпораций на базе англосаксонского индивидуализма или традиционного германо-романского корпоративизма, на которое можно было бы опереться при реформах самого трудного - личностного аспекта всего процесса трансформации трудовых коллективов в корпорации либерального типа.

Плюсы и минусы сегментации общественной нравственности

Не означает ли создание такого “третьего” - между разноуровневыми интересами - элементарного дробления единой общественной нравственности фактической ее сегментации, разлета на “кочки” по корпоративным “закоулочкам”?

Такая постановка вопроса требует дополнительных разъяснений. Дело в том, что теоретическая этика уже давно присматривается к проявлениям двух противоположных и вместе с тем взаимозависимых тенденций нравственной

жизни современного общества. Начиная с Нового времени, ведущей была тенденция к преодолению необычайной пестроты нравов, мозаики местных обычаев, правил и поведенческих традиций средневековых сословных и городских (гильдейских и ремесленных) корпораций. На смену им шла универсализация норм и ценностей достигшей зрелости морали. Этой тенденции способствовало определенное сходство в технологическом базисе и образе жизни ряда стран и территорий, в целевых установках, социальных структурах и мотивации активности.

Но одновременно с формированием “большой” нормативно-ценностной системы происходила специализация норм и ценностей по различным сферам общественной жизни и по видам профессионализированной деятельности. Так возникли этика организаций и управления, профессиональная и трудовая мораль, политическая этика и этика бизнеса. Процесс их формирования означал не “изобретение” чего-то совершенно неизведанного в ценностном мире и в способах регуляции поведения, а конкретизацию “большой” системы, обогащение нравственной жизни. Важно подчеркнуть сам факт приращения многообразия норм, оценок, моральных идей и представлений в сложном и динамизирующемся социуме, фиксируя внимание не только на дифференцирующих процессах, но и на взаимодополняемости “малых” подсистем в рамках единой нормативно-ценностной системы, на “обузданиях” центробежных устремлений в этой сфере.

Впрочем, в XX веке, наряду с углублением конкретизации общественной нравственности, усилилась разнонаправленность каждого из ее сегментов. И вовсе не случайно тревожно заговорили о противостоянии и взаимоисключении утилитарного этоса труда и спонтанного игрового этоса, когда человек производительный (“хомо фабер”) не в силах был найти общий аксиологический язык с человеком играющим (“хомо люденс”). Когда общение поборников серьезной профессиональной морали и балаганной морали досуга и развлечений стало смахивать на диалог глухих, когда стали разбегаться по разным углам ценностного пространства неомаскетическая этика протестантизма и гедонистическая мораль потребительского эвдемонизма, бережливая “этика дня” и расточительная “этика ночи” (по выражению Д.Белла), ориентирующаяся не на производительность и рациональность, а на всевозможные “революции” в стилях жизни.

Сегодня сегмент производительно-управленческой деятельности с его организационными, формализованными отношениями, ролевым, “масочным” общением, стереотипизированным поведением, строгой иерархией отношений все чаще и энергичнее клеймится как область “неподлинной” нравственности, тогда как значение “подлинной” нравственности в этом сегменте стремительно падает в связи с серией современных технологических переворотов, с интенсификацией информационного псевдообщения, со структурными переменами. Регуляция и ценностная ориентация деятельности в непроизводительной (культура, досуг, потребление) сфере все настойчивее воспринимаются как заповедное поле “подлинной” нравственности. Но она

оказывается несоизмеримой с регуляцией в сегменте “неподлинной” нравственности. Проникая в глубины личностного сознания, этот раскол не столько усложняет (это было бы терпимо), сколько “стреножит” моральный выбор, дезориентирует поведение, препятствует его последовательности, усиливает моральное отчуждение.

Этическая теория справедливо рассматривает все это в качестве симптома глобального морального кризиса индустриально-урбанистической цивилизации. Но такой кризис бушует и на просторах нашей страны и всего СНГ. Он многократно усилен за счет затяжного социально-экономического и политико-правового кризиса переходного периода. Поэтому процесс образования корпораций, возникновение корпоративной структуры общества обременены *негативными* аспектами в целом *позитивного* процесса сегментации общественной нравственности. Именно эти негативные аспекты и препятствуют формированию духа корпораций, складыванию *корпоративной этики успеха*, которая могла бы служить барьером, во-первых, от реанимации духа номенклатурного бюрократизма во внутрикорпоративных отношениях (не случайно во многих исследованиях специально противопоставляется предпринимательский стиль управления и начальнический корпоративный стиль, ориентация на успех в достижительных измерениях и карьерное понимание успеха) и, во-вторых, от заражения настроениями ползучего группового эгоизма.

Пакет “добродетелей” того и другого (верхоглядство, патрониально-клиентельные подходы к деловым связям, готовность пойти на ранговые сделки “верхов” с “низами” в корпорациях, в отличие от недавнего прошлого уже не скрепленных радужными социальными иллюзиями, подмена партнерства безропотным исполнением, минимальная гражданская активность, отказ от нравственного “первородства”, т.е. неотъемлемого права на свободный моральный выбор, не предписанной “инстанциями” суверенности решений и оценок, от измерения внутрикорпоративной политики с помощью нравственных критериев и т.п.) подрывает позиции трудовой и профессиональной морали в нарождающихся корпорациях, способствует спекуляции на интересах “экономического человека”, отлученного от “нравственного человека”.

Это стимулирует застарелые пороки иждивенчества и люмпенства. Возникают мучительные конфликты индивидуальных интересов и солидаристских ценностей, вертикальной и горизонтальной ответственности за качество производимой продукции и предоставляемых услуг. В результате снижается тонус нравственной жизни в корпорациях. Тяжким испытаниям подвергаются несущие конструкции духовной культуры людей, основы аристократизма, “джентльменства” профессионалов - честь и достоинство работников, которых еще нельзя называть корпорантами. Они остаются преимущественно “наймитами”, “поденщиками” в конторе, в лучшем случае - “служащими”, так как противоречия между наемничеством и собственничеством очень остры. Все это в разной степени проявляется в

производственно-предпринимательских и в профессиональных ассоциациях, но суть дела не меняется.

Выводы в миноре

На наш взгляд, пока не удалось сменить парадигму развития. Поэтому свободных корпораций все еще меньше, нежели старых объединений, которые после поверхностной и скоротечной модернизации предпочитают именовать себя звучным именем “корпорация” и руководствоваться старинным правилом: “noli me tangere!” (“не прикасайся ко мне!”).

Превращенное гражданское общество, в том виде, в каком оно сложилось в последние два-три десятилетия, еще не успело стать нормативным. Государственные структуры не успели продвинуться по пути демократизации, создания правового государства столь далеко, чтобы быть готовым вступить в равноправный диалог с независимыми корпорациями. Они предпочитают вести диалог с бюрократическими элитами “низового” уровня. Не возник полноценный средний класс, из которого в основном и черпаются волонтеры в корпоранты. Отдельные “ласточки” налаживания подобного диалога и взаимодействия, как известно, весны не делают. Нам же остается проявить лишь крайне осторожный оптимизм насчет того, что траектория общего движения все-таки прочерчена достаточно четко.

Глава двадцать первая

АПОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА

Несмотря на раздражающий нашу публику профессиональный дилетантизм в политике, в целом деятельность политиков подвластна императивам профессионализма, профессиональной этики ответственности. К тому же есть еще и политика в сфере профессиональной деятельности *неполитического* профиля. В нашем опыте этико-прикладных исследований было несколько проектов, посвященных как этосу профессионального успеха в его целостности, так и конкретным сферам такого этоса, например, этосу *педагогического* успеха [6], этосу профессионального успеха в *производственной и научной* сферах [7]. В то же время, если есть этос профессионального успеха, то, вероятно, возможно и политическое движение под знаменами успешного профессионализма?

Этими соображениями мы и руководствовались, предлагая результаты проведенного Центром прикладной этики совместно с Гуманитарным и политологическим центром “Стратегия” исследования этоса профессионального успеха с точки зрения современной идеологической и политической ситуации в стране [8].

Миссия успешного профессионала: преамбула

Обществу, ставшему на стезю модернизации, рано или поздно предстоит осознать ценность успеха во всех видах человеческой деятельности и ценность делового успеха прежде всего.

Наше исследование имело пионерный характер. Не понятно, как могли современная отечественная теория и практика столь долго держаться в стороне от такой насущной проблематики?! Можно было бы понять, если бы не востребованной оказались только *нравственная философия* делового успеха. Но ведь и смежные - политологические, социологические, психологические, праксиологические, педагогические - аспекты успешного профессионализма если и обсуждались, то лишь косвенным образом.

Как мы уже отмечали в Вводном разделе, удовлетворяя массовый спрос, издательства выпускают на рынок книги-учебники о том, “как начать дело”, а при этом “как уцелеть среди акул”, об “искусстве приобретать друзей” и т.п. Активно развивается сеть академий, институтов и школ для бизнесменов, депутатов, менеджеров. И все это, разумеется, мотивируется необходимостью преодоления инерционности настроений, общественной вялости, иждивенческих ожиданий.

Успеваем ли мы за новыми критериями рациональности и ответственности, устойчивости и пластичности, за новой мотивацией активности, за цивилизованной агональной культурой? Адекватно ли отношение к многообразным моделям этики делового успеха, когда в стремлении повторить ее филогенез в свернутом времени мы с неизбежностью

отстаем от сверхсовременных тенденций диалога этих моделей, комплементарности культур?

Как же при очевидном “неуспевании” здесь не “опростить” ценность успеха, не “карнегизировать” ее?! Конечно, в такой ситуации вполне вероятно “прозевать” метафизику успеха, отношение к нему как грани “великого плана жизни” и свести все к технологиям типа “как перестать беспокоиться и начать жить”. Сами по себе это вещи важные, в том числе и для успешных профессионалов. Но, как мы показали в Вводном разделе, у Дейла Карнеги за его рецептами незримо для обыденного сознания стоит определенная модель нравственной философии успеха, а наши поклонники и пропагандисты его искусства об этом забывают.

Что касается адекватной парадигмы, то, возможно, объяснение феномена пионерного исследования кроется в тех “обстоятельствах”, о которых мы уже говорили выше. Речь идет о том, что “профессионализм” и “успех” - понятия, которые мы столь часто и с такой непринужденной легкостью используем в обиходной речи, в своем сочетании порождают чуждый нашему уху языковой феномен. Как мы знаем, достижение профессионального успеха рефлексировалось в нашем “советском” обществе иногда в качестве витальной ценности, но сопровождалось это таким количеством социальных преград и табу, что вполне нормальный для цивилизованного общества смысложизненный идеал был подвергнут кардинальной гиперсоциализации и, в конечном счете, выродился в причудливый этатистский псевдоканон, лишенный как метафизических оснований, так и всякого смысла для приватной жизни людей. В итоге смысл и значение понятия “профессиональный успех” фактически “симулировались” как в рамках всего общества, так и в локальных профессиональных кругах.

Как мы уже говорили, долго так продолжаться не могло. Нормально устроенное современное общество выдвигает ценность профессионального успеха в число наиболее значимых социокультурных установок человека. В таком обществе профессиональный успех выступает не только универсальным критерием оценки любой личности, но и универсальным социально-психологическим мотивом и первоосновой для полновесной самоидентификации мобильной личности. Поэтому *реабилитация* ценностей успешного профессионализма должна стать одним из приоритетных направлений в процессе трансформации сегодняшнего российского общества.

Задачи консультативного опроса экспертов

Реабилитация ценности профессионального успеха предполагает, прежде всего, исследование этоса успешных профессионалов. При этом *этосная* диагностика, как мы уже не раз подчеркивали, “нагружена” моментом долженствования.

Экспертный корпус опроса подбирался из двух групп специалистов. Во-первых, из *состоявшихся* профессионалов, которым предстоит судить о себе и “себе подобных” в своем профессиональном окружении; во-вторых, из тех

экспертов, кто рефлексивует деловую и экзистенциальную ситуацию успешных профессионалов в базовых профессиональных сообществах Российской Федерации, сообществах врачей, учителей, военнослужащих, государственных служащих, журналистов, предпринимателей, политиков и т.п. Территориально - это специалисты Москвы и Тюменской области.

Гипотеза экспертно-консультативного опроса, предложенная в анкетах нашим респондентам, на первый взгляд довольно проста. Экспертам предстояла оценка - и консультирование - суждения, согласно которому успешные профессионалы современной России и есть реальная и авторитетная база модернизации общества, способная объединиться на идеях политического центризма, защищая демократические реформы как от дилетантизма, так и от безудержного активизма.

Эта гипотеза была конкретизирована в цикле вопросов:

- Насколько правомерно отождествление формирующегося “среднего слоя” в России с “прагматиками”?

- Насколько часто мы судим о себе и себе подобных в категориях профессионализма и делового успеха?

- Каково соотношение специфического и универсального в “русской” модели делового, профессионального успеха?

- Возможна ли солидаристская идеология успешных профессионалов в сегодняшней России?

- Насколько вероятно, что солидаристская идеология успешных профессионалов России сможет лечь в основу новой российской государственной идеологии, выполнив тем самым роль кредо и кодекса российской модернизации?

- И, наконец, насколько вероятен прогноз относительно политического структурирования слоя успешных профессионалов в некую общественную “корпорацию”, которая, собственно, и гарантирует обществу искомую социальную и политическую стабильность, подразумевая под этим размытым понятием прежде всего то, что в современной науке характеризуется как “устойчивое развитие”?

Наши интервью с экспертами не сводились к этим вопросам, однако нам каждый раз хотелось сохранить и выдержать именно эту логику опроса, предоставив экспертам возможность предложить целостную картину того, как современное российское общество обретает новое социокультурное качество, к каким социально-политическим и духовно-нравственным последствиям это может привести.

Мы стремились не столько к завершённому политическому выводу, сколько к консультативному эффекту, чтобы именно таким способом внести свою лепту в процесс интеллектуального самопознания российской культуры на исходе XX столетия - времени, когда наша страна в очередной раз вступила в затяжной, скорее всего, период смысложизненных исканий, и когда для общества особо значима задача формирования идеи, способной выступить ценностным ориентиром, одухотворяющим длительный переходный период.

Эксперты полагают, что...

В этом параграфе мы попытались представить - в модельной форме, с указанием *роли* (*Предприниматель, Психолог, Литературный критик, Редактор газеты, Экономист, Педагог, Политический журналист, Социолог, Публицист, Политик*) - непосредственный материал экспертных интервью, организованный вокруг ключевых для темы этой главы проблем: портрет успешного, состоявшегося профессионала, проблема солидарности успешных профессионалов, потенциал политической организованности успешных профессионалов.

Успешный. Состоявшийся. Профессионал

Экспертам было предложено рассмотреть заявленную в анкете гипотезе, согласно которой *“состоявшаяся личность”* - это тот социальный тип прагматически ориентированного профессионала, который, не соблазняясь славой шумного успеха, своими достижениями, особенно за последние несколько лет, заслужил право именоваться таким эпитетом. В этой оценке нет ни погони за славой, ни счастливого случая, чудотворного везения. Профессиональный успех долговременен и, безусловно, является уделом личного выбора и ответственности. Особо значимо то, что *“состоявшиеся”* достигли достаточно ощутимых результатов в жизни, чтобы задуматься о будущем всей страны.

Не забудем, что экспертам предстояло *“отнестись”* к этой гипотезе примеривая ее к своей собственной личности или оценивая ситуацию в своей корпоративной сфере или же общественную ситуацию в целом.

Эксперт не был бы таковым, если бы не уточнял обсуждаемые понятия.

С точки зрения *Публициста*, словосочетание *“успешные профессионалы”* оказывается *магическим*, так как речь идет не о *“розовощеких”* или вечно всклокоченных *“энтузиастах”*, ассоциирующихся с *“романтикой”* и государственнической *“этикой”* времен *“соцстраха”* (эксперт вспоминает точное замечание Фазиля Искандера о типе советского новатора - изобретателя, предпринимателя, - который обладал *“неисчерпаемым”* энтузиазмом: *“Он может много раз прогорать, но не может до конца разориться, ибо финансируется государством”*), но собственно о профессионалах.

Анализируя то, как сегодня сочетаются *“профессионализм”* и *“успех”*, задаваясь вопросом о том, почему расхожая формула *“деловой успех”* практически вытеснила из языка успех именно профессиональный, эксперт отвечает на гипотезу авторов анкеты своей гипотезой. С его точки зрения, в ситуации краха прежней социокультурной модели обнаружилось *несимметричность и, тем более, неидентичность* *“делового”* успеха профессиональному. По мнению *Публициста*, *“деловой успех”* в наши дни - это успех в том конкретном деле, которым ты сегодня обеспечиваешь себе, как

минимум, сносную жизнь: независимо от того, в своей ли профессии “включаешься”.

Обращаясь к современному лексикону, он показывает, что “деловой” - это “достигший” или “способный достичь” определенного уровня силы, влияния, причем совсем не обязательно интеллектуально подкрепляемого, но в любом случае основанного на намерении и умении делать деньги, делая “нечто”. “Именно превращение денег, видимого “богатства” (пусть и в начальной его, нецивилизованной, форме) из фактора, сопутствующего успеху, в фактор “критериальный”, определяющий само присутствие успеха (а с ним и моральное самочувствие, положение в обществе, степень независимости) как зримое, осязаемое мерило незрячности усилий индивидуума, провело резкую черту между “деловым” и “профессиональным” видами успеха”, - утверждает эксперт.

И в чем же в такой ситуации специфика профессионализма? Опираясь на анализ модели успеха рыночных времен в сфере СМИ, *Публицист* приходит к выводу о том, что современный отечественный рынок, справедливо приобретший приставку “псевдо”, способен проявить и уже реально проявил “цену профессионала, его права на творческий труд, его независимости (независимость стала тем, что оказалось не просто необходимо, но и тем, чем возможно дорожить) как основе противостояния аморальной власти “бешеных денег”.

Считая важным соотнести “успех” и “удачу”, *Предприниматель* считает своим успехом то, что родился “не слишком рано и не слишком поздно”: “Это главный мой успех: родился *вовремя*”.

А может быть это все же удача? Вполне может быть, но тогда “пусть это будет удача, которая является как бы основой успеха”. В чем же конкретно заключается удача? Удача, которая нашла человека, стремившегося *состояться*. “Я чувствовал в себе достаточно сильный частно-собственнический инстинкт, - говорит Предприниматель, - но не в смысле инстинкта накопительства - я не считаю себя жадным человеком, - а в том смысле, что во мне было очень сильное желание вспахать свое собственное поле. Свое, и чтобы никто на это не посягал. Неважно, чем я его засеваю, хотя бы и ананасами - в Рязанской области - фигами, финиками. Это мое, и я хочу иметь результат своего труда. ...Я мог двигаться как мне хочется. И я выбрал для себя свободный полет”.

С точки зрения *Литературного критика*, распространенный тезис о том, что Америка - это страна шумного успеха, а Россия - страна успеха “бесшумного”, спорен. “Не уверен насчет Америки, да и насчет России, думаю, надо кое-что уточнить. В Америке, как и везде, шумят нувориши, люди, не уверенные в прочности своего положения; настоящие хозяева жизни не видны... А если наш парвеню демонстративно разъезжает на иномарке, то он кандидат в заложники. Распоряжаться огромными средствами - значит именно распоряжаться и отвечать за это кошельком и жизнью, а вовсе не тратить деньги на себя и не есть по три обеда в день”.

Эксперт не был бы таковым, если бы не предъявлял свои *методологические основания*.

Для *Психолога* разговор о реалиях сегодняшнего дня “одновременно является и конструированием, проектированием реальности”. Иначе говоря, “на первом плане стоит не вопрос “Что мы видим?”, а вопрос “Что мы конструируем?”. Соответственно, подчеркивает эксперт, рассуждая о прагматически ориентированных успешных профессионалах, надо отдавать себе отчет в том, что тем самым мы уже “конструируем, выдвигая соответствующую идеологию, определенный слой людей. Мы его делаем”.

С точки зрения эксперта, “идеология не дается как цвет кожи, цвет глаз или дыхание любимой. Идеология в данном случае - это конструктивное социальное действие определенных, я бы сказал, прагматически ориентированных философов, которые пытаются создать иную парадигму развития общества”.

Для *Психолога* принципиально важно выделить эту характеристику - *иную*. Он делает особый акцент на этом слове, считая, что мы все должны избегать терминов “новое качество”, “новая идеология”. “Новое” несет элемент альтернативности. Я предпочитаю говорить об *иной* идеологии, *иной*, а не “новой” или “старой”, - считает Психолог.

Свою методологическую позицию заявляет и *Предприниматель*. Нельзя рассматривать бизнесменов в отрыве от общества: “Должен быть здоровый симбиоз между людьми, которые выбрали целью своей жизни стезю риска и успеха, взяли на себя такую работу в силу своего генотипа, и людьми, которые сознательно сказали себе: мне такой риск не по душе, мне интересен достойный и хорошо оплачиваемый труд, спокойствие, например, раздумья над какими-то теоретическими проблемами или чиновничьи обязанности - ведь и эту стезю люди тоже выбирают. В любом обществе человек стоит перед таким выбором”.

С точки зрения *Социолога*, прагматизм существует в рамках определенных иерархий ценностей. И если под прагматизмом понимается философия, свойственная современному европейскому обществу, основанная на ценностях успеха и оптимальной организации производственного и социального процесса, на ценности рациональности и т.п., то “такая прагматичность в современной России, конечно, появляется”. Вместе с тем, подчеркивает эксперт, западная прагматичность основана на христианском мировоззрении, на определенных системах отношений между людьми в обществе, на идеях договора, порядка, трансцендентной ценности личности и т.п. Такие основания в современной России отсутствуют. “А голая жажда наживы, не ограниченная представлениями о достойном Божественном порядке, не может считаться прагматической в нашем смысле”.

Политический журналист отмечает, что вопрос к экспертам, оценивающим себя и свое сообщество, с его точки зрения, сформулирован не

вполне точно. Да, профессионализм и профессиональный успех “всегда и во всех обществах ценились очень высоко. Но, выделяя этот пункт, специфику сегодняшнего дня России не ухватишь: вопрос в том, какая профессия, что понимать под профессией”.

Можно, как это сделали авторы проекта, противопоставить, например, сегодняшний этап политической жизни этапу 1988-91 годов, когда надо было “брать горлом”. Стоило тогда повопить на митингах - и успех достигнут, ты уже и депутат, и народный любимец и так далее (вспомним депутатов 1989 и 1990 годов)”. Действительно, отмечает эксперт, изменение в этом отношении есть. “Но ведь и умение “драть горло” - тоже профессия, скажем, оратор-популист”. Это - во-первых. Во-вторых, “настоящих профессионалов (организаторов) в политике и сегодня мало. Нет, сегодня политический успех достигается каким-то иным способом. Эту профессию точно не определишь. Не оратор-популист, не стратег (кому нужна стратегия в плохо организованной среде?), не настоящий организатор. Какая-то иная профессия... Может быть, вечная - холуй?”.

А если взять, например, бизнес - то же самое. “Насколько я могу судить, основная профессия многих (но, наверное, не всех) - разбой, посредничество при даче взяток. Это - тоже профессия, но она не вполне совпадает с тем, что традиционно понимается под “профессиональным успехом” бизнесмена”.

Наконец, о себе: “Ценят ли меня за эти качества, за профессионализм? Пожалуй, да. Больше меня ценить не за что - “просто так” я с людьми нынче почти не общаюсь, в отличие от золотых времен застоя и кухонного трепа. Так что я, неволью, как и многие другие повернулся “лицом к профессионализму”.

Теперь мы можем попытаться выяснить представления экспертов о том, что же, собственно, представляют собой “успешный профессионал”, “состоявшаяся личность”? Разумеется, трудно рассчитывать на строгие определения, предназначенные для словарей и учебников. Речь идет скорее о *материале* для такого рода работы, материале, в котором одни эксперты сосредоточили свое внимание на предпосылках формирования успешного профессионала, другие - на отдельных его чертах, третьи - на критериях и параметрах оценки личности как состоявшейся, успешной.

Внося свой фрагмент в мозаику этих образов, *Предприниматель* отмечает, что в любом обществе есть слой пассионариев. “Это генетически обусловлено - в любом стаде появляются особи, которые берут на себя ответственность вожаков”. Конечно, при социализме стремились сформировать “среднюю, очень сильно организованную массу”. “Усредняя” же, срезали “верхушки” - людей, не вписывающихся в стандарт, и, одновременно, “низы” - людей, тоже выпадавших. То общество не спасало совсем убогих, оно их отметало тоже”. В итоге, подчеркивает *Предприниматель*, «получались “средние люди”, но не “средний класс”».

И если в прежние времена система отторгала человека-лидера, который “зарывался”, не принимал “правил игры”, то сейчас человек, осознавший призвание лидировать, может построить свое дело. “Ты лидер, и ты не согласен с теми правилами игры, которые тебе навязывают, ты, например, не хочешь вписываться в “Газпром”. О’кей! Рискни, возьми свой надел и попробуй построить свою модель и, может быть, ты создашь второй “Газпром”, кто его знает, у тебя есть возможность попробовать. Каждый в принципе может стать лидером в своем деле”.

Психолог исходит из методологии, согласно которой при парадигме “новое качество - старое качество” мы вольно-невольно подчеркиваем не преемственность, а альтернативность, продолжая работать в рамках идеологии поиска врага. Но тогда грядущая, “новая” идеология разрушит тот “мир”, и опять “кто был никем, тот станет всем”.

Поэтому рассуждение о прагматически ориентированных профессионалах в парадигме “*иное*” предполагает необходимость именно в этом мире, “в этой реальности, которую делаем”, находить “тех, кто уже стал всем”, и тех, кто “начинает делать новое общество”. Эта позиция противоположна позиции, прославленной в “Интернационале”. “Те, кто был ничем, никогда не станут всем, а те, кто в силу индивидуальных личностных особенностей стал, несмотря ни на что, вопреки всему, всем - способствуют переходу на иной уровень развития”, - говорит *Психолог*.

Анализируя профессиональную среду педагогов, он выделяет особое “инновационное” поколение педагогов (“я здесь делаю специальный акцент: не инновационный педагог, не новатор сам по себе, а именно инновационное поколение педагогов”), которое - при всей его “точечной разбросанности и тонкой “намазанности” - решительно заявляет о себе. У этого поколения педагогов есть материальные результаты, материальные продукты духовной деятельности, и поэтому *Психолог* полагает, что “успешный профессионал-учитель в нынешнем обществе - это человек состоявшийся”.

В чем состоялся успешный педагог? “В личностях учеников. Они пошли по миру дальше учителя, но от того, что ученики оказываются сильнее его, мудрее его, умнее его, он испытывает сорадование”. Поэтому “критерий сорадования - это принципиально важный критерий профессионала”. Не привычное сострадание в беде - к этому многие способны, но именно *сорадование*. “По сути дела, сорадование поколению других людей - это критерий профессионального сообщества педагогов”.

В каких параметрах можно описать это новое качество? С точки зрения *Психолога*, следует выделить “принципиальную антигомеостатичность, принципиальную неравновесность”. Формируется слой “прагматически ориентированных “непрагматиков”, “прагматически ориентированных “неадаптантов”, профессионалов, готовых к решению неопределенных, нестандартных ситуаций.

Еще один параметр (кому-то, отмечает эксперт, это может показаться смешным) - умение занять ироничную позицию по отношению и к себе, и к

другим. “Без ироничного, отстраненного взгляда мы будем страдать тактическим целеполаганием и никогда не перейдем к целеполаганию стратегическому”.

В качестве примера представителей этого слоя *Психолог* называет людей, “которые являются прагматичными миссионерами в образовании”. Особенности их целей - вневременной характер, отсутствие психологии временщиков. “Для рассматриваемого в моей экспертизе слоя профессионалов в сфере образования характерно, что этот слой (он - опора в культуре) несет свои идеи и цели всерьез и надолго”.

Педагоги, подчеркивает эксперт, “работают с поколениями”, их “продукт” - не учебник, не программа, а “выросший профессионал другого поколения”.

Социолог отмечает необходимость определить, что такое успешность и чем ее измерять - в деньгах? в собственности? в продвижении по административной лестнице? в известности? в профессиональном совершенстве? При этом для него очевидно, что сейчас многие успешные люди, т.е. люди, добывающие деньги и влияние/власть, отличаются от прежней элиты - “они молоды, честолюбивы, энергичны, полагаются исключительно на себя, связывают успех прежде всего с получаемым достатком и вхождением в элитную среду”.

Рассматривая в качестве примера собственную профессиональную среду, социолог говорит, что здесь успешными считаются те, кто “смог организовать службу, имеющую коммерческий успех и авторитет доверенной организации”. И если качество проводимых исследований играет значительную роль, то, в отличие от прежних лет, меньшую роль играет способность к построению академических теорий, а большую - способность к практической организации дела. В этом отношении успешными считаются как ученые старшего поколения, добившиеся известности в прежнее время, так и молодые люди, недавно выдвинувшиеся в профессиональной среде.

Литературный критик демонстрирует два способа характеристики “состоявшейся личности”. Первый - методом “от противного”, в процессе комментирования тезиса экспертной анкеты, согласно которому *стремление к многократной выгоде при минимальном личном участии в некоем деле притягивает массы к таким финансовым фантомам, как АО МММ*.

Комментарий эксперта начинается с характеристики своего собственного психического состояния в связи с тем, что авторы проекта предложили ему выразить отношение к такому феномену, как АО МММ. “Я чуть не поперхнулся от возмущения: мне-то что до этих фантомов?... Страна дураков?” Для эксперта не понятна сама психология жизни на проценты. “Жить надо на заработанное, на уже заработанное, а не обещанное. И не тратить время на стояние в очередях за наваром, а это время употребить на работу. И уж тем более не вникать, кто тебя лучше нагрет: “Гермес”, “Чара” или МММ”.

Потом эксперт “остыл” и подумал: если все же сотни тысяч людей предпочитают именно этот путь, значит, ситуацию не следует “отметать с порога”. Раз уж люди склонны рисковать по критерию “или пан, или пропал”,

стало быть, “с этими людьми и надо жить и умирать: с Леной Голубковым и грандиозной “Панамой”, в которую тебя зазывают с каждого угла”.

На вопрос экспертной анкеты о том, какой образец “состоявшейся” личности был бы максимально адекватен новой демократической России, послужил бы своего рода “идеалом” для подражания, выступил бы основой “новой” российской идеологии (идеологии вне политики, вне государства), *Литературный критик* прежде всего продемонстрировал вполне интеллигентскую настороженность: “При словах “образец”, “идеал” и “подражание” возникает что-то соцреалистическое. Душа немеет”.

Затем, вновь успокоившись, предположил, что в конце концов некий образец все же выкристаллизуется и в сегодняшнем перенасыщенном растворе. “Однако решающей фигурой этот тип, наверное, будет объявлен задним числом; представить себе наперед, что это будет за тип, совершенно невозможно - при фантастической непредсказуемости русского человека, да еще в нынешнем его положении”.

Прогнозируемый конфликт идеала и действительности заключается, по мнению эксперта, в том, что, если “теоретически” ожидаются “типы добродетельного предпринимателя, рачительного хозяина, честного наемного работника и т.д.”, то “куда девать предпринимателя подлого, который рэкетом измордует добродетельного, так что тот и не успеет понять, что предпринимательская добродетель существует? Куда девать мужика, который в колхозе привык работать от запоя до запоя и ненавидит рачительного хозяина - фермера? Куда девать работника, который привык подворовывать и скорее бомжем пойдет по святой Руси, чем вяжется в какое-нибудь честное дело?”. В такой ситуации трудно предсказать: “возникнет ли, закрепится ли, нарастет ли слой честных собственников, или их смоем очередной волной народного гнева и безумия?.. Кто им (нам) ударит в спину - неизвестно”.

Итог скепсиса: эксперт предпочитает не связывать свое воображение никакими чаемыми “образцами” Состоявшейся Личности и на всякий случай готовится к худшему, уповая, впрочем, на то, что гениальная непредсказуемость русских может дать импульс для движения в обе стороны, то есть не только во тьму, но и к свету.

Редактор газеты проработал в прессе почти 30 лет, не преувеличивал ее роль во влиянии на общественное мнение и, тем не менее, его до сих пор трогает, когда знакомясь с кем-то, слышит: “Я вас знаю, я читал, я слышал по радио...”. “Может быть, у меня есть право оценить мою профессиональную деятельность в ограниченных мною самим рамках как успешную? Есть люди, в сознании которых я существую. Они - мыслят, а я - существую. Иногда они звонят: “Я об этом думал, а вы написали...”. Или - не соглашаются. Я работаю и меня слышат. В профессии - это успех”.

И еще момент, которым гордится эксперт. Он поработал во всех больших газетах города. Но только начав выпускать свою нынешнюю газету, он смог

повлиять на остальные газеты и в большей степени, чем тогда, когда был их сотрудником - завотделом, заместителем редактора... Газета, которую он создал и возглавляет "как соперник, как конкурент, как раздражитель" сделала больше: другие газеты стали менять верстку, больше внимания уделять информации. Правда, все это идет трудно, учитывая консерватизм профессионалов (и редакторов, и сотрудников).

«Мой прагматизм, - говорит *Редактор газеты*, - заключается во фразе: "Пусть выбирает читатель!". Именно так. Не почта, не Роспечать, не один из редакторов конкурирующей газеты, не правительство, не президент - только читатель решает: жить этой газете или умереть? Если бы я писал какой-то призыв над логотипом газеты, каким раньше был призыв "Пролетарии...", то это было бы нечто вроде: "Читатель, мы тебя уважаем!"».

Полагая себя прагматиком, эксперт убежден: "Воевать с читателем бессмысленно. Надо быть с ним наравне. Мы стараемся принимать читателя таким, каков он есть. И хотели бы, чтобы и он принимал нас такими, какие мы есть. У нас даже рубрики сделаны в этом ключе: "Такая культурная жизнь". Ну такая она! Спорь не спорь, а она - такая!"

И снова *Редактор* рассуждает о профессионализме. В чем он должен заключаться в данном конкретном случае? "Не в том, чтобы собрать блестящих стилистов, самых умных авторов, самых тонких аналитиков. А в том, чтобы собрать команду, которая бы лучше всего работала для достижения поставленной цели - информировать население. Это должны быть люди, умеющие видеть, что вокруг них происходит. Я все время говорю сотрудникам: "Мне не надо, чтобы вы видели мир моими глазами. Мне надо, чтобы к моему видению добавлялось ваше, к моему мироощущению добавлялось ваше".

По мнению *Педагога*, понятие профессионализма в его сфере деятельности многослойно и многогранно. Едва ли найдется другое дело, которое требовало бы - в идеале - столь обширного спектра знаний и умений. И "архитектурных излишеств в этом построении нет", изъятие хоть одной несущей конструкции немедленно приведет к обвалу здания, "именуемого педагогическим профессионализмом".

"За каждым из необходимых учителю качеств - своя документальная наука, годы размышлений и честный анализ неизбежных собственных ошибок. Вот почему, устав от дилетантизма, захлестнувшего многие сферы нашей жизни, будучи максимально социально просвечиваемой фигурой (дети сегодня не смолчат, чувствуя педагогическую халтуру), учитель обречен становиться "профи".

К счастью, таких педагогов сегодня немало, в чем мне приходилось убеждаться во время многочисленных поездок по стране и встречах со своими коллегами. Высшей оценкой, которую давал человеку покойный священник Александр Мень, было: "Дело знает!". При этом он сам демонстрировал высочайший профессионализм во всем, за что бы ни брался.

Думается, что в упрочении культуры ценностей профессионализма очень важно иметь такие образцы, вершины, до которых все время хочется дотягиваться”.

Однако, рассуждая дальше, *Педагог* констатирует, что несколько сложнее обстоит дело с прагматической направленностью деятельности и достижением успеха в этой весьма специфической сфере.

“Дело в том, что профессия педагога никогда не была (да едва ли будет) слишком выгодной. Социальная защищенность этой профессии тоже, как известно, оставляет желать лучшего. Поэтому говорить всерьез о прагматической направленности на всех этапах становления учителя, от выбора профессии до достижения акмеологических вершин, не приходится”.

Невольно возникает вопрос: что двигает людьми, уходящими с головой в эту малопrestiжную, а социально просто запущенную сферу? “Нельзя же всерьез считать, что на педагогическую ниву падают одни неудачники”. Отвечая на вопрос, *Педагог* вспоминает: “Однажды, в беседе со мной замечательный актер Зиновий Ефимович Гердт заметил: “Учитель, врач и актер не профессия - предназначение!” В этом, думается ключ к пониманию мотивов, интенций, самого смысла педагогического труда.

И хотя он всегда был, есть и будет жертвенным служением, нельзя сказать, что не находятся люди, умеющие получать от этого удовольствие. Кроме того, едва ли какая-нибудь другая сфера деятельности дает такую соблазнительную возможность самообновления в рамках одной профессии: театр и кино, туризм и краеведение, музыка... - чем только не “заставляют” учителя заниматься дети. И при этом попробуй быть неуспешным - не простят!”.

При этом в педагогическом труде речь идет об успехе особого рода. «Учитель, как режиссер за кадром фильма, обеспечивает успех других - детей. Тихое делание - успех педагога. Улыбки, цветы, приход выпускников ...дцать лет спустя - ему награда. Вдобавок, гордое сознание того, что и он, может быть, в большей мере, чем все остальные, формирует будущее страны.

Что же касается успеха внешнего, зримых форм общественного признания - интервью, телепередачи, выходы на эстраду с проповедью своих педагогических взглядов - бывает и такое. Но, коль скоро, по большому счету, мы относим учительскую профессию к разряду творческих, то к ней в полной мере применима формула поэта: “Цель творчества - самоотдача, а не шумиха, не успех...”».

Иначе рассуждает *Экономист*. Он полагает, что преобладающим, доминирующим для всех успешных профессионалов, чем бы они не занимались (и сегодня - в большей степени, чем раньше), - является их стремление к коммерческому, деловому успеху.

Если рассмотреть самую близкую данному эксперту сферу - газетное дело, то сегодня для него очевиден разрыв между уровнем профессионализма журналистов и финансовым успехом. Этот разрыв не уникален - во всём мире есть, например, противоречие между элитным и массовым кино. И они имеют

совершенно разные успех и финансовую поддержку. То же самое в прессе. “Законы рынка берут верх, и как бы вы ни берегли свой профессионализм, свое представление о том, какой должна быть газета, вам нужно зарабатывать деньги. Если вам удастся делать это вне газетного поля, не на информационном рынке, - ваше счастье”.

В то же время в нашей стране этот конфликт сегодня протекает острее, поскольку мы впервые выходим на рынок в прямом смысле этого слова. “Успешность в профессиональном смысле и в смысле деловом, коммерческом у нас разведены жестче: это основное противоречие переходной эпохи, с которым мы столкнулись позже всех остальных. Да, успех будет определяться прежде всего коммерческим фактором, может быть, за редчайшими исключениями”.

Выделим редкую для участников этого опроса *неспровоцированную* анкетой рефлексию о *кодексе успешных профессионалов*, который, понятно, нас больше всего интересует.

Предприниматель сам формулирует проблему преодоления трудностей в культивировании профессиональной (корпоративной) солидарности слоя предпринимателей: “Можно ли форсировать процесс и допустимо ли в таком случае целенаправленно воздействовать на него - через формирование некой идеологии?”. Полагая, что давно пора формировать свою идеологию, он заранее отвечает и на вопрос “как?” “Среди нас должен появиться Нестор-летописец, который сядет и начнет в рационально осмысленных понятиях оформлять наши смутные томления: по поводу *этики* взаимоотношений, “правил честной игры”. Необходимость этого предприниматели чувствуют, но “у нас нет таких людей, которые бы изнутри сообщества, прочувствовав природу бизнеса, взяли бы на себя подобную функцию”.

Итак, “нам нужно сейчас выработать свой “моральный кодекс”. При этом “мне сами по себе эти слова не нравятся, с детских лет помню “Моральный кодекс строителя коммунизма”, но в каких-то скрижалях, в каком-то талмуде, я даже не знаю в чём, должен начать кристаллизоваться этот кодекс. В гражданском или административно-хозяйственном праве он будет отражен, или речь идет коммерческом праве? Но кодекс должен появиться. Это закрепит систему оценок, нам уже трудно будет скатиться назад”. А появление системы оценок “породит способ выхода из профессионального или корпоративного сообщества с последующим крахом бизнеса тех, кого сообщество отвергло. Вспомним гильдии в старой России. Потеря членства в гильдии означала в общем-то деловую смерть предпринимателя. Он был лишен возможности общаться со своими коллегами - обмениваться деньгами, товаром, идеями, знаниями, доверием. Такая система должна стать основой основ”. И не просто “должна”, но уже начинает формироваться. “У меня, например, есть список тех, кому я никогда не дам кредит. Не дам. При этом у меня есть круг людей, которым я всегда поверю при предложениях о дополнении этого списка. Пусть

я еще не обжигался, но тот, кого я уважаю, обжегся, а у нас одинаковая ментальность, и в этом смысле его предложению я доверяю”.

Эксперт сознает, что его можно “подловить на словах” - выше он говорил о волчьих нравах в бизнесе. “Да, тем не менее есть и “волки”. Наше общение между собой абсолютно нормально в тех сделках, когда мы не делим территорию, ареал. Но раздел ареалов - проблема. Дело в том, что там, где мы сейчас сражаемся, уже плохо: все резервы давно расписаны и исчерпаны. Период первоначального захвата уже прошел, и идет передел. Идет жесткая борьба. Если я хочу получить клиента в свой банк, то понятно, что этот клиент уже обслуживается каким-то банком, а не гуляет. Значит, я лоб в лоб столкнусь с конкурентом”.

Свои размышления о кодексе и доверии *Предприниматель* завершает постановкой вопроса о том, насколько предпринимательский профессионализм ценен для всего общества? Во-первых, отмечает он, такие предприниматели - эффективные налогоплательщики. “И с помощью системы вторичного перераспределения так или иначе наш успех будет сказываться на бюджете общества и на формировании его социальных программ. Если я неэффективно работаю, если я неправильно обслуживаю капитал, соответственно и низок финансовый эффект моей деятельности”.

Во-вторых, профессионализм в бизнесе (в понятие профессионализма эксперт вкладывает “умение эффективно протраивать наши системы”) предполагает “в качестве сферы своего приложения взаимоотношения с окружающим миром. Мы должны очень точно и правильно построить систему “public relations”. У большинства из нас PR занимает 10-20% бюджета, часть прибыли мы направляем на это. Мы начинаем строить взаимоотношения с обществом не столько на основах жалких подачек, сколько на взаимных обязательствах”.

Солидарность успешных профессионалов

“Насколько прочен слой прагматиков-профессионалов?”, - спрашивает себя *Предприниматель*. Непрочен, полагает он, и не потому, что не может быть таковым по определению, но в том смысле, что в сегодняшней ситуации у нас не исключена возможность контрреволюции, поворота назад. “Накапливается недовольство, внутреннее напряжение, всегда существующее между “ведомыми” и “ведущими”. Ведь “ведомые” не признают роль “ведущих” - у них какой-то эдипов комплекс, они постоянно хотят освободиться от влияния на них ведущих. Вообще-то это нормально, но сегодня потенциальная энергия слоя, желающего сбросить новых лидеров, становится разрушительной. Я чувствую ненависть, эту серую затаенную злобу. Это даже не зависть, они не завидуют, понимаете, это не так примитивно, они, может быть, оскорблены чужим превосходством? У меня такое впечатление, что они идут сзади и держат ножи наготове, в любой момент может произойти история промахнувшегося Акеллы, описанная в книге о Маугли. Возможно, в любом обществе лидеры живут в таком состоянии, но я говорю только о том, что чувствую по себе именно в том

обществе, где я живу. Мне кажется, что пока мы очень и очень уязвимы и подвержены опасности”.

Может ли непрочный слой успешных профессионалов быть заинтересован в особой солидарности; чем он слабее, тем у него больше потребность в солидарности? Сформулировав этот вопрос, эксперт предупреждает, что он только кажется риторическим. “Я над этим очень много размышлял, продолжаю размышлять и делаю попытки объединить коллег по труду. На самом деле это архисложная задача”. Дело в том, что “генотип лидера остро противоречив. В таком человеке есть два начала: по моей схеме это - начало коллективное и начало индивидуальное. Эти два начала - основа его жизнедеятельности и они борются в человеке. У кого-то больше развивается одно начало, у кого-то - другое, одно может быть подавлено, а может быть и другое”.

Эксперт пытается вообразить себя “социалистом”. “Понимаю, что общество меня и поддержит, и спасет, - говорит он. - Но оно меня усреднит, оно мне скажет: “Ага, ты просишь помощи, ты идешь в коллектив, но тогда, парень, веди себя по правилам этого общества”. И тут же его “внутренний маятник” склоняется к индивидуализму, а индивидуализм говорит: “Слушай, ты сильный, ты справишься со всем сам, зачем тебе вся эта толпа. Да, тогда ты выбираешь высочайший риск, тебе никто ничего не гарантирует. Плата за успех высока. Но и успех возможен только в результате этого риска”.

Итак, у предпринимателей-пассионариев очень сильно развит индивидуализм. “Они верят в свои силы - они что-то уже сделали, смогли сделать, в одиночку выносив свою идею, организовав, подчинив себе других для реализации своих целей. В силу этих обстоятельств они и не склонны к различным сообществам. Они могут объединяться с равными себе, как волчья стая в период опасности. И даже так объединиться им очень трудно, потому что волки в стае как-то обнюхивают друг друга, стая знает ареалы обитания, а эта человеческая стая редко удосуживается так сделать. Во всё остальное время мы грыземся между собой, например, банки ведут непримиримую борьбу, конкурируют”.

Поэтому в сфере профессиональной солидарности, “как и во всём у нас в стране, можно наблюдать протоплазменные явления: у нас это называется тусовка. Мы тусуемся, тусуемся, возникают всякие объединения, клубы, им несть числа, я - участник нескольких клубов, я знаю об оптимистичных планах при их зарождении, я - печальный свидетель их смертей. На каком-то этапе я перестал даже относиться к этому с эмоциональностью. Я вдруг понял: это норма, так и должно быть. Я честно играю во все эти игры, я не скорблю по поводу смерти того или иного сообщества, я просто анализирую ситуацию: почему они погибли?”.

Обсуждая гипотезу о конфликтности или солидаристичности правил игры в корпорации педагогов-профессионалов, *Психолог* подчеркивает: на помощь реальным профессионалам приходит идеология сотрудничества, а не

конфликтности. Почему? “Конфликтность, точнее - состязательность, соцсоревнование, даже олимпиада школьников - это все из борьбы видов, борьбы классов. По сути дела, поиск стратегии согласия - одна из основных особенностей движения профессионалов и их норм; поиск стратегии согласия в контексте общечеловеческих ценностей. Стратегия согласия - кредо идеологии, идущей к культуре достоинства, культуре, где встречаются и понимают себя состоявшиеся люди”.

По мнению *Литературного критика*, в поиске и осознании черт, которые делают сегодняшних профессионалов “бесшумного успеха” интересными друг другу и выделяют их в многоликой толпе, прежде всего следует обратить внимание на то, что они хотели бы не зависеть и быть интересными только друг другу. Но не получается. Если бы у нас было кастовое общество! А то ведь - на миру все... “Выделяться”? - упаси боже. Ничем не надо им выделяться - если хотят выжить. Ничем - если хотят, чтобы “неуспевающее большинство” их стерпело. Ничем - только внутренним чувством творческой отдачи, о котором лучше всего в нашем народе помалкивать”.

Размышляя по поводу нашей гипотезы, *Социолог* отмечает, что в его профессиональной среде единых ценностей и норм нет. “Существует несколько довольно расплывчатых определений, связанных с лояльностью к своим коллегам, соблюдением профессиональных правил работы. Самое важное, может быть, что не найдена более или менее успешная формула соотношения конкуренции и сотрудничества, раздела рынка труда и услуг. К сожалению, хищничество и несоблюдение моральных норм - частое явление. И море убийств - тому свидетельство. В каком-то смысле ситуация схожа с кинематографическим “диким Западом”, причем в российском восприятии - побеждает ковбой, который быстрее всех вытаскивает револьвер”.

Социолог полагает, что по поводу солидаристической идеологии успешных профессионалов можно сказать только одно: обретение такой идеологии - непереносимое условие развития нормального общества. Но крайне наивно думать, будто может образоваться одна корпорация успешных профессионалов. Более того, “солидаристская идеология должна быть свойственна обществу в целом и таким образом распространяться на профессиональные корпорации. Повторю еще раз: “успешные профессионалы” - умозрительная категория. Принципы партнерства, социального договора должны разделяться всем обществом в целом. Более того, “успешные профессионалы” - по идее - должны составлять большинство трудоспособного населения”.

Анализируя “правила игры” в незримой корпорации успешных профессионалов газетного дела, *Экономист* отвечает на вопрос о потенциале

солидарности и возможности создания соответствующего кодекса следующим образом: некий общий кодекс пока не может быть создан.

Как же обосновывается этот вывод? “В маленьких сообществах есть свои замкнутые правила игры. Когда, например, возникает угроза всему сословию, все группировки солидарны, и понятно, что укладывается в их потенциальный общий кодекс: чтобы государство не нарушало те правила, которые оно хотя бы однажды ввело. Это и является кодексом их требований к обществу и к власти. Например, их отношение к иностранному капиталу. С одной стороны, все хотят с ним сотрудничать - здесь инвестиции, гарантии и так далее. С другой стороны, очень не хотят конкуренции на внутреннем рынке в России. Вот элементарная коллизия, которая влияет на то, что кодекс поведения сообщества очень шаток. Речь идет о всех предпринимателях без исключения”.

Что касается практикуемого кодекса, правил игры внутри сообщества предпринимателей, то они извращены тем, что легально, путем обращения в арбитраж, в конфликтных ситуациях невозможно добиться ничего. И это не может не подрывать почву под тем, на основе чего - в перспективе - возник бы кодекс моральных правил поведения нашего бизнеса. А пока его заменяет “антикодекс”, на который обречены прежде всего мелкие и средние предприниматели.

“Вот когда приватизация закончится, когда произойдет раздел собственности настоящий, денежный, когда произойдут настоящие банкротства (можно перечислять довольно долго условия), тогда появится возможность создания четкого кодекса поведения предпринимателей, который можно будет описать формально.

Я говорю не о неких законах, которые будут соблюдаться - для этого еще десять поколений должно пройти, это гораздо более долгий процесс. Но когда все участки на “Клондайке” будут распределены и подтверждены хотя бы права собственности, то, даже если закон еще не будет соблюдаться, даже если суды еще не будут действовать так, как нужно, все равно будет подведена определенная черта, и это создаст почву для более стабильных взаимоотношений, соответственно, для появления четкого и стабильного кодекса поведения”.

При этом правила игры не обязательно будут “писаными”. Например, во всем мире действует доверие слову бизнесмена. “Правда, если на Западе при нарушении слова такой человек становится изгоем и в дальнейшем сможет вести только подпольный бизнес, у нас такого рода человек продолжает действовать, просто переходит в другую группировку. На Западе такой кодекс опирается на столетние традиции, а у нас если и есть традиция, то чисто криминальная. Поэтому “на слово” здесь можно действовать (и очень эффективно) в очень узком экономическом рынке, между своими знакомыми, близкими: ваши сделки ограничены очень узким кругом людей, которым вы можете доверять. А на широкий рынок с этими правилами вы не выйдете”.

Экономист полагает, что сегодня рано говорить о консолидации, солидарности в среде успешных профессионалов бизнеса. Они возникают

только в экстремальных ситуациях. Тогда предприниматели выступают единым классом, забыв о взаимной конкуренции. Они выступают как корпорация с единой идеологией и позицией. “Во всём остальном они разбиты - как и во всем мире - на кланы, профессиональные ассоциации и т.п. Но структурирование уже идет, хотя процесс только в начальной стадии”.

“Есть ли у меня основания говорить о профессионализме, даже о своем собственном?”, - спрашивает *Редактор газеты*. Ведь он, наконец-то, создал свое дело и стал писать то, что хочет сам, оглядываясь только на себя, на коллектив, который он подобрал и с которым работает, и, конечно, на читателя. Он не оглядывается на сообщество коллег, ибо профессионал, по мнению эксперта, как правило, является носителем и общих для сообщества черт.

“Я - сообщество. Есть ли среди такого рода профессионалов потребность в солидарности профессиональной? И да, и нет. ...Хваленая журналистская корпоративность не выдерживает испытания рынком. Более того, всегда есть и не скрывается желание поплясать на конкуренте.

Поэтому я, безусловно, индивидуалист. Но утешает мысль: чем выше твой профессионализм, тем больше тебя бранят конкуренты. В нашем случае это особенно ярко выражено. Мы еще не начали выходить, а бывшая областная партийная газета, возглавляемая, кстати, тем же партийным редактором, выступила против нас”.

Своими “да” и “нет” *Редактор газеты* солидаризируется с мнением экономиста, приведенным выше. “Да, потому что газеты и журналисты (естественно, эти понятия нераздельны) могут выжить только все вместе. Нет, потому что я очень невысоко оцениваю перспективы объединения журналистов. (Наелись, еще в те времена, когда в провинциальном городе была одна, максимум две газеты, и независимо от взглядов и фактической ориентации все должны были толочься на одних и тех же страницах.) Мы же хороши уже тем, что мы разные. А всякое объединение неминуемо начинает сглаживать противоречия, а на самом деле - нивелировать отличия”.

Редактор газеты не категоричен в своих суждениях о разъединении профессионалов. “Даже не оформленное документально это сообщество существует, - пишет он, - и в нем есть некоторые правила игры. Точнее, они еще пишутся. Поэтому разноречивой в практике огромный.”

Вдохновившись идеей консолидации успешных профессионалов, эксперт с большим скепсисом обсуждает реальность объединения такого рода людей. “По-моему (пишу, подглядывая за собой в зеркало), тип профессионала - очень неприятный тип. С комплексом превосходства... Профессионал - человек с характером. И, как правило, с плохим характером. Это заметно, главным образом, внутри коллектива, на котором отражаются негативные черты характера. Таких примеров сколько угодно - из творческой среды, технической, управленческой... Для посторонних некто - замечательный человек. Для сотрудников - тиран, скандалист, псих ненормальный. Профессионал - почти

всегда гордится своим профессионализмом. Хочет он того или не хочет, но своим профессионализмом он тычет в нос другим. Он всегда или почти всегда - “ведет” себя. И это тоже никому не нравится.

Почему я считаю, что главное в профессионале - характер? Он не настолько умнее других. Он оканчивает те же учебные заведения, что и легион непрофессионалов. Но у него - характер, и он становится профессионалом. Он хочет уметь лучше других. Иметь в подчинении высококлассного профессионала - очень трудно. Это - крест, и немногие из руководителей готовы этот крест нести”.

Потенциал политической организованности успешных профессионалов

Завершая размышления над вопросами анкеты, *Предприниматель* высказывает скепсис по поводу политического влияния корпоративной солидарности успешных профессионалов и идеологического оформления такой солидарности на стабильность общества. Может ли профессиональный клуб перерасти в партию? - спрашивает он. Пусть это будет не масонская ложа, а, скажем, классический англоязычный клуб “Ротари”, в который принимаются представители одного сословия по состоянию и статусу, но непременно из разных профессий (там нельзя, чтобы было два человека одной профессии). Почему, на каком основании, этот Rotary-Club должен преобразоваться в партию?

“Для меня партия есть нечто иное. Я, например, не понимаю, почему со мной в партии, выражающей мои классовые интересы, может состоять успешный врач? Я уважаю этого врача, но он же не владеет капиталом. Какое отношение он может иметь к моим глубинным интересам? Вот если бы это был владелец клиники, я бы мог его понять. Может быть, я чересчур развращен марксистско-ленинской идеологией, но иной позиции у меня нет. Я не считаю, что сообщество профессионалов обеспечит стабильность.

Для меня стабильность общества заключается в очень четкой, ясной стратификации этого общества. Вот - кузнец, вот - певец, вот - боец, и каждый из них должен найти удовлетворение от жизни, а общество должно так перераспределить потоки материальных, идеологических ресурсов, чтобы все они чувствовали себя на своем месте. Тогда общество и будет стабильным. Я даже внутренне возражаю идее такого, казалось бы, очевидного пути стабилизации общества, как создание среднего класса, класса собственников, которым есть что терять. Казалось бы, чем больше людей будут иметь дома, чем сильнее они будут привязаны к своим наделам, участкам, тем стабильнее будет общество. Но оно может оказаться стабильно стагнирующим. В обществе должен быть динамизм. Излишняя удовлетворенность и материальная стабильность опасны, и я знаю примеры, когда средний класс, класс мелких буржуа, сдерживал прогресс, он был более опасен в этом смысле, чем крупный буржуа, который рвался вперед”.

Обсуждая гипотезу о том, что успешные профессионалы являются базой для создания “иного” общества, общества, которое защищает демократические реформы, *Психолог* подчеркивает свое опасение использовать сегодня затертые слова - “демократические реформы”, “реакционные реформы” и т.п. Эти понятия успели себя дискредитировать. Поэтому, говоря об учителях, он предпочитает говорить о них не как о демократах или аристократах, а просто как о людях, которые являются успешными профессионалами.

Эксперт считает, что если сегодня появится союз успешных профессионалов (а не “деловых людей” - он воздерживается от применения термина “деловой человек” к учителю, к врачу, к артисту), “профессиональный цех Состоявшихся (причем термин “Состоявшиеся” пишется с большой буквы), корпорация слоя Состоявшихся, если мы сейчас этот слой сумеем выделить, тогда будет изменен сценарий социального развития России.

Ждать, что этот слой появится сам и осознает себя сам - бесполезно. Наша роль социальных архитекторов, в частности, роль центра “Стратегия”, и состоит в том, чтобы помочь людям обрести имя, а через имя - проект будущих действий.

Когда я подхожу к учителю и говорю: “Ты не просто учитель, ты - Состоявшийся”, и, используя понятие “Состоявшийся”, я приглашаю его в одно сообщество вместе с состоявшимся банкиром, с другим учителем, с актером, с директором завода - их всех объединяет это качество, они самодостаточны в том, что могут общаться и видеть перспективные цели, - тогда начинает рождаться иная социальная общность”.

По мнению *Социолога*, переход к обществу профессионалов есть необходимое условие нормального развития России и становления цивилизованного общества, поскольку измерение себя и своего окружения в профессиональных единицах - естественно.

“Полагаю, что никакого политического структурирования успешных профессионалов не будет. Наиболее вероятное развитие слоя успешных профессионалов - становление общества с выраженным профессиональным признаком, - отмечает Социолог, - общества, успех в котором построен преимущественно на продвижении в своей профессиональной среде.

Политические группы будут формироваться по другим основаниям, поскольку в современном обществе интересы собственно профессионалов представлены на уровне основ общественного устройства. Обычные же политические интересы разделяют “единую” профессиональную среду по группам со своими политическими мотивами”.

Рассуждая по поводу стабильности как цели, к которой направлены действия успешных профессионалов, *Редактор газеты* отмечает несколько обстоятельств.

Во-первых, его газета начала выходить в ситуации максимальной нестабильности, а именно - 2 октября 1993 года.

Во-вторых, он заинтересован в общественной стабильности, ибо газеты выходят только при стабильных условиях.

В-третьих, “как это ни странно, но полная стабильность - это гибель для газетного дела, которое кормится общественными всплесками, экстремальными ситуациями, социальными конфликтами (малоприятное, но реальное качество журналистов слетаться на трагедию, как грифы на падаль). Как совместить эти противоречия, я не знаю. Но таков газетный “тяги-толкай”, который кормится сенсациями, даже если они могут угрожать его собственному бытию”.

Хотя “газета кормится нестабильностью, она может существовать только в условиях стабильности. Как символ стабильности она должна выходить регулярно, в срок и по графику. Предполагаются стабильные цены на бумагу, типографские услуги, стабильные почтовые тарифы. А это возможно только в стабильном обществе”.

Но эксперт не хотел бы работать в самом стабильном обществе - при стагнации.

То же самое, с его точки зрения, относится и к профессионалам вообще. “Когда общество нестабильно, профессионалы ему - объективно! - нужны больше. Но именно в этот период они востребуются меньше”.

Следует ли из этого, что партия, лоббирующая интересы успешных, заинтересованных профессионалов, не нужна? “Успех партии, как показывает практика, нередко обратно пропорционален профессионализму ее политиков. Успешны бывают те, кто профессионален в своем непрофессионализме. (Возможно, это следует назвать “свежим подходом”?) Мне думается, что партия профессионалов была бы более необходима в обществе, перенасыщенном профессионалами - нефтяниками, педагогами, милиционерами”.

Потенциал политической организованности успешных профессионалов тесно связан с основными составляющими их идеологии.

По мнению *Политика*, “наше общество претерпевает бурную смену базовых жизненных ценностей, сопровождаемую перекосом в воспроизводстве активного населения. Взрослое поколение столь же мучительно, как и подрастающее, осваивает новые мировоззренческие ценности и оказывается в этом отношении более уязвимым, чем подрастающее. Именно поэтому мы выдвигаем сегодня в качестве наиболее важных такие идеологически нейтральные ценности, как профессионализм и деловой успех, в которых нет априорной перегруженности идейными, мировоззренческими, политическими предпочтениями”.

Важно осознавать, что “переплавка” личности сегодня идет независимо от возраста. “Идеология российской модернизации создается принципиально новым поколением российских граждан, где признак новизны абсолютно не связан с датой рождения, а возрастной ценз ни в коей мере не является признаком, характерным для носителей этой идеологии. Новое поколение объединяет сегодня жизненная ориентация на ценности профессионализма, делового успеха, общечеловеческой порядочности, трепетное отношение к правам других в той же мере, в какой каждый из нас претендует на свои собственные права”.

Вполне понятно, отмечает *Экономист*, “что прагматики чураются даже упоминания слова “идеология” - им была сделана такая прививка. Что касается “выращивания”, то я боюсь попыток официально сформулировать какую-либо госидеологию. С одной стороны, и мне бы хотелось, чтобы появилась идея - потому что вакуум есть вакуум. Но, с другой стороны, велик риск, что за попыткой сформулировать государственную идеологию могут последовать попытки ограничить свободу, загнать рынок в рамки “более справедливой” или “более эффективной” идеологии. Возьму на себя смелость утверждать, что сообщество предпринимателей в этом смысле разделяет в целом мою оценку”.

По мнению эксперта, предприниматели нуждаются в идеологии, но никто из них не может пока сформулировать ее основные положения. Исключение составляют лишь крупные предприниматели, которые уже прошли период первичного накопления и потому ищут стабильности. Вот они-то готовы пожертвовать сиюминутными прибылями ради постоянной перспективы прибыли и наращивания своего могущества. Они задумываются об идеологии”.

О какой “идеологии” в этом случае идет речь? Вероятно, о двух ее вариантах. Во-первых, речь идет об идеологии с сильным национальным, более того, великодержавным элементом. Я говорю это без оценочного момента, просто констатирую. Речь идет о том, что Россия как великое государство должна занимать соответствующее место на мировом рынке, с ней должны считаться, она должна преодолеть протекционистские барьеры, дискриминацию по отношению к нам и так далее. Страна должна развить свой потенциал - интеллектуальный, технический, научный; ее валюта должна занять подобающее место в мире и так далее. Таковы “запрос” и “заказ” на идеологию у части крупных предпринимателей.

Во втором варианте (один человек может разделять и первый, и второй) речь идет о том, что Россия, наконец, должна стать нормальной страной - бюргерской страной. В ней должны появиться средний класс, социальные институты, рынки. Должно быть гражданское общество - с нормальной возможностью покупать себе жильё, зарабатывать так, чтобы семья жила достойно. Профессиональный деловой человек - обычный, не гений, - способный хорошо работать, должен хорошо жить. Это простые элементы здравомыслия, элементы бюргерства. Будет Россия великой страной - очень

хорошо. Не будет - не пропадем: претензия на великодержавность принесла больше вреда, чем пользы. Пусть мы будем не так активны в претензиях на мировой арене - даже если мы не войдем в мировую “семерку-восьмерку”, бог с ними. Потом, постепенно - у нас есть из чего растить свой потенциал, пусть это займет два поколения - Россия спокойно, без катаклизмов, естественным путем займет свою нишу, которую она должна и может занять, будучи рыночно организованной страной”.

Но все предприниматели считают, что одним из центральных пунктов государственной идеологии должна быть неприкосновенность частной собственности. В России уважения к частной собственности не было никогда. “Воспитание этого чувства, защита частной собственности, поставленная в центр идеологии - вот чего хотят предприниматели”.

Гипотеза авторов опроса о прагматической природе идеологии успешных профессионалов, о том, что успешных профессионалов сегодняшней России, кроме всего прочего, отличает такая черта, как прагматизм жизненного мировоззрения, в представлении *Литературного критика* отражается следующим образом. “Больших прагматиков, чем большевики, российская история не рождала. Теперешние “успешные профессионалы” - прагматики по замыслу”.

Как же такие прагматики реализуются в стране, «где импульсивный и впечатлительный народ всегда жил “по совести” и сроду не жил “по прагматике”»?

Прежде всего эксперт отмечает, что “совесть - вопрос хитрый”. Так, если “совесть” заменить “законом”, то “прагматикам на Руси делать нечего, разве что потребуются новые большевики, чтобы ради очередной отечественной войны превратить страну в военный или концентрационный лагерь”. И если “совесть” - это “неофициальный регулятор официального хаоса, иррациональная сдержка тотального воровства, - то новым успешным предпринимателям лучше не вспоминать про эту традиционную русскую добродетель”.

Но в отечественной традиции есть и еще одно значение “совести”. “Совесть - это духовное наполнение, нравственное оправдание индивидуального пути (о коллективном не говорю, потому что коллективное - это и есть в русской традиции воплощение совести). Вопрос формулируется так: если жизнь по совести будет вытеснена жизнью ради успеха, это может привести к утрате чисто русского своеобразия жизни, чувства осмысленности жизни”.

Когда (и если) “жизненные пути и формы новой энергии устоятся, станет ясно, какой духовный коррелят понадобится новой прагматике: русская “совесть” или что-то другое. Или вообще обойдемся без духовной корреляции?”

Однако, для того, чтобы “устоялось”, нужна стабильность, чтобы хоть три - четыре поколения прожили без переворотов. А кто же гарантирует России такую стабильность в условиях надвигающихся геополитических перемен XXI

века? “Когда заново, методом проб и ошибок (то есть, увы, войн и поражений) будут определяться новые границы цивилизаций, а то, что выстрадал XX век, будет проклято и аннулировано?”.

«В этом предчувствии я не решился бы на моделирование конкретных “сценариев”».

Завершая представление взглядов экспертов, вновь обратимся к мнению *Экономиста*. С его точки зрения, “степень вероятности политического структурирования успешных профессионалов бизнеса определяется тем, что после периода политической активности - поддержки на выборах демократических лидеров - политическая активность предпринимателей резко снизилась... Они растерялись от нарастающей неопределенности в поведении высшей государственной власти”.

Непредсказуемость ситуации эксперт видит в том, что “авторитарный строй не возник, но возник строй загадок. Черета загадок. Никто уже не может сказать, что произойдет, и все готовы поверить во всё. Допускают все возможное и самые крупные предприниматели - любой шаг, любое назначение, любой указ. Некоторые происходящие события показывают, что действительно возможно все, невозможного нет”.

Отвечая на последний вопрос анкеты, эксперт дает следующий диагноз: “предприниматели сделали шаг назад от политической сцены. Не все, конечно, это не абсолютно общее настроение”.

Что касается сценария политического будущего слоя предпринимателей, то, по мнению эксперта, “и на региональном, и на федеральном уровнях представители предпринимательского сообщества начинают входить в слой высших управляющих государством, - они успели проявить себя не только успешными профессионалами в бизнесе, но и достаточно разумными людьми, способными оценить ситуацию в целом. Их способность формировать политику, а не только “влиять” на нее, будет, конечно, возрастать”.

В таком сценарии содержится серьезная опасность: “Если развитие страны пойдет по латиноамериканскому пути - не чилийскому, а колумбийскому - что вполне вероятно, а отчасти уже и происходит, то, соответственно, велика вероятность того, что и политика предпринимательского сообщества будет формулироваться в соответствующих направлениях. Они - как политики - будут действовать не во имя своего сословия, а в интересах своих корпораций. Этот интерес существует во всем мире, просто это может приобрести более резкий, радикальный характер. Такая опасность велика”.

Метафизика успешного профессионализма: “экспертиза экспертизы”

В поэтапной схеме рефлексии экспертов можно выделить следующие процессы: от ценности успеха - к профессионализму, затем - к ассоциации успешных профессионалов и, далее, - к идеологии модернизации и, соответственно, к стабильности в обществе.

Первый этап мы бы определили как двойственное отношение экспертов к самой ценности успеха: не столько к ценности профессионализма, сколько самого успеха. При анализе достижительной проблематики эксперты нуждались в разграничениях, классификациях, пусть даже в очень простых (в категориях истинного и мнимого успеха, коммерческого и профессионального, объективно измеряемого или субъективно переживаемого). Итак, в позициях экспертов можно зафиксировать амбивалентное отношение к успеху.

Второе. Мы фиксируем в текстах экспертов настороженное отношение к ценности делового успеха. Кроме обычного, вполне ожидаемого “спотыкания” на слове “деловой” - это слово имеет много подтекстов или, скажем, негативных дополнительных смыслов, выраженных в однокоренных словах типа “делячество”, “деляга”, “деловар” и так далее, - есть еще проблемы культурного плана. Речь идет о двух пониманиях слова “дело”: “дело” как бы с маленькой буквы - то, что делаем повседневно, каждодневно, и “Дело” с большой буквы - Общее дело, Настоящее дело. Так вот, успех “Настоящего Дела” - благородное явление, успех же “дела с маленькой буквы” имеет оттенок действия, лишенного “нравственной энергетики”.

Третье. Эксперты отвергают слово “прагматизм” и все то, что за ним стоит. Вряд ли это связано с элементарным незнанием смысла прагматизма, скорее - с загадочной потребностью заменить его чем-то другим (как скажем, выражение “успешный человек” заменяется словом “состоявшийся”). Тем не менее, сегодня это слово в устах идеолога требует не только придания ему особого психологического и нравственного смысла, но и дидактического прояснения.

Четвертое. Эксперты высказывают скрытое, а то и явное недоумение экспертов по поводу самой возможности солидаристских оснований у успешных профессионалов. Один из самых сильных аргументов заключается в следующем: многоликая масса профессионалов - это масса индивидуалов-одиночек. Представляется, будто успешные профессионалы - по определению необъединяемая, неассоциируемая, несолидаристическая общность.

Далее. Успешные профессионалы, по мнению экспертов, не настроены на социальные изменения в обществе. Почему? Нынешнее состояние общества их устраивает, ибо именно в этих условиях они добились успеха и профессионализма. Как разумные люди они должны понимать, что при измененных общественных условиях нынешний критерий успешности и профессионализма может быть сильно изменен, и они перестанут быть успешными профессионалами.

И еще один резон: какой смысл им объединяться в ассоциацию и лоббировать некоторый политический интерес в коридорах власти, если нынешняя власть создает - благодаря ее известному непрофессионализму - те политические условия, при которых реализуется их профессионализм. Значит, им не нужно, по большому счету, нечто общее лоббировать. Единственное, что их может объединять, это желание отгородиться от дилетантов, маргиналов, неудачников, людей с катастрофическим сознанием. Ассоциация - способ

избавиться от непрофессионалов, от тех, с кем успешные профессионалы не хотят иметь дела.

Пятое - это парадоксальное отношение и к “идеологии” как явлению, и к идее стабильности.

В анкете заявлено о том, что новая идеология должна быть, с одной стороны, идеологией модернизации, причем идеологией, консолидирующей общество, с другой стороны - первой в истории нашей страны нерепрессивной идеологией. Что же будет положено в основу этой идеологии? Допустим, идея успеха и профессионализма. Но она захватывает лишь немногих, поскольку российское общество лишь начинает свыкаться с такими ценностями. Значит, эта идеология будет распространена в очень узком слое общества. А по отношению к остальным людям, которые в своей повседневной жизни не ориентированы на успех, на достижения, а живут порядочно, честно, не стремясь к особым свершениям, эта идеология будет репрессивной? Парадокс: заявка на нерепрессивность в политическом смысле слова превращается в идеологию репрессивную в социально-культурном смысле слова.

Эксперты не могли преодолеть внутреннюю потребность в разделении успеха на мнимый, подлинный, коммерческий, профессиональный, истинный, кажущийся и так далее. Эта потребность привносится в саму идеологию как ее парадоксальное ядро. Возникает ощущение: перенося “оценочную потребность” в жизнь, мы хотим создавать ассоциацию людей подлинного успеха, подлинного профессионализма и выступать своеобразным солидаристским орудием борьбы с теми, которых та или иная корпорация считает людьми коммерчески-“деляческими”, профессионально-“деловарскими”.

Эксперты как бы задают задачу - если вы хотите превратить свою идею в идеологию, сделать ее открытой для общества, помните, что общество в этом отношении еще продолжает жить культурным стереотипом.

Попытаемся дать оценку хотя бы части экспертных суждений и оценок (учитывая, что наша общая позиция представлена в Вводном разделе). Известно, что операции с размытыми понятиями привлекательны лишь до определенной поры. Эта скромная истина нашла подтверждение и в замысле настоящего экспертно-консультативного опроса. Как мы уже отметили выше, вызывает настороженное отношение расплывчатость и избыточная экспрессивность понятия “успех”, меньше опасений - “деловой успех”, а больше - широкое понятие “жизненный успех”.

Если трудно не согласиться с рассуждением о том, что человеческая деятельность ориентирована на достижение положительных результатов, которые в определенных значениях воспринимаются как успех, то еще труднее не принять тезис о том, что на успех нацелена профессиональная деятельность, где бы она ни протекала, охватывая сферы как умственного, так и физического, как управленческого, так и исполнительского труда. Профессиональная деятельность нацелена не только на значимый для личности, а поэтому трудно измеряемый, результат, но и на социально значимый результат, который лучше поддается измерениям с помощью объективных критериев.

Казалось бы, очевиден тезис, согласно которому такой подход к эффективности и успешности деятельности оказывается недостижимым, если за выполнение задач, требующих профессионализма, берутся неподготовленные лица. Однако, здесь мы сталкиваемся с еще до конца не освоенной проблемой оценки *феномена профессионализации* нашего общества.

Многие исследователи - и не без оснований - усматривают в профессионализации всего общества один из позитивных итогов долгого коммунистического правления, один из важных аспектов продвижения России по пути модернизации и одну из гарантий против намерений возвратить страну на исходные - предреволюционные - позиции.

Соглашаясь с подобным тезисом в принципе, нельзя забывать и достаточно известный антитезис: мы осуществили во многом *формальную профессионализацию* (или, смягчим значение, - полупрофессионализацию). В обиход давно вошел и обозначающий данную тенденцию термин - "образованщина". Тот, кого по душевной щедрости и по запросам статорганов именуют профессионалом, очень часто (слишком часто, чтобы воспринимать это в качестве назойливых исключений) не располагает необходимыми знаниями или опытом. Такие знания нельзя назвать интеллектуальным капиталом, который обеспечивает его владельцу социальную независимость (в том числе и от государства, как главного работодателя) и статус, подкрепленный вызывающими уважение должностью и престижностью занятий.

Все это не ставит под сомнение наличие в стране значительного числа высококлассных специалистов, не уступающих ни в знаниях, ни в опыте своим зарубежным коллегам. Но приходится считаться и с тем, что отставание - по множеству параметров - нашей промышленности, аграрного сектора, инфраструктур, систем здравоохранения и образования, правопорядка и т.д. несовместимо с высокой неформальной и качественной профессионализацией страны.

В этом месте наших рассуждений по поводу замысла проекта и его экспертных материалов необходимы разъяснения. Сначала - относительно дилетантизма.

Шлейф презрения тянется за этим явлением, ибо его справедливо отождествляют с некомпетентностью, поверхностностью, претенциозностью, что обрекает дело если и не на полный провал, то на вялотекущую результативность. Многие, кого величают профессионалами, являются всего лишь *дилетантами с дипломом*.

Надо, впрочем, сказать и несколько похвальных слов по адресу дилетантизма. В ряде видов деятельности существует потребность в симбиозе профессионализма и дилетантизма, в профессионально-любительском альянсе. И тогда дилетант - уже не какой-то знахарь, а "профессиональный любитель". Существует также потребность во взаимодействии разнопрофильных специалистов, и в такой ситуации черты привлекательности обретает присущая многим дилетантам способность к взаимопониманию, незашоренность

узкоспециальными подходами, умение “заглянуть” в другие сферы деятельности, не дожидаясь любезных приглашений на это, готовность нарушить ведомственные барьеры, способность к кооперации усилий профессионалов.

Дилетанту такого рода удается преодолевать педантизм и однобокость мышления узкого специалиста, избегая при этом искушения гедонистически отнестись к специализированной деятельности (по-итальянски, “пер дилетто” означает: “для развлечения, забавы, собственного удовольствия ради”). Он способен воплощать подлинный разум профессионала и увлекать других духом призвания.

И еще одно замечание. Если настоящий профессионал действительно ориентирован на деловой успех даже тогда, когда он ограничен в своей социальной независимости, в доходах и престиже, то дилетант - с дипломом или иным свидетельством - в очень незначительной степени нацелен на профессиональный успех.

Такое положение дел усиливается благодаря тенденции общества к *депрофессионализации*, к социальному обесцениванию профессионализированного труда - как физического, так и умственного. Возник своеобразный сектор реформирующегося общества, состоящий из экс-профессионалов. Депрофессионализация означает процесс добровольно-вынужденного отказа (полного или частичного) от официально приобретенного профессионального статуса. Она выражается в готовности сменить менее предпочтительную сферу профессиональной деятельности на более соблазнительную, как правило, без основательной подготовки к ней, в духе “краткосрочных курсов повышения квалификации”. В значительной степени это объясняется начавшимся реструктурированием общества, быстрым падением спроса на одни профессии и столь же стремительно формирующейся потребностью в других.

Например, сфера предпринимательства на первых порах требует не столько профессиональных знаний, сколько стартового капитала, значимых связей, готовности к риску и т.п. Именно поэтому здесь “правит бал” дилетантизм. Однако в сфере предпринимательства быстро обретает вес профессионализм.

Социологи пока не успели (или не смогли) проанализировать эти процессы, но то, что “процессы пошли” - не вызывает сомнений.

Поэтому, на наш взгляд, преждевременно говорить о свершившейся в нашем обществе “тихой” революции профессионального успеха, как это предполагала гипотеза нашего экспертного опроса. Без дифференциации профессионального корпуса страны все обобщающие суждения по поводу такой революции не получают подтверждения.

Какие изменения происходят в профессиональной культуре общества, в ее сердцевине - в *этике* профессионального успеха?

Что побуждает людей обращаться к профессии? Нежелание отступить в прошлое допрофессионализированных социумов - если не полностью, то в

значительной мере? Несомненно. Нужда, материальные калькуляции, зуд честолюбия, упоение властью, которую дает монополия на знания, и *достижительный* статус профессий? В тех или иных пропорциях, в различных комбинациях эти мотивы присутствуют в сознании профессионалов и не могут быть сброшены со счетов в обычных обстоятельствах.

Но, как мы уже напоминали, еще Макс Вебер предлагал отличать *“истинного” профессионала* - и лишь *“отчасти”* такового. Немало и случайных, *“затесавшихся”* в профессиональную среду людей, которые руководствуются своекорыстными запросами, рассчитывая удовлетворить их путем достижения успеха в чуждых им областях. Не взирая при этом на *“какую-то там этику успеха”*. Вебер, как известно, обращал внимание на внутреннее *единство призвания и профессии*. Подлинный профессионал, не пренебрегая вышеназванными мотивами, *смысл* своей деятельности черпает в бескорыстном и беззаветном *служении делу*. Не обязательно жертвенном, но, во всяком случае, приуготовленном к нему. Конечно, призванных в этом отношении гораздо меньше, нежели *“званных”*, вообще вовлеченных в профессиональную деятельность - с одаренностью ничего не поделаешь.

Вопрос в том, что понимать под служением делу. Мы уже говорили выше: прежде всего под служением имеется в виду вера работника, предпринимателя, политика, ученого, художника. Но при наличии подобной веры мы вправе говорить о велениях профессионального долга, о необычном сочетании этики с успехом и даже об особых *“незримых”* успехах (в замысле авторов экспертного опроса здесь близко по значению понятие *“бесшумного”* успеха) в сохранении нравственных ценностей, проявляемых во всех - а не исключительно в профессиональной - сферах жизнедеятельности. Это может быть и успешным продвижением к нравственному идеалу, морально высшему, и проявлением обычной человеческой порядочности.

“Незримые” успехи вносят разумность в деятельность профессионалов и позволяют им даже в неблагоприятных условиях поддерживать дух профессиональной корпорации, вольного товарищества (далекого от беспринципного *“мы помалкиваем о ваших грехах, а уж вы, будьте любезны, не замечайте наших”*), присущую ему не просто этику убеждений и любви, но и этику *ответственности*. Этика ответственности ориентирует, разумеется, на чистоту и возвышенность мотивов, но и, одновременно, - это следует подчеркнуть - на эффективность профессиональной деятельности, успешность поступков. Нравственный мотив профессионала - это стремление к успеху в своем деле, но в то же самое время и служение делу. Это - единство признания (статус, внешнее одобрение, популярность) и призвания.

Конечно, следует учитывать изменения в понятии профессионального призвания, которые оно претерпело - со времени своего зарождения и первичного философского осмысления - в современном секуляризованном мире массовых профессий и *“фабрик”* по штамповке профессионалов. Заметим, что здесь профессиональное призвание освободилось от многих черт внутримирского аскетизма (*“трудись и молись”*). В этой связи многие авторы

указывают на неоasketическую интерпретацию профессионального призвания, тогда как другие - на вытеснение этико-религиозного “вертикализма”, которому приходится потесниться в пользу вполне рационального этического “горизонтализма”. В этом смысле сегодня говорят об апробации профессионального долга и идеи профессионального призвания, служения делу с помощью групповых норм, санкций и прочих средств контроля со стороны профессионального сообщества.

Что касается тех, кто индифферентен или равнодушен к эффективности своего труда (“пофигизм” на современном новоязе), к успеху в профессиональной сфере (кстати, таких немало и в других развитых странах), а также той группы людей, которые в ответ на мизерность зарплаты и тающий престиж их профессии предпочитают лишь делать вид, будто они работают, следует иметь в виду, что среди “абстинентов от труда” есть немало таких, кто поставляет волонтеров в массу социально пассивных групп, уклонистов по отношению к официальным моделям не только делового, но и жизненного успеха. Как мы уже говорили в Вводном разделе, дезангажемент, изоляционизм, эскапизм имеют у нас как внушительную историческую традицию по части ненасильственного сопротивления тирании, так и соответствующие ценностные обоснования (квиеизм, стоицизм, этика недеяния и др.).

По всей видимости, большинство “уклонистов” не отказываются от идеологии успеха как такового, а просто передислоцируют свои усилия с ориентации на успех деловой в сторону ориентации на жизненный успех. В профессиональной же сфере они в лучшем случае ограничиваются простым исполнением должностных обязанностей, а в худшем - довольствуются демонстрацией исполнительности и в результате даже “не тянут” на профессиональную пригодность. Основное их внимание уделяется совсем другому, и успех ассоциируется с достижениями на ниве приобретательства, с условно-престижным потреблением, с гедоническими пристрастиями и наслаждениями, “сладкой жизнью”, с развлекательными “версиями жизни”. По отношению к такого рода успеху деловой успех в профессиональной сфере принимается лишь инструментально, а так как это средство только изредка оказывается практичным, то предпочтение отдается иным инструментам продвижения к вершинам жизненного успеха. В языке обнаруживаются соответствующие нюансы: профессионально “состоявшийся” или “состоятельный”, “успешный” или “преуспевающий”.

Обращаясь к завершающей замысел экспертно-консультативного опроса гипотезе относительно потенциала солидарности успешных профессионалов и разделяя в общих чертах содержащиеся в экспертных материалах оценки, диагностики и прогнозы, обратим внимание не только на *профессиональные интересы* (сюда входит и жизнь в профессиональном сообществе, ее регуляция, обмен информацией и опытом, клубная деятельность и т.п.), но и на *интересы профессии*. Они заключаются в создании благоприятной социальной среды, при которой наращивается интеллектуальная собственность, собственность на мастерство, создаются выгодные условия реализации этих видов собственности.

Понятно, что успешность деятельности профессионалов теснейшим образом связана и с успешностью защиты интересов профессии в целом. Это, прежде всего, *экономические интересы*. Они не всегда соответствуют критерию успешности. Например, когда организации профессионалов стремятся создать монополии (на знания, услуги, экспертизу и т.п.), тогда, естественно, сокращается, свертывается внутрипрофессиональная - живительная - конкуренция и слабеет ориентация на успех. Интересы обеспечиваются здесь самим фактом монопольного владения. Это делает необходимым создание новых правовых и моральных ограничений во внутрипрофессиональных отношениях, нацеленных на формирование антимонополистических настроений, не говоря уже о том, что и в области межпрофессиональных взаимоотношений действуют факторы, которые препятствуют гражданской солидарности между профессиями.

Если интересы социoproфессиональных сообществ свести лишь к экономическому уровню, было бы достаточно сделать ставку на знакомые профессиональные союзы и творческие объединения, где они уже функционируют, и на их создание там, где они еще не созданы (по типу британских тред-юнионов). Но существуют еще и *политические, гражданские интересы*. Их роль в создании благоприятных условий для профессиональной деятельности только начинает осознаваться - по мере того, как углубляются процессы структурирования интересов в обществе (классовые, групповые и т.п.), процессы превращения его в открытое общество с легитимизированным конфликтом интересов, по мере того, как снижается роль государственного патронажа и возникает ощущение "брошенности", "сиротства" профессионалов в безбрежных социальных пространствах.

После потрясений девяностых годов форсировался и процесс превращения интеллигенции в интеллектуалов (в западном смысле слова) с новыми ожиданиями. На место разрозненных лиц, действующих в непросвещенной сфере, которой они "несут свет", чьи "идеалы" они уберегают, чьей "совестью" являются, возникает слой образованных специалистов с более умеренными претензиями на влияние и власть.

Интересы этого уровня могут реализовываться через существующие политические организации (партии, движения, ассоциации и т.д.). Однако, практика политической жизни не сулит в этом плане утешительных результатов. Интересы профессиональных сообществ запросто отодвигаются на задний план, а то и просто игнорируются этими организациями, так как последние в весьма незначительной степени зависят от поддержки со стороны профессиональных союзов и объединений (возможно, за исключением наиболее "боевых" профсоюзов промышленности и на транспорте). Выявляется потребность в политическом лоббировании интересов профессий, но какими-то новыми, нетрадиционными средствами.

От чего же зависит консолидация профессионалов, какую стратегию и тактику предпочтительнее было бы выбрать той группе, которая соберется осуществить такое сплочение?

Думается, *во-первых*, что необходимо максимально учитывать реальную дифференциацию профессионалов, условно говоря, на (а) слои “успешников” в деле (т.е. “подлинных” профессионалов), (б) “успешников” вне дела (потребительно-приобретательская ориентация) и (в) индифферентных ко всяким идеологиям и моделям успеха.

Учитывать это обстоятельство - не означает ограничиться ставкой исключительно на “успешников” из числа “подлинных”. Что годится до известной степени для первой фазы политической активности успешных профессионалов, то чрезвычайно опасно для последующих фаз движения (угроза отрыва элиты от масс профессионалов).

Во-вторых, необходимо считаться с некоторыми негативными моментами в общественной жизни, в политической культуре. Пока в политическом спектре нашего общества не просматриваются свободные ниши для нового движения. Такие ниши приходится не отыскивать, а, скорее, создавать заново. Но это предполагает длительное массированное воздействие на общественное мнение.

Придется, далее, считаться и с тем, что казарменный коллективизм в корпоративной форме у нас еще пока дезинтегрируется, и с тем, что лишь в замедленном темпе происходит переход от коллективистской идентификации к идентификации профессиональной, к осознанию профессиональных интересов всех уровней.

Нельзя абстрагироваться и от отчасти уже существующих и со временем усиливающихся межпрофессиональных противоречий, вызванных притязаниями на свой “кусочек” бюджетного пирога, за долю в правительственных и региональных дотациях, что также содержит потенциальную угрозу разбегания участников консолидационного профессионального движения по отраслевым “квартирам”.

Предстоит, *в-третьих*, избежать соблазна создать нечто вроде *партии* успешных профессионалов. В стране доминирует квазимногопартийная система, и шансами на выживание располагают те политические партии, которые смогут подвести “под себя” базис, т.е. отыскать слои, группы, организации, у которых возникает (или вырастивается) актуальная потребность в собственной политической партии. Участие в этой схватке за выживание на политическом ристалище не сулит благостного будущего. К этому можно бы добавить пока лишь проективную роль интеллектуальной, культурной элиты общества как специфического канала контроля над элитой политической. Такой контроль, не претендуя на исполнение властных функций, должен вносить столь необходимую коррекцию в приговоры неразборчивой избирательной машины, отдавая предпочтение ценностным критериям, равенству равных (по Аристотелю), меритократическим основаниям при формировании политических элит центра и регионов (о чем уже шла речь в предшествующих главах).

Поэтому, думается, целесообразно уклониться от участия в создании еще одной партии, выбрав для себя свободное и менее эксцентричное пространство, на котором не следует “рваться к власти” или же “отщипывать” ее по кусочкам, а *довольствоваться влиянием* на политические решения.

Для политико-профессионального конкордата нужна мягкая, эластичная организационная структура, типа “вольного общества” или союза профессиональных корпораций, не политизированная (в ситуации политической апатии в стране), но с непременным политическим прицелом, с новой энергией и символикой.

Может быть, имеет смысл реанимировать высказанную несколько лет назад идею о гражданском парламенте (предложенная В.С.Библером как политическая идея для демократов, она была осмыслена и продвинута авторами коллективной монографии “Гражданский парламент. Формирование структур гражданского общества в регионе”, подготовленной Центром прикладной этики к печати, и осталась в оригинал-макете из-за понятных материальных проблем с изданием), где места будут завоевываться не в избирательных кампаниях, не в конкуренции с политическими партиями, а по соглашению между профессиональными союзами, творческими объединениями, разномастными корпорациями. Такая профессиональная федерация, такой союз корпораций сможет рассчитывать на то, что будет услышан как властью, так и массой профессионалов и, тем самым, сможет ускорить процесс созревания гражданского общества, в чем и результируются коренные интересы успешных профессионалов.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. *Бурдые П.* Социология политики. М., 1993. С.328- 329.

2. Хотя в массовом сознании сохраняются отчетливые “следы” понимания парламентаризма как своеобразного продолжения вековой российской традиции всеобщего, межкорпоративного и многоконфессионального соборного способа решать актуальные проблемы страны на базе всеобщего согласия, единой истины и всеми признаваемых ценностей. Такой способ не был нацелен на поиск сбалансированных решений при конфликте разнородных интересов с помощью определенных процедур и при согласии с принципом плюрализма ценностей (*Бирюков Н., Сергеев В.* Демократия и соборность: представительная власть в традиционной российской и советской политической культуре // *Общественные науки и современность.* 1995. №6. С.57). В массовом сознании значительно более бледными выглядят “следы” предреволюционного думского парламентаризма, когда начался процесс формирования этики депутатства.

3. *Франкл В.* Человек в поисках смысла. М., 1990. С.128.

4. *Бурдые П.* Социология политики. М., 1993. С.239.

5. *Токвиль Алексис де.* Демократия в Америке. М., 1992. С.381.

6. Вестник “Этика успеха”. 1996. Вып. 8.

7. Успешные профессионалы: вчера, сегодня, завтра. Материалы экспертного опроса. Тюмень, 1996.

8. Материалы соответствующего консультативного опроса экспертов см. в кн.: *Апология успеха: профессионализм как идеология российской модернизации.* Тюмень-Москва, 1995.

Bakshantovsky V., Sogomonov Yu., Churilov V.
The Ethics of Political Success. Tyumen-Moscow: The Center for Applied Ethics & Financial Investment Corporation "Yugra", 1997. P.

The applied ethics deals with scantily known but very significant branch of human behavior. Therefore the first investigations of the applied ethics can not be the popular descriptions of the generally recognized theory. They are rather the intermediate results of this theory formation. There are search and testing of methodology; specific methods of the theory construction and connection between its results and practice are realizing.

The monograph on the ethics of political success is the first book in the series of planned investigations of the main areas of the applied ethics from the point of view of the success value role and position. Therefore the book opens with the special "Introduction" devoted to the general contents of the doctrine of success ethics as a whole.

The purpose of the doctrine is to determine the position of the value of success in the modern and postmodern moral and to disclose the foundations for stimulating and cultivating success ethics in contemporary Russia. The initial point of the theoretical search is understanding the fact that the ethos of success exists in our country for the present rather as "islands" than as a definite area. But we believe that "for the present" is not "for ever". The doctrine proposed for participating in the competition of the ideas promoting the renovation of Russia has ethical character. Therefore it is oriented to discussion preventing "the game with zero sum" (when the victory of one participant is obligatory losing of another). We hope for the exchange of ideas suitable for coexistence and mutual enrichment.

In the first volume theoretical problems of political ethics are considered. In the second volume the history of political ethics development is outlined, especially in soviet and postsoviet times. Analysis of the results of applied investigations of the domestic political ethos (expert's questionnaire, business games, ethical rationalization and so on) takes the special place in the monograph.

We see the dimensions, significance and complication of the problems with sufficient clearness to realize that it is impossible to propose the ultimate solutions. To understand the whole scale of the problems of the ethics of political success is incredibly hard. Many theoretical difficulties are conditioned by the "paradigm anarchy" of the social sciences as a whole. Nevertheless we risk discussing a major part of the questions in this and next publications unfolding our doctrine. We do it realizing that the proposed solutions are incomplete and not sufficiently advanced.

Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В., Чурилов В.А. Этика политического успеха / Научно-публицистическая монография. Тюмень - Москва: Центр прикладной этики, 1997. 747 с.

Научный редактор докт. филос. наук Г.С. Батыгин

Редактор И.А. Иванова

Оригинал-макет И.В. Бакштановской

В подготовке книги принимали участие:

М.В. Богданова, Н.В. Попова, А.П. Тюменцева

Подписано в печать 20.03.97.

Формат 60x84/16.

Гарнитура Pragmatica.

Печ. л. 46,7.

Печать офсетная.

Бумага писчая № 1.

Тираж 1000 экз.

Заказ №

Цена договорная.

Центр прикладной этики

Лицензия ЛР № 071376 от 14.01.97.

Отпечатано с оригинал-макета в

Московской типографии № 2 РАН.

121099, Москва, Г-99, Шубинский пер. 6.